

1853

ТЕАТРЪ
МУЗЫКА
ЛИТЕРАТУРА
ЖИВОПИСЬ

ПАНТЕОНЪ



АПРѢЛЬ

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.



СОДЕРЖАНІЕ ЧЕТВЕРТОЙ КНИЖКИ:

I. ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ.

МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМЪ И МОСКВОЮ. Разказъ въ шести станціяхъ. *В. Р. Зотова.*

МАЛЕНЬКІЙ МОНТЕ-КРИСТО СЪ БОЛЬШИМИ СТРАННОСТЯМИ. Позавчерашняя исторійка, разказанная, а можетъ-быть и вымышленная, господиномъ З***, и съ его словъ написанная *С. П. Калошинымъ.*

ЭПИЗОДЪ ИЗЪ ПОЭМЫ АДВОКАТСТВО ЖЕНЩИНЫ. *Евгеніи Сарафановой.*

II. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА.

МОЦАРТОВЪ ДОНЪ-ЖУАНЪ И ЕГО ПАНЕГИРИСТЫ. *А. Н. Спрова.*

IV. ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛѢТОПИСЬ.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Модная наука. — Статистическій обзоръ прошлаго опернаго сезона. — Донизетти и его оперы. — Разборъ «Элексира». — «Донъ-Жуанъ» Моцарта. — Артисты итальянской оперы. Статья. *Ростислава.*

РУССКІЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Не въ свои сани не садись. Комедія въ 3 дѣйствіяхъ, соч. *Г. Островскаго.*

ИНОСТРАННАЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЯ.

ПИСЬМО ИЗЪ ПАРИЖА отъ 6/18 апрѣля.

Потопъ концертовъ. — Путешествія артистовъ. — Мосье Мире и мадамъ Фасоль. — Слѣпые музыканты. — Вѣстанъ. — Сивори. — Герць. — Новый Веберъ и новый Дюмедь. — Совѣщательный кабинетъ Пансерона. — Музыкальный вкусъ химика. — Еще двѣ могилы. — Анекдоты о Тальмѣ. — Гдѣ Тальма изучалъ фizioномію? — Продолженіе авторскихъ претензій. — Вліяніе клакеровъ на благополучіе директоровъ. — Отчего процвѣтаютъ театры? — Каталани прошлаго вѣка. — **КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА.** *Тонелли,* опера Амбруаза Тома. — **Т. СЕНЬ-МАРТЕНСКИХЪ-ВОРОТЬ.** *Смарра,* балетъ. Резинковый человекъ. — **ПАЛЕ-РОЙЯЛЬ.** *Драматическія шалости,* пародія, Дюмануара и Клервиля. — **Т. ВОДЕВИЯ.** *Бокачіо,* комедія. Посмертное торжество Баяра. — **Т. ВЕСЕЛОСТИ.** *Собирательница льсу,* драма, Теодора Баррьера. Статья. *А. Боназентури.*

V. СМѢСЬ.

1. **Странствованія по сушѣ и морямъ.** Листки изъ записокъ бывалаго человека, собранные. *В. Савиновымъ.* **ИНКЕРМАНСКАЯ СКАЛА.**
2. **Записки молодой жены.** *Альберика В—го.*
3. **Бѣлоруссія.** Въ характеристическихъ описаніяхъ и фантастическихъ ея сказкахъ, *Павла Шпилевскаго.*

СОВРЕМЕННОЕ.

ЛИТЕРАТУРА. — Вордсвортъ (*статья Диккенса*) — Очеркъ современной германской поэзіи (*статья вторая и послѣдняя*). — **ТЕАТРЫ, МУЗЫКА, ИСКУССТВА.** — Сингъ-Сонгъ, Театръ въ Китаѣ. — **ОТКРЫТІЯ ВЪ НАУКАХЪ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.** — Машинны Эриксона. — **МЕЛКІЕ РАЗСКАЗЫ, НОВОСТИ, АНЕКДОТЫ, ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ.** — Жизнь свѣтлагося червячка, имъ самимъ описанная. — Ручной левъ. — Ночь, проведенная между аллигаторами. — Наполеонъ и Евгенія.

ПЕТЕРБУРГСКІЙ ВѢСТНИКЪ.

I. ЖУРНАЛИСТИКА:

Первое апрѣля русскихъ журналовъ. — Неудачное замѣчаніе «Современника». — Последняя книга «Сына Отечества». — Апрельская книга «Отечественныхъ Записокъ». — Серьезныя статьи. — Ковалевскій и его «Китай въ 1849 и 1850 году». — Критика г. Кудравцева на статьи г. Грановскаго. — Новое направленіе исторіи. — Вліяніе на нее естественныхъ наукъ. — Преувеличеніе вліянія природы и физиологін на историческія событія. — *Журналистика* «Отечественныхъ Записокъ», ея правильныя сужденія и неправильный языкъ. — Разказы г. Небольсина. — Фельетонъ «Отечественныхъ Записокъ». — Скачка съ препятствіями и коньки. — Портретъ литератора, у котораго свой конекъ. — Англійскіе романы. — Новый романъ г. Крестовскаго: *Кто-жъ остался доволенъ?*

II. НОВЫЯ КНИГИ:

ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ. А. О. Писемскаго. **ДАВИДЪ КОПЕРФИЛЬДЪ.** Романъ Чарльза Дикенса. Переводъ съ Англійскаго. И. И. Веденскаго.

III. МУЗЫКА:

Обиліе и пустота концертовъ. — Дороговизна входныхъ цѣнъ. — Направленіе музыки въ настоящее время. Истинные жрецы искусства. — Г. и г-жа Леонардъ. — Замѣчательныя композиціи этого артиста и его концерты. — Многогрѣчивость фельетоновъ. — Г. Антуанъ Контскій. — Его игра и композиціи. — Его права на гениальность. — Угощеніе гг. концертистовъ. Г. Лещетицкій и характеристики его игры. Его концерты и композиціи. Братья Шталькнехтъ и Лешгорнъ и ихъ тріо. — Г. Совле. — Г. Щепановскій и его новая метода. — Концерты: Филармоническаго общества, въ пользу ивналидовъ, и съ нечаянностями. — Нечаянность другого рода. — Г. Коссовскій. — Концертъ г. Дмитріева-Свѣчна. — Музыкальныя утра г. Леопольда Маурера. — Концерты г-жи Віардо Гарси, гг. Контскихъ и г. Даргомыжскаго. — Заключеніе.

IV. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ:

Погода. — Путешествіе по Петербургу и поздни за городъ. — Поѣздка въ Сѣверную Америку, не выѣжая изъ Петербурга. — Двѣ тысячи миль въ два часа. — Въ двѣ минуты изъ Америки въ Европу. — Палермо и Берлинъ. — Петербургскія улицы и новый способъ мощенія ихъ. — Музыка, музыка и музыка. — Хоръ въ тысячу двадцать пять человѣкъ. — Исторія арфы по поводу одного музыкальнаго вечера. — Театральныя слухи и вѣсти. — Два анекдота о Брянскомъ. — Два слова къ биографіи Гусевой. — Вѣсти о Вольниисъ и Плесси. — Открытіе Шахматнаго Общества. — Бѣдствіе Невскаго проспекта. — Приближеніе праздниковъ. — Портреты В. А. Каратыгина. — Новое изобрѣтеніе. — Дамскіе наряды.

VI. РЕПЕРТУАРЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ. № 4.

ПРЕЖДЕ СКОНЧАЛИСЬ, ПОТОМЪ ПОВѢНЧАЛИСЬ. Водевиль въ двухъ дѣйствіяхъ. Соч. актера Максимова.

ПРИЛОЖЕНІЯ: — **ОТСУТСТВУЮТ**

1. Портретъ: Я. Г. БРЯНСКАГО.

2. Музыка: *Cracovienne favorite, par M. VOLANGE.*

ПАНТЕОНЪ

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ,

ИЗДАВАЕМЫЙ

Осодоранъ Носи.

ТОМЪ VIII.

АПРѢЛЬ — КНИЖКА ЧЕТВЕРТАЯ.

1853.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ПАТЕНТЪ

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ,

съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи представлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Апрѣля 15-го 1853.

Ценсоръ *Н. Пейкеръ.*



ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ.

I.

МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМ И МОСКВОЮ.

РАЗСКАЗЪ ВЪ ШЕСТИ СТАНЦІЯХЪ.

В. Р. ЗОТОВА.

—

Trop parler nuit....

—

СТАНЦІЯ ПЕРВАЯ.

- Александръ Иванычъ, здравствуйте! Куда это собрались?
- Въ Москву, какъ видите. Желѣзная дорога не идетъ дальше Москвы.
- И на долго?
- Не знаю.
- А зачѣмъ ѣдете?

— Не знаю.

Спрашивавшій господинъ при этихъ словахъ посмотрѣлъ съ удивленіемъ на господина отвѣчавшаго. Тотъ отвернулся довольно равнодушно, и началъ разсматривать въ лорнетъ дамъ, гулявшихъ и сидѣвшихъ въ залѣ на станціи желѣзной дороги въ Петербургѣ.

Отвѣчавшій господинъ былъ невысокъ ростомъ, нехорошъ собою, но неправильныя черты его лица принимали по временамъ выраженіе довольно пріятное, хотя нѣсколько насмѣшливое; во взглядѣ его большихъ сѣрыхъ глазъ было много ума, и иногда даже чувства. Обыкновенно однакоже лицо молодого человѣка не выражало ровно ничего, кромѣ скуки и апатіи, и трудно было подсмотрѣть, какое изъ этихъ выраженій болѣе всего свойственно фізіономіи Александра Иваныча и которое изъ нихъ поддѣльно. Легко могло быть впрочемъ, что онъ и самъ не зналъ этого. Если правда, что привычка вторая натура, то это всего скорѣе можно отнести къ привычкѣ притворяться.

Спрашивавшій господинъ походилъ на всѣхъ господъ охотниковъ спрашивать о томъ, что вовсе до нихъ не касается и на что имъ очень не охотно отвѣчаютъ. Нельзя сказать даже, чтобы его занимали отвѣты молодого человѣка, и спрашивалъ онъ просто потому только, что надо же о чемъ нибудь спрашивать знакомаго, съ которымъ встрѣчаешься.

Послѣдній отвѣтъ Александра Иваныча поразилъ однакоже спрашивавшаго господина, котораго звали Семеномъ Семенычемъ. Семень Семенычъ спросилъ снова, тономъ удивленія, у своего собесѣдника.

— Вы не знаете, зачѣмъ ѣдете въ Москву. Это странно.

— Что-жъ тутъ страннаго? отвѣчалъ молодой человѣкъ, неохотно и оглядываясь по сторонамъ. Миѣ, конечно, нечего дѣлать въ Москвѣ, гдѣ я ровно никого не знаю и никогда не былъ, но зато миѣ нечего дѣлать и въ Петербургѣ. По желѣзной дорогѣ я ѣду въ первый разъ, для того, чтобы самому повѣрить на опытѣ рассказы о чудесахъ этой дороги, и заранѣе увѣренъ въ томъ, что буду очень доволенъ моею поѣздкою. Вотъ, если хотите — настоящая цѣль моего путешествія.

— Положимъ, что вы точно не знаете, зачѣмъ ѣдете, продолжалъ неотвязчивый Семень Семенычъ, но не можетъ быть, чтобы не знали, на долго-ли ѣдете. Надо распорядиться своими дѣлами, приготовиться, запасти въ дорогу.

— Распорядиться миѣ ровно нечѣмъ, прервалъ Александръ Иванычъ почти съ досадою: дѣлъ у меня никакихъ нѣтъ, слѣдовательно, не нужно было никакихъ приготовленій, а въ дорогу я запасся только вотъ этимъ мѣшкомъ, гдѣ у меня спрятано самое необходимое.

И молодой человекъ толкнулъ ногою большой дорожный сакъ зеленого трипа, который таскалъ за собою по залу.

— Стало-быть вы и безъ человека идете? спрашивалъ невыносимый Семень Семенычъ.

— И безъ человека.

— И безъ поклажи? продолжалъ нестерпимый Семень Семенычъ.

— Извините, отвѣчалъ Александръ Ивановичъ, потерявши всякое терпѣніе. Кажется, тамъ въ углу Мишель Рындивъ. Мнѣ нужно сказать ему нѣсколько словъ.

И онъ бросился отъ своего собесѣдника такъ быстро, какъ будто догонялъ паровозъ. Семень Семенычъ пожалѣлъ о томъ, что судьба помѣшала молодому человеку пользоваться его пріятной бесѣдой, и отправился отыскивать другаго собесѣдника, котораго бы можно было о чемъ-нибудь разспрашивать.

Молодой человекъ, между-тѣмъ, бросившись опретью отъ своего мучителя, задѣлъ мѣшкомъ за ноги одной дамы, въ черномъ бурнусѣ, сидѣвшей на лавкѣ и разговаривавшей очень жарко съ какимъ-то сѣденькимъ господиномъ.

— Mille pardons, madame! пробормоталъ Александръ Ивановичъ скороговоркой, продолжая тащить свой мѣшокъ еще дальше, боясь преслѣдованія Семена Семеныча.

Дама подобрала ножки, довольно чувствительно задѣтая мѣшкомъ, и съ удивленіемъ посмотрѣла влѣдъ Александру Ивановичу. Собесѣдникъ ея сказалъ что-то не совсѣмъ лестное о ловкости и учтивости молодыхъ людей; потомъ они опять обратились къ своему разговору, который, повидимому, очень интересовалъ ихъ.

Продолжая лавировать между лицами, уѣзжающими по желѣзной дорогѣ и провожающими ихъ, Александръ Ивановичъ встрѣтилъ еще нѣсколько знакомыхъ, пристававшихъ къ нему почти съ тѣми-же самыми вопросами, на которые онъ отвѣчалъ почти тоже самое, что и Семену Семенычу. Были въ числѣ этихъ лицъ и дамы, очень нѣжно улыбавшіяся молодому человеку, и значительные господа, усердно пожимавшіе ему руку; но онъ какъ-то холодно принималъ эти улыбки и пожатія, и только къ одному подошелъ самъ и первый протянулъ руку.

Это былъ человекъ равныхъ съ нимъ лѣтъ, съ неподвижной физиономіей, болѣзненнымъ цвѣтомъ лица, одѣтый довольно небрежно, смотрѣвшій вокругъ себя равнодушно и почти безсознательно. Увидя Александра Ивановича, онъ улыбнулся не совсѣмъ откровенно, и отвѣчая слегка его пожатію, сказалъ:

— Собрался наконецъ. Миѣ еще вчера говорили: Зерницкій не поѣдетъ.

— И однакоже поѣхалъ, отвѣчалъ Александръ Иванычъ, тономъ человѣка, очень довольнаго собою.

— Я тоже говорилъ, что ты поѣдешь, потому-что наконецъ совѣстно-же было твердить нѣсколько дней: пойдёмъ, пойдёмъ! — и не двигаться съ мѣста, какъ оперные хористы.

— Будто я такъ долго собирался? спросилъ съ неудовольствіемъ Зерницкій.

— Не долго, но достаточно для того, чтобы надоѣсть знакомымъ которымъ не было ровно никакого дѣла знать — ѣдешь ты, или остаешься.

— Ты, однакоже, пришелъ проститься со мною.

— Я пришелъ потому-что миѣ было все-равно куда ни пойти гулять сегодня поутру. Впрочемъ, я не прочь посмотрѣть, какая физіономія будетъ у тебя въ минуту отъѣзда. Когда человѣкъ не знаетъ, что дѣлаетъ и зачѣмъ дѣлаетъ — выраженіе лица его бываетъ чрезвычайно забавно.

— Вы все очень странные люди, и ты больше всехъ Солинъ, вскричалъ Зерницкій съ досадой. Васъ занимаютъ самыя обыкновенныя происшествія и, отъ нечего дѣлать, вы хотите найти комическую сторону во всемъ. Надо сознаться, что у васъ очень пылкое воображеніе.

— Сейчасъ зазвонять, отвѣчалъ спокойно Солинъ. Надѣюсь, что ты, по-крайней-мѣрѣ, высмотрѣлъ себѣ заранѣе хорошее мѣсто у стѣнки, и поторопнись поскорѣе занять его.

Эти слова почему-то еще болѣе не понравились Зерницкому. Онъ отвернулся отъ Солина, не скрывая своего неудовольствія, и сказалъ довольно рѣзко:

— Въ-самомъ-дѣлѣ, надо пойти поближе къ дверямъ. Прощай, Солинъ, до скораго свиданія.

— Не думаю, отвѣчалъ тотъ съ легкой улыбкой.

— Какъ не думаешь? Я вернусь черезъ нѣсколько дней.

— Сомнѣваюсь. Тебѣ точно также будетъ трудно уѣхать изъ Москвы, какъ было трудно собраться въ нее.

— Какъ ты убѣжденъ въ томъ, что у меня нѣтъ характера! Хочешь, я дамъ тебѣ слово, что буду у тебя въ слѣдующую среду?

— Не нужно; слово свяжетъ тебя; ты захочешь сдержать его, и только измучишь себя, не принеся этимъ никому никакого удовольствія.

— Правъ, ты своими сарказмами сдѣлаешь наконецъ то, что я вернусь въ Петербургъ съ половины дороги.

— Вотъ это ты можешь сдѣлать скорѣе, нежели вернуться изъ Москвы. Человѣкъ съ твоимъ характеромъ скорѣе оставитъ дѣло неоконченнымъ, нежели кончитъ его въ-пору.

Зерницкій, выведенный изъ себя спокойными словами пріятеля, готовился сказать ему что-то вовсе не пріятельское, но въ эту минуту раздался звонокъ, и толпы народа бросились изъ залы на галерею, какъ-будто кто-нибудь могъ опоздать, или не найти мѣста. Въ подобныхъ случаяхъ путешественники имѣютъ странную привычку торопиться.

Зерницкій наскоро простился съ Солинымъ, и со всѣхъ ногъ побѣжалъ на галерею, претискиваясь не совсѣмъ учтиво между лицами разнаго званія, тѣснившимися къ вагонамъ. Онъ однимъ изъ первыхъ ворвался во-вторыя мѣста и сѣлъ въ уголь, головою къ стѣнѣ, лицомъ къ паровозу, подлѣ окна, близъ выхода, то есть занялъ дѣйствительно лучшее мѣсто.

Усаживаясь какъ можно спокойнѣе и комфортабельнѣе, Зерницкій подумалъ, что мѣсто, полученное имъ въ награду за то, что опередилъ всѣхъ на перегонкѣ, не достанется ему однако же даромъ, и по всей вѣроятности ему придется отстаивать это мѣсто отъ многихъ просителей, также любящихъ комфортъ. Опасенія его вскорѣ оправдались. Прежде всего явился какой-то молодой франтикъ въ соломенной фуражкѣ, съ тощими, рыженькими усиками и не натурально краснымъ лицомъ. Онъ повертѣлся подлѣ Зерницкаго, взявъ въ ротъ кончикъ своей трости, загнутой крючкомъ, и раскачиваясь довольно неграціозно, сказалъ нѣсколько гнусливымъ голосомъ:

— Вамъ не все равно сѣсть возлѣ прохода?

— Не все равно! отвѣчалъ спокойно Зерницкій.

Господинъ въ соломенной фуражкѣ сдѣлалъ презрительную мину, помахалъ тростью передъ своимъ носомъ, повернулся и сѣлъ самъ подлѣ Зерницкаго, съ другой стороны прохода, бормоча что-то съ неудовольствиемъ и отдуваясь.

За нимъ, двѣ проходившія дамы, одна послѣ другой самыми нѣжными французскими фразами спрашивали Зерницкаго не можетъ-ли онъ уступить имъ свое мѣсто. Онъ отвѣчалъ лаконически, что не можетъ. За этими дамами явились еще двѣ: старуха и молодая. Старуха ломаннымъ французскимъ языкомъ обратилась къ Александру Иванычу съ той же самой просьбой, присовокупляя, что ей будетъ дуть изъ двери, если она сядетъ возлѣ прохода.

— И мнѣ тоже, отвѣчалъ Зерницкій.

— Но я не такъ здорова, настаивала старуха.

— И я тоже. Вы можете сѣсть напротивъ меня, если не хотите помѣститься подлѣ меня и двери.

— Но я не могу ѣхать задомъ.

— И я тоже.

— Однако же я дама...

Александръ Иваннычъ хотѣлъ уже отвѣчать — и я тоже, но взглянувъ на старуху, подумалъ: развѣ по платью только, и отвѣчалъ:

— Извините, право никакъ не могу... Очень сожалею.

И привнесъ эту жертву учтивости, онъ поскорѣе вынулъ книгу, съ намѣреніемъ избавиться отъ дамы, такъ упорно требовавшей, чтобы ей полу было оказано всевозможное вниманіе.

Старуха въ сильномъ негодованіи уѣхалась подлѣ Зерницкаго, показала сопровождавшей ее дѣвушкѣ на мѣсто противъ себя и сказала ей по англійски:

— Садись, Пегги, и благодари этого джентльмена, если твоя мать простудится и захвораетъ.

Александръ Иваннычъ, понимавшій по англійски, хотѣлъ отвѣчать неугомонной сосѣдкѣ, но подумавъ, что это поведетъ его къ дальнѣйшимъ и скучнѣйшимъ объясненіямъ, промолчалъ, поднявъ къ самому носу свою книгу, потому-что былъ очень близорукъ.

Англичанка, видя, что сосѣдъ ея молчитъ, отпустила нѣсколько не совсѣмъ лестныхъ для него эпитетовъ, потомъ еще нѣсколько посильнѣе. Сосѣдъ съ невозмутимымъ хладнокровіемъ смотрѣлъ въ книгу.

— Нѣтъ, вскричала старуха, вскакивая съ мѣста и пересаживаясь на другую сторону прохода, подлѣ своей дочери и напротивъ господина въ соломенной фуражкѣ. Я не могу сидѣть подлѣ этого медвѣдя. Онъ выведетъ меня изъ терпѣнія своею неучтивостью. Читать, когда подлѣ него сидитъ дама!

Зерницкій улыбнулся, закрывшись книгою. Дочка разсѣянно отвѣчала: yes, смотря на рыженькіе усики и соломенную фуражку своего сосѣда, сидѣвшаго наискось противъ нее.

Старуха не успокоилась однако же и на новомъ мѣстѣ. Она пристала къ купцу, сидѣвшему подлѣ нея и у окна, и начала просить его по французски, чтобы онъ уступилъ свое мѣсто ея дочери. Купецъ остановилъ ее на первыхъ словахъ.

— Не понимаю по французскому—съ, сказалъ онъ, наклоняя голову на-сторону и дѣлая рукою знакъ сожалѣнія.

Соломенная фуражка взялась перевести по русски просьбу старухи.

— Эта дама проситъ васъ уступить свое мѣсто ея дочери.

— Чего-съ? спросилъ купецъ, немного оробѣвъ.

Франтикъ повторилъ свои слова.

— А я-то куда-жь сяду-съ? сказала купецъ, испугавшись не на шутку.

— Да на мѣсто ихней дочери, отвѣчалъ услужливый переводчикъ, показывая на старуху.

Купецъ торопливо полезъ въ карманъ, досталъ свой билетъ, посмотрѣлъ на него съ обѣихъ сторонъ и сказалъ:

— Мѣста, кажись не нумерныя-съ. Развѣ онѣ напередъ заповрядили это мѣсто?

Соломенная фуражка хотѣла отвѣчать, но въ вагонъ влетѣлъ другой молодой человекъ въ суконномъ картузѣ и синемъ пиджакѣ, оставляя на своемъ пути струю виннаго и табачнаго запаха.

— А! Пьеръ! закричалъ онъ! Вотъ братецъ, встрѣча! И ты въ Москву! Лихо! Вдемъ вмѣстѣ! Подлѣ тебя еще и мѣсто есть... Сядемъ вмѣстѣ, братецъ.

И новоприбывшій, пробираясь мимо старухи, чуть не упалъ къ ней на колѣни, пробормотавъ: пardonъ, мадамъ! потомъ такъ плотно шлепнулся на свое мѣсто, что сосѣди съ безпокойствомъ посмотрѣли, не подломилось-ли что подъ нимъ.

Господинъ въ соломенной фуражкѣ отвѣчалъ съ какимъ-то пренебреженіемъ на радостныя восклицанія суконнаго картуза, и обратясь къ купцу, началъ снова объяснять ему желаніе англичанки; но та, съ безпокойствомъ оглядѣвъ новоприбывшаго и рассчитавъ, что это *vis-à-vis* будетъ, вѣроятно, не совѣмъ пріятно ея дочери, отказалась отъ своего намѣренія, и купцу, уже собравшемуся переѣзжать, еще долго надо было объяснять, что онъ можетъ остаться на своемъ мѣстѣ.

Во-время этой сцены почти всѣ мѣста въ вагонѣ были заняты; напротивъ Зерницкаго помѣстился плотный мужчина въ охотничьемъ чекменѣ; на кожанной перевязи черезъ плечо висѣлъ у него мѣшокъ и большая фляга въ плетеномъ футлярѣ. Едва успѣвъ сѣсть, господинъ этотъ отвинтилъ серебряную пробку отъ фляги, поднесъ флягу къ замѣчательно полнымъ губамъ, подержалъ ее нѣсколько секундъ въ этомъ пріятномъ положеніи, отеръ губы ладонью, крикнулъ выразительно, и привелъ все въ прежній порядокъ, протянулся и сталъ смотрѣть на свои колѣнки, опуская все ниже и ниже голову.

— Сосѣдство не очень пріятное, подумалъ Александръ Ивановичъ. Впрочемъ, что мнѣ за дѣло. Книга займетъ меня гораздо больше всѣхъ этихъ дамъ и кавалеровъ.

И онъ началъ съ большимъ вниманіемъ читать свою книгу, не елушая довольно громкаго разговора сосѣдей.

Въ ту минуту, когда раздался послѣдній звонокъ, онъ поднялъ глаза отъ книги и посмотрѣлъ въ окно, на густую толпу народа, стоявшую на галлерей, за барьеромъ. Между разнообразными фізіономіями, печальными, любопытными, равнодушными, безмысленными, передъ Зерницкимъ промелькнуло лицо Солина; выраженіе его было до того насмѣшливо, въ глазахъ, устремленнымъ на Зерницкаго, было столько ѣдкой ироніи, что Александръ Ивановичъ быстро откинулся назадъ и сильно толкнулъ кого-то, смотрѣвшаго также, черезъ его голову, на галерею.

— Mille pardons! сказалъ онъ, разсѣянно, взволнованный неприятымъ впечатленіемъ.

— Я уже во второй разъ сегодня имѣю удовольствіе слышать ваши извиненія, отвѣчали ему голосомъ, полнымъ неудовольствія.

Зерницкій оглянулся. Послѣ него сидѣла дама въ черномъ бурнусѣ, которую онъ задѣлъ уже разъ мѣшкомъ по ногамъ, еще въ галерей, но на которую въ то время не обратилъ вниманія.

И теперь, нельзя сказать, чтобы онъ обрадовался этому сосѣдству. Колкій тонъ дамы, послѣдній взглядъ Солина пробудили въ немъ сильную досаду, — и онъ, недовольный всѣми, не исключая самого себя, молча утѣлся въ свой уголокъ и сталъ пристально смотрѣть въ книгу, не понимая однакоже ровно ничего изъ того, что читалъ.

Паровозъ двинулся впередъ; загремѣли цѣпи вагоновъ, плавно тронувшихся съ мѣста. Наступила минута безмолвія, почти для всѣхъ пассажировъ. Въ этомъ безмолвіи было что-то торжественное, какъ передъ начатіемъ всякаго важнаго дѣла; для многихъ, однакоже, къ этому чувству примѣшивалась боязливость, въ которой, конечно, никто-бы не сознался вѣлухъ. Головы многихъ высунулись въ окна, какъ-будто эти многіе раздумывали, не выгоднѣе-ли имъ будетъ выскочить изъ окна, пока мѣсть паровозъ идетъ тихо... Потомъ начались обычные разговоры о желѣзной дорогѣ, объ ея удивительномъ устройствѣ и удобствѣ, о важности быстрого сообщенія между обѣими столицами, о паряхъ вообще и паровозахъ въ особенности, обо всемъ, что было кста-ти. Извѣстно, что русскій человекъ очень разговорчивъ, когда ему не нужно отыскивать предметъ разговора.

Зерницкій не принималъ никакого участія въ этомъ разговорѣ, но мнѣнія и фразы его сосѣдей по-неволѣ доходили до него. Изъ семи человекъ, назначенныхъ судьбою ему въ спутники, двое по счастію не говорили ни слова: это были — сосѣдка его, въ черномъ бурнусѣ, о чемъ-то задумавшаяся, и vis-à-vis, упершійся въ колѣни жирными руками безъ перчатокъ и наклонявшійся все ниже и ниже къ колѣнямъ. Зато остальные пятеро говорили безъ умолку: англичанка съ дочерью

по-английски, а съ соломенной фуражкой по-французски; тотъ, въ свою очередь, разговаривалъ по-русски съ суконнымъ картузомъ; купецъ тоже вмѣшивался въ ихъ разговоръ, хотя это, повидимому, не доставляло имъ большого удовольствія.

— Чтò, братъ, Пьеръ, какова дорога-то! говорилъ суконный картузъ, обращаясь къ соломенной фуражкѣ. Вотъ и мы до европейскаго просвѣщенія дожили. А все Фультонъ, братецъ Ему всемъ обязаны.

Соломенная фуражка утвердительно кивнула головою, вѣроятно соглашаясь съ тѣмъ, что изобрѣтеніемъ желѣзныхъ дорогъ Европа обязана Фультону.

— Эвто, кто это-съ, какъ вы его изволили назвать? спросилъ купецъ, обращаясь къ картузу.

— Фультонъ, повторилъ тотъ важно. Одинъ англичанинъ; разныя машины изобрѣлъ.

И какъ бы опасаясь дальнѣйшихъ объясненій и разспросовъ, картузъ перемѣнилъ предметъ разговора и сказалъ сосѣду:

— Ты, Пьеръ, въ деревню?

— Нѣтъ, въ Москву, отвѣчалъ тотъ. Чтò, братецъ, въ деревнѣ скука, — излѣнишься, на человѣка походить не будешь. Въ Москвѣ хочу пожить до осени. Тамъ нынче Раппо прѣдетавленія давать будутъ; Дюре у него; цыгане новые, говорятъ, въ Сокольникахъ пѣть будутъ.

— Слышалъ, слышалъ, а гдѣ остановишься, въ Дрезденѣ?

— Нѣтъ, братъ, долго тамъ жить, дома не скажешься: пять цѣлковыхъ въ день за номеръ, да еще и не очень авантажнѣй. Я нанялъ квартиру у самаго цвѣточнаго рынка, у той, знаешь...

— А! у Станиславы Казиміровны! Какъ же, знаю! закричалъ картузъ!

И оба пріятели громко засмѣялись, господинъ съ фляжкой выпрямился, посмотрѣлъ на всѣхъ оторопѣвшимъ взглядомъ, и спросилъ скороговоркой, обращаясь къ Зерницкому:

— Чтò, чтò случилось?

— Ничего! отвѣчалъ тотъ громко, и указывая на пріятелей прибавилъ: этимъ господамъ очень весело.

Александръ Иванычъ былъ, какъ извѣстно, не въ духѣ, и обрадовался случаю сказать небольшую колкость, которая должна была не понравиться сосѣдамъ. Дѣйствительно, Пьеръ нахмурился съ угрожающимъ видомъ, а пріятель его въ суконномъ картузѣ обернулся къ Зерницкому, и раскрылъ уже ротъ, чтобы сказать чтò-то, но перемѣнилъ намѣреніе и не сказалъ ничего, а сталъ пристально смотрѣть на даму въ бурнусѣ, которая, казалось, ничего не слышала и не видѣла.

Визави Зерницкаго въ это время успокоился, отвинтилъ пробку отъ фляжки, подержалъ ее опять у рта, и началъ смотрѣть на свои колѣни. Зерницкій взялся опять за книгу, но глядѣлъ больше не въ нее, а на сосѣдку, которая начала интересовать его своею задумчивостію.

Но не одною задумчивостію была она интересна. Взматриваясь въ нее, много можно было найти замѣчательнаго въ ея неправильныхъ, даже некрасивыхъ чертахъ, но полныхъ ума, привлекательности и благородства. Все въ этой дамѣ доказывало, что она принадлежитъ къ лучшему обществу; нарядъ ея былъ простъ, но красивъ: бурнусъ изъ китайскаго атласа, не блестящаго, но дорогаго; шляпка изъ черныхъ кружевъ, но шелковыхъ, настоящихъ; платье также сѣренькое, одноцвѣтное, шелковое; правая, крошечная ручка дамы, которою она запахивала бурнусъ, была обтянута блѣдно-желтою перчаткой безукоризненной чистоты. Дама эта была уже не молода и довольно полна. Особыхъ примѣтъ у ней, кромѣ очень черныхъ бровей и небольшого чернаго пятнышка на лѣвой щекѣ, не оказывалось.

Разглядывая сосѣдку, Зерницкій замѣтилъ, что его сосѣдъ въ суконномъ картузѣ чуть ли еще не внимательнѣе его слѣдилъ за каждымъ движеніемъ дамы въ бурнусѣ. Александру Иванычу это сильно не понравилось. Въ особенности онъ былъ недоволенъ тѣмъ, что Пьеръ, спрашивавшій о чемъ-то этого господина, долженъ былъ два раза закричать ему: Поль, а Поль! Я тебѣ говорю!

Но Поль едва могъ оторваться взглядами отъ чернаго бурнуса и почти нехотя отвѣчалъ пріятелю. Зерницкому было еще непріятнѣе видѣть, что потомъ пріятели начали шептаться между собою, очевидно объ его сосѣдкѣ, изрѣдка на нее взглядывая и о чемъ-то жарко споря. Какъ ни напрягалъ онъ слухъ, но могъ разобрать только нѣсколько словъ Пьера и отвѣтъ Поля.

— Ты, братецъ, мнѣ не говори! Я знаю ихъ хитрости! Меня не проведешь, говорилъ Пьеръ.

— Какъ можно, братецъ! ты ошибаешься; я тебя увѣряю, отвѣчалъ Поль.

Зерницкій даже покраснѣлъ отъ досады при этихъ словахъ, хотя они вовсе до него не касались, и легко, быть-можетъ, относились даже вовсе не къ тому, о чемъ онъ думалъ. Не смотря на это, онъ началъ придумывать, какъ бы ему проучить этого Поля, начинавшаго выводить его изъ терпѣнія. Тотъ въ это время, вѣроятно ободренный словами Пьера, снова повернулся къ дамѣ и началъ осматривать ее съ легкой улыбкой.

Тогда Зерницкій не выдержалъ и сказалъ, обращаясь къ своей сосѣдкѣ:

— Не угодно ли вамъ будетъ перемѣниться со мною мѣстомъ?

Дама съ удивленіемъ подняла голову и отвѣчала:

— Благодарю; но я слышала, какъ вы отказались уступить ваше мѣсто двумъ дамамъ. Отчего же вы вздумали предложить его мнѣ?

— Оттого, что мнѣ бы хотѣлось быть вмѣсто васъ сосѣдомъ этого господина съ посоловѣлыми глазами, сказалъ Зерницкій, нисколько не понижая голоса.

Дама съ новымъ удивленіемъ посмотрѣла сначала на него, потомъ на Поля, не слыхавшаго, повидимому, словъ Зерницкаго, но смутившагося немного отъ холоднаго и спокойнаго взгляда сосѣдки.

— Вы знакомы съ этимъ господиномъ? спросила она.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Александръ Иванычъ. А вы?

Вмѣсто отвѣта сосѣдка окинула его взглядомъ, въ которомъ было уже больше пренебреженія, чѣмъ удивленія.

— Вопросъ мой, конечно, не скромнень, продолжалъ Зерницкій, но я сдѣлалъ его потому, что этотъ господинъ смотритъ на васъ все время такъ странно.

— И вы, какъ истинный рыцарь, сочли нужнымъ защитить меня отъ этого страшнаго взгляда? спросила дама ироническимъ тономъ.

— Я думалъ оказать вамъ этимъ услугу.

— Развѣ я просила васъ услуживать мнѣ? Неужели вы думаете, что я сама не могу защитить себя, еслибы это было нужно? Я, кажется, не похожа на слабое созданіе, которое нуждается въ опорѣ и покровителѣ.

Слова дамы звучали насмѣшкой; но всего страннѣе было то, что она смѣялась даже надъ собою, потому—что при эпитетѣ *слабое* посмотрѣла съ улыбкою на свой полный станъ. Зерницкій началъ говорить что-то не совсѣмъ связанное о долгѣ мужчины вступаться даже за незнакомую женщину, если ей не оказываютъ должнаго уваженія. Дама прервала его словами:

— Мнѣ кажется, что долгъ мужчины состоитъ прежде всего въ томъ, чтобы не вступаться ни за какую даму безъ ея согласія. И къ чему послужило бы въ подобномъ случаѣ ваше заступничество? Не думаете ли вы, что мнѣ было бы пріятно, еслибъ изъ-за меня вышла какая-нибудь исторія, ссоры, непріятности? Развѣ это не больше компрометируетъ женщину чѣмъ глупые взгляды этого господина, котораго очень легко образумить безо всякаго посторонняго вмѣшательства.

И въ доказательство своихъ словъ, дама вдругъ быстро обернулась къ Полю, продолжавшему смотрѣть на нее и улыбаться.

— Что вамъ угодно? спросила она рѣзко и гордо.

Тотъ растерялся при этомъ неожиданномъ вопросѣ, и отвѣчалъ нетвердымъ голосомъ:

— Миѣ?.. Ничего-съ!.. Я такъ-съ...

— Вы меня знаете?

— Нѣтъ!.. Я не имѣю удовольствія.

— Въ такомъ случаѣ я должна вамъ замѣтить, что смотрѣть такъ пристально на незнакому женщину можетъ только человѣкъ безъ всякаго воспитанія. А вы, вѣроятно, не захотите, чтобы я имѣла объ васъ такое мнѣніе.

— Помилуйте!.. Я совѣмъ не то!.. Какъ можно!.. Вы не такъ поняли!.. бормоталъ покраснѣвшій и сконфуженный Поль.

Пріятель его счелъ нужнымъ помочь бѣдняку и началъ говорить дурнымъ французскимъ языкомъ, обращаясь къ дамѣ:

— Могу васъ увѣрить, что другъ мой не имѣлъ никакого намѣренія...

— Я не съ вами говорила! прервала дама по-русски, отворачиваясь отъ Пьера и завертываясь въ бурнусъ.

Глубокое молчаніе послѣдовало за этими словами. Зерницкій, пораженный гордымъ и сильнымъ тономъ сосѣдки, ея спокойствіемъ и хладнокровіемъ, не смѣлъ возобновить разговора съ нею. Когда же онъ собрался съ духомъ и нашелъ предметъ разговора, — паровозъ остановился на Колпинской станціи.

СТАНЦІЯ ВТОРАЯ.

На этой станціи весьма немногіе изъ пассажировъ вышли изъ вагоновъ, боясь что-ли потерять свои мѣста, или не чувствуя еще надобности распрямить члены. Только бывалые путешественники и люди съ твердымъ характеромъ, которые не могутъ провести четверти часа безъ того, чтобы не наглотаться и не нанюхаться табачнаго дыма, торопились отыскать гдѣ-нибудь мѣстечко, чтобы удовлетворить потребности, сдѣлавшейся въ нашъ вѣкъ необходимѣе пищи и сна. Зерницкій принадлежалъ также къ числу этихъ неутомимыхъ истребителей табаку, и выйдя изъ вагона, задымилъ и запыхтѣлъ, какъ и другіе. На этотъ разъ, однакоже, онъ исполнялъ это пріятное занятіе безъ особеннаго рвенія и удовольствія, а скорѣе по привычкѣ. На половинѣ пашироски онъ

даже остановился, задумавшись о чемъ-то, потомъ бросилъ ее недокуренную, и поторопился въ вагонъ, не дожидаясь звонка.

Садясь на свое мѣсто, онъ обратился съ самою пріятною улыбкою къ сосѣдкѣ, и сказалъ ей:

— Давеча я предлагалъ вамъ мѣсто, чтобы избавить васъ отъ не-пріятнаго сосѣда, но вы съумѣли сами отъ него избавиться; теперь я повторяю мое предложеніе, для того, чтобы не беспокоить васъ, когда мнѣ случится выдти изъ вагона.

— А развѣ вы на всякой станціи намѣрены курить? спросила дама съ проніей. Неужели вы ни на минуту не можете обойтись безъ вашихъ напирсовъ?

— Я совсѣмъ не такой страстный охотникъ до куренія, отвѣчалъ Зерницкій, немного смутившись, и выхожу даже просто для того только, чтобы пройти нѣсколько минутъ по галереѣ.

— Въ такомъ случаѣ, чтобъ не заставлять васъ всякій разъ извиняться, пробираясь мимо меня, я принимаю ваше предложеніе.

Зерницкій, чрезвычайно довольный согласіемъ сосѣдки, началъ тотчасъ же перебираться самъ и помогать ей; перетаскилъ свой дорожный мѣшокъ и уложилъ мѣшокъ дамы на новое мѣсто. При этомъ онъ успѣлъ замѣтить, что ножка сосѣдки обута въ крошечную прюнелевую ботинку съ лакированнымъ носкомъ.

Переселеніе это произвело, однакоже, нѣкоторое впечатлѣніе и на остальныхъ ближайшихъ сосѣдей дамы. Бывшій визави Зерницкаго, успѣвшій уже въ это время опустить голову къ колѣнкамъ до послѣдней степени возможности, за которую не переходитъ никто, кромѣ Віоля, вдругъ встрепенулся, выпрямился, подобралъ подъ себя ноги, заморгалъ, чрезвычайно сконфузился, и чтобы придать себѣ бодрости, вдвое дольше прежняго продержалъ у губъ фляжку. Пьеръ и Поль переглянулись между-собою и пошентались, однакоже чрезвычайно тихо и смотря въ землю. Но въ особенности осталась недовольна этимъ переселеніемъ старая англичанка; обратясь къ дочери, она сказала ей, не скрывая своей досады:

— Взгляни! этотъ медвѣдь уступилъ наконецъ мѣсто. Вѣрно на-шелъ себѣ...

Но въ эту минуту дочка дернула маменьку за рукавъ и прошептала ей что-то, показывая взглядами на даму въ бурнусѣ, обернувшуюся къ нимъ при первыхъ звукахъ англійскаго языка.

— Ну что жъ, продолжала немного успокоившаяся старуха. Я все-таки скажу всегда, что отказать одной дамѣ и уступить мѣсто другой,

значитъ еще болѣе оскорбить первую, и что на это способенъ только человѣкъ безъ всякаго воспитанія.

Дама въ бурнусѣ съ любопытствомъ взглянула на Зерницкаго. Онъ сидѣлъ неподвижно и спокойно какъ сфинксъ.

— Чего ожидать, впрочемъ, отъ такой незначительной фізіономіи, прибавила старая англичанка, которая никакъ не могла успокоиться.

Зерницкій наклонился на минуту, чтобы скрыть краску досады, противъ воли выступившую на щекахъ, но тотчасъ же оправился и принялъ прежнее довольное выраженіе.

Англичанка продолжала бранить его безо всякой церемоніи; сосѣдка его хотѣла что-то сказать, но подумала, и вынувъ изъ кармана какой-то романъ брюссельскаго изданія, принялась за чтеніе. Зерницкій остался этимъ очень недоволенъ. Ему казалось, что дама, изъ учтивости за уступленное ей мѣсто, должна бы поддерживать разговоръ. Самъ онъ, конечно, могъ возобновить бесѣду, но обиженное самолюбіе не позволило ему сдѣлать этого, и онъ также углубился въ чтеніе—все той же страницы, которую читалъ и на прошлой станціи.

Скоро однакоже почувствовалъ онъ, что ровно ничего не понимаетъ изъ того, что читаетъ. Тогда, въ досадѣ на самого себя и на свою сосѣдку, чтобы не обращать на нее вниманія, онъ сталъ прислушиваться къ разговору сосѣдей.

Пьеръ въ соломенной фуражкѣ и съ рыженькими усиками умѣлъ въ это время разговаривать съ молоденькой англичанкой, на самомъ дурномъ французскомъ языкѣ, и рассказывалъ ей съ большимъ жаромъ объ удовольствіяхъ петербургской жизни, объ Излерѣ, о цыганахъ, о Пассажѣ, и о разныхъ тому подобныхъ предметахъ, которые, казалось, не должны были бы интересовать англичанку, слушавшую однакоже съ особеннымъ вниманіемъ молодцоватаго Пьера.

— *C'est malheur que vous laissez Pétersbourg*, говорилъ онъ, подергивая кончики свои жидкихъ усиковъ. У насъ такъ много привлекательнаго. И вы еще почти ничего не видали. *Vraiment, c'est malheur.*

Поль съ оловянными глазами также присоединялъ сначала къ разсказу пріятеля разныя восклицанія и замѣчанія, но видя, что ихъ оставляютъ безъ вниманія, уступилъ поле сраженія Пьеру, и какъ великодушный другъ, началъ даже отдѣльный разговоръ съ матерью англичанки.

Проѣхали еще одну станцію, короткую, въ четырнадцать верстъ. Хотя остановка была всего минутъ на пять, но Пьеръ и Поль вышли изъ вагоновъ на галерею, гдѣ услужливая промышленность уже ждала пассажировъ, разложивъ апельсинныя и пироги, разставивъ жбаны съ квасомъ и

прозрачные штофы съ такою же прозрачною жидкостью, совершенно похожую на воду цвѣтомъ, но не вкусомъ. Зерницкій не выходилъ изъ вагона, но готовъ былъ выйти изъ себя, потому—что сосѣдка не обратила на это никакого вниманія, занявшись, повидимому, очень прилежно французскимъ романомъ.

Пьеръ и Поль вернулись въ вагонъ, сильно одушевленные прогулкой по галереѣ, уставленной штофами безцвѣтной жидкости. Поль началъ тотчасъ же разговаривать со старой англичанкой, но или она стала вдругъ почему—то меньше понимать по французски, или онъ успѣлъ забыть этотъ языкъ еще больше, погулявъ по галереѣ, только они оба съ трудомъ понимали другъ друга—друга, и послѣ неудачныхъ попытокъ къ возобновленію разговора, прерывавшагося на каждомъ словѣ, Поль отъказался отъ него рѣшительно, и началъ дремать и покачиваться. Зато Пьеръ сдѣлался еще разговорчивѣе и любезнѣе, и уговаривалъ англичанку ѣхать въ Москву, гдѣ, по его словамъ, тоже много удовольствій, хотя нѣтъ Матрены, Излера и Пассажа.

Англичанка была очень довольна внимательностью молодого человѣка, но говорила, что на слѣдующей станціи оканчивается ея путешествіе, что тамъ будутъ ждать ее лошади d'un propriétaire повогогодіен, которыя и отвезутъ ее въ деревню къ этому помѣщику, куда она нанялась въ гувернантки. Мать должна была только проводить ее до деревни, и вернувшись на станцію ожидать, для обратнаго пути, поѣзда, отправляющагося въ Петербургъ. Несмотря на это, Пьеръ продолжалъ приставать къ англичанкѣ, спрашивая, какъ и гдѣ увидятся они снова, и есть ли какая—нибудь надежда, что знакомство, пріятное для него до такой степени, когда—нибудь возобновится.

Мать гувернантки, соскучась вѣроятно долгимъ молчаніемъ, совершенно посоловѣвшаго Поля, вмѣшалась въ разговоръ дочери съ франтикомъ и спросила, какъ ей нравится этотъ сосѣдъ.

— Very pleasant! отвѣчала дочка.

— Не то, что этотъ несносный визави, продолжала злопамятная старуха, взглядывая на Зерницкаго съ явною неблагожелательностію.

— Я и забыла объ немъ, сказала дочь.

— А я такъ не могу забыть, отвѣчала матушка. Очень желала бы, чтобъ онъ сломилъ себѣ голову на этомъ локомотивѣ. Впрочемъ, намъ придется не долго видѣть передъ собой этого непріятнаго джентльмена; всего какихъ—нибудь полчаса.

— Даже еще меньше, сказалъ Зерницкій по англійски, самымъ спокойнымъ тономъ. Черезъ десять минутъ мы остановимся, и вы навсегда избавитесь отъ моего сосѣдства.

Можно вообразить себѣ положеніе англичанокъ при этихъ словахъ, поразившихъ ихъ какъ громомъ. Испугъ, удивленіе, стыдъ, даже страхъ выразились на ихъ лицахъ. Обѣ онѣ вскричали почти въ одинъ голосъ:

— Вы говорите по-англійски!

— Чтѣ-жъ тутъ удивительнаго? сказала также хладнокровно Зерницкій. Неужели вы думаете, что англійскій языкъ въ наше время въ Россіи большая рѣдкость?

— Но мы никакъ не думали, что вы знаете этотъ языкъ... Вы молчали все время, сказала старуха.

— Покамѣстъ вы бранили меня?.. Не думаю, чтобы незнаніе англійскаго языка могло въ этомъ случаѣ оправдать васъ. Молчаніе доказывало только мое терпѣніе и нежеланіе отвѣчать дамамъ на ихъ фразы, не очень любезныя. Я-бы молчалъ даже всю дорогу, но вы сейчасъ выходите изъ вагона, и я счелъ обязанностью попросить васъ, при прощаньи, быть немного поосторожнѣе въ другой разъ, и не выражать слишкомъ громко своихъ мнѣній о сосѣдяхъ, можетъ-быть, дѣйствительно очень неприятныхъ, но между которыми легко могли найтись люди, не такъ учтивые и не столько терпѣливые, какъ я.

Извиненія и оправданія посыпались на Зерницкаго, но онъ прервалъ ихъ словами:

— Я сказалъ все, что считалъ нужнымъ, — и вы позволите мнѣ теперь не продолжать разговора, а заняться чтеніемъ.

И онъ съ важною развернулъ свою книгу на той же самой страницѣ. Глубокое молчаніе водворилось между сосѣдями. Зато когда вагонъ остановился, мать съ дочерью выпрыгнули изъ него такъ быстро, что Пьеръ, пустившійся за ними прощаться, не нашелъ ихъ даже на галереѣ.

Зерницкій и на этотъ разъ не вставалъ съ мѣста, но когда мимо его начали пробираться на платформу разные пассажиры, онъ обратился къ сосѣдкѣ и сказалъ:

— Вамъ не угодно будетъ пройти немного по галереѣ? Мы остаемся здѣсь минутъ десять.

— Я еще не устала сидѣть, отвѣчала сосѣдка, закрывая книгу. Но мнѣ кажется, что вы сами не курите уже вторую станцію?

— Неужели вы въ-самомъ-дѣлѣ думаете, что я не могу обойтись безъ этого? спросилъ Зерницкій съ досадою.

— Думаю, сказала спокойно сосѣдка. Эта манія въ наше время до того сильна, что для нея мужчины оставляютъ и пріятное общество, и балъ, и концерты.

— Я могу доказать вамъ, что не оставляю даже этого вагона,

прервалъ съ живостью Зерницкій. Хотите-ли, чтобы я не курилъ до Москвы?

— Съ вашей стороны это будетъ жертва и вы лишите себя большаго удовольствія.

— Я найду вмѣсто него другое,—бесѣду съ вами. Я выходилъ въ первый разъ, потому-что мнѣ стало скучно сидѣть молча.

— Въ-самомъ-дѣлѣ? Но кто-же мѣшалъ вамъ разговаривать.

— Съ кѣмъ прикажете? Съ англичанками? Согласитесь, что это было-бы неловко послѣ ихъ отзывовъ обо мнѣ. Съ этими господами Пьеромъ и Полемъ бесѣда была-бы не весьма занимательна. Я не бываю на праздникахъ Излера, гдѣ воздаются ему чуть не апотеозы, и не испытываю никакого тонко-эстетическаго чувства при пѣннн Матрены. Съ моимъ прежнимъ, и теперешнимъ вашимъ, визави разговоръ былъ-бы очень затруднителенъ. Этотъ господинъ бесѣдуетъ только со своею фляжкой, или съ Морфеемъ. Наконецъ, я долженъ былъ даже отказать отъ разговора съ вами, потому-что вы говорили все время насмѣшливымъ тономъ и не показывали ни малѣйшаго расположенія къ бесѣдѣ со мною.

— Вы замѣтили это? спросила сосѣдка серьезнымъ тономъ. Но скажите, неужели вы находите необходимымъ разговаривать съ тѣми, кого видите въ первый разъ, и потомъ, вѣроятно, никогда больше не увидите. Какое извлечете вы изъ этого удовольствіе, не говорю уже, какую пользу? Неужели вы должны, во что-бы-то ни стало, какъ говорится, *убивать* время, и не можете провести его иначе, читая, или думая?

— Отчего-же вы не хотите повѣрить, что бесѣда съ вами доставитъ мнѣ удовольствіе? спросилъ съ жаромъ Зерницкій.

— Оттого, что если вы не хотите обмануть меня этими словами, то обманываете самого-себя. О чемъ можемъ мы говорить съ вами, лица, чуждыя другъ-другу, неимѣющія ничего общаго, почти враждебныя другъ съ другомъ, потому-что, согласитесь, если мужчина начинаетъ заговаривать съ незнакомою женщиною, не должна-ли она смотрѣть на это съ недовѣрчивостью, съ опасеніемъ; не обязана ли она защищаться отъ этого нападенія? Конечно, при другихъ общественныхъ условіяхъ, не слѣдовало бы думать такимъ-образомъ, но въ настоящемъ положеніи думать иначе невозможно, и только, хорошо узнавъ другъ-друга, можно оставить эту принужденность обращенія. Но когда же мы успѣемъ такъ близко познакомиться, чтобы не подозрѣвать другъ-друга ни въ какой посторонней мысли, кромѣ той, которую высказываемъ прямо? Передъ нами всего двадцать часовъ сосѣдства, и стало-быть откровенная бесѣда между нами невозможна. Остаются одни общія мѣста, толки о пу-

стякахъ, или о предметахъ, также мало интересующихъ того, кто говорить, какъ и того, кто слушаетъ. Не думаю, чтобы вы могли сильно желать такого препровожденія времени; что же касается до меня, то мнѣ и такъ приходится говорить поневолѣ много напрасныхъ словъ, чтобы заниматься этимъ же и по охотѣ, въ минуты, когда я могу забыть обо всѣхъ необходимыхъ неудовольствіяхъ въ жизни.

Сосѣдка говорила просто, спокойно, но вмѣстѣ съ тѣмъ важно и съ убѣжденіемъ. «Ужъ не писательница ли это?» подумалъ Зерницкій, и самъ невольно улыбнулся этой мысли. Сосѣдка подмѣтила эту улыбку...

— Вамъ кажутся странными мои слова? спросила она, пристально глядя на него.

— О нѣтъ, нисколько! отвѣчалъ онъ не совсѣмъ твердымъ голосомъ. Напротивъ...

— Позвольте, прервала она, и прежде чѣмъ вы скажете ложь, или комплиментъ, что одно и то же, отвѣчайте мнѣ: дѣйствительно ли хочется вамъ провести эти двадцать часовъ со мною, какъ съ давно знакомой женщиной, говорить безъ всякаго принужденія, откровенно, хотя-бы только для того, чтобы разсѣять вашу скуку?

— Въ этомъ вы можете быть увѣрены, сказалъ онъ съ жаромъ. Вы ошибаетесь только, думая, что одна скука заставила меня желать сблизиться съ вами.

— Не будемъ говорить о причинахъ,—это очень темный и затруднительный вопросъ. Какое бы побужденіе не заставило васъ обратиться ко мнѣ, но первое условіе непринужденной бесѣды—откровенность, и если вы точно хотите подобной бесѣды, то скажете мнѣ, что заставило васъ сейчасъ улыбнуться? Предупреждаю васъ однакоже, что если вы скажете неправду, разговоръ нашъ на этомъ и кончится.

Зерницкій подумалъ съ минуту, и потомъ сказалъ рѣшительно:

— Я улыбнулся при мысли, что вы, можетъ-быть, женщина-писательница.

Сосѣдка посмотрѣла на него несовсѣмъ благосклонно, и сказала послѣ нѣкотораго молчанія:

— Еслибы я и въ-самомъ-дѣлѣ была писательницей, что же смѣшнаго въ этомъ? Неужели вы принадлежите къ числу людей, позволяющихъ женщинамъ быть только кухаркой, нянькой, или наивной мечтательницей?

Зерницкій счелъ долгомъ оправдаться въ этомъ подозрѣніи, и сказалъ нѣсколько громкихъ фразъ о высокомъ назначеніи женщины и ея многообразныхъ способностяхъ. Сосѣдка прервала его.

— Зачѣмъ говорить то, въ чемъ вы не убѣждены? Я не буду

сердиться на васъ за ваши мнѣнія. Виноваты ли вы въ томъ, что раздѣляете общія убѣжденія, что сроднились съ ними, воспитаны въ нихъ? Впрочемъ, я не защищаю въ этомъ случаѣ и женщинъ. Бѣльшеею частію онѣ сами виноваты въ томъ, что мужчины имѣютъ объ нихъ не всегда и не совѣтъ высокое мнѣніе. Не берусь рѣшить, кто больше виноватъ, но можно поручиться, что обѣ стороны неправы. Я не стала бы разбирать этого вопроса, еслибъ даже была писательницей; для рѣшенія его надо слишкомъ много изучить, знать и видѣть. Я даже не пробовала никогда писать для всѣхъ, то-есть для печати, и мнѣ кажется это почему-то, весьма неловкимъ.

— Это вовсе не такъ тяжело и не такъ страшно, отвѣчалъ Зерницкій. Всякій мыслящій человѣкъ и знающій хотя нѣсколько жизни можетъ во всякое время сдѣлаться писателемъ, если захочетъ. Одни литераторы, для того, чтобы придать себѣ болѣе важности, твердятъ, что очень трудно достигнуть высокаго званія писателя. Прежде для этого необходима была хоть риторика; теперь не требуется даже грамматики. Сколько найдете вы людей, которые именно потому воображаютъ себя писателями, что не знаютъ правописанія. Я самъ, имѣвшій полное право никогда и ничего не писать, лѣтъ семь тому назадъ напечаталъ въ одномъ изъ нашихъ журналовъ повѣсть, за которую мнѣ даже заплатили—разными обѣщаніями, не считая похвалъ въ томъ же самомъ журналѣ. Несмотря на эти похвалы, повѣсть была все-таки очень недурна, потому-что была написана для развитія одной мысли, долго меня занимавшей. Я долго думалъ прежде, чѣмъ началъ писать, тогда какъ съ многими литераторами это случается наоборотъ: они сначала долго пишутъ, прежде чѣмъ начать думать. Я увѣренъ даже, что вамъ самимъ не разъ приходили въ голову мысли, которыя очень удобно могли-бы осуществиться въ какомъ-нибудь разсказѣ.

— Вы правы, отвѣчала весело сосѣдка. У всѣхъ есть свои любимыя идеи, которыя разсматриваются нами со всѣхъ сторонъ и съ которыми мы не расстаемся до-тѣхъ-поръ, пока ихъ не вытѣснятъ другія болѣе важныя, или болѣе положительныя идеи. Признаюсь вамъ, что еслибы мнѣ пришлось писать повѣсть, я взяла бы для нее тотъ предметъ, съ котораго мы начали нашъ разговоръ, и назвала-бы эту повѣсть: *Напрасныя слова*.

— Вы исчислили бы въ этой повѣсти, сколько словъ говорится въ жизни безо всякой пользы?

— Нетолько безъ пользы, но и безъ цѣли. Кромѣ этого ужаснаго обыкновенія: убивать время, какъ будто въ нашъ вѣкъ изъ него нельзя сдѣлать никакого лучшаго употребленія, страшно подумать, какое огром-

ное количество словъ тратится вездѣ и всеми безо-всякой причины и надобности. Насъ, русскихъ, называютъ неразговорчивыми, упрекаютъ, за это; мнѣ кажется, что это не только не недостатокъ, но даже преимущество, достоинство. Неужели лучше прослыть говорунами, подобно одной мнимо-великой націи, которая договорилась до того, что ей, наконецъ, зажали ротъ, — и теперь она нисколько не претендуетъ на это. Послушайте вседневные, свѣтскіе, визитные, салонные разговоры, и скажите сами: не напрасны-ли это слова, не лучше-ли, наконецъ, вовсе ничего не говорить, чѣмъ говорить фразы, которыя говорятся не съ тѣмъ, чтобы имъ повѣрили, и слушаются не потому, чтобы были занимательны. Представьте себѣ, сверхъ-того, вліяніе, которое могутъ имѣть эти напрасныя слова на лица, придающія этимъ словамъ важность и значеніе. Вообразите, наконецъ, два лица, которыя, по привычкѣ, по необходимости, или по недоразумѣнію, говорятъ другъ-другу совершенно напрасныя слова, въ то время, когда могли бы мѣняться другими, выходящими прямо изъ сердца, полными чувства, симпатіи, любви ко всему прекрасному, высокому. И настаетъ время, когда эти люди сами видятъ, что напрасно убили это время, что напрасно говорили вовсе не то, что было должно и можно говорить; но позднія сожалѣнія также напрасны, потерянное время не возвращается, — и эти люди выносятъ изъ встрѣчи, готовившей имъ много счастья и радости — только одни *напрасныя слова!*

Сосѣдка говорила быстро и съ увлеченіемъ. Зерницкій слушалъ ее съ удовольствіемъ, смѣшаннымъ съ удивленіемъ. Ему казались странны ея сужденія, ея тонъ, непринужденный, даже немного рѣзкій. Все доказывало въ ней большой умъ, опытность, начитанность. Зерницкій признавалъ все это, но ожидалъ и желалъ найти въ ней другое. Съ минутой онъ подумалъ, не заключается-ли въ послѣднихъ словахъ сосѣдки какого-нибудь намека на то, что отъ него зависитъ не ограничивать ихъ разговора одними напрасными словами, но взглянувъ еще разъ на ея строгія и спокойныя черты, онъ откинулъ всякую мысль о кокетствѣ съ ея стороны, и сознался въ душѣ со вздохомъ, что сосѣдка его не совсѣмъ обыкновенная женщина, а слѣдовательно, и обыкновенная тактика съ нею будетъ неумѣстна.

И странно; она какъ будто угадала его мысли, потому-что сказала, измѣнивъ немного восторженныи тонъ на прежній, слегка проницескій:

— Не правдали, что вамъ также кажется напрасными словами все, что я теперь сказала? И я сознаюсь въ томъ, что они точно напрасны; но вспомните, вы сами добивались разговора со мною, и согласившись на это, я не могла же говорить съ вами о погодѣ, удобствахъ желѣз-

ныхъ дорогъ и печальныхъ окрестностяхъ, которыя глядятся теперь въ окна нашего вагона. Я предпочла непринужденную бесѣду о первомъ представившемся предметѣ. Мы такъ мало знаемъ другъ друга, что между нами не могло быть другихъ словъ, кромѣ напрасныхъ, но по-крайней-мѣрѣ не приторныхъ. Въ водевиляхъ и драматическихъ пословицахъ, которыя нынче въ такой модѣ, послѣ первыхъ словъ знакомства между молодымъ человѣкомъ и женщиной всегда начинается разговоръ о чувствахъ, о таинственномъ влеченіи двухъ душъ, рожденныхъ другъ для друга; но я слишкомъ хорошаго мнѣнія объ васъ, и не думаю, чтобы вы любили водевили. Надѣюсь также, что и меня вы не сочтете за странствующую героиню какой-нибудь драматической пословицы.

— Помилуйте! отвѣчалъ Зерницкій, наклоня голову довольно низко, чтобы скрыть легкое смущеніе.

— Къ тому же я совсѣмъ не такъ молода, чтобы занимать роли героинь, — продолжала весело сосѣдка. Мнѣ тридцать пять лѣтъ, а со смертью Бальзака кончились въ литературѣ все апотеозы сорокалѣтнихъ красавицъ. Только его гешій могъ сдѣлать интересною женщину этихъ лѣтъ. Неблагодарныя женщины, мы и не подумали воздвигнуть ему памятникъ, въ награду за одинъ изъ самыхъ смѣлыхъ подвиговъ, о которыхъ когда-нибудь упоминалось въ исторіи!

Сосѣдка говорила это такъ весело, такъ спокойно, что сосѣдь не могъ не разсмѣяться, и даже не подумалъ возражать извѣстными фразами объ осени, которая часто бываетъ гораздо лучше лѣта, о томъ, что опытность предпочтительнѣе невинности, что женщины бываютъ всегда столько лѣтъ, сколько кажется на лицо, и прочее. Онъ даже не сталъ вступаться за Бальзака и его героинь, а началъ, напротивъ, говорить, что ея теорія напрасныхъ словъ, хотя совершенно вѣрная въ основаніи, неудобопримѣнима къ настоящему случаю ихъ знакомства, что въ вагонѣ желѣзной дороги нельзя все читать, или дремать, и что разговоръ съ сосѣдомъ, какой бы онъ ни былъ — и разговоръ и сосѣдь, — потому уже не напрасенъ, что избавляетъ отъ скуки и помогаетъ сокращать время. Въ доказательство всего сказаннаго, онъ замѣтилъ сосѣдкѣ, что едва начавъ разговоръ, они уже проѣхали еще цѣлую станцію въ восемнадцать съ половиною верстъ, и что теперь настоящая пора завтракать, тѣмъ болѣе, что они остаются цѣлые четверть часа на этой станціи.

СТАНЦІЯ ТРЕТЬЯ.

Сосѣдка Зерницкаго вышла съ нимъ на галерею, но отказалась завтракать; онъ остался подлѣ нея. Они походили съ четверть часа по галереѣ, поговорили о Петербургѣ, о Москвѣ. Изъ разговора, Зерницкій узналъ, что его сосѣдка постоянно живетъ въ своей подмосковной деревнѣ, что въ Петербургѣ пріѣзжала повидаться съ родными и взглянуть на городъ, въ которомъ давно не была, и что теперь возвращается въ деревню, откуда уже, вѣроятно, не скоро выѣдетъ. Звонокъ не прерывалъ ихъ разговора, и они вернулись на свои мѣста, продолжая бесѣду, какъ двое старинныхъ знакомыхъ.

— Мы, кажется, ѣдемъ уже пятую станцію, сказала сосѣдка, когда паровозъ снова двинулся впередъ.

— Для меня это всего третья, отвѣчалъ Зерницкій: на первой мы познакомились, на второй вы оставили ваше предубѣжденіе противъ меня, и мы немного сблизились; на третьей сближеніе наше, повидимому, продолжается.

— Стало-быть вы не считаете тѣхъ станцій, на которыхъ скучали? спросила сосѣдка, улыбаясь.

— Я считаю только то, что приноситъ мнѣ удовольствіе. Зачѣмъ припоминать время, въ которое было скучно?

— Затѣмъ, чтобы настоящее было для насъ еще пріятнѣе, когда мы сравнимъ его съ прошедшимъ.

Это были первые слова сосѣдки, въ которыхъ было что-то похожее на кокетство. Высказывалось ли, наконецъ, въ ней противъ воли женское чувство, или она съ намѣреніемъ, для какой-нибудь цѣли, хотѣла казаться любезнѣе, Зерницкій не могъ рѣшить этого, но во всякомъ случаѣ мысленно дѣлъ себѣ слово быть какъ можно осторожнѣе съ этой женщиной, которая, привлекая его къ себѣ оригинальностью сужденій, въ тоже время пугала и отталкивала холоднымъ умомъ.

Онъ рѣшился, однакоже, изучить эту женщину сколько можно ближе и подробнѣе. Съ этой цѣлью онъ свелъ разговоръ на самые отвлеченные предметы, началъ говорить объ исторіи, философій, политикѣ. Сосѣдка все знала, все читала, обо всемъ имѣла понятіе, обо всемъ судила метко, здраво, вѣрно, хотя и не всегда согласно съ общими понятіями. Познанія ея въ литературѣ еще болѣе удивили его. Она читала почти все, чѣмъ гордится человѣчество, знала всѣхъ великихъ писателей древности и современнаго міра. Но и въ оцѣнкѣ этихъ лицъ, ея мнѣнія часто рѣзко противорѣчили общепринятымъ. Печать оригиналь-

наго сужденія, не слишкомъ довѣряющаго авторитетамъ, но выработанаго долгимъ сужденіемъ, лежала на мнѣніяхъ сосѣдки. Зерницкій не замѣтилъ, какъ они проѣхали еще одну станцію и подъѣзжали къ седьмой.

Среди самаго одушевленнаго разговора о вліяніи Диккенса и Теккерея на французскую литературу, сосѣдка вдругъ спросила Зерницкаго:

— Сколько станцій еще намѣрены вы продолжать вашъ экзамень? Мы сейчасъ остановимся на седьмой.

— Если вамъ такъ непріятенъ этотъ экзамень, зачѣмъ вы отвѣчаете мнѣ? сказалъ Зерницкій, на котораго очень непріятно подѣйствовалъ вопросъ и тонъ сосѣдки.

— Затѣмъ, что меня забавляютъ ваши разспросы. Вы такъ удивляетесь тому, что я кое-что знаю и кое-что читала, и я старалась нарочно собрать въ памяти какъ можно больше самыхъ скучныхъ, но зато и самыхъ глубокомысленныхъ фразъ, чтобы еще больше васъ озадачить.

— Стало-быть, я недоженъ вѣрить искренности вашихъ сужденій о писателяхъ? спросилъ съ досадою Зерницкій. Стало-быть, вы сами не вѣрите ничему, что говорили о значеніи литературы, о степени значенія ея въ современномъ обществѣ?

— Я говорила, конечно, что думаю; но могу ли поручиться, что буду всегда такъ думать, когда прежде, въ молодые годы, думала ужъ конечно иначе? Къ тому же вы спрашивали меня о многомъ, чего я давно не перечитывала и о чемъ говорила только на основаніи старинныхъ впечатленій. Какую же цѣну можно приписывать нашимъ сужденіямъ, когда мы сами не увѣрены: искренни ли они? Увлеченные вашимъ удивленіемъ, вы даже не замѣтили, что я часто противорѣчила себѣ, тогда какъ вы не брали на себя труда сдѣлать мнѣ хоть одно возраженіе. Не доказываетъ ли это, что вы сами не имѣете твердыхъ убѣжденій въ литературѣ?

Сосѣдка говорила эти слова уже не съ проніей, но скорѣе съ пренебреженіемъ, съ равнодушіемъ. Зерницкій не могъ придти въ себя отъ досады и удивленія отъ такой неожиданной перемѣны, ничѣмъ не вызванной и необъяснимой. Собравшись съ духомъ, онъ отвѣчалъ довольно рѣзко:

— Послѣ собственнаго сознанія въ шаткости вашихъ мнѣній, мнѣ конечно не остается ничего больше, какъ перестать разспрашивать васъ объ этихъ мнѣніяхъ. Вѣрю, что вопросы мои могли показаться вамъ неумѣстными, но думаю, что вы могли бы мнѣ замѣтить это, не уничто-

жая во мнѣ довѣренности къ вашимъ словамъ, которымъ я имѣлъ неосторожность вѣрить и удивляться.

И прежде чѣмъ она могла что-нибудь отвѣчать, онъ поклонился ей и вышелъ на галерею Грядской станціи.

Скорыми шагами мѣрилъ онъ галерею, стараясь дать себѣ отчетъ въ своихъ мысляхъ и чувствахъ, думая объ этой женщинѣ, которая, кажется, приняла твердое, намѣреніе бѣсить его сначала своимъ молчаніемъ, потомъ своими словами.

— Что-же это такое? разсуждалъ онъ самъ съ собою. Дѣйствительно ли это капризная, безхарактерная женщина, или все это только комедія разсчитаннаго кокетства? Но съ какой цѣлью вздумалось ей смѣяться надъ собою? Не могла-же она думать, что это мнѣ понравится. Напротивъ, она очень хорошо понимала, что ея слова возбуждаютъ меня противъ нея. Зачѣмъ же она говорила все это? Какъ понять ее?.. Но какое мнѣ дѣло до ея словъ и до нея самой? Развѣ мое желаніе сблизиться съ нею не было также прихотью, капризомъ? Конечно, она женщина очень интересная, умная, но есть-ли какая-нибудь возможность переносить хладнокровно эти переходы отъ вниманія къ насмѣшкѣ, отъ довѣрчивости почти къ оскорбленію? Къ тому-же, какъ ни старается она выдавать себя за аристократку, но сильно смахиваетъ на авантюристку... Она вовсе не хороша собою, и если сама говоритъ, что ей тридцать пять лѣтъ, то навѣрно ей больше сорока пяти. Чѣмъ больше я обдумываю ея слова, тѣмъ яснѣе вижу, что она просто хотѣла посмѣяться надо мною. Смѣшно было бы мнѣ сердиться на это. Но я не долженъ также, какъ прежде, оказывать ей вниманіе. Всего лучше не говорить съ нею ни слова. До Малой-Вишеры нѣтъ и двадцати верстъ; буду читать все это время, потомъ пообедаю на станціи и постараюсь послѣ обѣда продремать три, четыре станціи. Вечеромъ начну разговоръ съ какимъ-нибудь сосѣдомъ... Я могу даже перемѣнить мѣсто, если мнѣ очень надоѣстъ моя сосѣдка.

Принявъ такое благоразумное рѣшеніе, Зерницкій вернулся въ вагонъ съ довольнымъ видомъ, и усѣлся на мѣсто, напѣвая слегка какую-то итальянскую арію. Потомъ онъ досталъ свою книгу, совершенно было позабытую, и началъ читать ее съ самымъ глубокомысленнымъ выраженіемъ. Взглянувъ вскользь на сосѣдку, онъ замѣтилъ, что и у нея лежала на колѣняхъ книга, но она не читала ее, а смотрѣла въ окно, опершись локтемъ въ колѣно, положивъ подбородокъ на ладонь этой руки. Зерницкій улыбнулся этому непринужденному, но и не граціозному положенію.

Черезъ нѣсколько минутъ онъ даже довольно громко разсмѣялся; потомъ стумѣлъ какъ-то особенно громко повернуться на своемъ мѣстѣ. Все было напрасно, — сосѣдка не обращала на него вниманія.

Тогда ему стало совѣстно передъ самимъ собою. Онъ глубоко опустился въ свое кресло и принялся за чтеніе. Съ чрезвычайнымъ усиленіемъ прочелъ онъ двѣ страницы, и сталъ опять думать:

«Что это какъ странно въ человѣкѣ! Рѣшительно — главное свойство его характера — упрямство. Чтобы поставить на своемъ, или переупрямить другаго, человѣкъ рѣшается на самые трудные, невозможные подвиги. Въ иномъ и любовь больше ничего, какъ упрямство: самъ не очень любитъ, а не хочетъ, чтобы полюбили кого-нибудь, кромѣ его. А въ мою сосѣдку должно быть многіе влюблялись. Любила ли только она сама—это сомнительно.»

И Зерницкій долго думалъ все о томъ же; мысли его кружились около одного предмета. Нѣсколько разъ сердился онъ на себя за это; насильно заставляя себя думать о другомъ, но мысли все-таки переходили вскорѣ-же на сосѣдку. Молодой человѣкъ негодовалъ на слабость своего характера; это также ничему не помогало.

Кое-какъ время протянулось до слѣдующей станціи. Зерницкій опрометью бросился изъ вагона, вздыхая радостно, и усѣвшись за столъ, началъ обѣдать. Вскорѣ однакоже онъ замѣтилъ съ удивленіемъ, что аппетитъ его вовсе не такъ великъ, какъ это казалось ему сначала. Не истребивъ и половины потребованнаго имъ обѣда, онъ всталъ изъ-за стола въ сильной задумчивости, и началъ прохаживаться по галереѣ, закуривъ папироску.

Проходя мимо своего вагона, онъ заглянулъ въ окно его, и увидѣлъ, что сосѣдка, оставшись на своемъ мѣстѣ, вынула изъ дорожнаго мѣшка нѣсколько бутербродовъ и кушала очень аппетитно. Потомъ она достала апельсинъ, очень акуратно очистила его и съѣла. Зерницкій съ особеннымъ вниманіемъ смотрѣлъ на это, какъ-будто сосѣдка дѣлала что-нибудь необыкновенное. Вдругъ глаза ихъ встрѣтились и ему стало стыдно за свое любопытство, тѣмъ болѣе, что дама разсмѣялась довольно громко.

— Вы любуетесь на мой аппетитъ? спросила она непринужденно, оправляя платье.

— Я удивляюсь, напротивъ, тому, что вы довольствуетесь такимъ скромнымъ обѣдомъ, отвѣчалъ онъ, покраснѣвъ отъ счастія, забывъ всю свою досаду, довольный тѣмъ, что она опять начала разговаривать съ нимъ.

— Я люблю хорошо пообѣдать, продолжала она, но очень прихотлива, и трактирные обѣды мнѣ не по вкусу. Поэтому я въ дорогѣ ѣмъ немного. А вы что-же, ужъ отобѣдали?

— Да, давно.

— Что-же такъ скоро?

— Я тоже мало ѣмъ въ дорогѣ, отвѣчалъ онъ не совѣмъ твердымъ голосомъ.

— Вотъ, кажется, первый предметъ, въ которомъ мы сходимся мнѣніями. Мы не скоро еще поѣдемъ?

— Черезъ четверть часа.

— Въ такомъ случаѣ, пройдемтесь немного по галереѣ. Я устала сидѣть.

И сосѣдка, выйдя изъ вагона, пошла подлѣ Зерницкаго скорою, но не совѣмъ граціозною походкою. Первымъ его движеніемъ было бросить въ траву папироску. Сосѣдка улыбнулась.

— Зачѣмъ вы не курите? сказала она. Не боитесь ли вы, что я упрекну васъ въ слабости характера и въ томъ, что вы не держите вашего обѣщанія?

— Я обѣщаль, конечно, не курить до Москвы, потому что надѣялся найти въ замѣнъ одного удовольствія — другое. А вы на прошлой станціи не только перестали разговаривать со мною, но насаждали мнѣ даже много неприятнаго.

— Позвольте вамъ замѣтить, что перестали разговаривать вы, а не я; вы, конечно, должны остаться недовольными моими словами, но вамъ слѣдовало или совершенно обидѣться ими, и не возобновлять со мной разговора, или не обращать на нихъ никакого вниманія, и продолжать заниматься мною — хоть бы отъ скуки.

— Позвольте и вамъ замѣтить въ свою очередь, что теперь разговоръ возобновили вы, а не я.

— Въ такомъ случаѣ вы бы должны были отвѣчать мнѣ сухо, отрывисто, неохотно.

— Я не могу этого сдѣлать, сказалъ Зерницкій съ одушевленіемъ. Чувствую, что не въ состояніи сердиться на васъ, что-бы вы мнѣ ни сказали.

Сосѣдка насмѣшливо посмотрѣла на сосѣда, и отвѣчала послѣ большаго молчанія:

— Вы, можетъ-быть, правы. Сердиться на кого-бы то ни было и за что-бы то ни было мнѣ всегда казалось страннымъ. Развѣ отъ насъ

зависитъ всегда угодить другому? А если насъ будутъ огорчать мелкія непріятности, что будемъ мы дѣлать въ минуты большихъ, истинныхъ несчастій?

— Я не считаю маленькою непріятностью — необходимость прекратить разговоръ съ вами, отвѣчала Зерницкій еще одушевленнѣе.

На этотъ разъ она посмотрѣла на него не иронически, но строго, и сказала холоднымъ тономъ:

— Если вы будете впадать въ сантиментальность, или патетизмъ, разговоръ нашъ прекратится самъ-собою.

— Вы ужъ черезъ-чуръ строги, замѣтилъ онъ съ неудовольствіемъ.

— А вы — слабы, отвѣчала она.

— Можетъ-быть. По-крайней-мѣрѣ я откровененъ. Если вы считаете оскорбленіемъ всякое слово, сколько-нибудь похожее на комплиментъ, то согласитесь, что вы въ этомъ случаѣ не походите нисколько на другихъ женщинъ. Я же не составляю исключенія изъ общаго правила и не могу говорить холодныя и рассчитанныя фразы женщинъ, сдѣлавшей на меня впечатлѣніе.

— А я не могу слушать любезностей, въ какой-бы формѣ онѣ не проявлялись. Стало-быть, разговоръ между нами будетъ не клеиться, и потому...

— Напротивъ, прервалъ Зерницкій, разговоръ будетъ преинтересный для меня, потому-что, — извините за откровенность, — въ васъ я встрѣтилъ новый, особенный родъ кокетства, котораго мнѣ еще не удавалось встрѣчать въ женщинахъ.

— Вы находите, что я кокетка? спросила она съ непритворнымъ удивленіемъ

— И имѣю дерзость утверждать это, отвѣчалъ онъ съ улыбкой. Доказательства мои будутъ очень ясны и просты. Что такое кокетство? Желаніе нравиться, произвести впечатлѣніе, заставить удивляться себѣ. Женщина достигаетъ этого различными способами. Есть кокетство красоты, кокетство граціи, кокетство наивности, кокетство чувства, даже кокетство ума; — въ васъ я вижу кокетство строгаго пуританизма. Вы хотите отличиться нетерпимостью права, какъ другіе хотятъ отличиться снисходительностью. Вы забываете, что крайности всегда неестественны и что онѣ все-таки обращаютъ на себя всеобщее вниманіе. Лучшее средство быть незамѣченнымъ — держаться середины.

Дама съ удивленіемъ посмотрѣла на Зерницкина, не подозрѣвая, что бы онъ могъ философствовать такъ разсудительно. Съ нимъ, правду ска-

зять, это и не часто случалось. Здравыя убѣжденія приходили къ нему временемъ, порывами, какъ всякое другое чувство. Онъ увлекался первою мыслью, минутнымъ впечатлѣніемъ, и отдавался ему весь, нераздѣльно; но пора увлеченія проходила, и онъ самъ не замѣчалъ, какъ его поступками начинало управлять уже совершенно другое чувство, часто совершенно противоположное. Такихъ характеровъ не мало; хорошее въ нихъ то, что увлекаясь сами, они часто увлекаютъ и другихъ, а въ нашъ вѣкъ, когда истинное увлеченіе такъ рѣдко, съ подобными людьми также пріятно встрѣчаться, какъ съ азіатцемъ среди какого-нибудь чиннаго европейскаго города.

Сосѣдка Зерницына не могла не согласиться отчасти съ его словами, и стала слушать его довольно внимательно, говорить съ нимъ не такъ разсѣянно. Усѣвшись на свои мѣста, они продолжали разговаривать въ вагонѣ, и бесѣда ихъ не прерывалась до слѣдующей станціи. Мы рѣшительно находимся въ затрудненіи передавать все подробности разговора между героями нашего разсказа. Можно пожалуй проговорить двадцать часовъ сряду, но если-бы какой нибудь досужій стенографъ и записалъ все эти разговоры, врядъ ли бы нашелся досужій читатель, который имѣлъ бы терпѣніе прочесть ихъ. Къ тому-же Зерницкій, передавшій намъ все подробности своего знакомства на желѣзной дорогѣ, самъ не могъ припомнить, о чемъ именно говорилось въ такое-то время. Онъ помнилъ только станціи, на которыхъ происходили главныя событія его исторіи и которыми мы раздѣлили нашъ однообразный разсказъ. Самыя событія для Зерницкаго заключались, конечно, въ различныхъ ощущеніяхъ, испытываемыхъ имъ въ глубинѣ своего сердца. Поэтому, переходя къ слѣдующей станціи, мы будемъ приводить только мѣста бесѣды, оставившія почему-нибудь сильное вліяніе на нашего героя, странную исторію котораго мы передаемъ въ назиданіе потомства.

СТАНЦІЯ ЧЕТВЕРТАЯ.

Было восемь часовъ; подъѣзжали къ Валдайской станціи; тихій и теплый вечеръ располагалъ къ лѣни, къ мечтательности; въ вагонѣ разговоры смолкали, или дѣлались откровеннѣе, задушевнѣе; иные пассажиры сладко дремали; даже паровозъ мчался впередъ не съ такимъ шумомъ, съ какимъ начиналъ свой путь; клубы дыма вырывались изъ трубы ровно, не порывисто, почти въ тактъ; колеса гремятъ по рельсамъ мѣрно,

почти гармонически. Тѣло нѣжилось, чувства успокоивались, душа отдыхала. Зерницкій говорилъ съ сосѣдкой о чувствахъ, весьма щекотливомъ предметѣ разговора между двумя мало знакомыми лицами и противъ котораго такъ вооружалась сосѣдка въ началѣ ихъ знакомства. Теперь она и сама не замѣтила, не могла бы дать отчета, какимъ образомъ непримѣтно заговорили они о любви. Дѣло шло сначала о такомъ важномъ, о такомъ серьезномъ предметѣ, какъ искусство; толковали о томъ, какая теорія справедливѣе: искусство для искусства, или искусство для добра. Странно было только, что Зерницкій поддерживалъ послѣднюю теорію, а сосѣдка защищала первую. Потомъ начали толковать о прекрасномъ и его значеніи въ искусствѣ; спорили о томъ, слѣдуетъ-ли отдѣлить это свойство отъ истиннаго, или первое только видоизмѣненіе послѣдняго: все ли истинное прекрасно, или на оборотъ: все ли прекрасное истинно? Вопросы старые, надъ разрѣшеніемъ которыхъ трудились всѣ мыслители и всѣ влюбленные, и которые всегда лучше рѣшались послѣдними, потому-что въ человѣкѣ диалектика сердца всегда выше эстетики ума. Отъ прекраснаго одинъ шагъ къ высшему проявленію его въ женщинѣ, и можно ли говорить о женской красотѣ и не сказать ничего о любви — этомъ естественномъ результатѣ чувства прекраснаго? Сосѣдка почувствовала всю опасность этого разговора, когда уже онъ зашелъ довольно далеко. Она хотѣла вдругъ переимѣнить его, но Зерницкій укрѣпился въ занятой имъ позиціи и не позволяя вытѣснить себя изъ нее, потребовалъ у своего противника яснаго и положительнаго отвѣта на вопросъ, какъ онъ понимаетъ любовь.

Это требованіе было высказано такъ твердо, съ такимъ жаромъ, что сосѣдка не могла даже улыбнуться настойчивости сосѣда, и отвѣчала почти съ досадою:

— Вопросъ вашъ довольно затруднителенъ. Я не профессоръ философіи, чтобы объяснять вамъ такое разнообразное и многосложное чувство, какъ любовь.

— Я и не требую отъ васъ опредѣленія любви, а хочу только знать, какъ вы понимаете, или какъ испытывали это чувство? Отказаться отъ отвѣта значить сказать, что вы никогда не знали его, и въ тоже время подать надежду, что вамъ могутъ его внушить. Учителемъ быть такъ пріятно, — и кто откажется отъ удовольствія передать и объяснить такое чувство, какъ любовь?

— Не считаете-ли вы меня новичкомъ въ любви? спросила сосѣдка съ какою-то странною улыбкою.

— Нѣтъ, но вы сами объявили, что вы и не профессоръ этого чувства.

— Поэтому-то я и не могу объяснить его. Если для того, чтобы узнать истинную любовь, надо любить не разъ, то для того, чтобы разобрать и оцѣнить ее какъ слѣдуетъ, не надо вовсе испытывать ее на практикѣ, а только изучить въ теоріи. Всякое сильное чувство мѣшаетъ анализу этого-же чувства. Кто хорошо понимаетъ любовь, — рѣдко чувствуетъ ее. Это тоже, что въ литературѣ; хорошій критикъ рѣдко бываетъ хорошимъ романистомъ. Авторъ романовъ — пристрастный судья въ критической оцѣнкѣ.

— Что-же вы въ любви: авторъ, или критикъ?

— Теперь я критикъ, и самый безпощадный.

— А прежде были авторомъ... снисходительнымъ?... я хотѣлъ сказать увлекательнымъ.

— Скорѣ увлеченнымъ, отвѣчала сосѣдка, задумавшись и не замѣтивъ маленькой дерзости сосѣдка. Только подъ условіемъ — перестать писать романы — можно узнать имъ цѣну, видѣть ясно всѣ ихъ недостатки.

— Развѣ въ романѣ любви нѣтъ хорошихъ сторонъ?

— Не каждому удается узнать любовь со всѣхъ ея сторонъ

— Это значить, что вы были несчастливы въ любви. Какой-же полководецъ, послѣ одной неудачи, отказывается отъ сраженія?

— Я не честолюбива и не хочу рисковать моимъ спокойствіемъ, чтобъ одержать невѣрную побѣду, которая во всякомъ случаѣ не принесетъ мнѣ никакого удовольствія.

— Развѣ неприятна самая борьба съ врагомъ. Что въ этомъ апатическомъ спокойствіи, убивающемъ душу и тѣло! Его могутъ прославлять только тѣ, которые не въ состояніи дѣйствовать... Я замѣчаю однакоже, что наши аллегорическія сравненія начинаютъ сильно напоминать языкъ отели Рамбулье и романовъ мадамъ Скюдери... Вотъ ужъ самыя напрасныя слова, какія только можно придумать. Ходить около словъ могутъ люди незнакомые между собою, а мы ужъ такъ хорошо знаемъ другъ-друга... Вы улыбаетесь? Развѣ вы находите, что я не правъ? Неужели мы могли-бы сойтись ближе, протанцовавъ десятокъ кадрилей, поговоривъ о новостяхъ въ общемъ салонномъ разговорѣ и встрѣчаясь на вечерахъ и утреннихъ визитахъ въ такъ называемомъ большомъ свѣтѣ?

— Вы правы, отвѣчала задумчиво сосѣдка. Можно видѣть почти всякій день человека и меньше знать его, нежели поговоривъ съ нимъ откровенно и непринужденно въ-продолженіе двухъ часовъ.

— Вотъ видите-ли, вы сами сознаетесь въ этомъ! вскричалъ ра-

достно Зерницкій. Я даже думаю, что мы не только хорошо знакомы, но даже довольно близки другъ къ другу. Поэтому я прямо дѣлаю вамъ вопросъ, къ которому шелъ въ началѣ разговора окольными путями: скажите мнѣ откровенно: любили-ли вы?

— Мнѣ тридцать-пять лѣтъ, отвѣчала улыгнувшись сосѣдка.

Оба замолчали; видно было, что Зерницкій готовился къ другому, болѣе важному для него вопросу, но не могъ вдругъ рѣшиться сдѣлать его. Наконецъ, съ непритворнымъ волненіемъ, глядя на сосѣдку, онъ сказалъ дрожащимъ голосомъ:

— Любите-ли вы теперь?

— Нѣтъ, отвѣчала она, спокойно глядя на сосѣда, съ обворожительной, но немножко лукавой и немного иронической улыбкой.

— О, благодарю васъ, вскричалъ онъ съ такимъ восторгомъ, съ такимъ движеніемъ, что визави ихъ, господинъ съ фляжкой черезъ плечо, по прежнему дремавшій все время, когда не прикладывался къ фляжкѣ, вдругъ проснулся и вытаращивъ посоловѣлые глаза, спросилъ:

— Чего изволите?

Зерницкій не видалъ и не слышалъ ничего; онъ смотрѣлъ на сосѣдку глазами, въ которыхъ выражались счастье, радость. Она сказала, понижая голосъ:

— Умѣрьте, пожалуйста, вашъ восторгъ и не обращайтесь на себя общаго вниманія. Чему вы такъ обрадовались?

— Какъ-же мнѣ не радоваться; вы сказали, что никого не любите.

— Что-же изъ этого?

— Какъ, что? Значитъ вы можете полюбить кого-нибудь?

— Вы думаете? спросила она, и на этотъ разъ ея улыбка сдѣлалась сардоническою и въ звукахъ голоса слышна была насмѣшка.

— Я убѣжденъ въ этомъ, продолжалъ Зерницкій съ возрастающимъ жаромъ. Что за жизнь безъ любви! Если вамъ и точно столько лѣтъ, сколько вы себѣ даете и чему никто не повѣритъ, взглянувъ на васъ, — все-таки вамъ еще не поздно любить. Если вы точно ищете спокойствія и оберегаете себя отъ этой страсти, боясь ея волненій, это также ничего не доказываетъ и ни къ чему не послужитъ: вы можете встрѣтить человѣка, который полюбитъ васъ сильно, искренно и котораго вы тоже полюбите, сначала хотя бы изъ благодарности, потому-что истинное чувство заразительно, и женское сердце, никѣмъ не занятое, не можетъ не отозваться на призывъ другаго сердца, которое бьется любовью.

— Очень можетъ-быть, что теорія ваша справедлива въ приложеніи къ другимъ женщинамъ, отвѣчала сосѣдка холодно и спокойно. Но, какъ вы могли замѣтить, я имѣю претензію не походить на обыкновенныхъ женщинъ. Легко можетъ-быть, что я ошибаюсь, или составляю исключеніе, только моя теорія любви разнится отъ вашей, и я тоже выскажу вамъ ее, какъ-бы она ни показалась вамъ странна.

— Я слушаю васъ съ нетерпѣніемъ.

— Напротивъ, слушайте съ терпѣніемъ и вооружитесь имъ сколько можете, а главное, помните, что своихъ мыслей я не выдаю за авторитетъ, и охотно сознаю, что онѣ ложны въ сравненіи съ общимъ мнѣніемъ. Онѣ истинны только для меня, и дороги мнѣ какъ парадоксъ, изобрѣтенный нами, дорогъ намъ потому, что онѣ принадлежатъ собственно намъ, тогда какъ истина—достояніе цѣлаго міра.

Она замолчала на минуту, обдумывая что-то, и потомъ продолжала:

— Скажите мнѣ прежде всего, не мѣняли ли вы въ-теченіе вашей жизни, и по поводу различныхъ обстоятельствъ, вашей теоріи любви?

— Никогда! отвѣчалъ съ твердостью сосѣдь.

— Рѣдкое постоянство, сказала съ улыбкой сосѣдка. А сколько вамъ лѣтъ?

— Тридцать.

— Значитъ вы еще молоды, и успѣете переменить ваше мнѣніе, можетъ-быть даже нѣсколько разъ.

— Никогда! отвѣчалъ еще тверже сосѣдь.

— Чтобы ручаться въ этомъ, надобно много испытать и прожить, а въ васъ еще очень много восторженности и увлеченія. Не спрашиваю васъ: любили вы, но сколько разъ любили?

— Раза три... четыре, отвѣчалъ уже не такъ твердо Зерницкій.

— Не болѣе?... странно! Вѣрно память измѣняетъ вамъ, или вы считаете только сильныя страсти, продолжавшіяся годъ... даже можетъ-быть два.

— Вы смѣтаетесь надо мною! вскричалъ Зерницкій, совершенно теряя голову: но ваша холодность, ваши насмѣшки не переменяютъ моихъ чувствъ, и я все таки буду любить васъ...

Едва были произнесены эти слова, какъ экзальтація Зерницкаго простыла. Насмѣшливый и холодный тонъ сосѣдки заставилъ его позабыть благоразуміе, но едва странное признаніе вырвалось у него, какъ онъ поблѣднѣлъ и поднялъ на сосѣдку взглядъ, полный безпокойства и мольбы. Въ головѣ его мелькнула мысль, что она тотчасъ же отвѣ-

титъ ему гордымъ презрѣнiемъ, велить оставить ее и не говорить съ нею ни слова всю остальную дорогу.

Она однакоже сдѣла также спокойно, не измѣнивъ себѣ ни однимъ движенiемъ; ни одна черта не пошевельнулась на ея блѣдномъ лицѣ; на губахъ была таже полу-грустная, полу-ироническая улыбка; только въ глазахъ ея, устремленныхъ на сосѣда, мелькнуло какое то невольное чувство, похожее на сожалѣнiе. Наконецъ, она сказала тѣмъ же звучнымъ голосомъ, отзывавшимся чѣмъ-то металлическимъ:

— Испугъ вашъ доказываетъ, что если у васъ немножко вѣтренная голова, зато неиспорченное сердце. Донъ-Жуанъ не сдѣлалъ-бы такого скорого признанiя, или, по-крайней-мѣрѣ, не испугался бы его. Оно доказываетъ вашу неопытность. Развѣ и безъ него я не знала, къ чему вели все ваши допросы, перифразы и *напрасныя слова*? Вы забыли, что женщины часто боятся больше названiя чувства, нежели самого чувства...

— Такъ вы поняли, что я полюбилъ васъ! вскричалъ Зерницкiй, переходя отъ опасенiя къ новому, сильнѣйшему восторгу. Вы знали это, и не сердитесь на меня, прощаете мое признанiе?... позволяете любить васъ...

— Полноте прервала сосѣдка тономъ, которымъ уговариваютъ блажнаго ребенка. Вы въ-самомъ-дѣлѣ теряете рассудокъ. Можно ли увлекаться до такой степени! И къ чему выводить изъ моихъ словъ то, чего я вовсе не говорила и не думала? Еслибы вы могли обсудить хладнокровно ваши собственные слова, то сами разсмѣялись бы признанiю, сдѣланному вами женщиноу, о которой вы ровно ничего не знаете...

— Но вѣдь вы свободны? спросилъ въ волненiи Зерницкiй.

— Вы только теперь вздумали сдѣлать мнѣ этотъ вопросъ.

— Ради Бога, отвѣчайте, не мучьте меня!

— Я не замужемъ.

— Вы дѣвица?

— Нѣтъ, и не дѣвица.

— Стало-быть, вдова!

— Стало-быть! отвѣчала съ улыбкой сосѣдка.

— О! это все-равно! сказалъ съ жаромъ сосѣдъ.

— Какъ, все-равно?

— Я хочу сказать, что мнѣ все-равно, кто-бы вы ни были. Это не помѣшаетъ мнѣ любить васъ.

— Вы никакъ не хотите взять назадъ ваше признанiе?

— Ни за что на свѣтѣ.

— Не мѣшало бы, я думаю, въ такомъ случаѣ спросить, по-крайней-мѣрѣ, имя обожаемаго предмета, если вы совершенно равнодушны къ его званію и состоянію.

— О! вы скажете мнѣ это имя, чтобы я могъ повторять его каждую минуту.

— Покорно васъ благодарю. Я вовсе не хочу, чтобы всѣ пассажиры въ нашемъ вагонѣ знали, какъ меня зовутъ.

— Я буду произносить такъ тихо это дорогое имя, что никто не услышитъ его. Скажите же, скажите, скорѣе.

— Меня зовутъ Марьей Михайловной.

— Какое прекрасное имя! Марія! Marie!

— Отчего же ужъ не Мери; нынче англійскій языкъ въ модѣ, и имена можно подобрать лучше къ этому имени, если вы вздумаете писать стихи, что говорятъ, бываетъ неизбежно въ подобной болѣзни... замѣтите, однакоже, что я не безъ причины назвала себя по имени и отчеству. Вы теперь говорите не стихами, а въ обыкновенномъ разговорѣ необходимо соблюдать приличія, которыхъ требуютъ общество и грамматика.

— Простите меня, но у васъ такое прекрасное имя...

— Вы находите? Вкусы бываютъ разные. Мнѣ говорилъ одинъ близкій человѣкъ, что очень недоволенъ моимъ именемъ, потому что имъ называютъ... не однихъ женщинъ.

— Какой это вандалъ могъ сдѣлать подобное замѣчаніе?

— Мой покойный мужъ! отвѣчала сосѣдка.

Сосѣдь сконфузился и пробормоталъ что-то о томъ, что покойникъ былъ неправъ, и что имя это невиновато, если въ простонародьи называютъ имъ—Богъ знаетъ кого. Сосѣдка прервала извиненія ироническимъ вопросомъ:

— По чувству симпатіи, которая должна быть между нами, васъ, вѣроятно, зовутъ Василиемъ?

— Нѣтъ, къ несчастью, Александромъ.

— Какъ, къ несчастью. Вѣдь такъ звали великаго героя древности. Впрочемъ, и у него было тоже отчество. Можетъ-быть и вы также Филиппычъ?

— Нѣтъ, Иванычъ! отвѣчалъ со вздохомъ сосѣдь.

— И объ этомъ нечего вздыхать. Вѣдь вы не Иванъ, а только, Иванычъ.

— Вы все шутите и смѣетесь! вскричалъ въ отчаяніи Зерницкій, тогда какъ я схожу съ ума.

— Я это вижу, и потому, чтобы успокоить васъ, скажу, наконецъ, что думаю о любви вообще, и объ вашей въ-особенности. Вы помѣшали мнѣ сдѣлать это нѣсколько минутъ тому назадъ. Теперь, послѣ вашего признанія, мои слова могутъ служить на него отвѣтомъ.

— Теперь они будутъ напрасны, вскричалъ Зерницкій, въ сильномъ увлеченіи. Что-бы вы мнѣ ни сказали,—я заранѣе увѣренъ, что чувство мое не измѣнится. Къ тому же, что можете вы сказать обо мнѣ и о васъ самихъ? Я все знаю, или, по-крайней-мѣрѣ, угадываю заранѣе.

— Въ-самомъ-дѣлѣ? Это очень любопытно, если вы все угадали. Говорите мнѣ, пожалуй, сами все, что я, по вашему мнѣнію, могла бы сказать вамъ. Я буду только дополнять, или опровергать ваши слова. Это будетъ даже лучше, потому-что избавитъ меня отъ монолога. Я вообще больше люблю отвѣчать, чѣмъ рассказывать. Начните съ того, что я думаю объ васъ и о вашей любви, а потомъ окончите тѣмъ, что вы думаете обо мнѣ.

— Извольте. Во-первыхъ, вы считаете меня вѣтренымъ, безхарактернымъ, влюбчивымъ человѣкомъ, которому довольно увидѣть первую встрѣчу, чтобы сдѣлать ей признаніе. Такъ-ли?

— Согласитесь, что довольно трудно было-бы составить объ васъ противоположное мнѣніе.

— Вѣрю, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы такой человѣкъ не могъ любить сильно, искренно, чтобы такого человѣка нельзя было полюбить. Вы не вѣрите любви, раждающейся мгновенно, съ перваго взгляда?

— Не вѣрю! отвѣчала спокойно Марья Михайловна.

— И я тоже, но я вѣрю сочувствію, сродству душъ, магнетическому влеченію, назовите какъ хотите это чувство, которое вдругъ, неожиданно пробуждается въ сердцѣ и говоритъ намъ при видѣ его избраницы: вотъ та, которую ты долженъ полюбить.

— И вамъ часто говорилъ это таинственный голосъ?

— Я слышу слова его въ первый разъ. Я говорилъ вамъ, что уже не разъ любилъ въ жизни, то-есть мнѣ казалось, что я любилъ. Потребность любви такъ сильна въ нашемъ сердцѣ, что мы часто принимаемъ за любовь самое непоэтическое чувство. Мнѣ всегда казались странны люди, думающіе, что они непременно съ перваго раза найдутъ истинную любовь. Конечно, иногда она, точно, угадывается, по инстинкту, но всего чаще надо долго отыскивать ее, изучать, испытывать, и, можетъ-быть, не разъ ошибаться, прежде чѣмъ встрѣтишь то, чего

ищешь. Лица, довольствующіяся первымъ чувствомъ, которымъ шевельнется ихъ сердце,—не понимаютъ истинной любви. Они счастливы по своему и любятъ часто даже всеми способностями души и сердца, какъ только могутъ любить; они не виноваты, если не могутъ любить иначе, сильнѣе, не понимаютъ другой любви. Видя ее въ другихъ, они называютъ это чувство преувеличеннымъ, неестественнымъ, даже болѣзненнымъ; самые снисходительные изъ нихъ признаютъ только, что есть разные роды любви, разные степени. Случается и одному человѣку узнать эти степени; но если въ немъ развита жажда истинной любви, внутренний голосъ будетъ всегда говорить ему: это не граница чувства, есть что-то высшее и лучшее. Можетъ онъ и не найти этого лучшаго чувства, тогда стремленіе къ нему отравитъ всю жизнь его, сдѣлаетъ его грустнымъ, скучнымъ, недоувѣрчивымъ. Можетъ-онъ и заглушить въ себѣ это стремленіе житейскими занятіями и удовольствіями, закрутитъ въ нихъ, но горе ему, если онъ когда-нибудь встрѣтитъ осуществленіе своего забытаго идеала, если уже поздно почувствуетъ и узнаетъ, какъ-бы онъ могъ быть счастливъ, когда бы упорно преслѣдовалъ свою мечту и не довольствовался мелкимъ, обыденнымъ счастьемъ, которое самъ избралъ себѣ на долю.

— Все это можетъ-быть очень справедливо и очень краснорѣчиво, но къ чему вель весь этотъ монологъ?

— Къ тому, чтобы сказать вамъ, что если я ошибался не разъ въ жизни, въ погонѣ за счастьемъ и за истинною любовью, то не допускалъ себя довольствоваться призракомъ любви, и предлагаю вамъ сердце, способное истинно любить и сильно чувствовать.

— По вашей теоріи, таинственное сочувствіе душъ, назначенныхъ породниться между собою, вѣроятно, обоюдно, и я, слѣдовательно, необходимо должна чувствовать къ вамъ тоже самое, что и вы ко мнѣ?

— Вы почувствуете это, когда ближе узнаете меня и убѣдитесь въ истинѣ моей любви. Теперь, вы, конечно, можете сомнѣваться въ моихъ словахъ, тѣмъ болѣе, если также обманывались въ вашей жизни. А я увѣрена, что вы до-сихъ-поръ не находили истинной любви.

— Это правда, отвѣчала задумчиво сосѣдка. И потому-то, можетъ-быть, я не понимаю ее и не вѣрю ей.

— Вы убѣдитесь въ этомъ.

— Трудно. Годы доувѣрчивости прошли. Теперь, еслибы я и захотѣла увлекаться, то уже не могу.

— Вы были несчастливы въ вашей супружеской жизни? Неправда-ли.

— Да.

— Вышли замужъ противъ желанія, можетъ-быть любя другаго?

— Нѣтъ; я тогда не понимала даже, что-такое любовь. Я вышла замужъ шестнадцати лѣтъ, для того, чтобы поскорѣ надѣть чепчикъ и взбѣсить одну изъ моихъ подругъ, которая была лучше, богаче меня и всегда говорила, что выйдетъ замужъ раньше меня.

— И потомъ вы полюбили другаго? И онъ не стоилъ вашей любви?

— Я овдовѣла двадцати-четырехъ лѣтъ и любила троихъ.

— То-есть, думали любить, если не вышли ни за одного изъ нихъ.

— Одинъ изъ нихъ любилъ меня отъ скуки, изъ тщеславія, какъ свѣтскую женщину; я скоро поняла его, да онъ и не скрывалъ того, что любовь была для него пріятнымъ развлеченіемъ въ жизни, не болѣе. Но мнѣ было очень трудно оставить, забыть его. Онъ былъ такъ хорошъ въ своемъ откровенномъ, ничѣмъ не возмутимомъ эгоизмѣ. Онъ говорилъ такъ спокойно и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ убѣдительно о томъ, что въ любви не должно быть ни горя, ни тревожныхъ волненій, что чувство это должно, напротивъ, успокоивать, убаюкивать сердце... Я долго горько плакала объ немъ, и въ безсонныя ночи его прекрасный, вѣчно улыбающійся образъ части являлся передо мною съ своею любимою фразою: «Не вѣрьте госпожѣ Сталь: любовь эгоизмъ не вдвоемъ, а въ одиночку.»

Марья Михайловна замолчала на минуту, взволнованная воспоминаніями. Зерниціи смотрѣлъ на нее съ любовью и участіемъ.

— Кого же любили вы послѣ? спросилъ онъ, видя, что она не возобновляетъ разговора.

— Послѣ? повторила она, выходя изъ задумчивости и откидывая назадъ свою голову, какъ-будто страдая тяжелыя думы. Объ этомъ мы поговоримъ послѣ, а теперь дайте мнѣ вашу руку и прогуляйтесь по галереѣ, потому-что мы пріѣхали на станцію. Вечерній воздухъ освѣжитъ немножко вашъ жаръ и успокоитъ взволнованныя мысли.

Онъ вздохнулъ и молча помогъ ей выйти изъ вагона на галерею.

СТАНЦІЯ ПЯТАЯ.

Подъѣзжали къ Бологовской станціи. Оставалась половина дороги. Чѣмъ дальше отъѣзжали отъ Петербурга, тѣмъ темнѣе становилось на дорогѣ. Большую часть пассажировъ совершенно осилила дремота и

усталость Визави Зерницкаго только въ просонкахъ цѣловался съ фляжкой. Пьеръ и Поль даже храпѣли. Ихъ убаюкала впрочемъ не одна усталость, а скорѣе безцвѣтная жидкость, къ которой они прибѣгали на каждой станціи, «для подкрѣпленія силъ.»

Усѣвшись на свое мѣсто, Зерницкій воспѣшилъ возобновить разговоръ, которой такъ интересовалъ его. Марья Михайловна рассказала, не совѣмъ охотно однакоже, исторію двухъ остальныхъ своихъ привязанностей. Первую почувствовала она къ одному бѣдному молодому художнику, который расточалъ ей самыя пламенные фразы, и въ награду за то, что она спасла его отъ нищеты, доставила ему извѣстность и средство къ жизни, женился на одной дамѣ, извѣстной почти всей Москвѣ и въ молодости танцовавшей польку въ балаганахъ на масляницѣ. Наконецъ, третья любовь сосѣдки былъ одинъ не очень молодой и весьма не свѣтскій человѣкъ, но очень умный, которій былъ искренно къ ней привязанъ, но потомъ откровенно признался, что разлюбилъ ее, по свойству—ли своей природы, по общему—ли закону, или, наконецъ, по стеченію другихъ обстоятельствъ.

— Признаюсь вамъ, говорила сосѣдка : потеря этой любви сильнѣе всего огорчила меня, и я долго не могла придти въ себя отъ этого послѣдняго удара. Хорошо еще, что разрывъ между нами былъ возможенъ, и насъ не связывали никакія узы. Я не обвиняла его, потому что знала, какія обстоятельства сблизили его съ другой женщиной, какъ сильно она полюбила его. Онъ поступилъ благородно, не обманывая меня ни одной минуты. Мы разстались друзьями, я еще долго любила его, — и мнѣ до-сихъ-поръ пріятно встрѣчаться съ нимъ.

— Это не тотъ-ли самый господинъ, съ которымъ вы такъ жарко разговаривали на станціи желѣзной дороги въ Петербургѣ? спросилъ Зерницкій не совѣмъ спокойно.

— Тотъ самый. Странно, что вы замѣтили это.

— Можетъ-быть внутренній голосъ говорилъ мнѣ, что этотъ господинъ будетъ мѣшать моему счастью, потому что вы, вѣроятно, любите его до-сихъ-поръ, хоть немного.

— Я не могу любить напрасно и безнадежно и не понимаю любви безъ взаимности, отвѣчала Марья Михайловна. Мнѣ случалось слышать и читать въ романахъ о примѣрахъ вѣчной страсти, удивительнаго самоотверженія и самопожертвованія. Сознаю, что я не способна жертвовать собою.

— Это все оттого, что вы не любите истинно, сказалъ спокойно Зерницкій.

— Вы однакоже настойчивы въ вашихъ мнѣніяхъ.

— Потому-что я твердо убѣжденъ въ ихъ справедливости. Вы думаете иначе. Это также понятно послѣ того, что я знаю изъ исторіи вашей жизни. Но мнѣнія ваши могутъ измѣниться. Я берусь переубѣдить васъ.

— Въ-самомъ-дѣлѣ? Значитъ вы не отказываетесь отъ вашего намѣренія, и попрежнему предлагаете мнѣ ваше сердце, послѣ того, что узнали обо мнѣ?

— Я не вижу въ вашей исторіи ничего, что бы могло заставить разлюбить васъ. Еслибы въ жизни вашей было еще болѣе ошибокъ и заблужденій — я-бы и тогда не могъ перемѣниться въ чувствахъ къ вамъ.

— Это очень благородно, но не совсѣмъ благоразумно. Любовь нераздѣльна съ уваженіемъ, и только такая парадоксальная писательница, какъ Жоржъ Зандъ, могла заставить такую сумасшедшую женщину, какъ Джульетта, любить такого негодяя, какъ Леоне Леони.

— Какое намъ дѣло до выдуманныхъ романовъ, когда нашъ собственный романъ такъ хорошъ и занимателенъ! И я увѣренъ, что васъ самихъ увлечетъ этотъ романъ, несмотря на всю вашу холодность и опытность.

— Вы думаете? повторила недовѣрчиво сосѣдка съ насмѣшливой улыбкой.

— Ручаюсь въ этомъ, если вы только позволите любить васъ и скажете мнѣ, когда убѣдитесь въ этой любви, и когда сами почувствуете ко мнѣ хоть что-нибудь похожее на любовь.

— Съ удовольствіемъ, если это только случится.

— Стало-быть, вы позволяете мнѣ всю остальную дорогу говорить вамъ о моей любви?

— Если это только не надоѣсть вамъ самимъ.

— Дѣлать предположенія о нашемъ будущемъ счастіи?

— Какія вамъ угодно...

— О! въ такомъ случаѣ — я самый счастливый человекъ на свѣтѣ!

— Эту фразу повторяютъ всѣ влюбленные печатно и словесно. Нельзя-ли придумать что-нибудь поновѣе?

— Къ чему? Любовь — все одна и таже съ сотворенія міра. Для чего же вы хотите, чтобы она выражалась не одними и тѣми же словами?

Марья Михайловна не отвѣчала. Она глубоко задумалась. Онъ молча любовался на нее, не смѣя прерывать ея мечтанія. Наконецъ, она сказала съ чувствомъ, съ участіемъ:

— Послушайте. Не смотря на вашу вѣтренность, въ васъ очень много хорошихъ сторонъ, и мнѣ жаль, что вы такъ заблуждаетесь, поступаете такъ опрометчиво и необдуманно въ такомъ важномъ вопросѣ. Я обязана открыть вамъ глаза, вылечить васъ отъ вашей сумасбродной страсти, и надѣюсь успѣть въ этомъ. Теперь остается ровно половина дороги. Если вы на послѣдней станціи подь Москвою будете также упорно пскать моей любви и руки,— я отдамъ вамъ мою руку. Не торопитесь благодарить и восхищаться. Прежде всего вы должны мнѣ дать слово — на этой же станціи подь Москвою, сказать откровенно—точно-ли тоже будетъ чувствовать ко мнѣ тамъ, что чувствуете теперь.

— Клянусь вамъ, и увѣренъ, что это чувство будетъ еще сильнѣе.

— Увидимъ.

— Но для того, чтобы заставить меня разлюбить васъ, вы, вѣроятно, не станете обвинять себя въ вымышленныхъ проступкахъ, выказывать такія черты характера, которыя вовсе вамъ несвойственны?

— Обѣщаю вамъ выказаться совершенно такою, какова я на-самомъ-дѣлѣ. Повѣрьте, что и это не легко сдѣлать женщиной. Вы знаете меня довольно для того, чтобы видѣть, какъ я ненавижу ложь и притворство. Если я не старалась представить себя съ лучшей стороны, то ни въ какомъ случаѣ не захочу добровольно выставлять и съ худшей. Я не оправдываю обмана даже и тогда, когда онъ сдѣланъ съ добрымъ намѣреніемъ, — въ этомъ случаѣ можно только извинить его, и это единственный случай, дающій вамъ право обвинить меня въ строгомъ цуританизмѣ. Если я не могу сказать правды, — то молчу и не позволяю себѣ лгать даже въ шутку.

— Въ такомъ случаѣ — я совершенно спокоенъ, и чувство мое къ вамъ не измѣнится.

— Слѣдовательно, съ будущей же станціи мы начнемъ разговоръ о томъ, какія свойства и условія необходимы для нашего счастья, и возможно-ли оно между людьми, у которыхъ, сколько мнѣ кажется, совершенно различные характеры, желанія, даже потребности.

Марья Михайловна исполнила свое намѣреніе и со слѣдующей же станціи начала дѣлать самыя откровенныя признанія, касающіеся ея характера, привычекъ и образа жизни. Нельзя было дѣйствительно сказать, чтобы эти привычки, этотъ характеръ могли понравиться Зерницкому; во многихъ случаяхъ онъ были совершенно противоположны его свойствамъ и взгляду на вещи. Онъ былъ довѣрчивъ, веселъ, говорливъ, энтузіастъ; она подозрительна, скучна, молчалива, холодна. Даже въ мнѣніяхъ о самыхъ важныхъ и необходимыхъ предметахъ они

совершенно расходились. Зерницкій ясно чувствовалъ, что въ основныхъ понятіяхъ въ семействѣ не должно быть разногласія.

Въ отношеніи къ матеріальнымъ потребностямъ, привычкамъ и образу жизни, разница между ними оказалась еще значительнѣе, и тутъ уже они рѣшительно не знали, какъ сойтись. Зерницкій жилъ въ Петербургѣ, въ кругу большого семейства, не отдѣленный отъ него, хотя и получалъ отъ отца очень порядочное содержаніе. Отецъ этотъ былъ человѣкъ, повидимому, весьма богатый, жилъ открыто, но даже сынъ не зналъ ничего навѣрное о его состояніи, основанномъ на разныхъ спекуляціяхъ и акціяхъ, приносившихъ не всегда вѣрные и постоянные доходы. Отецъ этотъ былъ шестидесятилѣтній, бодрый старикъ, имѣвшій, кромѣ нашего героя, еще троихъ сыновей и двухъ дочерей — невѣстъ; одна изъ нихъ была уже просватана. Старикъ очень любилъ Александра Иваныча, но не слишкомъ баловалъ его. Выйдя изъ вышшаго учебнаго заведенія, Александръ служилъ восемь лѣтъ самымъ усерднымъ и ревностнымъ образомъ, и только сильная глазная болѣзнь воспалительнаго свойства заставила его оставить службу и пролечиться годъ на минеральныхъ водахъ въ теплое климатѣ. Только въ началѣ этого года Александръ вернулся въ Петербургъ, совершенно впрочемъ выздоровѣвшій, и отецъ уже хлопоталъ, чтобы снова прискаты сыну мѣсто, которое ему даже было обѣщано къ началу зимы. Старикъ нѣсколько разъ говорилъ, что ему было бы очень пріятно видѣть старшаго своего сына женатымъ, но предоставлялъ ему въ этомъ случаѣ совершенную свободу выбора. Онъ обѣщалъ ему и послѣ брака производить тоже содержаніе, которое было впрочемъ не совсѣмъ достаточно для жизни въ Петербургѣ и на большую ногу, даже съ присоединеніемъ къ этому жалованья по службѣ. По смерти своей старикъ обѣщалъ заранѣе, раздѣлить *поровну* между всѣми дѣтьми — все, что послѣ него останется, но въ тоже время самъ совѣтовалъ не слишкомъ надѣяться на это наследство, потому-что недвижимостей у него не было, а движимаго не могло по его словамъ остаться много, потому-что онъ себѣ ни въ чемъ не отказываетъ, и наживъ все своими трудами, хочетъ также и самъ попользоваться нажитымъ добромъ. Старикъ даже говаривалъ иногда дѣтямъ, что дѣла его легко могутъ пойти плохо, и послѣ него можетъ ровно ничего не остаться, но что давъ дѣтямъ хорошее воспитаніе и приготовивъ для каждаго изъ нихъ карьеру въ жизни, онъ исполнилъ этимъ всѣ свои обязанности и они могутъ теперь сами трудиться и наживать деньги, какъ дѣлалъ это ихъ отецъ.

Въ отвѣтъ на это откровенное признаніе, Марья Михайловна рассказала также свое положеніе. Оно было не блистательное. У нея бы-

да, правда, деревня, которой было бы весьма достаточно, но на деревню эту имѣли притязанія разные родственники ея покойнаго мужа, съ которыми она вела процессъ уже девятый годъ. Это ей до того надоѣло, что она прїѣзжала въ Петербургъ нарочно для того, чтобы предложить ходатаю по ея дѣламъ помирить ее съ противной партіей, уступивъ ей хотя бы половину спорнаго имѣнія. Остальной половины было для нея довольно, чтобы прожить скромно всю жизнь, но непремѣнно въ деревнѣ, во-первыхъ потому, что петербургскій климатъ дѣйствуетъ вреднымъ образомъ на нервы, которыя у нея часто разстроены, а во-вторыхъ потому, что съ Петербургомъ соединены у нея тяжелыя воспоминанія ея несчастной семейной жизни, и что въ немъ живутъ лица, съ которыми ей не хотѣлось бы встрѣчаться, чтобы не поднимать воспоминаній прошедшей любви.

Зерницкій не на шутку задумался при этихъ дѣйствительно очень важныхъ препятствіяхъ къ устройству ихъ судьбы. Онъ былъ недоволенъ и процессомъ Марьи Михайловны, и ея уступчивостью противникамъ, и отказомъ жить въ Петербургѣ. Переселиться навсегда въ глушь деревни, отказаться отъ удовольствія свѣтской жизни, отъ блестящихъ надеждъ по службѣ казалось ему очень тяжело. Цѣлую станцію проговорилъ онъ съ Марьей Михайловной, придумывая разныя средства, какъ бы отстранить эти неудобства. Наконецъ онъ рѣшился переехать въ Москву жить, и служить тамъ. Сосѣдка согласилась на это, чтобы доказать ему, что и она съ своей стороны готова на всевозможныя уступки.

— Я не буду мѣшать вамъ выѣзжать въ свѣтъ и заводить знакомства. Но и мнѣ вы конечно разрѣшите жить сообразно съ моими привычками и характеромъ. Я не люблю общества, визитовъ, свѣтскихъ разговоровъ, публичныхъ увеселеній. Вы знаете мою теорію *напрасныхъ словъ*. Все, что я могу сдѣлать для васъ — это принять у себя въ домѣ вашихъ знакомыхъ. Сознаюсь, однакоже, что чѣмъ рѣже будутъ эти визиты, тѣмъ я буду довольнѣе. Зная приличія, я, конечно, не позволю себѣ ни малѣйшей неучтивости съ этими лицами, но увѣрена, что они сами не будутъ находить удовольствія въ бесѣдѣ со мною. Къ тому же частыя и шумныя увеселенія будутъ не совсѣмъ у мѣста въ такомъ домѣ, гдѣ будетъ жить такая трудная больная...

— Больная? Кто жъ это? спросилъ съ безпокойствомъ Зерницкій.

— Моя тетушка, бѣдная женщина, еще не старая, но уже одиннадцатъ лѣтъ лежащая въ параличѣ. Она воспитала меня, ходила за

мной какъ мать, когда я была ребенкомъ, — и теперь я обязана дѣлать тоже для нея, потому-что ея состояніе тоже ребячество. Она съ трудомъ произноситъ нѣсколько словъ, и не шевелитъ ни однимъ членомъ.

— Это очень благородно съ вашей стороны, сказалъ Зерницкій тономъ, отзывавшимся риторическою важностью. И кромѣ этой тетушки, съ вами не живетъ никто изъ вашихъ родныхъ?

— Изъ родныхъ нѣтъ, но для присмотра за больной есть у меня, конечно, женщина грубая, деревенская, которою я сама очень недовольна, потому-что она иногда очень много позволяетъ себѣ въ моемъ домѣ, но къ которой больная привыкла такъ, что безъ нея не можетъ обойтись. Живетъ у меня также моя старая няня, почти совсѣмъ слѣпая, но эта никому не мѣшаетъ, не страдаетъ и не стонетъ по цѣлымъ днямъ, что случается иногда съ тетушкою. Наконецъ, у меня есть также компаньонка, довольно смѣшная и даже отчасти несносная особа, но слишкомъ привязанная ко мнѣ, чтобы я могла когда-нибудь отказать ей отъ дому, тѣмъ болѣе, что она была моей гувернанткой въ послѣдніе годы моего дѣвчества. Она надобѣтъ вамъ страшно съ перваго свиданія своими претензіями на аристократичность и на литературу, своими жалобами на коварство людей; но къ ней можно скоро привыкнуть, и я бы даже радовалась ея присутствію въ домѣ, потому-что она все-таки приноситъ пользу, разливая, напримѣръ, чай, занимаясь хозяйствомъ, наблюдая за людьми и кухнею, предметы, о которыхъ я не имѣю никакого понятія и которыми терпѣть не могу заниматься. Но и ее и меня сильно связываетъ ея дочка, пятилѣтній ребенокъ, больной и капризный до крайности, избалованный матерью до того, что даже я теряю иногда терпѣніе и запираюсь по цѣлымъ часамъ въ своей комнатѣ, чтобы не слышать плача и крика блаженной дѣвочки.

— И къ вамъ рѣшительно никто не ѣздитъ въ гости, въ деревню? спросилъ Зерницкій, совершенно упавшій духомъ послѣ словъ сосѣдки.

— Никого, кромѣ моей племянницы и внуковъ, отвѣчала спокойно Марья Михайловна.

— Внуковъ? У васъ есть внуки? вскричалъ почти съ ужасомъ Александръ Ивановичъ.

— Какъ-же; сыновья дочери моей сестры, которая была старше меня тремя годами и тоже вышла замужъ года за три до меня. Только ея супружество было гораздо счастливѣе. Она жила съ мужемъ душа въ душу, выросила дочку и отдала ее замужъ шестнадцати лѣтъ — за прекраснаго человѣка. Тотчасъ же послѣ этого брака, внезапная смерть мужа свела и ее въ ранюю могилу. Она радовалась, умирая, что не

разстается съ тѣмъ, для кого только и жила на свѣтѣ. Мужъ моей племянницы тоже недавно умеръ, и она осталась вдовою съ двумя сыновьями, мальчиками четырехъ и трехъ лѣтъ, о которыхъ я также должна въ-послѣдствіи позаботиться и которые часто пріѣзжаютъ ко мнѣ съ ихъ матерью. Хотя я и не очень люблю дѣтскій крикъ и шумъ, особенно когда эти шалуны раздражаютъ дочку моей компаньонки, что почти всегда случается, — но согласитесь, что можно многое перенести для удовольствія слышать, какъ маленькія, веселыя существа называютъ меня *бабушкой*. Это такъ пріятно.

Зерницкій не отвѣчалъ. Сильно взволнованный всею, что слышалъ, онъ думалъ, что во всемъ этомъ удивительно какъ немного пріятнаго, и что все эти лица и сцены въ высшей степени не занимательны. Онъ попробовалъ, нельзя ли какъ-нибудь избавиться, хоть отъ нѣкоторыхъ изъ нихъ.

— Чтобы избѣжать ссоръ дѣтей, сказалъ онъ, нельзя ли дочку вашей компаньонки отдать куда-нибудь въ пансіонъ, или на воспитаніе.

— Она еще очень мала, и мать ни за что не захочетъ съ ней разстаться, а скорѣе оставитъ меня. Но вы понимаете, что я не могу допустить этого.

— Отчего же? осмѣлился замѣтить Александръ Ивановичъ.

Сосѣдка посмотрѣла на него съ достоинствомъ и отвѣчала рѣзкимъ тономъ:

— Если вы не понимаете того тонкаго оттѣнка чувства, той деликатности сердца, которая не позволяетъ мнѣ отпустить мою компаньонку, то мнѣ нечего и объяснять это.

— Положимъ, что компаньонка для васъ необходима, сказалъ со вздохомъ Зерницкій. Но нельзя ли отправить, по-крайней-мѣрѣ, больную старуху?

— Мою тетушку! вскричала съ ужасомъ Марья Михайловна.

— Нѣтъ, нѣтъ! вскричалъ, въ свою очередь, Александръ Ивановичъ, еще болѣе испугавшійся гнѣва сосѣдки. Я говорю не объ вашей родственницѣ, а объ этой — нянцѣ вашей что ли.

— Я почитаю ее также, какъ родную. Было бы безчеловѣчно отдавать на старости лѣтъ бѣдную женщину подъ присмотръ чужихъ людей, лишитъ ее тѣхъ удобствъ жизни, къ которымъ она привыкла и потеря которыхъ можетъ сократить ее дни.

— Но если она не понимаетъ сама своего положенія, и цѣлый день стонетъ и охаетъ?

— Это не моя няня, а тетушка, строго замѣтила сосѣдка.

— Ахъ, извините! я смѣшалъ эти два лица... И нѣтъ никакого средства улучшить положеніе вашей тетушки?

— Доктора говорятъ, что никакого. Разумѣется, несмотря на это, я при всякомъ удобномъ случаѣ совѣтуюсь со всеми новыми знамени- тостями и призываю на консилиумъ всѣхъ врачей, какіе проѣзжаютъ черезъ нашу деревню. До-сихъ-поръ, однакоже, отъ ихъ визитовъ и со- вѣтовъ было мало пользы, хотя по моей благодарности они могли бы видѣть, что я ничего не пожалѣю, чтобы только доставить ей облегче- ніе. Впрочемъ, если мы будемъ жить въ Москвѣ, то можемъ чаще приглашать врачей и совѣтоваться съ ними.

— Конечно! отвѣчалъ разсѣянно Зерницкій. А что, не говорили доктора, сколько еще лѣтъ можетъ прожить ваша тетушка въ такомъ положеніи?

Едва произнеся эти не совсѣмъ обдуманная слова, Александръ Ива- нычъ дорого далъ бы, чтобы воротить ихъ, такъ грозно посмотрѣла на него сосѣдка. Отвѣтъ былъ еще грознѣе.

— Ваши слова доказываютъ такую зачерствѣлость чувствъ, какой я даже не могла подозрѣвать въ васъ.

— Я бы хотѣлъ избавить васъ отъ малѣйшихъ огорченій и не- пріятностей въ жизни, отвѣчалъ не совсѣмъ кетати Зерницкій.

— Кто любитъ меня, долженъ любить всѣхъ и все, что я люблю, отвѣчала сухо сосѣдка.

— О! конечно! вскричалъ вновь разчувствовавшійся юноша, съ жа- ромъ наклоняясь къ рукѣ, которую однакожъ у него отняли.

Паровозъ остановился въ это время на Осташковской станціи.

СТАНЦІЯ ШЕСТАЯ.

Въ два часа десять минутъ ночи оставили Осташковскую станцію. Паровозъ шелъ впередъ съ акуратностію часовъ. Было темно и свѣжо, Зерницкій надѣялся, что тихая ночь расположить его сосѣдку къ болѣе мягкимъ и поэтическимъ ощущеніямъ, что разговоръ между ними сдѣ- лается откровеннѣе, нѣжнѣе, задушевнѣе... Онъ долженъ былъ, одна- коже, сильно разочароваться. Съ первыхъ словъ его о любви и чув- ствахъ Марья Михайловна начала очень аппетитно зѣвать, отвѣчала не впопадъ и разсѣянно; наконецъ, остановивъ Александра Иваныча въ са-

момъ краснорѣчивомъ мѣстѣ его монолога о томъ, что житейскія неприятности не должны мѣшать счастью двухъ сердець, сосѣдка вдругъ сказала ему самымъ не гармоническимъ голосомъ:

— Знаете-ли что: мнѣ очень пріятно слушать, что вы разсказываете, но еще пріятнѣе будетъ уснуть часа два. Теперь уже очень поздно, а дорога и долгая бесѣда до того утомили меня, что я и теперь сплю, отвѣчая вамъ. Видите ли, какъ я откровенна.

— Вижу, отвѣчалъ Зерницкій, пораженный въ самое сердце.

Сосѣдка начала спокойно укладываться на своемъ мѣстѣ, приняла комфортабельное, хотя и не очень граціозное положеніе. Два мѣста противъ нее были пусты, потому-что визави ея съ фляжкой черезъ плечо исчезъ еще на Бологовской станціи. Сосѣдка попросила Зерницкаго придвинуть немного стоявшую противъ нихъ скамейку, протянула ножки на нее, повернулась бокомъ къ Александру Иванычу и сказала ему, сквозь зѣвоту:

— Прощайте! Совѣтую и вамъ послѣдовать моему примѣру!

И вскорѣ же мѣрное, но не совсемъ звучное дыханіе сосѣдки убѣдило сосѣда въ томъ, что она уснула очень спокойно.

Онъ остался одинъ, въ темномъ углу вагона, со своими, печальными думами.

Думы эти въ-самомъ-дѣлѣ не могли быть утѣшительны. Припоминая всѣ подробности разговора съ Марьей Михайловной, Зерницкій рѣшительно упалъ духомъ, и будущее представилось ему вовсе не въ такой очаровательной картинѣ, какимъ казалось прежде. Чѣмъ болѣе обдумывалъ онъ свое положеніе, тѣмъ яснѣе видѣлъ всю его безвыходность. Онъ боялся сознаться самому-себѣ, къ какому результату долженъ былъ привести его безпристрастный анализъ его чувствъ. Жаль ему было его обманутыхъ надеждъ, несбывшихся ожиданій, неосуществившихся желаній.

Французская пословица говоритъ, что «ночь приноситъ совѣтъ», разумѣется хорошей; русская поговорка утверждаетъ, что утро вечера мудренѣе. Неутѣшительный совѣтъ принесла ночь Зерницкому; очень мудренія чувства пробудились въ немъ вмѣстѣ съ утромъ. Съ каждымъ новымъ лучемъ его испарялись въ сердцѣ Александра Иваныча восторженные надежды; идеаль счастья блѣднѣлъ и разсѣивался вмѣстѣ съ тѣнями ночи, убѣгавшими отъ востока къ зениту. Но тоска, невыразимая тоска сжимала его изнуренное сердце...

За Тверью онъ посмотрѣлъ пристально на сосѣдку, спавшую крѣпкимъ сномъ; но у него не достало духу долго смотрѣть на нее, и онъ

вышелъ на Завидовской станціи, чтобы освѣжить немного утреннимъ вѣтеркомъ бѣдную, пылающую голову. Но и на воздухъ его прелѣдовали тѣже горькія, тяжелыя мысли.

Сосѣдка не просыпалась и за Клиномъ; сонъ ея былъ крѣпокъ и спокоенъ; ее не тревожили остановки на станціяхъ, пассажиры, проходившіе мимо ее на галерею, сигнальной свистокъ машиниста, хлопанье дверей въ вагонахъ, стукъ колесъ по рельсамъ, звонъ цѣпей связывающихъ вагоны, свистъ пара, голоса работниковъ и кондукторовъ, разговоръ пассажировъ. Она спала, свернувшись какъ-то странно, свѣсивъ голову на сторону, спала очень некрасиво, хотя есть женщины, которыя и во снѣ умѣютъ сохранить граціозныя позы и выраженія лица. Волосы ея немного растрепались, и—о ужась! Зерницкій замѣтилъ между ними, на вискахъ, нѣсколько предательскихъ волосковъ, цвѣта благороднаго метала, но неблагородно обнаруживавшихъ лѣта сосѣдки... Полуоткрытый ротикъ ея выказывалъ рядъ не совсѣмъ бѣлыхъ и ровныхъ зубовъ; по краямъ его были тонкія морщины—дурной физиономическій признакъ; на лбу шли также три довольно глубокія горизонтальныя линіи; цвѣтъ лица отзывался болѣзненной желтизною; кожа на лицѣ была довольно груба и немножко вяла; всѣ черты лица, сливавшіяся въ общій, некрасивый очеркъ, дышали утомленіемъ.

Разочарованіе приходитъ быстро, незамѣтно... Довольно одной порванной петли вязанья, чтобы разошлись онѣ всѣ, одна за другой постепенно, произвольно, систематически. Еслибы Марья Михайловна, не спала, Зерницкій въ разговорѣ съ нею почерпнулъ бы бодрость и готовность къ самопожертвованію; теперь онъ ужъ сознавался, что самопожертвованіе въ жепитьбѣ будетъ съ его стороны;—но сосѣдка спала крѣпко, долго, безъ просыпу, и оставленный самому себѣ, Зерницкій не могъ не сознаться, что она была права, что онъ поступилъ опрометчиво и неосторожно, предложивъ ей свою руку. Теперь предстояло ему тяжелое объясненіе. Самъ онъ не хотѣлъ начинать его, и хотя былъ увѣренъ, что она пойметъ его чувства и не будетъ принуждать его къ исполненію необдуманнаго предложенія, но въ тоже время ему не хотѣлось показать, что онъ былъ такъ безхарактеренъ, что такъ скоро влюбился, а разлюбилъ еще скорѣе.

Разлюбилъ ли онъ ее? На этотъ вопросъ можно было отвѣчать только, когда бы разрѣшили первый вопросъ: любилъ ли онъ ее? Теперь онъ сомнѣвался даже въ этомъ. Быстрота перехода отъ одного чувства къ другому заставляетъ часто не признавать существованіе недавняго чувства, такъ кажется оно противоположно тому, которое въ настоящую

минуту наполняет сердце. Совѣстно какъ-то сознаться человѣку, что онъ скоро мѣняется въ мысляхъ и въ чувствахъ, что это общій законъ природы, и поэтому онъ признается только, что обманывался, или, еще чаще, что его обманывали...

Последняго извиненія Зерницкій не могъ однакоже привести въ свою пользу. Онъ сознавался прямо, что заблуждался, что былъ ослѣпленъ, увлеченъ. Если ему было трудно объяснить, какимъ образомъ, отчего понравилась ему Марья Михайловна, то еще труднѣе, почти совершенно невозможно было разсказать, какъ и почему онъ охладѣлъ къ ней. Поэтому-то, взявъ на себя только обязанность—передать эпизодъ двадцати-часоваго романа Зерницкаго, съ точностью лѣтописца,—мы представляемъ въ такомъ краткомъ очеркѣ вторую половину исторіи его чувствъ. Впрочемъ и вообще не легче ли разсказывать завязку любой страсти, нежели ея развязку?

Романъ Зерницкаго былъ тоже близокъ къ развязкѣ. Не закрывая глазъ ни на минуту, всю ночь онъ смотрѣлъ на сосѣдку, съ грустнымъ, тяжелымъ чувствомъ. Она спала не два, а четыре часа слишкомъ, и проснулась въ семь часовъ утра, когда паровозъ подъѣзжалъ къ Крюковской станціи.

Солнце ярко играло на чистомъ небѣ, когда Марья Михайловна открыла глазки, достаточно оплывшіе во-время сна. Она протянулась и зѣвнула весьма свободно и весьма неграціозно. Вѣроятно, фізіономія ея сосѣда выражала что-то не совсѣмъ пріятное, потому-что она сказала, посмотрѣвъ на него со вниманіемъ:

— Здравствуйте! Что съ вами? Вѣрно видѣли дурной сонъ?

— Сонъ былъ хорошъ, но пробужденіе тяжело, отвѣчалъ Зерницкій.

— А я такъ и проснулась и спала съ удовольствіемъ, во снѣ видѣла нашу будущую семейную жизнь. Мы были удивительно счастливы.

Слова эти были сказаны такимъ страннымъ тономъ, что Зерницкій смутился еще болѣе и ничего не отвѣчалъ.

— Гдѣ мы? спросила она, глядя въ окно вагона.

— Подъѣзжаемъ къ Крюковской станціи.

— Это, кажется, предпоследняя до Москвы?

— Да.

— Послѣ нея будетъ Химская?

— Да.

И Марья Михайловна тоже замолчала. Она только насмѣшливо посмотрѣла на сосѣда и принялась поправлять свой туалетъ. Зерницкій сидѣлъ, опустивъ голову. Онъ понималъ, что молчать неловко, а гово-

рить было тяжело. Сосѣдка раза три обратилась къ нему съ какими-то незначущими вопросами; онъ отвѣчалъ отрывисто, сухо. Кризисъ приближался. Его отложила на нѣсколько минутъ остановка на станціи. Молча вышли они изъ вагона и походили нѣсколько минутъ по галереѣ, вдыхая свѣжій воздухъ, говоря о прекрасной погодѣ, чудесномъ утрѣ, живописныхъ окрестностяхъ, удивительной быстротѣ ѣзды на желѣзной дорогѣ и тому подобныхъ интересныхъ предметахъ. Посадивъ сосѣдку на свое мѣсто, Зерницкій остался одинъ на галереѣ, и задумался такъ, что кондукторъ долженъ былъ взять его за руку и напомнить, что звонили во второй разъ, и что онъ рискуетъ остаться на станціи, если не займетъ своего мѣста. Зерницкій могъ бы отвѣчать, что онъ, пожалуй, готовъ и остаться.

И онъ все-таки продолжалъ упорно молчать въ вагонѣ, хотя это становилось даже неучтиво. Сосѣдка сама начала разговоръ.

— Черезъ полтора часа мы будемъ въ Москвѣ, сказала она.

Зерницкій наклонилъ голову въ знакъ согласія, но не отвѣчалъ ничего. Эти простые слова заставили его поблѣднѣть. Прошло нѣсколько минутъ самого тяжелого молчанія.

— Послушайте, начала, наконецъ, сосѣдка: всякая женщина оскорбилась бы на моемъ мѣстѣ этимъ страннымъ молчаніемъ. Неужели вы думаете, что учтивѣе, даже благороднѣе не говорить ни слова, нежели сказать просто: я разлюбилъ васъ.

Зерницкій всыхнулъ и вскричалъ;

— О, повѣрьте...

Это было все, что онъ могъ сказать. Подождавъ съ минуту продолженія фразы, Марья Михайловна сказала тономъ, въ которомъ было больше участія, чѣмъ ироніи:

— Чему вѣрить?... Новымъ повтореніямъ словъ любви и привязанности, въ то время, когда въ сердцѣ нѣтъ уже этихъ чувствъ?... Вы видите, что совѣтъ не позволила вамъ повторять этихъ увѣреній, да и вы сами вѣрно не думаете, чтобы я могла имъ повѣрить. Въ началѣ нашего знакомства вы за меня высказали все, что я думала, или, по вашему мнѣнію, должна была думать объ васъ. Хотите ли я, въ свою очередь, расскажу вамъ теперь все, что вы обо мнѣ думаете?

Зерницкій молчалъ, опустивъ голову. Сосѣдка продолжала:

— Вы думаете: она была права — я поступилъ вѣтренно и необдуманно. Мы ни въ какомъ случаѣ не можемъ быть счастливы; между нами нѣтъ ни малѣйшаго сходства ни въ мысляхъ, ни въ характерѣ, ни въ образѣ жизни. Ей тридцать пять лѣтъ; черезъ десять лѣтъ она уже будетъ старуха,—а я гораздо моложе ее не одними, лѣтами но и жизнью.

Взять на себя обязанность содержать столько дѣтей и старухъ — я не въ силахъ. Самопожертвованіе было бы въ этомъ случаѣ глупостью. За что я свяжу себя по рукамъ и по ногамъ, самъ уничтожу свою карьеру, всю свою будущность? И что она можетъ принести мнѣ въ замѣнъ всего, что я отдамъ ей? Оригинальность мыслей и поступковъ, которую не всегда можно одобрить и еще рѣже согласить съ общепринятыми условіями; довольно порядочную образованность, вовсе мнѣ не нужную, и наконецъ, холодность сердца, которая увеличитъ все несчастія, убьетъ все радости супружеской жизни! Упрямство заставило меня преслѣдовать эту женщину, самолюбіе говорило, что побѣда надъ нею будетъ пріятнѣе всякой другой побѣвы, — но неужели изъ упрямство, для самолюбія, жертвовать спокойствіемъ цѣлой жизни? Мнѣ нрави-лась эта женщина потому только, что она не походила на другихъ; новостъ и странность положенія увлекла меня, но можно ли любить долго, постоянно такое апатическое созданіе? Мнѣ, конечно, неловко самому отказаться отъ нея, но она довольно умна, чтобы видѣть всю несообразность нашего сближенія, и сама возвратитъ мнѣ свободу... Толи вы думаете Александръ Иванычъ?

Вмѣсто отвѣта, Александръ Иванычъ еще ниже опустил голову, какъ человѣкъ, уличенный въ какомъ-нибудь неблаговидномъ поступкѣ.

— Признаюсь, сначала мнѣ хотѣлось немного помучить васъ, продолжала она, и заставить самихъ высказать все, что я сей часъ продекла-мировала за васъ, — хотя бы другими, болѣе дипломатическими фраза-ми. Но мнѣ стало жаль васъ, и къ тому же я боялась, чтобы вы не прибѣгнули къ извѣстной и очень некрасивой уловкѣ всехъ виноватыхъ, не вздумали бы ссориться со мною, привязавшись къ чему-нибудь въ моихъ словахъ, что было очень легко сдѣлать при моей склонности къ насмѣшкѣ. Я хотѣла избавить васъ отъ очень эффектной, но не совѣмъ благородной выходки ссорящагося лица, которое восклицаетъ обыкновенно въ концѣ монолога: Все кончено между нами! Я ошибался въ васъ! Мы не рождены другъ для друга; повязка спала съ глазъ моихъ — и тому подобное, что повторяется въ жизни чаще, чѣмъ въ романахъ. Я желала, чтобы вы оставили меня тихо и спокойно, убѣжденные въ томъ, что я все же не очень дурная женщина, если не захотѣла воспользоваться вашимъ увлеченіемъ, но добровольно высказала все мои недостатки, и почти принудила васъ отказаться отъ меня.

— О! вы самая благородная, великодушная и умная женщина! вскри-чала съ жаромъ Зерницкій, цѣлуя ея руку, которую на этотъ разъ отъ него не отнимали.

— Вы не находите теперь, что я кокетка? отвѣчала она весело.

Но все-равно я порядочная педантка, а педантизмъ также своего рода кокетство. Поэтому-то я не могу, на прощаньи, не высказать вамъ маленькаго правоученія. У васъ доброе сердце, но вѣтренная голова. Подумайте, что было бы, еслибъ, вмѣсто меня, вы напали на какую-нибудь интригантку, или расчетливую даму! Теперь даже и въ романахъ не влюбляются въ первую попавшуюся намъ женщину, а вы еще предлагали ей свою руку. Знаю, что вы хотите мнѣ сказать комплиментъ, увѣрить, что въ другую женщину вы не могли бы такъ скоро влюбиться...

— И прибавить, что подобное увлеченіе не повторяется, прервалъ Зерницкій.

— Да; потому-что оно будетъ всегда служить урокомъ, продолжала Марья Михайловна. Случай этотъ убѣдитъ васъ также въ томъ, что есть же на свѣтѣ женщины, которыя могутъ обойтись безъ любви, и что не всегда мужчина долженъ тотчасъ же и предлагать свою руку если любить, или когда ему кажется, что онъ любить.

— Еслибы всѣ женщины были такъ откровенны и благоразумны, какъ вы, — несчастливья супружества были бы рѣдки.

— А вы думаете, что съ такою женщиною, какъ я, супружество было бы счастливо? спросила она съ горькой улыбкой.

Онъ отвѣчалъ на это какой-то философской оцѣнкой брака; разговоръ завязался о женитбѣ, ея выгодахъ и тому подобномъ; потомъ перешелъ на воспитаніе и положеніе женщинъ въ нынѣшнемъ обществѣ. Въ жаркой и непринужденной бесѣдѣ, они почти не замѣтили, какъ паровозъ остановился на десять минутъ на Химской станціи, и потомъ полетѣлъ къ Москвѣ.

— Какой, однакожъ, странный, неправдоподобный романъ вся наша исторія на желѣзной дорогѣ, сказала Зерницкій, обращаясь къ себѣ, послѣ отвлеченной бесѣды съ сосѣдкою.

— Жизнь бываетъ часто страннѣе и неправдоподобнѣе романа. Это давно уже замѣчено, отвѣчала Марья Михайловна. Впрочемъ, въ нашихъ отношеніяхъ странна только быстрота, съ которою они установились и измѣнились. Все, что случилось съ нами въ двадцать часовъ, мы могли бы растянуть на нѣсколько мѣсяцевъ, даже лѣтъ знакомства, результатъ былъ бы тотъ же. Скорость нашихъ сношеній, можетъ-быть, произошла отъ желѣзной дороги; если она сближаетъ разстояніе, отчего же ей не сближать чувствъ? Паровозы уничтожаютъ время, а время одинаково, какъ для любви, такъ и для коммерческихъ оборотовъ.

— Согласитесь, однакоже, что въ нашемъ приключеніи есть много романическаго. Вы возставали сначала на драматическія пословицы, — а наша исторія легко могла бы послужить предметомъ подобной пословицы.

— Это еще ничего не доказываетъ. Изъ занимательнаго происше- ствія можетъ выдти прескучная пьеса и даже плохой романъ. Исторія, въ которой все дѣйствіе заключается только въ измѣненіяхъ чувствъ и мыслей, — будетъ всегда неинтересна для лицъ, въ которыхъ чувства и мысли не измѣнялись и которыя не могутъ повѣрить даже возможно- сти и логичности этихъ измѣненій. Всю нашу исторію можно разсказать въ двухъ словахъ: Онъ хотѣлъ любить, хотя и недолженъ былъ лю- бить; она не могла любить, хотя бы и хотѣла.

— Прибавьте, что это не помѣшало имъ, однакоже, сблизиться и узнать другое, не менѣе сладкое чувство — дружбу.

— Пожалуй, только это дружба продолжалась не болѣе двухъ ча- совъ и двухъ послѣднихъ станцій до Москвы.

— Развѣ мы не увидимся больше?

— Не думаю. Въ Петербургъ я, вѣроятно, уже не прійду: мой стращій и безъ меня взялся устроить мое дѣло.

— Но вы позволите мнѣ навѣстить васъ въ деревнѣ?

— Зачѣмъ. Чтобы видѣть, какъ я вожусь съ моими старухами и дѣтьми?... Нѣтъ; мой совѣтъ прервать нашу исторію еще не на самой скучной страницѣ ея. За этой страницей пойдетъ сухая проза жизни, и вамъ, какъ человѣку, не принимающему въ ней никакого участія, будетъ скучно читать ее дальше. Она будетъ вамъ напоминать все-таки не- советѣмъ ловкое положеніе. Найдутся, пожалуй, люди, которые будутъ увѣрять, что васъ дурачили въ-продолженіе двадцати часовъ. По французски это говорится нѣжиѣ; *qu'on vous a berné*. Скажу вамъ кетати также другую французскую фразу: *trop parler nuit*. Это то- же не послѣднее нравоченіе, которое можно извлечь изъ нашей исторіи. Развѣ не *напрасныя слова* говорили мы все это время? И къ чему послужили они? Еслибы я не начинала разговора съ вами и молчала всю дорогу, ограничивая бесѣду только самымъ необходимымъ обмѣномъ общихъ фразъ, вы бы не имѣли удовольствія полюбить и разлюбить ме- ня. И такъ, разстанемтесь лучше на Московской станціи, и пожавъ другъ-другу руку на прощанье, пожелаемъ: я вамъ — не встрѣчаться больше съ жевщинами, похожими на меня; вы мнѣ — быть посписхо- тельнѣ къ такимъ людямъ, какъ вы...

Тонъ послѣднихъ словъ и вообще всей фразы сосѣдки былъ такъ страненъ, что Зерницкій никакъ не могъ растолковать себѣ его зна- ченія. Онъ не отвѣчалъ однакоже ни слова. Задумчивый, вышелъ онъ изъ вагона, вслѣдъ за Марьей Михайловной, молча проводилъ ее къ выходу, крѣпко, со слезами на глазахъ, поцѣловалъ ее руку, въ то время, ког- да ей подали къ крыльцу коляску. Садясь въ нее, сосѣдка взглянула въ

послѣдній разъ на Зерницкаго съ такимъ чувствомъ, съ такою грустью, что онъ чуть не бросился къ ней, но коляска загремѣла по мостовой, и передъ нимъ мелькнулъ въ послѣдній разъ черный бурнусъ сосѣдки, и издали принеслось ея послѣднее слово:

— Прощайте!

Онъ постоялъ еще нѣсколько минутъ на крыльцѣ, и вдругъ ударилъ себя по лбу. Въ головѣ его мелькнула ужасная мысль:

— Что, если вся эта исторія стѣсненныхъ обстоятельствъ, больныхъ старухъ, маленькихъ дѣтей — одна выдумка, чтобы испытать, дѣйствительно ли любовь его такъ сильна, какъ онъ увѣрялъ въ этомъ?...

— И я поддался этому обману! повѣрилъ этой неправдоподобной выдумкѣ!... Да, еслибы и точно все это была правда, какъ могъ я разлюбить сосѣдку только отъ этого? Развѣ обстоятельства не могли перемѣниться; старухи развѣ не могутъ вырасти, дѣти умереть... то есть наоборотъ.

И Зерницкій, совершенно потерявъ голову, почувствовалъ, что опять любить сосѣдку, въ то время, какъ потерялъ ее навсегда. Съ-горяча онъ рѣшился отыскать ее во что бы то ни стало, но тутъ прежде всего представилось довольно важное обстоятельство: онъ даже не узналъ ея фамиліи...

Несмотря на это, онъ сталъ искать ее по Москвѣ и въ подмосковныхъ. Попадались разныя Марьи Михайловны; нѣкоторыя даже увѣрили, что именно онѣ ѣхали съ Зерницкимъ въ вагонѣ, и брались доказать это самымъ яснымъ образомъ, особенно когда узнали, что онъ предлагалъ ей свое сердце. Зерницкій былъ такъ неучтивъ, что не соглашался вѣрить никакимъ доказательствамъ.

Онъ справлялся у многихъ лицъ, ѣхавшихъ съ нимъ вмѣстѣ, у кондукторовъ и служащихъ на желѣзной дорогѣ, — никто не зналъ таинственной Марьи Михайловны. Зерницкій вернулся въ Петербургъ съ отчаяніемъ въ душѣ, какъ, по-крайней-мѣрѣ, увѣрялъ въ этомъ. Носились впрочемъ темныя слухи о томъ, что въ Москвѣ онъ жилъ довольно весело. Онъ опровергалъ однакоже ихъ, и рассказавъ намъ подробно все происшествіе на желѣзной дорогѣ, подтверждалъ, что съ этихъ поръ сердце его будетъ занято одною страстью, а жизнь — одною цѣлью — отыскать эту страсть.

Пріятели Зерницкаго предлагали ему разныя средства къ отысканію прекрасной незнакомки, — все оказалось безуспѣшно. Онъ даже печаталъ въ газетахъ вызовъ такого то лица, ѣхавшаго тогда-то, — въ слѣдствіе одного чрезвычайно важнаго дѣла. Вызовъ остался безъ отвѣта.

Тогда я предложилъ ему напечатать всю его исторію, въ надеждѣ,

что Марья Михайловна тронется его любовью, убѣдится въ ней и пришлетъ ему вѣсть о себѣ.

Зерницкій обрадовался моему предложенію и просилъ прибавить, что онъ не перестаетъ раскаяваться въ своемъ заблужденіи, и возобновляетъ предложеніе своего сердца жестокой Марьѣ Михайловнѣ, несмотря на всѣхъ ея старухъ, ребятъ и прочее.

Всѣ пріятели Зерницкаго одобрили мое предложеніе. Одинъ только Солинъ увѣрялъ, чтоз то ни къ чему не послужитъ, во-первыхъ уже и потому, что Марья Михайловна женщина умная и не читаетъ русскихъ журналовъ, а все болѣе потому, что такой Марьи Михайловны вовсе и нѣтъ на свѣтѣ, потому-что Зерницкій выдумалъ всю эту исторію на желѣзной дорогѣ, чтобы придать себѣ больше интереса.

Несмотря на это, я все-таки напечаталъ исторію Зерницкаго, и съ нетерпѣніемъ буду справляться въ редакціи «Пантеона», не получено-ли какое-нибудь извѣстіе о Марьѣ Михайловнѣ.

II.

МАЛЕНЬКІЙ МОНТЕ—КРИСТО СЪ БОЛЬШИМИ СТРАШНОСТЯМИ.

ПОЗАВЧЕРАШНЯЯ ИСТОРИЙКА,

РАЗСКАЗАННАЯ, А МОЖЕТЪ—БЫТЬ И ВЫМЫШЛЕННАЯ, ГОСПОДИНОМЪ З***, И СЪ ЕГО СЛОВЪ НАПИСАННАЯ.

Когда въ обществѣ, въ которомъ находился и нижеподписавшійся и о которомъ здѣсь, къ удовольствію публики, рѣчи не будетъ, — когда въ этомъ обществѣ всѣ предметы разговора истожились, а между-тѣмъ предстояла, почему бы тамъ ни было, необходимость продлить его, всѣ обратились хоромъ къ одному изъ присутствовавшихъ, господину З***, съ просьбою вывести компанію изъ затрудненія, и разсказать что-нибудь. Всѣ знали, что господину З*** стоить захотѣть, и ужъ онъ навѣрно разскажетъ.

Господинъ З***, казалось, только того и ждалъ. Какъ птица, къ которой бы пришли въ критическое мгновеніе за спасительнымъ словомъ, онъ самоувѣренно оглянулъ присутствовавшихъ, поправилъ очки, снялъ ихъ, протеръ, посмотрѣлъ въ нихъ, прищурившись, возвелъ очи къ потолку, еще поправилъ очки, откашлянулся и началъ:

Дѣла куда-недавнихъ дней!.. Не успѣли, я думаю, отпрячь почтовую карету, а ужъ лошади такъ навѣрно не отфыркались, какъ уже слухъ о прїѣздѣ Дмитрія Дмитрича Мирбольскаго облетѣлъ весь городъ. Миѣ кажется, слухъ долженъ былъ бѣжать впереди Дмитрія Дмитрича, какъ слава впереди колесницы триумфатора, — и росъ на бѣгу, какъ гласить старинная латинская поговорка.

Иду я, самымъ мѣрнымъ шагомъ, мимо французской гостиницы. Подъѣзжаетъ, какъ поравнялся я съ подъездомъ, Нолькина.

— Чтò, прїѣхаль?

— Кто такой?

— Мирбольскій.

— Не знаю.

— Развѣ вы не отсюда?

— Нѣтъ.

— Такъ пойдѣте, спросимъ.

Я поглядѣлъ на Нолькина.

— Вы, стало-быть, ничего не знаете?

— Ничего.

— Тридцать... Тыфу! Триста тысячъ дохода! Серебромъ!

— А!

Я поклонился Нолькину, и пошелъ своей дорогой. Оглянувшись, увидѣлъ, что онъ махнулъ рукой на меня и вошелъ въ гостиницу.

Вхожу въ одинъ магазинъ. Двое какихъ-то господъ покупаютъ сигары. Является третій.

— Слышали, — говоритъ вошедшій — Иванъ Петровичъ? Мирбольскій прїѣхаль.

— Когда? спрашиваетъ Иванъ Петровичъ.

— Сегодня. Еще часа нѣтъ.

— Вы видѣли?

— Нѣтъ. Ежевскій попался. Ему дали знать. У него на почтѣ все знакомо.

Взявъ, что было нужно и чуть-чуть, между-прочимъ, не отложивъ себѣ фиштакковыя перчатки вмѣсто черныхъ, (а косынку пансе такъ-захватилъ: къ моей-то рожѣ!) я вышелъ, оставивъ трехъ господъ въ разсужденіяхъ о томъ же Мирбольскомъ.

«Ну птица-же должна быть!» думаю себѣ. «Вѣдь это не хуже исторіи *Ревизора*».

Навстрѣчу мнѣ одинъ пріятель.

— Вотъ и славно! говорить. Вы ничего не знаете?

— Знаю, говорю.

— Знаете, такъ пойдете.

— Куда?

— Знаете, а спрашиваете? — Ъсть.

— Какъ ѣсть?

— Ну, разумѣется. Осетрину-то и икру. А еще говорить, что знаетъ... Ха-ха-ха! Понимаю. Вы вѣрно думали объ звѣринцѣ. Ха-ха-ха! Сегодня только привезли осетрину съ икрой.

— Идемте, говорю, пожалуй.

Входимъ въ ресторацію. Съели. Не дали намъ проглотить и по рюмкѣ анисетъ, влетаетъ съ шумомъ человѣкъ пять молодежи, изъ празднои, знаете.

— Господа, Мирбольскій пріѣхалъ, говорить одинъ.

— Вотъ!

— Отлично!

— Надо, чтобъ онъ далъ намъ обѣдъ.

— Съ цвѣтами, музыкой и цыганами.

— Дастъ, дастъ.

— Чтó это ему стоить!—Пятьсотъ тысячъ, батенька.

Я толкнулъ моего пріятеля. Онъ себѣ-занимается приготовленіемъ икры.

— Виновать! говорить, а у васъ еще, кажется, мозоли: виновать! Малый, дуку еще!

Мнѣ стало ужасно досадно на него: я, съ своей стороны, ужъ не могъ не прислушиваться, и продолжалъ прислушиваться. Да и было, согласитесь, отчего загорѣться любопытству.

— Вотъ чтó, однакожъ, замѣтилъ одинъ молодой человѣкъ: вѣдь мы не всѣ съ нимъ знакомы.

— Съ Мирбольскимъ-то? Ха-ха-ха! Успокойтесь. Я берусь всѣхъ познакомить. Хотя-бы насъ тутъ было двадцать.

— И чтó такое: entre jeunes gens!

— Разумѣется. Ему здѣсь будетъ скучно безъ насъ. Онъ умретъ съ тоски. Молодежи нѣтъ. Онъ привыкъ жить съ людьми. Да мы для него, откровенно сказать—находка. Тамъ, бывало, у него меньше со-рока человѣкъ не садилось за столъ...

— Семдесятъ, сто, говорятъ, и больше.

— Чего, душа моя! Мы съ нимъ разъ прїѣхали на Воды: вошли, да и велѣли запереть кассу, то-есть, никого не пускать... такъ-таки безъ церемоній.

— А тамъ, господа, вы знаете, бываетъ до пятидесяти тысячъ...

Я поперхнулся.

— Перцу видно, много? замѣтилъ мой прїятель. А я такъ, признаться, люблю, чтобы побольше. Неопасно, знаете, для желудка.

Позавтракали мы, то-есть, въ сущности позавтракалъ мой прїятель, и пошли.

Въ тотъ же день ѣду я на вечеръ... въ одинъ презентабельный домъ. Презентабельный домъ этотъ въ захолустьи; грязная передняя; двери узкія, во всю стѣну и не притворяющіеся; несовсѣмъ прямой полъ; въ залѣ высушенные, какъ грибы, стулья и кенкеты на какихъ-то жердяхъ, и т. д. Это о самомъ домѣ и его внутренности, какъ зданіи. Относительно прочаго, — я называю презентабельнымъ этотъ домъ потому-что къ нему нужно имѣть особенное почтеніе, нужно всегда ѣздить съ поздравленіями, иначе васъ тамъ съѣдятъ живаго. Кому охота?

Такъ прїѣзжаю въ презентабельный домъ.

Не успѣлъ я и поклониться какъ слѣдуетъ, хозяйка только-что не кричитъ мнѣ навстрѣчу:

— On dit que Mirbolsky est arrivé? Говорятъ, вышелъ въ отставку; отецъ заплатилъ за него милліонъ.

— Пятьсотъ тысячъ, съ увѣренностію перебиваетъ господинъ серьезной наружности.

— Милліонъ, Петръ Васильичъ, говоритъ хозяйка — милліонъ!

— Пятьсотъ тысячъ...

— Милліонъ, увѣряю васъ, милліонъ.

— Пятьсотъ тысячъ ассигнаціями...

Вы всѣ знаете господа, что если отъ иной встрѣчи и отъ инаго разговора не падаетъ у насъ изъ рукъ шляпа и мы сами не падаемъ въ обморокъ, такъ это потому только; что и шляпы наши и нервы слишкомъ хорошо знаютъ, гдѣ и что они могутъ себѣ позволить. Стало-быть, елибы я вамъ сказалъ, что я разинулъ ротъ отъ удивленія, вы и тому бы не повѣрили.

Все, что было въ гостиной, не исключая и дочери хозяйкиной, на

которую я, грѣшный человѣкъ, до-тѣхъ-поръ позволялъ себѣ посматривать не безъ чувства, — все вылупило глаза на меня, считая меня, съ своей точки зрѣнія разумѣтся, обязаннымъ все знать о господинѣ Мирбольскомъ.

Но я ничего не могъ сказать, и молчалъ.

Это, какъ водится, произвело невыгодное впечатлѣніе на всѣхъ. Дочка сдѣлала мнѣ пренепріятную гримасу, — и продолжался разговоръ о Мирбольскомъ.

— И несовершеннолѣтній даже! сказалъ серьезный господинъ, у котораго на л... какъ-будто написано: «ежели я что сказалъ, такъ ужъ сдѣлайте ваше одолженіе: это все-равно, что дважды два четыре!»

— Чтѣ-жъ такое! отвѣчала хозяйка. Единственный сынъ.

— Правда, единственный. Но, доложу вамъ, я Дмитрія Петровича знаю тридцать лѣтъ: отличный человѣкъ, а денежку любить. И мать прекрасная женщина; только не тронь ее...

— Куда-жъ дѣвать состояніе?

— Разумѣтся, некуда, какъ ему. Но вѣдь старики могутъ прожить...

— Какая у васъ страсть говорить непріятности, Петръ Васильичъ!

— Ну, а вы бы согласились вотъ сейчасъ ножки протянуть, чтобъ сдѣлать свою дочь богатой невѣстой?

Этотъ вопросъ, по моему очень-естественный, на минуту срѣзалъ хозяйку. Не дослушавъ даже фразы, она обратилась къ другому гостю, и на время разговоръ о Мирбольскомъ прекратился.

Но только на самое короткое время. Часъ спустя, въ другой комнатѣ однако говорили о немъ же; но кто вы думаете? молоденькія дѣвочки. Одна объявила громко, что маменька заказываетъ ей на нынѣшній балъный сезонъ лишнихъ три платья противъ положенія: дескать, Мирбольскій пріѣхалъ, придется выѣхать лишній разъ. Et puis, прибавила маменька, *on ne sait pas!*»

«Ну, конечно!» подумалъ я.

Убѣдившись, какъ не надо лучше, что Дмитрій Дмитричъ Мирбольскій сильно занимаетъ всѣхъ, я воротился домой рано, и въ добавокъ, очень-недовольный моимъ днемъ, потому-что дочь хозяйки дома, та самая, на которую, какъ я вамъ сказалъ, я позволялъ себѣ посматривать иногда не безъ чувства, хотя, по совѣсти, весьма неопредѣленнаго, ни разу не взглянула на меня иначе, какъ съ явною безчув-

ственностию. Это ужъ, какъ хотите, всегда предосадно. Эгоизмъ говорить иные господа, болѣзнь вѣка; по-моему, онъ болѣзнь чело- вѣка....

Всю ночь не спалось мнѣ,—не знаю ужъ ради чего. Утромъ раз- болѣлся, по обыкновенію, мой несчастный бокъ, — и въ двѣнадцать часовъ, такъ ужъ больше по привычкѣ, очутился я у моего доктора. Странно: вѣдь напередъ знаешь, что ни слова тебѣ не скажетъ о бо- лѣзни, а все идешь.

Да и докторъ ужъ такой! Умень какъ день, отличный человекъ, отличный докторъ, не лѣнивъ, чудакъ и оригиналъ, какихъ свѣтъ не производилъ; знаетъ всѣхъ и все; медицину ненавидитъ, надъ медиками смѣется, да и надъ больными тоже. Удивительный человекъ! Мнѣ всегда думается,— сказать ему этого нельзя: еще обругаетъ пожалуй — что бы ему писать свои мемуары: ручаюсь, что черезъ двадцать—пять лѣтъ никто не смѣлъ бы заикнуться о Стернѣ, Свифтѣ и компаніи...

Такъ, виновать, вхожу. Онъ что-то клеить.

— Мышеловку дѣлаю, говорить, не глядя на меня.

— Болѣнъ я — говорю.

— Посмотрите...

И началъ мнѣ объяснять механизмъ своего изобрѣтенія.

— Въ лавкѣ, говорить, съ меня заломили рубль двадцать копѣекъ серебромъ, а вотъ тутъ, изволите видѣть — матерьялу пошло на сем- надцать копѣекъ всего...

— Прощайте: говорю. — я вижу, вамъ некогда.

— Пойдите, куда вы? Посидите.

— Я хотѣлъ, чтобъ вы взглянули на меня.

— Что глядѣть? Бокъ?

— Да, опять бокъ.

— Ну что-жь: дунуло какъ нибудъ, проглотили лишнее,—пустяки!

— Докторъ...

— Вздоръ, разумѣется. Вамъ чего хочется? Ну, хотите, по- ставьте пивки; не хотите, все-равно — само собой пройдетъ.

И онъ продолжалъ клеить. Зная его характеръ, я рѣшился поспѣ- дѣть. «Авось, дождусь чего-нибудъ.» Иногда вѣдь умилостивится: поговорить о болѣзни. Да и то еще: одна близость доктора успокаи- ваетъ. Мой докторъ, Центифоль, доказываетъ, что этимъ много дер- жится медицина, то-есть, довѣріемъ къ человекъ.

— Читали? говорятъ, и суеть мнѣ газету: а я вѣдь, считаль его порядочнымъ человѣкомъ.

— Кого это?

— Мосье Тьера.

Пшла рѣчь о Франціи, о Тьерѣ, и прочее.

— А вы что новаго знаете?

— Да, вотъ, говорю... и разсказаль ему про вчерашній день, и про Мирбольскаго, про крики и ахи, и про все, что слышалъ. Сидить мой докторъ, улыбается. Доволенъ. Страшный вѣдь охотникъ до новостей.

— Да, говорить, долженъ-быть богатъ. А старика-то я немножко знаю, ненадеженъ.

Я улыбнулся невольно.

— Нѣтъ, вѣдь вы понимаете: мнѣ не ждать отъ него наслѣдства, да еслибъ и ѣздилъ я къ нему не два года, а десять лѣтъ, по два раза въ недѣлю обѣдать, не взялъ бы я его пятисотъ душъ, вздумай онъ мнѣ ихъ оставить... Это что—пустое... Но у него чистѣйшій аневризъмъ! Ну, проживеть полгода, годъ, да и то еще... Такъ точать зубы на сынка-то, вы говорите?.. На это найдутся мастера... И то сказать,— продолжалъ Центифоль, какъ-будто про-себя, — это вѣдь бываетъ: отецъ нажилъ, сынокъ спустить. Я замѣчалъ. Сперва пойдуть пиры да затѣи. Хорошо еще, коли женять на такой, что въ руки возьметъ. А то проиграется, просоритъ; подвернется какая-нибудь цыганка, или французенка изъ магазина, этакая, съ манерцой — да еще, пожалуй, женить на себѣ.

На этомъ словѣ слышимъ мы звонокъ, и входитъ, — я все забываю его фамилію,— высокій такой, худой, точно вѣшалка, махаетъ руками, кричить, мелеть вздоръ,—несноснѣйшее созданіе, все какъ-будто смотреть къ вамъ въ карманъ, словомъ, идеаль всяческаго безобразія, физическаго, умственнаго, нравственнаго, — ахъ, Богъ мой, какъ его... Андрей С... Андрей Семенычъ, кажется... ну, да все-равно... Еще, не слышали ли вы? вѣрно слышали: въ преферансъ онъ какъ-то играетъ особенно.

Докторъ мой поморщился и поклонился довольно-сухо.

— Энта! завопилъ этотъ господинъ, докторъ, я хотѣлъ васъ спросить: вы должны знать Мирбольскаго?

— Ну?

— Страшно богатъ онъ, говорятъ. Я его хочу повицѣдить.

— Вы? Какимъ образомъ?

— Вы меня знаете: выиграть у него, отломить тысячь сто...

Центифоль съ восхитительной миной взглянулъ на Андрея Семеныча, на его засаленный костюмъ, измятую шляпу и какія-то сандалии, которыя играли у него роль сапоговъ, но никому бы ихъ не замѣнили.

— Да вы бы лучше такъ попросили.

— Это идиоты: подите-ка попросите, они ничего не понимаютъ..

Я дольше слушать не хотѣлъ: такого рода сильныхъ ощущений я избѣгаю, да и вообще не люблю, когда отъ человѣка вѣтъ такую положительностію, какъ отъ Андрея Семеныча. Я простился съ докторомъ. Онъ разрѣшилъ мнѣ ѣхать въ деревню. — Бокъ-то, вотъ подите, и въ-самомъ-дѣлѣ, какъ-будто прошелъ, и дня черезъ два я отправился въ деревню.

Но передъ тѣмъ еще случилось мнѣ быть въ театрѣ. И тамъ не мало было рѣчи о Мирбольскомъ. Показываютъ мнѣ его, не помню кто. Довольно-глупая юношеская физиономія: такъ-себѣ, ни дурень, ни хорошъ; смотритъ, впрочемъ, довольно-важно на всѣхъ, а разные эти искатели обѣдовъ, чающіе чужаго шампанскаго et consortes, такъ и льнуть вокругъ: «гдѣ медь, тамъ и мухи!»

Наконецъ ѣду. Я къ станціи, — вы знаете: славная вѣдь, ресторація тутъ, — а оттуда троекъ съ десять. Крикъ, шумъ, пѣсни, бубенчики... Глядь, и Мирбольскій мой тутъ. Вхожу въ гостиницу. Убираютъ остатки пира: бутылки, стаканы и прочее.

— Сто тридцать семь бутылокъ выкушали! разсуждаетъ буфетчикъ съ слугой.

«Малый то, должно-быть, дѣльный», думаю себѣ.

Ѣду дальше. На второй станціи остановился я поѣсть. Подъезжаетъ, въ одно время со мною, тройка съ противоположной стороны. Выходитъ какой-то господинъ и располагается на одномъ столѣ со мною.

— Вы, говорить, смѣю спросить, изъ...?

— Да, я изъ...

— Не слыхали, позвольте спросить, про Мирбольскаго, Дмитрія Дмитрича?

Я вышучилъ такіе глаза на незнакомца, что ужъ и не знаю, что онъ могъ подумать.

И пришелъ мнѣ на память старый и, говорятъ, не вымышленный, анекдотъ объ англичанинѣ, котораго уморили, встрѣтивъ его на трехъ

данныхъ разстоянiяхъ съ испуганными лицами и восклицанiемъ: «Боже! какъ вы похудѣли!» Я, съ своей стороны, не боялся участи англичанина; но мнѣ, минутами, начинало казаться, что весь этотъ народъ сговорился надобдаться мнѣ Мирбольскимъ, и что это дѣлалось просто на-смѣхъ.

Между-тѣмъ, какъ мой собесѣдникъ занимался горячимъ, лицо мое, видно, приняло болѣе-спокойное выраженiе. Онъ опять заговорилъ:

— Пишутъ мнѣ, что прiѣхалъ. А гдѣ остановился, не знаю.

— Да, я слышалъ, что прiѣхалъ, сказалъ я, чтобъ что-нибудь сказать.

— Да, да-съ. Мальчикъ-то, знаете, интересный.

— Гм!

— Въ нашъ вѣкъ, четыреста тысячъ дохода, это, вѣдь, я вамъ скажу!.. У кого они есть? Разъ, два — да и обчелся.

— Противъ этого ни слова.

— Ну и, вѣрно, любитъ пожуировать, этакъ, шевельнуть косточками... Да и нельзя-съ. Молодость... Кому-жъ и жить, какъ не этимъ людямъ?.. Я, признаться, съ тѣмъ и ѣду, чтобъ посмотреть...

— На кого это? спросилъ я.

— Да, на Мирбольскаго. И собесѣдникъ взглянулъ на меня ужасно-пристально, какъ-будто хотѣлъ пронизать меня взглядомъ... Осмотромъ своимъ онъ, кажется, остался недоволенъ, и больше говорить со мною не распустилъ.

Мы раскланялись очень-холодно, и я отправился дальше.

Въ деревнѣ и въ другихъ мѣстахъ прожилъ я съ годъ. Какъ и зачѣмъ? До этого дѣла нѣтъ. Понятно, что Мирбольскiй скоро вышелъ у меня изъ ума. И я забылъ бы о немъ совершенно, еслибы въ числѣ моихъ корреспондентовъ двое, — и люди очень-различнаго, чтобъ не сказать противоположнаго, свойства, — въ письмахъ своихъ не упомянули о немъ самымъ значительнымъ образомъ: одинъ описывалъ баснословный пиръ, на которомъ Мирбольскiй былъ амфи-трiономъ, пиръ, происходившiй на одномъ изъ публичныхъ гулянiй, — другой, въ числѣ важныхъ городскихъ повостей, сообщалъ, что Мирбольскiй женится на дочери самой щепетильной барыни — женщины зараженной всевозможною спѣсью и милiонами претензiй.

Второе письмо захватило меня незадолго до моего возвращенiя сюда. То-есть, какъ незадолго? За мѣсяць, или за полтора.

Приѣхалъ я. Съ однимъ изъ первыхъ визитовъ попадаю въ презентабельный домъ: вы помните. Принимаютъ меня что-то ужасно-сладко. Дочка, злодѣйка, только-что не заплясала польку отъ радости. «Видно, рѣшено на домашнемъ ареопагѣ непременно выдать замужъ нынѣшней зимой», подумалъ я. Поразчувствовалась матушка на счетъ моего долгаго отсутствія, привела нѣсколько трогательныхъ случаевъ воспоминанія обо мнѣ, по поводу кренделька, цвѣточка и романа, къ которымъ я будто-бы оказывалъ, при ней, или при дочери, особенное расположеніе: мастерицы дныя барыни вспоминать чего никогда не бывало! и наконецъ свела разговоръ опять-таки на Мирбольскаго.

— Что за нахаль! говорить, не повѣрите. И жизнь какую вѣдетъ: съ-утра-до-ночи карты, вино, цыгане... Вообразите, съ-тѣхъ-поръ, какъ умеръ его отецъ...

— А таки умеръ?

— Какъ-же: ужъ больше полугода.

Вспомнилъ я Центифоля.

Барыня моя свое:

— Съ-тѣхъ-поръ, говорить, сколько онъ долговъ надѣлалъ...

— Зато безспорно первый женихъ теперь, рѣшился я сказать,

Барыня всыхнула; того и смотрю, задушить ее приливъ крови, — и пошла...

— Женихъ! Посмотрѣла-бы я, какая мать выдастъ за него свою дочь!... Да это вѣдь, надо знать ..

И пошла, и пошла.

— Раза четыре, говорить, встрѣчались мы съ нимъ: я-ли его не ласкала; всякій разъ звала къ себѣ: хоть-бы глаза показалъ. Чего? На улицѣ встрѣтима, не кланяется. Что мнѣ его милліоны нужны что ли, въ-самомъ-дѣлѣ? И какіе милліоны! Скоро, говорятъ, и ѣсть нечего будетъ. Мудреное ли дѣло? Тутъ проиграется, тамъ оберутъ: да и по-дѣломъ. «На то шука въ морѣ...»

Несутъ чай. Барыня моя сама подаетъ мнѣ чашку, подчуетъ домашнимъ вареньемъ, рекомендуетъ какос-то печенье, будто-бы мое любимое... Монологъ продолжается, но изъ *allegro con fuoco* переходитъ въ *adagio con molto espressione*.

— Нѣтъ, говорить, вы меня знаете: я своей Катенькѣ не врагъ, можно сказать... Я ей, ужъ конечно, отъ всей души желаю счастья, и для нея готова всемъ пожертвовать. Но .. навязать ей такого сахара-медовича... Да и что такое богатство, когда мужъ-то безпутный...

Нѣтъ, я бы ей желала не вертопраха какого-нибудь. Я всегда говорю: Катенька, не влюбляйся въ мальчишку, въ вѣтреника. — Я бы желала ей человѣка степеннаго, солиднаго, напрімѣръ, какъ...

Озираю я сцену: дочь, сидя къ намъ въ полъоборота, томно опустила глазки; ройяль, знаете, эти такъ-называемые англійскіе ройяли, совсѣмъ покорило; чай подаютъ прескверный; кругомъ какой-то особенный запахъ мускуса. Страшно, вы понимаете, становитея человѣку за самого-себя въ такія минуты; но благо-тому, господа, кто въ подобныхъ случаяхъ не лишень способности трезво оглянуть сцену, въ которой вы сами актеръ и гдѣ васъ хотятъ заставить играть роль, еще болѣе серьезную... Но я остановился на самомъ-то патетическомъ мѣстѣ, и совсѣмъ забылъ.

Послѣ, замѣчу въ скобкахъ, я въ этомъ почтенномъ домѣ, понимается, не былъ, но слышалъ стороной, что добрая хозяйка намекала, будто меня посадили куда-то, не то сослали, и чуть ли не за фальшивыя ассигнаціи... Дочка, къ моему сердечному сожалѣнію, и по сіе время дѣвствуешь...

Но это всторону.

— Сижу я въ театрѣ, недѣлю спустя. На сценѣ ужъ не помню, что происходило, чувствительное, или раздражительное — а сзади меня шель слѣдующій разговоръ:

— Срокъ-то прошелъ, да я себя обезпечилъ....

— Да вѣдь, вы когда давали, онъ былъ еще несовершеннолѣтній?

— Что-жь, вы думаете, у меня деньги-то въ дровахъ найдены. Я накануне самого его рожденія, законныхъ-то лѣтъ, понимаете, — къ нему. Такъ и такъ, говорю, Дмитрій Дмитричъ, вы меня извините: я, вѣдь, къ батюшкѣ вашему долженъ обратиться — старикъ-то еще былъ живъ, и обѣщался къ рожденію отдѣлить на него три тысячи душъ, да капиталъ-цу толику, только это не состоялось, — къ батюшкѣ, говорю, обратиться: я человѣкъ небогатый. — Что хотите, говорить, Александръ Петровичъ, что хотите: только не погубите. — «Вы мнѣ, говорю, завтра перепишите векселекъ-то, такъ ужъ, такъ и быть, моль для васъ.... Ну, и подписалъ. Я ужъ ему тутъ еще пятьдесятъ цѣлковыхъ далъ: клянется, гроша, говорить, нѣтъ. Такъ оно того-съ: приписочка, неустойка, проценты, ну да съ рекамбіями, — я и сплю покойно!

— Спора бы не затѣялъ....

Я оглянулся. Оба эти господина, не нужно и говорить, смотрѣли аферистами, каждый по-своему.

Проходить еще нѣсколько дней, является ко мнѣ одинъ мой знакомый, человекъ, какъ бы вамъ сказать, ни то, ни сѣ. Только есть большая слабость поиграть въ картишки, — помѣшанъ на разныхъ теорiяхъ карточной игры, и между-прочимъ, любитъ при всякомъ случаѣ доказывать, что глубоко постигъ тайну этой мудреной науки. На дѣлѣ же, прiятель мой больше проигрываетъ, чѣмъ выигрываетъ, — за что трунять надъ нимъ не мало.

— Ну что — говорю — какъ поигрываете?

— Чего! — говоритъ — ограбили на-дняхъ, совсѣмъ ограбили!

— Что такое?

— Мирбольскiй негодай! Вѣдь, это, послушайте, просто денной разбой. Проигрываетъ — платишь, выигрываетъ — не отдають. Шестъ тысячъ серебромъ — вѣдь это кушъ-съ, какъ хотите. А вышло что-же: мѣлу пошло фунта два, да шампанскаго никакъ съ дюжину.... и все въ подъзу тринь-травы... находятъ же молодцы этакъ надувать честныхъ людей... Нахальство-то, поймите, вѣдь какое! До завтра, говоритъ — вѣдь, пресерьозно. Ну, думаю, подождать до утра не важность. Завтра проходить, три дня проходить: хоть бы вспомнилъ изъ учтивости. Посылаю человека съ письмомъ. Письмо, говоритъ вамъ нечего: ужъ я на эти вещи — собаку съѣлъ; вамъ извѣстно. Говоритъ человеку: «Кланяйся барину: самъ, дескать буду.» Проходить еще три дня, ѣду самъ. Не принялъ; а видѣлъ, вѣдь, въ окно: дома. Да и куда ему дѣваться въ десятомъ часу? Вѣдь и я не дуракъ. На другой день я ему опять брандера, да какого — еслибъ вы знали. «Хорошо, говоритъ, пришлю отвѣтъ». Двое сутокъ проходить — ни отвѣта, ни привѣта. Третьяго-дня встрѣчаю его въ театрѣ: я къ нему, онъ отъ меня. Поймалъ я его, наконецъ, да ужъ такъ отчиталъ, такъ отчиталъ, что я вамъ скажу. Гдѣ намъ съ нимъ равняться, — а я бы отдалъ съ себя послѣднiе сапоги, чтобъ того не слышать. Онъ хоть бы слово: краснѣеть, вертится, кланяется, и все. Самолюбшика-то ни на мѣдную копейку.... Вѣдь оно, какъ хотите, досадно.... Зло возьметъ наконецъ. Ну скажи: вѣтъ, или не отдамъ, не хочу отдавать, и конченъ балъ. А то дурачить тебя хотять: тонкости, пошлости; да подите, теперь, пари держу, кричить, я-чай, что его обыграли!

Тирада моего прiятеля, признаюсь, возбудила во мнѣ сожалѣнiе къ его несчастной долѣ. Я зналъ, что онъ не солжетъ, что коли говорить, что попался, такъ ужъ точно попался. Но во-вторыхъ, — и это для насъ пораздо важнѣе, — все эти рассказы, встрѣчи, слухи, вы согласитесь, неподготовленные, а въ-особенности послѣдняя черта, родилъ во

мнѣ желаніе разузнать хорошенько о господинѣ Мирбольскомъ, потѣшить себя, такъ-сказать, изслѣдованіемъ этой личности, о которой все кричали и распускалось столько страннаго. Особеннаго стремленія знакомиться съ этимъ господиномъ я не чувствовалъ; но разузнать про него—сильно мнѣ захотѣлось. Такъ-таки, вынь да положь.

Знакомыхъ у меня, вы все знаете, слава Богу: скоро будетъ больше, чѣмъ волосъ на головѣ. И есть въ ихъ числѣ два человѣка—истинное золото, которые знаютъ рѣшительно все и всѣхъ, знаютъ въ сто разъ больше, нежели я самъ. Эти два человѣка, изъ которыхъ одинъ страшный домосѣдъ, а другой, напротивъ, бываетъ вездѣ—и въ театрѣ, и во всѣхъ ресторанахъ, и на всѣхъ гуляньяхъ, и во всѣхъ обществахъ. Спросите у нихъ, что хотите, объ комъ вамъ угодно: всю подготовленную выведутъ. Я, виноватъ, не разъ дивился, какъ это ни одинъ журналистъ не завербууетъ ихъ въ фельетонисты? Ихъ фельетоны ужъ вѣрно не наполнялись бы ни общими мѣстами, ни философіею болѣзни картофеля и собакъ, и читались бы даже съ гораздо-большею жадностію, нежели многотомные и монотонные романы, которые пишутся по рецепту французскихъ производителей... Ну-съ, такъ вотъ видите, обратился я къ этимъ двумъ господамъ, — помогъ мнѣ и случай, и узналъ я о нашемъ героѣ, о Мирбольскомъ, многое, очень многое. Оказываются вещи, въ-самомъ-дѣлѣ странныя!

Дмитрій Дмитричъ служилъ, не припомню ужъ гдѣ. Года съ два онъ тамъ служилъ не больше. Въ эти два года надѣлалъ онъ долгу что-то много, тысячь до ста серебромъ, или около. Прозналъ объ этомъ отецъ, Дмитрій Петровичъ, пришелъ въ неописанный ужасъ и пишетъ: «Выходи, говорить, въ отставку и пріѣзжай сюда, а дома я заплачу.» Отставка вышла, и явился сюда Дмитрій Дмитричъ. Состояніе Дмитрія Петровича Мирбольскаго, дѣйствительно большое, и даже очень большое, — около шести тысячъ душъ и до милліона серебромъ денегъ, — было здѣсь очень хорошо извѣстно. Само собою объясняются быстрота распространенія слуха о пріѣздѣ Дмитрія Дмитрича, разныя рзности и виды на него со стороны разныхъ господъ, короче, все, что уже рассказалъ я вамъ. Главная странность моей исторійки не въ томъ. Главная-то странность въ странностяхъ ея героя.

Пріѣхалъ Дмитрій Дмитричъ сюда и началъ, что называется шевелить. Отецъ денегъ не даетъ, сердится еще за прошлое, но что нужды? Куда ни сунется Дмитрій Дмитричъ, только назоветъ себя—кредитъ открытый. И любо молодому-то козлу! Онъ сначала и самъ этого не замѣчалъ: робость ли, недогадливость ли, ужъ кто его знаетъ. Зато,

как раскусили штуку, — разумѣется, и другіе помогли, въ подобныхъ случаяхъ наставники всегда найдутся, — и пошелъ писать. Отецъ до того нелѣпо скупъ, что дома не страхуеть, а сынокъ жилеты если заказываетъ, такъ дюжинами, шампанскаго коли спросить, такъ ящикъ.

Окружили, обступили, облѣпили Дмитрія Дмитрича, какъ саранча, разнаго качества и слоя народы; аферисты en gros подводили мины издали, тонко и хитро; мелочь стрѣляла мелкимъ огнемъ: кто обѣдами, кто займами безъ отдачи, отъ рубля до ста включительно; кто иначе какъ-нибудь бралъ съ него натурой: угощеніями, билетами въ театръ, и тому подобнымъ. Дальновидные-то проиходи давали ему денегъ, на документы съ присоединеніемъ всевозможнаго хлама: лошадей, экипажей, брилліантовъ и такъ дальше; разумѣется, за баснословныя выгоды; кто-то, между-прочимъ, далъ какихъ-то гнилыхъ, пролежалыхъ кружевъ на двадцать-пять тысячъ серебромъ. Нѣкоторыя нѣжныя и предусмотрительныя маменьки, своимъ чередомъ, строили самыя неповѣрныя козни, чтобы, посредствомъ дочекъ, опутавъ его сѣтями Амура, возложить на него цѣпи Гименея. Онъ себѣ кутить, да кутить. Утромъ дѣломъ занимается: векселя подписываетъ, потомъ жизнью наслаждается: шампанское дуетъ безъ счета, а льетъ на полъ еще больше, всѣмъ дочкамъ дѣлаетъ глазки и отпускаетъ самыя отборныя любезности.

Продѣлывалось все вышесказанное — долги, кутежи, волокитства, — тайкомъ отъ отца. Доходили иные слухи до старика, но сущности, или, вѣрнѣе сказать, правды онъ не зналъ. Однажды, дѣйствительно ли разнѣжившись и рѣшившись разстаться съ частию своихъ богатствъ въ пользу сына, или только такъ, безъ всякой цѣли, Дмитрій Петровичъ сказалъ, что въ день его рожденія подарить ему тысячу душъ и сто тысячъ денегъ... подъ условіемъ впрочемъ, чтобы Дмитрій Дмитричъ велъ себя какъ слѣдуетъ и не дѣлалъ долговъ до того дня. Какъ бы то ни было, но отдѣлъ не состоялся, отчасти потому, что старикъ захворалъ въ самый день рожденія сына. Неожиданное разочарованіе, — Дмитрій Дмитричъ крѣпко рассчитывалъ на обѣщанное, то-есть, считалъ обѣщанное просто своимъ, — раздражило молодаго человѣка самымъ глупѣйшимъ образомъ. Есть этакія несчастныя натуры; при недостаткѣ развитія онѣ для самихъ же себя дѣлаются страшны.

Стукнуло нашему герою совершеннолѣтіе. Прежнія продѣлки приняли большій размѣръ, и прибавились новыя. Денегъ ли было нужно, онъ обращался къ своимъ же кредиторамъ, и вѣрившіе прежде, теперь по-давно не отказывали, лишь бы при новомъ займѣ совершенно-законно

оградить и первые. И моталъ же онъ! Нѣтъ той несообразности, нѣтъ той дикости, на которую не потратилъ бы онъ денегъ, нѣтъ тѣхъ условий, на которыя бы не пошелъ, чтобы достать ихъ въ ту же минуту, когда рождалось желаніе, фантазія. Понятно, что люди, падкіе на пріобрѣтеніе и неразборчивые на способы, больше, чѣмъ когда-нибудь, волочились за Мирбольскимъ. Этыхъ мы оставимъ въ сторонѣ хоть куда. Но вотъ что еще происходило между-тѣмъ. Гдѣ бы ни занималъ, на примѣръ, Мирбольскій на слово, не было и помина объ отдачѣ. Играть ли ему случалось, если не въ клубѣ, онъ не платилъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣлъ при себѣ деньги. Исторія съ моимъ пріятелемъ оказалась справедливою отъ слова до слова, какъ я, впрочемъ, и предвидѣлъ. И когда къ нему обращались съ требованіемъ денегъ должники выигравшіе, нерѣдко прежде сами ему платившіе, онъ и усомъ не вель. Дѣлали ему и прескверныя сцены,—все ни ночемъ. Умираеть отецъ. Это было всего мѣсяцевъ девять послѣ его пріѣзда, а успѣлъ онъ надѣлать такихъ дивесъ и между-прочимъ, «напечъ столько блиновъ», какъ выражаются иные люди, что иному доброму человѣку и въ цѣлую жизнь не приснится. Едва свезли старика на кладбище, кредиторы почти разомъ налегли на богатаго наслѣдника: нужно же имъ было отвѣдать его денежекъ, хоть узнать настоящую цѣну его подписи. Слухи объ ожидавшемъ Мирбольскаго послѣ отца наслѣдствѣ всѣ были въ пользу его и кредиторовъ: въ шести тысячахъ душъ отличнаго и чистаго имѣнія не могло быть и сомнѣнія; кромѣ-того, нѣкто, въ разныя времена занимавшійся дѣлами покойнаго, кричалъ во всеуслышаніе, что у Дмитрія Петровича однихъ ломбардныхъ билетовъ болѣе, нежели на миллионъ серебромъ. Все это не одинъ разъ слышали кредиторы и отъ Мирбольскаго, и отъ бывшаго повѣреннаго его отца, но много ужъ черезчуръ ходило толковъ о его мотовствѣ; цифра его долговъ, конечно, не маленькая, всѣми преувеличивалась какъ обыкновенно: не могли, значитъ, кредиторы и не полюбопытствовать насчетъ участи своихъ капиталовъ. Мирбольскій просилъ только шесть недѣль терпѣнія. Прошелъ этотъ срокъ, распечатали бумаги покойнаго, вещи и прочее — что же оказалось? Денегъ и билетовъ всего на пятнадцать, или на двадцать тысячъ серебромъ, и завѣщаніе, по которому Дмитрій Петровичъ, достигнутый видно въ то время мыслию о близкой смерти, говорилъ, что назначаетъ жену душеприкащицею и опекуншей надъ сыномъ, впрочемъ, предоставляя ей и по исполненіи ему совершеннолѣтія, владѣть пожизненно всѣмъ благопріобрѣтеннымъ, если она найдетъ сына неспособнымъ, или недостойнымъ располагать состояніемъ. А родоваго-то было у Дмитрія Петровича всего около трехсотъ душъ.

Зная мать и зная, что она далеко недовольна имъ, Мирбольскій обомлѣлъ. Отъ нея не могъ онъ ждать пощады. Просить ее—не повело бы ровно ни къ чему. Кредиторы, провѣдавъ о содержаніи завѣщанія и болѣе или менѣе посвященные въ отношенія ихъ должника къ матери, пришли въ изступленіе. Они начали клеветать на мать, говорили, что тутъ дѣло не можетъ быть чисто: что если и не миллионъ, такъ не пятнадцать же тысячъ осталось послѣ старика, что и самое-то завѣщаніе, полно, не подложное ли! Нашелся и дѣлецъ, адвокатъ чѣ-ли, который взялся завязать и вести процессъ по этому дѣлу. Мирбольскій притихъ и сталъ понемногу бывать въ обществѣ. Попалъ онъ и къ прежнимъ своимъ знакомымъ. Двадцати-семилѣтняя дочка, будь она семи пядей во лбу, имѣй въ свою пользу и красоту, и хорошее приданое, считается иными родителями чрезвычайной заботой: мужа добыть надо. Такая обуза тяготила и даму строгихъ правилъ. Оглянувъ Мирбольскаго проницательнымъ окомъ, припомнивъ, что слыхала о состояніи его отца и о его родствѣ, заботливая маменька, въ счастливомъ невѣдѣніи о его настоящихъ семейныхъ дѣлахъ, рѣшила, что очень выгодно свалить на Дмитрія Дмитрича свою заботу о благосостояніи и дальнѣйшемъ счастіи своей дочки. Казалось, и онъ былъ не прочь жениться: по-крайней-мѣрѣ ѣздилъ исправно, былъ любезенъ и вообще велъ себя, какъ женихъ, хотя и не объяснившійся. Такъ прошло мѣсяца три, если не ошибаюсь. Наконецъ, ему дано было почувствовать, чтобъ онъ дѣлалъ предложеніе, и съ его согласія, назначено для этого нѣчто въ родѣ небольшого семейнаго вечера, передъ чѣмъ онъ обѣщался предупредить о своихъ намѣреніяхъ свою мать.

Между-тѣмъ адвокатъ кредиторовъ, поднявшій вопросъ о наслѣдствѣ, далъ дѣлу направленіе такого рода, что одна первая просьба его напугала мать. Она потребовала свиданія, и послѣ нѣсколькихъ переговоровъ, — вѣроятно, желая избѣжать непріятной огласки, — предложила выдѣлить сыну сей часъ же двѣ тысячи душъ и часть капитала. Адвокатъ, себѣ на умѣ, да и зная съ кѣмъ имѣлъ дѣло, передалъ Мирбольскому изъ переговоровъ только то, что входило въ его личные виды, представилъ ему всю трудность мировой сдѣлки и всю выгоду для него, еслибы она состоялась. Дмитрій Дмитричъ былъ въ восторгѣ. Натурально, явилось шампанское; бутылочка за бутылочкой, — и къ вечеру того-же дня было положено слѣдующее: что адвокатъ выдастъ ему пятьдесятъ тысячъ серебромъ, — вы понимаете: пятьдесятъ тысячъ серебромъ могли и не значить пятьдесятъ тысячъ цѣлковыхъ! — получить отъ него въ замѣнъ документовъ на сто тысячъ и довѣренность на безотдаточное полученіе этой суммы отъ матери, при окончательномъ

расчетъ съ нею, а на покрытіе долговъ, которыхъ скопилось приблизительно триста тысячъ серебромъ, поступать родовыя триста душъ, да восемьсотъ или тысяча изъ вновь приобретаемыхъ. Когда ударили по рукамъ, адвокатъ, я полагаю, растроганный великодушіемъ своего довѣрителя, прибавилъ, что вѣдь можно, кромѣ того, кредиторовъ—то поводить еще этакъ годикъ—другой, была бы только охота. Впрочемъ, объ этомъ рѣшили поговорить по окончаніи дѣла съ матерью, а покуда ихъ маслить, чтобы не подавали ко взысканію. Дня два послѣ этого распоряженія, именно наканунѣ назначеннаго вечера, въ который имѣло произойти форменное предложеніе руки и сердца, Мирбольскій покончилъ съ своимъ адвокатомъ, положилъ въ карманъ добрую пачку ломбардныхъ билетовъ и ассигнацій,—и пошелъ пивать по прежнему.

Явившійся, было, на третій день, съ претензіями, зять его будущей тещи, гдѣ его прождали по пустому и пришли въ самое справедливое негодованіе, узналъ отъ его камердинера одно только, что баринъ вотъ другія еутки и глазъ домой не показываетъ.

Мѣсяца съ полтора или съ два продолжалъ онъ свои новые подвиги, надѣлалъ еще долгу — и скрылся, говорятъ, въ свою родовую отчину, за неимѣніемъ уже ни денегъ, ни кредита.

Самое интересное этой исторіи именно то, чѣмъ поминаютъ его теперь, что оставилъ онъ по себѣ на полѣ своей безумной жизни.

Изъ кредиторовъ половина только—что не плачетъ: окончивъ, какъ слѣдовало, раздѣлъ съ матерью, дѣлецъ тотъ, разумѣется, по довѣренности должника, принялся за нихъ, какъ говорятъ свои—то хоть—бы выручить. Другіе потому еще храбрятся, что не знаютъ подробностей сдѣлки адвоката съ матерью, и формальнаго обязательства Мирбольскаго не требуютъ отъ нея при жизни ни полущки.

Пріятели всѣ его бранять... Кому-бы ни былъ долженъ, съ кѣмъ-бы ни игралъ, никому не отдалъ. Впрочемъ, изъ этой категоріи, гораздо больше достается ему отъ тѣхъ, которые безвозмездно пользовались его обѣдами, экипажемъ, и занимали у него по мелочамъ — безъ отдачи. Эти — такъ, кажется, не найдутъ для него ни приличнаго названія, ни достойнаго наказанія.

Засимъ, не угодно ли изъ любопытства произнести его фамилію въ магазинахъ, въ извѣстнѣйшихъ ресторанахъ? Наглядитесь на такія фізіономіи, наслышитесь, подчасъ, такихъ комплиментовъ, что совѣстно станеть и вчужѣ.

Il dolce lamento e il amaro rissentimento прекраснаго пола, разумѣется, въ—особенности занимательны. Изъ одного этого можно бы со-

ставить презирающую книжку, — нѣсколько удивительныхъ либреттъ, — нѣсколько патетическихъ картинъ — *ad libitum*. Мое дѣло образчики.

Заботливая дама приняла дѣло стоически. Праведнаго гнѣва своего она не обнаруживаетъ при неравныхъ себѣ и не короткихъ, да и вообще говорить о немъ избѣгаетъ. Но громы, готовимые ею, по вѣснмъ вѣроятіямъ, обѣщаютъ быть ужасными. На утро же извѣстнаго вечера она велѣла настлатъ по улицѣ вдоль всего дома соломы и положила дочку въ постель, гдѣ продержала ее два мѣсяца сряду, говоря, что Мирбольскій своимъ сватовствомъ вскружилъ голову бѣдной дѣвушкѣ, и теперь своимъ недостойнымъ отказомъ ввергъ въ чахотку.

Объ окончательномъ впечатлѣніи, произведеннымъ Мирбольскимъ на хозяйку «презентабельнаго» дома, вы уже знаете.

Мать нашего героя, очень естественно и по праву, относилась о немъ въ чрезвычайно горькихъ терминахъ.

Остался, впрочемъ, въ чистыхъ барышахъ тотъ господинъ, какъ бишь его, преферансистъ и лихачъ, ну что... Андрей Семенычъ. Но этому вѣдь и потерять-то, говорятъ, ничего не возможно. Я встрѣтился съ нимъ опять у моего доктора, нѣсколько дней послѣ того, какъ Мирбольскій исчезъ со здѣшней сцены. Онъ, не дожидаясь нашихъ вопросовъ, самъ объявилъ, что отжилилъ у Мирбольскаго палку съ золотымъ набалдашникомъ, изрядную палку, которую тутъ-же и показалъ намъ, — да сверхъ-того, взявъ у него на поддержаніе пальто, заложилъ его и не намѣренъ выкупать. Затѣмъ онъ принялся произносить панегирикъ Мирбольскому, и потомъ вдругъ перешелъ къ своему благородству, къ своимъ убѣжденіямъ, тутъ-же впустилъ, ни къ селу, ни къ городу, имена: Франклина, Малерба, Шиллера, Овена... тогда я, понимаю, убѣжалъ.

...Чтобы и вы, мои слушатели, не разбѣжались однакожь, я здѣсь кончу.

Не мое дѣло, вы понимаете, разбирать все слышанное мною о господинѣ Мирбольскомъ, его дѣяніяхъ и послѣдовавшемъ: я не беру на себя роли ни критика, ни обвинителя.

Мнѣ только хотѣлось разсказать вамъ извѣстное мнѣ, такъ или иначе, изъ исторійки этого маленькаго Монте-Кристо и его походовъ.

Такъ вотъ-съ какія подчасъ дѣются дѣла въ нашемъ прекрасномъ мірѣ, вотъ какъ миражи возникаютъ и опять исчезаютъ, обнаруживая, однакожь, за собою картины, которыя могутъ пояснять многія характерическія черты...

Едва успѣлъ господинъ З*** договорить послѣднюю фразу.

— Великолѣпно! — сказалъ одинъ изъ слушателей.

— Браво! — подтвердилъ другой.

Двое захлопали. Двое встали съ своихъ мѣсть, и бросились обнимать господина З***

Еще одинъ изъ присутствовавшихъ, остроумный художникъ, въ совершенномъ восторгѣ отъ разказа, предложилъ даже увѣковѣчить и день этотъ, и героя, о которомъ шла рѣчь, и его пѣвца, изображеніемъ ихъ въ приличной аллегоріи на картинѣ.

Господинъ З*** былъ глубоко тронутъ вызваннымъ имъ сочувствіемъ. Онъ даже снялъ опять очки, и опять протеръ ихъ.

Только двое изъ присутствовавшихъ, менѣе всѣхъ прочихъ имѣвшие право на короткое обращеніе съ господиномъ З***, до-сихъ-поръ еще не сказали ни слова. Эти двое были: я и одинъ мой собратъ по ремеслу, un confrère en griffonage.

Но тутъ мы оба встали, и низко поклонившись разказчику, подошли къ нему оба, какъ-будто сговорившись, съ однимъ и тѣмъ-же намѣреніемъ. Покуда я соображалъ мою фразу, мой собратъ сказалъ:

— А я, было, хотѣлъ просить у васъ позволенія разказать вашу исторійку печатно....

— У меня была рѣшительно та-же мысль, — перебилъ я — и признаюсь, я только что отворилъ ротъ....

— Вы оба очень любезны, господа, — отвѣчалъ господинъ З***. но если-бы я и былъ не прочь согласиться, кому-же я теперь дамъ согласіе?

— Кинемъ жребій, — нашелся мой великодушный собратъ.

Жребій выпалъ въ мою пользу.

— Итакъ, вы позволяете? — спросилъ я еще разъ господина З***.

— Съ большимъ удовольствіемъ, — отвѣчалъ господинъ З***, — только ужъ я самъ напишу заглавіе.

И онъ написалъ все то, что выставлено въ заглавіи предлагаемой статейки, кромѣ пяти послѣднихъ словъ.

— Второе условіе, — продолжалъ онъ послѣ того, — вы постараетесь округлить мой разказъ, какъ ужъ тамъ себѣ знаете, по-литературному.

Я обѣщалъ и это. Но, признаюсь вамъ, мой читатей, не сдержалъ втораго условія, въ-слѣдствіе чего и прибавилъ пять послѣднихъ словъ въ заглавіи. Мнѣ именно хотѣлось передать вамъ разказъ господина З***

во всей его неприкосновенности. Еслибъ мнѣ это удалось вполнѣ, еслибъ я былъ стенографъ и могъ, кромѣ-того, изобразить здѣсь всю мимику рассказчика, я былъ-бы совершенно обезпеченъ насчетъ участи прочитанной вами исторійки. Но теперь.... но при моей несовѣтѣ исправной памяти, не знаю, еще понравится-ли она вамъ въ той мѣрѣ, въ какой понравился, слышавшимъ, ея изустный рассказъ.

С. Калошинъ.

III.

ЭПИЗОДЪ ИЗЪ ПОЭМЫ

АДВОКАТСТВО ЖЕНЩИНЫ,

ЕВГЕНИИ САРАФАНОВОЙ.

—

I.

Я человекъ, и потому
Дѣла людскія мнѣ не чужды!
Безцѣнны сердцу моему
Всѣ наши радости и нужды.
Отвергнувъ вѣка своего
Себялюбивыя искусства,
Елеемъ слова моего
Хотѣла-бъ я въ дѣла и чувства
Людей, родныхъ и близкихъ намъ,
Пролить цѣлительный бальзамъ!
Мнѣ не страшна борьба со свѣтомъ,
Я жажду на нее вступить,
Я жажду истинѣ служить —
Слезой, печалью и привѣтомъ...
Наука русская свѣжа,
Ростеть она средь изысканій,
Какъ древлѣ, въ горнѣ испытаній,
Росла славянская душа!
Зачѣмъ же намъ, какъ лживымъ слугамъ,
Таланты въ землю зарывать —
И дѣль и словъ могучимъ плугомъ
Роскошныхъ нивъ не освѣжать?
Иль Ольга вывелась межъ нами,
Иль Коростень забыли мы,
Иль старины святой дѣлами
Въ насъ не воскормлены умы?
Не мы-ль кавалеристъ-дѣвицѣ
Вручили славныхъ дѣдовъ штыкѣ,
Когда къ Москвѣ, Руси столицѣ,
Пришло дванадесять языкѣ?

Mesdames, mesdames! возможно-ль это!
Какая вѣтренная блажь!
Покинуть шумъ большого свѣта,
Покинуть милый ералашъ!..
Покинуть мѣръ, въ которомъ столько
Имѣеть силы и бобѣръ,
И протанцованная полька,

И изъ избы носимый соръ!
 Покинуть Марію счастлива,
 Неисправимаго лѣнивца,
 Врага фюритуръ и гаммъ
 И жертву модныхъ эпиграммъ?
 Покинуть все, перчатки скинуть,
 Взять мечъ, сандаіи обувь,
 Забрало на чело надвинуть,
 И грудь кольчугою стянуть!
 Нѣтъ, нѣтъ, вы морщитесь, бѣжите,
 Меня вы слушать не хотите;
 Вамъ страшень женщина-трубачъ,
 Какъ надъ оврагомъ бородачъ!
 Не бойтесь, слушайте спокойно,
 Я поведу слова пристойно
 И расскажу вамъ обо всемъ,
 Да и о многомъ о другомъ. —

Въ чужомъ глазу мы видимъ спицы,
 Въ своемъ не видимъ и бревна.
 Мы модныхъ пошлостей страницы
 Читаемъ жадно излавна.
 Разказовъ сердца сокровенныхъ,
 Исторій душъ обыкновенныхъ,
 Когда-бъ не мода, господа,
 Мы не бросали-бъ никогда!
 «Записки Пиквикскаго Клуба»
 И «Торгъ житейской суеты» —
 Для насъ безжизненны и грубы,
 Не любопытны и просты.
 Французскихъ сказокъ и куплетовъ
 Мы день и ночь тревожно ждемъ
 И старыхъ англійскихъ поэтовъ
 За «Мускетеровъ» отдаемъ!.

Станицкій, Юрьева, Крестовскій,
 Т. Ч., и, съ Сафою московской,
 Сатирикъ-Лейла, всѣхъ я васъ
 Прошу послушать мой разказъ.
 Грѣшна я, милья кузины,
 Во время дно безъ ума
 И я ходила отъ «Полины»
 И отъ волшебнаго Дюма!
 И я любила погремушки
 И фельетонныя игрушки,
 И я поэта «Двухъ-судебъ»
 Не поняла, прости мнѣ Фебъ!...
 «Post-Scriptum» этого признанья

Въ томъ состоятъ, что вы должны
 Мнѣ извинить мои мечтанья,
 Кокетство доброй старины,
 И не всегда прямую совѣсть,
 И злость, подъ мирной простотой, —
 Все, чѣмъ богата эта повѣсть
 И этой повѣсти герой!

II.

Романъ Романычъ самъ не знаетъ,
 Чего ему недостаетъ.
 Романъ Романычъ процвѣтаетъ
 И припѣваючи живетъ.
 Романъ Романычъ старый хрѣвъ,
 Какъ говорятъ у насъ, бывалый;
 А впрочемъ статный джентльменъ,
 И въ полномъ смыслѣ добрый малый.
 Конечно, еслибъ въ мірѣ мнѣ
 Быть «добрымъ малымъ» приходилось,
 Я бѣ безъ оглядки утопилась,
 Какъ Кларенсъ, въ дѣдовскомъ винѣ.
 Но мой герой смиреннѣ любить
 И жизни по пусту не губить!
 Въ немъ все здорово, все живетъ,
 Все вѣетъ чуткимъ, бойкимъ духомъ:
 Такой характеръ нашъ народъ,
 Какъ Гоголь свѣту выдаетъ,
 Зоветъ «удачею» и «ухомъ»!...
 Блеснуть онъ въ обществѣ не могъ,
 Какъ дива намъ родной эпохи,
 Импровизаторъ, вантрилогъ
 Или танцующія блохи.
 Но, чѣмъ пышнѣй цвѣтетъ цвѣтокъ,
 Тѣмъ онъ скорѣй и отцвѣтаетъ:
 Живетъ донинѣ Поль-де-Кокъ,
 А кто «*** — а» читаетъ?...

Романъ Романычъ человекъ,
 Которымъ начать новый вѣкъ!
 Въ сочельникъ, въ восьмисотомъ годѣ,
 Родился онъ, какъ всѣ мы, жилъ
 Безъ церемоніи, по модѣ,
 Слегка шалилъ, слегка хандрилъ
 И паразитомъ всюду былъ.
 Носилъ онъ цѣпи байронизма,
 Балладъ Жуковского шишакъ,
 Очки и кудри гегеллизма,

Браду и шармеровскій фракъ!
 И вотъ онъ жаръ свой остудилъ,
 Сталъ очень тихъ и очень милъ,
 Сталъ заниматься откупамъ,
 Степнымъ хозяйствомъ, векселями,
 Какъ новый Крезъ, разбогатѣлъ,
 И предпочтенно растолстѣлъ.
 Торгуя хлѣбомъ и дровами
 И занимаясь откупамъ,
 Онъ никогда при томъ не прочь
 И ближнимъ братіямъ помочь.
 Онъ на балахъ творца Ночей
 Индѣйскихъ, римскихъ и японскихъ
 Внимаетъ Гунглю, межъ огней
 И межъ деревъ и скалъ чухонскихъ!
 Онъ пляшетъ польку за хромыхъ
 Онъ за голодныхъ ѣстъ котлеты,
 И созерцаетъ, за слѣпыхъ,
 Великолѣпныя ракеты! —
 Прапращуръ нашего героя,
 Когда преданія не лгутъ,
 Былъ изъ воинственнаго строя
 Опричникъ, прозванъемъ Пудъ.
 Онъ гнулъ рубли, домагъ подковы,
 Пилъ медь двуштофною стопой,
 И, засуча рукавъ бобровый,
 Крутилъ спѣсиво усъ шелковый,
 Гарцуя въ станѣ подъ Москвой.
 Его потомокъ отдаленный
 Женился на княжнѣ Древскѣй,
 И, такъ какъ съ нею родъ княжѣй
 Кончался, титулъ сей почтенный
 Ему досталось носить,
 Чтобъ имя рода сохранить...
 И такъ Пудавовъ князь явился —
 И въ этомъ мѣрѣ поселился!
 Сказавъя древности гласятъ,
 Что князь сей Савломъ прозывался,
 Былъ простоватъ, вельми богатъ
 И жизнью въ городѣ смущался...
 Три внука Савла: внукъ Лукьянъ,
 Внукъ Фараклей и внукъ Демьянъ,
 Служили въ войскѣ. Всѣхъ скромнѣе
 Былъ говорить о Фараклеѣ:
 «Князь Фараклей любилъ покой,
 Любилъ покушать въ день скоромный,
 И умеръ тихо, подъ Коломной,

Въ своей деревнѣ родовой! »
 Лукьянъ, съ женой его Федорой,
 Семей и честию былъ богатъ.
 За Минодорой, Митродорой,
 И за дородной Нимфодорой,
 Ему былъ посланъ-сынъ Панкратъ.
 Но ни Панкратъ, ни княжьи дочки
 Вкусить, какъ должно, не могли
 Благоутробія земли...
 Ихъ жизнь была на волосочкѣ!
 Панкратъ былъ оспой измождёнъ
 И жизнь окончилъ отъ порухи,
 А бичъ повальной золотухи
 Убилъ до времени княжень.
 Печально князь Лукьянъ простился
 Съ золотоглавою Москвой
 И надъ рѣкою, надъ Окой,
 Въ селѣ Мездрянкѣ водворился...
 Но не таковъ былъ князь Демьянъ!
 Молодшій братъ въ семействѣ княземъ,
 Онъ былъ стрѣльцомъ лихимъ и ражимъ,
 Дороденъ, честенъ и румянъ.
 Царь Петръ женилъ его на нѣмкѣ,
 На русокудрой иноземкѣ,
 Супруговъ милостью сыскалъ,
 И къ нимъ въ деревню заѣзжалъ.
 Въ ихъ родѣ, въ восьмисотомъ годѣ,
 Романъ Романычъ былъ рожденъ,
 Воспитанъ по тогдашней модѣ,
 И въ свѣтъ блистательно введенъ.
 Замѣтимъ, всѣ его родные —
 Мы для примѣра, хоть тайкомъ,
 Ихъ имена здѣсь приведемъ —
 Все наши славы молодья!
 Кузенъ Онѣгину, землякъ
 И свать Адуеву, Большову
 Онъ кумъ, Печорину своякъ
 И братъ троюродный Ноздрѣву...
 Ужъ не сродни ли съ нимъ и вы,
 Орфеи юные Невы,
 Пѣвцы, поэты и артисты,
 И всѣхъ газетъ фельетонисты?...
 Горюю онъ за васъ стоитъ,
 Про ваши онъ кричитъ побѣды,
 И, задавая вамъ обѣды,
 Васъ и поить и веселить....
 (Мой собратія писаки

Узнали, гдѣ зимуютъ раки,
И любо имъ: мои друзья,
Не басней кормятъ соловья!). —

И такъ, пожмемъ другъ другу руки,
О мой читатель дорогой!
Романъ въ стихахъ, какіе звуки
Какъ это вѣтъ стариной!
Твоя плѣнительная младость
Опять живетъ, опять цвѣтетъ,
И къ ней бывшая рифма *радость*
Опять играючи идетъ!
Опять веселыхъ оступленій,
Мечтаній, доброй простоты,
И романтическихъ стремленій,
И рѣчи сердца ищешь ты...
Среди словесныхъ урагановъ,
Психологическихъ романовъ,
И прозаическихъ поэмъ,
Тебя измучили совсѣмъ!
Не обманижъ своихъ стремленій,
Не обмани жъ моихъ надеждъ,
Да не падеть поэтовъ геній
Средь апатіи и невѣждъ!
И бросить мелочь аналитикъ,
И бросить бредъ славянофилъ,
И разольетъ голодный критикъ
Ядъ полемиическихъ чернилъ!
Романъ Романычъ... Что за диво,
Что за милѣйшій человекъ!
Съ какой прилѣжностью ревнивой
Его взлелѣялъ шумный вѣкъ!
Какъ я отраднo разбираю
Его любовь ко сну и чаю,
Его плѣнительную лѣнь,
Въ тѣни наслѣдныхъ деревень,
И жирныя, какъ смоквы, губы,
И перламутровые зубы,
И безпримѣрный аппетитъ,
И круглый станъ, и здравый видъ!
Какъ милы мнѣ его стиблеты,
Его сапожекъ каблукы,
И шелкомъ шитые жилеты,
И на тесемочкахъ лорнеты,
И раздушенные платки!
Его кошащая походка,
Брюшко и кроткій, нѣжный взоръ,

И два умильных подбородка,
 И оживленный разговор!
 И наконец, его проворство,
 Его открытость, непритворство,
 И вкуса тонкаго примѣръ—
 На среднемъ пальцѣ солитеръ!
 Я сѣдовласому герою,
 Винюсь, читатель, куры строю.
 Чтò у кого изъ насъ болитъ,
 Объ этомъ тотъ и говоритъ!
 Герой мой старъ, герой мой блѣдень,
 Герой мой драматизмомъ бѣдень:
 Но страсть, какъ говорится, зла,
 Придетъ, полюбишь и козла!

Романъ Романычъ вдовъ! Дворцомъ
 Глядитъ его роскошный домъ!
 Московскимъ трипомъ, зеркалами,
 Сибирскимъ золотомъ, парчей,
 Британской жизни простотой,
 Кавказско-крымскими цвѣтами
 И вкусомъ петербургскимъ онъ
 Обогащенъ и наряженъ!
 Медали строгія Толстаго,
 Картины Бруни и другихъ,
 Отъ Айвазовскаго, Брюлова,
 До Майкова и Соколова,
 Сверкаютъ въ рамкахъ золотыхъ
 Въ его покояхъ росписныхъ...
 Ковры, отласныя гардины,
 Отъ Тура мебель, на дверяхъ
 Портьеры въ плющѣ и цвѣтахъ,
 И въ каждой комнатѣ каминъ...
 Бильярдъ, съ гимнастикой кругомъ,
 Фонтанъ, столовая безъ оконъ,
 Какъ шелковичный, теплый коконъ,
 Съ дѣшнымъ, пахучимъ потолкомъ
 И съ полисандровымъ столомъ....
 Ни шума цѣлый день, ни крика
 Во всѣхъ этажахъ; въ пять часовъ
 Обѣдъ со свѣчами, таковъ
 Плодъ ксмфортебельнаго шика,
 Быть современныхъ мудрецовъ!

Люблю портреты я Зарянки,
 Высокихъ комнатъ теплоту,
 И пухъ ковровъ, и отоманки,

И камелечекъ у лежанки,
 И блескъ и всюду чистоту!
 Люблю я кресла кабинета,
 Рабочій столъ, рояль въ углу,
 И нѣжный трепеть полусвѣта,
 И мѣхъ медвѣжій на полу...
 Люблю я милую небрежность
 Домашнихъ платій и рѣчей,
 Работъ обдуманыхъ прилѣжность
 И грезы пылкія ночей...
 Мой идеаль мотивъ Шопена,
 Семейный міръ мой идеаль,
 Въ часы волшебной грезы плѣна
 Съ друзьями выпитый бокаль—
 Библіотека, статуэтка
 Львовъ журналистики родной,
 И лавра славы модной вѣтки
 Надъ вдохновенной головой!

Романъ Романычъ зиму любить
 Въ столичномъ шумѣ проводить;
 Романъ Романычъ деньги губить,
 Какъ всѣ мы грѣшныя! Попить
 Въ кружкѣ отборной молодѣжи
 Онъ не откажется во вѣкъ;
 Какъ современный человѣкъ,
 Абонированныя ложи
 Во всѣхъ театрахъ каждый день,
 Имѣетъ онъ! Какъ духъ, какъ тѣнь,
 На рысакѣ перелетаетъ
 Отъ одного къ другому онъ,
 Огнемъ искусства распаленъ.
 Съ Вольнисъ рыдаетъ, вызываетъ
 Милá, (которая мила,
 Остра, жива и весела);
 Віоля съ хохотомъ встрѣчаетъ,
 А черезъ мигъ букетъ бросаетъ
 То Прихуновой, то Перро...
 Хоть слушать Гамлета старò
 У насъ инымъ отважнымъ франтамъ,
 Романъ Романычъ вѣренъ былъ
 Театра нашего талантамъ...
 Онъ отъ души превозносилъ
 Игру Мартынова, глубоко
 Цѣнилъ Тальма родной Руси—
 И нашей будущей Плесси
 Предсказывалъ удѣлъ высокой...

Дождемся-ль, отъ своихъ людей,
 Дождемся-ль русскаго Шекспира?
 Намъ тяжела сатира дѣдовъ,
 Ихъ зоркій взглядъ насъ тяготитъ,
 И вдохновенный Грибоѣдовъ
 Покинуть нами и забыть!
 Пустьѣтъ Шаховскаго сцена,
 Молчать филищники его;
 И сходить съ трона своего
 Родная наша Мельпомена!
 А между-тѣмъ, что годъ, растетъ
 Водевилистовъ новыхъ счетъ
 И распѣваются куплеты,
 И раскупаются билеты,
 И авторъ вызванъ каждый разъ
 Друзьями—свѣту на показъ!
 Оно, конечно, наслажденье
 Въ театрѣ забратся въ воскресенье
 И хлопать, хлопать отъ души
 На наши кровные гроши!
 Но согласитесь сами, право,
 Водевилистовъ нашихъ слава
 Урокъ печальный для дѣтей
 Живыхъ и трезвыхъ нашихъ дней!
 Въ чемъ ихъ успѣхъ? Не въ словѣ врѣломъ
 Суда житейской суетѣ,
 А въ калямбурѣ устарѣломъ,
 Иль въ переводной остротѣ!...
 Есть три четыре дарованья,
 Ихъ цѣнить критика и свѣтъ,
 А остальное подражанье,
 Или печальный пустоцвѣтъ!
 Порой невинная бездѣлка
 Получить и иной успѣхъ..
 И что же? Авторъ скороспѣлка
 Ужъ свысока глядитъ на всѣхъ!
 Ужъ умъ его депо сокровищъ,
 Онъ смѣло судить и рядить,
 И намъ торжественно дарить
 Фалангу маленькихъ чудовищъ...
 Романъ Романычъ хоронилъ
 Съ другими вмѣстѣ этихъ франтовъ,
 И дѣльныхъ ожидалъ талантовъ,
 И русскаго сцены не бранилъ!
 И былъ къ ея онъ пляскамъ падохъ,
 Зломъ цвѣтобѣсія томимъ,
 И дорогъ былъ ему и сладокъ

Ея кофейни скрый дымъ!
 Романъ Романычъ даже тѣни
 Не признавалъ постыдной лѣни...
 Онъ каждый день пѣшкомъ гулялъ
 По Невскому, Франтиль, лукаво
 Въ кругу красавицъ выступалъ,
 Глядѣлъ направо и направо,
 И шляпу по сту разъ снималъ
 Отъ Милліонной до Садовой,
 И «шуттингкотъ» его бобровый,
 И съ головой кабаньей трость —
 Все возбуждало толки, злость,
 И зависть въ нашихъ денди! Грѣшенъ
 Былъ старый левъ: носилъ усы
 Неподражаемой красы!
 Онъ, какъ ребенокъ, былъ утѣшенъ,
 Какъ въ-слухъ ропталъ безусый фэшенъ!
 Любилъ въ бильярдъ онъ поиграть,
 Полюбоваться на мостъ новый,
 И въ часъ, по мостовой торцовой,
 Въ коляскѣ вѣнской проскакать...
 «Листокъ художественный» Тимма
 Онъ не выписывалъ, за тѣмъ,
 Что всякій разъ, гуляя мимо
 Тѣхъ оконъ, гдѣ на диво всѣмъ
 Открыты русскія гравюры
 И русскія каррикатуры,
 Онъ могъ, копѣйки не платя,
 Налюбоваться всѣмъ, шутя!
 Болонокъ крохотныхъ, на лентахъ
 Красавицъ, въ острой болтовнѣ,
 По «просвѣщенной» сторонѣ
 Проспекта, въ тонкихъ комплиментахъ
 Онъ, жмуря глазки, восхвалялъ
 И очень ловко ихъ ласкалъ.
 Онъ бенефисы, въ пользу Лизы,
 Въ цыганскихъ операхъ слѣдилъ!
 Зато онъ гналъ, зато громилъ
 Лева, оперы и ремизы...
 И пестрый карточный мѣлокъ
 (Съ лихой козы хоть шерсти клокъ)
 Употреблялъ лишь въ мирныхъ счетахъ,
 Въ своихъ коммерческихъ работахъ.
 Романъ Романычъ забѣгалъ
 Въ Пассажъ, къ Пазетти, бѣлъ тартинки,
 И макароны, и сардинки,
 Газеты новыя читалъ,

Курилъ душистую сигару,
 И полный споровъ, полный жару,
 Онъ отъ Debâts спѣшилъ домой,
 И утѣшалъ себя Пчелой...
 Въ журналахъ толстыхъ онъ охотно
 Отдѣлы смѣси пробѣгалъ,
 Романы скромно опускалъ,
 Спалъ надъ стихами беззаботно,
 Спалъ надъ науками порой,
 И только съ критикой иной,
 Въ журналѣ палеваго цвѣта,
 Онъ фантазировать любилъ,
 Да въ «Современникѣ» слѣдилъ
 Творенья Новаго Поэта...

У насъ семь пятницъ на недѣлѣ!
 Давно ль хвалили романтизмъ?
 И что-жь? Къ нему мы охладѣли,
 И романтизмъ—анахранизмъ!
 Давно-ль у насъ въ великой модѣ
 Былъ эстетическій туманъ,
 Географическій романъ
 И подражанія природѣ?
 И вотъ уже не вдалекѣ
 Филологическая школа:
 Спасаютъ насъ отъ произвола
 Въ литературномъ языкѣ!
 И содротнутся наши дѣды,
 И внуки насъ благословятъ,
 Когда въ Россіи буквоѣды
 Идеалистовъ побѣдятъ! —

V

Все зналъ Романъ Романычъ. Шашни
 Литературы для него
 Не укрывали ничего!
 Онъ не пахалъ родимой пашви —
 Въ печальной праздности старѣлъ
 И сочинять самъ не хотѣлъ!
 А въ годы юные стремился
 Вослѣдъ за временемъ своимъ,
 Въ изданьяхъ Дельвига трудился,
 И былъ цѣнимъ, и былъ любимъ!
 Не вѣрить онъ теперь надеждѣ,
 Зажечь огнемъ искусства грудь,
 Мечтать, страдать, любить, какъ прежде,
 И славнымъ быть когда-нибудь!

И въ золотомъ своемъ приютѣ
 Онъ, улыбаясь, говоритъ:
 Минута намъ принадлежитъ,
 Какъ мы принадлежимъ минутѣ!..
 Онъ заилъ мертвою водою
 Свою придиичевую совѣсть,
 Онъ окропилъ водою живою
 Обычныхъ наслажденій повѣсть;
 И самолетъ коверъ сложилъ,
 И отвернулся отъ искусства,
 И невидимкой-шапкой чувства
 На вѣкъ для творчества закрылъ!
 Наука строгая когда-то,
 Своею областью богатой,
 Его на время увлекла:
 Онъ бросилъ свѣтскія дѣла,
 Засѣлъ за Нестора, трудился,
 Въ дѣлахъ, давно минувшихъ, рылся...
 Но скоро онъ созналъ отсталость
 Неспециальности своей,
 И безвадежная усталость
 Ягла на мѣръ его идей.
 Онъ съ горькимъ вздохомъ убѣдился,
 Что ни Гизо, ни Робертъ-Шиль
 Съ его дендизмомъ не мирился;
 Что нашихъ лѣтописей пылъ
 И жизнь халатная въ отставкѣ,
 Шекспиръ и Сю, Ньютонъ и Гриммъ—
 Мѣшались грустно передъ нимъ!
 Что онъ еще на школьной лавкѣ
 Энциклопедіей идей
 Подрѣзалъ жизнь души своей!
 Ума и мысли безграничность
 Его наполнила тоской,
 И погрузилась въ покой
 Его порывистая личность....

Бываютъ дни, когда безъ цѣли
 Мы уносились-бы, какъ тѣнь;
 Когда, какъ раненный олень,
 Бѣжать-бы вѣчно мы хотѣли!
 Надежды свѣтлыя губя,
 Мы ищемъ боли и страданья:
 Трепещеть въ насъ одно желанье,
 Укрыться отъ самихъ себя!
 Пространенъ мѣръ, могучи крылья...:
 Но вѣтъ! душа дрожить, какъ тать;

Напрасны жаркія усиля,
 Намъ отъ себя не убѣжать!
 Не убѣжать суда преступной
 И уличенной суетѣ;
 Не спитъ каратель неподкупный,
 Въ своей безстрашной правотѣ!
 Онъ, совѣсть грозная, жестоко
 Бичуетъ насъ, и мы идемъ
 Не безъ друзей, не одиноко,
 Своимъ обиденнымъ путемъ!
 И нашъ герой, и онъ терзался
 Своей недремлющей судьбой,
 И онъ съ убитою душой
 По міру шумному скитался,—
 И онъ страдалъ, и онъ бѣжалъ
 Бѣжалъ изъ пышныхъ, свѣтскихъ залъ ...
 Бѣжалъ въ края родимой степи,
 На океанъ зеленыхъ волнъ,
 Гдѣ острова—кургановъ цѣпи,
 Гдѣ утлый возъ казачій — чолнъ;
 Туда, туда, къ пустынной сѣни,
 Въ пріютъ молитвъ и вдохновеній,
 Въ забытый, тихій уголокъ —
 Въ мелкопомѣстный хуторокъ!

VI.

Въ глуши степей лежитъ Ольшанка,
 Подъ косогоромъ, надъ Днѣпромъ,
 Въ селѣ военная стоянка,
 Въ садахъ черемухъ старый домъ.
 Ольшанка теплое мѣстечко —
 Для лицъ, ушедшихъ на покой!
 Межъ камышей зеленыхъ рѣчка
 Струится лентой голубой.
 Подъ облаками вьется кречеть,
 И рѣютъ ласточки кругомъ,
 И тополь, какъ фонтанъ лепечеть
 Зелено-лиственнымъ столбомъ.
 Прекрасенъ, чуденъ край пустыни,
 Огни и пѣсни косарей,
 И горизонта воздухъ синій,
 И въ небѣ крики журавлей!
 Сладка роскошная душистость
 И нѣга лѣтнихъ вечеровъ,
 Темнозеленая цвѣтистость
 Въ туманѣ тонущихъ холмовъ!
 Прекрасенъ бѣдный видъ деревни,

Кругомъ бурьянъ, да осокорь,
 Безъ темныхъ дебрей, башни древней
 И голубыхъ наметовъ горь...
 Не поразить въ степи туриста
 Блестящій раутъ на водахъ,
 Съ игрой пѣвнителяго Листа
 И съ фейерверкомъ на скалахъ —
 Руины мрачнаго аббатства,
 Съ мостомъ, повисшимъ надъ рѣкой,
 Съ фронтономъ рыцарскаго братства
 И съ кастеляншей молодой...
 Молчить забытая дорога,
 И не летать изъ камышей
 Ни звукъ серебрянаго рога,
 Ни крики пестрыхъ егерей!
 Зато въ селѣ уединенномъ,
 Отъ бурь и свѣта заслопенномъ
 Стѣной черешень и ракичь,
 Живѣе сердце говорить.
 Зато подъ крышею убогой
 Свѣжей и пламеннѣе трудъ
 И надъ пустынною дорогой
 Цвѣты несмятые растутъ...
 Зато роскошной жатвы нива
 Мила, какъ вѣрная жена,
 И разстилается красиво
 Холмовъ и пашень перепектива
 У раствореннаго окна...
 Сады, усыпанные макомъ,
 Поля зеленого овса,
 Надъ обнаженнымъ буеракомъ
 Грѣчихи бѣлой полоса...
 Рѣка, сивѣющая сталью,
 Скирды пшеницы золотой,
 И дождь надъ розовою далью,
 И храмъ подъ бѣлою горой,—
 И крикъ тоскующей освянки
 И ржанье конскихъ табуновъ,
 Подъ тѣнью дремлющихъ дубовъ
 Живая пѣсня поселанки...
 О, вы, которымъ суждено
 Въ «Пальмирѣ сѣверной» судьбою
 Имѣть единое окно
 Передъ фабричною стѣною!
 Которымъ Невскій—степь и Крымъ,
 А Институтъ Лѣсной—Алупка,
 И за стаканомъ чаю трубка —

Благоуханій южныхъ дымъ!
Которымъ милъ языкъ чухонца,
Пловучій мостъ черезъ Неву,
И на Крестовскомъ-острову
Въ юлѣ захожденье солнца!
Скорѣй бросайте преферансъ,
Въ вагонъ, а послѣ въ дилижансъ,
Садитесь, мчитесь пышнымъ садомъ,
Степями, вольнымъ вихремъ съ градомъ,
И привѣжайте, сбросивъ льнь,
На хуторъ маленькій, подъ сѣнь
Широколиственного клѣна,
На берегъ рѣчки голубой,
У воскрешающаго лона,
Природы чистой и живой!
Я вамъ отдамъ моихъ знакомыхъ,
Отдамъ на дремлющихъ трудахъ
Сверѣль овсянки въ камышахъ
И тучи пестрыхъ насѣкомыхъ
Въ дрожащихъ воздуха струяхъ!
Я научу васъ наслаждаться,
Я научу васъ удаляться
Туда, въ безмолвный, тѣмный садъ,
Въ ряды древесныхъ колоннадъ,
Туда, гдѣ хмѣль оплелъ шиповникъ,
По вѣтвямъ липъ перебѣжалъ,
Сѣдыми блондами заткалъ
Сухой, игольчатый терновникъ,
На пень сосны перескочилъ
И пень гирляндами увилъ;
Туда, гдѣ ясеней плакучихъ
Развѣсилась живая пряда;
Гдѣ между липъ и розъ пахучихъ,
Дитя, любила я гулять...
Тамъ, по запутаннымъ дорожкамъ
Такъ любо мчатся легкимъ ножкамъ,
Срывать листочки на лету,
Глотать прохладный воздухъ жадно,
И, утомившись, отрадно
Склониться къ темному кусту...
А эхо, звукъ поймавъ, несется
Съ холма на холмъ, лепечеть, вьется,
И каждый надо мною листъ
И свѣжъ, и зеленъ, и душистъ!
Вездѣ весельемъ, пѣгой вѣетъ,
Звенять малиновки въ кустахъ,
И на землѣ, и въ небесахъ,

Душа привольной птицей рѣшетъ!
 И вижу я родникъ въ травѣ,
 Къ нему протоптана дорожка,
 Какъ шелкомъ вышитая стежка,
 На пышномъ, пестромъ рукавѣ!
 Я упадаю на колаѣни,
 Я пью кристальную струю,
 И перепархиваютъ тѣни
 Въ ней черезъ голову мою!
 Но больше всѣхъ красотъ люблю я
 Тотъ часъ въ селѣ, когда молчать
 И степь, и даль, и домъ, и садъ,
 И на крыльцѣ одна сижу я!
 На пламя свѣчки, мимо глазъ
 Въ окно влетаютъ непрестанно
 То алый яхонтъ, то алмазъ,
 То пѣсня мушки златотканной...
 Пустыня, глушь и сонъ кругомъ,
 Сова колышетъ вѣтвь сирени;
 Рѣшеткой лиственныя тѣни,
 Качаясь, устилаютъ домъ...
 И дремлетъ черный стволъ каштана,
 И темя дальняго кургана,
 Какъ—будто бѣлой простыней,
 Покрыто лунной полосой...
 И тихо, тихо сердце бьется,
 И свѣтлы помыслы души...
 Читатель мой! въ стѣнной глуши
 Легко и сладостно живется! —

VII.

Романъ Романычъ хладнокровно
 Покинулъ свой столичный домъ;
 Размежевался полюбовно
 Съ сосѣдомъ, скучнымъ старикомъ.
 Сперва онъ свелъ и свѣрилъ книги,
 Обѣздилъ пашни и лѣса
 И, отпустивши волоса, —
 Сложилъ тяжелыя вериги
 Заботъ, ольшанскій домъ убралъ,
 Завелъ коней, собачьи своры,
 Театръ домашній, пѣвчихъ хоры,
 И сталъ давать за баломъ балъ...
 Въ азартъ онъ съ большой дороги
 Набѣгомъ бралъ степныя дроги,
 Проѣзжихъ въ домъ свой залучалъ
 И ихъ на славу угощалъ...
 Тогда гремѣли музыканты,

Стрѣляли пушки, аксельбанты
 Кружились, домъ какъ жаръ горѣлъ
 И пѣвчихъ хоръ въ саду гремѣлъ!
 И онъ трубилъ, что въ мѣрѣ нуженъ
 Для счастья: маленькій умокъ,
 Свободный грошикъ, вкусный ужинъ
 И приднѣпровскій хуторокъ...
 Но ранъ душевныхъ не укроешь,
 Упрековъ сердца не зароешь
 Въ наружномъ счастьи, и близка
 Неукротимая тоска!
 И, опустивъ въ безсилы руки,
 Не разъ бродилъ онъ межъ полей,
 Глухой и острой полною муки,
 Съ печалью тяжкою своею....

Любилъ онъ степи вольной бури!
 Бывало, выйдетъ на балконъ,
 А тучи мчатся по лазури
 И меркнетъ день со всѣхъ сторонъ...
 Холодный вѣтеръ злобно рвется,
 Дверьми и ставнями стучить,
 И вотъ гроза шумить и вьется,
 И вихоръ по двору летить...
 Солома, пыль, трава сухая,
 Бумажки, перья, все столбомъ
 Кружится, въ небо улета
 И вотъ ударилъ первый громъ!
 Сквозь тучи молнія беснула,
 И какъ пунцовая змѣя,
 На темномъ небѣ промелькнула
 И въ дальней рошѣ утонула
 Ея звѣздистая струя...
 По сизымъ, облачнымъ волокнамъ
 Ползетъ сѣдая полоса;
 Забарабанилъ градъ по окнамъ,
 Одѣлись дымкою лѣса...
 Хвосты дымятъ, какъ вѣеръ бальный,
 Раскрылъ звѣздою вихрь нахальный,
 Мужикъ выходитъ на крыльцо,
 И ливень бьетъ ему въ лицо;
 Дѣвчонка, съ глиняною кринкой,
 Бѣжить, а вѣтеръ вслѣдъ за ней
 Оплеетъ ей голову косынкой,
 И не даетъ проходу ей!
 А тамъ вдали, табунъ несется,
 Поговщикъ машетъ и кричить.

И гуль отъ топота копытъ
 У дальнихъ мельницъ отдается...
 И снова дождь, и снова градь,
 И снова бури шумный адъ!
 Гроза прошла! Природа блещетъ
 Невыразимою красой,
 На каждомъ листикѣ трепещетъ
 Алмазь росинки золотой!
 Шафей, піоны, макъ, крапива,
 Рѣпка, село, подъ лѣсомъ жнива,
 Колодезь, сѣренькій плетень,
 И каждый кустикъ и камень,
 И каждый гвоздикъ, банка, пряжка,
 Полуистлѣвшая бумажка,
 Пѣтухъ, разбитое стекло—
 Все смотреть бойко и свѣтло!
 Паукъ вчера оплелъ двѣ розы,
 И ожерельемъ золотымъ
 По паутинкамъ голубымъ
 Нависли дождевыя слезы...
 Душисты и мягокъ черноземъ,
 Звенить и рѣетъ все кругомъ...
 Съ небесь, сквозь узкое оконце,
 Глядитъ заплаканное солнце
 И паръ дымится надъ землей
 И мчатся гуси за рѣкой!
 Романъ Романычъ, возрождаясь,
 И новой жизнью наполняясь,
 Глядѣлъ на будущность сквозь слезы
 У гроба надшихъ сновъ и грезъ...
 Но вспоминая скромныхъ дѣдовъ,
 Дѣла ихъ мирныхъ, тихихъ двей,
 Оригинальность ихъ затѣй
 И коссальность ихъ обѣдовъ,
 Гостепріимство ихъ домовъ,
 Домовъ, въ тѣни живыхъ садовъ,
 И оцѣнивъ свою ничтожность,
 Ничтожность, при избыткѣ силъ,
 Себѣ помочь онъ находилъ
 Еще отрадную возможность...
 Романъ Романычъ былъ отецъ —
 Я вамъ открою наконецъ.

Село Рубиновыя гроздыя.
 15-го февраля 1853 года.

(Продолженіе обѣщано).

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА.

МОЦАРТОВЪ ДОНЪ-ЖУАНЪ И ЕГО ПАНЕГИРИСТЫ.

Libre à chacun, sans doute, d'imaginer un Don-Juan à sa fantaisie; mais alors on ne doit pas le donner pour le Don-Juan de Mozart.

Oulibicheff. Biographie de Mozart, vol. 3, page 92.

I.

Есть очень вѣрная пословица: «нѣтъ худа безъ добра». И въ обращенномъ видѣ эта мысль не потеряетъ своей истины: «нѣтъ добра безъ худа». Восторгаться чудесными произведеніями искусствъ — дѣло хорошее; — выражать этотъ восторгъ другимъ людямъ, высказывать во всеуслышаніе изустно и печатно — еще лучше, но... по свойственной человѣчеству слабости, восторгъ уносить воображеніе очень часто — въ *сторону* отъ самаго предмета восторга. Въ пылу своего увлеченія «хвалитель» часто переходитъ за черту правды, начинаетъ видѣть въ предметѣ то, чего совсѣмъ нѣтъ въ немъ, и развивая дидрамбъ «собственнымъ лиризмомъ», болѣе или менѣе поэтическими мыслями «собственного» изобрѣтенія — думаетъ дать другимъ вѣрное понятіе о всѣхъ красотахъ произведенія художника; — но вмѣсто того только отводитъ глаза публики отъ настоящаго дѣла, затуманиваетъ, затемняетъ чистый взглядъ на это произведеніе, каково оно въ дѣйствительности....

«Ужъ эти мнѣ друзья, друзья» говаривалъ Пушкинъ; — тоже самое сказалъ бы каждый геніальный художникъ о всѣмъ полчищѣ своихъ

«цѣнителей и судей», которые сочли себя призванными «пестолковывать» публикѣ будто-бы скрытый, «таинственный» смыслъ такого, или другаго чуда искусства.

Въ одной изъ петербургскихъ газетъ (за 1852 годъ), кто-то, говоря о новомъ роскошномъ изданіи гравюръ съ извѣстнѣйшихъ картинъ Рафаэля (*les vierges de Raphael*), очень дѣльно замѣтилъ о «чрезмѣрномъ предубѣжденіи» въ пользу художниковъ съ всемірною, хотя, конечно, вполне заслуженною славою.

Такое «чрезмѣрное» предубѣжденіе играетъ въ-самомъ-дѣлѣ не послѣднюю роль во всемъ, что обыкновенно говорится и пишется по случаю знаменитыхъ художественныхъ произведеній, которымъ давно уже данъ дипломъ совершенства недосягаемаго. Какъ всякое предубѣжденіе, и это — вредитъ здравому взгляду на предметъ, потому-что не позволяетъ смотрѣть на него иначе, какъ сквозь *призму* разъ навсегда принятаго мнѣнія, утвержденаго вѣками (или десятками лѣтъ) и приговоромъ цѣлаго легіона знатоковъ и критиковъ *ex professio*. — Иному любителю искусствъ—быть-можетъ, и не вовсе лишнему врожденнаго здраваго смысла въ дѣлѣ изящнаго — какое-нибудь твореніе изъ числа пресловутыхъ вѣнцовъ искусства не правится нисколько, не говоритъ ровно ничего ни его душѣ, ни его внѣшнимъ чувствамъ, нисколько не увлекаетъ, не уноситъ его, — но онъ, бѣдный, не только что другимъ, себѣ самому *не смѣетъ* въ этомъ признаться, боясь, что его заклюютъ знатоки, разомъ запишутъ въ категорію вандаловъ, профановъ, рѣшительныхъ невѣждъ въ дѣлѣ искусства, — въ категорію людей безъ вкуса, безъ душевной теплоты, и такъ далѣе. И вотъ — бѣдный любитель искусства по неволѣ, à *contre-sens*, примыкаетъ къ толпѣ, бессознательно повторяющей за знатоками, что такое-то произведеніе — «чудо искусства», что въ немъ художникъ исполнилъ невозможное, и такъ далѣе, — и только про-себя, втихомолку, бѣдный любитель приходитъ къ грустному убѣжденію, что видно такое-то произведеніе «до того высоко въ области искусства», что «простымъ» смертнымъ, непосвященнымъ во всѣ тайны поэзіи и техники, надо отступиться отъ пониманья этого произведенія, отъ горячаго сочувствованія его красота-мъ!...

Какъ будто искусство, поэзія — не общее достояніе, а существуютъ для однихъ знатоковъ! Но съ другой стороны, нельзя не сознаться, что *пониманье* красотъ художественныхъ въ прямомъ отношеніи къ образованности вкуса, къ «спеціальной» такъ-сказать «воспитанности» художественнаго смысла и самыхъ органовъ, принимающихъ впечатлѣніе искусства (зрѣнія, слуха). Кажется, нѣ для чего повторять давно всеѣмъ

знакомыя истины, что, напримѣръ, крестьянинъ, взятый отъ сохи, никогда въ жизни не видавшій картинъ, ровно ничего не пойметъ въ пейзажѣ Рюиздала или Калама, хотя въ натурѣ очень часто могъ видѣть и болото, покрытое широкими листьями водяныхъ лилій, и закатъ солнца, сверкающій сквозь чашу деревьевъ. Для совершенно-невоспитаннаго глаза уже будетъ нѣкоторая ступень пониманья, если такой глазъ въ картинѣ «Послѣдній день Помпей» разберетъ, что тутъ люди бѣгутъ, спасаются отъ какого-то пожара; — а сколько ступеней интеллектуальной воспитанности отъ такого уразумѣнья сюжета картины до уразумѣнья ея «красоты» — ! Кажется нѣчего распропагандироваться обо всемъ этомъ, — также и о томъ, что тутъ законы *общіе* для всѣхъ искусствъ: для живописи какъ для музыки, для скульптуры какъ для драмы — между-тѣмъ иногда вотъ что случается слышать: «Кажется, я очень люблю музыку (говоритъ какая-нибудь поклонница мазурокъ и галоцовъ Шульгофа)» отчего же мнѣ ваши баховскія фуги такъ нестерпимо-скучны», или «Нѣтъ, — воля ваша, — мы не понимаемъ симфоній Бетховена, — быть-можетъ это и очень ученая музыка, — но мы въ ученомъ отношеніи судить не можемъ, — а этотъ дремучій дѣлъ разныхъ «диссонансовъ, — эта музыкальная дребедень не доставляетъ намъ ровно никакого наслажденія. Толи дѣло хорошая русская пѣсня, пропѣтая «добрымъ хоромъ Жүковскихъ пѣсенниковъ, или «Соловей» Алябьева «исполненный незабвенною г-жею Виардо-Гарцією!» * или еще: «Скажите, отчего я просто таю отъ удовольствія въ «Ломбардахъ» или въ «Эрнани» — а въ вашемъ Донъ-Жуанѣ или Nozze di Figaro и радъ бы что-нибудь послушать — да нѣчего: все это такъ скользитъ мимо ушей, все такъ вяло и безцвѣтно». ** Читатели, конечно, согласятся, что миллионъ разъ слышали такого рода «изумительныя» сужденія. Говорю изумительныя, потому-что почти невѣроятно, какъ могутъ люди забывать, что между мазуркой Шульгофа и фугой Баха, между хоромъ цыганъ, или пѣсенниковъ и симфоніей Бетховена, между оперой Верди и оперой Моцарта — общаго только то, что все это дѣйствуетъ на насъ чрезъ органъ слуха? Какъ могутъ люди забывать, что эти крайности далеки другъ отъ друга, какъ полюсы, и симпатія къ одному предполагаетъ непремѣнную ненависть къ другому. Какъ могутъ люди забывать, что прежде чѣмъ пускаться въ какое-нибудь сужденіе о музыкѣ, надо выучиться искусству *ее слушать?*

Непосредственно, безсознательно любить музыкальные звуки (въ родѣ того, какъ ихъ любятъ, напримѣръ, пауки и нѣкоторыя породы

* Historique.

** Historique.

рыбъ) есть, конечно, уже *первая* ступень *орекклянтизма* («огесchie» — уши) — но между этою «первою» ступенью и просвѣщенной любовью къ твореніямъ Моцарта и Бетховена длинная лѣтница — само искусство и его разумѣніе.

Масса публики состоитъ изъ людей, болѣе или менѣе неприготовленныхъ къ настоящему пониманью искусства: вотъ почему масса эта всегда руководится сужденіемъ знатоковъ; а знатоки, съ ихъ педантическими предубѣжденіями, очень часто сбиваютъ съ толку незнатоковъ, хотябы и людей съ здравымъ вкусомъ; знатоки очень часто не избѣгаютъ односторонности взгляда. Все дѣло въ томъ, что при эстетической оцѣнкѣ всякаго художественнаго произведенія, непременно надо имѣть въ виду двѣ стороны: первую, — достоинство произведенія *самого по себѣ* (*valeur intrinsèque*), то-есть достоинство произведенія какъ отдѣльно-существующаго для своей собственной, поэтической дѣли, — и вторую, — значеніе этого же самаго произведенія — *историческое*, то-есть въ связи съ другими подобными и «современными», или близко предшествовавшими ему произведеніями. Обѣ эти стороны критической оцѣнки могутъ и должны быть обсужены *вполнѣ* въ серьезной философской критикѣ искусства, которая только въ наше время начинаетъ дѣятельно разрабатываться въ цѣлой Европѣ, особенно въ Германіи. — Но и въ каждомъ отдѣльномъ, *частномъ* мнѣніи, безъ малѣйшей претензіи на теорію, или педантизмъ, *непременно* должно смотрѣть на художественное произведеніе съ этихъ двухъ, совершенно разныхъ точекъ; иначе взглядъ будетъ рѣшительно ошибоченъ, дастъ ложное понятіе о предметѣ, собьетъ публику съ толку, и приведетъ къ полужалкимъ, полу-забавнымъ разнорѣчіямъ между историческою славою, «именемъ» произведенія и его дѣйствіемъ на массу намъ современныхъ людей, жадно отыскивающихъ наслажденіе даже тамъ, — гдѣ оно для нихъ недоступно.

Большая или меньшая *знаменитость* поэтическаго творенія не всегда въ прямомъ отношеніи къ его достоинству. Очень нерѣдки при мѣры, что изъ числа многихъ первостепенно-прекрасныхъ художественныхъ произведеній, мода, или духъ времени, по какимъ-нибудь случайнымъ обстоятельствамъ, отличаетъ *не* самое высшее; — но подъ этимъ вліяніемъ особеннаго, — *моднаго* въ извѣстную эпоху, — предпочтенія настоящая, справедливая оцѣнка произведенія становится меньше и меньше возможною. На каждое въ самомъ-дѣлѣ превосходное, да притомъ еще и *модное* произведеніе (модное, въ смыслѣ особенной, исключительной славы) является столько комментаторовъ, толкующихъ въкось и вкривь, что трудно хотя слегка не подчиниться которому-ни-

будь изъ тысячи взглядовъ (больше или меньше ложныхъ), — трудно смотрѣть на предметъ простыми глазами, а не сквозь навязанную вамъ призму.

Въ фельетонной статейкѣ, о которой я упомянулъ, сказано между прочимъ: «Люди съ поэтическимъ направленіемъ обыкновенно приходятъ въ состояніе *творчества* предъ знаменитыми картинами Рафаэля. Легкая производительность ихъ воображенія, получивъ толчокъ, начинаетъ дѣйствовать, заставляя ихъ видѣть на картинѣ *невидимое*»...

Это очень вѣрно въ отношеніи не однихъ рафаэлевыхъ картинъ и не одной живописи, а въ отношеніи всѣхъ особенно-знаменитыхъ изящныхъ произведеній. Чтò съ картинами Рафаэля, — точно тоже и съ операми Моцарта, съ симфоніями Бетховена, и т. д. И чѣмъ большею знаменитостью пользуется образцовое произведеніе, тѣмъ больше найдется «людей съ поэтическимъ направленіемъ», которые по случаю этого чуда искусства приходятъ въ состояніе творчества, и свои восторженные впечатлѣнія, *свой собственный миризмъ* выражаютъ печатно, выдавая эти диопрамбы за критическіе комментаріи, за истолкованіе «смысла» художественнаго произведенія.

Чего только не было писано о Рафаэлѣ по случаю его Сикстинской Мадонны, его картоповъ, или «Преображенія»! — о Шекспирѣ, по случаю Гамлета, Лира, или Ромео и Юліи! — о Моцартѣ, по случаю Донъ-Жуана, или Реквіема? Чего только и Рафаэлю, и Моцарту, и Шекспиру не навязали комментаторы, придя въ «состояніе творчества»! — Сами художники — еслибъ, въ наказаніе за какую-нибудь вину противъ искусства, Аполлонъ присудилъ ихъ прочесть *все*, чтò о нихъ было писано, — сами художники привуждены были бы сознаться, что комментаторы несравненно *умнѣе* и *поэтичнѣе* ихъ самихъ, — потому-что имъ, художникамъ, въ простотѣ души, и въ голову не приходили такія тонкости, замысловатости, такіе, — какъ выразился Гоголь, — «эквики», которыми наградили ихъ толкователи. Моцарта давно называютъ «Рафаэлемъ» въ искусствѣ звуковъ. Сближеніе этихъ двухъ геніевъ такъ часто повторялось, что успѣло даже нѣсколько опошлиться. Несмотря на то, оно вѣрно очень во многомъ. Вѣрно и въ томъ отношеніи, что чрезмѣрные «хвалители» этихъ художниковъ въ одинаковой степени *затемнили* настоящей взглядъ на ихъ произведенія. Особенно къ тѣмъ изъ этихъ произведеній, которыя пользуются славой «первѣйшихъ» (у Рафаэля: Преображеніе, Сикстинская Мадонна, — у Моцарта: Донъ Жуанъ, Реквіемъ) рѣшительно доступа нѣтъ сквозь густую толпу призванныхъ и непризванныхъ критиковъ и панегиристовъ. Критики разобрали тутъ каждую черточку, каждую нотку, и

снабдили каждую черточку и каждую нотку нескончаемыми комментаріями, отъ которыхъ пользы не очень много (особенно для тѣхъ, кто въ состояніи безъ чужой помощи знакомиться прямо съ картиною, или съ партитурою) — а вреда немало, потому-что все эти комментаріи и составляютъ ту радужную призму, сквозь которую предметъ видѣнъ не въ настоящемъ свѣтѣ.

Вѣдь стараются же объ уничтоженіи призматической радужности въ оптическихъ приборахъ, когда дѣло идетъ о томъ, чтобы получить самое чистое, вѣрное впечатлѣніе; — почему же не позаботиться о такомъ же *ахроматизмѣ* и въ критикѣ, которая, по самому основному свойству своему, должна стремиться къ вѣрности и чистотѣ взгляда? — Заглавіе этой статьи показываетъ, что я поведу рѣчь о Моцартовомъ Донъ-Жуанѣ.

Можетъ-быть именно потому, что эта превосходная партитура давно уже сдѣлалась неразлучнымъ спутникомъ моихъ занятій по искусству, мой *va de mesum*, — можетъ-быть именно потому, что я «довольно твердо» знаю эту оперу и люблю эту музыку, какъ ее слѣдуетъ любить всякому, въ комъ есть влеченіе къ правдѣ и къ красотѣ, — я желалъ бы какъ можно скорѣе, хоть для самого небольшого кружка публики (много ли статья моя находятъ терпѣливыхъ читателей?!), показать эту оперу, по возможности, въ настоящемъ свѣтѣ, мимо рѣшительно всѣхъ сколько-нибудь произвольныхъ толкованій; показать чего должно искать въ этой оперѣ и чего искать невозможно, что въ ней есть и чего рѣшительно-нѣтъ, потому-что и не могло быть (сообразая самую задачу этой оперы, и время, въ которое она писана). Жестоко ошибутся тѣ изъ читателей моихъ, которые захотятъ видѣть въ этой статьѣ полемическую выходку противъ «панегристовъ» Донъ-Жуана, — выходку, внушенную какими-нибудь личными причинами. Столько же ошибутся и тѣ, которымъ покажется, что я желаю — изъ оригинальничанья — *вооружаться* противъ перваго въ свѣтѣ опернаго генія и противъ оперы, почти всеѣмъ свѣтомъ признанной за *первую*, по достоинству, изъ всѣхъ существующихъ оперъ. Такого рода оригинальничанье было бы забавнымъ подражаніемъ знаменитому въ исторіи поступку нѣкоего Герострата, съ тою разницею, что Геростратъ, по-крайней-мѣрѣ, *истребилъ* одно изъ чудесъ древняго искусства, а единичный голосъ *противъ* Моцарта и его Донъ-Жуана, съ намѣреніемъ унизить Моцартову славу, наперекоръ всесвѣтному приговору, былъ бы довольно жалкимъ покушеніемъ, напоминающимъ какъ нельзя ближе одну крыловскую басню.

Повторяю, что моя единственная цѣль: *очистить взглядъ на Моцартова Донъ-Жуана отъ призматической радужности*, то-есть

отъ произвольныхъ толкованій основы, характеровъ и подробностей этого безсмертнаго произведенія, толкованій, на которыя были такъ щедры все писавшіе о Донъ-Жуанъ. А писали объ немъ довольно. Не упоминая о «легіонъ» нѣмецкихъ критикъ, разборовъ, комментаріевъ, панегириковъ и повѣстей à propos, — помѣщенныхъ по случаю Донъ-Жуана въ несчетныхъ музыкальныхъ и литературныхъ журналахъ книгообильной Германіи, за все полустолѣтіе отъ смерти Моцарта, напомнимъ только: знаменитую фантастическую повѣсть и «фантастическую» же критику Гофмана «Mozart's Don-Juan» (Erzählung des reisenden Enthusiasten), очень извѣстное и дѣйствительно очень замѣчательное трехъ-томное сочиненіе нашего соотечественника, А. Д. Улыбышева, «Nouvelle Biographie de Mozart, гдѣ Донъ-Жуану отведено самое почетное мѣсто, и разбору этой оперы посвящена самая значительная часть третьяго тома; напомнимъ еще большую статью г. Скудо «Mozart et son Don-Juan (въ отдѣльной книгѣ Critique musicale), статью, переведенную въ «Библіотекѣ для Чтенія, кажется, въ 1849 году; — наконецъ одинъ изъ позднѣйшихъ романовъ Ж. Санда «Le château des désertes» гдѣ, по-крайней-мѣрѣ, столько же рѣчи о Донъ-Жуанъ, сколько у Гёте въ его Вильгельмѣ Мейстерѣ — о Гамлетѣ.

Начитавшись всего этого, и не бывши знакомы съ самою оперою Моцарта, ни на сценѣ, ни дома у фортепьяно (по партитурѣ, а не по жалкимъ искаженіямъ такъ называемыхъ Clavier-Auszüge), вы составите себѣ какую-то «смутную» идею «объ оперѣ изъ оперъ», о какомъ-то неслыханномъ, невѣроятномъ, сверхъ-естественномъ совершенствѣ пѣлаго и *всѣхъ* подробностей, идеи и выполненія, о какомъ-то чудѣ драматической музыки, — мало того, чудѣ *всей* музыки вообще, — еще и того мало, — чудѣ изъ *всѣхъ* искусствъ и на *всѣ* грядущіе вѣка!! (la plus haute merveille poétique de tous les siècles, — la plus haute création poétique de l'esprit humain. Oulibischeff. Vol. 3 pag. 87. Nota pag. 203 — et «rassim»). («Оно конечно, Александръ Македонскій герой, — но зачѣмъ же стулья ломать?!»...)

Такъ ли все это въ-самомъ-дѣлѣ? Дѣйствительно ли Донъ-Жуанъ Моцартовъ, и *какъ пьеса* и *какъ музыка*, на сценѣ и въ партитурѣ — полное осуществленіе идеала оперы, такое совершенство, которое однажды только могло встрѣтиться въ искусствѣ, и оттого ни съ чѣмъ не должно и въ сравненіе входить? Такъ ли все это? — Эта повѣрка составляетъ мою нынѣшнюю задачу, помимо всякихъ прочихъ уваженій и отношеній. Amicus Plato, sed magis amica — veritas. Очень понятно, что поставивъ себя такимъ-образомъ въ оппозицію чрезмѣрнымъ хвалителямъ Донъ-Жуана, для доказательства своихъ убѣжденій я долженъ буду на

этотъ разъ говорить, быть-можетъ, больше объ недостаткахъ, о слабыхъ сторонахъ этой оперы, чѣмъ объ ея безсмертныхъ красотахъ; — я долженъ буду указывать пятна въ солнцѣ, — обязанность несовсѣмъ пріятная для того, который всѣми силами души желаетъ, чтобы какъ можно больше людей любовались на ослѣпительное сіяніе этого солнца.

Прежде всего, чтобы читателямъ было ясно, *противъ чего именно* я считаю нужнымъ вооружиться критическими доказательствами, — надобно какъ можно точнѣе собрать и выразить все убѣжденія панегиристовъ Моцартова Донъ-Жуана, *ихъ* взглядъ на эту оперу.

Публика, сколько-нибудь серьезно любящая музыку и ея литературу, давно ознакомилась съ прекраснымъ сочиненіемъ г. Улыбышева «Nouvelle Biographie de Mozart. (3 vol. 1843). Книга эта весьма важна — какъ въ первый еще разъ сдѣланная полная, подробная оцѣнка почти всей дѣятельности Моцарта, оцѣнка значенія этого всеобъемлющаго гениа музыкальнаго искусства въ полномъ его объемѣ. Съ этой стороны нельзя довольно налюбоваться на превосходный трудъ г. Улыбышева, оцѣненный уже по достоинству во Франціи и въ строго-критической Германіи. (Нѣмецкій переводъ напечатанъ въ Штутгартѣ, 1847.) Нельзя не пожалѣть, что это сочиненіе нашего соотечественника написанное по-французски, какъ на *обще-европейскомъ* языкѣ, до-сихъ-поръ не переведено на русскій волюнъ, — или иначе: зачѣмъ авторъ *не удостоилъ* русской литературы своимъ произведеніемъ, къ русскому тексту котораго онъ могъ бы приложить французскій переводъ «en regard»? Въ 1852 году появилось въ Германіи одно сочиненіе, которое должно сдѣлаться любимую книгою всѣхъ истинныхъ друзей музыки и ея философіи: — *Исторія музыки въ Италиі, Германіи и Франціи — отъ первыхъ временъ христіанства до нашего времени. 22 публичныя лекціи, читанныя въ 1850 г., въ Лейпцигѣ, Францомъ Бренделемъ* *. Очень понятно, что въ философски-критической исторіи музыки вплоть до нашихъ дней — объ *Моцартѣ* должно быть довольно сказано, — и вездѣ, говоря объ этомъ феноменальномъ гениі — какъ о самой воплощенной музыкѣ (der Fleisch gewordene musikalische genies), — говоря объ этомъ художникѣ, какъ *точкѣ пересѣченія* всѣхъ лучей искусства, — до Моцарта разрозненныхъ, въ немъ слившихся, а потомъ опять разъединенныхъ, — Брендель безпрестанно приводитъ цѣлыя страницы изъ книги г. Улыбышева, которую призываетъ мастерскимъ сочиненіемъ (ein Meisterwerk). Но еще въ са-

* Geschichte der Musik in Italien, Deutschland und Frankreich von den ersten christlichen Zeiten bis auf die Gegenwart. 22 Vorlesungen gehalten zu Leipzig im J. 1850 von Franz Brendel. — Leipzig 1852. 1 Band. in 8°.

момъ введеніи къ своей исторіи музыки, отдавая всю справедливость очерку исторіи музыки, сдѣланному г. Улыбышевымъ во 2-мъ томѣ его сочиненія, отдавая справедливость этому очерку, какъ первому опыту философски-критическаго изложенія судебъ музыки отъ самаго ея зарожденія до Моцарта, Брендель не могъ не прибавить и о существенномъ недостаткѣ книги г. Улыбышева, именно что въ ней—*позднѣйшее время послѣ Моцарта*, т. е. эпоха бетховенская, представлена *не въ настоящемъ видѣ*, потому что вовсе *не понята* (*gänzlich verkannt*. Brendel.—р. 5). Это же самое, еще вовсе не зная о существованіи книги Бренделя, и я старался разъяснить въ своихъ письмахъ къ самому А. Д. Улыбышеву (въ Пантеонѣ, за 1852). Мнѣ скажутъ, конечно, что замѣченная Бренделемъ погрѣшность г. Улыбышева не относится къ предмету моей статьи; если г. Улыбышевъ, положимъ, и несправедливъ къ Бетховену, положимъ — вовсе не понимаетъ великаго *его* значенія, — все же *Моцартову* дѣятельность онъ понялъ и оцѣнилъ какъ нельзя лучше, что находить и Брендель, — значитъ и энтузиастическій разборъ Донъ-Жуана въ книгѣ г. Улыбышева долженъ быть и вѣренъ, и отлично-хорошъ. » Но не забудьте (я адресуюсь къ тѣмъ, кто имѣлъ терпѣніе прочесть мои письма по случаю толковъ о Моцартѣ и Бетховенѣ), не забудьте, что все погрѣшности доводовъ г. Улыбышева (какъ я старался доказать, говоря о Бетховенѣ), происходятъ отъ одного капитальнаго недостатка въ критическомъ трудѣ—отъ излишней, упрямой приверженности къ *заранѣе принятымъ* убѣжденіямъ. Хорошо, когда эти убѣжденія совершенно совпадаютъ съ истиной;—тогда настойчивость, послѣдовательность г. Улыбышева больше и больше уясняютъ дѣло, и критическій взглядъ его выходитъ безукоризненъ со всѣхъ сторонъ,—какъ напримѣръ въ отношеніи высшаго призванія Моцарта («*sa mission providentielle dans l'art*»), которое прекрасно доказано. Но въ тѣхъ случаяхъ, когда заранѣе принятые г. Улыбышевымъ убѣжденія — сами по себѣ (напримѣръ понятія его объ идеалѣ симфоніи и т. д.) а правда—тоже сама по себѣ (девять симфоній *Бетховена*, въ наше время признанныя за чудеса искусства, *затмившія* совершенно симфоніи Моцартовы)—что тогда выходитъ? Только то, что, несмотря на все усилія свои доказать справедливость этихъ убѣжденій или *предубѣждений*, г. Улыбышевъ *не можетъ* этого доказать, потому—что логически доказать можно только *правду*; — между тѣмъ нѣкоторою невѣрностью взгляда и парадоксами, совершенно лишними, часто искажаетъ свою книгу, во многихъ отношеніяхъ превосходную. Еще когда рѣчь идетъ о Бетховенѣ и о значеніи его дѣятельности, — можно допустить сильное извиненіе въ пользу г. Улыбышева: *его* музыкальная образованность

относится къ той эпохѣ, когда Бетховена еще не начинали понимать въ Европѣ, и Моцартъ сіялъ въ апогеѣ всѣхъ сторонъ искусства безъ соперника; но этого извиненія *нѣтъ* для г. Улыбышева, когда дѣло идетъ о подвигахъ его же собственного героя—Моцарта. А и въ Моцартовой дѣятельности далеко *не все* поставлено г. Улыбышевымъ на настоящую точку. Мы сейчасъ это увидимъ ближе, разбирая оцѣнку Донъ-Жуана въ книгѣ г. Улыбышева.

Мнѣ могутъ сказать: зачѣмъ я съ такимъ ожесточеніемъ чуть не пѣлый годъ преслѣдую малѣйшія погрѣшности этого музыкальнаго критика, котораго трудъ пользуется уже вполне заслуженнымъ европейскимъ авторитетомъ? — Я отвѣчу: здѣсь нѣтъ никакого другаго «преслѣдованія», кромѣ преслѣдованія *правды*. О цѣли моей нынѣшней статьи я уже сказалъ, — а на мнѣніяхъ и погрѣшностяхъ г. Улыбышева считаю долгомъ остановиться *именно потому, что книга его во многихъ отношеніяхъ отлично-хороша и заключаетъ въ себѣ разборъ Донъ-Жуана, болѣе обстоятельный и полный, чѣмъ другія сочиненія о томъ же предметѣ*. Энтузіазмъ, которымъ проникнутъ г. Улыбышевъ къ своему идолу—Моцарту, отражается въ каждой строчкѣ книги; но именно этотъ энтузіазмъ (въ соединеніи съ пристрастіемъ къ заранѣе принятымъ убѣжденіямъ и къ нѣкоторой излишней виртуозности слога) часто портитъ все дѣло.

Г. Улыбышевъ можетъ служить *типомъ* всѣхъ панегиристовъ, которые, въ пылу своихъ диопрамовъ, уносятся за тридевять земель отъ *вѣрнаго* взгляда на предметъ.—Остановимся же на этомъ типѣ.

Вскользь я уже привелъ образчики непомѣрныхъ панегириковъ г. Улыбышева Донъ-Жуану, въ его книгѣ. Панегириками этой оперы наполнена вся книга, потому-что вотъ основная мысль автора: — *между музыкантами не было и не будетъ никого выше Моцарта, а высшая точка развитія Моцарта, лучшее его произведеніе — Донъ-Жуанъ*,— ergo: *Донъ-Жуанъ вѣнецъ всей музыки* — *nunc et in saecula*. Все сочиненіе г. Улыбышева тяготеетъ къ этому средоточію; но мысль эта ни въ первой, ни во второй своей половинѣ, вовсе не можетъ быть принята за *доказанную* теорему, тѣмъ менѣе за основную аксіому. О томъ, какъ должно понимать *первенство* Моцарта на музыкальномъ горизонтѣ, какія *ограниченія* должны быть непременно поставлены въ отпоръ мнѣнію, что Моцартъ безусловно выше и первѣе (?) и Бетховена, и Глука, и Генделя съ Бахомъ, и Палестрины—обо всемъ этомъ я уже довольно распространялся въ своемъ мѣстѣ. Теперь рѣчь идетъ только о второй половинѣ *аксіомы* г. Улыбышева.

Вотъ онъ какъ самъ ее излагаетъ въ разныхъ мѣстахъ своей книги *:

«Можно сказать, что всѣ труды Моцарта, главные обстоятельства его жизни, развитие его гевія до 1787 года—были лѣтницею, на вершинѣ которой—Донъ-Жуанъ, *совершенство изъ совершенствъ* (le chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre)» (Т. III, стр. 206). «Самыя необыкновенныя случайности покровительствовали Моцарту, чтобъ онъ могъ создать—*оперу изъ оперъ*—(104)—недосягаемое превосходство Донъ-Жуана *передъ всеми* существующими операми, прежними и новыми, давно признано *доказаннымъ фактомъ*» (un fait reconnu—104). «Сюжетъ Донъ-Жуана, раскрытый во всей его глубинѣ, посредствомъ музыкальной поэзій, разрастается и получаетъ для души значеніе вѣчно пребывающаго и всеобщаго факта (un fait permanent et universel), становится какою-то космогоніею музыкальною (?), въ которой встрѣчаются, въ поэтическомъ и логическомъ смѣшеніи, верхъ и низъ человѣческой природы, трагедія и комедія, высокое и смѣшное, спиритуализмъ и чувственность, жизнь и смерть со *всѣхъ* (?) возможныхъ сторонъ (sous toutes leurs faces).» Т. III. ст. 97.—«Нѣтъ отрасли искусства, о которой бы вкусы и мнѣнія такъ разногласили, какъ о музыкѣ драматической; нѣтъ также ни одной, которая болѣе была бы подвержена разрушающей силѣ времени. Есть *одна* только въ свѣтѣ опера, какъ бы въ доказательство, что можетъ существовать и такое совершенство, опера, которая, на недосягаемой высотѣ, независимой уже ни отъ какихъ требованій мѣста и времени, паритъ надъ самыми мрачными и самыми свѣтлыми областями чистой психологіи (?)» Т. II. стр. 115.—Далѣе, оканчивая длинный разборъ всѣхъ красотъ Донъ-Жуана, авторъ, на стр. 203 III тома, прибавляетъ: «Разборъ вышелъ очень длиненъ, и мы заранѣе клонимъ повинную голову передъ тѣми, кто захочетъ насъ обвинить въ многословіи. Между тѣмъ, *сколько* еще надо было сократить, пропустить... сколько подробностей ускользнуло отъ насъ... Тысячи-тысячи перьевъ иступились о комментаріи на поэмы Гомера, Виргилія, (?) Данта, — на трагиковъ греческихъ и французскихъ, (?) на Шекспира (какая смѣсь одеждъ и лицъ!...) а матерія все еще не исчерпана. Донъ-Жуанъ Моцартовъ, *высшее поэтическое созданіе* *человѣческой интеллекціи* (—вотъ оно!—) долженъ ли представлять менѣе обширное поле для критики?—Мы говоримъ *высшее* поэтическое созданіе въ отношеніи нашего вѣка,—когда больше любятъ *музыку*, чѣмъ стихи (?)... А въ музыкѣ,—на все время, пока ритмъ, мелодія и гармонія будутъ соста-

* Во всѣхъ цитатахъ я не буду приводить вполнѣ французскаго текста, а означу только страницы книги г. Улыбышева. Желаніе могутъ сами слышать мой переводъ съ оригиналомъ.

влять ея основу, на все время, значить, пока это искусство будетъ существовать, Донъ-Жуанъ останется *вершиною* искусства (?). Пусть онъ исчезнетъ когда-нибудь изъ репертуара всѣхъ европейскихъ сценъ; пусть, наконецъ, отринуть его либретто, какъ ненужную обертку (!) истинные любители музыки примутся присоздавать текстъ, сюжетъ—по музыкѣ (курьозная фантазія!) И тогда... (—что бы вы думали?—) *каждый* сдѣлается героемъ этой драмы. Эта опера будетъ *біографіею* каждой отдѣльной личности (—*какъ* это чудо совершится? г. Улыбышевъ не объясняетъ) — біографіею, выраженной въ нотахъ (?), потому-что ее иначе и написать нельзя... каждый узнаетъ *себя* въ этомъ произведеніи, въ которомъ Моцартъ отразилъ себя вполне, въ этомъ произведеніи, которое вмѣщаетъ въ себя *цѣлую жизнь* художника, полную чудесъ и фатализма, жизнь, которой не осталось чуждо ничто человѣческое.... О вы, которые желали бы походить на героя этой оперы и которымъ это не удалось, прислушайтесь къ послѣдней ея сценѣ,—къ сценѣ, безъ которой Донъ-Жуанъ былъ бы самымъ безнравственнымъ изъ чудесъ искусства, а теперь — съ этой сценою, опера стала самымъ высокимъ и самымъ дѣйствительнымъ изъ всѣхъ поэтически-моральныхъ *поученій* (?)...» Такимъ диоирамбаъ нѣтъ конца. Но я выписалъ ихъ, кажется, довольно, чтобъ показать, что въ-самомъ-дѣлѣ трудно придумать похвалы размахистѣе, трудно какому-бы то ни было чуду поэтическому, художественному приписать значеніе болѣе важное, болѣе гуманитарное! Всѣмъ извѣстный панегирикъ «Одиссея Гомера, переведенной Жуковскимъ», панегирикъ, написанный Гоголемъ до крайности преувеличенно, — блѣднѣетъ передъ этими неслыханными хвалебными гимнами въ честь Моцарту Донъ-Жуану.

Я говорилъ уже о «смутной» идеѣ, которую комментаторы Донъ-Жуана дадутъ о немъ своимъ читателямъ и почитателямъ. Въ приведенныхъ мною диоирамбахъ—хвалы относятся къ «общему» оперы, къ ея міровому (?) значенію, но и то уже *довольно* смутно, потому-что въ каждомъ лицѣ, незнакомомъ съ самою оперою, по прочтеніи этихъ диоирамбовъ непременно родится какое-то темное понятіе объ «оперѣ изъ оперъ», понятіе, навѣрное, весьма не похожее на то, чѣмъ Моцарту Донъ-Жуанъ оказывается на самомъ дѣлѣ.

Комментаріи характеровъ и подробностей оперы еще гораздо больше, чѣмъ общіе панегирики, собьютъ съ толку каждаго, кто не знаетъ наизусть всей партитуры. Начитайтесь комментарий г. Улыбышева, Гофмана, Ж. Санда (le Château des désertes), и вы будете искать въ этой оперѣ полного отраженія жизни человѣческой, съ ея безчисленными калейдоскопическими измѣненіями. Вы повѣрите на слово г. Улыбышеву,

что *всѣ*, или *почти всѣ* страсти человѣческія кипятъ въ этомъ дивномъ созданіи, которому будто-бы нѣтъ ничего подобнаго во всемъ ряду поэтическихъ произведеній, отъ временъ Гомера до вчерашняго дня, — да и пока свѣтъ стоять будетъ, нельзя ожидать чего-нибудь подобнаго Донъ-Жуану. Въ воображеніи вашемъ будутъ носиться дивно-поэтическіе образы: — самъ Донъ-Жуанъ обольститель по преимуществу, этотъ человѣкъ въ костюмѣ испанскаго гранда, гордый, прекрасный, но мрачный какъ байроновскій Люциферъ, — или, если вы больше повѣрите г. Улыбышеву, чѣмъ Гофману, — вы увидите въ Донъ-Жуанѣ какую-то титаническую натуру, (?) параллель Прометея и Фауста въ области чувственныхъ стремленій; Дона-Анна, очаровательнѣйшая изъ женщинъ, способная внушить истинную *неугасимую* любовь даже Донъ-Жуану, (такъ вы ее себѣ представите по Гофману); Дона-Эльвира, глубоко-любящая и глубоко-осмѣянная; — Церлина, прелестная, кокетливая поселанка, обманывающая ревниваго и глупаго мужа; — Донъ-Оттавіо, этотъ (по Ж.-Санду) типъ нѣжной, но вполне мужской любви, насквозь пропитанной вниманіемъ, предупредительностью, довѣріемъ безграничнымъ. — Вмѣстѣ съ Гофманомъ и г. Улыбышевымъ вы будете искать въ этой оперѣ, *отъ начала ея до конца*, таинственнаго вліянія тѣни Командора, грозящей мстью своему убійцѣ, Донъ-Жуану; — будете видѣть въ Донѣ-Аннѣ могущественную заклинательницу, которая сама, силою своей воли, призоветъ небесное мщеніе на главу того, кто лишилъ ее отца и покушался лишить чести, — и повѣрите г. Улыбышеву на слово, что послѣ этого, призваніе Доны-Анны на землѣ (и въ оперѣ) кончилось. Дона-Оттавіо она никогда и не могла любить, а непреодолимое, фаталистическое влеченіе ея къ преступнику — Донъ-Жуану, въ постоянномъ разладѣ со всѣми чистыми стремленіями ея души, могло имѣть одинъ только исходъ — смерть. Наконецъ, въ самомъ явленіи статуи на ужинѣ къ Донъ-Жуану вы, вмѣстѣ съ г. Улыбышевымъ, захотите найти олицетвореніе той страшной минуты, которой никому на землѣ не миновать, — минуты, переданной Моцартомъ будто-бы потому съ особенною потрясающею силою и правдою, что художникъ, когда писалъ Донъ-Жуана, былъ уже близокъ въ своей кончинѣ и предчувствовалъ ее (ровно за четыре года!) Много и другихъ разныхъ диковинокъ встрѣтите вы въ комментаріяхъ на Донъ-Жуана (объ этихъ диковишкахъ — рѣчь впереди), но во всякомъ случаѣ — всего это вмѣстѣ слишкомъ довольно, чтобы въ васъ, если вы еще не видѣли Донъ-Жуана на сценѣ и знаете о его музыкѣ только по наслышкѣ, — поселить сильнѣйшую жажду услышать Донъ-Жуана Моцарта въ исполненіи. Вы будете этого жадать, какъ жаждутъ луч-

шихъ минутъ въ жизни, потому-что такая опера (судя по комментаріямъ) должна быть истиннымъ торжествомъ *всѣхъ* сколько есть въ каждомъ человѣкѣ силъ, сочувствующихъ истинно-поэтическому, со *всѣхъ возможныхъ* сторонъ.

Но тотъ, кто достаточно образованъ музыкально, чтобы ознакомиться съ оперой по ея партитурѣ, прежде нежели доведется ее слышать въ исполненіи на сценѣ, — тотъ, и не видѣвши еще *Донъ-Жуана* на театрѣ, давно долженъ придти къ заключенію, что музыка Моцарта далеко не во всемъ совершенно отвѣчаетъ такимъ колоссальнымъ требованіямъ, доведеннымъ до «*пес plus ultra*» въ-слѣдствіе прочитанныхъ диепрамбовъ; а въ ходѣ, во всемъ складѣ этой оперы долженъ увидѣть *вовсе не то*, что навязали Моцарту его комментаторы. — Отчего-же происходитъ такое разногласіе?

Все дѣло въ томъ, что Моцартъ, какъ гениальнѣйшій изъ оперныхъ композиторовъ, какъ *творецъ* истинной оперной музыки въ полномъ ея объемѣ, — въ зрѣлости своего таланта, остановивъ свой выборъ на счастливомъ, богатомъ, разнообразномъ сюжетѣ, создалъ очаровательное произведеніе, въ которомъ, конечно, музыкою раздвинулъ рамки сюжета, ушелъ *дальше* своей задачи. Иначе музыка осталась бы *ниже* текста, не выразила-бы его на своемъ несравненно болѣе *выразительномъ*, но и болѣе неопредѣленномъ языкѣ, чѣмъ поэзія словесная, — не была-бы *гениальною* музыкою. Моцартъ не былъ-бы Моцартомъ.

Но именно эта превосходная сторона музыки въ *Донъ-Жуанѣ*, то, что она *шире* своего текста, — эта сторона сдѣлалась поводомъ очень многихъ заблужденій комментаторовъ. Вотъ что говоритъ г. Улыбышевъ: (71 стр. III Т.) «Либретто *Донъ-Жуана* безъ музыки — не-«лѣпо, (?) но этотъ нелѣпый текстъ и эта неподражаемо-высокая музыка (*ce texte absurde et cette musique sublime*) одна душа и одно тѣло, — «и не найдется никого, кто-бы не увидѣлъ, на сколько музыкальныя «картины ушли дальше своихъ словесныхъ эскизовъ и какъ часто даже «вовсе не похожи на эти эскизы». (до-сихъ-поръ много правды, но слушайте далѣе) *Нптъ никого, кто бы не увидѣлъ въ исторіи Донъ-Жуана, — такой, какъ она является намъ въ партитурѣ, — цѣлаго порядка дѣлъ, (tout un ordre de faits) — совершенно чуждаго со-держанію текста.* (Замѣчайте! вонъ оно куда пошло!...)

Не диво, послѣ этого, что, принявъ за исходную точку мнимое разнорѣчіе, даже противорѣчіе между намѣреніями либреттиста и композитора, комментаторы *Донъ-Жуана* открыли въ немъ бездну танствен-ныхъ сямпатій и антипатій между дѣйствующими лицами, участіе сверхъ-естественныхъ силъ, моральныя цѣли на каждомъ шагу, гуманитарное

значение (?) оперы въ ея цѣломъ, и тму другихъ диковинокъ, о которыхъ ни абатту да Понте, (либреттисту) ни Моцарту и не снилось. Не диво, что комментаторы, давъ волю «легкой производительности своего воображенія», — въ пылу «своего собственнаго» творчества, своего собственнаго лиризма, стали видѣть «невидимое» и слышать «не-слышимое.»

Припомните, что, моя единственная цѣль: очистить, по возможности, взглядъ на Донъ-Жуана отъ всякихъ произвольныхъ толкований. — Замѣчательно, что самъ-же г. Улыбышевъ вооружается противъ такого «произвола» комментаторовъ. Онъ говоритъ, на стр. 89 — 92 (тамъ-же, откуда я выбралъ свой эпиграфъ): «Ни одинъ изъ прежнихъ «комментаріевъ на Донъ-Жуана насъ не удовлетворилъ вполне; вездѣ «можно было найти истолкованія, болѣе или менѣе произвольныя, болѣе «или менѣе ложныя; произвольныя — когда они не опираются (не «s'appuient) ни на трудъ да-Понте, ни на трудъ Моцарта: ложныя, «когда комментарий прямо противорѣчитъ музыкѣ.» «Каждому вольно придумать своего Донъ-Жуана, по своей фантазій, — но этого своего Донъ-Жуана не слѣдуетъ выдавать за Моцартова». — Мнѣ кажется, что эта мысль — чрезвычайно вѣрная — выйдетъ приговоромъ для разбора Донъ-Жуана въ книгѣ самаго г. Улыбышева, какъ только будетъ доказано, что его «глоссы» во многихъ случаяхъ «не подкрѣпляются ни трудомъ да-Понте (текстомъ Донъ-Жуана), ни трудомъ Моцарта, — а въ другихъ случаяхъ прямо противорѣчатъ музыкѣ разбираемой оперы.

«Какъ только будетъ доказано», — говорю я, — но это не совсемъ-легко. По самому свойству погрѣшностей въ комментаріяхъ, доказательства тутъ должны быть *двухъ родовъ*. Съ невѣрностями противъ текста и его смысла порѣшить весьма нетрудно: стоитъ только указать строчки текста, о которыхъ дѣло идетъ, сличить ихъ съ другими о томъ же предметѣ, сдѣлать иногда общій выводъ, — строго держась буквы текста, — и дѣло кончено. Совсемъ другое дѣло съ опроверженіемъ невѣрностей противъ Моцартовой музыки, то-есть противъ партитуры Донъ-Жуана и ея смысла. Само собой разумѣется, эти погрѣшности, невѣрности взгляда въ комментарий такого знатока музыки, какъ г. Улыбышевъ, только въ очень рѣдкихъ случаяхъ могутъ относиться до самыхъ буквъ, то-есть нотъ партитуры; въ очень рѣдкихъ случаяхъ, значить, мнѣ надо будетъ указать нѣкоторый фактической недосмотръ, пропускъ; — остальные невѣрности относятся къ ложному истолкованію смысла музыки, къ ложной точкѣ зрѣнія на ту, или другую музыкальную подробность, на тотъ, или другой музыкальный ха-

ракторъ. Какъ доказать все это понятно, осязательно, — особенно при вкоренившемся во многихъ предубѣжденіи, что въ музыкѣ можно почти по произволу видѣть то такое, то другое намѣреніе музыкальнаго художника? Какъ доказать все это — на словахъ, а не на самомъ дѣлѣ, то-есть самыми звуками? Какъ доказать, не утомляя вниманія читателей изложеніемъ безчисленныхъ техническихъ подробностей, болѣе или менѣе непонятныхъ даже для музыкантовъ, когда у нихъ нѣтъ, въ эту минуту, партитуры передъ глазами, — и рѣшительно непонятныхъ и дикихъ для остальнаго круга читателей? ! — Но... по русской пословицѣ: «взялся за гужь, — не говори, что не дюжъ» — постараюсь, какъ съумѣю; — только во всякомъ случаѣ прошу у читателей самаго снисходительнаго терпѣнія и вниманія въ тѣхъ случаяхъ, когда мнѣ нельзя будетъ обойтись совершенно безъ техники и безъ частыхъ ссылокъ на самую партитуру. Въ ней одной вся сила въ этомъ случаѣ; она одна должна окончательно разрѣшить все споры и толки, дать отвѣтъ на все вопросы — объ ней же самой. Собираясь говорить объ Моцартовомъ Донъ-Жуанѣ и со стороны текста и со стороны музыки, я предполагаю въ моихъ читателяхъ нѣкоторое знакомство съ самою оперою, то-есть на столько, что мнѣ не будетъ надобности прежде всего рассказывать по порядку весь сюжетъ, весь ходъ оперы, сцена за сценою; — я буду касаться только тѣхъ подробностей, которыя будутъ мнѣ нужны для подкрѣпленія моихъ доводовъ. При томъ — кто же не знаетъ хотя приблизительно сюжета, дѣйствующихъ лицъ, ихъ характеровъ и положеній въ этой всесвѣтно-знаменитой оперѣ? Поэтому считаю возможнымъ прямо приступить къ *характерамъ* оперы, какими они намъ являются въ самой партитурѣ.

Я говорилъ уже, что Моцартъ, какъ гениальный, *вполнѣ объективный* художникъ, безконечно-высоко поднимался иногда надъ плоскостью, дюжинностью словъ либретто, потому-что выражалъ *не слова, а состояніе души* дѣйствующихъ лицъ, — чуть-чуть означенное иногда очень поверхностными, общими словами текста, — выражалъ состояніе души, всегда вполнѣ сообразно данному драматическому положенію. Въ этомъ даже поверхностное знакомство съ музыкой Донъ-Жуана убѣдитъ всякаго; — но рѣшительно *нигдѣ* въ Донъ-Жуанѣ незамѣтно стремленія художника сдѣлать изъ характеровъ своей оперы какіе-то *абстрактныя типы*, порожденія «рефлексіи» нашего времени, Моцарту рѣшительно незнакомой. Различіе между художниками субъективными, то-есть художниками — *лириками*, и художниками объективными, то-есть художниками — *драматиками*, только въ наше время стало ясно для большинства образованной публики, выработалось, можно сказать,

окончательно. Только въ наше время признали за *типъ* объективныхъ художниковъ въ поэзи — Шекспира, Вальтёръ-Скотта, Гёте (особенно въ Фаустѣ), въ музыкѣ — Моцарта; — а Шиллера, Бетховена типомъ *лириковъ*, хотя Бетховенъ написалъ оперу удивительной красоты, — а Шиллеръ создалъ много драмъ высоко-поэтическихъ. Художникъ природы лирической всегда и вездѣ остается самъ собою, — высказываетъ въ поэтическихъ образахъ и мысляхъ свою собственную личность, свое я; оттого для лириковъ такъ важно *содержаніе*, *смыслъ* ихъ поэзи — оно для нихъ несравненно *важнѣе* самой поэтической формы, — и большая или меньшая красота, большая или меньшая высота, глубина мысли въ лирической поэзи въ прямой зависимости отъ личныхъ качествъ, отъ интересовъ души лирика. Въ *объективномъ* творествѣ, напротивъ, самъ поэтъ исчезаетъ за живыми образами, вызванными его фантазіею. Неизъяснимая для *не-художниковъ* способность: одною силою творческаго воображенія совершенно *уничтожать* въ себѣ свое я, переселяться какъ-будто всѣмъ существомъ въ другія, совершенно чуждыя душѣ поэта, личности, — чувствовать, мыслить, жить за нихъ, — однимъ-словомъ, создавать совершенно отдѣльныя лица, столько же независимыя отъ поэта и другъ отъ друга, какъ и дѣйствительныя, реальныя люди, съ плотью и кровью — вотъ что составляетъ отличительное свойство художника-объективнаго, драматическаго. Моцартъ въ этомъ отношеніи, можно сказать, равенъ Гёте и самому Шекспиру; по крайней-мѣрѣ въ числѣ музыкантовъ самыхъ гениальныхъ никто, ни даже великій Глукъ, *въ этомъ отношеніи* не можетъ съ нимъ сравниться; — лица оперъ Моцарта (*всѣхъ*, кромѣ довольно слабой—Clemenza di Tito) — совершенно живые люди, съ отдѣльными, до крайности разнообразными характерами, съ тонкими, чисто-индивидуальными оттѣнками этихъ характеровъ. И замѣйте: сколько для *лирическихъ* поэтовъ важенъ *выборъ* поэтической мысли, важенъ смыслъ ихъ поэзи въ общей ея идеѣ, столько для объективныхъ поэтовъ — выборъ предмета почти безразличенъ, была-бы *жизнь* въ создаваемыхъ характерахъ, лишь-бы эти лица дышали *своимъ* дыханіемъ, думали *своимъ* умомъ, кипѣли *своими* страстями.... Для объективнаго поэта — содержаніе поэзи: сама жизнь человѣческая съ ея безконечнымъ разнообразіемъ. *Всѣ* калейдоскопическія, измѣнчивыя формы этой жизни *равно важны* для истиннаго драматика. Такимъ былъ Шекспиръ — и припомните: онъ съ *одинаковою любовью* ставитъ передъ вами философа Гамлета и философа могильщика, Ромео и отвратительнаго аптекаря, Джульету и глупую ея кормилицу, — Макбета и привратника, преважно толкующаго съ самимъ-собою о трехъ послѣдствіяхъ хмѣля; онъ съ одина-

ковымъ могуществомъ переселяется и въ наивную Миранду, и въ чудовище Калибана, — и въ царицу эльфовъ Титанію, и въ ткача-актера — дилеттанта, которому, по заслугамъ, проказникъ — бѣсенокъ приставилъ ослиную голову. Но, возразите вы: тутъ все *контрасты*, а по законамъ красоты контрастовъ безобразіе душевное и тѣлесное имѣть право стать наряду съ идеальною прелестью души и ея оболочки, пошлѣйшая проза наряду съ глубокимъ пафосомъ, и такъ далѣе. Однакоже, кромѣ контрастовъ, сколько въ созданіяхъ Шекспира мелькаетъ передъ вами такихъ лицъ, которыя ни особенно хороши, ни особенно противны, — также *безцвѣтны* въ своей вседневной пошлости и между-тѣмъ точно также *живы*, какъ и тысячи недѣлимыхъ, встрѣчаемыхъ вами въ реальной жизни. Вспомните какого-нибудь Родриго въ Отелло, придворныхъ въ Гамлетѣ. Между-тѣмъ Шиллеръ, которому вездѣ надобно хоть немножко остаться самимъ-собою, рѣшительно отказался-бы живописать такіе неуклюже-уродливые, или такіе безцвѣтные, но *вѣрные* характеры, — или впаль-бы въ мелодраматическую ненатуральность (какъ во многихъ характерахъ и сценахъ его юношескихъ драмъ *Die Räuber, Kabale und Liebe*). Параллель Шиллера въ музыкѣ — Бетховенъ, самъ признавался, что ему *не по душъ* приходилась такіе сюжеты оперъ, какъ Свадьба Фигаро, Донъ-Жуанъ, — признавался, что онъ на такіе сюжеты рѣшительно не могъ-бы написать ни одной строчки нотъ, — находилъ даже, что такого рода мелкіе и чувственные образы оскорбляютъ величіе музыкальнаго искусства. Съ *его* — лирической — точки зрѣнія это могло быть справедливо, но съ *объективной* — Моцартовской, ничто не могло быть *счастливымъ* для музыки, какъ такіе сюжеты, гдѣ *жизнь* является со столькихъ, различныхъ сторонъ (хотя-бы и не *со всѣхъ возможныхъ*, въ одномъ Донъ-Жуанъ — какъ полагаетъ г. Улыбышевъ), Бельмонтъ, Османъ, Блондхенъ, Педрилло (въ «Похищеніи») Сусанна, Керубино, Альмавива — въ *Nozze di Figaro* — рѣшительно *всѣ* въ *Così fan tutte*, въ Донъ-Жуанъ и еще болѣе *всѣ* въ «Волшебной флейтѣ», все это *живые люди*, которымъ Моцартъ, посредствомъ иногда едва замѣтныхъ особенностей, мелодическаго оборота, подробностей гармоніи и оркестра, умѣетъ придать чисто-индивидуальные оттѣнки, такъ, что каждое лицо неизгладимо остается въ нашемъ воображеніи. Всѣ эти *живыя* лица могутъ быть больше, или меньше характеристическими, типическими — это чисто случайность (напримѣръ Османъ, Ленорелло, самъ Донъ-Жуанъ, Зорастро и другія лица въ «Волшебной флейтѣ») — но никогда не могутъ быть холодными, разсчитанными «олицетвореніями» той, или другой психологической данной. Всякое олицетвореніе

предполагаетъ рефлексію, — а рефлексія неизмѣримо далека отъ чисто-объективной драматической поэзіи (примиреніе рефлексіи съ объективностью не удалось даже великому Гёте — во второй части его Фауста) — и рѣшительно *несовмѣстна* съ поэзіею «музыкальною», которая имѣетъ дѣло прямо съ сердцемъ, съ душою, помимо разсужденія и разсудочныхъ понятій. Не надо забывать, что Моцартъ былъ «воплощенная музыка». Объективность имъ созданныхъ лицъ въ прямой зависимости отъ болѣе или менѣе способности ихъ «словесныхъ» эскизовъ выгибаться подъ необходимыя требованія поэзіи музыкальнаго звука. Все, что сколько-нибудь *абстрактно*, музыкою рѣшительно не можетъ быть выражено, — такъ напримѣръ, самъ Фаустъ, — хотя очень индивидуаленъ въ созданіи Гёте, — не принадлежитъ области *музыкальной*, и Моцартъ никогда не выбралъ-бы его дѣйствующимъ лицомъ оперы. И каждое возведеніе отдѣльнаго характера въ *типъ цѣлой стороны человѣчества* есть уже философски-абстрактное дѣйствіе, которое по этому самому было чрезвычайно далеко отъ всей природы Моцарта. Я нарочно остановился долѣе на объективномъ свойствѣ Моцартова творчества. Эта живая *объективность* и собственно — *музыкальность* Моцарта должны быть постоянно въ виду у тѣхъ, кто рѣшается разбирать Моцартовы оперы по отношенію къ характерамъ, въ нихъ дѣйствующимъ.

Въ прежнихъ изданіяхъ оперы «Don Giovanni ossia il Dissoluto punito» самому герою пьесы придана такая характеристика: «un giovine cavaliere, estremamente licenzioso» — въ переводѣ: «до крайности развратный молодой испанскій баринъ.» Таковъ онъ и въ партитурѣ: обольстительно-красивый (это намъ говорятъ его чарующія мелодіи въ *la ci darem*, въ серенадѣ, въ сценѣ съ Эльвирой за ужиномъ), страстно преданный чувственности (припомните арію: *fin ch'han dal vino*), беззаботный, смѣлый, предприимчивый, гордый, неукротимый, непокоряющійся никому и ничему (первая сцена съ Донъ-Анной, сцена сраженія съ Командоромъ, первый финалъ и сцена со статуей за ужиномъ), съ обаятельнымъ вліаніемъ на женщинъ (въ сценахъ съ Церлиной, въ тріо съ Эльвирой во второмъ актѣ), но — въ-слѣдствіе разврата отчасти утратившій истинное благородство чувствъ, поступковъ, слѣдовательно и внѣшнихъ пріемовъ — (въ сценахъ съ Лепорелло, — особенно на кладбищѣ, въ *Allegro la ci darem*, отчасти въ квартетѣ *non ti fidar*) — «Едва только появится онъ — воплощенное наслажденіе, появится блистающій красотою и шеголеватостью, — и все кругомъ волнуется, все принимаетъ праздничный видъ», такъ говоритъ г. Улыбышевъ (стр. 95, III т.), и это совершенная правда и по партитурѣ. Моцартъ передалъ почти каждое

внезапное появленіе Донъ-Жуана на сцену какими-то жаркими, кипучими, нетерпѣливыми и вмѣстѣ блестящими звуками оркестра (быстрое движеніе басовъ, при громкомъ tutti и фанфарахъ трубъ — въ первомъ финалѣ, тотчасъ послѣ ссоры Церлины съ Мазетто, въ самомъ началѣ втораго финала, — въ увертюрѣ). Въ каждой нотѣ тутъ звучитъ огненный темпераментъ холерико-сангвинической. Апогей этой стороны индивидуальности Донъ-Жуана — арія «*fin ch'han dal vino*», гдѣ опять замѣченное мною движеніе басовъ, при самомъ быстромъ ритмѣ. Ловкость, изворотливость этого змѣя-искусителя чудесно обрисованы въ квартетѣ *non ti fidar*, — въ терцетѣ съ Эльвирой, во второмъ актѣ, — въ первомъ финалѣ, когда онъ хочетъ все обвиненія обратить на Леопорелло, — въ аріи втораго акта «*metà di voi quà vadano*»; — вся сила его гордости и неустрашимости — въ сценѣ со статуей.

Но во всемъ этомъ ни тѣни намѣка на «олицетвореніе» въ Донъ-Жуанѣ абстрактнаго типа какой-то титанической, исключительной натуры, *титана чувственности* — въ параллель Прометею, титану дѣятельной мысли, и Фаусту, титану философскаго мудрствованія?! (Улыбышевъ т. III. стр. 92—97.) Моцартова объективность не даетъ мѣста никакимъ абстрактностямъ, — Моцартова ясность не допускаетъ никакихъ «общихъ», больше или меньше «туманныхъ» изъясненій. Самъ же г. Улыбышевъ, на стр. 91, поправляя произвольныя толкованія характера Донъ-Жуана — Гофманомъ, весьма вѣрно, какъ нельзя согласіе съ партитурой, схватываетъ главныя черты героя оперы: «недумающей ни о вчера, ни о завтра, всегда подъ вліяніемъ настоящей минуты, артистъ и поэтъ въ своемъ родѣ, музыкантъ въ душѣ, вѣчно веселый «проказникъ, что-бы ни случилось вокругъ него.» Зачѣмъ же было называть Донъ-Жуану натуру титаническую? Фантазію Гофмана о тайной любви Донъ-Жуана къ Донъ-Аннѣ г. Улыбышевъ очень хорошо опровергнулъ тѣмъ, что изъ партитуры видно, что послѣ первой сцены съ Доной-Анной и послѣ убійства Командора, Донъ-Жуанъ только избѣгаетъ присутствія Доны-Анны, вовсе больше объ ней и не думаетъ и весь занятъ другими предпріятіями. Но вѣдь и о *титанической* натурѣ Донъ-Жуана нѣтъ ни слова ни у Да-Понте, ни у Моцарта? «Титанизмъ» Донъ-Жуана, какъ произвольное изъясненіе важности этого характера, — даже прямо противорѣчитъ партитурѣ, потому-что въ ней нигдѣ Донъ-Жуанъ не выставленъ далеко-превосходящимъ всехъ другихъ людей, — что составляетъ непремѣнное условіе для титана; — напротивъ, онъ является человѣкомъ красивымъ, съ блестящими способностями, ловкимъ, веселымъ, смѣлымъ и такъ далѣе, но все-таки не исключительнымъ, а такимъ, *каковы многіе другіе*. Въ

этомъ-то и великость Моцарта, что онъ рисуетъ намъ людей *такими*, какъ случается ихъ видѣть чуть не каждый день.

Кто внимательно прослѣдитъ всѣ сцены оперы, въ которыхъ дѣйствуетъ самъ Донъ-Жуанъ, непременно найдетъ всѣ свойства этого характера, мною обозначенные, очень ясно, очень рельефно очерченные даже въ текстѣ, какъ нельзя яснѣе и рельефнѣе выраженными *каждою нотою* баритонной партіи Донъ-Жуана и сопутствующаго ему оркестра; но всего, что говорить г. Улыбышевъ, въ громкихъ фразахъ, о безграничныхъ, ненасытимыхъ, *титаническихъ* желаніяхъ и стремленіяхъ Донъ-Жуана, при сознаніи его безконечнаго *превосходства надъ всеми прочими* смертными (?) (*la terre, rien que la terre, mais toute la terre!* — vol 3, pag. 94) — объ его титанической гордости и *презрѣніи ко всемъ прочимъ людямъ* (?) — всего этого *никакъ* нельзя отыскать въ партитурѣ, по самой простой причинѣ: въ ней этого и *не могло быть*, въ эпоху, когда опера писана, и по свойству Моцартова гения. Мысль во вкусѣ романтизма 30-хъ годовъ — превратить веселаго, безпечнаго женолюбца, Донъ-Жуана въ титаническую натуру, съ общечеловѣческимъ *значеніемъ* (?) — мысль не Моцарта, а его комментатора, и отъ животрепещущей объективности художника XVIII вѣка была точно также неизмѣримо далека, какъ и опровергнутая г. Улыбышевымъ фантазія Гофмана: сдѣлать изъ Донъ-Жуана какого-то Люцифера, или Аббадонну. Еще одно: г. Улыбышеву до крайности понравилась мысль видѣть въ очаровательномъ пажикѣ графа Альмавивы, Керубино (въ *Nozze*) *будущаго* Донъ-Жуана (*un Don Juan «en herbe»*), или въ Донъ-Жуанѣ видѣть *бывшаго* Керубино, то есть полный, роскошный цвѣтокъ, котораго 14-ти-лѣтній Керубино былъ распуколкой. (Сличите все, что г. Улыбышевъ говоритъ объ этой параллели при каждомъ удобномъ случаѣ — г. III, стр. 54 — 57, — 92, — 157 и въ другихъ мѣстахъ). Эта мысль не безъ поэзіи, пожалуй, но г. Улыбышевъ такъ на нее напираетъ *каждый разъ*, что иной читатель подумаетъ, будто въ партитурахъ Фигаро иль Донъ-Жуана гдѣ-нибудь можно отыскать дѣйствительно прямой, или косвенный намекъ *самого Моцарта* на эту, по словамъ г. Улыбышева, *какъ день ясную тождественность* двухъ лицъ въ двухъ «совершенно разныхъ» операхъ (!). Такого намѣка въ партитурахъ обѣихъ оперъ, разумѣется, *нѣтъ вовсе*; это опять чистая *фантазія* комментатора, и опять вовсе не въ духѣ самого Моцарта, у котораго каждая опера, отдѣльный, замкнутый въ себѣ міръ, съ своими людьми и ихъ характерами. Фантазія г. Улыбышева на этотъ разъ, пожалуй, не противорѣчитъ ни характеру Керубино, ни характеру Донъ-Жуана (въ нихъ обоихъ женолюбіе

на первомъ планѣ); но отъ этой фантазіи, взглядъ на личность Донъ-Жуана, какова она въ партитурѣ, нисколько не проясняется, напротивъ скорѣе затемняется, какимъ-то будто-бы *недосказаннымъ* со стороны Моцарта *фактомъ*. Кажется, самъ Донъ-Жуанъ, каковъ онъ въ партитурѣ, личность *достаточно поэтическая*, безъ всякихъ тонко-придуманныхъ прикрасъ и произвольныхъ добавленій.

Примемся теперь за неразлучнаго спутника Донъ-Жуана въ проказахъ и бѣдахъ, за его «*âme damnée*:» *Лепорелло*. «Это слуга, секретарь, управитель, фактотумъ героя пьесы... трусъ, блудолоюзъ, хвастунъ и резонёръ; онъ искренно *охуждаетъ* поведеніе своего «падрона», отъ души жалѣетъ объ хорошенькихъ птичкахъ, которыя безпрестанно падаютъ въ бариновы сѣти; но эта «ловля», отъ которой ему собственно ни хорошо, ни дурно, кажется ему до того забавною, занимательною, что онъ не можетъ удержаться, чтобъ не помогать всѣми силами птицелову, котораго ловкость и искусство постоянно возбуждаютъ его глубокое удивленіе. Каждый день онъ прокликаетъ труды и заботы, голоданье и бѣды всякаго рода, которымъ подвергаютъ его бариновы проказы, каждый день онъ *окончательно* прощается со своимъ господиномъ;—но *завтра* начинается опять таже исторія: онъ остается, мирится со своимъ положеніемъ, не то изъ любопытства, не то изъ какой-то привязанности къ барину, такому страшному злодю и удивительному проказнику! Вообще Лепорелло, смѣсь трусости и дерзкой безопасности, добродушія и насмѣшливой веселости, неуклюжаго обезьянства и инстинктивной ловкости (особенно когда надо *улизнуть* отъ опасности), смѣсь порядочной дозы врожденной глупости и кое-какого заимствованнаго ума.» Такимъ рисуетъ слугу Донъ-Жуана г. Улыбышевъ на стр. 32, 83 III тома, и портретъ *черта въ черту* снятъ съ текста и партитуры самой оперы. Всѣ подробности этого характера такъ *ясны*, такъ опредѣленны въ оперѣ, что не было никакой возможности видѣть ихъ не въ настоящемъ свѣтѣ. И замѣйте: г. Улыбышевъ приведенныя мною строчки влагаетъ въ уста *Да-Понте* (въ придуманномъ авторомъ разговорѣ между Моцартомъ и его либреттистомъ, разговорѣ иногда не очень натуральномъ, обенно въ репликахъ Моцарта), и послѣ этого, *очень вѣрнаго*, портрета Лепорелло, заставляетъ Моцарта воскликнуть: «Удивительно! любезный аббатъ — мастерски! это *единственный* характеръ пьесы, который вы схватили вполне. Мнѣ остается только набросить музыкальныя краски, и я счастливъ буду, если на этотъ разъ выполню всѣ *ваши* намѣренія.» Авторъ «*смыъ изъясняетъ*», что касательно Лепорелло либреттистъ и пѣвыкантъ были совершенно согласны, что Да-Понте далъ Моцарту

такія реплики для Лепорелло, въ которыхъ музыканту не нужно было *идти дальше текста*, чтобъ *вполнѣ* воплотить такой характеръ какъ этотъ слуга Донъ-Жуана. И это правда: роль Лепорелло и въ текстѣ почти безъукоризненна. Что музыка согласна съ текстомъ, что Моцарту *удалось* выполнить *всѣ* намѣренія Да-Понте, касательно Лепорелло, объ этомъ знаютъ все, кому сколько-нибудь знакома сама опера. Казалось бы, что въ отношеніи Лепорелло по-крайней-мѣрѣ не было мѣста «фантазіямъ» комментаторовъ. Ни чуть: и въ этомъ случаѣ энтузіазмъ къ чудесно-созданнымъ характерамъ этой оперы могъ увлечь гг. панегиристовъ немножко всторону отъ *правды*. Вотъ какъ говоритъ г. Улыбышевъ на страницѣ 154 III тома, *прекрасно* рассказавъ о дуэтѣ Донъ-Жуана и Лепорелло, которымъ въ партитурѣ начинается II-й актъ, (*eh, via, buffone*): «Гореть дублоновъ возстановляетъ миръ между слугою и барининомъ, и очень понятно, что между такими двумя лицами, какъ Донъ-Жуанъ и Лепорелло, дѣйствительная разлука невозможна. (Почему это?) *Безъ Донъ-Жуана*, Лепорелло будетъ бездѣйственной, бесполезною машиною (*une machine inerte et inutile*); никто ей цѣны *не узнаетъ, никто не найдетъ* для нея настоящаго употребленія». Почему? Отвѣта вы ни въ книгѣ г. Улыбышева, *ни въ партитурѣ*, не найдете. Дѣйствительно, для Донъ-Жуана Лепорелло необходимъ; то-есть, *такой* слуга, но все-равно, *этотъ-ли* самый, или *другой* въ этомъ-же родѣ; иначе бы онъ немножко имъ дорожилъ, а не собирался, при всякомъ малѣйшемъ противорѣчии отправить *ad patres*, не подвергалъ бы его смертельнымъ опасностямъ, не дѣлалъ бы изъ него на каждомъ шагу настоящаго «*souffre douleur*», виноватаго за чужую вину. (Припомните финаль 1-го акта, секстетъ, дуэтъ на кладбищѣ). При данныхъ Донъ-Жуанова характера очень ясно, что онъ не любитъ оставаться при однихъ угрозахъ, и въ каждой вспышкѣ гнѣва этой вулканической природы, жизнь бѣднаго Лепорелло въ-самомъ-дѣлѣ виситъ на волоскѣ. Оттого, хотя въ немъ есть привязанность къ Донъ-Жуану, пожалуй, и довольно сильная, отчасти по привычкѣ, отчасти въ-слѣдствіе многихъ свойствъ самой Лепорелловой природы, о которой сейчасъ была рѣчь, но онъ все-таки частенько и очень серьезно помышляетъ о томъ, какъ бы разъ навсегда *дать тѣгу* отъ такого «бѣдоваго» барина. Припомните: «*Notte, giorno faticar, — sta a veder che il malandrino mi farà precipitar* (въ интродукціи) *». Вѣдь не жлетъ

* «Io deggio ad ogni patto per sempre abandonar questo bel matto» (въ рецитативъ secco, между арій Д. Анны (or sai) и арій Донъ-Жуана (fin ch'han dal vino) и въ другихъ мѣстахъ оперы.

же Лепорелло *самъ себя*, въ своихъ монологахъ и *a parte!* Значить, *весьма невпрны* все доводы г. Улыбышева и на 202 страницъ 3-го тома, гдѣ онъ, говоря о финальной сценѣ оперы (*послѣ* того какъ статуя провалилась съ Донъ-Жуаномъ), доказываетъ неумѣстность этой сцены между прочимъ и тѣмъ, что для Лепорелло такая сцена *невозможна*, что онъ, будто-бы, довольно наглядѣлся и наслушался въ сценѣ статуи за ужиномъ, чтобъ навсегда потерять разсудокъ, и ему не до того теперь, чтобъ отправиться отыскивать *un radton migliore* «Нѣтъ», прибавляетъ г. Улыбышевъ, нѣтъ, у Лепорелло никогда не было и никогда не будетъ *другаго* барина. (?) Не позволяя себѣ *спорить* съ Моцартомъ въ одномъ изъ лучшихъ его созданий, и выводя характеръ Лепорелло *прямо* изъ партитуры, а не «*a priori*», я никакъ не вижу, чтобъ Лепорелло *долженъ* былъ съума сойти отъ явленія Командора на ужинъ. Увидѣвъ статую еще за дверями, онъ *страшно* испугался, на минуту чуть не обезумѣлъ отъ страха, приближалъ къ Донъ-Жуану помертвѣлый и едва можетъ кое-какъ объяснить о приходѣ статуи: (*Allegro molto, F-dur, «Ah, Signor! per carità! гдѣ мертвенныя секеты фаготовъ морозомъ проходятъ по кожѣ Лепорелло и слушателей*), но тотчасъ въ-слѣдъ за этимъ спрятался подъ столъ и оттуда поглядываетъ таки на бѣлаго гостя (*l'uomo bianco*); его бьетъ лихорадка все время (*la terza da d'aveve mi sembra*), но онъ выслушиваетъ каждое слово замогильнаго пришлеца. На слова Командора къ Донъ-Жуану: *придешь-ли ты на ужинъ ко мнѣ?* (*verrai tu a cenar meco*); Лепорелло *про себя* прибавляетъ: «извините, извините, ему некогда» (*tempo non ha, scusate*); когда статуя въ послѣдній разъ повторяетъ свое страшное приглашеніе: *придешь?* (*verrai?*) Лепорелло, въ ужасѣ, *совплетъ* Донъ-Жуану отказать: *dite di no, dite di no!* Все это нисколько не показываетъ умалишеннаго, а если онъ выдержалъ эти страшныя *первыя* минуты, то «все доктора вамъ скажутъ», что чѣмъ *дальше*, тѣмъ болѣе разсудокъ его долженъ остаться цѣлъ и невредимъ. Въ партитурѣ ему даны реплики даже во-время хора фурій (конечно невидимыхъ), до самой той минуты, пока Донъ-Жуанъ исчезъ «во огнѣ и дыму» (*tra fumo e foso*). Подробно о всемъ происшествіи, хотя и не совсѣмъ толково, Лепорелло рассказываетъ всѣмъ остальнымъ лицамъ оперы, въ сценѣ, *пропускаемой* при исполненіи и признанной за нелѣпую г-мъ Улыбышевымъ, и потомъ изъясняетъ свое желаніе: «пойти въ остерію, поискать себѣ другаго барина, получше». Все это, въ отношеніи Лепорелло, какъ нельзя болѣе *правдоподобно*. Донъ-Жуанъ достаточно *приучилъ* его ко всякаго рода ужасамъ, въ томъ числѣ и къ смертельному страху,—это для него чувство нисколько не новое, а послѣ

смерти Донъ-Жуана, онъ даже очень спокоенъ, потому что освободился наконецъ отъ вѣчныхъ своихъ пытокъ.

Дона-Анна, Д. Оттавіо, Д. Эльвира и Командоръ, (въ обоихъ своихъ видахъ: какъ оскорбленный отецъ Анны и какъ тѣнь его, явившаяся изъ-за гроба), эти четыре лица составляютъ серьезную, трагическую сторону оперы, безъ малѣйшей примѣси элементовъ веселости, комизма; съ тою разницею, что въ Аннѣ, Оттавіо и Командорѣ патетическій элементъ еще глубже, чѣмъ въ Эльвирѣ, которую Моцартъ создалъ какъ-будто переходомъ къ прочимъ, непатетическимъ лицамъ. Оттого и самъ Донъ-Жуанъ теряетъ свою беззаботность, свою веселость, становится серьезенъ при столкновеніяхъ съ этими тремя лицами, тогда какъ въ сценахъ съ одной Эльвирой онъ веселъ и безпеченъ до нельзя.

Отецъ Доны-Анны убитъ Донъ-Жуаномъ въ самомъ началѣ оперы. Послѣ этой катастрофы сердце Доны-Анны какъ-будто утопаетъ въ печали. У ней *одна* мысль: отыскать и преслѣдовать *мщениемъ* убійцу отца. Этотъ душевный трауръ, ни на минуту ее не покидающій, удивительно рельефенъ въ музыкѣ Моцарта, въ которой меланхолическія струны звучатъ такъ восхитительно. При томъ-же скорбь, печаль,—одни изъ богатѣйшихъ родниковъ музыкальной поэзіи вообще. (Также какъ съ другой стороны радость, веселье, ликование. *Вся* музыка вращается между этими двумя полюсами). Высокая патетичность траурнаго характера Доны-Анны не могла не остановить на себѣ особеннаго вниманія, особеннаго пристрастія комментаторовъ. Гофманъ изъ Доны-Анны сдѣлалъ *героиню* своего фантастическаго разсказа. Г. Улыбышевъ въ видѣ Доны-Анны олицетворяетъ даже *музу* Моцартову (!) (стр. 99 III т.) На стр. 113 онъ называетъ Дону-Анну послѣднимъ и высшимъ усиленіемъ генія, воплощеннымъ трагическимъ пафосомъ (*le sublime tragique en chair et en os*, а куда-же вы спрячете Глука?); наконецъ находитъ, что для настоящаго исполненія роли Доны-Анны надобно, чтобъ примадонна была только: *первѣйшею красавицею*, (?) *перевѣйшею трагическою артисткою и первѣйшею пвицею въ свѣтъ* (*excusez du peu!*)

Мы заранѣе убѣждены, что послѣ такихъ панегириковъ нельзя ждать добра, то-есть, о вѣрности взгляда комментаторовъ на Моцартову Дону-Анну и думать нечего. И въ-самомъ-дѣлѣ, послѣ Донъ-Жуана самого, всего больше пострадалъ въ искаженіяхъ комментаторовъ характеръ Доны-Анны. Гофманъ и г. Улыбышевъ въ этомъ случаѣ сobbyютъ съ толку всѣхъ, кто не слишкомъ твердо знакомъ съ самою партитурой. Я говорилъ уже, что г. Улыбышевъ доказалъ неосновательность фан-

тазіи Гофмана, который заставляет Донъ-Жуана найти въ Донъ-Аннѣ идеалъ женщины, тщетно отыскиваемый имъ по цѣлому свѣту, между тысячами женщинъ. «Но Анна явилась слишкомъ поздно, — Донъ-Жуанъ уже слишкомъ разочарованъ, (!) чтобы поддаться чему-нибудь, кромѣ чувственного увлеченія». Г. Улыбышевъ (на стр. 91 III т.) какъ нельзя дѣльнѣе замѣчаетъ, что «если Донъ-Жуанъ и *любитъ* Дону-Анну въ глубинѣ души, то заирталъ эту тайну очень глубоко. Ни одно слово ни одинъ звукъ ему не измѣняютъ». Но и самъ г. Улыбышевъ, какъ я сейчасъ объясню, по случаю Доны-Анны до крайности *увлекся* въ своихъ фантазіяхъ, увлекся совсѣмъ всторону отъ правды, то-есть, отъ партитуры Моцартовой. Главная ошибка, начало всѣхъ бѣдъ, невѣрно схваченный характеръ самого Донъ-Жуана и натянутый выводъ изъ него всѣхъ другихъ характеровъ оперы, существующихъ будто-бы не сами по себѣ (какъ въ реальной жизни и у Моцарта) а только *по отношенію* къ герою пьесы, «титану чувственности». Комментаторъ предполагаетъ необходимую *реакцію* оскорбленіямъ, которыя Донъ-Жуанъ нанесъ цѣлому человѣчеству. (?) Главной *пружиной* этой реакціи — Дона-Анна. «Свирѣпая храбрость, которой источникъ кровь, встрѣчаетъ сопротивленіе въ геройствѣ души, олицетворенномъ въ Донъ-Аннѣ, и торжество злодѣя останавливается передъ необыкновенной энергіею дѣвы, въ которой горе развило моральную силу», т. III стр. 97. Развивая свою собственную мысль, проводя ее дальше, за ходомъ самой пьесы, комментаторъ думаетъ видѣть въ партитурѣ, что Дона-Анна *обрекла себя на смерть*, (?) чтобы этой жертвой призвать на голову Донъ-Жуана небесное мщеніе. (?) Туманно, темно, не правда-ли? Г. Улыбышевъ, вѣроятно самъ зная, что тутъ довольно трудно добраться до толку, дѣлаетъ выноску (это все на 131 стр. III т., при разборѣ аріи «ог sai chi l'opoge»): «Многіе изъ критиковъ *поняли* (?) вмѣстѣ съ нами, что Анна *должна умереть* (?) какъ только мщеніе, котораго она жаждетъ, исполнится. Это *очевидная* мысль Моцарта.» Гдѣ и въ чемъ гг. критики нашли эту очевидность для меня рѣшительно непонятно! Удивительная энергія, которой дышетъ сильно патетическая арія Дона-Анны «ог sai chi l'opoge, величественная какъ арія Глука, эта энергія внушила г. Улыбышеву мысль видѣть въ дочери Командора какую-то могущественную заклинательницу таинственнаго міра (стр. 130, 131), нѣчто въ родѣ Армиды или Эндорской волшебницы (?). Пожалуй можно принять, что это со стороны комментатора — une manière de dire, придуманный способъ, чтобъ яснѣе, осязательнѣе представить въ словахъ всю силу, все очарованье *звуковъ* въ партіи Доны-Анны и въ отвѣчающемъ ей оркестрѣ. Да и то идея могущественной

заклинательницы во многомъ совершенно несогласна съ жалобными частями арий, гдѣ Дона-Анна вовсе не заклинаетъ а *проситъ*, *молитъ* о мщеніи, и мольбы свои посылаетъ не къ безтѣлесному, міру а къ живому человѣку, Дону-Оттавію. Но даже помирившись съ комментаторомъ на какомъ нибудь *mezzo termine*, все же нельзя понять, гдѣ онъ увидѣлъ какую-то жертву со стороны Дона-Анны? И *въ чемъ* именно эта жертва? *зачѣмъ* она должна непременно умереть? Г. комментаторъ не высказываетъ ясно (изъ опасенія, что-ли, подвергнуться участи Гофмана съ его произвольными фантазіями), но намекаетъ (на этой 131 стр. и далѣе, на 165, гдѣ рѣчь идетъ о секстетѣ), что въ душѣ Доны-Анны есть какая-то тайна, въ которой она не только Дону-Оттавію, но себѣ самой боится признаться, — тайна ужаснѣе того происшествія, которое она рассказываетъ Дону-Оттавію (въ знаменитомъ речитативѣ передъ аріей «*or sai*»); она призываетъ мщеніе на голову Донъ-Жуана, но въ глубинѣ сердца «трепещетъ, что не довольно его ненавидитъ» (извините за мелодраматическую фразу, она принадлежитъ г. Улыбышеву, «*sur celui qu'elle tremble de ne pas assez haïr*»); — сказать проще: Дона-Анна, по мнѣнію г. Улыбышева, *любитъ* Донъ-Жуана, но разумѣется, всѣми силами воли изгоняетъ изъ своего сердца это преступное чувство, и зная, что ей не выдержать этой страшной борьбы, заранѣе обрекаетъ себя на смерть. Бѣднѣй Донъ-Оттавію!... Но не вѣрьте этому... *Обо всемъ этомъ* въ партитурѣ и рѣчи нѣтъ. Въ партитурѣ Дона-Анна, невѣста Донъ-Оттавію, какъ я говорилъ уже, послѣ убійства Командора, дышитъ мщеніемъ за кровь отца (хотя жлетъ и требуетъ этой мести въ обыкновенномъ порядкѣ человѣческихъ дѣлъ, безъ всякаго вмѣшательства силъ безтѣлесныхъ). Жениха своего она любитъ; по-крайней-мѣрѣ ни изъ чего не видно, чтобы она его *не* любила. О страсти, или какомъ-то фантастическомъ влеченіи къ Донъ-Жуану въ партитурѣ—и помину нѣтъ.

Чтобъ убѣдиться, что дѣйствительно нѣтъ помину, ни о любви къ Донъ-Жуану, ни о самопожертвованіи, стоить только заглянуть въ текстъ тѣхъ сценъ, гдѣ Донъ-Оттавію говоритъ Донъ-Анна о своей любви. (Именно во 2-мъ актѣ, въ речитативѣ передъ аріей Анны «*non mi dir*», и въ заключительной сценѣ *послѣ* катастрофы съ Донъ-Жуаномъ «*Oh che tutti, o mio tesoro*»). Реплики Дона-Анны всегда только въ томъ, что она желаетъ отложить бракъ на нѣкоторое время, отерочить, потому-что теперь, вскорѣ послѣ смерти отца, она слишкомъ грустна, печальна, да и неприлично для свѣта (*in si tristi momenti... ma il mondo*), голосъ же ея сердца говорить въ пользу Донъ-Оттавію (*Abbastanza per te mi parla amor*,—это все въ речитативѣ передъ аріей

«Non mi dir», да и текстъ самой аріи въ *этомъ же* смыслѣ). И такъ, толкованіе душевныхъ тайнъ Доны-Анны (о которыхъ ни у Моцарта, ни у Да-Понте ни полслова)—толкованіе ложное. Моцартъ выходилъ за предѣлы либретто тѣмъ, что гениальной своей музыкой чрезвычайно дополнял, дорисовывалъ едва намѣченные эскизы либреттистовъ, значитъ, всегда оставался въ данномъ драматическомъ положеніи, но никогда не *могъ* позволить себѣ прямое, діаметральное *противорѣчіе* музыки съ текстомъ, и еще противорѣчіе умышленное! Гораздо проще было Моцарту, при его объективности, потребовать, чтобъ либреттистъ перемѣнилъ ту, или другую реплику, если она не согласовалась съ идеями музыканта. Онъ такъ и дѣлалъ въ тысячѣ случаевъ, по свидѣтельству самого-же г. Улыбышева. Но всѣ такого рода доводы обыкновенно отбрасываются гг. комментаторами, какъ пустой педантизмъ, когда дѣло идетъ о вещи гораздо болѣе важной, когда имъ надо блестяще образчикомъ *собственнаго* творчества! Чтѣ за дѣло, что Моцартъ нигдѣ *не говоритъ* о всѣхъ тайнахъ сердца своей Доны-Анны, за то думаетъ совершенно согласно съ г. Улыбышевымъ. Какимъ-же образомъ узнаютъ гг. комментаторы о тайнахъ, нигдѣ ни одною поткою не высказанныхъ, глубоко и тонко психологическихъ ухищренійхъ (aggiere-pensées) композитора? признаюсь, не понимаю! Мнѣ въ такомъ *ясновидѣніи* рѣшительно отказано судьбою. Я даже полагаю, можетъ-быть очень ошибочно, что въ искусствѣ звуковъ нѣтъ никакого способа *на каждомъ шагѣ* намекать на чтѣ-то совсѣмъ *другое*, чѣмъ тѣ, о чемъ рѣчь идетъ. Хотя-бы въ аріи «Og sai chi l'ho uoce», Дона-Анна заставляетъ Дона-Оттавіо припомнить смертельную рану ея отца, землю, орошенную его кровью (ammanta la piaga del misero seno, gimiga di sangue coperto il terreno)... и въ музыкѣ опять *тѣже* жалобные звуки гобоевъ и фаготовъ, какъ и при смерти Командора и 1-мъ речитативѣ Доны-Анны. Но г. комментаторъ, цитируя только *первый* стихъ изъ этихъ двухъ, доказываетъ, что «симъ Дона-Анна изъясняетъ» не объ отцовской ранѣ, а о своей собственной, душевной?... и т. д. По моему мнѣнію, музыка на такія «мудрости» рѣшительно неспособна, хотя-бы подъ перомъ самого Моцарта, и даже чѣмъ гениальнѣе драматическая музыка, тѣмъ менѣе въ ней аллегорій и экивоковъ, тѣмъ смыслъ ея ближе къ самой осязательной правдѣ, тѣмъ яснѣе, доступнѣе, *проще* для всѣхъ, кромѣ гг. комментаторовъ.

Донъ-Оттавіо, юноша, страстно влюбленный въ свою невѣсту; онъ ею живетъ, ею только дышитъ. Объ этомъ даже *текстъ* оперы говоритъ какъ нельзя лучше въ чудесной каватинѣ Дона-Оттавіо: (Богъ знаетъ почему пропускаемой на всѣхъ сценахъ!) Dalla sua pace la mia dipende,

quel che a lei piace, vita mi rende « и т. д. Эта арія (G-dur, $\frac{2}{4}$ sostenuto) одинъ изъ *добавленныхъ* Моцартомъ номеровъ для вѣнской сцены, но ни въ какомъ-случаѣ не *дублетъ* извѣстной аріи тенора: «il mio tesoro intanto», каватина (G-dur, dalla sua pace), многимъ *лучше* большой аріи, какъ я постараюсь доказать на своемъ мѣстѣ, и потому, очень жаль, что режиссеры не слушаются совѣтовъ извѣстнаго теоретика и критика музыкальнаго Готфрида Вебера, который *давно* писалъ въ своемъ журналѣ Sœcilia объ этихъ добавленныхъ Моцартомъ и обыкновенно пропускаемыхъ номерахъ, и всѣмъ имъ отвелъ очень видное мѣсто въ партитурѣ, которая такимъ образомъ много *еще* выигрываетъ. О характерѣ Дона-Оттавіо комментаторы довольно согласны съ партитурою, исключая того только, что, напримѣръ, Гофманъ до крайности обижаетъ этого тенора, всего созданнаго изъ любви и безграничной преданности къ обожаемой женщиѣ. Гофманъ постоянно смѣется надъ его бездѣйствіемъ въ оперѣ, и не иначе называетъ, какъ «щеголеватымъ, прилизаннымъ мужчиной» (ein gelecktes Männlein). Г. Улыбышевъ очень хорошо понималъ, что это невѣрно и несправедливо. Донъ-Оттавіо такого рода характеръ, отъ котораго ничего, *кроме* любви, не должно и требовать, а любовь именно *такая*, какъ у, Донъ-Оттавіо, (да и всѣ прочіе роды любви) — чудеснѣйшая задача для музыки. Точно также г. Улыбышевъ, какъ мы видѣли, обижаетъ бѣднаго Дона-Оттавіо тѣмъ, что будто-бы Дона-Анна его *не любитъ* и никогда *не любила*. Партитура говоритъ совсѣмъ другое, какъ уже было замѣчено. Безграничная преданность Доны-Анны, какъ основа характера Дона-Оттавіо превосходно понята и развита въ одномъ романѣ Ж. Санда (Le château des desertes), хотя до этихъ превосходныхъ замѣчаній трудненько добраться сквозь цѣлый дремучій лѣсъ самыхъ дикихъ фантазій касательно какого-то идеальнаго исполненія Донъ-Жуана, возможнаго развѣ только въ бреду отъ монте-критовскаго хашишу.

Въ немногихъ репликахъ Командора, въ сценѣ ночной встрѣчи съ Донъ-Жуаномъ (въ интродукціи), слишкомъ мудрено было-бы видѣть не то, что хотѣлъ сдѣлать Моцартъ. Глубокое негодованіе старика на оскорбителя дочери, нетерпѣніе поскорѣе перевѣдаться съ дерзкимъ негодяемъ, потомъ поединокъ, потомъ *умиранье* Командора, постепенное ослабванье, исчезанье жизни — какъ-будто въ-самомъ-дѣлѣ видишь какъ отлетаетъ изъ насквозь проколотой груди душа, — все это сама правда, сама реальность въ партитурѣ, и геній Моцарта тутъ тѣмъ болѣе блистаетъ, что во всей этой сценѣ до крайности мало нотъ. Замѣтимъ здѣсь также, что въ знаменитомъ терцетѣ трехъ басовъ (Донъ-Жуанъ, Лепорелло и умирающій Командоръ) Моцартъ далъ Донъ-Жу-

ану минутное чувство жалости, состраданье, совершенно-согласно тексту (Ah! gia cade il sciagurato! Affanosa e agonizzante già dal seno palpitante, veggo—e'nima partir); ни въ текстѣ, ни въ музыкѣ не придано Донъ-Жуану ни малѣйшаго оттѣнка презрѣнія, насмѣшки, — и если г. Улыбышевъ находитъ все это (т. III, стр. 112) то раздѣляетъ въ этомъ случаѣ вину нѣмецкихъ переводчиковъ Донъ-Жуана, которые представляя свои топорные нѣмецкіе стихи подъ Моцартову музыку, какъ будто нарочно заботились о томъ, чтобъ между этой музыкой и ихъ стихами было какъ можно болѣе иногда самыхъ досадныхъ, оскорбительно-неэстетическихъ противорѣчій*. (Переводовъ много—въ разныхъ изданіяхъ партитуры и фортепьянныхъ аранжировокъ, — но одинъ хуже другаго. И это стыдъ для Германіи, такъ щеголяющей пониманьемъ *своего* (?) безсмертнаго Моцарта).

Когда статуя Командора принимаетъ приглашеніе Донъ-Жуана — и потомъ въ-самомъ-дѣлѣ является на ужинъ, — это уже не Командоръ— это казнь Донъ-Жуану за все его злодѣйства. Но совѣтъ принимаетъ видъ Командора—и этого Моцарту было довольно, чтобы, воплощая въ своихъ звукахъ всю таинственность страшной, смертной минуты, — придать статуѣ, между-тѣмъ, и *всю прежнюю, земную индивидуальность* Командора. Нельзя не изумляться *единству* мысли въ этомъ исполинско-геніальномъ созданіи — Моцартовомъ Донъ-Жуанѣ! Я полагаю, что самый высшій панегирикъ этой оперѣ — указаніе ея красота, ихъ взаимной связи, обдуманности музыкальнаго цѣлаго и частей, указаніе простое, съ отсутствіемъ всякаго внѣшняго разчета на мнимую глубину анализа, тамъ гдѣ она, — при постоянной живой объективности Моцарта уводила-бы въ сторону отъ самага дѣла. По случаю потрясающей правды, съ которою Моцартъ выразилъ ужасъ смерти, — выразилъ такъ, что вмѣстѣ съ Шекспиромъ можно воскликнуть *oh horrible! most horrible!* — мнѣ-бы хотѣлось пояснить, нужно-ли было Моцарту, чтобъ передать вѣрно такія минуты, *самому* быть на краю гроба, — но пояснить это никакъ нельзя въ двухъ словахъ. Надобно сперва методически опровергнуть нѣкоторыя ложныя понятія о творческомъ дарѣ вообще и его отношеніи къ дѣйствительной жизни художника, ложныя понятія, которыя еще въ большомъ ходу у многихъ, въ томъ числѣ и у

* Не угодно-ли, напримѣръ, полюбоваться переводомъ только-что выписанной мною реплики Донъ-Жуана:

Ha! nun ruhe frommer Alter! Gieb es hin, dein Restchen (?) Leben! Aus dem längst schon welken Herzen fließ es unaufhaltsam hin! (?)

г. Улыбышева. Боюсь, что и безъ этого отступленія, статья моя разрастетя чрезъ-чуръ широко.

Перейдемъ къ *Донъ-Эльвиръ*. Это одинъ изъ безподобнѣйшихъ созданныхъ Моцартомъ женскихъ характеровъ, — къ сожалѣнію, по нѣкоторой безтолковости и незстетичности либретто, поставленный въ несоветѣмъ выгодномъ свѣтѣ, въ сравненіи съ Доной-Анной и Церлиной. Вотъ въ чемъ эта невыгода. По намѣреніямъ Да-Понте, (намѣреніямъ, которыя Моцартъ *красотою* Эльвириной партіи только нейтрализовалъ, а не исправилъ) Эльвира безпрестанно служитъ жертвою самыхъ унижительныхъ поступковъ со стороны Донъ-Жуана. Нельзя не согласиться съ г. Улыбышевымъ, который въ этомъ видитъ расчетъ либреттиста на увеселеніе, потѣху зрителей. По-крайней-мѣрѣ *комическое* намѣреніе въ текстѣ несомнѣнно. Но Моцартъ, не исправивъ текста и данныхъ положеній, придавъ Эльвирѣ натуру глубоко-женственную, вложилъ ей въ уста звуки, полные гордости, негодованія, грусти и безграничной страсти къ Донъ-Жуану, несмотря на все его оскорбленія, несмотря на убійственное его равнодушіе къ ея любви. Отъ всего этого вмѣстѣ выходитъ нѣкоторый разладъ этого чудеснаго музыкальнаго характера съ полу-жалкими, полу-смѣшными положеніями, въ которыя онъ поставленъ либреттистомъ; — выходитъ нѣкоторая нелѣпость во впечатлѣніи роли Доны-Эльвиры на слушателей, и неблагодарность этой роли для исполнительницъ. Едва только успѣли Моцартовы звуки разстрогать васъ до глубины души, — какъ глубоко-комическое положеніе, придуманное либреттистомъ, если и не разсмѣшитъ васъ, потому-что вовсе не смѣшно, то обдастъ *холодомъ*, разстроитъ впечатлѣніе музыкальнаго характера, — и вы не остановитесь на Донъ-Эльвирѣ съ такою любовью, какъ на Донъ-Аннѣ и Церлинѣ, потому-что отъ тѣхъ ролей впечатлѣніе полно, гармонично, цѣльно. Вы бы и хотѣли вполнѣ симпатизировать бѣдной Донъ-Эльвирѣ, — но не можете, отъ этого полу-комизма, который тутъ вмѣшался очень некстати — вы не знаете, *фарсъ-ли* передъ вами разыгрывается, или происходитъ глубоко-патетическая сцена. По настоящему, въ каждой сценѣ оперы непременно долженъ быть *или* паосъ, *или* комизмъ, *или* смѣхъ, *или* слезы, съ безконечными ихъ оттѣнками и постепенностью, пожалуй и то и другое въ одно время, но въ ясныхъ, опредѣленныхъ чертахъ (*tout cela bien franchement accusé*); когда же «и то и другое» и «ни то, ни другое» — впечатлѣніе не можетъ иначе выйти какъ довольно холодное, кромѣ красоты чисто-музыкальной. Именно такъ выходитъ съ Доной Эльвирою.

Вотъ она является на сцену съ своей выходной аріей, (№ 3, Es

dur). Какъ-то сейчасъ чувствуется, что это сцена не серьезная, не та сфера высокаго пафоса, въ которой мы сейчасъ парили съ Доною-Анною и Дономъ-Оттавіо. Между тѣмъ Дона-Эльвира глубоко-оскорблена, жалуется на свою участь, хочетъ отмстить своему оскорбителю — смѣшнаго, комическаго тутъ нѣтъ ровно ничего. Вдали показываются Донъ-Жуанъ съ Ленорелло. Намѣреніе и въ текстѣ и въ музыкѣ комическое, но вамъ только *досадно* на все это, послѣ неподобнѣйшаго трагическаго дуэта, и Дону-Эльвиру не спасаютъ даже удивительно красивые звуки ея партіи и оркестра. Вотъ Донъ-Жуанъ узналъ ее; вы ожидаете сильной сцены, но дѣло ограничивается небольшими репликами бѣдненькаго речитатива, — а потомъ Эльвира должна *молча* прослушать длинную арію Ленорелло о каталогѣ Донъ-Жуановыхъ побѣдъ (очень назидательномъ для Эльвиры). Впечатлѣніе еще не поправлено. Второй ея выходъ еще меньше способенъ помирить васъ съ нею. Только что пронеслась передъ вами веселая толпа поселянъ, — вы познакомились съ новыми лицами оперы, съ Церлиной и Мазетто, — вы вѣ себя отъ восторжительнаго дуэтино «*la ci darem*», вдругъ является опять эта Дона-Эльвира, на этотъ разъ и вамъ неменьше досадная, какъ самому Донъ-Жуану. (прибавьте къ этому, что Эльвира — третій сопрано въ оперѣ; какъ рѣдки должны быть случаи, когда исполненіе этой роли поручается настоящей артисткѣ!) И тутъ Моцартъ далъ Эльвирѣ арію, которую никогда не исполняютъ на сценѣ, — арію, признаваемую г. Улыбышевымъ за мистификацію со стороны Моцарта! (т. III, стр. 126). Дѣло въ томъ, что арія эта «*Ah! fuggi il traditor*» (D-dur, $\frac{3}{4}$, Allegro) написана въ стилѣ особенномъ отъ прочихъ номеровъ оперы, близко напоминающемъ Генделя (оркестры въ этой грандіозной аріи — одни смычковые. Г. Улыбышевъ полагаетъ, что цѣль Моцарта была, при семъ удобномъ случаѣ, указать слушателямъ (?) всю разницу между его, Моцартовскими, формами музыки, и прежними, Генделевскими. Въ оперѣ не мѣсто наглядно преподавать исторію музыки (въ томъ родѣ какъ Шпоръ устроиваетъ свои историческія симфоніи) и такая мысль была-бы въ страшномъ разладѣ съ постоянною объективностью Моцарта. Мнѣ кажется, что онъ избралъ тутъ *эту* форму, *этотъ* стиль только потому, что считалъ его въ этомъ мѣстѣ приличнымъ, эстетически-согласнымъ съ требованіями текста — а текстъ: предостереженіе неопытной Церлины противъ предательскихъ соблазновъ Донъ-Жуана. Арія эта (весьма короткая) удивительна, и самый архаизмъ ея формъ придаетъ ей особенную, новую въ оперѣ прелесть*

* Арія до того великолѣпна, что нельзя искренно не пожалѣть, зачѣмъ Моцарту пришлось такъ мало вещей написать въ этомъ чудесномъ Генделевскомъ стилѣ, которымъ онъ владѣлъ такъ мастерски.

притомъ, совершенно на оборотъ мнѣнію г. Улыбышева, и характеръ Доны-Эльвиры отражается въ этой аріи, какъ нельзя лучше. Тѣмъ не менѣе, по очень многимъ причинамъ, арія эта *на театрѣ*, — и вслѣдъ за «*la ci darem*», сильнаго впечатлѣнія произвести не можетъ; — Дона-Эльвира все еще остается лицомъ невыгодно-поставленнымъ (*un personnage complètement sacrifié*). Слѣдуетъ очаровательный квартетъ (*non ti fidar*) въ которомъ партія Доны-Эльвиры почти главная. Не могу не замѣтить здѣсь ксати о безтолковости либретто въ этомъ мѣстѣ, — безтолковости, на которую никто, кажется, изъ гг. комментаторовъ не обратилъ вниманія. Отдѣльные номера (*могсеаи*) этой оперы, какъ и всѣхъ итальянскихъ оперъ у Моцарта, связаны *речитативами* (безъ оркестра, *recitativi secchi*). Эти речитативныя сцены не имѣютъ никакого другаго назначенія, кромѣ того, чтобъ служить *связью*, цементомъ; но въ Донъ-Жуанѣ очень часто именно этой *связи* и не оказывается, — въ смыслѣ драматической логики, которой мы привыкли требовать отъ каждаго сценическаго произведенія. Тогда какъ, напримѣръ, въ «*Nozze di Figaro*», въ речитативахъ все связывается и объясняется какъ нельзя лучше (что было довольно трудно при сильной запутанности интриги), въ Донъ-Жуанѣ сцена за сценой чередуются, какъ стекла въ волшебномъ фонарѣ, точно по какому-то капризу либреттиста. Прибавьте къ этому, что въ партитурѣ, противъ всѣхъ принятыхъ обыкновеній, — не означены съ точностію приходы и уходы дѣйствующихъ лицъ, и нигдѣ ни полслова о перемѣнѣ декораций! Все это какъ-будто, по какому-то недосмотру, или небрежности, предоставлено *на произволъ* режиссеровъ и комментаторовъ. Оттого, послѣ Шекспировскихъ драмъ, ни одна сценическая вещь и не пострадала отъ этого пагубнаго произвола въ такой мѣрѣ, какъ Донъ-Жуанъ.

Послѣ дуэтино «*la ci darem*» Эльвира явилась вдругъ, весьма неожиданно для Донъ-Жуана, и пропѣла «предостереженіе» Церлинь «*Ah, fuggi il traditor*» — по окончаніи этой аріи (*D. dur, N^o 7*), въ партитурѣ не сказано ни слова: ушла-ли Эльвира, или осталась еще тутъ съ Церлиной и Донъ-Жуаномъ. За тѣмъ слѣдуетъ маленькая реплика Донъ-Жуана (*recitativo secco*), досада его, что вышелъ такой неудачный день. — Приходятъ Дона-Анна и Донъ Оттавіо (они въ продолженіе всей оперы все прогуливаются вмѣстѣ, безъ всякаго опредѣленнаго плана), адресуются къ Донъ-Жуану, какъ къ старинному знакомому, и просятъ услуги отъ его дружбы, (если онъ былъ давно знакомъ Донъ-Аннѣ, то какъ же она его не узнала, хоть по голосу, въ ночной сценѣ, которою открывается опера? странно, неправда-ли)? Донъ-Жуанъ нѣсколько встревоженный не открылось-ли все дѣло, общается Донъ-

Аннѣ сдѣлать все, что въ его власти, хотя и не знаетъ еще для чего нужна его помощь... Не успѣла Дона-Анна объяснить своего горя, какъ является *Дона-Эльвира* съ вѣчнымъ своимъ *uti ritrovo ancor, perfido mostro!* — Но когда жѣ Эльвира ушла, зачѣмъ опять вернулась послѣ двухъ, трехъ репликъ речитатива? Либретто на эти вопросы отвѣта не даетъ, какъ и на многіе другіе. Вы, пожалуй, возразите, что это мелочь, педантекія придирки, но я останавливаю ваше вниманіе на этихъ мелочахъ потому во-первыхъ, что въ такой оперѣ, какъ *Донъ-Жуанъ*, хотѣлось-бы видѣть систематичность, логику, даже въ мелочахъ, во-вторыхъ потому, что иногда отъ этихъ *мелочей* зависить впечатлѣніе цѣлой сцены. Не забудьте, что тотчасъ велѣдъ за словами Эльвиры «*perfido mostro*», — невольно возбуждающими улыбку, тотчасъ велѣдъ за этимъ «сухимъ» речитативомъ (который и у Моцарта на общій итальянскій ладъ, по принятой формѣ, или формулѣ) — начинается восхитительная мелодія Эльвиры «*non ti fidar, o misera. (Andante B dur, C)*». При такой мелодіи не до комизма, и не хочется вспомнить, что Эльвира, адресуя свои «предостереженія» рѣшительно всеѣмъ женщинамъ, съ которыми *Донъ-Жуанъ* едва успѣетъ слово промолвить, — адресуя, несмотря ни на время, ни на мѣсто, хотя-бы на улицѣ (какъ въ настоящемъ случаѣ) въ-самомъ-дѣлѣ довольно похожа на помѣшанную. На красотахъ этого удивительнаго квартета (красотахъ впрочемъ болѣе музыкальных, чѣмъ сценическихъ), я не останавливаюсь, потому-что пишу не панегирикъ оперѣ; — да и какъ разсказывать, объяснять словами *красоту* Моцартовой музыки? — Кто ее не знаетъ, изъ описанія не получитъ объ ней ни малѣйшаго понятія, — а кто *знаетъ*, тотъ обойдется и безъ нашихъ восторговъ.

И такъ квартетъ (*non ti fidar*), первый номеръ, гдѣ *Дона-Эльвира* является довольно выгодно. Но и тутъ, кромѣ довольно неловкой рамки, приготовляющей впечатлѣніе квартета со стороны *драматическаго* интереса, партія *Доны-Анны* перевѣшиваетъ Эльвирину, — потому-что истинная артистка въ роли *Доны-Анны*, сильнымъ, пристальнымъ взглядываньемъ въ *Донъ-Жуана* должна необходимо завладѣть общимъ вниманіемъ, и отвлечь его отъ менѣе занимательной домашней ссоры между Эльвирой и *Донъ-Жуаномъ*.

Въ остальной части перваго акта, Эльвира является уже неразлучною спутницею *Доны-Анны* и *Дона-Оттавіо*, — и вмѣстѣ съ ними преслѣдуетъ *Донъ-Жуана* мщеніемъ. Партія всѣхъ ихъ равнаго интереса музыкальнаго и драматическаго, послѣдняго впрочемъ не очень-то много въ этихъ партіяхъ, отъ безтолковости либретто. Какъ эти три лица собираются отмстить *Донъ-Жуану*? въ чемъ именно ихъ намѣ-

реніе? для чего они являются на балъ? Я очень-бы хотѣлъ, чтобы мнѣ кто-нибудь это разъяснилъ на основаніи самаго текста оперы.

Во 2-мъ актѣ партія Эльвиры нѣсколько благодарнѣе. Въ числѣ прибавленныхъ Моцартомъ номеровъ у ней есть арія (Mi tradi quell' alma ingrata. Es-dur. C. Rondo, Allegretto, съ чудеснымъ предшествующимъ речитативомъ *stromentato*, «in quali eccessi o Numi!»). Эта арія, гдѣ Эльвира выражаетъ свою любовь къ Донъ-Жуану, несмотря на все его вѣроломство, одна изъ самыхъ лучшихъ созданныхъ Моцартомъ женскихъ арій, одно изъ чудесъ Моцартовеской музыки уже по одной оркестровкѣ. Арію эту, если исполняютъ на сценѣ (довольно рѣдко) *, то помѣщаютъ послѣ арій каталога (такъ указалъ и Готфридъ Веберъ). Мнѣ кажется, что убѣжденіе г. Улыбышева въ этомъ случаѣ вѣрише Веберовскихъ. Г. Улыбышевъ, на страницахъ 150, 151 III тома, доказываетъ весьма дѣльно, почему этою аріею слѣдуетъ открывать 2-й актъ. Комическій дуэтино Донъ-Жуана съ Лепорелло (G-dur $\frac{3}{4}$ Eh, via, buffone) будетъ непосредственно за нею слѣдовать. На этотъ разъ монологъ Эльвиры не оравленъ никакимъ полу-комизмомъ, и музыкальный ея характеръ является въ полной красѣ. Очень неправъ г. Улыбышевъ, думая видѣть въ этой аріи (mi tradi) лиризмъ чисто-музыкальный, независимый отъ драматическаго положенія — т. е. какъ-будто часть сонаты, или квартета. Задача текста въ этой сценѣ какъ нельзя болѣе драматична, — и объективный художникъ Моцартъ никогда «съ намѣреніемъ» не выводилъ музыку оперы изъ сферы психологическихъ данныхъ сюжета. Въ этой аріи, конечно, есть лиризмъ — но лиризмъ, свойственный не всемъ людямъ вообще, а именно Д. Эльвирѣ, — именно въ такой настроенности ея души. Если гдѣ и случалось Моцарту грѣшить противъ драматической правды, то только въ бравурныхъ, виртуозныхъ партіяхъ, къ которымъ Д. Эльвира никакъ не относится. Въ сценѣ терцета (ah taci ingiusto core, Andante, A-dur, $\frac{6}{8}$) Д. Эльвира дѣлается жертвою самой злой, самой унижительной мистификаціи, и какъ бы ни была хорошо исполнена партія Эльвиры въ этомъ очаровательномъ терцетѣ, результатъ сцены, тотъ, что Эльвира сходитъ съ балкона навстрѣчу къ Лепорелло, переодѣтому Донъ-Жуаномъ, — этотъ результатъ шалости Донъ-Жуана не можетъ не вызвать улыбки въ зрителѣ. Эльвира опять становится нѣсколько смѣшною и много теряетъ въ поэтическомъ отношеніи. Комизмъ этой сцены, по моему мнѣнію, весьма грубо-неэстетиченъ и составляетъ одно изъ пятенъ текста; — но Моцартъ поправилъ все дѣло удивительной музыкой, исполненной нѣги и

* На петербургской итальянской сценѣ, г-жа Маррай всегда исполняетъ эту трудную арію, и очень отчетливо.

южнаго колорита, музыкой, ради которой можно простить и не такіе нелѣпыя фарсы.

Начало знаменитаго секетета — продолженіе этой противной мистификаціи. Эльвира одна съ Лепорелло, и все принимаетъ его за дорогаго своему сердцу злодѣя. Когда приходятъ Д. Оттавіо съ Д. Анной, потомъ Мазетто съ Церлиной, и собираются убійть Лепорелло, — принимая его за Донъ-Жуана по платью, Эльвира защищаетъ мнимаго своего мужа (*è mio marito! pietà!*). Мистификація опять вредитъ серьезности впечатлѣнія, и въ этомъ случаѣ вредитъ не одной Эльвирѣ, а *всѣмъ* лицамъ, всему драматическому положенію въ секететѣ, который въ Моцартовой музыкѣ получилъ важность почти трагическую, исключая высшей степени комическаго Лепорелло. Послѣ секетета, молча прослушавъ длинную арію Д. Оттавіо объ его сокровищѣ, Д. Анна (что для Эльвиры должно быть не особенно интересно) — Эльвира является на сцену еще два раза—въ финалѣ оперы. Во-время ужина, она приходитъ къ Донъ-Жуану, чтобы еще въ послѣдній разъ «усоветить» его, — уговорить бросить безпутную жизнь. Донъ-Жуанъ, конечно, только улыбается, выслушивая эти забавныя для него наставленія, и приглашаетъ Эльвиру, — чтобы она, вмѣсто морали, съѣла бы лучше за столъ (*e se ti piace, mangia con me*). Лепорелло очень разстроганъ, по своему, мольбами Эльвиры. Ея грустныя, страстныя просьбы, ничѣмъ не возмутимый эникуренизмъ Донъ-Жуана и комическое состраданіе Лепорелло — все это непосредственно передъ страшнымъ явленіемъ статуи—дѣлаютъ эту сцену одною изъ лучшихъ, изъ самыхъ счастливыхъ по задачѣ текста. Какова она вышла въ Моцартовой музыкѣ—объ этомъ нечего распространяться для всѣхъ, кому сколько-нибудь знакома опера. Хотя нельзя не замѣтить, что даже и здѣсь характеръ Эльвиры пожертвованъ общему впечатлѣнію сцены. При концѣ пьесы Д. Эльвира, вмѣстѣ съ прочими, участвуетъ въ заключительной сценѣ (о которой рѣчь впереди).

Нѣкоторая невыгода, неблагоприятность роли Доны Эльвиры, какъ я говорилъ, лучше всего объясняется сравненіемъ съ партіей Церлины. На долю Церлины достались сцены самыя граціозныя изъ всей оперы. Съ перваго своего появленія, съ Мазетто и хоромъ поселянъ, она привлекаетъ къ себѣ вниманье зрителей до такой степени, что даже трагическая Доина-Анна, съ своею печалью и мщеніемъ убійцъ Командора, отолвигается на второй планъ. Въ финалѣ 1-го акта все дѣйствіе рѣшительно сосредоточивается на Церлинѣ, слѣдовательно и въ музыкѣ она и Мазетто выходятъ тутъ главными лицами. Тогда какъ Эльвирѣ либреттистъ далъ много фразъ полу-трагическихъ, иногда весьма «хо-

дульныхъ» (напримѣръ «gli uo cavar il cog» и другіе въ этомъ же родѣ, близко напоминающемъ условный стиль «серьозныхъ» оперъ), въ роли Церлины нѣтъ ни малѣйшаго притязанія на трагичность, все—просто, натурально, и оттого несравненно ближе къ душѣ каждаго. Въ отношеніи партіи Доны-Эльвиры упреки должны падать болѣе на либреттиста, какъ я уже замѣчалъ;—но Моцартъ однако не исправилъ нѣкоторой неэстетичности и неопредѣленности этой роли. Въ отношеніи Церлины, Моцартъ также тогда только безукоризненъ, если считать, что все его дѣло было выразить музыкою—данныя драматическія положенія; потому-что, со стороны *поэтической* и логической концепціи, характеръ Церлины не совсѣмъ свободенъ отъ упрека. Несмотря на то, что г. Улыбышевъ при каждомъ удобномъ случаѣ повторяетъ, что Церлина, будто бы и по намѣреніямъ Да-Понте и Моцарта, собирается обманывать своего Мазетто (г. Улыбышевъ всего яснѣе видитъ это въ аріи *batti, batti!*)—всего этого *нѣтъ* въ партитурѣ. Еслибъ г. Улыбышевъ былъ правъ въ своемъ произвольномъ толкованіи, граціозно-наивный характеръ Церлины потерялъ бы, конечно, значительную долю поэзіи, за то былъ бы веденъ нѣсколько послѣдовательнѣе; — а теперь въ этомъ характерѣ, при всей его поэзіи, есть порядочная несообразность. Въ партитурѣ арій «*batti, batti*» — и «*vedrai carino*» которыя обѣ Церлина поетъ своему Мазетто,—дышетъ такая теплая, такая простодушная любовь очень молодой женщины, что въ *искренности* чувствъ Церлины къ Мазетто нѣтъ никакой возможности сомнѣваться. Неискренность, лукавство заговорили бы совсѣмъ другими звуками въ Моцартовой музыкѣ (припомните, напримѣръ, въ *Nozze di Figaro* дуэтъ Сусанны съ Графомъ «*crudel, perchè fin'ora*»—гдѣ музыка лукавитъ вмѣстѣ съ Сусанною). Теперь—сообразно ли, чтобъ женщина (хотя бы и поселанка), искренно любящая своего жениха, при встрѣчѣ съ Донъ-Жуаномъ такъ скоро, такъ мгновенно измѣнила своей любви? Другими словами: или *дуэтъ* «*la ci darem*», или *обѣ аріи* Церлины (обѣ въ самыхъ простодушныхъ тонахъ: F-dur и C-dur)—ложь противъ ея характера. Досадная дилемма для всѣхъ, кто хорошо помнитъ эту восхитительную музыку;—но именно имъ всѣмъ должно быть ясно, что чудесная, кристально-прозрачная душа, которая какъ въ зеркалѣ отражается и въ «*batti, batti*» и въ «*vedrai carino*»—эта душа не позволила бы Церлинѣ послѣ двухъ, трехъ репликъ, *vorrei, e non vorrei... mi fa pietà Masetto...* согласиться на предложеніе Донъ-Жуана и запѣть съ нимъ вмѣстѣ: *andiam andiam, mio bene, a ristorar le pene d'un innocente (?) amor!* — Одно предположеніе можетъ еще нѣсколько извинить Церлину: обаяніе Донъ-Жуана на *всѣхъ* женщинъ слишкомъ сильно, а

съ другой стороны самая наивность и сельская простота Церлины не позволяют ей усомниться въ искренности «*del monsu cavaliere.*» Но въ такомъ случаѣ — въ сценахъ съ Мазетто, тутъ же вскорѣ послѣ «*La ci darem*» и далѣе—Церлина должна бы все ему разсказать очень наивно; вообще надо бы иначе повернуть эти сцены, въ которыхъ теперь, *in statu quo*, Церлина только боится, чтобъ чего-нибудь не вышло между Мазетто и Донъ-Жуаномъ, также какъ и послѣ, въ сценѣ бала (Es-dur $\frac{6}{8}$: «*quel Masetto mi par stralunato, brutto, brutto si fà quest affar*») а сама очень безпечно и довѣрчиво идетъ въ разставленную ей западно. Между-тѣмъ чувства ея къ Донъ-Жуану остаются *очень неопредѣленны*. О любви къ нему въ ней и рѣчи нѣтъ. (Совершенно противоположно тому, что говоритъ г. Улыбышевъ на 137 стр. III тома). Какъ же не отнести всего этого къ недомолвкамъ текста, и, слѣдовательно къ недосмотру Моцарта, хотя онъ и очень глубоко вникалъ въ свои задачи. Въ-теченіе этой статьи мнѣ придется еще не разъ возвратиться къ мысли, что Моцарту, какъ «*воплощенной музыкѣ*», музыкальный интересъ былъ все-таки несравненно *важнѣе* всѣхъ прочихъ сторонъ опернаго труда. Данному психологическому положенію, онъ, по своей объективной геніальности,—*всегда* былъ вѣренъ (исключая уступокъ виртуозамъ); но всѣ эти психологическія положенія въ ихъ взаимной связи, цѣлый драматическій характеръ, со всѣхъ возможныхъ сторонъ, онъ не на столько обдумывалъ, сколько бы нужно было,—особенно при *такой* геніальности, при такой художественной правдѣ подробностей.

Мужскіе характеры въ Донъ-Жуанѣ вообще несравненно удачнѣе женскихъ выдержаны въ самомъ текстѣ, значить *тѣмъ болѣе* въ музыкѣ. И *каждый* изъ этихъ характеровъ главный пока на сценѣ, пока дѣйствіе на немъ сосредоточивается. Г. Улыбышевъ почти тоже самое говоритъ на 103 стр. III тома, но изъ числа ролей, *ровныхъ* по драматической важности, *исключаетъ* — роль Мазетто! Если *одно* дѣйствующее лицо исключается, — то уже никакъ нельзя сказать, что *всѣ* роли, *всѣ* партіи въ оперѣ равно важны (*il n'y a point là d'emplois inférieurs*—vol. 3. p. 103, и тутъ же вельдъ — *tous les rôles et toutes les parties, excepté celle de Masetto, sont de la plus haute importance*). Но г. Улыбышевъ и тутъ весьма заблуждается. Создавъ, какъ мы видѣли, *свой* персоналъ оперы (Донъ-Жуанъ титанъ чувственности, Леопорелло—возможный только *при* Донъ-Жуанѣ, Дона-Анна—заклинательница и жертва, Церлина—кокетка и обманщица, и т. д.) г. Улыбышевъ порѣшилъ, что въ *этомъ* персоналѣ роль Мазетто ограничивается тѣмъ, чтобъ служить пѣшкой для Церлины, что Мазетто отъявленный бол-

ванъ, котораго и музыкальное значеніе должно быть *rosso o niente* (р. 81.) Оттого, видя, что кромѣ довольно большаго участія, которое Мазетто принимаетъ во *всѣхъ* большихъ *trios* *ensemble*, Моцартъ далъ и ему арію (*ho capito, signor, si*, — № 2 изъ числа добавочныхъ) видя это, г. Улыбышевъ еще сильнѣе старается доказать ничтожность и музыкальной партіи Мазетто, и жалѣеть даже, что Моцартъ *напрасну* трудился надъ этою аріею; ибо: нуль, помноженный на нуль — даетъ нуль. Но загляните въ партитуру, и вы тотчасъ убѣдитесь, что Мазетто ровно столько же *рельефенъ*, какъ и другія лица, что тамъ, гдѣ ему приходится выносить на своихъ плечахъ интересъ оперы, — онъ очень важень, до-крайности натураленъ и съ такою же любовью задуманъ и созданъ Моцартомъ, какъ и Лепорелло, наприимѣръ, или Донъ-Оттавіо, и даже самъ Донъ-Жуанъ. При объективности Моцартовой иначе и быть не могло. Напрасно г. Улыбышевъ *забраковалъ* арію «*ho capito*» — это одна изъ самыхъ неподобныхъ Моцартовскихъ *комическихъ* арій.

Она должна идти передъ сценою дуэта Донъ-Жуана съ Церлиной (*la ci diamo*). Донъ-Жуанъ, въ большомъ нетерпѣніи остаться съ Церлиной наединѣ, далъ приказъ Лепорелло, чтобъ онъ оттащилъ куда-нибудь этого несноснаго мужика Мазетто, который докучаетъ своею ревностью. «Смотри, любезный Мазетто, если не уйдешь, будешь каяться» — и вотъ Мазетто, *volens, volens*, уходитъ, — но на прощанье опять возвращается, — все хочетъ много кое-чего высказать и Донъ-Жуану и Церлинѣ. (Начинается арія — *F-dur* $\frac{3}{4}$ *Allegro di molto*). Какъ будто видишь этого неловкаго мужика, который вертитъ шляпу въ рукахъ, шаркивается передъ Донъ-Жуаномъ полу-почтительно, полу-пронически — Лепорелло его тащитъ въ сторону — онъ все увертывается, чтобъ еще разъ погрозить Церлинѣ, еще разъ ругнуть её, потомъ опять бросить словца два Донъ-Жуану, — не смѣя и не умѣя высказать всего, чтó на душѣ. Наконецъ, Лепорелло утащилъ его со сцены. Особенной красоты звука (*élégance*), особенной пѣвучести тутъ и искать нельзя — все это было-бы невозможною для Моцарта ошибкою противъ психологической задачи, довольно грубоватой — чисто комической; но именно со стороны *правды* художественной, эта арія на всѣхъ серьезныхъ критики должна перетянуть многія другія у Моцарта, пользующіяся славою преимущественно за красоту звука (хоть-бы «*il mio tesoro*»). Красота правды художественной не такъ всемъ доступна, какъ *внѣшняя* краснота. Г. Улыбышевъ, кромѣ-того, вообще мало симпатизируетъ тѣмъ сценамъ Донъ-Жуана, гдѣ главные лица — поселане, съ ихъ мужицкою грубоватостью, удивительно схваченною Мо-

цартомъ; какая-то чопорность вкуса мѣшаетъ въ этомъ случаѣ комментатору. Еще о неподобномъ хорѣ поселянъ (G-dur, $\frac{6}{8}$) когда только вбѣгаютъ на сцену Церлина съ своимъ женихомъ, г. Улыбышевъ говоритъ довольно *холодно*, въ сравненіи съ прочими панегириками, и холодно потому, что это именно такого рода «веселость и красота», на которыя любоваться будто-бы лучше издала, — на благородной дистанціи. Между-тѣмъ эта сцена *удивительна* и по красивости музыки, и по правдѣ художественной, удивительна нисколько *не меньше* другихъ сценъ, на которыхъ г. Улыбышевъ останавливается съ видимымъ предпочтеніемъ (квартетъ «*non ti fidar*», финалъ 1-го акта и такъ-далѣе). Въ маленькой сельской картинкѣ великій мастеръ, можетъ-быть, еще видишь, чѣмъ въ большихъ, выработанныхъ сценахъ (какъ, напримѣръ, секететѣ) потому-что тутъ на первомъ планѣ блистаетъ та геніальная непринужденность, легкость вдохновенія, которою послѣ Моцарта одинъ Россини владѣлъ въ оперномъ дѣлѣ. Эта почти проницкая непринужденность, отъ которой кажется, что художникъ создалъ вещь улыбаясь, шутя, создалъ какъ игрушку, какъ шалость, какъ-будто нѣхотя (*du bout des levres*) — эта сторона творчества достается въ удѣлъ весьма немногимъ художникамъ. Были и великіе мастера, совершенно-лишенные этой легкой свободы вдохновенія, напримѣръ Глукъ, Керубини. Замѣтьте, что а тутъ разумно свободу вдохновенія «видимую, кажущуюся» — а не то, на сколько тутъ участвовалъ трудъ художника, много-ли онъ въ-самомъ-дѣлѣ *работалъ* надъ вещью. Дѣйствительная степень *работы*, труда — тайна художниковъ, которая не переступаетъ и не должна переступать порога мастерской. Роль Мазетто весьма важна въ 1-мъ финалѣ. Этотъ финалъ начинается ссорю Мазетто съ его невѣстою, по случаю ревности его къ Донъ Жуану. Весь характеръ Мазетто въ этомъ чувствѣ. Какъ добрый мужичокъ-простякъ, онъ горячо любитъ свою Церлину, и крѣпко сердится на нее, когда она позволяетъ щеголеватому барину ухаживать за нею и манить въ замокъ. Чувство самое натуральное самое *непосредственное* — и оттого обильная пища для музыки. Ссора Церлины съ Мазетто ведена Моцартомъ съ истинно-шекспировскою правдою; — притомъ и музыкальныя, техническія красоты этой сцены дѣлаютъ ее одною изъ самыхъ замѣчательныхъ, изъ самыхъ образцовыхъ (напримѣръ со стороны живой свободы контрапункта), одною изъ лучшихъ даже въ такой оперѣ, гдѣ почти все — высокій образецъ разныхъ сторонъ опернаго стиля. Значить, г. Улыбышевъ очень несправедливъ когда говоритъ объ этой сценѣ чрезвычайно вскользя, какъ-будто она не заслуживаетъ особеннаго вниманія, и помѣщена только для того, чтобъ *начать* финалъ какъ можно незамѣтище — «съ са-

мага низкаго тона гаммы» (стр. 137). Это сравненіе какъ-то напоминаетъ давно забытыя реторики съ ихъ раздѣленіемъ слога на высокій, средній и низкій. Для Моцарта, какъ я говорилъ, не могло быть ни низкаго слога, ни низкихъ сценъ, ни низкихъ характеровъ. Блестящіе аккорды оркестра возвѣщаютъ Донъ-Жуана; прежде нежели онъ подойдетъ, Мазетто прячется за деревья, чтобы оттуда поделушать, какъ пойдетъ бесѣда между Донъ-Жуаномъ и Церлиной. Когда Донъ-Жуанъ начинаетъ болѣе и болѣе одушевляться въ своихъ оболетительныхъ рѣчахъ, — Церлина еще слишкомъ тревожится объ Мазетто, — онъ вдругъ самъ показывается изъ-за-куста, — къ великой досадѣ Донъ Жуана, которому ничего больше не остается, какъ обернуть все дѣло въ шутку. Въ этой сценѣ Мазетто, безъ всякаго сомнѣнія, столько же рельефенъ, столько же значителенъ, какъ и Церлина, какъ и самъ Донъ-Жуанъ. Во всей сценѣ праздника въ замкѣ Донъ-Жуана, до прихода масокъ, ревность Мазетто — средоточіе вниманія зрителей; и послѣ прихода масокъ эта ревность не отодвигается даже на второй планъ: во все время танцевъ Лепорелло старается оттащить Мазетто подальше отъ Церлины, Мазетто упрямится — и Моцартъ ни на минуту не забываетъ рисовать этой группы. Кризисъ финала составляетъ поступокъ Донъ-Жуана съ Церлиной, и Мазетто, оскорбленный столькоже, какъ и сама невѣста его, становится, вмѣстѣ съ нею, главнымъ лицомъ финала. Моцартъ придавъ здѣсь партіи Мазетто весьма кетати особую рельефность: «Zerlina, ah Zerlina!...» потомъ при общихъ упрекахъ Донъ-Жуану — tutto tutto già si sa — и далѣе, въ начальной фразѣ Allegro: tremato, tremato, scellerato. Кажется, послѣ всего этого трудно быть на сторонѣ г. Улыбышева, чтобы видѣть въ Мазетто — нуль и больше ничего. Быть-можетъ, Мазетто и въ-самомъ-дѣлѣ изъ такихъ характеровъ, которые не слишкомъ значительны въ *дѣйствительной жизни*, — но въ оперѣ онъ никакъ не нуль, уже не говоря о превосходномъ контрастѣ между его мужиковатостью и другими дѣйствующими лицами. Пристрастный взглядъ г. г. комментаторовъ на тотъ, или другой характеръ оперы, и неразлучныя съ такимъ пристрастіемъ преувеличенія, напоминаютъ мнѣ какъ нельзя ближе заблужденіе одного очень знаменитаго писателя — по части, впрочемъ, ничего общаго съ музыкою не имѣющей. Тѣ изъ читателей моихъ, которые знакомы съ естественною исторіею и съ трудами Бюффона, припомнятъ написанную имъ (очень жарко, очень краснорѣчиво) параллель характеровъ льва и тигра: — левъ выставленъ у Бюффона типомъ благородства, великодушія, храбрости въ звѣряхъ, тигръ — типомъ безграничной кровожадности, въ соединеніи съ трусливостью, лукавствомъ и такъ далѣе. Наблюденія позднѣйшихъ натуралистовъ откры-

ли, что и та и другая сторона до крайности преувеличены. Въ наше время давно стали считать и льва и тигра колоссальными кошками, со всеми свойствами и привычками кошачьей породы, такъ что ни типа трусливости и кровожадности, ни типа смѣлости и великодушія на дѣлѣ, то-есть въ ихъ звѣриной природѣ, не оказывается. Бюффону преувеличенія эти были нужны для красиваго контраста—для красоты слога,—оттого правда и пострадала. Не толи самое съ характерами Донъ-Жуана и Мазетто въ комментаріяхъ г. Улыбышева? Такъ вообще «виртуозность» всякая, въ томъ числѣ и виртуозность слога (то-есть желаніе блеснуть имъ)—въ постоянной враждѣ съ правдой.

Прошу у читателей извиненія, что на минуту отвлекся въ сторону отъ предмета; но мнѣ кажется, что тутъ есть отношеніе довольно близкое къ постоянному «собственному творчеству» г.г. комментаторовъ, «къ легкой производительности» ихъ воображенія, на которую я уже столько разъ указывалъ.

Окончивъ пересмотръ характеровъ въ Моцартовомъ Донъ-Жуанѣ, для того, чтобъ очистить ихъ отъ произвольныхъ толкованій, и намѣреваясь говорить теперь о «цѣломъ» этой оперы со стороны сюжета,—имѣя цѣлью возможную чистоту взгляда, — я напередъ подвергаю себя упрекамъ въ нѣкоторой педантской методичности, быть-можетъ очень скучной для тѣхъ, кто не привыкъ находить серьезность изложенія въ дѣлѣ музыкальной критики. По моему же мнѣнію; безъ методичности, даже безъ нѣкотораго педантизма едвали возможно обойтись совершенно, когда дѣло идетъ о *вѣрности* эстетической оцѣнки художественнаго произведенія. Эстетическая критика, какъ и всякая критика вообще, — отрасль философіи, и безъ строгой, можно-сказать анатомической точности, болѣе или менѣе *тяжелой* для несовѣмъ подготовленныхъ читателей, тутъ нельзя сдѣлать ни шагу. Притомъ-же статья моя, какъ специально-критическая, не имѣетъ ни малѣйшаго притязанія ни на заманчивость «легкаго, фелетона», бесѣды съ читателями о томъ и о другомъ—какъ болѣею частью пишутся музыкальныя статейки,—ни на особенную популярность изложенія. Все, что пишется сколько-нибудь серьезно, пишется *только для тѣхъ*, кто можетъ и хочетъ «вникать» въ чтеніе — слѣдовательно, не для большинства читателей.

Если и не согласится съ г. Улыбышевымъ, что *сюжетъ* Донъ-Жуана неизмѣримо выше всѣхъ на свѣтѣ оперныхъ сюжетовъ, бывшихъ и *будущихъ* (!), что это полная космогонія музыкальная (?), полная картина жизни человѣческой со всѣхъ возможныхъ сторонъ, и такъ-далѣе, — если и не согласится со всеми этими преувеличенны-

ми похвалами, — все же должно признать сюжетъ этой оперы исполненнымъ поэзій и весьма счастливымъ для музыки. Рѣзко очерченные характеры, сильные и нѣжныя драматическія положенія, много страсти и огня въ главныхъ сценахъ, много комизма, много граціи, въ другихъ, удобное группированье лицъ для дуэтовъ, терцетовъ, квартетовъ, секстетовъ, — бѣшенный разгулъ жизни и страшное явленье изъ таинственнаго царства смерти — какое раздолье для композитора, въ полномъ цвѣтѣ генія! — По богатству сюжета, Донъ-Жуанъ, безпрекословно, лучшая изъ Моцартовыхъ оперъ, и, значить, съ этой стороны первая изъ всѣхъ существующихъ, — какъ типъ такой оперы, гдѣ дѣйствительная жизнь отражается какъ она есть на самомъ дѣлѣ, безъ абстрактности, безъ идеализированья и безъ аллегорій. Позвольте мнѣ привести нѣсколько словъ изъ Бренделя — объ этомъ предметѣ *. — «Пустотѣ со-
«держанія итальянскихъ оперъ (въ половинѣ прошлаго вѣка) положень
«конецъ Глукомъ и Моцартомъ. Прежде Глука сюжеты оперъ брались
«исключительно изъ античнаго міра (миѳологія и древняя исторія были
«исключительными данными для либреттистовъ). Но при этомъ одни
«имена героев и боговъ были античныя, настоящее-то содержаніе неиз-
«мѣнно было самое обыкновенное, завязка пошлая. Глукъ, обрабатывая
«также античныя сюжеты, уже тѣмъ однимъ значительно преобразовалъ,
«подвинулъ искусство впередъ, что сталъ писать оперы иначе, какъ
«на толковый, дѣйствительно-поэтический текстъ (въ которомъ большею
«частью было уже много правды въ чувствахъ и положеніяхъ данныхъ
«характеровъ). — Сюжеты Моцартовыхъ оперъ составляютъ вторую сте-
«пень опернаго идеала. Только въ самыхъ юныхъ произведеніяхъ и въ
«первой изъ зрѣлыхъ оперъ (въ Идоменеѣ) Моцартъ подчинился влия-
«нію оперной музыки, до него бывшей (и въ *Clemenza di Tito* — также
«прибавлю я). Съ большею правдою, чѣмъ о Глукѣ, о Моцартѣ можно
«сказать, что онъ содержаніемъ оперы сдѣлалъ — языкъ сердца. Опера
«вообще придвинута была Моцартомъ къ дѣйствительной жизни; между-
«тѣмъ какъ до Моцарта это сближеніе было исключительно привиле-
«גיעю комической отрасли искусства. Только въ Моцартовыхъ созданіяхъ
«опера стала зеркаломъ дѣйствительной жизни. Тексты его оперъ мно-
«го разъ были предметомъ критическаго суда; вообще ихъ признали
«плохими, и очень удивлялись, какъ Моцартъ могъ писать свою очаро-
«вательную музыку на *такія* задачи! — И должно признаться, что
«въ-самомъ-дѣлѣ иные изъ этихъ текстовъ совершенно ничтожны, какъ
«напримѣръ, «*Così fan tutte*»; въ другихъ, какъ въ «Волшебной флейтѣ»,

* Geschichte der Musik., pag 474, 475.

«несравненно больше смысла, чѣмъ сколько покажется въ первый разъ, «потому-что дѣйствительная поэтическая мысль скрывается за внѣшнюю «стороною, наивно-пошлою (läppisch). Что касается до текста Донъ-«Жуана, то, онъ, *несмотря на недостатки въ частностихъ*, — «относится къ самому высшему, что только было создано въ области «оперы. Гофманъ первый указалъ, что въ сюжетѣ Донъ-Жуана можно «видѣть болѣе глубокое, человѣчественное значеніе, чѣмъ въ простой «канвѣ для музыки. Но Гофманъ во многомъ ошибся;—его толкованіе «именно тѣмъ важно, что указало возможность понимать этотъ сюжетъ «съ болѣе-глубокой стороны. Лучшее объ этой оперѣ, какъ и вообще «о Моцартѣ—въ книгѣ Улыбышева». Затѣмъ Брендель еще разъ отсылаетъ своихъ читателей къ этому сочиненію, въ которомъ взглядъ на Донъ-Жуана вѣрнѣе и обстоятельнѣе выраженъ, чѣмъ во всѣхъ прежнихъ комментаріяхъ. Тоже самое думаю и я о разборѣ Донъ-Жуана въ книгѣ моего соотечественника, и именно поэтому считаю своимъ долгомъ не пропустить безъ вниманія нисколько его недосмотра, ни малѣйшаго произвола въ толкованіи. Замѣчу мимоходомъ, что мои читатели не въ правѣ пожаловаться на *несовременность* предмета моей статьи:—тогда какъ въ «Критической исторіи музыки», только что напечатанной въ Германіи (въ 1852), комментаріи г. Улыбышева признаются еще *вполнѣ* непогрѣшительными, и приводятся какъ авторитетъ, я поставилъ себѣ цѣлью указать именно погрѣшности этого комментарія и несовѣтъ вѣрный взглядъ г. Улыбышева во многихъ мѣстахъ. Дѣло читателей этой статьи судить—правъ ли я въ своихъ замѣчаніяхъ, и въ какой степени; но приговоръ этотъ, конечно, не можетъ быть произнесенъ безъ подробнаго сличенія моихъ словъ съ самою партитурою Моцартовой оперы.

И такъ *задача* этой оперы превосходна, данныя сюжета богаты разнообразіемъ и поэзіею; но изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобы текстъ ея былъ столько же превосходенъ, какъ Моцартова музыка, и чтобы то и другое, въ полномъ будто бы равновѣсіи, въ идеальномъ совершенствѣ, дѣлали изъ этой оперы поэтическое, *ни съ чѣмъ* въ свѣтѣ несравнимое чудо.

При разборѣ характеровъ Доны Эльвиры и Церлины читатели видѣли указанная мною недомолвки, недосмотры, непоследовательность, нѣкоторую неэстетичность въ данныхъ текста.

Намекнулъ я и на безтолковость текста во многихъ мѣстахъ. Такъ на примѣръ: мщеніе Донъ-Жуану за убійство Командора одна изъ главныхъ пружинъ всей пьесы; но въ чемъ же выражается эта месть: въ томъ, что въ-продолженіе всей оперы дочь Командора съ своимъ женихомъ, а потомъ и примкнувшая къ нимъ Эльвира, *собираются* отмстить

Донъ-Жуану, неопредѣляя ясно, чѣмъ и какъ; все трое въ маскахъ являются на пиръ, данный Донъ-Жуаномъ для поселянъ съ мыслью оболетить Церлину, (важная дама, какъ Дона Анна, врядъ ли пойдетъ на мужицкiй балъ, да еще безъ яснаго, опредѣленнаго плана мести, къ такому опасному, дерзкому челоуьку, какъ Донъ-Жуанъ); — послѣ оскорбленiя Церлины, новаго преступленiя Донъ-Жуана, три мстителя снимаютъ свои маски и вмѣстѣ съ поселянами (хотя *хора* нѣтъ въ партитурѣ) *грозятъ* (!) Донъ-Жуану. И только! Тѣмъ и ограничивается мщенiе въ первомъ актѣ. Во второмъ дѣйствiи интрига съ Доной Эльвирой и послѣдствiя поступка съ Церлиной заслоняютъ отъ зрителя Дону-Анну и Дона Оттавио. Они снова являются вмѣстѣ въ секететѣ, бродятъ ночью, гдѣ и для чего? Либретто на эти вопросы не отвѣчаетъ. Послѣ секетето, канвою котораго—ошибка, недоумѣнiе, ничего не прибавляющее къ главному ходу пьесы, Д. Анна уходитъ со сцены, *когда и для чего?* Въ либретто не сказано, вѣроятно только для того, чтобы дать возможность Дону-Оттавио пропѣть *объ ней* большую арию (*il mio tesoro*). Въ этой арии хотя Донъ-Оттавио и говоритъ много о мщенiи «*dite le che i suoi torti a vendicar io vado*», но этимъ обѣщанiемъ оканчивается вся дѣятельность Дона-Оттавио въ оперѣ; онъ является только мимоходомъ, для послѣдней арии Доны-Анны (*pop mi dir*), и вмѣстѣ съ прочими участвуетъ въ заключительной сценѣ. Г. Улыбышевъ также соглашается, что слезы и стремленiе Доны-Анны отмстить убiйцѣ Командора, въ либретто оперы не приводятъ *ни къ какому результату*. Но комментаторъ именно на этомъ (стр. 88) основываетъ необходимость видѣть во всемъ теченiи оперы *тайную, идеальную* связь событiй, гораздо выше, важнѣе вѣшняго драматическаго дѣйствiя. При каждомъ случаѣ въ разборѣ характеровъ, я старался указать читателямъ произволъ такого толкованiя. Г. Улыбышевъ влагаетъ въ уста самого *Моцарта* (къ разговорѣ съ Да-Понте, стр. 75) что именно заклинанiя *Доны-Анны* (*le eri surhumain de vendetta*) заставляютъ статую Командора явиться къ Донъ-Жуану. Но на самомъ дѣлѣ, то-есть, въ партитурѣ, Моцартъ *нигдѣ* на это даже не намекаетъ. Слабыя стороны характеровъ Эльвиры и Церлины, неэстетичность многихъ комическихъ сценъ, безтолковость другихъ, разныя недомолвки, несообразности, несвязность и натянутость вставочныхъ сценъ, придуманныхъ для двухъ виртуозныхъ арій: «*il mio tesoro*» и «*pop mi dir*»—обо всемъ этомъ мнѣ еще придется говорить подробнѣе,—вотъ недостатки либретто при нынѣшнихъ его данныхъ. Но и самыя данныя эти, при той же самой основѣ сюжета, могли быть задуманы иначе, могли быть даже совсѣмъ другiя, и, быть-можетъ, *еще сча-*

стивѣе для музыки. Припомните, напримѣръ, *Лауру* въ Каменномъ Гостѣ Пушкина. Какой это чудесный характеръ для оперы! Изученіе Пушкинскаго Донъ-Жуана, весьма близкаго къ Моцарту, и изученіе Мольеровою комедіи (*le Festin de pierre*), весьма отъ него далекой, при сличеніи съ оперою даютъ очень любопытные результаты. Можно прослѣдить наглядно, какъ одна и та же идея, одни, или почти одни и тѣже характеры могутъ быть осуществлены поэзіею съ весьма разныхъ сторонъ. Можно также убѣдиться, что либретто Да-Понте довольно удачно, но вовсе не высшее совершенство опернаго текста. Сплетеніе данныхъ характеровъ, расположеніе, послѣдовательность сценъ оперы могли бытъ несравненно лучше. Напримѣръ «Каменный гость» Пушкина гораздо короче, сжатѣе оперы, а характеры Донъ-Жуана и Лелорелло нисколько не утратили своей рельефности; при отсутствіи же грубыхъ фарсовъ и неловко вставленныхъ сценъ, общее впечатлѣніе «Каменнаго гостя» гораздо гармоничнѣе, цѣльнѣе. У Мольера волокитство Донъ-Жуана за поселянками (двумя вдругъ) ведено съ бѣльшимъ умомъ и бѣльшимъ комизмомъ. Даже удивительно, почему Да-Понте не воспользовался изъ Мольера готовымъ матеріаломъ для этихъ сценъ.

Повторяю, что основная идея сюжета весьма богата поэзіею, весьма счастлива для музыки, и потому г. Улыбышевъ очень неправъ, находя всю канву Моцартовой оперы *нелъною* (*le texte est absurde, de toute absurdité* — p. 71).

Смѣлый, блестящій, оболъстительный негодяй давно въ борьбѣ съ цѣлымъ обществомъ; проказы его не знаютъ ни мѣры, ни границъ; ни одно преступленіе ему не чуждо; но ловкостью и смѣлостью онъ ускользаетъ отъ человѣческаго правосудія, — злодѣйства его остаются неотмщенными, но скопляются надъ его головою гнѣвъ небесный. Наконецъ, когда Донъ-Жуанъ, не довольствуясь оскорбленіемъ живыхъ, въ довершеніе своихъ подвиговъ, дерзко насмѣхается надъ прахомъ имъ же убитаго Командора, небесное правосудіе казнить преступника. Мнѣ кажется, что трудно назвать такой сюжетъ нелънымъ, когда онъ очень легко могъ бытъ обработанъ въ видѣ очень серьезной драмы. Вмѣшательство сверхъестественнаго элемента здѣсь ничуть не больше, какъ, напримѣръ, вмѣшательство тѣни отца Гамлета. Самъ же г. Улыбышевъ дѣлаетъ это сближеніе не одинъ разъ. Весь сюжетъ оперы именно въ *накопленіи* злодѣйствъ, преступленій Донъ-Жуана, остающихся неотмщенными и вызывающихъ кару небесную. Видѣтъ таинственное отношеніе между явленіемъ статуи на ужинѣ и мольбами Доны-Анны о мщеніи — Доны-Анны *одной*, помимо Доны-Эльвиры, Церлины и всѣхъ другихъ, безчисленныхъ жертвъ прихотей

Донъ-Жуана — значить искажать весь смыслъ пьесы, искажать точно также какъ превращеніемъ Донъ-Жуана въ *титана* чувственности. Главная идея пьесы получила колоссальное значеніе, конечно, отъ гениальной музыки Моцарта; но нельзя не отдать справедливости и либреттисту, что онъ эту основную идею провелъ чрезъ всю оперу весьма логически и послѣдовательно. Я говорилъ о нѣкоторой безтолковости текста касательно намѣренной мести въ Донъ-Аннѣ, Донъ-Оттавіо и Донъ-Эльвирѣ, эту безтолковость нельзя извинить и тѣмъ, что злодѣйства Донъ-Жуана должны были остаться неотмщенными. Надобно было эту неотмщенность мотивировать иначе, какъ-нибудь естественнѣе, а не просто *бездѣйствіемъ* оскорбленныхъ лицъ. Тѣмъ не менѣе либретто при каждомъ случаѣ упираетъ на *накопленіе* неотмщенныхъ злодѣйствъ. Сюда относятся слова текста въ первомъ финалѣ: *trema, trema, scellerato, odi il tuon della vendetta che ti fischia intorno: sul tuo capo in questo giorno il suo fulmine cadrá.* Кто бы подумалъ, что г. Улыбышевъ эти метафорическія слова (*il tuon, il fulmine* — гроза мщенія) принималъ въ *буквальномъ* смыслѣ!! и на стр. 85 и 147 пресерьозно увѣряетъ, что въ финалѣ перваго акта, къ угрозамъ гостей Донъ-Жуана, послѣ поступка съ Церлиной, присоединяются *дѣйствительныя* громы и молніи?! Къ чему они тутъ? Гдѣ въ партитурѣ хоть малѣйшій намекъ на электрическую грозу? Указаніе на небесную кару почти тѣми же метафорами, какъ въ первомъ финалѣ, повторяется въ речитативѣ передъ аріей Доны-Эльвиры (*mi tradi quell'alma ingrata*) «Ah, no, non potete tardar l'ira del cielo... la giustizia tardar! Sentir già parmi *la fatale saetta che gli piomba sul capo.*»

Но всего яснѣе участь, ожидающая Донъ-Жуана, грозитъ ему на гробницѣ Командора. Среди веселаго смѣха Донъ-Жуана внезапно раздается голосъ съ того свѣта: «*di rider finirai pria dell'auroga.*» И слова, и замогильная музыка этого пророчанія говорятъ ясно, что судъ надъ Дономъ-Жуаномъ уже произнесенъ: онъ уже вычеркнутъ изъ книги жизни. — Какой чудесный контрастъ: дерзкій хохотъ Донъ-Жуана и это загробное пѣніе! Честь и слава либреттисту, если только не самъ Моцартъ такъ счастливо окаямилъ одно изъ лучшихъ своихъ вдохновеній. На пьедесталѣ статуи — Лепорелло, въ страшномъ испугѣ, читаетъ надпись: «*dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta.*» Донъ-Жуанъ, чтобы нарочно показать свое презрѣніе къ этимъ угрозамъ, зоветь статую на ужинъ — и самъ призываетъ казнь на свою преступную голову.

И такъ сущность сюжета выражена либреттистомъ весьма ясно и послужила чудеснѣйшею канвой для Моцарта. Но Да-Понте и по недостатку

таланта и по псевдоклассическимъ требованіямъ его времени, отъ которыхъ даже сильнѣйшіе таланты не освобождались, далеко не во всемъ осталась на высотѣ своей задачи, и такъ какъ Моцартъ музыкою своею только уравновѣсилъ, сгладилъ нѣкоторыя несообразности текста, а не совершенно ихъ уничтожилъ, то *уже одинъ слабый стороны либретто не позволяютъ видѣть въ этой оперѣ верхъ совершенства со всѣхъ возможныхъ точекъ*, — высшее поэтическое произведеніе есъхъ народовъ и вѣковъ, и т. д. Удивительно, что самый восторженный панегиристъ этой оперы, г. Улыбышевъ, касательно ея цѣлаго, ея замкнутости, чрезвычайно сильно разнорѣчитъ съ Да-Понте и Моцартомъ. Какъ это? спросите вы, — постараюсь тотчасъ разъяснить. Дѣло идетъ о *самыхъ послѣднихъ сценахъ* оперы (о чемъ я уже говорилъ отчасти, по случаю характера Лепорелло). Г. Улыбышевъ въ очень многихъ мѣстахъ своего разбора Донъ-Жуана, и даже отъ лица самого Моцарта (стр. 80) прямо говоритъ, *что опера кончается страшной огненной декорацией*, среди которой пляшущіе и скачущіе демоны (точно такіе же, какъ въ послѣдней сценѣ 3-го акта въ «Робертъ») увлекаютъ Донъ-Жуана и бросаютъ его въ пламя, послѣ чего занавѣсъ падаетъ. Г. Улыбышевъ даже вооружается противъ дурной обстановки этой заключительной сцены въ оперѣ изъ оперъ (стр. 199), предлагаетъ въ замѣнъ фѳурій и демоновъ (всегда скорѣе смѣшныхъ въ изображеніи на сценѣ, чѣмъ страшныхъ) какую-то великолѣпную фантазморію (стр. 200), — совѣты, можетъ-быть, очень полезные для всѣхъ на свѣтѣ сценъ, потому-что, кажется, во всей Европѣ *принято* кончать Моцартова Донъ-Жуана — адомъ. Но вы, конечно, очень удивитесь, когда я скажу и *докажу*, что все это совершенно несогласно съ Моцартовымъ намѣреніемъ, какъ оно выражено въ партитурѣ. Развернемъ ее на томъ мѣстѣ, гдѣ статуя Командора, пришедшая на зовъ, произноситъ свою длинную рѣчь Донъ-Жуану: мнѣ приходилось уже упомянуть о всей силѣ трагическаго ужаса въ этой сценѣ, въ которой Моцартъ сравнялся съ Глукомъ и самимъ Шекспиромъ. Безпрерывное нарастаніе ужаса въ этой изумительной, потрясающей сценѣ, борьба дерзкой неустрашимости Донъ-Жуана противъ страшнаго гостя, который преслѣдуетъ его настоячивымъ призывомъ къ раскаянію (*pentiti, scellerato! no! no! vecchio infatuato!*), холодное, неподвижное прозающее величіе гдлоса Командора, какъ-будто голоса самой смерти и сопутствующихъ ему звуковъ оркестра, *мертвенныхъ* при всей ихъ колоссальной силѣ, — все это довольно извѣстно всѣмъ, кто сколько-нибудь знакомъ съ оперой. И г. Улыбышевъ очень хорошо, хотя нѣсколько многословно описалъ эту сцену (стр. 190—198). Нельзя не полюбоваться и техническимъ

его замѣчаніемъ (стр. 192) о роли тромбонъ въ этомъ D-мольномъ *andante*. Та же самая музыкальная мысль (явленіе статуи на ужинѣ) составляетъ начало увертюры Донъ-Жуана; но Моцартъ, желая показать эту развязку пьесы въ далекомъ поэтическомъ предвидѣніи, не употребилъ тутъ всѣхъ средствъ, которыя ему были нужны въ послѣдствіи, для самой катастрофы. Въ увертюрѣ, первый аккордъ просто — тоника въ минорѣ, въ сценѣ статуи — таже самая основная нота (d) на сложномъ аккордѣ уменьшенной септими. Въ увертюрѣ нѣтъ тромбонъ вовсе — въ сценѣ они звучатъ съ самого перваго аккорда, и составляютъ *главный* колоритъ всей оркестровки. Сцена эта утратила бы много своей потрясающей силы, еслибъ Моцартъ не былъ такъ *бережливъ* на могучій призывный голосъ тромбонъ, голосъ, въ наше время, ко вреду искусства, злоупотребляемый на каждомъ шагу. Именно въ наше время нельзя достаточно похвалить эту драгоценную въ искусствѣ бережливость, экономію оркестровки. Прегніе великіе мастера умѣли малыми, почти бѣдными средствами производить громадный эффектъ; — нынѣшніе композиторы чрезвычайною расточительностью всѣхъ возможныхъ эффектовъ, въ общемъ не производятъ никакого. Но я отклонился отъ предмета. Борьба между статуей и Донъ-Жуаномъ кончилась, Донъ-Жуанъ не раскаялся до самой послѣдней минуты (послѣ многихъ модуляцій въ тоны, весьма отдаленные отъ основнаго d-moll, послѣднія реплики статуи и Донъ-Жуана приводятъ къ тѣмъ самымъ аккордамъ, съ которыхъ сцена началась — тѣже самые аккорды и въ первомъ номерѣ оперы, когда Командоръ, раненный Донъ-Жуаномъ, падаетъ — вотъ какъ Моцартъ обдумывалъ музыкальныя подробности своихъ оперъ!)* Призваніе статуи миновалось: «Ah! tempo più *pop v'é!*» провозглашаетъ Командоръ (въ унисонъ съ цѣлымъ оркестромъ, но «*piatissimo*» и на томъ же самомъ интервалѣ b—sis, на которомъ въ началѣ сцены отвергъ приглашеніе сѣсть за столъ «*non si pasce di cibo mortale*, еще примѣръ глубочайшей обдуманности). За тѣмъ въ партитурѣ означено: «*parte*» — то-есть, статуя ис-

* Во избѣжаніе упрековъ въ неточности, я долженъ сдѣлать педантическую оговорку: борьба между Командоромъ и Донъ-Жуаномъ, какъ въ интродукціи, такъ и въ сценѣ ужина, въ d-moll, но реальное сраженіе кончается на басовой нотѣ h и въ альтовомъ голосѣ *as* (чтобъ перевести въ f-moll), а въ сценѣ статуи послѣдніе «No, no! Донъ-Жуана седьмой и шестой тактъ съ конца, передъ Allegro d-moll) падаютъ на басовыя: gis, a. Аккорды при появленіи статуи въ дверяхъ Донъ-Жуана опять настроены на h, a. Указывая тожество гармоніи, я не принимаю въ расчетъ ни ортографіи музыкальной, ни *переложенія* одного и того же аккорда (Umkehrungen, inversions), я хочу только показать, что *во всѣхъ трехъ* случаяхъ рельефная гармонія состоитъ изъ трехъ большихъ секстъ h, gis или as, as — f и f — d.

чезаетъ, но *одна*, потому-что Донъ-Жуанъ и *Лепорелло* остаются на сценѣ. Начинается мрачное, трагическое *allegro* (d-moll) — совершенно въ Глуковскомъ стилѣ. О перемѣнѣ декорации нѣтъ ни слова, но такъ какъ нигдѣ, въ этой партитурѣ, декорации не означены, то это не было бы еще доказательствомъ вѣрности моего убѣжденія, что *ада* на сценѣ Моцартъ вовсе не предполагалъ. Въ пользу моего мнѣнія говоритъ самъ текстъ; вотъ онъ: *D. Giovanni*: Da qual tremore insolito, sento assalir gli spiriti! Donde escono quei vortici, di foco pien d'orror. *Coro di spettri*: Tutto a tue colpe é poco! Vieni! c'è un mal peggior. *D. Giovanni*: Chi l'anima mi lacera? Chi m'agita le viscere? Che stragio, oimé, che smania! Che inferno! che terror! — *Leporello*: Che ceffo disperato! Che gesti d'un dannato! Che gridi! che lamenti! Come mi fa terror! Ни въ одной репликѣ Донъ-Жуана нѣтъ ни малѣйшаго намека на *внѣшній* адъ — слова *che inferno, che terror* — какъ и всѣ прочія, относятся къ мученіямъ, терзаніямъ внутреннимъ, душевнымъ. *Одно присутствіе Лепорелло* и вокальное участіе его въ этой сценѣ — *дуэтомъ* съ Донъ-Жуаномъ должно было убѣдить гг. режиссеровъ, актеровъ, музыкантовъ и комментаторовъ, что объ *адѣ внѣшней* у Моцарта и помину нѣтъ! Была ли какая-нибудь возможность для Лепорелло остаться на сценѣ, еслибъ декорация комнаты Донъ-Жуана вдругъ перемѣнилась въ адъ, съ толпою демоновъ всѣхъ возможныхъ фигуръ, съ змѣями и пламенниками, и т. д. При томъ, съ какой стати Лепорелло очутился бы въ тартаръ; — развѣ для того, чтобы въ угожденіе г. Улыбышеву, не разлучаться съ своимъ патрономъ? Лепорелло *на сценѣ* — *поетъ*, дуэтомъ съ Донъ-Жуаномъ; ни въ его репликахъ, ни въ Донъ-Жуановыхъ, нѣтъ *ни слова* объ адѣ и демонахъ, — значить: *Coro di spettri*, безъ сомнѣнія, хоръ *невидимый*, музыкальное олицетвореніе внутреннихъ фурій, которыя *проснулись* въ душѣ Донъ-Жуана, но слишкомъ поздно — судъ надъ нимъ уже произнесенъ. Эти минуты внутреннихъ душевныхъ терзаній Донъ-Жуана, поставленнаго мысленно лицомъ къ лицу съ самимъ собою — въ первый разъ въ его жизни, эта глубокопсихологическая сцена, въ высшей степени трудна въ исполненіи, потому-что требуетъ игры *геніальной*, иначе впечатлѣніе будетъ до крайности вяло и холодно. Вотъ почему, вѣроятно, давно придумали для этой сцены декорацию ада и десятокъ статистовъ, которые таскаютъ Донъ-Жуана отъ одной кулисы до другой — оно и легче, и *понятнѣе* для зрителей.

Какъ вы полагаете, что г. Улыбышевъ видитъ въ этомъ *Allegro*, геніально-трагическомъ, какъ-будто заимствованномъ у Глука—? нѣсколько

тактовъ оркестрнаго шума (*gracas musical*) — чисто-декораціонную музыку (*Effect-musik*), въ подмогу *кутерьмь* сценической, которой и быть не должно. И г. Улыбышевъ, кромѣ-того, пресерьозно увѣряетъ (стр. 198 и 199 III тома), что намѣреніе Да-Понте было именно представить Донъ-Жуана въ аду, среди фурій, для оправданія титула пьесы «*Il Dissoluto punito*», — а Моцартъ будто-бы созналъ невозможность *окончить* (?) *последній финалъ* мѣрными бѣлыми нотами Командора, и притомъ созналъ, что необходимо надобно было въ самомъ концѣ оперы, для сценическаго эффекта, прибавить нѣсколько тактовъ музыкальнаго фейерверка, чтобъ зрители *отдохнули* (!) на немъ, послѣ психологической глубины *Andante* — все это въ прямомъ противорѣчій съ самимъ дѣломъ, какъ я старался пояснить. О камнѣ преткновенія для такого произвольнаго толкованія, о присутствіи *Лепорелло* и его вокальной партіи въ этой сценѣ, г. комментаторъ *совершенно умалчалъ*, какъ-будто этой партіи вовсе нѣтъ въ Моцартовой партитурѣ. (Желающихъ повѣрить *мои* доказательства я отсылаю къ страницѣ 285 оркестрной партитуры Донъ-Жуана, въ последнемъ изданіи Брейткопфа и Гертеля, въ Лейпцигѣ.)

Какъ не повторить послѣ этого избранный мною эпитафій изъ книги г. Улыбышева «*Libre à chacun d'imaginer un Don-Juan à sa fantaisie*» и такъ далѣе.

Но этимъ еще не кончилась *невъѣрность* взгляда г. Улыбышева на финалъ «оперы изъ оперъ». Вы замѣтили, что даже въ только что приведенныхъ мною строчкахъ со страницъ 198 и 199 III тома, г. Улыбышевъ говоритъ объ этой адской сценѣ (нѣсколько небывшей въ намѣреніи Моцарта) какъ *о самой последней въ оперѣ, объ ея заключеніи* вплоть до опущенія занавѣса. Кромѣ-того, только приступая къ финалу оперы (*Allegro assai* $\frac{4}{4}$) г. Улыбышевъ *прощается* съ Доной-Анной (стр. 182) и почти всеми другими (184) изъ дѣйствующихъ лицъ оперы, то-есть кромѣ Донъ-Жуана самого, Лепорелло, Эльвиры и тѣни Командора. Но это совершенно не такъ въ партитурѣ: *Моцартъ и не думалъ кончать оперу сценой терзаній Донъ-Жуана, — особенно еще терзаній внутреннихъ, невидимыхъ, какъ это оказывается изъ партитуры.*

Раскроемъ ее опять на d-мольномъ аллегро, о которомъ только-что шла рѣчь. Въ тактѣ девятомъ съ конца этого аллегро (последній тактъ на 288 страницѣ партитуры) въ гармоніи совершается переломъ (мажоръ вмѣсто минора); на этотъ усиленный аккордъ (*sforzando*) падаетъ последнее восклицаніе Донъ-Жуана *ah!*; — на разстояніи одного такта тотъ же аккордъ и тоже восклицанье въ партіи Лепорелло; — потомъ

еще шесть тактовъ (заключительная, *плагальная* каденца), на послѣднемъ — фермата. Болѣе подробныхъ указаній въ партитурѣ нѣтъ никакихъ. Но очень ясно, что при крикѣ ah! Донъ-Жуанъ проваливается «въ огнь и въ дымъ» (какъ о томъ рассказываетъ Лепорелло въ слѣдующей сценѣ) — а Лепорелло при такомъ же крикѣ падаетъ на полъ, полумертвый отъ испуга*. Длинная фермата и пауза. Отворяются двери и входятъ Дона-Анна, Донъ-Оттавіо, Дона-Эльвира и Церлина съ Мазетто, (на сценѣ опять тѣже шесть лицъ, какъ и въ секестѣ). Вотъ текстъ этого *allegro assai* (G dur $\frac{3}{4}$) Всѣ пришедшіе пятеро вмѣстѣ: «Гдѣ онъ, злодѣй! я хочу обрушить на него весь свой гнѣвъ.» *Дона-Анна* «Я только тогда успокоюсь, когда увижу его (Донъ-Жуана) въ цѣпяхъ». *Лепорелло*: «Не надѣйтесь его больше увидѣть... не надѣйтесь его отыскать: онъ ушелъ далеко» *Всп*: «Какъ? что такое?» Съ остановками, съ трудомъ, какъ-будто не совсѣмъ пришедши въ себя, Лепорелло имъ объясняетъ, въ отвѣтъ на нетерпѣливые разспросы, что приходилъ мраморный колосъ.... а Донъ-Жуанъ въ огнь и въ дымъ провалился въ тартаръ на самомъ этомъ мѣстѣ (*giustó là il diavolo sel trangugió*). Тотчасъ всѣ разомъ догадываются (?) что это являлась тѣнь Командора (*certo è l'ombra che l'incontró*). Донъ-Оттавіо очень довольный, что они всѣ отмщены, что ничто болѣе не будетъ уже тревожить Дону-Анну, напоминаетъ ей еще разъ о бракѣ; — она отлагаетъ бракъ на годъ. (Начиная съ реплики Дона-Оттавіо идетъ уже — *Larghetto* G-dur $\frac{4}{4}$). Дона-Эльвира собирается идти въ монастырь, Церлина и Мазетто идутъ ужинать вмѣстѣ, а Лепорелло отправляется отыскивать «un padron migliore». Потомъ, послѣ восклицанія Церлины, Мазетто и Лепорелло: пусть же остается злодѣй въ царствѣ Плутона и Прозерпины (*dunque resti quel birbon con Proserpina e Pluton*), всѣ сливаются въ хоръ, (D-dur $\frac{4}{4}$ presto), въ которомъ выражено «нравоученіе» пьесы (*la moralité*), а именно всѣ повторяютъ *l'antichissima canzon*: таковъ бываетъ достойный конецъ злодѣевъ (*questo è il fin di chi fa mal! E de'perfidi la morte alla vita è sempre equal*).

Какъ видите, во всемъ этомъ текстѣ нѣтъ ни особеннаго толку, ни особенной поэзіи. Зачѣмъ и почему пришли всѣ эти лица къ Дону-Жуану — ночью и какъ разъ послѣ явленія статуи? Намѣреніе мстителей опять едва обозначено въ либретто. Дона-Анна вѣрна своему характеру «мстительницы», но выражается весьма прозаически; — и на

* Въ «Волшебной флейтѣ» Моцарта есть нѣчто очень на это похожее: въ концѣ квинтета во второмъ актѣ (№ 13) три дамы проваливаются на рѣзкомъ аккордѣ всего оркестра — испуганный Панагено падаетъ безъ чувствъ на землю. Но тамъ съ большою точностью значено въ самой партитурѣ: *Sie versinken, — er fällt zu Boden*.

чью же помощь она надѣется, чтобъ заковать Донъ-Жуана въ цѣпи—? Донна-Эльвира и въ этой послѣдней сценѣ довольно обижена либреттистомъ, обижена невѣроятно-поверхностной обрисовкой ея характера: страстная женщина, горячо любившая Донъ-Жуана, несмотря на все его безпутство и вѣроломство, неужели такъ *холодно* приняла-бы страшную для нея вѣсть о катастрофѣ съ Донъ-Жуаномъ?! Все это капитальные недостатки въ текетѣ, непростительные недосмотры либреттиста, неисправленные Моцартомъ,—недосмотры, которые, повторю еще разъ, никакъ не позволяютъ признать Донъ-Жуана Моцартова за высшее поэтическое произведеніе изъ всѣхъ въ свѣтѣ, за идеаль совершенства и въ мысли и въ ея осуществленіи. *Вien s'en faut!* Но и по мысли либреттиста — для выраженія нравственнаго смысла всей пьесы и *для сведенія концовъ*, и по намѣреніямъ Моцарта съ чисто-музыкальной стороны, эта заключительная сцена была *необходима* для органической замкнутости цѣлой оперы. Да-Понте, какъ очень образованный человекъ, безъ сомнѣнія, читалъ Шекспира и, быть-можетъ, научился изъ его твореній, что катастрофа съ героемъ пьесы никакъ не есть еще рѣшительный конецъ концовъ, — что послѣ катастрофы все должно мало-по-малу придти въ прежнее, необходимое спокойствіе, какъ мало-по-малу исчезаютъ круги на водѣ, послѣ брошеннаго въ нее камня. Истинно-поэтическая замкнутость необходимо требуетъ такого успокоительнаго сведенія концовъ. Припомните самую послѣднюю сцену въ Гамлетѣ, когда послѣ смерти всѣхъ главныхъ лицъ приходитъ съ войскомъ Норвежскій принцъ Фортинбрасъ, — припомните самый конецъ «Отелло», *посль* того, какъ онъ себя закололъ, — самый конецъ Ромео и Юліи, *посль* того какъ они оба найдены мертвыми,—кажется, довольно примѣровъ. Шекспировскія сцены, о которыхъ я говорю, обыкновенно при исполненіи на театрѣ — выпускаются, но это «по принятому обычаю», во уваженіе *публики*, которая всегда спѣшитъ вонъ изъ театра, какъ только герой, или героиня трагической пьесы грянулись о землю, или когда, при счастливой развязкѣ (въ комедіяхъ, драмахъ, водевиляхъ и операхъ) становится ясно, что любовники, послѣ многихъ препятствій, наконецъ, навѣрное сочетаются бракомъ. Обычай этотъ, быть-можетъ, и очень спасителенъ — для слугъ, но, право, ничего общаго не имѣетъ съ эстетическими, чистохудожественными цѣлями. Во всякомъ случаѣ Да-Понте если и чувствовалъ эту эстетическую потребность, то довольно смутно, иначе-бы придумалъ что-нибудь поумнѣе, что-нибудь менѣе пошлое, для заключительной сцены, весьма *важной* для общаго впечатлѣнія. Недостатокъ таланта заставилъ либреттиста и въ этомъ случаѣ остаться несравненно

ниже своей задачи, — а быть-может и вся заключительная сцена выстроена либреттистомъ только по заказу композитора, слѣдовательно, не-хотя, небрежно.

Съ чисто-музыкальной стороны, какъ ее понималъ Моцартъ, было рѣшительно невозможно кончить оперу сценою мученій Донъ-Жуана. Изъ Глуковыхъ оперъ только одна Армида оканчивается трагическимъ, печальнымъ монологомъ, — всѣ прочія оканчиваются хоромъ, больше или меньше радостнымъ. Въ Моцартовомъ идеалѣ оперы заключительный хоръ, всегда болѣе или менѣе ликующій, — рѣшительный законъ отъ котораго Моцартъ не отступалъ ни въ одной изъ семи своихъ оперъ. Въ музыкѣ еще больше, чѣмъ въ поэзій, чувствуется органическая необходимость успокоительнаго заключенія. Музыка свободная, нестѣсненная никакими *внѣшними* требованіями, то-есть музыка симфоническая, въ *высшемъ* проявленіи своемъ, то-есть въ девяти симфоніяхъ Бетховена, ни разу не нарушаетъ этого органическаго закона. Мнѣ уже приходилось говорить, что *главная* часть каждой изъ Бетховенскихъ симфоній (особенно начиная съ третьей), *финалъ*, — это голова цѣлаго произведенія, (а никакъ не первая часть, какъ иные думаютъ, и какъ бывало въ симфоніяхъ Гайдна, отчасти и Моцарта). Первые три части симфоніи тяготеютъ къ финалу, стремятся къ этой побѣдѣ, къ этому торжеству основной идеи. Забудьте, что въ двухъ *минорныхъ* симфоніяхъ Бетховена (пятой, C-moll, и девятой, D-moll) финалы не въ минорѣ, а въ свѣтломъ, побѣдоносномъ мажорѣ. Поэтическая мысль, которая клонитъ къ трагическому концу и не допускаетъ возможности все завершить *гимномъ*, больше или меньше торжественнымъ, собственно говоря не должна быть сюжетомъ ни симфоніи, ни оперы. Какъ для симфоніи, такъ и для оперы, необходимъ заключительный моментъ, съ идеєю торжества, ликования, одержанной побѣды — въ самомъ широкомъ значеніи этихъ словъ. Моцартъ, который въ своемъ идеалѣ оперы во многихъ отношеніяхъ ушелъ дальше Глука — какъ уже было замѣчено, ни въ одной изъ своихъ оперъ не допустилъ трагической развязки. И Донъ-Жуанъ вовсе не исключеніе въ этомъ случаѣ: сюжетъ пьесы, какъ я говорилъ — *наказаніе* развратнаго злодѣя, гибель этого злодѣя, достойное ему возмездіе за всѣ его подвиги — *значитъ* *вовсе нетрагическая, а счастливая развязка пьесы*, и Моцартъ, съ особенною любовью остановился на заключительной сценѣ, несмотря на всю ея неудачу въ текстѣ. Только съ этими послѣдними 18 страницами, партитура становится полнымъ, округленнымъ, органическимъ цѣлымъ. Это самое замѣтилъ еще Гофманъ, — а онъ сильный авторитетъ во всемъ собственно-музыкальномъ. Музыка въ этой сценѣ осо-

бенно въ *Larghetto* и въ последнемъ *Presto* — великолѣпна. Стоить заглянуть въ партитуру, чтобъ наумиться варварству, съ которымъ весь этотъ секретъ — чудесной красоты, безъ дальнихъ околичностей отрѣзываютъ при исполненіи!! отрѣзываютъ какъ что-то совсѣмъ лишнее, бесполезный хламъ, такъ что публика и не подозреваетъ существованія этой послѣдней сцены! Гдѣ же уваженіе къ безсмертному Моцарту и къ одному изъ гениальнѣйшихъ его произведеній?

Полюбуйтесь теперь, какъ г. Улыбышевъ перестраиваетъ Моцартова Донъ-Жуана на свой ладъ, какъ онъ поправляетъ Моцарта. Подивитесь, какъ восторженный комментаторъ «оперы изъ оперъ», вмѣсто того, чтобы съ Готфридомъ Веберомъ и нѣкоторыми другими горько вопіять противъ ея искаженій, — въ этомъ случаѣ держитъ сторону вандаловъ, — и все это благодаря своимъ предубѣжденіямъ и ради виртуозности слова! Я говорилъ уже, какъ г. Улыбышевъ полагаетъ, что оперъ слѣдовало-бы кончиться вмѣстѣ со сценою статуи — геркулесовыми столбами драматической музыки, какъ г. Улыбышевъ увѣряетъ, — что D-moll-ное аллегро послѣ этой сцены (то-есть сцены терзаній Донъ-Жуана) прибавлено Моцартомъ, какъ оркестрный шумокъ, въ подмогу декораций ада, — какъ г. Улыбышевъ *умолчалъ* объ участіи Лепорелло въ этой сценѣ, такъ какъ это участіе портило-бы все дѣло въ отношеніи фантазмагорическихъ прикрасъ (стр. 200 и 201 III тома), придумавъ блистательную обстановку для адекой сцены, помѣстивъ туда все театральныя ухищренія — какъ въ иныхъ балетахъ: цѣлый Везувій огня, цѣлую вереницу привидній, голубой утренній свѣтъ въ соединеніи съ краснымъ бенгальскимъ пламенемъ, наконецъ тѣнь Командора и Донны-Анны въ облакахъ (вы помните, что г. Улыбышевъ неумолимо требуетъ ея смерти!). Г. Улыбышевъ не хочетъ видѣть, что все это какъ нельзя сильнѣе разнорѣчитъ съ партитурою. Но вотъ новая бѣда! D-moll-ное аллегро (музыка для мнимо-адской сцены) вовсе не кончаетъ оперу. Куда жъ дѣвать эти несносныя 18 страницъ партитуры? Долой ихъ! прочь ихъ совсѣмъ! — Но для этого надобно *доказать*, хоть разными натяжками, что эта заключительная сцена совершенно лишняя, что она нелѣпость въ текстѣ, и ничего особеннаго — въ музыкѣ. Вотъ это г. Улыбышевъ и старается доказать на 201, 202 и 203 страницахъ III тома, съ постоянно-саркастическою улыбкою. Позвольте мнѣ перевести хоть часть этихъ замѣчательныхъ страницъ:

«Удивительное дѣло! авторы Донъ-Жуана, создавая эту оперу à la «Шекспиръ, *помимо* пѣнстикъ и условій современнаго имъ театральнаго «стиля, (это совершенная неправда) постоянно перемѣшивая комизмъ съ «трагическимъ пафосомъ, — создавая, однимъ-словомъ, произведеніе роман-

«тическое (?) — как bourgeois gentilhomme у Мольера говорил цѣлый «вѣкъ прозой, — Да-Понте и Моцартъ считали долгомъ покориться са- «тому произвольному изъ тогдашнихъ рецептовъ для лирической драмы, «правилу, которое требуетъ, чтобы при концѣ оперы всѣ дѣйствующія «лица выстроились въ рядъ, по ранжиру своихъ голосовъ, чтобы от- «благодарить публику за аплодисменты, или свистки. Конечно, въ на- «стоящемъ случаѣ, не всѣ лица могли соблюсти эту учтивость: герой «пьесы въ аду, а тѣни Командора неловко-же являться еще разъ, для «того только, чтобы раскланяться передъ публикой. Оставшіеся въ жи- «выхъ собираются вмѣстѣ и выходятъ на сцену, чтобъ пропѣть и откла- «няться: это составляетъ три *сверхтитанья* частицы финала: Allegro assai, Larghetto и Presto. *Мы ихъ и разбирать не будемъ* (вотъ «какъ!) Во-первыхъ потому, что этого всего никогда не исполняютъ на сценѣ (хорошъ резонъ, не правда-ли?) во-вторыхъ, потому-что все это «не относится къ ходу пьесы, къ ея сюжету (ne fait plus partie de «l'action); въ-третьихъ — и это самое важное — потому-что все это не- «лѣзная ложь въ отношеніи данныхъ характеровъ. Кто не увидитъ, что «весь этотъ міръ страстей, очарованій, проказъ и чудесъ погибъ без- «возвратно вмѣстѣ съ личностью, которая была средоточіемъ этого міра «и главною его пружиною!» Затѣмъ г. комментаторъ перебираетъ всѣ дѣй- «ствующія лица оперы по порядку финала и доказываетъ невозможность этой сцены для каждаго изъ характеровъ отдѣльно, повторяя при этомъ случаѣ еще разъ «свой» взглядъ на отношенія ихъ къ Донъ Жуану. Раз- «бирая характеры Лепорелло и прочіихъ, я говорилъ уже о произвольности взгляда г. Улыбышева въ этомъ случаѣ и несогласіи съ партитурой. Опровергать несправедливость доводовъ г. Улыбышева, почему финаль- «ная сцена — нелѣзная неправда въ отношеніи характеровъ, значило-бы по- «вторить все прежде сказанное. Лучше перейти прямо къ результату сентен- «ціи. Придавъ лицу Донъ-Жуана колоссальное, титаническое, всемірное значеніе (котораго и тѣни нѣтъ въ партитурѣ), г. Улыбышевъ старался и на другихъ лицъ оперы, всѣми возможными натяжками, распространить отблески этого великаго Донъ-Жуанова значенія. Оттого, *не обращая ни малѣйшаго вниманія на то, чего хотѣли Моцартъ и Да-Понте*, на ихъ намѣренія, высказанныя и словами и нотами, комментаторъ восклицаетъ (стр. 203): «Такимъ-образомъ (c'est ainsi) великая личность Донъ-Жуана въ своемъ паденіи увлекаетъ за собою *все*, что служило ей рельефомъ, обстановкой, или контрастомъ. *Все умираетъ, все исче- «заетъ вмѣстѣ съ нимъ.*» — Гдѣ-же это все — въ партитурѣ?! позволю я себя спросить г. Улыбышева. *Кто умираетъ? Кто исче- «заетъ?* — Удивительно, какъ далеко завела г. комментатора «легкая про-

изводительность» его воображенія, собственный лиризмъ и виртуозность стила! Libre à chacun d' imaginer un Don Juan à sa fantaisie. Диаметрально противоположно тому, что наставлялъ здѣсь г. Улыбышевъ, партитура показываетъ, что изъ всѣхъ лицъ оперы, кромѣ давно убитаго Командора, одинъ только Донъ-Жуанъ исчезъ со сцены и рѣшительно *никого не увлекъ въ своемъ паденіи*: всѣ дѣйствующія лица (кромѣ Донъ-Жуана и Командора) живехоньки и здоровехоньки до самаго паденія завѣса.

Г. Улыбышевъ самъ далъ намъ право— (стр. 87 III тома) толкованія и мысли, которыя прямо противорѣчатъ и тексту и партитурѣ, признать толкованіями и мыслями *ложными*.

Была уже рѣчь о томъ, что г. Улыбышевъ несправедливъ и къ музыкѣ заключительной сцены Донъ-Жуана—онъ говоритъ объ ней очень вскользь (nous n'analyserons point), и гдѣ-же? замѣьте въ полномъ, обстоятельномъ разборѣ всей оперы, и все это единственно потому, что сцена эта никакъ не подошла подъ идеаль оперы «Донъ-Жуанъ», составленный г. Улыбышевымъ *независимо* отъ партитуры Моцарта! Онъ даже признаетъ (въ другомъ мѣстѣ III тома, а именно на стр. 126) что Larghetto этой сцены опять какая-то мистификація со стороны Моцарта (!), что также, какъ арія Эльвиры въ первомъ актѣ «ah fuggi il traditor (D-dur $\frac{3}{4}$ на театрѣ не исполняемая) — образчикъ стила Генделевского, — такъ это Larghetto (or che tutti, o mio tesoro) будто бы образчикъ современныхъ Моцарту сладкихъ дуэтовъ à l'italienne — что Моцартъ *нарочно*, съ умысломъ (?) помѣтилъ эти «архаизмы» наряду съ «своей» бессмертной музыкой, чтобы потомство могло сравнить и судить. — «Теперь» — прибавляетъ г. Улыбышевъ — «когда приговоръ уже произнесенъ и сравнивать больше не зачѣмъ — и арію и дуэтъ очень справедливо выбрасываютъ изъ оперы. — По случаю ариі «ah fuggi» я замѣтилъ уже, что Моцарту *не могла* придти въ голову анти-художественная, анти-объективная, профессорская мысль: превратить свою поэтическую оперу въ музыкальную хрестоматію, въ пособіе для изученія *исторіи* музыки. Здѣсь добавлю только, что если и въ-самомъ-дѣлѣ въ этомъ восхитительномъ Larghetto (or che tutti) при красотѣ и объективности чисто-моцартовской, много итальянскою сладости и прозрачная гармонія тутъ столько-же проста, безыскусственна, сколько благозвучна (euphonique) то это только потому, что поэтическая мысль сцены этого требовала согласно стилю, въ которомъ Моцартъ задумалъ (концепировалъ) эту оперу. Если же признать эту музыку «подражаніемъ» современнымъ Моцарту итальянцамъ (Guglielmi, Piccini, Sacchini, Paesiello) и на этомъ только основаніи ее *осудить*, то такимъ-обра-

зомъ пришлось—бы забраковать очень значительную долю, чуть не половину каждой «итальянской» Моцартовой партитуры, не исключая ни Фигаро, ни Донъ Жуана.

Въ Донъ-Жуанѣ есть даже довольно формъ устарѣлыхъ (какъ увидимъ) но вовсе не въ этихъ мѣстахъ оперы, на которыя указываетъ г. Улыбышевъ, и вовсе не «съ умысломъ» со стороны Моцарта, а просто какъ дань вѣку, отъ которой ни одинъ въ свѣтѣ геній совершенно освободиться не можетъ.

Разсматривая характеры оперы и сюжетъ ея, въ его цѣломъ, съ цѣлю установить возможную чистоту взгляда на эти предметы, я касался музыкальных и сценическихъ подробностей только мимоходомъ.

Теперь мнѣ предстоитъ сдѣлать нѣкоторые общіе выводы о впечатлѣніи оперы на театрѣ съ поэтической и музыкальной стороны, и о томъ, какъ, по моему мнѣнію, должно понимать Моцартовы слабыя стороны, по большей части въ зависимости отъ его эпохи.

Приступить къ этимъ общимъ выводамъ я не могу иначе, какъ сдѣлавъ еще разъ бѣглый обзоръ всей оперы, сцена за сценой по порядку, для того, чтобъ провѣрить отдѣльное впечатлѣніе каждой, и потомъ сдѣлавъ очеркъ всей оперной дѣятельности Моцарта, чтобы приготовить возможность взгляда на значеніе оперы Донъ-Жуанъ въ связи съ другими операми. Еще въ началѣ статьи я говорилъ о важности исторической точки зрѣнія при эстетической оцѣнкѣ художественныхъ произведеній.

Все это вмѣстѣ составитъ *вторую* и *последнюю* статью о моемъ предметѣ.

Не могу не повторить еще разъ опасеній, что мои иногда очень мелочныя указанія невѣрности взгляда въ замѣчательной и уже знаменитой книгѣ моего соотечественника будутъ отнесены къ полемическимъ нападкамъ. Я сказалъ уже, что стою *за правду*; хочу показать всѣмъ, убѣдить всѣхъ, что *цвѣтныя очки* г.г. комментаторовъ чрезвычайно мѣшаютъ чистотѣ взгляда на Моцартова Донъ-Жуана. Другой, скрытой, косвенной мысли у меня нѣтъ рѣшительно никакой.

Упрековъ касательно моей педантичной подробности я не боюсь, потому—что, какъ уже говорилъ, пишу не фельетонъ, а специальную статью по части музыкальной критики, которую считаю дѣломъ серьезнымъ.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛѢТОПИСЬ.

I.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

СТАТЬЯ II.

Модная наука. — Статистическій обзоръ прошлаго опернаго сезона. — Доницетти и его оперы. — Разборъ «Элексира». — Донъ-Жуанъ Моцарта. — Артисты итальянской оперы

Въ нашъ положительный вѣкъ довѣряютъ однѣмъ цифрамъ; прочія выводы и доказательства почитаются шаткими и умозрительными. Почти все челоѳеческія познанія заразились менѣе или болѣе математическими вычисленіями; химія, основываясь на формулахъ Берцеліуса, опредѣляетъ тѣла по *паямъ* и *атомамъ*; медицина развѣшиваетъ врачебныя средства на пятидесятые и гораздо мельчайшія доли грановъ, и рассчитываетъ на крайнюю *дѣлимость* матеріи для излеченія людскихъ недуговъ; астрономическія *вычисленія*, которыя, бывало, скрывались только-что не подъ облаками, и передавались почти въ тихомолку съ одной обсерваторіи на другую, нынѣ шумятъ на весь міръ и обращаютъ на себя всеобщее вниманіе; наконецъ, статистика, которая каждый свой шагъ подтверждаетъ цифрами, сдѣлалась основною, и можно-сказать, *модною* наукою. Неужели и искусства подвергнутся современемъ математическому вліянію?! Странное и нѣсколько обидное предположеніе для гг. артистовъ — но какъ знать, на чемъ остановится стремленіе нашего вѣка къ вычисленіямъ. Весьма можетъ статься, что антрепренеры бу-

дуть выбирать голоса по количеству горловыхъ вибрацій, опредѣляя тѣмъ математически силу голоса; если пристрастіе къ сильной звучности, на которой и нынѣ уже основаны въ операхъ самыя увлекающіе эффекты, еще болѣе увеличится, то не трудно будетъ *разсчитать*, который изъ композиторовъ достигъ наибольшаго развитія звучности, и такъ далѣе... Надѣмся, впрочемъ, что горестное предположеніе подчинить искусства математическимъ вычисленіямъ не скоро еще осуществится; но не менѣе того воспользуемся *модною* наукою, и докажемъ цифрами, за кѣмъ изъ композиторовъ въ прошлый оперный сезонъ 1852—1853 осталось первенство успѣха.

Всѣхъ представленій было 84, распределенныхъ слѣдующимъ-образомъ: 66 для абонеента (въ томъ числѣ и добавочныя), 5 не въ счетъ абонеента, 11 бенефисовъ и 2 представленія для иностранцевъ на первой недѣль Великаго поста. «Отелло» (Россини) давали 8 разъ, «Ченерентолу» 8 разъ, «Севильскаго-Цирюльника» то же число, «Карла-Смѣлаго» 4 раза. Слѣдовательно, въ-теченіе сезона, мы слышали 28 разъ Россиніевскія оперы. «Норму» (Беллини) давали 6 разъ, «Пуританъ» 8 разъ, «Сомнамбулу» 1 разъ, «Эрнани» (Верди) 4 раза, «Риголетто» 4 раза, «Гвельфы и Гибеллины» (Мейербера) 6 разъ, «Осаду Генга» 5 разъ, Донъ-Жуана (Моцарта) 4 раза, «Marie-de-Rohan» (Донидзетти) 5 разъ, «Донъ-Пасквале» 6 разъ, «Элеквиръ» 3 раза, «Лукрецію Борджія» 4 раза. Не желая ввести въ заблужденіе, мы полагаемъ, однакоже, долгомъ замѣтить для тѣхъ, которые считаютъ цифры краснорѣчивѣе всѣхъ прочихъ доказательствъ, что «Осада Генга»—Мейербера была поставлена въ-концѣ сезона, и судя по стеченію публики въ каждое изъ пяти представленій этой оперы, можно достоверно заключить, что успѣхъ ея не истощился, и по всѣмъ вѣроятіямъ продолжится на будущій сезонъ. Оперы Россини, кромѣ, разумѣется, неотъемлемаго ихъ достоинства, привлекали участіемъ въ нихъ Віардо и Лаблаша. «Севильскій-Цирюльникъ», напримѣръ, былъ у насъ обставленъ въ прошлый сезонъ такъ удивительно, что и самъ Россини не могъ бы мечтать лучшаго состава для прелестной своей оперы. Всѣмъ извѣстно, что Віардо неподражаемая Розина, а Лаблашъ, конечно, совершеннѣйшій типъ Бартоло. Опера Верди «Риголетто» могла бы выдержать болѣе четырехъ представленій, и вѣроятно на будущей сезонъ, при той же обстановкѣ, будетъ имѣть значительный успѣхъ. «Сомнамбула»—Беллини была исполнена только одинъ разъ, по немнѣнью времени. О великомъ и образцовомъ прозведеніи Моцарта (о Донъ-Жуанѣ), и о причинахъ четырехъ-кратнаго только его представленія, мы просимъ дозволенія поговорить подробно въ-теченіе предлагаемой статьи,

теперь же обратимъ вниманіе на успѣхъ оперъ Донизетти (которыя мы слышали въ прошлый сезонъ 18 разъ), и скажемъ нѣсколько словъ о значеніи въ исторіи искусства этого замѣчательнаго маэстро.

Гаэтано Донизетти родился 1798 года, въ венеціанскихъ владѣніяхъ, въ городѣ Бергамо. Несмотря на недостаточность состоянія его родителей, Гаэтано получилъ хорошее образованіе; призваніе къ искусствамъ обнаружилось у него съ юныхъ лѣтъ, — но странно, выборъ молодого Донизетти палъ сначала не на музыку, а на архитектуру. Онъ страстно любилъ чертить и рисовать, и до конца своей жизни предавался съ успѣхомъ этому искусству. Съ другой стороны, отецъ Гаэтано желалъ, чтобы сынъ его избралъ юридическую карьеру, какъ болѣе надежную и прибыльную. Послѣ довольно продолжительной борьбы, Гаэтано позволено было наконецъ посвятить себя искусству, и къ немалому удивленію его родителей, Донизетти избралъ окончательно музыку, а не архитектуру. Первымъ его наставникомъ былъ знаменитый Simon Mayer (авторъ оперы *Rosa Bianca e rosa rossa*). Въ 1815 году Гаэтано поступилъ въ болонскій лицей, подъ руководство Padre Mattei, знаменитѣйшаго контрапунктиста того времени, который былъ первымъ наставникомъ Россини. На 20-мъ году своей жизни, то-есть, въ 1818 году, Донизетти написалъ для Венеціи первую свою оперу «*Enrico-de-Borgogna*», которая принята была благосклонно. Съ того времени, въ-продолженіе 8 лѣтъ, онъ разъѣзжалъ по Италіи и писалъ на скорую руку множество оперъ, коихъ и названія даже не дошли до насъ.

Огромный успѣхъ россиніевской музыки поглощалъ всеобщее вниманіе. Донизетти, чувствуя себя не въ силахъ бороться съ гениемъ великаго маэстро, подражалъ ему, и подражалъ довольно успѣшно. Извѣстно, что съ 1823 года Россини умолкъ для Италіи; Донизетти долго выжидалъ, но не совсѣмъ довѣря молчанію могучаго своего соперника, продолжалъ еще ему подражать. Наконецъ, въ 1826 году, убѣдившись, что Россини не хочетъ писать для Италіи, Донизетти рискнулъ сдѣлать нѣкоторыя измѣненія въ своей музыкѣ и отступить нѣсколько отъ принятаго имъ образца.

Опытъ этотъ выразился появленіемъ «*L'Esule di Roma*», оперы, въ которой онъ видимо желалъ выказать свою самостоятельность. Это доказываютъ измѣненныя формы кабалетъ, почти совершенное отсутствіе руладъ, довольно значительныя притязанія на декламацию и драматизмъ. Опера «*L'Esule di Roma*» имѣла большой успѣхъ, но Донизетти понялъ весьма хорошо, что рукоплескали не попыткамъ его оригинальности, а нѣкоторымъ прекраснымъ мелодіямъ, которыя на-

поминали еще своею формою обожаемую Италиєю музыку Россини. Съ тѣхъ—поръ, повидимому, Доницетти отказался навсегда отъ притязаній на оригинальность, и такъ—какъ съ 1828 года въ Италиі возникало новое музыкальное свѣтило—Беллини, то даровитый, но не самостоятельный маэстро сталъ ему подражать, что весьма уже замѣтно въ «Аннѣ Болейнъ».

Эта послѣдняя опера имѣла въ Миланѣ, 1831 года, огромный успѣхъ, несмотря на соперничество Сомнамбулы, которая была поставлена въ томъ же году и исполнена тѣми же знаменитыми артистами, Пастою и Рубини. Въ 1832 году мнѣ удалось слышать въ Неаполѣ эту оперу; роль «Анна Волена» исполняла Bonzi de Begnis, Генриха VIII Лаблашъ, а тенора нашъ Ивановъ. Въ то время Ивановъ былъ весьма неловокъ на сценѣ, и признаться сказать, игралъ довольно плохо, но голосъ у него былъ очаровательный; необычайная мягкость, и съ тѣмъ вмѣстѣ сила и звучность верхнихъ его нотъ приводили въ восторгъ неаполитанцевъ.

Лаблашъ въ роли Генриха VIII былъ неподражаемо хорошъ! Судя по Дону Маньфику и Бартоло нельзя себѣ представить, до какой степени Лаблашъ величественно грозенъ въ этой роли: выраженіе лица, всѣ движенія его были такъ глубоко обдуманы, что многіе коротко знавшіе Лаблаша увѣряли, что онъ долго *исторически* изучалъ грознаго повелителя Англіи, для того, чтобы съ вѣрностію передать эту роль. Хотя мы сказали, что въ «Анна Волена» замѣтно подражаніе Беллини, но это болѣе относится къ формамъ нѣкоторыхъ кантиленъ и къ декламационному направленію этой оперы; въ мелодіяхъ Доницетти гораздо болѣе разнообразія и энергіи, чѣмъ у Беллини, — вообще дарованіе его, хотя не такъ самостоятельно, какъ дарованіе Беллини, но за то болѣе развито и усовершенствовано.

Съ появленія «Анна Волена», Доницетти и Беллини раздѣлили между собою почти поровну музыкальное владычество въ Италиі; Доницетти однакоже былъ гораздо дѣятельнѣе своего соперника и писалъ, не умолкая. Полнаго списка его оперъ мы не имѣемъ, но упомянемъ о главнѣйшихъ произведеніяхъ, и обратимъ вниманіе читателей на замѣчательнѣйшія мѣста.

Въ 1834 году Доницетти написалъ «Lucrezia Borgia». Эта опера весьма у насъ извѣстна. Превосходная игра г-жи Гризи и *арія Пачини*, которую Маріо въ нее вѣставляетъ, окончательно упрочили у насъ ея славу; но, по нашему мнѣнію, въ ней множество драматическихъ несообразностей, и хотя есть пріятныя мелодіи, но опера эта не можетъ

выдержать сравненія ни съ «Анною Болейнъ», ни съ послѣдующими за нею операми Донизетти.

Самый замѣчательный нумеръ оперы, безспорно, терцетъ 2-го акта; и странно и почти непонятно, но нужно сознаться, что Сальви производилъ въ немъ болѣе впечатлѣнія, чѣмъ Маріо, несмотря на видимое преимущество голоса и методы послѣдняго. Этотъ замѣчательный и рѣдкій фактъ мы можемъ приписать только одному обстоятельству: по всѣмъ вѣроятіямъ, Маріо бережетъ свой голосъ для вставной *Пачиниѣвской* аріи: «io ti vidi, t'amigai», и скупится въ терцетѣ на звучность верхняго *la-bémol*, который долженъ быть выраженъ съ силою, для произведенія на слушателей полного эффекта.

Въ 1830 году Донизетти пріѣхалъ въ Парижъ; здѣсь встрѣтился онъ лицомъ къ лицу съ соперникомъ своимъ Беллини, который въ то время вполне овладѣлъ благорасположеніемъ парижской публики, поставивъ въ томъ же году «Пуританъ». Кстати упомянемъ здѣсь о юмористической выходкѣ Россини насчетъ «Пуританъ». Послѣ перваго представленія, Россини написалъ въ Италію письмо къ одному изъ своихъ знакомыхъ, въ которомъ, отдавая отчетъ о новой оперѣ, онъ отзывался весьма лестно о дарованіи молодаго Беллини и хвалилъ многія мѣста безусловно. «Что же касается до дуэта двухъ басовъ (*suoni la tromba intrepida*), писалъ Россини, то я почитаю излишнимъ распространяться на этотъ счетъ, потому-что вѣроятно вамъ и въ Италіи слышны были необычайно сильные возгласы Лаблаша и Тамбурини!» Дѣйствительно, кабалета, на которую намекаетъ Россини, довольно тривіальная, и единственное ея достоинство состоитъ въ весьма сильной звучности. Беллини, узнавъ о отзывѣ знаменитаго маэстро, самъ же разгласилъ его по всему Парижу, приговаривая: «По дѣломъ мнѣ, я слишкомъ уже *разшумѣлся*, не имѣя на то никакого права! Я могу воспѣвать любовь, нѣжныя чувства, но воинственные возгласы, энергическіе порывы мнѣ не подѣ-стать».

Но возвратимся къ Донизетти! Немалого труда ему стоило добиться дозволенія поставить на парижской сценѣ «*Marino Faliero*», несмотря на то, что эта опера имѣетъ неотъемлемыя достоинства.

Въ дуэтѣ перваго акта тенора съ сопрано весьма замѣчательно *Larghetto*: «*Questo brandodel suo sangue*». Въ послѣдующихъ операхъ Донизетти парафразировалъ эту мелодію нѣсколько разъ, и всегда съ большимъ успѣхомъ. *Largo* финала перваго акта хотя также парафраза (*une paraphrase*) терцета Лукреціи, но весьма хорошо ведено и развито. Арія тенора во второмъ актѣ, которую несравненный Рубини пѣлъ у насъ неоднократно и всегда удивительно хорошо, заслу-

живаесть также особеннаго вниманія. Первое allegro двухъ басовъ: «*se ruggiungo*» — превосходно, хотя очевидно основано на мысли знаменитаго терцета Вильгельма-Теля. Опера «*Magino Galiego*» имѣла успѣхъ въ Парижѣ, но не могла выдержать соперничества «*Пуританъ*», — и Донизетти счелъ нужнымъ оставить Парижъ. Мы почитаемъ это обстоятельство весьма благопріятнымъ для таланта Донизетти, потому-что въ Парижѣ онъ никогда не написалъ бы партитуры въ родѣ «*Лучія*». Вліяніе французскаго вкуса всегда менѣе или болѣе отзывается на композиторѣ, который пишетъ для парижской сцены, а «*Лучія*» чисто итальянское порожденіе, и намъ кажется, что для композитора итальянца это не послѣднее достоинство.

Въ томъ же 1835 году Донизетти пріѣхалъ въ Неаполь; засталъ тамъ Персіани и Дюпре, попалъ на удачное либретто, и не съ большимъ въ шесть недѣль написалъ самую лучшую свою оперу «*Lucia di Lamermoor*». Кто у насъ изъ любителей музыки не знаетъ этого прекраснаго произведенія? Кто, въ-особенности, не помнитъ финала, въ которомъ бывало незабвенный Рубини — Эдгардо проклиналъ свою бѣдную невѣсту съ такою силою и энергією.

Секстетъ, предшествующій этой фразѣ, въ высшей степени прекрасенъ; мелодія его благородна, изящна и развита безподобно; голоса сочетаются весьма искусно, и вообще форма секстета имѣла въ то время достоинство новизны. Въ-послѣдствіи самъ Донизетти такъ часто употреблялъ ту же форму для своихъ *motseaux d'ensemble*, что векорѣ она обветшала. Въ первомъ дуэтѣ между сопрано и теноромъ весьма замѣчательны *Larghetto* «*sulla tomba, chі m'insera*» и слѣдующее за нимъ Allegro, которое хотя написано въ темпѣ вальса, но нѣжность и пріятность мелодіи выкупаесть этотъ недостатокъ. Дуэтъ сопрано съ басомъ также прекрасенъ и выразителенъ, два, или три хора и весь финалъ перваго акта достойны замѣчанія. Последняя арія, триумфъ и Рубини и Маріо, начинается безподобно. Величественная прелюдія, въ которой удачно употреблены мѣдные инструменты, предшествуетъ весьма драматическому речитативу.

Въ плавномъ и мелодическомъ анданте отзывается глубокая грусть; при хорошемъ исполненіи этого анданте невозможно оставаться равнодушнымъ къ страданіямъ Эдгарда; у Рубини, бывало, въ каждомъ звукѣ слышны были стенаніе и жалоба. Хоръ, въ которомъ извѣщаютъ Эдгарда о смерти Лучіи, прекрасенъ; кто не помнитъ раздирающаго вопля Рубини «*Oh! mia Lucia!*» Но что сказать про окончательную кабалетту «*Tu che a Dio spiegasti l'ali*»? Впечатлѣніе, ею производимое, конечно у всѣхъ осталось въ памяти; вся Европа слуша-

ла ее съ наслажденіемъ, и между-тѣмъ нельзя не замѣтить, что мелодія этой столь знаменитой кабадеты тривіальна и не имѣетъ вовсе никакого драматическаго достоинства. Мы полагаемъ, что огромный ея успѣхъ слѣдуетъ приписать искусству извѣстнѣйшихъ пѣвцовъ, какъ: Рубини, Маріо, Морьяни, и нѣкоторыхъ другихъ. Дѣйствительно, тутъ полный разгулъ человѣческому голосу; самый простой аккомпаниманъ сопровождаетъ пѣніе, ничто его не стѣсняетъ, ничто не заглушаетъ, и если голосъ хорошъ и выразителенъ, то одна уже вокалізація на самыхъ звучныхъ нотахъ тенора должна производить удовлетворительное и даже на иныхъ слушателей большое впечатлѣніе. По нашему мнѣнію, «Лучія» самое совершеннѣйшее произведеніе Доницетти въ серьезномъ родѣ, а «L'Elisir d'amore» въ комическомъ. Съ воспоминаніями объ этой прелестно-веселой и живой оперѣ неразлучно связано воспоминаніе о г-жѣ Віардо, которая первая насъ съ нею познакомила. Всѣ наши диллетанты, безъ сомнѣнія, помнятъ, съ какой кокетливою живостию она пѣла въ интродукціи музыкальную фразу на слова «D'elisir di si perfetto». Весь театръ бывало оживится, и казалось, поддѣваетъ увлекательной Адинѣ. Положительно можно сказать, что мало найдется комическихъ оперъ, которыя были бы написаны такъ удачно, какъ «Элексиръ»; тутъ каждая нота на своемъ мѣстѣ, и юморъ, веселость и даже вдохновеніе ни на минуту не покидаютъ композитора.

Послѣ интродукціи слѣдуетъ хорошо ритмованный маршъ, который удачно изображаетъ комическую и нѣсколько хвастливую важность сержанта Белькоре. — Тамбурины былъ неподражаемъ въ этой роли; какъ уморительно онъ командовалъ и распоряжался своими солдатами, въ трехугольных шляпахъ, надѣтыхъ на бекрень. — Белькоре высокаго мнѣнія о своей особѣ: онъ воображаетъ себя непобѣдимымъ завоевателемъ женскихъ сердець. — Невозможно вспомнить безъ смѣху, какъ Тамбурины бывало охорашивается, оправляется и воткнувъ въ дуло своего ружья огромный букетъ цвѣтовъ, подходитъ съ важностью къ Адинѣ, и дѣлаетъ передъ нею на караулъ. — Анданте, въ которомъ Белькоре, объявляетъ притязанія свои на сердце Адины, сравнивая самаго себя съ *прелестнымъ Парисомъ*, чрезвычайно забавно; слѣдующее за нимъ Allegro исполнено живости и огня — Віардо и Тамбурины щеголяли бывало другъ передъ другомъ въ этомъ Allegro, кто кого перемудритъ быстротою вокалізаціи.

Въ 1-мъ дуэтѣ Адины съ теноромъ замѣчательна весьма милая фраза «Per guarir da tal pazzia»; но чтобы оцѣнить ее нужно непременно исполненіе Віардо. — Послѣ дуэта слышны звуки немного осиплой трубы; народъ, привлекаемый любопытствомъ, показывается на сценѣ,

собирается толпами, и наконец, бѣжитъ навстрѣчу Дулькамары, который появляется на раззолоченой колесницѣ и со всѣми принадлежностями ярморочнаго шарлатана.—Конечно, кромѣ итальянца никому въ голову не придетъ написать арію, подобную аріи Дулькамары.—Шарлатанъ выхваляетъ свой элексирь, выдавая его за специфическое средство противу всѣхъ болѣзней и даже огорченій «Элексирь мой, говоритъ Дулькамаре, извѣстенъ всему міру и прочимъ неоткрытымъ еще странамъ; специфическое мое средство полезно: отъ веснушекъ, болѣзней печени, старости, водяной; оно отлично противу: мышей, клоповъ, таракановъ и устарѣлыхъ *сердечныхъ недуговъ*».—Арія эта, прекрасно написанная, съ совершенно итальянскою живостію, кончается вальсомъ, во время котораго зѣваки разбираютъ на расхватъ выхваленный элексирь Дулькамары.—Можетъ, многіе будутъ съ нами не согласны, но намъ кажется, что Роверо (прежній нашъ буфъ) удовлетворительнѣе Ронкони исполнялъ роль шарлатана.—Продолжительное пребываніе Ронкони въ Парижѣ офранцузило его нѣкоторымъ образомъ, а для роли Дулькамары необходимо быть итальянцемъ съ головы до ногъ.

Дуэтъ Дулькамары съ Неморино (теноромъ), который, желая склонить въ свою пользу непреклонную Адину, предметъ пылкой его страсти, покупаетъ у шарлатана бутылку элексира, также весьма хорошъ. Кстати, замѣтимъ здѣсь, что главное достоинство мелодіи этой оперы, состоитъ именно въ томъ, что онѣ не сжаты, не коротки и хорошо развиты, съ совершенною *логическою* послѣдовательностію.—Обратимъ, на примѣръ, вниманіе на 2-ю мелодію дуэта Неморино съ Дулькамаромъ «Ah! dottore vi do parola»; въ ней *сорокъ тактовъ*, и тутъ не безпрепятственное повтореніе одной и той-же фразы, а цѣлый рядъ музыкальных періодовъ, которые истекаютъ, такъ-сказать, одинъ изъ другаго, не отступая однакожь отъ основной мысли.—Вотъ что называется правильною и полною мелодіею.

Неморино, добывъ элексирь, который, по собственному сознанію, Дулькамары (сознаніе сдѣланное, разумѣется, à parte), ничто иное, какъ плохое вино, раскупориваетъ бутылку и выпиваетъ ее до послѣдней капли.—Благотворное дѣйствіе живительной влаги скоро дѣлается весьма очевиднымъ.—Неморино на-веселѣ и затягиваетъ удалую пѣсню; но онъ удивляется, что подъ вліяніемъ волшебнаго элексира, Адина не бросилась еще къ нему на шею, «Погоди, говоритъ онъ, жестокосердая! Вскорѣ и ты узнаешь пламенное чувство любви.»

Музыкальная фраза на слова «Esulti pur la barbara», весьма удачно и умно придумана.—Донизетти выразилъ въ ней восторженную самоувѣренность челоуѣка, которому и море по колено; и счумѣлъ между-

тѣмъ остался въ предѣлахъ легкой, комической музыки. — Финаль 1-го акта прекрасно и остроумно веденъ отъ начала до конца. — Адина, обиженная притворнымъ равнодушіемъ Неморино, соглашается выдти въ тотъ же день замужъ за сержанта Белькоре.

Бѣдный Неморино пугается не на шутку, и уговариваетъ свою возлюбленную подождать до слѣдующаго дня. — Ларгетто «Adina credimi tempo scongiuro», чрезвычайно мило. — Невозможно опять не вспомнить о неподражаемой игрѣ Тамбурины, когда онъ въ отвѣтъ на трогательную жалобу Неморино, грозно подходитъ къ несчастному влюбленному, и обѣщаетъ задушить его безъ дальнихъ околичностей, если онъ осмѣлится продолжать неумѣстныя объясненія въ любви съ будущею сержантшею. — Все это анданте въ которомъ участвуютъ и хоры, находящіеся на сценѣ, эффектно, хорошо развито, какъ въ мелодическомъ, такъ и въ гармоническомъ отношеніи. Финаль оканчивается увлекательнымъ вальсомъ, который тутъ совершенно у мѣста. — Белькоре торжествуетъ свою побѣду надъ сердцемъ Адины, кромѣ Неморино всѣ веселятся, пляшутъ и смѣются надъ комическимъ отчаяніемъ влюбленнаго, который не можетъ понять, отчего волшебный элексиръ не выказалъ никакого вліянія на сердце Адины.

Второй актъ начинается, веселымъ хоромъ; сержантъ празднуетъ сговоръ свой съ Адиной. Баркарола въ два голоса «Io son ricco tu sei bella» извѣстна всѣмъ и каждому. Между-тѣмъ, бѣдный Неморино въ отчаяньи; не зная, какъ помочь своему горю, онъ ищетъ вездѣ шарлатана; найдя его за ужиномъ, онъ приходитъ въ бѣшенство и укоряетъ его въ обманѣ. — Дулькамара увѣряетъ, что одинъ приемъ элексира не достаточенъ для полного дѣйствія, и совѣтуетъ повторить; но къ сожалѣнію, у Неморино нѣтъ денегъ, а безъ червонца Дулькамара не отдаетъ бутылки краснаго вина, которую онъ тутъ-же ловко схватилъ со стола и упряталъ въ бездонный карманъ своего камзола. Какъ ни умоляетъ Неморино шарлатана, все тщетно; Дулькамара удаляется, подтвердивъ, что въ кредитъ онъ никогда не отпускаетъ свой волшебный элексиръ. — Неморино плачетъ, рветъ на себѣ волосы, и въ этомъ пріятномъ занятіи застаетъ его Белькоре. — На вопросъ, зачѣмъ онъ предается такому отчаянью? Неморино отвѣчаетъ, что у него нѣтъ денегъ.

«Горю твоему легко помочь, замѣчаетъ Белькоре: запишись солдатомъ въ нашъ полкъ, и я тебѣ сейчасъ-же отсчитаю 30 скудій.» Неморино немного колеблется, но такъ-какъ восторжествовать надъ равнодушіемъ Адины онъ иначе не надѣется, какъ посредствомъ волшебнаго элексира, то рѣшается на самопожертвованіе и принимаетъ предложеніе хитраго сержанта. — Это подаетъ поводъ къ прекрасному Лар-

гетто «ai perigli della guerra», мелодическое развитие которого достоинственно особеннаго вниманія.

Отвѣтъ Белькоре, двувязными нотами и стакато совершенно различенъ отъ первой фразы и какъ нельзя лучше отбѣняется на плавной мелодіи тенора.—Это называется контрапунктическимъ *ресурсомъ*, и весьма удобно для произведенія контраста и разнообразія, не нарушая единства основной мелодіи.—Аллегро этого дуэта, Тамбурины, не знаю почему, превращалъ въ арію.

Хотя подобнаго самоволія гг. артистовъ ни въ какомъ случаѣ не должно бы было допускать, но Тамбурины заглаживалъ вину такими необычайными, быстрыми и совершенными вокализациями, что никому и въ голову не приходило упрекнуть его за самовольное обращеніе дуэта въ арію.

Послѣ дуэта слѣдуетъ весьма граціозный женскій хоръ.—Разнесся слухъ, что Неморину досталось большое состояніе по наслѣдству, и разумѣется, подобное извѣстіе всполошило все женское населеніе деревни, въ которой проживаетъ богатый наслѣдникъ.—Дѣвушки невѣсты перессорились между собою, и каждая изъ нихъ намѣревается завладѣть и сердцемъ и состояніемъ разбогатѣвшаго Неморино.—Весь этотъ хоръ, повторяемъ мы, очень милъ и граціозенъ.—Между-тѣмъ, Неморино, получивъ деньги отъ сержанта, за свое завербованіе, поспѣшилъ добыть себѣ драгоценный элексиръ.—Съ появленіемъ Неморино на сцену, дѣвушки его окружаютъ, любезничаютъ съ нимъ, строятъ ему глазки; обращеніе ихъ Неморино приписываетъ дѣйствию элексира, не зная еще, вѣроятно, о доставшемся ему наслѣдствѣ.—На сцену приходитъ также Адина, которая, узнавъ отъ сержанта о самопожертвованіи Неморино, изъ любви къ ней, смотритъ на него нѣжно и съ участіемъ.—Неморино въ восторгѣ! Онъ теперь не сомнѣвается въ волшебномъ дѣйствіи элексира, и чтобы нѣсколько отмстить Адинѣ за претерѣнныя имъ страданія, удаляется, сопровождаемый всеми дѣвушками невѣстами, которыя гурьбой бѣгутъ за нимъ.

Адина не можетъ понять, чему Неморино такъ радуется и обращается съ вопросомъ къ Дулькамарѣ, который ей объясняетъ, что всему причиною волшебное дѣйствіе его элексира.—Адина, разумѣется, не вѣритъ шарлатану, и невольно вздыхаетъ, помышляя о непостижимомъ равнодушіи Неморино.—Дулькамара, замѣтивъ задумчивость прелестной дѣвушки, предлагаетъ ей свой элексиръ.—Адина смѣется, и отвѣчаетъ, что она въ немъ не нуждается, и что самый дѣйствительный элексиръ заключается въ женской улыбкѣ, въ мимолетномъ взорѣ, въ ласковомъ словѣ, сказанномъ кстати, и прочее.—Все это, конечно пред-

ставляется въ *лицахъ* во-время дуэта, и приводитъ въ восторгъ, какъ самаго Дулькамару, такъ и всю публику. — Мнѣ помнится, что въ одно изъ представлений, г-жу Виардо заставили повторить три раза *allegro* «*una tepega ochiatina*». И дѣйствительно, весь этотъ дуэтъ весьма мелодиченъ и оживленъ до крайности. — По удаленіи Адины и Дулькамара, на сцену приходитъ Неморино. — Онъ грустенъ и задумчивъ! Онъ замѣтилъ, что Адина огорчилась его притворнымъ равнодушіемъ.

Романсъ «*Una furtiva lagrime*» очень хорошенькая и нѣжная мелодія. — Наконецъ, все дѣло объясняется; Адина выкупаеъ изъ рекрутовъ Неморино, и соглашается выдти за него замужъ. — Последняя арія единственный слабый номеръ во всей оперѣ, и Виардо замѣняла ее арією сочиненія Беріо.

Мы съ намѣреніемъ разобрали въ подробности «*Любовный напитокъ*», потому что въ этой оперѣ, кромѣ последней аріи, нѣтъ ни одной посредственной пьесы; рѣшительно каждая замѣчательна, какъ по мелодическому своему достоинству, такъ и по обработкѣ, и въ-особенности, по своему характеру такъ-называемой комической музыки. — Опера эта написана въ 1833 году, и мнѣ довелось быть въ Римѣ въ то время, какъ Доницетти сочинялъ ее. — Познакомившись съ Доницетти, я бывалъ у него часто, и нерѣдко присутствовалъ при его работѣ. — Изумительно, какъ легко и скоро онъ писалъ свою музыку! Финалъ, напримѣръ, 1-го акта, въ которомъ около 85 партитурныхъ страницъ и множество голосовъ, онъ написалъ съ не большимъ въ два дня!! — Должно замѣтить однако-жъ, что Доницетти не инструментовалъ вполне всей партитуры, онъ писалъ весь оркестръ только въ главнѣйшихъ и самыхъ интересныхъ мѣстахъ; въ остальныхъ онъ только писалъ басъ, отмѣчалъ кой-гдѣ гармонію и входы духовыхъ, или мѣдныхъ инструментовъ, затѣмъ онъ предоставлялъ партитуру помощнику, который пополнялъ ее окончательно. — Неменѣе того, кажется почти невозможнымъ написать и обдумать въ два дня 85 страницъ довольно сложнаго финала. — Доницетти болѣе всего оставался доволенъ арією Дулькамары (странныя бывають предпочтенія у гг. композиторовъ), и неоднократно пѣвалъ мнѣ ее съ удивительнымъ юморомъ и искусствомъ.

Въ 1840 году, Доницетти возвратился въ Парижъ, и въ короткое время поставилъ три оперы; одну небольшую «*La fille du régiment*», и двѣ оперы, въ 4 акта каждая, «*Les martyrs*» и «*La favorite*».

Всѣ три написаны на французскія слова. «*Дочь долка*», довольно миленькая опера, но по правдѣ сказать, не имѣетъ большаго достоинства, однако же неменѣе того, она имѣла во всей Европѣ огромный успѣхъ, по милости Женци Ливдъ, которая полюбила эту легкую и игривую

музыку, и пѣла ее превосходно. — «Les martyres» — намъ весьма мало извѣстная опера; впрочемъ она не совсѣмъ удалась композитору, и въ Парижѣ, даже несмотря на усилія тогдашняго любимца публики, тенора Нурри, не имѣла успѣха. — «La favorite» гораздо удачнѣе; мы слышали ее нѣсколько разъ въ Петербургѣ, и кажется эта опера понравилась нашей публикѣ; но мы, однако-же, полагаемъ, что кромѣ двухъ небольшихъ, но прекрасныхъ романсовъ и одного дуэта (финальнаго), остальные нумера не заслуживаютъ особеннаго вниманія.

Въ 1842 году, Донизетти написалъ для вѣнскаго итальянскаго театра «Linda de Chamouni», которая также у насъ весьма извѣтна. Въ этой оперѣ есть финалъ прекрасной фактуры, два весьма замѣчательные романса для контральто и дуэтъ сопрано съ басомъ, въ которомъ отлично противопоставлены драматическое пѣніе «Линды» и комическій характеръ маркиза.

Въ 1843 году, Донизетти возвратился въ Парижъ, и по словамъ г. Скудо, въ восемь дней (?) написалъ оперу Донъ-Пасквале, въ которой, какъ извѣстно, три акта, и довольно значительные. — Мудрено что-то!! По этому случаю, г. Скудо приводитъ даже слѣдующій анекдотъ, за достовѣрность коего, впрочемъ, также не ручаемся. *Говорятъ*», что Донизетти упоминая о томъ, что Россіи употребилъ 15 дней для сочиненія «Севильскаго цирюльника», пожималъ плечами, приговаривая: Я этому не удивляюсь! Россіи такъ лѣнив!»

Разсказъ *объ восьми-дневномъ* трудѣ тѣмъ болѣе невѣроятенъ, что «Don Pasquale» вовсе не дюжинная опера, а весьма замѣчательное и тщательно обработанное произведеніе. Конечно, по вдохновенію и такъ-сказать итальянской живости эта опера должна уступить первенство «Любовному напитку»; однако-жь, въ ней много прекраснѣйшихъ нумеровъ; — какъ напримѣръ: дуэтъ перваго акта, въ которомъ докторъ сговаривается съ Норинуо, какъ провести старика Донъ-Пасквале, и заставить его согласиться на женитьбу племянника.

Послѣдняя кабалета немного бравурна; въ ней скорѣе *рыцарскій*, чѣмъ кокетливый характеръ, — но не менѣе того дуэтъ этотъ, безспорно, хорошъ и весьма эффектенъ.

Во второмъ актѣ вся сцена мнимой свадьбы облумана и ведена прекрасно; — квартетъ, въ которомъ находятся одна, или двѣ фразы, принадлежащія болѣе къ роду серьезной, драматической музыки, — прекрасно написанъ и интересно гармонированъ. Въ третьемъ актѣ дуэтъ — ссора Донъ-Пасквале съ Норинуо — безподобенъ; далѣе дуэтъ съ докторомъ, оканчивающійся изумительною Чимарозовскою скороговоркою, превосходенъ; — потомъ серенада, финальная арія и проч. и проч. Невозможно, повторимъ мы, и

физически и морально невозможно написать столько музыки, и музыки, которую конечно нельзя назвать посредственною, въ-теченіе восьми дней. Жаль, что намъ не удалось слышать г-жу Віардо и Лаблаша въ этой оперѣ вмѣстѣ; всё помнить, какъ Віардо была очаровательна въ роль Норины; а Лаблашъ, для котораго роль Донъ-Пасквале и написана, въ ней неподражаемъ. Замѣтимъ также, что Тамбурина въ роль доктора былъ совершеннѣе Ронкони. Въ этой партіи есть множество вокализаций, которыя собственно были написаны для гибкаго и до крайности обработаннаго голоса Тамбурины; — Ронкони принужденъ ихъ передѣлывать на свой ладъ, а подобныя передѣлки въ музыкѣ никогда къ добру не ведутъ.

Вскорѣ послѣ постановки «Don-Pasquale» Доницети написалъ для Французской Оперы огромную партію «Don-Sebastian». Г. Скудо увѣряетъ, что онъ написалъ эту длинную, пятиактную оперу не болѣе, какъ въ два мѣсяца. Дирекція Большой Оперы (du Grande Opera) нуждалась въ новомъ произведеніи, и торопила маэстро до крайности.

Слѣдственный, непосильной трудъ разстроилъ здоровье композитора. Говорятъ, что выходя изъ послѣдней репетиціи «Дона-Себастьяна», онъ сказалъ одному изъ своихъ пріятелей: «Плохо мнѣ приходится, «Don-Sebastian» меня убиваетъ». Дѣйствительно, съ-тѣхъ-поръ здоровье даровитаго маэстро все болѣе и болѣе разстроивалось, и вскорѣ показались несомнѣнные признаки сумасшествія! Пять лѣтъ еще послѣ того Доницетти влачили несчастную жизнь, представляя многочисленнымъ друзьямъ и поклонникамъ своего таланта печальное зрѣлище потушаго вдохновенія и разума; и наконецъ, 4-го апрѣля 1848 года, пораженный параличемъ, скончался на родинѣ своей, въ Бергамо.

При внимательномъ изученіи произведеній Доницетти, приходитъ на умъ затруднительный вопросъ: можетъ-ли не самобытный музыкальный талантъ быть однако же *геніальнымъ*? — Чтобы отвѣчать на это, возьмемъ изъ безчисленныхъ опредѣленій слова *геній* самое короткое и удобопонятное: «Геній создаетъ, или, усвоивъ себѣ избранный имъ предметъ, проникаетъ его собственнымъ творчествомъ и придаетъ ему одушевленіе и жизненность.» По этому опредѣленію самобытность, кажется, составляетъ необходимое условіе геніальности; — потому-что *создать*, или проникнуть предметъ собственнымъ *творчествомъ* почти одно и тоже. Однако же говоря собственно объ искусствахъ, между первымъ и вторымъ предложеніями есть разница. Въ другихъ отрасляхъ человѣческихъ познаній неперемѣнное условіе *геніальности* изобрѣтать и создавать. Геній открываетъ законы тяготѣнія, изобрѣтаетъ порохъ, книгопечатаніе, примѣняетъ къ жизненнымъ потребностямъ силу паровъ, быстроту движенія электричества, и проч. и проч. Въ искусствахъ и въ

особенности въ музыкѣ * новое начало создать нынѣ почти невозможно. Конечно можно еще увеличить звучность, изобрѣсти новые инструменты; звуки отъ этого могутъ успѣться, но въ *сущности* не измѣнятся.

Выраженіе музыкальныхъ мыслей имѣть непреодолимыя границы! Безпредѣльность и могущество выраженной предоставлено *слову!* — Невозможно, напримѣръ, музыкаю выразить подобную мысль: *солнце не вращается вокругъ земли!* и однимъ выраженіемъ измѣнить вѣковыя вѣрованія! — Музыка возвышаетъ наши чувства, приводитъ въ восторгъ — но лишена возможности озарить міръ лучезарною, общепольною мыслию! — Вотъ почему мы полагаемъ, что въ искусствахъ вообще и въ музыкѣ въ особенности опредѣленіе геніальности затруднительнѣе, чѣмъ въ прочихъ отрасляхъ человѣческихъ позваній. Однакоже никто не усомнится признать за музыкальныхъ геніевъ напримѣръ: Гайдна, Глюка, Моцарта, Бетховена, Россини. Но почему именно, немногіе съумѣютъ объяснить! — Всякой, напротивъ, скажетъ безъ малѣйшаго затрудненія, что Ньютонъ напримѣръ былъ геніальный человѣкъ, потому-что открылъ законы тяготѣнія, Шварцъ потому-что выдумалъ порохъ, Гуттенбергъ — книгопечатаніе и проч. — За геніальнаго музыканта можно признать во-первыхъ того, который, измѣнивъ и дополнивъ нѣкоторыя музыкальныя формы, усовершенствуетъ, или подвинетъ впередъ какую-нибудь изъ музыкальныхъ отраслей, какъ, напримѣръ, сдѣлали это для симфоническаго рода: Гайднъ, *Моцартъ*, Бетховенъ; для драматическаго: Скарлатти, Глюкъ, Мейерберъ, *Моцартъ* и проч.; во-вторыхъ, того, который одаренъ изобильнымъ источникомъ мелодическихъ вдохновеній, какъ напримѣръ Чимароза, *Моцартъ*, Россини и проч.; наконецъ въ-третьихъ, того, который, не имѣя самобытнаго таланта, хотя и не подвигаетъ впередъ искусства, но изобиліемъ и изяществомъ своихъ произведеній составляетъ однако же эпоху въ исторіи музыки.

Донизетти безспорно принадлежитъ къ третьей категоріи геніальныхъ музыкантовъ. Сначала онъ подражалъ Россини, потомъ Беллини, наконецъ пытался соединить блистательный родъ музыки перваго съ элегическимъ втораго. Нельзя именно указать источникъ, изъ котораго Дони-

* Мы говоримъ «въ особенности въ музыкѣ», потому-что въ живописи изобрѣтеніе дагерротипа, или участіе свѣта въ воспроизведеніи предметовъ, можетъ произвести огромный переворотъ, и положить, такъ-сказать, новое начало; въ скульптурѣ изобрѣтеніе физионотипа также можетъ имѣть важныя послѣдствія; но въ музыкѣ никакая переи́мѣна гаммы, будь она вновь іоническая, дорическая, пожалуй *китайская*, никакая гамма, повторяемъ, не можетъ сдѣлать совершенный переворотъ въ способѣ изложенія музыкальныхъ мыслей. Монтеверде, возразятъ намъ, ввелъ употребленіе септими, и въ-слѣдствіе того диссоансъ въ гармонію: но онъ тѣмъ украсилъ только гармонію, а не далъ новаго способа выражать *мысль мелодическую*.

зетти почерпалъ музыкальныя свои мысли; но онѣ, несмотря на ихъ изящество, округленность, имѣютъ какую-то неопредѣленность въ очеркѣ, несомнѣнно доказывающую ихъ несамобытность.

Изъ итальянскихъ композиторовъ послѣднихъ временъ, *Россини* положилъ основаніе руданному и блистательному роду музыки, и имѣлъ толпы подражателей. *Беллини* избралъ элегическій родъ и навремя сдѣлалъ совершенный переворотъ въ музыкальномъ вкусѣ Италіи; подражателей у Беллини было немного, потому-что вскорѣ появился шумный *Верди*, и увлекъ за собою, какъ толпы подражателей, такъ и толпы народныхъ, жаждущія всегда новыхъ впечатлѣній. Каждый изъ трехъ названныхъ нами итальянскихъ композиторовъ имѣетъ передъ Донизетти преимущество самостоятельности, но не менѣе того Донизетти нельзя не признать за гениальнаго музыканта, по изобилію и изяществу его произведеній, хотя подражателей у него не было, да и быть не могло.

Въ численіи различныхъ категорій музыкальной гениальности, мы три раза упомянули великое имя Моцарта; — и дѣйствительно, въ области музыки онъ всеобъемлющій гений. Нѣтъ отрасли музыкальнаго искусства, въ которой онъ не достигъ-бы высочайшей степени. Квартеты, симфоніи, духовная и драматическая музыка лились рѣкой изъ-подъ вдохновеннаго его пера.

Отчего же *статистическій* обзоръ прошлаго сезона показываетъ намъ, что безсмертное твореніе его «Донъ-Жуанъ» исполнено было только четыре раза? — Неужели эта опера подверглась участи многихъ другихъ оперъ? Неужели она могла устарѣть?! Положительно — нѣтъ! Отвѣтимъ съ полною увѣренностію, но для большаго объясненія приведемъ разговоръ, который мы имѣли въ одно изъ послѣднихъ представленій «Донъ-Жуана».

Послѣ дивно-живописнаго финала перваго акта, прослушаннаго мною по обыкновенію съ глубокимъ, восторженнымъ вниманіемъ, я вышелъ въ фойе, чтобы подышать менѣе душнымъ воздухомъ и посмотреть вблизи на впечатлѣніе, производимое безсмертнымъ твореніемъ Моцарта. Въ залахъ, по которымъ публика прохаживается во-время антрактовъ, удобнѣе можно подмѣтить ощущенія и вслушаться въ разнородныя толки. Въ залахъ любители, если не совѣмъ снимаютъ маску дилеттантства, скрывающую ихъ лица во-время представленія, то по-крайней-мѣрѣ слегка ее приподнимаютъ.

Войдя въ залу, я встрѣтилъ одного изъ извѣстнѣйшихъ нашихъ любителей, un charmant chanteur de salon, какъ говорятъ французы. В... казался разстроеннымъ; волосы его, обыкновенно причесанные съ большимъ искусствомъ, были въ безпорядкѣ, лицо блѣдно. «Что съ тобою?

спросилъ я его съ участіемъ. В... таинственно отвелъ меня въ сторону, къ окошку, съ безпокойствомъ окинулъ взглядомъ проходящихъ, и удостовѣрившись, что никто насъ не подслушиваетъ, сказалъ мнѣ въ-полголоса: «Ты, надѣюсь, не сомнѣваешься, что я страстно люблю музыку, и даже могу смѣло сказать, умѣю понимать и цѣнить ее! Вообрази-же мой ужасъ! мое отчаянье! Вотъ уже лѣтъ пять, какъ я не слышалъ «Донъ-Жуана», и въ нынѣшнее представленіе, по непонятному и горестному для меня чувству — остаюсь совершенно равнодушнымъ къ образцовому творенію Моцарта! Отчего-бы это могло быть? Неужели «Донъ-Жуанъ» обветшалъ! устарѣлъ?! Неужели эта опера не соответствуетъ болѣе потребностямъ музыкальнаго нашего вкуса?!...

— Укроти потокъ твоихъ рѣчей, о, истый пѣвецъ новѣйшей музыки, сказалъ я, прерывая В***. Во-первыхъ, увѣренъ-ли ты хорошо, что ты дѣйствительно любишь музыку, а не *ритмъ* и нѣкоторыя условныя формы, которыя для болѣе части любителей представляютъ музыкальныя достоинства? Во-вторыхъ, полно помнишь-ли ты прежнія свои впечатлѣнія, и можешь-ли утвердительно сказать, что пять лѣтъ тому назадъ, ты вполне оцѣнилъ твореніе Моцарта? В***, кажется, немного обидѣлся и отвѣчалъ мнѣ опять въ-полголоса, озираясь кругомъ:

— Пожалуйста, не говори такъ громко, насъ могутъ слышать!» В*** очевидно боялся уронить себя въ общественномъ мнѣніи, повѣряя мнѣ свое равнодушіе къ классическому произведенію. Странное существо свѣтскій человѣкъ! Самыя возвышенныя чувства онъ взвѣшиваетъ на вѣсахъ моды! Начавъ неосторожно разговоръ, В*** не зналъ, какъ отретироваться.

— Я не понимаю, отчего ты сомнѣваешься въ истинной моей любви къ музыкѣ?! Я знаю наизусть весь репертуаръ нашей оперы, отъ «Эрнани» до «Гвельфовъ и Гибеллиновъ» включительно, и кажется умѣю цѣнить достойное, исполняя самъ во всѣхъ *салонныхъ* концертахъ болѣешую часть арій и дуэтовъ изъ этихъ оперъ. Я и теперь, пожалуй не прочь спѣть: «La cidagem la mano», но согласись, что арію Лепорелло, «Madamina il catalogo é questo» — неловко какъ-то пѣть въ гостиной, и что, напримѣръ, коротенькій терцетъ дуэли: «Ah! soccorso! скорѣй наведетъ уныніе, чѣмъ доставитъ удовольствіе!

— Ты, нехотя, любезнѣйшій дилеттантъ, отвѣчалъ я, улыбаясь, сдѣлалъ величайшій панегирикъ осуждаемому тобою произведенію. «La cidagem la mano» всегда и вездѣ будутъ слушать съ удовольствіемъ, потому-что въ этомъ дуэтѣ Моцартъ неподражаемо выразилъ всемірное, вѣчно юное, всемъ доступное чувство страстной любви. Арію Лепорелло и не слѣдуетъ пѣть въ гостиной, потому-что въ устахъ Лепорелло, грубаго наперсника лю-

бовныхъ походовъ Донъ-Жуана, арія эта чрезвычайно умѣстна, а переданная *салоннымъ* пѣвцомъ будетъ неприлична. Что-же касается до *коротенькаго* терцета—который между прочимъ не можетъ и не долженъ быть *длиннее*, въ слѣдствіе положеній дѣйствующихъ лицъ,—то повѣрь, что Моцартъ и желалъ возбудить глубокое, горестное чувство, и вовсе не помышлялъ о доставленіи какого-либо *удовольствія* слушателямъ. Судить о Донъ-Жуанѣ, какъ объ обыкновенной оперѣ нельзя! Образцовое произведение Моцарта пѣлая поэма жизни (если возможно такъ выразиться). Въ ней каждое дѣйствующее лицо первобразъ (prototype), характеризующій какую-нибудь изъ человѣческихъ личностей (individualité). До Моцарта, ни одинъ еще композиторъ не расширилъ до такой степени, какъ онъ, способы *музыкальныхъ выраженій*, онъ почти возвысилъ звуки до *могущества слова*, потому что въ Донъ-Жуанѣ всѣ характеры твердо очертаны единственно одною музыкою. Невозможно не отличить музыкальной фразы, напримѣръ, Лепорелло отъ фразы Командора, или Донъ-Жуана; мелодіи граціозной Церлины никакъ не могутъ быть смѣшаны съ пѣніемъ величественной Донны-Анны. Скудо, разсматривая съ философской точки колоссальное твореніе Моцарта, выразился весьма вѣрно и удачно: «Фаустъ и Донъ-Жуанъ, говоритъ онъ, представляютъ два крайніе типа заносчиваго честолюбія; и тотъ и другой живое выраженіе заблужденій человѣческой природы. Фаустъ ищетъ счастья лишь въ развитіи умственныхъ способностей, онъ жаждетъ проникнуть мыслию въ сокровеннѣйшія тайны мірозданія... и разумъ его колеблется, теряетъ силу! Донъ-Жуанъ, напротивъ, погружается совершенно въ чувственные наслажденія... и содѣлывается въ цвѣтущихъ годахъ жизни жертвою ненасытныхъ страстей. И Фаустъ, и Донъ-Жуанъ жаждутъ неистощимыхъ ощущеній и удовольствій, одинъ отвлеченныхъ, другой матеріальныхъ, и оба погибаютъ! Имъ не удается вкусить истиннаго счастья, потому—что оба они преступили непреложные законы Божіи, возмечтали расширить предѣлы, назначенные смертнымъ, и забыли, что человѣческій разумъ оплодотворяется возвышеннымъ чувствомъ любви».

Вокругъ Донъ-Жуана, этого олицетворенія матеріализма, группируются почти всѣ степени и оттѣнки человѣческихъ помысловъ и чувствъ. Очеркъ Донны-Анны представляетъ возвышенныя чувства, праведную месть за смерть отца, ненависть къ пороку! Въ Доннѣ-Эльвирѣ изображенъ типъ, столь часто встрѣчающійся въ жизни, типъ женщины страстной и слабой, ревнивой и вмѣстѣ съ тѣмъ легковѣрной; женщины, которая ни своего счастья не можетъ упрочить, ни составить счастья другаго. Церлина милое, граціозное созданіе, типъ невинной, любящей дѣвушки; но которая изъ легкомыслія, любопытства и частію изъ природнаго

кокетства, едва не погибаетъ отъ бурнаго прикосновенія страстнаго Донъ-Жуана.

Каждый изъ этихъ характеровъ, повторяю, вѣрно и сильно обрисованъ музыкально; попробуйте переставить слова, подпишите подъ мелодію: «Batti, batti bel Masetto», фразу Донны-Анны: «non sperar se non m'uccidi», и вы не узнаете оперы — яркія краски величественной этой музыкальной картины поблѣднѣютъ и утратятся...

Я такъ увлекся колоссальнымъ предметомъ моего вѣтійства, что почти забылъ, въ какомъ мѣстѣ я ораторствую и съ кѣмъ я говорю. Замѣтивъ наконецъ, что залы начинаютъ пустѣть, я жалился надъ своимъ собесѣдникомъ: «Извини меня за мое разглагольствіе, любезнѣйшій другъ, сказалъ я В***, но ты задѣлъ меня за живое; послушайся моего добраго совѣта, и возвратись домой, прочти со вниманіемъ краснорѣчивое и глубоко-мысленное описаніе Донъ-Жуана въ біографіи Моцарта г. Улыбышева.

Должно отдать полную справедливость В***, онъ выслушалъ меня терпѣливо и даже съ лестнымъ для меня вниманіемъ. «Ты, вѣроятно, правъ, сказалъ онъ, пожимая мнѣ руку, но если Донъ-Жуанъ такое совершеннѣйшее музыкальное произведеніе, то отчего-же многіе слушаютъ его съ очевиднымъ равнодушіемъ?»

— На это есть тысячи причинъ! Неужели ты полагаешь, что изъ миліона людей, ходившихъ глазѣть на дрезденскую Мадонну-Рафаэля, многіе поняли, въ чемъ именно заключается идеальная прелесть этой картины? А въ живописи идеаль понятъ легче, чѣмъ въ музыкѣ, потому-что красота совершенная весьма приближается къ идеалу;—но конечно весьма немногіе въ состояніи отличить божественную красоту Мадонны отъ земной. Вообще музыкальный нашъ вкусъ въ послѣднее время испортился и притупился отъ излишняго развитія и злоупотребленія звучности. Самый уже составъ оркестра въ Донъ-Жуанѣ нынѣ не удовлетворяетъ слухъ большинства публики; ухо привыкло къ турецкому барабану, къ офеклеидамъ, тромбонамъ; а въ партитурѣ Донъ-Жуана, тромбоны слышны только какъ грозный голосъ съ того свѣта; одному лишь призраку Командора, погибшему отъ преступной руки Донъ-Жуана, предоставлены грозящіе эти звуки. Къ-тому же публика наша привыкла къ нѣкоторымъ условленнымъ формуламъ, безъ которыхъ впечатлѣніе ея не полно. Въ Донъ-Жуанѣ она часто не знаетъ, напримѣръ, въ какомъ мѣстѣ ей можно аплодировать; для нея это какъ-то неловко, она воздерживается отъ рукоплесканій, и оттого часто кажется холодною, равнодушною. Въ интродукціи, напримѣръ, музыкальная фраза Лепорелло: «notte e giorno faticar» — безподобна; невозможно ничего придумать болѣе умѣстнаго, никакія выраженія не могутъ

быть приличіе для личности Лепорелло. Лаблашъ поетъ эту полукомическую жалобу лѣниваго и скучающаго слуги неподражаемо хорошо, а публики ему не аплодируетъ! Впрочемъ, по правдѣ сказать, и не можетъ аплодировать, потому-что Лепорелло едва кончаетъ свою фразу: «*non mi voglio far sentir*»—какъ характеръ музыки перемѣняется; волненіе, ужасъ выражаются въ оркестрѣ, и Дона-Анна тотчасъ появляется на сцену, преслѣдуя преступнаго Донъ-Жуана. Когда тутъ аплодировать Лепорелло? О немъ вовсе забываешь, слухъ и вниманіе прикованы къ величественной музыкальной фразѣ: «*non spregar se non m'uccidi*», въ которой весь драматическій характеръ Доны-Анны обрисованъ однимъ почеркомъ пера. Новѣйшій композиторъ заключилъ-бы арію Лепорелло какою-нибудь вычурною каденціею, разжидилъ-бы ее восьмью или даже шестнадцатью окончательными тактами, по извѣстнымъ и принятымъ формуламъ, и рукописанія посылались-бы градомъ на того-же самаго Лепорелло, который нынѣ смиренно удаляется, безъ малѣйшаго участія со стороны публики!

Не знаю, убѣдилъ ли я почтеннаго моего собесѣдника, но взоръ его прояснѣлъ, на блѣдныхъ щекахъ показалась краска, на губахъ улыбка, и даже, проходя мимо зеркала, В... поправилъ волосы и привелъ ихъ въ обычное живописное положеніе.

Въ дополненіе къ статистическимъ свѣдѣніямъ прошлаго сезона, намъ нынѣ остается поговорить объ артистахъ нашей итальянской оперы. Къ замѣчательнѣйшимъ явленіямъ прошлаго сезона принадлежать безспорно: нечаянный пріѣздъ г-жи Віардо и появленіе Лаблаша на нашей сценѣ; на этомъ основаніи мы начнемъ съ этихъ двухъ знаменитыхъ артистовъ, и выскажемъ о нихъ послѣднее наше мнѣніе.

Г-жа Віардо пріѣхала къ намъ только въ началѣ января мѣсяца (3-го января былъ первый ея дебютъ), и не менѣе того пѣла 25 разъ. Эти краснорѣчивыя цифры *положительно* и торжественно доказываютъ огромный успѣхъ знаменитой пѣвицы, потому-что отъ 3-го января до 3-го марта, т. е. до окончанія сезона, было дано включительно съ бенефисами, добавочнымъ абониментомъ и съ спектаклемъ для иностранцевъ, не болѣе 32 представленій. Слѣдовательно Віардо, съ своего пріѣзда въ Петербургъ не участвовала только въ семи представленіяхъ.

Нечего-сказать, чудное дѣло цифры! Прошу поспорить противъ ихъ выводовъ? Однакожъ, до пріѣзда г-жа Віардо носились неблагопріятные слухи объ ея голосѣ. Г. Скудо даже *довольно грозно* выразился въ одной изъ своихъ статей, утверждая, что голосъ ея попортился во *многихъ регистрахъ*, а ихъ всего только и можетъ быть три въ человѣческомъ голосѣ! Какъ видите, дѣло выходило серьезное! Но къ счастью, г. Скудо, какъ видно, обмолвился, потому-что нижнія и среднія ноты г-жи Віар-

до остались такими же прелестными, задушевными нотами, какъ и были прежде. Начиная съ верхняго *sol* до *ut*, дѣйствительно въ голосѣ г-жи Віардо замѣтна нѣкоторая переменна. Ноты эти она не *утратила вовсе*, какъ нѣкоторые утверждали, но онѣ сдѣлались рѣзче, *угловатѣе*, если дозволено будетъ такъ выразиться. Впрочемъ это, намъ кажется, неизбежное послѣдствіе огромнаго протяженія ея діапазона (въ прошлый сезонъ мы слышали нижній *fa dies* въ Сомнамбулѣ, и нерѣдко верхній *ut*); какъ хотите, чтобы тотъ, или другой регистръ голоса не потерялъ отъ такого протяженія.

Мы радуемся, что участь пала не на нижнія ноты г-жи Віардо, которая, какъ мы выразились, одарена необычайною, задушевною прелестью. Вокализація знаменитой пѣвицы осталась та же, если еще не усовершенствовалась. Невозможно ничего придумать быстрее, чище, поразительнѣе ея гаммъ и фіоритуръ. Безпристрастіе понуждаетъ насъ однакожь замѣтить, что *трель* ея показалась намъ нѣсколько слабѣе, чѣмъ бывало, но вѣроятно это зависитъ отъ того, что г-жѣ Віардо приходилось дѣлать ее на невыгодныхъ нотахъ ея голоса. Г-жа Віардо въ особенности была очаровательна въ роли Розины (въ Севильскомъ—Цирюльничкѣ) и драматически неподобна въ роли Фидесы (въ Осадѣ Гента).

Г. *Лаблашъ* заслуженный, маститый пѣвецъ; слава его началась въ 20-тыхъ годахъ текущаго столѣтія, на берегахъ Средиземнаго моря, оттуда распространилась на берега Сены, Темзы, и въ прошлый сезонъ утвердилась на великолѣпныхъ берегахъ Невы. (Для фельетона, какъ видите, и географическія свѣдѣнія необходимы). Миѣ довелось слышать Лаблаша въ Неаполѣ, въ 1832 году, въ роли Фигаро, Генриха VIII (въ Аннѣ Бoleйнъ) и Вильгельма—Теля, и я могу удостовѣрить, что голосъ его почти нисколько не пострадалъ отъ *тяжкаго бремени* годовъ. Діапазонъ его простирается отъ нижняго *fa* до верхняго, слѣдовательно, заключаетъ въ себѣ 2 октавы; нижнія его ноты однакоже гораздо слабѣе, чѣмъ среднія. Отъ *sol* между четвертой и пятой линіейкой, до *ge*, сила и металлическая, такъ сказать, звучность его голоса изумительны.

Въ самомъ большомъ фортиссимо всѣхъ оркестровыхъ массъ, голосъ его звучитъ и раздается; это происходитъ отъ необычайной полноты его тембра и отъ искуснаго способа изложенія голоса (*émission de la voix*). Произношеніе Лаблаша чисто, ясно и отчетливо; въ непостижимыхъ скороговоркахъ, которыя такъ часто попадаются въ комическихъ операхъ, у него слышно каждое слово. Отъ такого сильно-звучнаго голоса, какъ у Лаблаша, нельзя ожидать большой гибкости; но пассажи, которые онъ себѣ дозволяетъ, Лаблашъ дѣлаетъ хорошо; фразируетъ

онъ вообще отлично, и поетъ всегда безукоризненно, нѣжно, вѣрно. Прошлый сезонъ Лаблашъ игралъ предпочтительно комическія роли.

Въ Донъ-Пасквалѣ, въ Донъ-Маньфико, въ Бартоло, вездѣ онъ безподобенъ и забавенъ до крайности, собственно высокимъ комизмомъ своей игры, а не буфонскими фарсами. Насъ поразили въ особенности Лаблашъ въ Севильскомъ-Цирюльникѣ, потому—что онъ сѣумѣлъ придать второстепенной роли Бартоло особое, важное значеніе, и такъ заинтересовалъ публику своею игрою, что чуть ли не изгналъ Фигаро на второй планъ.

Въ серьезной роли мы видѣли Лаблаша прошлый годъ только въ «Пуританахъ» въ которой онъ прошѣлъ съ такою же силою, оглушительную кабалету дуэта «*Suoni la tromba intrepida*», какъ пѣвалъ, бывало, ее въ Парижѣ, въ 1835 году, и которая, по словамъ Россини, должна была раздаваться отъ береговъ Сены до Средиземнаго моря. Вообще Лаблашъ драгоценное пріобрѣтеніе для нашей Итальянской Оперы, и отнынѣ навсегда, «Севильскій-Цирюльникъ» и «Ченерентола» покажутся блѣдны и неполны безъ его содѣйствія.

Г. Маріо все тотъ же дивный, и кажется, вѣчно юный теноръ, какъ и бывало прежде; нѣжный, симпатическій, бархатный и вмѣстѣ съ тѣмъ звучный его голосъ попрежнему проникаетъ въ душу, а красивая, истинно эстетическая его наружность прельщаетъ взоръ. Мы замѣтили, что Маріо съ нѣкоторыхъ поръ весьма рѣдко прибѣгаетъ къ верхнимъ головнымъ нотамъ (*notes de fausset*), и вполне радуемся этому острацизму, основанному на собственномъ художническомъ сознаніи самого артиста. Самыя эффектныя ноты голоса Маріо верхнія *sol*, *la*, *si-bémol* и даже *si* (въ секстетѣ Гвельфовъ и Гибелиновъ); полнота и звучность этихъ нотъ постоянно производятъ на публику гальваническое дѣйствіе, въ особенности, когда Маріо не посягнетъ изложить ихъ во весь голосъ.

Тѣ же ноты знаменитый теноръ беретъ иногда полу—грудью (*mezzo petto*), и звуки эти выходятъ необыкновенно нѣжны и пріятны, но разумѣется, не могутъ производить потрясающее впечатлѣніе полного изложения. Маріо поетъ всю партію Альмавивы (въ Севильскомъ-Цирюльникѣ) этимъ способомъ; и по роду музыки и по самому характеру роли, тутъ эти звуки весьма уместны.

Произношеніе Маріо превосходно, онъ каждому слову даетъ настоящее, приличное ему выраженіе.

Рулады и прочія фіоритуры (кромя Севильскаго Цирюльника) онъ дѣлаетъ рѣдко, — но голосъ его гибокъ, и судя по образцамъ руладной вокализации, которыя Маріо выказываетъ иногда, можно смѣло сказать, что и этой части искусства пѣнія онъ вовсе не чуждъ.

Самыя лучшія роли его (въ прошлый сезонъ) какъ пѣвца въ операхъ: «Пуритане» и «Риголетто»; какъ драматическаго артиста въ операхъ: «Гвельфы и Гиббелины» и «Осада Гента».

Г-жа Медори обладаетъ прекраснымъ, звучнымъ сопрано; верхнія ея ноты замѣчательны мягкостью (*par la velouté*) и силою. Верхній ut она беретъ легко и свободно (какъ напримѣръ въ «Гвельфахъ и Гибеллинахъ» въ дуэтѣ съ Марселемъ, г-жа Медори держитъ ut 6 тактовъ, что до нея у насъ никакая пѣвица не дѣлала). Мы замѣтили съ удовольствіемъ, что въ роли Норины (въ *Донъ Пасквале*) она дѣлала трудные пассажи этой партіи очень удовлетворительно. Вообще, г-жа Медори уже по красотѣ своего голоса пѣвица замѣчательная; но къ сожалѣнію, пѣніе ея немного однообразно; каденцы она дѣлаетъ всегда одиѣ и тѣже, съ монотонной вибраціею на аподжіатурѣ и произноситъ слова весьма не ясно — что портитъ ея декламацию. Въ прошлый сезонъ роли, въ которыхъ г-жа Медори имѣла болѣе успѣха были: въ «*Донъ Пасквалѣ*» роль Норины и въ «Гвельфахъ» — роль Валентины.

Гжа Маррай милая, добросовѣтная пѣвица; голосъ ея (*soprano*) немного слабъ для нашего огромнаго театра, но чрезвычайно вѣренъ и пріятенъ. Рулады она дѣлаетъ чисто, фіоритуры ея граціозны и изящны; — ей можно бы, впрочемъ, посоветовать воздержаться нѣсколько отъ трели; она дѣлаетъ ее слишкомъ часто и не съ достаточнымъ совершенствомъ и звучностію, — достоинства, безъ которыхъ трель только голое *дребезжаніе*. Въ прошлый сезонъ г-жа Маррай болѣе всего имѣла успѣха, въ «Севильскомъ Цирюльникѣ», но съ пріѣздомъ кровной испанской Розины (г-жи Віардо) должна была, разумѣется, принести ей въ жертву свои минутныя лавры. Слѣдуетъ отдать полную справедливость скромной г-жѣ Маррай: она не завидывала, не унывала и неменѣе прочихъ восхищалась дивнымъ пѣніемъ знаменитой примадонны. Въ роли Берты, «въ *Осадѣ Гента*», г-жа Маррай была вполне удовлетворительна, и вообще можно утвердительно сказать, г-жа Маррай никакой роли не испортитъ и многія украситъ своимъ содѣйствіемъ.

Г-жа Демерикъ, увы! только тѣнь г-жи Демерикъ предыдущихъ сезоновъ. Контральтовыя ея ноты утратились отъ непомѣрнаго возвышенія діапазона, а сопранныя ноты, которыми она, кажется, щеголяетъ, не имѣютъ ни силы, ни серебристой звучности высокихъ сопранныхъ нотъ. Въ первые годы своего пребыванія у насъ, г-жа Демерикъ имѣла значительный и заслуженный успѣхъ, но въ послѣдній сезонъ даже въ роли пажа въ «Гвельфахъ» ей мало аплодировали. Весьма полезно было бы для молодой еще пѣвицы, оставить притязанія на необычайные

сопранные эффекты, и возвратиться къ прежнему пѣнію на нижнихъ и среднихъ нотахъ.

Г. Тамберликъ одинъ изъ немногихъ замѣчательнѣйшихъ современныхъ теноровъ. Діапазонъ его простирается до двухъ октавъ (отъ нижняго *ut dies* до верхняго); среднія его ноты довольно слабы, но отъ *fa dies* до *ut dies* весьма звучны. Качество его голоса болѣе гортанное, но фальцета онъ вовсе не употребляетъ, и хорошо дѣлаетъ во всякомъ случаѣ. Хотя вообще *г. Тамберликъ* нѣсколько холоденъ, но въ нѣкоторыхъ роляхъ, какъ на примѣръ въ «Отелло», звучностію и безукоризненною вѣрностію верхнихъ своихъ звуковъ увлекаетъ публику.

Г. Тамберликъ весьма замѣчателенъ въ роли Арнольда въ «Карлъ Смѣломъ». Дуэтъ и терцетъ 1-го акта исполняетъ онъ неподобно; но полное торжество его, нынѣ, какъ и прежде, въ роли «Отелло». Верхній его *ut dies*, въ дуэтѣ втораго акта, наполняетъ залу звукомъ и всегда приводитъ въ восторгъ слушателей.

Г. Ронкони принадлежитъ къ блистательной плеядѣ пѣвцовъ времени Рубини, Малибранъ, Тамбурины, Лаблаша и пр. При первомъ его у насъ появленіи, талантомъ своимъ онъ приобрѣлъ много поклонниковъ, которые и до-сихъ-поръ остаются вѣрными и горячими его приверженцами. Мы нѣсколько затрудняемся опредѣлить, чѣмъ болѣе Ронкони обязанъ своему успѣху: драматическому ли своему таланту, или искусству пѣвца? Голосъ *г. Ронкони* нельзя назвать пріятнымъ и еще менѣе прекраснымъ. Нижніе его звуки слабы, а верхніе рѣзки и не всегда безукоризненной вѣрности, въ особенности въ *сложныхъ бемольныхъ тонахъ*; это послѣднее обстоятельство, между-прочимъ, насъ удивляетъ, и сколько припомнимъ, въ первый разъ встрѣчается намъ въ пѣніи, потому-что человѣческій голосъ, не встрѣчая затрудненій прочихъ *инструментовъ* въ менѣе, или болѣе бемолей, или діезовъ въ ключѣ, не долженъ бы, казалось, вовсе ими затрудняться. Голосъ *г. Ронкони*, безспорно, имѣетъ нѣкоторую гибкость (*flexibilité*), но Ронкони замѣняетъ, болѣею частью, обычныя рулады и гамы украшеніями его собственнаго изобрѣтенія, которыя, конечно, не лишены прелести и интереса, но слишкомъ уже часто повторяются въ одномъ и томъ же видѣ, и, такъ-сказать, предугадываются заранѣе. Какъ драматическій артистъ, Ронкони неподобенъ и, можно сказать, до крайности разнообразенъ. Въ роли герцога въ оперѣ Донизетти «*Marie de Rohan*» онъ приводитъ въ трепетъ слушателей выразительной своей игрой, а въ Дандини, въ «Ченерентолѣ», онъ смѣшитъ до упаду забавно лакейскими своими выходками. Въ роли Риголетто, какъ актеръ, Ронкони также удивительно хорошъ; — сцена во второмъ актѣ, когда онъ отыскиваетъ похищенную у него дочь, надолго не из-

глядится изъ памяти; полишинельной пѣснѣ, которую напѣваетъ бѣдный Риголетто, чтобы скрыть отъ придворныхъ свое душевное волненіе, Ронкони сумѣлъ придать такое глубокое, раздирающее выраженіе, что слушая его, невольно наворачиваются слезы и сердце сжимается. Г. Ронкони вообще драгоцѣнный артистъ, которымъ слѣдуетъ дорожить; — но намъ кажется, что драматическій его талантъ несравненно выше его пѣнія.

Г. *Дебассини* обладаетъ счастливою наружностію и хорошимъ голосомъ (баритономъ). Къ сожалѣнію, господствующій вкусъ въ Италіи къ Вердѣевской музыкѣ повредилъ нѣсколько правильности и методѣ изложенія голоса г. Дебассини. Слишкомъ высокія партіи вынуждаютъ баритоновъ дѣлаться почти *тенорами*, отчего происходитъ неестественное изложеніе звука. Пѣть грудью, при безпрестанномъ употребленіи *fa* и *sol*, баритону физически невозможно! — (въ финалѣ Двухъ Фоскари мы слышали даже *sol dies!!*) Г. Дебассини поетъ хорошо и вѣрно, и хотя игра его нѣсколько холодна и принужденна, но въ нѣкоторыхъ операхъ, какъ напримѣръ въ «Эрнани», онъ доставляетъ большое удовольствіе и нравится публикѣ.

Г. *Стекки-Ботарди*, второй теноръ, имѣетъ пріятный и вѣрный голосъ. Въ оперѣ «Донъ-Пасквале» г. Стекки-Ботарди поетъ весьма недурно, а въ «Осадѣ Гента» совершенно удовлетворительно. Для второго тенора лучшаго артиста и желать нельзя.

Г. *Тальяфико* обладаетъ и французскимъ голосомъ и французскою интонаціею; для второстепенныхъ ролей, которыя онъ обыкновенно исполняетъ, онъ не имѣетъ себѣ подобнаго въ нашей итальянской труппѣ, потому-что играетъ всегда хорошо, группируется и одѣвается отлично и прилѣжно изучаетъ вѣренныя ему партіи.

Г. Тальяфико въ особенности хорошъ въ роли Донъ-Базиліо, въ «Севильскомъ Цирюльникѣ» и въ роли графа де-Немуръ, въ «Гвельфахъ».

Г. *Полонини* удовлетворителенъ въ бѣльшей части ролей, ему предоставленныхъ; голосъ его (баритонъ) пріятенъ и довольно вѣренъ.

РОСТИСЛАВЪ.

II.

РУССКІЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

НЕ ВЪ СВОИ САНИ НЕ САДИСЬ. Комедія въ трехъ дѣйствіяхъ, соч. г. *Островскаго*.

Мы упомянули, въ прошедшей книжкѣ *Пантеона* о новой комедіи г. Островскаго въ короткихъ словахъ, потому-что хотѣли поговорить о ней подробнѣе, и ожидали для этого появленія ея въ печати. Дарованіе г. Островскаго не изъ числа тѣхъ, о которыхъ можно судить съ одного взгляда: оно требуетъ внимателей оцѣнки. Притомъ же сцена, при хорошемъ исполненіи, скрываетъ иногда даже отъ внимательнаго зрителя, недостатки драматическаго произведенія, точно также, какъ при плохомъ исполненіи, даетъ иногда, о немъ ложное понятіе. Мы не хотѣли провиниться передъ г. Островскимъ, несправедливо приписавъ ему какой-нибудь недостатокъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, не желали поставить себя въ необходимость сознаться въ ошибкѣ. Теперь комедія г. Островскаго передъ нами*, и мы можемъ высказать наше мнѣніе о ней.

Разскажемъ сначала ея содержаніе.

Викторъ Аркадьичъ Вихоревъ пріѣзжаетъ въ городокъ Черемухинъ, гдѣ, какъ онъ слышалъ, есть богатые купцы и, слѣдовательно, богатые невѣсты. Господинъ Вихоревъ обладаетъ парюю очень искусно закрученныхъ усовъ, прекраснымъ цвѣтомъ лица, незастѣнчивымъ обхожденіемъ и, вообще, всѣми тѣми качествами и свойствами, которыя доставляютъ, въ извѣстномъ обществѣ, названіе красавца и ловкаго кавалера; но финансовыя его обстоятельства очень плохи. Было у него когда-то порядочное помѣстье, да онъ все промоталъ, и осталось отъ этого помѣстья всего одиннадцать душъ. Въ-слѣдствіе такого грустнаго положенія дѣлъ, г. Вихоревъ пришелъ въ уныніе, выдти изъ котораго, по его мнѣнію, одно только средство — деньги.

* Она напечатана въ № 5 *Москвитянина*.

— Теперь ты возьми въ расчетъ мой меланхолическій характеръ, говорилъ онъ своему другу Баранчевскому. Мнѣ и такъ все кажется въ черномъ цвѣтѣ; а во-время безденежья... ты себѣ и вообразить не можешь... При деньгахъ я совсѣмъ другой человѣкъ, я дѣлаюсь веселъ, развязенъ, могу заняться дѣлами... (Какими дѣлами, объ этомъ Вихоревъ не упоминаетъ, а намъ догадаться трудно, потому-что, по словамъ Степана, служили они безъ году недѣлю). Нѣтъ, Андриуша, въ-самомъ-дѣлѣ!.. особенно въ последнее время, обстоятельства были очень плохи, такая, братецъ, тоска нашла; хандрить началъ...

Чтобъ выйти изъ этого грустнаго положенія, г. Вихоревъ рѣшился жениться на богатой. Въ Москвѣ ему не удалось: родители отказали, а дѣвушка не согласилась бѣжать съ нимъ; онъ обратился къ провинціи, пріѣхалъ въ Черемухинъ и успѣлъ уже обворожить Дуню Русакову, дочь богатѣйшаго въ городѣ кушца. Но и тутъ онъ боится неудачи.

— Въдъ этотъ народъ (то-есть, кушцы) не понимаетъ, самой простой истины!.. Что такое деньги? Ни больше, ни меньше, какъ средство жить порядочно, въ свое удовольствіе. А они стараются какъ можно больше копить, и какъ можно меньше проживать; а ужъ доказано всеми науками, что это вредно... для торговли... и для общества...

Впрочемъ, Викторъ Аркадьичъ не пришелъ въ отчаяніе, потому-что у него есть два союзника: жена трактирщика, у котораго онъ стоитъ, Анна Антоновна Маломальская, и Андрей Андреичъ Баранчевскій, другъ его, успѣвшій уже подцѣпить себѣ въ Черемухинѣ жену со сто пятидесятью тысячами приданого, на которые купилъ себѣ подъ городомъ двѣсти душъ. Баранчевскій даетъ ему званіаждъ, чтобы прилично представиться къ будущему тестю, а Анна Антоновна, у которой онъ познакомился съ Дуней, готова на всякія услуги для такого *амура*.

У Вихорева есть соперникъ: молодой купецъ Бородкинъ. Дуня когда-то любила Ваню Бородкина, но встрѣтила Вихорева—и забыла для него о Ванѣ. Вихоревъ, во-первыхъ, *благородный*, обстоятельство важное, а притомъ такой красавецъ собой и умный, образованный, говорить красно. Дуня полюбила его безъ памяти. Бородкинъ не знаетъ еще, впрочемъ, объ этомъ, и потому просить у Русакова Душиной руки; Русаковъ благосклонно принимаетъ его просьбу. Русаковъ человѣкъ здравомыслящій, знаетъ, что люди, подобные Вихореву, женятся на купеческихъ дочеряхъ изъ-за денегъ.—Ну, какая она барыня, говорить онъ: жила дома, въ четырехъ стѣнахъ, свѣту не видала. А кушцу-то она будетъ жена хорошая, будетъ хозяйничать, да дѣтей нянчить.

Дуня-же не въ шутку полюбила Вихорева, не такъ-какъ влюбляются

жныя купеческія дочки въ господчиковъ съ черными усами, высокою грудью и галантерейнымъ обращеніемъ.

— Что это со мной, тетенька, сдѣлалось! говорила она сама. Я надивиться не могу какъ полюбила я Виктора Аркадьевича!.. И надо же было этому дѣлу сдѣлаться!.. Бѣда да и только!..

Но тетенька не видитъ въ этомъ никакой бѣды. Тетенька Арина Ѳедотовна, пожилая дѣва, жившая когда-то въ Москвѣ, безъ ума отъ людей *образованныхъ, благородныхъ*, и питаетъ глубочайшее презрѣніе къ людямъ съ бородой и въ длинныхъ сюртукахъ, если даже подъ такимъ сюртукомъ бьется благородное сердце, если подъ этой некрасивой оболочкой таятся высокія чувства. У Арины Ѳедотовны свои понятія о благородствѣ, а высокія чувства не по ея части. Вихоревъ, по ея мнѣнію, — человекъ, а Бородинъ, такъ, *мразь* какая-то.

Понятно, послѣ этого, что Арина Ѳедотовна всѣми силами стоитъ за Вихорева и возстаетъ противъ Бородинна. Она уговариваетъ Дуню напрямикъ объявить отцу свое желаніе.

Между-тѣмъ Бородинъ объяснился уже съ Дунею и узналъ о любви ея къ Вихореву. Существо простое и крайне безхитрое, Дуня во всемъ признается ему.

— Да ты, Ваня, не сердись! говоритъ она ему: я тебѣ все расскажу, ты самъ разсудишь. За меня теперь сватается благородный. Какой красавецъ собой-то, какой умный. Любила я тебя, ты самъ знаешь, а ужъ какъ я его полюбила, я и не знаю, какъ это словами связать. Увидала я его у Анны Антоновны, на прошлой недѣлѣ... Сидѣли мы это съ ней, пьемъ чай, вдругъ онъ входитъ; какъ увидѣла я этакого красавца, такъ у меня сердце и упало; ну, думаю, быть бѣдѣ. А онъ, какъ нарочно, такой ласковой, такія рѣчи говорить.

Напрасно Бородинъ старается доказать, что Вихоревъ любить не Дуню, а ея деньги, что люди, подобные ему, говорятъ красно, но не думаютъ того, что говорятъ.

— Нѣтъ, Ваня, не говори этого, онъ меня любитъ, возражаетъ Дуня.

— А нешто я тебя, Дуня, не люблю?

— Что-жъ мнѣ дѣлать-то! отвѣчаетъ она. На грѣхъ я его увидѣла! Такъ вотъ съ-тѣхъ-поръ изъ ума нейдетъ, и во снѣ все его вижу. Словно я къ нему приворожена какая!..

Бородинъ не говоритъ однако-же Русакову о признаніи Дуни, и Русаковъ узнаетъ о ея любви къ Вихореву только тогда, когда Дуня, узнавъ, что отецъ отказалъ *этакому красавцу*, сама приходитъ просить его благословенія.

Вы понимаете, что Русаковъ отказывается.—Дуня падаетъ въ обморокъ.—Русаковъ не ожидалъ этого, и жалость беретъ въ немъ верхъ надъ благоразуміемъ. Видъ обезпамятѣвшей Дуни потрясаетъ его рѣшимость.

— Побѣдила, какъ снѣгъ, хоть въ гробъ клади!.. говоритъ онъ съ отчаяніемъ... Дунюшка! (*Беретъ за руку*). Дунюшка! (*Смотритъ на нее*). Вотъ и мать такая-же лежала въ гробу, вотъ двѣ капли воды. (*Утираетъ слезы*). Господи! не попусти!.. Дуня! (*Съ ужасомъ*). Очнется—ли она, очнется—ль!.. Нѣтъ!.. Ужли—жь я ее убилъ? (*Стоитъ подлѣ въ оцѣпennyи; двѣка приноситъ воду и уходитъ*).

АРИНА ѲЕДОТОВНА (*съ водою. Брызгаетъ на Дуню*). Дунюшка! Дунюшка! Говорила я вамъ, братецъ, такъ не послушали.

РУСАКОВЪ. Ну, что она?.. Что Дунюшка?

АРИНА ѲЕДОТОВНА. Тихонько, тихонько, очнулась, кажется.

ДУНЯ (*открывая глаза*). Гдѣ тятенька?

РУСАКОВЪ. Здѣсь, дитятко, здѣсь. (*Садится подлѣ нея на диванъ*).

ДУНЯ (*прилегая къ нему на грудь*). Тятенька!

РУСАКОВЪ. Что, Дунюшка, что?

ДУНЯ. Я люблю его.

РУСАКОВЪ. Ахъ, Дунюшка, кабы я зналъ, что онъ степенный человекъ, да что онъ тебя любитъ, я-бы тебя сейчасъ за него отдалъ, и разговаривать-бы не сталъ.

ДУНЯ. Онъ меня любить.

РУСАКОВЪ. Охъ, Дунюшка, не вѣрится мнѣ... Ну, да вотъ мы это узнаемъ.—Дѣло-то простое. Я ему скажу, что за тобой ничего не дамъ; коли любить, пускай такъ беретъ.—Коли любить, возьметъ такъ.

ДУНЯ. Неужели онъ меня изъ-за денегъ любить?..

АРИНА ѲЕДОТОВНА. Ахъ, братецъ, развѣ это можно вообразить, чтобъ въ такомъ мужчинѣ не было никакихъ чувствъ; онъ совѣмъ не такой интересанъ, какъ вы думаете.

РУСАКОВЪ. А вотъ, посмотримъ, что онъ скажетъ.

АРИНА ѲЕДОТОВНА. Ну, ужъ, братецъ, я васъ увѣряю, что онъ человекъ самый благородный.

ДУНЯ. Тятенька! да развѣ въ богатствѣ счастье?.. Коли любишь человека, такъ никакихъ сокровищъ не надо.

РУСАКОВЪ. Это ты, мое дитятко, такъ рассуждаешь, а у нихъ-то другое на умѣ; ну, да вотъ посмотримъ.

ДУНЯ (*цѣлуетъ отца*). Тятенька, голубчикъ, вы меня воскре-

силы, а то ужъ я, право, думала, что умираю; да я-объ и умерла съ горя, я ужъ это знаю. Тетенька, вѣдь мы хотѣли идти въ церковь...

РУСАКОВЪ. Поди, Дунюшка, помолись; а мнѣ нужно къ дѣлу сходить. Прощай. (*Цѣлуетъ ее и уходитъ*).

ДУНЯ. Ахъ, тетенька, я все еще не могу оправиться.

АРИНА ѲЕДОТОВНА. Ну, ужъ теперь не о чемъ тужить.—На нашей улицѣ праздникъ. — Пойдемъ-ка скорѣй. — Одѣвайся. — То-то онъ, бѣдный, обрадуется, какъ услышитъ.

Арина Ѳедотовна общала Вихореву, что пойдетъ вмѣстѣ съ Дуней со двора, чтобъ извѣстить его о послѣдствіяхъ разговора Дуни съ отцемъ; Вихоревъ-же видѣлъ въ этомъ свиданіи еще другую цѣль. Онъ не слишкомъ надѣялся на согласіе Русакова и даже, въ случаѣ согласія, не надѣялся на его слово, боялся, что онъ можетъ передумать; по этому Вихоревъ рѣшился увезти Дуню, обвиняться съ ней, а потомъ явиться къ Русакову, который, безъ сомнѣнія, простилъ бы дѣтей своихъ, какъ это, по бѣльшей части, случается. Вихоревъ предлагалъ уже Дунѣ однажды увезть ее, но Дуня не согласилась, въ надеждѣ, что отецъ позволитъ ей выдти за милого сердцу; теперь-же, получивъ отказъ, по расчету Вихорева, согласится; а нѣтъ, такъ онъ употребитъ и силу. Съ этою цѣлю Вихоревъ взялъ у Баранчевскаго коляску, и дѣйствительно увезъ Дуню, а Арина Ѳедотовна воротилась домой, приготовившись сказать Русакову, что Дуня осталась ночевать у Анны Антоновны. Похищеніе происходитъ внѣ сцены.

Вихоревъ хотѣлъ обвиняться съ Дуней въ деревнѣ у Баранчевскаго. Они приѣзжаютъ въ Ямскую слободу, на постоянный дворъ, и ждутъ лошадей. Дуня грустна и все просится къ отцу, не понимая, зачѣмъ увезъ ее Вихоревъ, когда отецъ согласился. Но Вихоревъ непреклоненъ. Все это вздоръ, пустяки, говоритъ онъ. Ты мнѣ лучше расскажи, какъ ты тятеньку-то уговорила. Дуня рассказываетъ ему всѣ обстоятельства; говоритъ и о томъ, что отецъ не дастъ ей денегъ. Вихоревъ сначала не вѣритъ, чтобъ Русаковъ могъ сказать это серьезно, но Дуня объясняетъ ему, что отецъ ея твердъ въ своемъ словѣ, никогда не измѣняетъ ему, а теперь, когда дочь ослушалась его, ни за что не отступится отъ сказаннаго. Это производитъ на Вихорева волшебное дѣйствіе: за минуту еще ласковый, онъ дѣлается грубымъ и дерзкимъ.

— Гмъ! дѣло-то скверно, говоритъ онъ.

— Я, Викторъ Аркадьичъ, такъ рассудила, говоритъ между-тѣмъ Дуня, что лучше жить въ бѣдности, да съ милымъ человѣкомъ, чѣмъ въ богатствѣ да съ постылымъ.

- Съ милымъ! А какъ съ милымъ-то нечѣмъ жить будетъ?
 — Да вѣдь у васъ есть деревня своя.
 — Деревня? Какая деревня!.. Все это вздоръ!.. Ты вотъ что скажи, только говори откровенно: дастъ онъ денегъ, или нѣтъ?
 — Не дастъ!..
 — Такъ что-жь ты со мной дѣлаешь?
 — Да развѣ я виновата, Викторъ-Аркадьичъ?
 — Вамъ только влюбляться, да какъ-бы замужъ выдти за благороднаго, чтобъ барыней быть.
 — Что вы говорите, Викторъ Аркадьичъ?
 — Кому нужно даромъ-то васъ брать! Можно было, я думаю догадаться, — не маленькая! Любовь, да нѣжности все на умъ!.. Вѣдь глупость-то какая! Всѣ вы думаете, что васъ за красоту берутъ, такъ съ ума и сходятъ!

Бѣдная, горемычная Дуня! Тяжело ей, простой и безхитростной дѣвушкѣ, слышать такія рѣчи отъ того, для котораго за минуту она готова была забыть стыдъ дѣвичій, отдать жизнь свою, бросить отца. — Для чего я на свѣтъ рождена!.. говорить она раздражающимъ сердце голосомъ; но у него нѣтъ сердца, и рыданія опозоренной имъ только раздражаютъ его — Выпроси у отца сто тысячъ, говорить онъ, такъ я, пожалуй, женюсь на тебѣ. Будешь барыня! — Но это уже слишкомъ, даже для простенькой Дуни; въ ней просыпается, наконецъ, гордость глубоко оскорбленнаго человѣческаго достоинства. — Да отсохни у меня языкъ, говорить она, если я попрошу у него хоть копѣйку. Не будетъ вамъ счастья, Викторъ Аркадьичъ, за то, что вы наругались надъ бѣдной дѣвушкой... Вы у меня всю жизнь отняли. Миѣ теперь легче живой въ гробъ лечь, чѣмъ домой явиться; родной отецъ отъ меня отступится; осрамила я его на старости лѣтъ; весь городъ будетъ на меня пальцами показывать...

Но и эти прямо изъ сердца вылившіяся, полныя слезъ и невыносимаго упрека слова проходятъ мимо ушей безсердаго и пустоголоваго Вихорева. — Ужь это мы слышали не одинъ разъ, отвѣчаетъ онъ, но этотъ грубый отвѣтъ излишенъ, потому-что онъ не прибавитъ ни одной новой капли въ переполненное горестью сердце дѣвушки, сердце, достойное лучшей участи, доброе и простое, умѣющее только страдать и прощать, незнакомое съ гнѣвомъ и злобою. — Богъ васъ накажетъ за это, говорить Дуня, а я вамъ зла не желаю. Найдите себѣ жену богатую, да такую, чтобъ любила васъ такъ, какъ я; живите съ ней въ радости; а я, — дѣвушка простая, доживу какъ-нибудь, скоро-

таю свой вѣкъ въ четырехъ стѣнахъ сидя, проклиная свою жизнь. Прощайте! (*въ слезахъ*). Прощайте... Я къ тятенькѣ пойду!..

И приходитъ Дуня къ отцу, изнеможенная, едва живая... Отецъ уже знаетъ все, и пошелъ ее отыскивать. Первая вѣсть о бѣгствѣ Дуни поразила его какъ громомъ, лишила его всей энергіи, — и сѣдой Русаковъ плакалъ, какъ малый ребенокъ, не хотѣлъ даже идти за добровольно убѣжавшей, опозорившей его сѣдую голову дочерью; но мысль, что Дуня достанется его врагу, снова возвратила ему твердость и рѣшительность. Ему легче видѣть Дуню мертвой, чѣмъ женою Вихорева.

— Гдѣ тятенька? Вотъ первыя слова, которыя произноситъ Дуня, переступая порогъ и опускаясь на первый попавшійся стулъ; она и боится увидеть отца, и, въ тоже время желаетъ поскорѣ упасть къ ногамъ его, потому что нравственныя и физическія силы ея истощились уже и не въ состояніи выносить ожиданія. Бородкинъ старается успокоить ее, беретъ ее устроить дѣло.

Не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи выписать здѣсь всю сцену Русакова съ дочерью и Бородкинымъ, тѣмъ болѣе, что раздробленная и пересказанная, она много потеряетъ.

Дуня ушла въ свою комнату; Арина Федотовна, услышавъ, что идетъ Русаковъ, также ушла; Русакова встрѣчаетъ одинъ Бородкинъ.

РУСАКОВЪ (*входитъ и садится къ столу*). Нѣтъ ее. Ну, Иванушко, сирота я теперь. Поди домой. Оставь меня, поди!

БОРОДКИНЪ. Куда же мнѣ торопиться—то, я съ вами посижу.

РУСАКОВЪ. Нѣтъ ее, Иванушко, ну, и не надо, одинъ поживу... Имѣніе нищимъ раздамъ.

БОРОДКИНЪ. Да, помилуйте, Максимъ Федотычъ, можетъ еще все это благополучно кончиться.

РУСАКОВЪ. Я ее теперь и видѣть не хочу, не велю и пускать къ себѣ, живи она, какъ хочетъ. (*Молчаніе*). Я ужъ не увижу ее... Когда кто изъ васъ увидитъ ее, такъ скажите ей, что отецъ ей зла не желаетъ, что коли она, бросивши отца, можетъ быть душой покойна, жить въ радости, такъ Богъ съ ней! Но за поруганіе мое, моей сѣдой головы, я видѣть ее не хочу никогда! Дуня умерла для меня! Нѣтъ, не умерла, ее и не было никогда! Имени ея никто не смѣй говорить при мнѣ!..

(*Дуня показывается на порогъ и останавливается*).

РУСАКОВЪ. Кто? Кто это?

ДУНЯ. Я, тятенька.

РУСАКОВЪ. Ты? А любовникъ гдѣ?

ДУНЯ. Тятенька!

РУСАКОВЪ. Къ нему, къ нему, ступай къ нему!

ДУНЯ (*твердо*). Я не пойду изъ дому, — прогоните, — я умру на порогъ.

РУСАКОВЪ (*молча смотритъ на нее*). Гдѣ же тотъ-то? Гдѣ врагъ-то мой?..

ДУНЯ. Онъ меня обманулъ, онъ меня не любитъ, — ему только деньги нужны.

РУСАКОВЪ. А! вотъ что!.. Я, кажется, давеча говорилъ тебѣ объ этомъ. Да гдѣ отцу знать: онъ на старости лѣтъ изъ ума выжилъ. — Ну, зачѣмъ же ты пришла?

ДУНЯ. Куда жъ я, тятенька, дѣнусь?

РУСАКОВЪ. Ну, что жъ, извѣстно, не гнать же мнѣ тебя. (*Притворно смѣется*).

ДУНЯ (*падаетъ ему въ ноги*). Тятенька! простите меня!

РУСАКОВЪ. Простите! Нѣтъ, ты меня уморила было!.. Вѣдь мнѣ теперь стыдно людямъ глаза показать, а про тебя-то и говорить нечего. Нѣтъ, голубушка, я тебя запру. Поди. (*Отходитъ*).

БОРОДКИНЪ. Встаньте, Авдотья Максимовна, Богъ милостивъ! Дѣло обойдется какъ-нибудь. (*Поднимаетъ ее, она плачетъ, они отходятъ въ сторону и разговариваютъ въ полголоса*).

(*Входитъ Маломальскій*).

Такъ-какъ мы до-сихъ поръ не познакомили еще съ этимъ лицомъ нашихъ читателей, то скажемъ о немъ нѣсколько словъ.

Маломальскій содержитъ трактиръ, въ которомъ стоитъ Вихоревъ; у него-то въ домѣ познакомилась Дуня съ Вихоревымъ, подъ покровительствомъ жены его, Анны Антоновны. Маломальскій любитъ выпить, почти всегда навеселѣ и не совѣмъ свободно объясняется, потому-что, какъ кажется, ему, даже и въ трезвомъ состояніи, бываетъ трудно связать, не только что нѣсколько словъ, но и двѣ мысли вмѣстѣ. Онъ первый извѣстилъ Русакова о похищеніи Дуни. Лицо Маломальскаго второстепенное.

МАЛОМАЛЬСКІЙ. Свать, а свать, я, примѣрно, молодца-то оставилъ.

РУСАКОВЪ. Ахъ, провались онъ совѣмъ. Мнѣ-то что за дѣло?..

МАЛОМАЛЬСКІЙ. Какъ, свать, нѣтъ, ты не то... Онъ этого не долженъ... Онъ, примѣрно, теперь, осрамилъ дѣвушку... Ну, и женись... мы заставимъ...

РУСАКОВЪ. Да мнѣ его и даромъ не надо, — не то, чтобъ насильно заставлятъ. — Осрамилъ. — Ну, что жъ, нашъ грѣхъ!.. Да меня зо-

лотоми осыпь, я на него и глядѣть-то не хочу, не то, чтобъ въ зятя взять.

МАЛОМАЛЬСКІЙ. Это къ тому, что теперича... слухъ этотъ поидеть... такъ и такъ... и, примѣрно, разойдется по городу... Кто ее возьметъ?

РУСАКОВЪ. Что жъ дѣлать-то, согрѣшили. На себя пѣнай!

БОРОДКИНЪ (*выступая впередъ*). Я возьму-сь!

МАМОЛАЛЬСКІЙ. Гмь!.. Не бери!

БОРОДКИНЪ. Будетъ вамъ врать-то-сь. Это наше дѣло.

РУСАКОВЪ. Нѣтъ, Иванушко, погоди; тебѣ эта невѣста негодится. Я тебѣ найду другую.

БОРОДКИНЪ. Мнѣ другой не надобно-сь.

РУСАКОВЪ. Тебѣ надобно дѣвушку честную, чтобъ про нее худой славы не было.

БОРОДКИНЪ. Что это значить, худая слава! Коли я люблю Авдотью Максимовну, такъ для меня все одно.

РУСАКОВЪ. Да она тебя не стоить. Ей теперь нечего объ замужествѣ думать.

БОРОДКИНЪ. Вы давеча сами обѣщали. Я, вотъ, отъ своего слова не пачусь, а вы пятитесь.—А ужъ это не порядокъ, Максимъ Федотычъ!.. Положимъ, хоша она ваша дочь, а за что-жъ ее обижать. Авдотья Максимовна и такъ обижена кругомъ, долженъ кто-нибудь за нее заступиться. Ее-жъ обидѣли, да ее-жъ и бранять. По-крайней-мѣрѣ, она у насъ ласку будетъ видѣть, отъ меня, и отъ маменьки. Что-же такое, со всякимъ грѣхъ бываетъ. Не намъ судить!

РУСАКОВЪ. Да ты что шумишь-то?

БОРОДКИНЪ. Да мнѣ что шумѣть-то!.. Вы мнѣ обѣщали Авдотью Максимовну, и отдайте!..

РУСАКОВЪ (*подумавши*). Да возьми, пожалуй. Эка невидаль.

БОРОДКИНЪ (*подходя къ Дуни*). Авдотья Максимовна! Не плачете, перестаньте-сь.—Теперь васъ никто обидѣть не смѣетъ-сь. Никому не позволю... провалиться на этомъ мѣстѣ.

ДУНЯ. Иванъ Петровичъ! любите вы меня: меня никто не любитъ. Весь свѣтъ на меня!

БОРОДКИНЪ. Помилуйте, Авдотья Максимовна, есть-же во мнѣ какое-нибудь чувство; я вѣдь не звѣрь, и во мнѣ есть искра Божья!

ДУНЯ. Иванъ Петровичъ! я за васъ буду вѣчно Бога молить.—Вы заступились за бѣдную дѣвушку.—Ужъ коли тятенька говоритъ вамъ, что вамъ нужно дѣвушку честную, чего же мнѣ ждать отъ другихъ-то?.. Этакую мѣрку терпѣть!.. Меня-бы на недѣлю не стало!.. Кабы

кто видѣлъ мою душу!.. Каково мнѣ теперь!.. Я честная дѣвушка, Иванъ Петровичъ.—Я васъ обманывать не стану. Скажите вы это всѣмъ, и тягенькѣ.

РУСАКОВЪ (*пораженный*). Эхъ-ма, свать, состарѣлся я, а все еще глушь.—За что я ее обидѣлъ? Во гнѣвѣ скажешь слово, а его ужъ не воротить.—Слово-то какъ стрѣла. Вѣдь иногда словомъ-то обидишь больше, чѣмъ дѣломъ. Такъ-ли, свать?.. А это грѣхъ!.. Дунюшка! словечко-то давеча у меня въ сердцахъ вырвалось, маленько оно обидно, такъ ты его къ сердцу не принимай.—Самому было горько, ну, и сказалъ лишнее.

ДУНЯ. Тягенька, простите меня!

РУСАКОВЪ. Богъ тебя проститъ, ты меня-то прости! (*Цѣлуетъ ее*). Нѣтъ, Иванушко, я тебѣ ее не отдамъ!

БОРОДКИНЪ. Какъ же это, Максимъ Ѳедотычъ? — Это на что-жь похоже-сь?

РУСАКОВЪ. Коли хочешь ее взять, такъ переѣзжай сюда и съ матерью, и будемъ жить вмѣстѣ.

БОРОДКИНЪ. Это все одно-съ, а то было ужъ я перенужался... Совершенно примиренный съ дочерью и судьбою, Русаковъ мирится на радости съ сестрой, и даже общается Маломальскому заплатить все, что ему долженъ Вихоревъ, только, чтобъ онъ убирался поскорѣе...

Тенерь предъ вами вся трогательная драма, которую г. Островскій назвалъ комедіей, вѣроятно, изъ уваженія къ школьнымъ воспоминаніямъ о риторикѣ и ея опредѣленіяхъ. Да, мы рассказали вамъ драму, человѣческую, художественную драму, оставившую глубокое впечатлѣніе въ душѣ и въ эстетическомъ чувствѣ нашемъ. Вамъ, вѣроятно, не случилось, читатель, ходить въ театръ и читать книги по обязанности, выслушивать, прочитывать и потомъ пересказывать цѣлые томы печатныхъ и разыгранныхъ несообразностей, въ которыхъ не было признака здоровой мысли, или дарованія, самый языкъ которыхъ терзалъ вамъ слухъ, глубоко оскорблялъ въ васъ чувство изящнаго; вы счастливы, читатель, и мы вамъ завидуемъ; но зато незнакомы вы и съ тѣмъ сладкимъ чувствомъ, которое овладѣваетъ театраломъ-критикомъ по обязанности, когда онъ встрѣчаетъ, на своемъ скучномъ пути, произведеніе, отмѣченное печатью дарованія, свѣтлѣющее ясною мыслию, говорящее языкомъ, проникающимъ въ сердце. Вы также наслаждаетесь имъ, вы имѣете еще предъ нами то преимущество, что не обязаны искать неважныхъ промаховъ, слѣдить за мелкими недостатками, какъ завистникъ какой-нибудь слѣдитъ за нелюбимыми имъ счастливыми, но все-же ваше наслажденіе не можетъ сравниться съ нашимъ. Все, что достается

послѣ долгаго терпѣнія, имѣеть сладость, непонятную для тѣхъ, кто не привыкъ терпѣть и ждать.

Появленіе комедіи г. Островскаго было для насъ истиннымъ праздникомъ; мы наслаждались ею, какъ наслаждается человѣкъ при встрѣчѣ съ давно-жданымъ другомъ. Мы, частію, оттого замедлили и разборъ ея, что боялись быть пристрастными.

Комедія, или, вѣрнѣе, драма г. Островскаго отличается простотою содержанія, и эта простота есть первое ея достоинство, первая причина ея успѣха. Въ ней нѣтъ изъ ряду вонъ выходящихъ страстей, нѣтъ идеальныхъ характеровъ, исключительныхъ положеній, — все въ ней понятно и доступно всѣмъ и каждому, какъ дѣйствительная, ежедневная жизнь. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, г. Островскій умѣлъ возвести эту простоту до художественности, умѣлъ придать интересъ самымъ обыкновеннымъ положеніямъ, заставилъ полюбить созданныхъ имъ лицъ, и Русякова, и Бородкина, и Дуню, несмотря на свойственную имъ внѣшнюю неуклюжесть, потому-что умѣлъ выставить изъ-подъ этой неуклюжести ихъ внутреннюю, человѣческую сторону, которая не могла не затронуть челоуѣчности зрителей.

Между-тѣмъ г. Островскаго обвиняють въ идеализаціи нѣкоторыхъ лицъ и непослѣдовательности нѣкоторыхъ характеровъ. Такъ, напримѣръ, критикъ *Отечественныхъ Записокъ* обвиняетъ г. Островскаго въ идеализаціи и непослѣдовательности характера Бородкина, находить, что Русяковъ и Дуня лица исключительныя, искомыя, и видить въ этомъ дурную сторону драмы, потому-что эти отборныя, такъ-сказать, лица, являющіяся въ драмѣ какъ-бы представителями необразованности, поставлены рядомъ съ Вихоревымъ и Ариной Федотовной, представителями образованности, лицами, не только не идеализированными, но положительно дурными, нерасполагающими въ свою пользу зрителей. Это, по мнѣнію критика, можетъ дать извѣстной части публики невыгодное понятіе объ образованности. Мы не совсемъ согласны съ критикомъ. Что касается до впечатлѣнія, которое можетъ произвести контрастъ Бородкина, посягающаго длиннополый сюртукъ, бороду, волосы въ скобку и говорящаго гостиниодворскимъ нарѣчіемъ, съ Вихоревымъ, одѣтымъ во фракъ, бѣлыя перчатки, глянцовые сапоги и говорящимъ языкомъ образованнаго общества, мы готовы согласиться съ критикомъ. Дѣйствительно, нельзя не пожалѣть, что г. Островскій не подумалъ объ этомъ впечатлѣніи, что онъ, задавшись вполне похвальною цѣлію—выставить смѣшную сторону страсти купеческихъ дочекъ и ихъ родителей вступать въ родство съ людьми образованными, благородными, не показалъ ихъ ложнаго взгляда на образованность и благородство, и вреда отъ полуобразо-

ванія, представляемаго въ его драмѣ Вихоревымъ и Ариной Федотовной? Но Бородинъ, Русаковъ и Дуня не кажутся намъ лицами исключительными, искомыми, рѣдкими въ своемъ кругу; намъ кажется, что такія лица встрѣчаются очень часто. Не находимъ мы также непоследовательности въ Бородинѣ. Сцена, въ которой онъ объявляетъ, что возметъ отвергнутую отцомъ и обезславленную Вихоревымъ Дуню, какъ нельзя болѣе понятна. Критикъ находитъ, что Бородинъ является тутъ героемъ совершенно неожиданно, и что это геройство не идетъ къ нему. По нашему мнѣнію, эта благородная вспышка, послѣ которой Бородинъ опять возвращается въ свою обычную колею, вполне понятна и объяснима. Мы видимъ, что Бородинъ любитъ Дуню, видимъ что онъ, въ сдѣланныхъ объясненіяхъ съ Дуней, кончающихся поцѣлуемъ, способенъ къ увлеченію, къ порывамъ,—отчего-же не допустить, что этотъ человѣкъ, обыкновенно почтительный къ старшимъ, можетъ забыться на минуту, когда дѣло идетъ о страстно-любимой дѣвушкѣ? отчего не допустить въ немъ рѣшительности возстать, въ пользу Дуни, противъ общественнаго мнѣнія, въ ту минуту, когда онъ видитъ Дуню несчастной отъ этого мнѣнія? Бородинъ вѣдь малый не глупый и человѣкъ съ характеромъ. Все это, по нашему мнѣнію, въ порядкѣ вещей, и характеръ Бородинки логически и психически вѣренъ, точно такъ-же, какъ и прочіе характеры пьесы.

На сколько всѣ эти лица художественны,—это другой вопросъ, и мы согласны, что въ художественномъ отношеніи они уступаютъ нѣкоторымъ лицамъ Гоголя. Но это не значить, что художественная отдѣлка лицъ въ драмѣ г. Островскаго слаба. У г. Островскаго нѣтъ еще мастерства въ высокой степени, но и его лица написаны живо. Доказательствомъ словъ нашихъ служить, между-прочимъ, огромный успѣхъ его пьесы на обѣихъ столичныхъ сценахъ и прекрасное исполненіе ея не только въ Москвѣ, гдѣ роли были разданы артистамъ первостепеннымъ, но и у насъ, въ Петербургѣ, гдѣ нѣкоторыя роли отлично исполняются второстепенными актерами.

Особенное удовольствіе доставила намъ Дуня, потому-что создать это лицо было труднѣе, нежели прочія. Дуня существо простое, нравственно слабое, нравственно неразвитое, въ человѣческомъ характерѣ котораго нѣтъ ничего выдающагося, рельефнаго, кромѣ любви къ отцу; а между-тѣмъ г. Островскій умѣлъ отыскать и въ этомъ существѣ тѣ характерическія черты, которыя сдѣлали изъ Дуни полный типъ.

Не станемъ входить въ подробное разсмотрѣніе созданія прочихъ лицъ, общій взглядъ на которыя мы уже высказали выше, а укажемъ теперь на нѣкоторыя недостатки драмы.

Г. Островскій вполне изучилъ языкъ того общества, изъ котораго взялъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ своихъ, и передаетъ его мастерски; но совершенно напрасно заставляетъ Дуню выражаться какою-то мѣрною рѣчью, напоминающею лирическія мѣста нашихъ сказокъ и народныхъ наши пѣсни. Это неестественно. Бородинъ также, въ сценѣ объясненія съ Дуней, говоритъ этимъ складомъ не совсѣмъ кстати.

Похищеніе Дуни придумано неудачно. Невольно спрашиваешь себя: зачѣмъ Дуня, при свиданіи съ Вихоревымъ, не передала ему своего разговора съ отцемъ? Вѣдь она ушла почти утѣшенная, почти увѣренная, что будетъ женою Вихорева съ согласія отца: зачѣмъ-же она позволила увести себя? Положимъ, что это необходимо было автору и что безъ похищенія не было-бы и третьяго дѣйствія, но это не оправданіе. При томъ-же, можно было устроить похищеніе, если оно уже непременно необходимо, болѣе послѣдовательнымъ образомъ. Стоило только заключить второй актъ обморокомъ Дуни. Пусть отецъ, вмѣсто того, чтобъ уйти въ другую комнату и явиться на первый зовъ Арины Федотовны, ушелъ-бы со двора; Дуня очнулась-бы безъ него и точно также, какъ и теперь, ушла-бы на свиданіе съ Вихоревымъ. О томъ-же, что отецъ не дастъ денегъ, могла-бы Дуня узнать изъ предшествовавшихъ сценъ. Притомъ обѣщаніе отца не давать Вихореву денегъ высказано не ясно и не давало Дуни достаточнаго основанія говорить, что отецъ никогда не отступится отъ однажды даннаго слова. Слова этого Русаковъ не давалъ, а только собирался сказать Вихореву, что не дастъ ему денегъ, прибавивъ, въ заключеніе: *ну да вотъ посмотримъ*.

Въ отношеніи сценическомъ г. Островскій сдѣлалъ огромный шагъ впередъ, со времени предпоследней своей комедіи «Бѣдная Невѣста»; сколько тамъ длинныхъ и бесполезныхъ сценъ, на столько здѣсь сжатости. Лишнимъ считаемъ мы только лицо Баранчевскаго, который является въ первомъ дѣйствіи на пять минутъ, для того, чтобъ выслушать, зачѣмъ Вихоревъ пріѣхалъ въ Черемухинъ, и дать ему коляску для поѣздки къ Русакову и похищенія Дуни. Коляску могъ Вихоревъ взять у него не выводя его на сцену, а зачѣмъ онъ пріѣхалъ въ Черемухинъ, мы могли-бы узнать въ подробности отъ его лакея Степана.

Пѣсни Дуни и Бородинна, выкидываемыя на нашей сценѣ, потому-что артисты, исполняющіе эти роли, не поютъ, кажутся намъ тоже лишними. Но это уже дѣло личнаго вкуса. По нашему мнѣнію, пѣсни рѣдко бывають кстати въ драмѣ. Повторяемъ, впрочемъ, что въ сценическомъ отношеніи, г. Островскій сдѣлалъ огромный шагъ впередъ: дѣйствіе драмы его сжато, живо и аффектно безъ преувеличеній, безъ сильныхъ катастрофъ, на которыя мастера французскіе драматурги.

То, что французы называют *экспозицией* пьесы (exposition), то-есть, вступление, въ которомъ готовится комедія, изъ котораго она вытекаетъ, составлено мастерски.

Особенно эффектенъ контрастъ драматическаго содержанія пьесы съ комической ея обстановкой. Вообще, пьеса г. Островскаго даетъ намъ право ожидать отъ него многого, и грѣхъ ему будетъ, если онъ остановится на этомъ первомъ успѣхѣ.

Касательно исполненія, мы не имѣемъ прибавить многого къ сказанному въ прошедшей статьѣ нашей: читатели уже знаютъ, что пьеса играется вообще хорошо и что особенно хороши г-жа Читау (Дуня) и г. Бурдинъ (Бородкинъ). Создать роль Дуни на сценѣ было также трудно, какъ написать ее, а г-жа Читау исполнила ее такъ, что авторъ не можетъ желать лучшей артистки на эту трудную роль. Мы всегда считали г-жу Читау даровитой актрисой, но игра ея въ пьесѣ г. Островскаго превзошла всѣ ожиданія: рѣдко случалось намъ видѣть такъ вѣрно отъ начала до конца выдержанную роль. Г-жа Читау была проста и трогательна, заставляла улыбаться въ первомъ дѣйствіи и плакать въ двухъ послѣднихъ, и все это безъ малѣйшей натяжки, безъ уловокъ, къ которымъ прибѣгаютъ другія актрисы, для произведенія эффекта. Такъ, напримѣръ, когда, возвратившись уже въ домъ отца, она выходитъ къ нему и останавливается на порогѣ, измученная внутреннею борьбою, ослабѣвшая, она просто прислоняется къ косяку, и въ этомъ простомъ движеніи ея — цѣлая драма. А какъ хороша она, когда цѣлуетъ Вихорева въ первомъ дѣйствіи, когда ласкаетъ его на постояломъ дворѣ; сколько любви тогда въ ея голосѣ, и сколько, потѣмъ тоски въ немъ и страданія...

Г-жа Читау удостоилась получить за эту роль, отъ щедротъ Государя Императора, бриліантовые серьги.

Г. Бурдинъ заслуживаетъ также полную нашу благодарность за роль Бородкина; онъ съ большимъ художественнымъ тактомъ воспользовался всеми ея выгодами, показалъ много чувства, смѣшилъ и трогалъ. Языкъ пьесы передаетъ онъ мастерски.

Побольше-бы такихъ пьесъ и исполненій.

ОБОЗРѢНІЕ ИНОСТРАННЫХЪ ТЕАТРОВЪ.

Заграничная корреспонденція.

ПИСЬМО ИЗЪ ПАРИЖА ^{6/19} отъ апрѣля.

Потопъ концертовъ. — Путешествія артистовъ. — Мосье Мире и мадамъ Фасол. — Слепые музыканты. — Вьѣтанъ. — Сивори. — Герцъ. — Новый Веберъ и новый Дюмедь. — Совѣщательный кабинетъ Пансерона. — Музыкальный вкусъ лимика. — Еще двѣ могилы. — Анекдоты о Тальмъ. — Гдѣ Тальма изучалъ физиономію? — Продолженіе авторскихъ претензій. — Вліяніе клаверовъ на благополучіе директоровъ. — Отчего процвѣтаютъ театры? — Каталани прошлаго вѣка. — **КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА**. *Тонелли*, опера Амбруаза Тома. — **Т. СЕНЪ-МАРТЕНСКИХЪ-ВОРОТЬ** *Смарра*, балетъ. Резинковый чепчикъ. — **ПАЛЕ-РОЙЯЛЬ**. *Драматическія шалости*, пародія, Дюмануара и Клервилля. — **Т. ВОДЕВИЛЯ**. *Бокaccio*, комедія. Посмертное торжество Байра. — **Т. ВЕСЕЛОСТИ**. *Собирательница льсу*, драма, Теодора Баррьера.

Если петербургскіе концерты истощили ваше терпѣніе, то можете не читать первыхъ двухъ страницъ моего письма: здѣсь тоже идетъ рѣчь о концертахъ. По долгу исправнаго корреспондента, я не могъ умолчать о музыкальномъ повѣтріи, отъ котораго, каждую весной, страдаютъ слуховыя органы парижанъ — вообще, и журналистовъ — въ-особенности. Если вамъ угодно будетъ принять на свой счетъ пересылку, я доставлю вамъ, съ первымъ пароходомъ, съ первыми устрицами, по экземпляричку программъ всѣхъ музыкальныхъ утръ, музыкальныхъ полдней, музыкальныхъ вечеровъ нынѣшняго сезона; вы ужаснетесь и воскликнете: рагсе, ргесог, ргесог! (Умоляю; пощади — пощади!) Вѣдь кому-то пришло-же въ голову основать около Парижа колонію *Пьянополисъ*, чтобы переселить туда всѣхъ нашихъ пьянистовъ: можете судить о количествѣ этого народонаселенія! Прибавьте къ нимъ еще служителей смычка и духовыхъ инструментовъ, — и вы согласитесь, что музыкальный городокъ едва ли обведешь воловьею кожей, которою находчивая Дидона отмежевала себѣ порядочный уголокъ на берегу

Средиземнаго моря. Откуда берется публика въ эти концерты? Чего жаждетъ она, зная напередъ, что ее будутъ угощать стереотипными дѣзами, избитыми пиччатато, аріями, которыя давнымъ-давно обвились вокругъ валовъ уличной шарманки? Состраданіе, жалость, знакомство — вотъ главныя пружины, вталкивающія публику въ парижскіе концерты, по-крайней-мѣрѣ, девятнадцать разъ изъ двадцати. О, Дюмонъ-Дюрвиль! О, Ла-Перузъ! Что ваши путешествія передъ странствованіями артистовъ, которые, съ пачкою билетовъ въ пустыхъ карманахъ, стучатся въ двери гостинныхъ, извѣстныхъ своимъ покровительствомъ музыкѣ, какъ знаменитое *Abbaye aux Vois* славилось покровительствомъ литературѣ! Возникающіе таланты знаютъ, что путь къ славѣ идетъ черезъ салоны, драпированные бархатомъ и штофомъ, и что ореолъ репутаціи родится изъ лучей бронзовыхъ лампъ, — и оттого-то прежде всего ищутъ диплома въ свѣтскомъ, и преимущественно женскомъ аренагѣ. Счастливъ артистъ, если ему удалось заставить сердце биться подъ кружевною шемизеткой и бѣлымъ пикейнымъ жилетомъ! Тогда карьера его будетъ роскошна, какъ эмаль на золотыхъ пуговкахъ жилета его покровительницы, и его хроматическія гаммы и стаккато непременно найдутъ слушателей. Мосье Мире даетъ концертъ: мадамъ Фасоль назначаетъ у себя большой вечеръ. Затѣмъ слѣдуетъ серія ловушекъ въ пользу будущаго концерта. №1. Заужиномъ, гости, снимая съ тарелки салфетку, находятъ подъ нею — билеты на концертъ мосье Мире. № 2. Танцоръ подходитъ ангажировать хозяйку на *schotisch*. Хозяйка подаетъ руку кавалеру, но съ условіемъ, чтобы онъ взялъ для себя и для знакомыхъ нѣсколько билетовъ на концертъ мосье Мире. № 3. Господинъ хочетъ освѣжиться отъ горячаго ландскнѣхта стаканомъ лимонаду. «Извините, сударь, отвѣчаетъ слуга, приставленный къ буфету: барынь вздумалось пошутить; она приказала допускать къ буфету только тѣхъ, кто взялъ билетъ на концертъ мосье Мире». — О, счастливецъ Мире! На другой же день онъ смѣло объявляетъ на третьей страницѣ журнала: «Теперь мы извѣщаемъ навѣрное, что, отложенный по разнымъ причинамъ, большой концертъ нашего знаменитаго пѣвца (или пьяниста, скришача, *ad libitum*) будетъ данъ 30-го числа нынѣшняго мѣсяца, въ *большой залѣ* г. Герца. Весь Парижъ, безъ сомнѣнія, будетъ присутствовать при этомъ торжествѣ соловья (или ученика Фильда, ученика Паганини, *ad libitum*) парижскихъ салоновъ, и проч.» Такъ, или почти такъ, созидаются въ Парижѣ концерты, на которые приглашаютъ васъ артисты, и не снившіеся мудрецамъ. Разумѣется, я не стану перечислять всѣхъ *auditions*, и укажу только на самыя замѣчательныя, да и то при помощи *Gazette musicale*: на этотъ разъ она

будетъ для меня нитью Ариадны въ лабиринтъ залъ, оклеенныхъ афишами.

Между множествомъ музыкальныхъ обществъ, существующихъ въ Парижѣ, есть одно, котораго ежегодной концертъ — къ чести сострадательности и вкуса — постоянно привлекаетъ публику: это *институтъ молодыхъ слѣпыхъ*, благотворительное заведеніе, основанное при Людовикѣ XVI, для дѣтей, лишенныхъ драгоценнаго дара зрѣнія. Если изъ этого института не выходитъ ни Гомеровъ, ни Мильтоновъ, зато въ немъ образуются превосходные математики, отличные механики и очень хорошіе музыканты. Доказательствомъ тому — Монтень, Монкуто, Гюз и Грожанъ. Первый изъ нихъ дѣлаетъ превосходныя фортепьяно; второй написалъ простыя и полезныя сочиненія о гармоніи; третій сочиняетъ музыку и играетъ, какъ нельзя лучше на віолончели и органѣ, а четвертый — даровитый кларнетистъ. Въ нынѣшнемъ году, сборъ съ концерта былъ назначенъ на путешествіе бывшаго ученика этого заведенія, который отправляется въ Бразилію, чтобы основать тамъ училище, подобное тому, гдѣ онъ воспитывался.

Концертное общество молодыхъ артистовъ — учрежденіе также чрезвычайно полезное и достойное вниманіе, удивило самыхъ взыскательныхъ судей однимъ изъ своихъ сочленовъ: десятилѣтній скрипачъ, Лотто, ученикъ Массара, сыгралъ *Perpetuum mobile* Паганини съ такимъ совершенствомъ, что апплодисманы не умолкали въ продолженіе всей пьесы.

Старинный вашъ знакомый, Вьѣтанъ, послѣ трехъ концертовъ въ Марсели, гдѣ члены оркестра поднесли ему серебряный вѣнокъ, воротился въ Парижъ и далъ музыкальный вечеръ. Какія бы выраженія не придумала критика въ похвалу этому виртуозу, — онъ уже сто разъ были повторены печатно, и сто тысячъ разъ словесно. Въ концертѣ своемъ, Вьѣтанъ игралъ, между-прочимъ, еще незнакомый публикѣ *могеау де салонъ* подъ названіемъ «Буря» (*l'Orage*): сушая буря трудностей, невозможностей, которыя можетъ передать развѣ только этотъ скрипачъ. Подражательная музыка восходитъ въ этой пьесѣ до поэзіи искусства. «Норма» (*Norma*), странная фантазія, на струнѣ *sol*, настроенной въ *ut* — тоже въ скрипичной игрѣ, что прыжки мадамъ Сакки на канатѣ. Не слышавшіе чудесъ, какія Вьѣтанъ дѣлаетъ на четвертой струнѣ, не испытали самаго пріятнаго изумленія.

Камиль Сивори, наследникъ странностей, скрипки, но также и прекраснаго звука и выразительности Паганини, далъ два концерта; въ одномъ исполнилъ онъ свою пьесу «Карнавалъ въ Кубѣ» (*le Carnaval de Cuba*), въ которой скрипка издаетъ всевозможные крики птицъ и животныхъ;

въ другомъ—сыгралъ адажіо и рондо изъ концерта-колокольчика, сочиненія своего славнаго учителя.

Этихъ двухъ концертовъ довольно для оправданія скрипки: она дошла до геркулесовыхъ столбовъ искусства и до послѣдней степени гаерства.

Представителемъ фортепьяно былъ, въ нынѣшній сезонъ, Генрихъ Герцъ.

Классическій пѣанистъ въ легкомъ родѣ, Герцъ, пріобрѣвшій своему таланту право гражданства въ старомъ и новомъ свѣтѣ, собралъ достойную дань рукоплесканій въ музыкальномъ Пантеонѣ, который, назадъ тому лѣтъ двадцать, онъ самъ воздвигнулъ искусству. Въ концертѣ своемъ, Герцъ исполнилъ, въ числѣ другихъ пьесъ, «характеристическую перуанскую польку «la Tarada», имъ самимъ сочиненную въ Лимѣ. Слово «tarada» значитъ — *закрытая*. «Такъ называютъ въ Лимѣ женщину, говоритъ Герцъ въ предисловіи къ своей полькѣ: одѣтую самымъ оригинальнымъ образомъ», — и въ объясненіе, предлагаетъ, на заглавномъ листѣ своей польки, литографированную перуанку, въ національной одеждѣ. Костюмъ этотъ состоитъ изъ шелковой юбки, прелестно охватывающей талію, нѣсколько пониже бедръ, и вуали, которая закрываетъ все лицо, кромѣ черныхъ сверкающихъ глазъ. Яркаго цвѣта шарфъ рѣзко дополняетъ мрачную одежду. Такъ, нѣкогда одѣвались лиманскія женщины, выходя на улицу; теперь же *saşa* и *tapito* видны только на погребальныхъ процессіяхъ и на боѣ быковъ.

Довольно о концертахъ; порадовать васъ развѣ еще двумя новинками: на музыкальномъ горизонтѣ явились разомъ — Веберъ и Диомедъ, оба пѣанисты, оба наслѣдники славныхъ именъ, оживляющихъ въ памяти «Оберона» и «Илліаду». Имя новаго Вебера — Юганнъ, фамилія Диомеда — Цампи. Больше не спрашивайте.

Пока я дописывалъ эти строчки, мнѣ принесли письмо.... Посмотримъ. Еще музыкальная новость, самая свѣжая, на которой еще не засохли чернила.

Учитель пѣнія въ Консерваторіи, А. Пансеронъ, сочинитель превосходной «Музыкальной азбуки» (A B C musical), вздумалъ разослать циркуляръ, въ которомъ извѣщаетъ, что онъ открылъ *совѣщательный кабинетъ* для справокъ о голосѣ, и разныхъ другихъ артистическихъ и ученыхъ (!) вопросахъ.

«Часто встрѣчается надобность, — пишетъ г. Пансеронъ, — въ мнѣніи *просвѣщеннаго учителя*, касательно направленія, которое должно дать образованію, весьма часто блуждающему въ Парижѣ по ложной дорогѣ, за немнѣніемъ вѣрнаго путеводаителя, или же изъ опасенія — *быть докучливымъ*. Съ другой стороны, многимъ любителямъ нужны совѣты,

чтобы окончить, или даже и написать какую-нибудь пьесу, которой мелодія прелестна, но гдѣ аккомпаниманъ, или инструментъ ставятъ преграду вдохновенію... Я могу въ своемъ кабинетѣ подать совѣтъ любителямъ и облегчить изданіе сочиненій, которыя, можетъ-быть, не посмѣли бы явиться передъ свѣтомъ...» Эльдорадо для литографій! Какъ теперь не сдѣлаться композиторомъ! Муза диктовала, Гомеръ писалъ. Пансеронъ, какъ человѣкъ умный, угадалъ слабую струнку мелкаго честолюбія, и не въ ущербъ своей знаменитости, утвержденной на порфирномъ цоколѣ, люжинами поведеть алчущихъ безсмертія къ лавровой рошѣ, и будетъ продавать ея листы, какъ салатъ, только на вѣсъ золота.

Говорѣ о музыкѣ, я долженъ передать вамъ печальное извѣстіе—смерть Орфила: потому-что знаменитый токсикологъ былъ, въ тоже время, знатокомъ и цѣнителемъ изящныхъ искусствъ; гостиня его считалась однимъ изъ главнѣйшихъ центровъ парижской музыки; приговоры, произносимые здѣсь артисту, уважались до такой степени, что Дюпрѣ, воротившись изъ Италіи и готовясь дебютировать въ «Вильгельмѣ Теллѣ», рѣшился выступить въ этой оперѣ только послѣ того, какъ Орфила ободрилъ его своимъ отзывомъ. Но любовь къ изящнымъ искусствамъ не помѣшала Орфилѣ создать во Франціи судебную медицину и приобрести ученую славу въ образованныхъ государствахъ. Борьба его съ Распалемъ, по поводу процесса госпожи Лафаржъ, была причиною, что распространитель камфоры, сохранившій въ душѣ ненависть къ Орфилѣ, въ 1848 году воспользовался своею эфемерною властью, и отнялъ у химика-юриста мѣсто декана, которое этотъ болѣе двадцати лѣтъ занималъ въ школѣ медицины. Орфила, уроженецъ Балеарскихъ острововъ, былъ, по характеру, скорѣе испанецъ, нежели французъ. Привыкнувъ вскрывать трупы въ госпиталяхъ, онъ завѣщалъ подвергнуть свое тѣло тому же дѣйствию скальпеля, которое онъ такъ часто совершалъ, во имя истины и интересовъ человѣчества! Орфила умеръ отъ простуды, возвращаясь, въ проливной дождь, изъ засѣданія общества Сѣверной желѣзной дороги, въ которомъ профессоръ химіи такъ неожиданно разложилъ своимъ аналитическимъ изображеніемъ узелъ, приводившій въ недоумѣніе капиталистовъ-миллионеровъ, что Ротшильдъ, пораженный зоркостью Орфила, тутъ же пригласилъ его вступить въ члены совѣта, управляющаго этимъ огромнымъ предпріятіемъ.

Смерть еще не истушила косы объ артистическіе лавры. Въ прошломъ мѣсяцѣ, театръ лишился своего любимаго автора, угасшаго въ цвѣтѣ славы, когда ничто не предвѣщало этой печальной потери. За писателемъ, сошелъ въ могилу актеръ, котораго слава была тоже ве-

лика, но который дожилъ до преклонныхъ лѣтъ, и въ старости еще слышалъ себѣ похвалы, дошедшія до молодаго поколѣвія по преданію. Брюнѣ умеръ на восемьдесятъ-восьмомъ году. Фамилія ему была—Мира. Когда выступилъ онъ на сцену, нынѣшніе парижане не помнятъ; изъ «Almanach des spectacles», видно только, что онъ игралъ на театрѣ Cité, и въ 1798 году, перешелъ оттуда на театръ Монтансье. Карьера Брюнѣ была рядомъ блистательныхъ успѣховъ. Комизмъ его, чистосердечный и естественный, сдѣлалъ его любимцемъ публики. Въ давно-забытомъ водевилѣ: «Роменвилль, или воскресная прогулка», Брюнѣ былъ такъ забавенъ, что зрители хотали при одномъ его появленіи на сцену, прежде, нежели онъ успѣлъ раскрыть ротъ. Брюнѣ игралъ всевозможныя роли—отъ кухарокъ до маркизовъ, и любилъ посолить пьесу собственными каламбурами и остротами, которыя не разъ были для него причиною ссоръ и неприяностей. Онъ оставилъ сцену въ послѣдніе годы реставраціи.

Незадолго до похоронъ Брюнѣ засыпали свѣжую могилу Куршана (Courchant), автора водевилей, которые онъ надписывалъ своимъ именемъ (Огюсть), и множества остроумныхъ пьесенокъ, напечатанныхъ въ Сборникѣ «Enfants du Caveau». Куршанъ умеръ семидесяти-пяти лѣтъ. Онъ былъ лучшимъ другомъ Дезожье, и до глубокой старости сохранилъ юношескую веселость.

Эти два имени займутъ почетное мѣсто въ «Biographie française».

Кстати. Въ дополненіе къ своему изданію Французскаго-Театра, Ренье обѣщалъ напечатать нѣсколько анекдотовъ о Тальмѣ, неизвѣстныхъ публикѣ. Ренье напоминаетъ, между-прочимъ, что Тальма, сынъ и племянникъ дантистовъ, предназначался, по праву наслѣдства, къ сословію искоренителей зубовъ; но увлекаемый своимъ призваніемъ, предпочиталъ играть трагедіи на театрахъ любителей. Чтобы прекратить эти шалости, дядя послалъ мальчика въ Лондонъ, гдѣ Тальма-отецъ пломбировалъ и выдергивалъ гнилыя кости, бывшія когда-то жемчугомъ и перламутромъ. Дядюшка полагалъ, что непослушному племяннику трудно будетъ играть французскую трагедію съ англичанами; но судьба распорядилась иначе. Тальма восхитилъ зрителей, играя въ розовомъ шелковомъ костюмѣ, который сшила ему сестра. Въ какой роли являлся онъ—ни братъ, ни сестра не помнили: «можетъ-быть, въ роли Каласа», шутя говорилъ Тальма, оглядываясь на прошлое. Спустя двадцать лѣтъ, розовый фракъ замѣнился великолѣпнымъ костюмомъ, который былъ нарочно присланъ изъ Индіи для Типпо-Саиба.

Такъ, не помышляя, впрочемъ, о будущемъ, учился артистъ. Случай помогъ ему: онъ пошелъ посмотрѣть *Гамлета*—и новый драматиче-

скій мiръ открылся передъ глазами Тальмы. Онъ выучился по-англійски; Шекспиръ былъ его учителемъ, творенія великаго поэта — его учебнымъ руководствомъ; восторженной юноша съ одного взгляда увидѣлъ связь между древнею трагедіею и новѣйшею. Гамлетъ и Орестъ были для него—одно лицо, только въ двухъ различныхъ цивилизаціяхъ.

Въ тоже время, отецъ Тальмы подружился съ однимъ изъ ученѣйшихъ англійскихъ хирурговъ, и этотъ вызвался посвятить сына своего друга въ тайны человѣческаго тѣла. Но пока одинъ объяснял на разсѣченномъ трупѣ, какую пользу медицина и хирургія извлекаютъ изъ ближайшаго знакомства съ нашею организаціею, другой старался понять, какъ страсти, приводя въ дѣйствіе все мускулы, рисуются на наружности, какъ чувства отражаютъ душу.

Тальма изучалъ виѣшность челоѣка вездѣ, гдѣ встрѣчалъ его взволнованнымъ, потрясеннымъ, движимымъ страстью. Однажды, уже будучи въ славѣ, онъ услышалъ крикъ на лѣстницѣ: заспорили камердинеръ съ кучеромъ. Камердинеръ выходилъ изъ себя; Тальма, приближавшій на этотъ шумъ, вдругъ остановился, и не думая унимать спорщиковъ, вскричалъ: «Какъ ты хорошъ въ этой роли!» — Тальма хваталъ природу на дѣлѣ. Онъ искалъ ее даже въ тюрьмахъ.

Какой-то убійца, терзаемый угрызениями совѣсти, самъ открылъ свое преступленіе. Тальма получилъ позволеніе взглянуть на злодѣя, скрѣпивъ сердце отъ отвращенія, которое вселяла въ него эта фізіономія, блѣдная, мучимая совѣстію, и черезъ нѣсколько дней, онъ игралъ *Макбета*. Во-время представленія, и на другой день, весь Парижъ повторялъ, что никогда еще Тальма не придавалъ такой ужасающей фізіономіи убійцѣ Дункана. — Гдѣ-же, спрашивали: научился онъ такъ вѣрно рисовать угрызения совѣсти?—Въ тюрьмѣ.

Отъ высокой трагедіи—скачекъ къ обыденному фарсу.

Я уже писалъ вамъ, что общество композиторовъ романсовъ затѣяло споръ съ водевиллистами о правѣ музыкальной собственности, которое распространило свои репрессаліи даже на концерты. На музыкальномъ утрѣ мадмуазель Розы Кастнеръ, артистка Комической Оперы, мадмуазель Вертеймберъ не могла пѣть обѣщаннаго программю романса *Прощаніе Маріи Стюартъ*, съ музыкою Нидермейера, потому-что вопросъ, поднятый адвокатомъ музыкантовъ, Генриксомъ, наложилъ запрещеніе на всякій заемъ музыки безъ вознагражденія. Общество композиторовъ требуетъ за заимствованіе арій, принадлежащихъ его членамъ, десятую долю съ вознагражденія, присвоеннаго авторамъ водевилей съ каждаго акта. Объясню примѣромъ. Если спектакль, состоящій изъ четырехъ одноактныхъ водевилей, приносить авторамъ 100 франковъ,

или по 25 франковъ съ каждаго водевиля, то композиторы требуютъ 10 фр. за четыре водевиля, или по 2 фр. 50 сант. за каждый. Если между этими водевилями, въ одномъ не заимствовано никакой аріи, принадлежащей членамъ общества композиторовъ, то послѣдніе требуютъ только 7 фр. 50 сант. за три остальные; 5 франковъ, если музыка заимствована только въ двухъ водевиляхъ; 2 фр. 50 сант. если въ одномъ. Также точно, если водевиль въ трехъ, или въ двухъ дѣйствіяхъ, общество взыскиваетъ десятую долю авторскаго вознагражденія, пропорціонально числу дѣйствій, въ которыхъ употреблена его музыка. Напримѣръ: если трехъ-актный водевиль приноситъ авторамъ 60 фран., общество требуетъ 6 фр. когда музыка заимствована въ трехъ актахъ; 4 фр. — если она заимствована только въ двухъ, и 2 фр. — если въ одномъ. Сверхъ того требуется, чтобы водевилисты обозначали на своихъ пьесахъ имена композиторовъ и мотивы заимствованныхъ аріи. Мѣра эта необходима для обезпеченія и охраненія права собственности композитора, и за несоблюденіе ея взыскивается, въ пользу композитора, вознагражденіе вдвое противъ означеннаго, за каждое представленіе водевиля, не исполнившаго этой статьи.

Но это предложеніе встрѣтило оппозицію, какъ невыгодное и для общества драматическихъ писателей и для самихъ композиторовъ. Положимъ, что въ вечеръ даютъ два водевиля, приносящіе, среднимъ числомъ, по двадцати франковъ за представленіе. Въ одной пьесѣ двадцать прелестнѣйшихъ аріи общества композиторовъ, и какъ десятая часть авторскаго права 2 франка, то на долю каждаго изъ двадцати куплетовъ придется по десяти сантимовъ; въ другой, употреблена только одна арія, вырвавшаяся съ клавишъ бездарнаго музыканта, и какъ десятая часть — 2 франка, то эта рапсодія получаетъ на свой пай 2 франка, то-есть, 200 франковъ за сто представленій, между тѣмъ, какъ такой же успѣхъ приноситъ всего 10 франковъ гениальному композитору! Вотъ ужъ тутъ рѣшительно нельзя примѣнить знаменитое правило: *сuum cuique*, каждому свое; потому-что авторъ перваго водевиля заплатитъ въ-обрѣзъ за мелодическіе аккорды, способствовавшіе его торжеству, тогда какъ авторъ втораго раздѣлитъ хлѣбъ, имъ самимъ заработанный, съ злосчастною трещеткой, которая случайно пала ему подъ руку.

Въ ожиданіи, чѣмъ кончится вся эта комедія собственности, посмотримъ, что дѣлаютъ театры.

Директоры парижскихъ сценъ, которые испугались-было за свое благосостояніе, когда правительство уничтожило наемныхъ хлопальщиковъ, теперь начинаютъ убѣждаться, что изгнаніе этой толпы, оскорбитель-

ной для публики и постыдной для писателей, нисколько не повредило интересамъ театровъ. Лучшими доказательствами тому — цифры. Вотъ итогъ сбора различныхъ парижскихъ театровъ въ-теченіе мнувшаго января :

Императорскіе театры, получающіе пособіе отъ казны собрали	373,713	фр.	18	сан.
Второстепенные театры	804,322	»	28	»
Концерты, кофейни—концерты и балы	199,633	»	58	»
Разныя диковинки	24,013	»	30	»
	<hr/>			
	Всего	1,401,682	фр.	34 сан.

Благосостояніе театра зависитъ преимущественно отъ искусства директора и таланта авторовъ и актеровъ. Директоръ долженъ слѣдить, какой родъ пьесъ наиболее нравится публикѣ; авторъ наполняетъ его репертуаръ, актеръ же развиваетъ мысль писателя. Эти три условія существуютъ въ Комической Оперѣ: оттого и процвѣтаетъ этотъ театръ.

Не останавливаясь на недавнемъ успѣхѣ «Марко Спадо», онъ тотчасъ поставилъ «Глухаго» и «Свадьбу Жанетты», доставляющіе, въ каждое представленіе, также полные сборы, и вслѣдъ за этими пьесами далъ новую, прелестную оперу Амбруаза Тома и Соважа: «Тонелли» (La Tonelli): такъ звали пѣвицу, нынѣ забытую, но о которой говорили лѣтъ за семьдесятъ передъ симъ, какъ мы говоримъ о Малилибранъ и Каталани. Въ 1752 году, Тонелли произвела въ искусствѣ пѣнія переворотъ, въ полномъ смыслѣ слова. До того времени, когда она, съ тремя или четырьмя спутницами, пріѣхала въ Парижъ, любители оперы дремали въ креслахъ, и не переставали зѣвать даже при звукахъ Рамо, стоявшаго тогда на вершинѣ своего таланта. Еще было бы ничего, еслибъ дѣла Оперы шли плохо: но, при такомъ положеніи, они рѣшительно остановились. Чтобы какъ-нибудь поправиться, дирекція обратилась къ послѣднему средству: откинувъ всторону смѣшное самолюбіе, она сдѣлала воззваніе къ иностраннымъ артистамъ. Борьба между итальянскою музыкой и французскою началась въ центрѣ Парижа. *Непріятель* былъ не страшенъ числомъ: четыре человѣка, не болѣе. Въ главѣ этого квартета стояла Тонелли, по имени Анна; сестра ея, Катарина, пѣла вторыя роли; съ ними были два комическіе баса, Пьетро Манелли и Козимо. Замѣчательно, что въ труппѣ не было тенора. Эти четыре артиста исполнили пять шесть оперъ, съ такимъ успѣхомъ, что вскорѣ о нихъ заговорилъ весь Парижъ. Тонелли прозвали музой гармоніи, а Манелли — гениемъ пѣнія: мифологическіе титулы были тогда въ большой модѣ. Тонелли и ея товарищи нажили

восторженныхъ приверженцевъ и отвѣренныхъ враговъ, которые еще выпуклѣ выставили ихъ славу. Завязалась война яростная и безпощадная. Ненависть двухъ партій высказывалась въ сатирическихъ брошюрахъ и памфлетахъ. Гриммъ и Жанъ-Жакъ Руссо тоже приняли участіе въ спорѣ, и, можетъ-быть, сочиненіямъ этихъ двухъ знаменитыхъ писателей эти громкія итальянскія имена обязаны тѣмъ, что дошли до поздняго потомства. Нынче Тонелли является въ образѣ мадамъ Угальдъ.

Вотъ вамъ главная и единственная лирическая новость прошлаго мѣсяца.

Въ послѣднее время, весь Парижъ сбѣгался въ театръ Сень-Мартенскихъ Воротъ, смотрѣть балетъ «Смарра» (*Smarra ou le démon des mauvais rêves*), написанный для Джона Девони, клоуна Дрюриленской сцены, который пріѣхалъ къ намъ на нѣсколько представленій, и потомъ отправится въ Вѣну. Смотря на этого непостижимого артиста, протираешь себѣ глаза и спрашиваешь, не во снѣ ли грезится то, что онъ дѣлаетъ на яву? Джонъ Девони родился въ безпредѣльныхъ степяхъ, еще неотнятыхъ американцами у западныхъ непокорныхъ племенъ; провелъ дѣтство и часть юности между краснокожими, то приближаясь къ большимъ рѣкамъ, то удаляясь отъ нихъ, по прихоти, или по надобностямъ дикаго каравана, или важно засѣдая за тростниковымъ чубукомъ совѣщанія. Вотъ его происхожденіе. Но какъ описать упражненія, которыми этотъ человѣкъ успѣлъ придать своимъ мускуламъ и всѣмъ членамъ гибкость каучука, до какой не достигалъ даже Мазюрье? Неужели Девони устроенъ какъ и всѣ мы? Представьте себѣ существо съ утонченною чистотою формъ, съ чертами нѣжными, почти женскими, которое въ прямомъ и спокойномъ положеніи, представляетъ собою самый совершенный, можно сказать, скульптурный образъ человѣческой красоты. Но вотъ оно зашевелилось — и статуя исчезла: это не человѣкъ, но змѣй, который свивается кольцами, растягивается, свертывается въ клубокъ, вьется какъ лента, крутится, и каждый изъ этихъ узловъ тѣла приводитъ разумъ въ смущеніе. Девони ходитъ руками, локтями, головой, грудью, желудкомъ, спиною — чѣмъ хотите, но только не ногами: такъ противно ему двигаться по способу двуногихъ! Ногами онъ только чешетъ за ухомъ, и они почти постоянно видны у него на лбу, вмѣсто роговъ. Тѣло его мягче перчатки. У этого человѣка нѣтъ костей: это разумный мускулъ. Публика вызвала клоуна, и онъ явился передъ изумленными зрителями, раскланиваясь какъ обыкновенный человѣкъ, какъ режиссеръ въ черномъ фракѣ.

Содержаніе балета заключается въ двухъ словахъ. Дѣвушка, от-

ставъ отъ своихъ подругъ и жениха, засыпаетъ на горѣ, и видитъ страшный сонъ: ей снится, что какое-то чудовище, въ родѣ Калибана, влюбляется въ нее и похищаетъ у ней поцѣлуй. Дѣвушка проснулась въ испугѣ: вмѣсто Калибана, стоитъ возлѣ нея — женихъ и простираетъ къ ней объятія. Нелѣпостей пересчитывать не буду: онѣ здѣсь въ порядкѣ вещей.

Мадмуазель Гальби выдѣлываетъ въ балетѣ такіе пируэты, что танцовщицы Большой Оперы изволятъ кусать губки отъ зависти.

На Пале-Ройальскомъ театрѣ даютъ уморительную пьесу Дюмануара и Клервиля: «Драматическія шалости» (*les Folies dramatiques*). Это не водевиль, не пародія, но нѣчто въ родѣ *revue*, въ которой четыре дѣйствія пародируютъ самымъ смѣшнымъ образомъ трагедію, итальянскую оперу, мелодраму и балетъ. Къ этимъ четыремъ актамъ придѣланъ прологъ, знакомящій публику съ г. Громеню, главнымъ дѣйствующимъ лицомъ пьесы.

Мосѣ Громеню, содержавшій въ-продолженіе тридцати двухъ лѣтъ ресторацію, въ которой кормилъ посѣтителей за тридцать два су, нажилъ обѣдами тридцать двѣ тысячи франковъ годоваго дохода, прекратилъ торговлю, и поселился на отдыхъ, послѣ кухоннаго чаду, въ тридцати двухъ миляхъ отъ Парижа, купивъ паркъ въ тридцать два арпана. Но трактирщику недостаетъ одного: будучи страстнымъ любителемъ драматическаго искусства, онъ лишень здѣсь театра, и для удовлетворенія своей страсти, строить въ Питивье свой театръ, въ которомъ цѣна всемъ мѣстамъ безъ различія назначена въ тридцать два су, и ангажируетъ тридцать двухъ актеровъ на тридцать два представленія. Громеню внѣ себя отъ восхищенія. Въ это время увѣдомляютъ его о прїѣздѣ актеровъ. Онъ идетъ сортировать труппу, но оказывается, что изъ тридцати двухъ артистовъ двадцать восемь не сдержали слова и не явились. Положеніе шекотливое. Какъ давать съ четырьмя актерами всевозможныя пьесы? Къ счастью, въ гостинницѣ, гдѣ остановилась *труппа* Громеню, есть служанка, или вѣрнѣе, хорошенькая субретка, игравшая когда-то роли наивныхъ дѣвушекъ на провинціальныхъ театрахъ, и она съ восторгомъ принимаетъ предложеніе Громеню—вступить въ его труппу.

Вскорѣ прибываетъ новая партія. Гріоле, влюбленный въ Гемблетту, не можетъ сродниться съ мыслью, чтобы та, которую онъ любитъ, подвергалась пламеннымъ объясненіямъ перваго любовника, и при всемъ отвращеніи къ театру, рѣшается сдѣлаться комикомъ и играть съ Гемблеттой въ пьесахъ, возвѣщенныхъ огромною афишей. Пьесъ этихъ четыре:

Во-первыхъ, «Каракалла», трагедія школы здраваго смысла, наши

санная поэтомъ суровымъ, но охотникомъ до каламбура и шитическихъ вольностей.

Во-вторыхъ, «Гиргульяда», итальянская опера; либретто автора, который хочетъ и долженъ остаться неизвѣстнымъ, — музыка синьора Вороті.

Въ-третьихъ, «Вліяніе фатализма на семейство, разоенное несчастіемъ», драма гуманитарная, съ тенденціями, и

въ-четвертыхъ, «Аркадскіе пастушки», пасторальный балетъ.

Все это чрезвычайно забавно и возбуждаетъ громкій смѣхъ. Каждая картина ведена бойко, остроумно; спектакль разнообразный. Пародія на итальянскую оперу, — лучшая изъ четырехъ. Левассоръ, въ рыцарской одеждѣ, добытой въ лоскутномъ ряду, карикатуренъ до-нельзя; но у него, также, какъ у Гіасента и Грассо, недостаетъ голоса. Для подражанія, даже карикатурнаго подражанія итальянскому пѣнію, требуются вокальныя средства. Голосъ Левассора уже не такъ блестящъ, какъ былъ прежде. Это давно замѣчено. Что же касается Гіасента и Грассо, то у нихъ никогда не было голоса. Они замѣняютъ пѣвіе одушевленною пантомимой и непостижимою воркотней. Зато въ трагической пародіи эти артисты — совершенство комизма.

На театрѣ Водевиля даютъ съ большимъ успѣхомъ пятиактный водевиль покойнаго Баяра: *Бокаччіо* или *Декамеронъ* (Vossase ou le Decameron). Это избранный рядъ сказокъ Бакаччіо и его походовъ во Флоренціи. Не мѣсто ни хвалить, ни порицать возлѣ едва засыпанной могилы; у фельетониста не достанетъ духу, отличавшаго египтянъ, которые въ первый же день траура начинали спорить о томъ, воздвигать ли умершему пирамиду. По окончаніи пьесы, имя Баяра было привѣтствовано двумя залпами рукоплесканій со всѣхъ концовъ залы: краснорѣчивый и чистосердечный панегирикъ, единственный панегирикъ, какимъ можетъ публика выразить свое сожалѣніе о писателѣ, который въ-теченіе тридцати лѣтъ почти всегда получалъ эту награду за свои произведенія. Послѣ спектакля, главные артисты, участвовавшіе въ пьесѣ, отравились на кладбище и положили на могилу Баяра вѣнокъ, брошенный на сцену въ ту минуту, какъ режиссеръ объявилъ имя автора *Бокаччіо*.

Успѣхъ карнавальныхъ пьесъ, о которыхъ я писалъ въ прошломъ мѣсяцѣ, продолжаетъ доставлять театрамъ такой богатый сборъ, что они сочли за лишнее ставить новыя пьесы. Впрочемъ, театръ Веселости поставилъ прекрасную драму въ пяти дѣйствіяхъ, *Собирательница льсу* (La Boisière). Авторъ ея, Теодоръ Баррьеръ, молодой писатель съ большимъ дарованіемъ. Онъ былъ сотрудникомъ Генриха Мюржэ въ

пьесъ «*Vie de Bohême*», Марка Фурнье — въ *Манонъ Леско*, потомъ самъ написалъ прелестную комедію *Фортепьяно Берты*, и нѣсколько другихъ пьесъ, игранныхъ въ Пале-Ройяль, Водевиль и Драматической Гимназіи, доставившихъ ему видное мѣсто въ драматической литературѣ. «*La Boisière*» исполнена самыхъ трогательныхъ положеній, нѣжныхъ чувствъ, тонкой психологической наблюдательности, подробностей, запечатлѣнныхъ истинною и дѣйствительною.

При поднятіи занавѣса, мы далеко отъ Парижа, въ маленькомъ лѣсу, напудренномъ инеетъ, какъ маркизъ времени Людовика XV. Лѣсовицы собираютъ валежникъ. Между ними особенно обращаетъ на себя вниманіе Жанна, дочь Маргериты, хорошенькая дѣвушка, но блѣдная, грустная. Очевидно, что подъ этой интересною блѣдностью, подъ этимъ томнымъ взглядомъ скрывается какая-нибудь сердечная тайна. Не влюблена ли Жанна? Да. Въ деревню воротился молодой человѣкъ, Рене Нуззель. Говорятъ, что онъ вѣтренникъ, промоталъ наслѣдство для какой-то графини Люизы де-Моренъ, которая векружила ему голову. Но любящая женщина — воплощенное милосердіе. Жанна жалѣетъ о молодомъ баловнѣ. Берегись Жанна: отъ жалости до любви — одинъ шагъ! Послушайся добрыхъ совѣтовъ своей матери, удайся Рене... Но оставаясь чистою, какъ горлица, Жанна однакожъ дышитъ однимъ Рене; сердце не повинуется разсудку.

Неожиданное обстоятельство рѣшить участь дѣвушки. Кокетка графиня, разорившая Рене, отправляясь на охоту, случайно останавливается въ хижинѣ собирательницы лѣсу. Графиню сопровождаетъ усерднѣйшій ея вздыхатель, мосье Монфланкенъ. Рене, встрѣтаясь съ хитрою женщиною, разсыпается упреками; кокетка смѣется ему въ лицо, и говоритъ, что рано или поздно, онъ опять будетъ у ея ногъ. Но Рене уже не новичокъ и самъ хочетъ сыграть шутку съ хитрою женщиною. Случай отмстить представляется скорѣе, нежели ожидалъ Рене. Дядя его умираетъ, завѣщавъ ему нѣсколько сотъ тысячъ. Жанна — красавица; она затмитъ собою графиню, и молодой левъ, успѣвъ завладѣть сердцемъ дѣвушки, предлагаетъ ей бѣжать... Жанна съ ужасомъ отвергаетъ это предложеніе и падаетъ въ объятія своей матери, Маргеритты.

Для Рене остается одно средство для достиженія своей цѣли: жениться на Жаннѣ. Послѣ свадьбы, онъ возвращается въ Парижъ съ Жанной, законною суиругой, и въ три-четыре мѣсяца успѣваетъ изъ бѣдной собирательницы валежника сдѣлать очаровательную свѣтскую даму. Въ гостиной ея собирается цвѣтъ деизма, до-сихъ-поръ посѣщавшаго салонъ графини де-Моренъ. Рене отмстилъ. Графиня ломаетъ руки отъ зависти и досады. Въ довершеніе мести, Рене хочетъ воротить деньги,

которыя онъ проигралъ въ ландскнехтъ графинѣ... Но несчастная спекуляція въ-конецъ разоряетъ Рене Нуазеля, и онъ узнаетъ о неожиданномъ ударѣ, поражающемъ и гордость и жажду мщенія, въ ложѣ Итальянской Оперы. Въ этой же самой ложѣ, узнаетъ Жанна, что мужъ ея распустилъ слухъ, будто-бы онъ не женатъ. Эту ужасную вѣсть взялась передать Жаннѣ мадамъ де-Мореннъ.

Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, мы застаемъ Жанну въ бѣдной квартиркѣ, гдѣ живетъ она работою. Рене бываетъ дома очень рѣдко, отговариваясь, что долженъ видѣться съ людьми, искать себѣ покровительства, между-тѣмъ, какъ на самомъ дѣлѣ онъ опять началъ посѣщать графиню де-Мореннъ. Предсказаніе ея сбылось.

Жизнь Жанны сдѣлалась мученьемъ: равнодушіе мужа, бѣдность. Наконецъ, бѣдная женщина пишетъ прощальное письмо къ мужу: она хочетъ броситься въ Сену.

Письмо это принесли Рене Нуазелю, когда онъ былъ на вечерѣ у графини. Рене срываетъ печать и испускаетъ крикъ. Жанна умерла!... И только въ эту минуту онъ понялъ свое непростительное пренебреженіе къ той, которая такъ искренно, такъ пламенно его любила... О, еслибъ можно было воротить то, что уже погибло, какъ любилъ-бы онъ Жанну! Онъ отказался-бы навсегда отъ разорительнаго безумія, которому пожертвовалъ истиннымъ счастіемъ. Рене чистосердечно раскаявается—и раскаяніе не остается безъ награды... Маргеритта, мать Жанны, ударила ее въ роковое мгновенье, и теперь возстановляетъ счастье супруговъ.

Между-тѣмъ кокетка, удовлетворивъ своему мщенію, выходитъ замужъ за Монфланкена, и съ-этихъ-поръ уже никто не нарушитъ спокойнаго существованія Жанны и Рене.

Вотъ нить главной интриги, проведенная чрезъ всѣ пять актовъ драма, которая была сыграна съ самымъ совершеннымъ ансамблемъ.

До слѣдующаго письма.

СМѢСЬ.

СТРАНСТВОВАНІЯ ПО СУШѢ И МОРЯМЪ.

ЛИСТКИ ИЗЪ ЗАПИСОКЪ БЫВАЛАГО ЧЕЛОВѢКА,

СОБРАННЫЕ В. САВИНОВЫМЪ.

ИНКЕРМАНСКАЯ СКАЛА.

Севастополь. — Цыганъ проводникъ — Сухарный заводъ. — Скала. — Пещеры и церковь. — Неконченный рассказъ цыгана. — Ясулдагъ. — Ракушки. — Макаръ Макаровичъ. — Нѣсколько словъ о немъ и о его новомъ занятіи. — Продолженіе рассказа. — Тюрьма и сосъдь. — Корсаръ. — Его молодость. — Двѣ потери. — Изъ ловушку въ ловушки. — Садъ паши и неожиданный избавитель. — Дядя Яковъ. — Шкуна. — Хиосскій берегъ. — Спасеніе за спасеніе. — Спроси бывалаго.

— «Севастополь, древній Ахтіаръ, когда-то татарская деревушка, нынѣ городъ и военный портъ при Черномъ морѣ, съ гаванью. Мѣстоположеніе гористое. Климатъ теплый и здоровый. Жители — русскіе, татары, греки и евреи. Замѣчательнъ чрезвычайною дешевизною вина, табаку, ракушекъ, устриць, винограда и арбузовъ. Въ бухтѣ ловится вкусная макрель, попадаетея и шамая. Въ окрестныхъ степяхъ можно стрѣлять тощихъ куличковъ и драхву....» Не могу вспомнить въ подробности всего описанія Севастополя, какое удалось мнѣ вычитать въ тетради дорожныхъ замѣтокъ моего добраго пріятеля Ивана Ивановича Чебурашкина, странствовавшего по Россіи на почтовыхъ. Но эти первыя строки, — память меня не обманываетъ, — записаны вѣрно.

Я обратился къ нимъ въ той же Сѣверной слободкѣ, гдѣ записывалъ и мои скоропостижныя воспоминанія о М-ше Нестленнѣ и М-г Бажатель. Съ большимъ нетерпѣніемъ дождался я утра, желая осмотрѣть городъ, съ которымъ долженъ былъ разстаться черезъ день, отправляясь къ Сухумскимъ берегамъ, на военномъ транспортѣ. Несмотря на октябрь, крымское утро было такъ тепло, какъ іюльское въ Петербургѣ. Прекрасный видъ на море и городъ открывались изъ моего окна. Прямо, за бухтою, по скатамъ и на вершинѣ возвышенностей, тѣсно лепились небольшіе мазанковые домики, кое-гдѣ мелькалъ странный тополь, уединенно поставленный за известковою стѣнкою жилья.... Вдали раздавался звукъ барабана и военной музыки, сливавшійся съ крупнымъ говоромъ татаръ, цыганъ, евреевъ и караймовъ, толпившихся въ пестрыхъ группахъ на рынкѣ. Здѣсь открывалось обширное поле для наблюдателя. Цыганы безопасно грѣлись на солнцѣ, женщины жевали, или курили табакъ, приземистый татаринъ важно возсѣдалъ на грудѣ арбузовъ, толкуя съ землякомъ объ урожаѣ капусты, которая въ Крыму также дешева, какъ стихи въ Петербургѣ; между ними сновалъ услужливый караймъ съ табакорѣзной машиною; во всѣхъ группахъ этого промышленнаго люда являлся неизмѣнный еврей, нагруженный табакомъ, таранью, ножицами и щипцами, холстомъ и ваксой; къ общему говору присоединялась громкая скороговорка торговко въ бубликами, тыквенными сѣмячками, кизилемъ и виноградомъ.... Изрѣдка толпа раздвигалась направо и налѣво, давая дорогу рогатымъ пегасамъ, которые медленно и со скрипомъ тянули вдоль рыночной площади мажару дровъ. Такой же оживленный видъ представляла и южная бухта, на лѣвомъ берегу которой раскидывается корабельная слободка, застроенная флотскими казармами, а на правомъ мастерскими.... Длинный рядъ военныхъ судовъ, втянувшихся въ гавань, нескончаемымъ лѣсомъ мачтъ покрывалъ бухту.... Барказы, легкія гички и неуклюжія лодки перевозчиковъ быстро скользили здѣсь по всѣмъ направленіямъ. Направо, за крѣпостными батареями, раскидывалось необозримою степью Черное Море... Вдали, на горизонтѣ, кое-гдѣ, какъ крыло чайки, мелькали бѣлые парусы судовъ, да у береговъ флегматически ныряли морскія свиньи.... Налѣво грядою тянулись мѣловыя возвышенности, перерѣзанныя симферопольскою дорогою и задвинутыя Инкерманскою скалою, разрушеннымъ памятникомъ генуезскаго владычества въ Крыму.... Послѣдній предметъ приковалъ къ себѣ все мое вниманіе.... Иванъ Ивановичъ такъ много рассказывалъ о Инкерманѣ, что я тотчасъ же рѣшился совершить къ нему прогулку.

Имѣя обыкновеніе дѣлать мои путевыя впечатлѣнія пополамъ съ

почтеннымъ Михеємъ Логиновичемъ, я разбудилъ старика, вздремнуваго на этотъ разъ сномъ долгимъ, покойнымъ и безмятежнымъ.

— Что это вы батюшка, Николай Васильевичъ, угомону не знаете? сердито отозвался дядька, чрезвычайно недовольный моимъ толчкомъ. Вамъ—что ночь, что день — все одно... Съ ранней поры поднялись: зачьмъ, что за оказія?... Въдь посмотрите: еще ни свѣтъ, ни заря...

— Заря и свѣтъ, Михей Логиновичъ... Семь часовъ утра, отвѣчалъ я. Вотъ ужъ я совсѣмъ готовъ, и отправляюсь сейчасъ, вмѣстѣ съ тобой, любоваться окрестностями Севастополя.

— Ну, съ вашего позволенія молвить, любоваться то окрестностями намъ теперь не время, батюшка.

— Это почему, Михей Логиновичъ?

— Да просто, сударь, всяческую канитель, примѣрно—сказать, рощи, луга и сады съ птишками надо отложить въ сторону, а подумать о себѣ. Не извольте забывать, что транспортъ завтра снимается съ якоря... Надо кое-что позакупить, кое-чемъ позапасться! Насчетъ бѣлья распорядиться: оно еще не стирано.

Дѣлать было нечего, я ясно видѣлъ, что Михею Логиновичу крѣпко хотѣлось похозяйничать и навѣстить севастопольскіе рынки. Я не возражалъ, иначе-бы старикъ разсердился не въ мѣру. Мы кончили тѣмъ, что Михей Логиновичъ займется осмотромъ чемодановъ и ихъ пополненіемъ, а я — прогулкой.

Цыганъ, ловившій въ бухтѣ ракушекъ, предложилъ мнѣ свои услуги и лодку. Я поплылъ съ нечесаннымъ и невымытымъ чичероне къ Инкерманской скалѣ. На пути не встрѣчалось ничего замѣчательнаго. Справа и слѣва тянулись одни голые холмы, да впереди, какъ въ туманѣ, тонулъ предметъ моего любопытства. На срединѣ пути цыганъ положилъ на бортъ весла, и обратился ко мнѣ...

— Теперь я перестану грести, сказалъ онъ, а вы посмотрите... Лодка пойдетъ тише: вы все увидите.

— Что же я увижу?

— А какъ же, бояръ, сахарный заводъ. У! сколько тутъ хлѣба, муки, сухарей! Смотрите! смотрите... видите! добавилъ онъ торопливо....

При этихъ словахъ, сказанныхъ моимъ проводникомъ съ особенною быстротою и энергіею, легко можно было подумать, что вниманіе его поразило какое-нибудь сверхъ-естественное явленіе. Я обернулся въ ту сторону, куда былъ устремленъ неподвижный взглядъ цыгана, и при всемъ желаніи раздѣлить съ нимъ чувство восторга и удивленія, ничего болѣе не встрѣтилъ, какъ нѣсколько невысокихъ строеній, вытя-

нущихся длиннымъ рядомъ пекарней и сараевъ по обѣимъ сторонамъ площади, задвинутой холмами, да у берега барказъ, въ который матросы грузили сухари. Последняя-то картина и была поразительнымъ зрѣлищемъ для моего цыгана. Этого я не разгадалъ въ первую минуту, по очень простой причинѣ.... сытый голоднаго не разумѣть, а мой проводникъ, какъ послѣ оказалось, былъ неистово голоденъ, голоденъ, какъ всякій порядочный цыганъ!

— Ахъ, сказалъ онъ съ глубокимъ вздохомъ и снова принимаеся за весла.... Вотъ, ееслибы, бояръ, мнѣ столько сухарей.... У!

— Чтò жъ бы ты сдѣлалъ?

— Эге! Пришелъ-бы въ таборъ.... Туда.... къ пещерамъ, на гору.... Ыль-бы сухари, лежалъ-бы на солнцѣ....

— И только?...

— Ну, и не ловилъ-бы ракушекъ.... Да, только!

— А гдѣ вашъ таборъ?

— За южною бухтой, за пересыпкой, туда къ садамъ.... Живемъ на горѣ, въ пещерахъ.... Работы нѣтъ, ѣсть нечего.

— Помилуй, любезный, какъ не найти работы?

— Да, вотъ нѣтъ.... Ну и ничего нѣтъ!

— Странно! Ты человѣкъ сильный, здоровый.... Иди на купеческое судно матросомъ.... Наконецъ, можешь имѣть работу въ виноградныхъ садахъ....

— Не берутъ: говорятъ цыганъ.... Да и какъ я уйду.... а моя Плейка, а ребятишки?... Нѣтъ работы, нѣтъ!

Въ эту минуту лодка наша ударила въ берегъ. Мы были на мѣстѣ

Собственно Инкерманомъ названо село Симферопольскаго уѣзда. Въ этомъ селѣ, не знаю, какъ теперь, но въ мое время, по правому берегу бухты стояло какое-то полуразрушенное зданіе въ тѣни тополей. Далѣе тянулись холмы, двѣ-три раскиданныхъ на площадкѣ мазанки, да, не доходя саженой четырехъ до Инкерманской скалы, возвышался грязный духанъ, съ неизбежною вмѣстимостію крымскаго вина и южноберегскаго табаку. Кромѣ караима-духанщика, забавлявшагося травлею козла съ лохматой собакой, ни одно живое существо не встрѣтилось намъ при первомъ шагѣ на берегъ. Сцена травли овладѣла всѣмъ вниманіемъ моего проводника. Онъ избоченился, надвинулъ на глаза свою шапку изъ крымской мерлушки и не двигался съ мѣста, изрѣдка приговаривая:

— Вотъ такъ ее... ну-ну-еще! ай, рогатый! Еще.... еще! Чтò, рванула?... Вотъ и подѣломъ.

Большаго труда стоило мнѣ упросить духанщика, чтобы онъ пре-

кратилъ свою забаву, иначе мой цыганъ, вполнѣ довольный козломъ и собакой, совершенно забылъ-бы о мнѣ.

— Славная собака, бояръ... а? правда? сказалъ мой проводникъ.

— Хороша...

— Отличная... Пошли меня гдѣ-нибудь раздобыть хорошую собаку...

— Цыганъ кивнулъ головой, еще разъ нѣжно взглянулъ на лохматого пса, и бѣгомъ пустился къ пещерамъ.

Наружный видъ Инкерманской скалы представляетъ громадную глыбу камня, въ основаніи котораго чернѣются неправильные, полуразрушенные входы въ пещеры. По грани самой скалы также видны отверстія, когда-то, вѣроятно, служившія окнами тѣмъ лѣстницамъ, изсѣченнымъ въ камнѣ, которыя ведутъ на вершину скалы... На темѣ ея, у западнаго обрыва, возвышаются развалины круглой каменной башни, или вѣрнѣе бойницы... по сторонамъ видны признаки когда-то возвышавшихся здѣсь стѣнъ...

Изумительно!.. Какихъ необыкновенныхъ трудовъ и усилій стоилъ человѣку этотъ замѣчательный пріютъ его! Въ глыбѣ камня — изсѣчены правильные всходы, скрытые стѣнками, — нѣсколько пещеръ правильной фигуры и цѣлыя комнаты, въ которыхъ остатки украшеній свидѣтельствуютъ, что здѣсь трудилась рука не жалкаго скитальца степей, не дикаря-татарина... Поднявшись на высоту двухъ или трехъ сажень — по лѣсенкѣ, запыленной камнемъ и поросшей слзкимъ мхомъ, проводникъ мой повернулъ направо, и мы вошли въ квадратную небольшую комнату. По голымъ, гладкимъ стѣнамъ ея и по мрачному закопченному потолку, трудно было опредѣлить, для какого назначенія служила она обитателямъ Инкерманской скалы. Зато слѣдующее отдѣленіе, въ которое ведетъ тѣсный корридоръ, освѣщенный совершенно разрушеннымъ окномъ, по оставшимся въ немъ обрывкамъ колонны и большому кресту, хорошо сохранившемуся въ кругѣ верхняго основанія амбразуры, заставляло догадываться, что здѣсь была церковь. Слѣдующая за этимъ отдѣленіемъ комната, также какъ и первая, не представляетъ ничего любопытнаго: она пуста, темна и по колѣна полна обещавшеюся со стѣнъ известью.

— Теперь, бояръ, сказалъ цыганъ... покажу вамъ, кстати, сейчасъ на выходѣ отсюда, у лѣстницы, пещерку... Это, говорятъ... такъ дѣдъ разсказывалъ... могила...

— Чья могила?

— Ухъ... бояръ!.. Это большая пѣсня... страшная штука... Дѣдъ разсказывалъ... Просто страшно, бояръ!..

— Сдѣлай милость, Расскажи...

— Да, зачѣмъ не разсказать... расскажу, садись, все расскажу... Садись, вотъ тутъ, а мнѣ дай на кварту вина и на пару бубликовъ... Ты отдохнешь, а я сбѣгаю къ караиму... Давай, бояръ!

Цыганъ такъ наивно и съ такою самоувѣренною миной протянулъ мнѣ свою руку, что не имѣть въ ней монеты онъ считалъ, казалось, дѣломъ совершенно несбыточнымъ, въ чемъ, разумѣется, и не обманулся.

Проводникъ мой скоро воротился, и довольный успѣхомъ своей экспедиціи, приступилъ къ разсказу. Вотъ эта страшная исторія.

«Еще во-времена владычества татаръ, на Крымскомъ полуостровѣ, по дорогѣ отъ Инкермана въ Бахчисарай, кочевалъ большой цыганскій таборъ. — «Житіе было тогда нашему брату, говорилъ разсказчикъ: у женщинъ и у насъ была работа. Цыганъ пригоденъ былъ на все: захворалъ-ли конь у наѣздника—въ таборъ его, глядишь, на всѣ четыре ноги и поставленъ. Понадобилось-ли травки приворотной, корешка мудреного, или заговора отъ бѣды—опять-таки идутъ, бывало, въ таборъ. Славно торговали дѣды амулетами, а бабки наши судьбу гадали, лечили отъ лихоманки, отъ дурнаго глаза; кто хочетъ—приди, дай деньги: все, бывало, сдѣлаетъ цыганъ: разскажетъ будущее, заговоритъ ружье, отведетъ саранчу, а доброму чловѣку изъ одной атары барановъ—двѣ сдѣлаетъ... Ну, теперъ не то! Цыганъ чужаго коня и не тронь; прежде, бывало, позовутъ только въ Бахчисарай, да по пятамъ выколотятъ, а нынче воровъ ау! И съ приворотной травкой уйдешь туда, гдѣ, говорятъ, отъ снѣгу прохода нѣтъ».

Въ это-то счастливое для цыганъ время, въ пустынномъ Инкерманѣ, въ одной изъ заброшенныхъ давно мазанокъ, поселился старикъ, родомъ грекъ, священникъ, и врачевавшій больныхъ.—Въ короткое время пришлецъ отбилъ всю медицинскую практику у цыганъ. Слухи о его отличномъ знаніи, о его успѣхахъ, скоро разнеслись по всѣму южному берегу, и наконецъ старикъ вошелъ даже въ милость у бахчисарайскаго каймакана, который два раза на себѣ испыталъ искусство и усердіе пришельца. Казалось, что обитатели табора не надолго останутся равнодушными къ своему сосѣду, и найдутъ случай избавиться отъ помощника, котораго содѣйствіе лишало ихъ доходовъ, вѣрныхъ и легко наживаемыхъ... однако не такъ случилось. Старый грекъ умѣлъ не только воспользоваться дружбою цѣлаго табора, но и вполне завладѣлъ волею и мыслию каждаго изъ его членовъ. Съ первыми лучами солнца онъ постоянно являлся въ кочевьѣ. Помогалъ больнымъ, щедрою рукою раздавалъ свои деньги дряхлымъ старикамъ и ребятишкамъ, научалъ ихъ добру, кротко осуждалъ ихъ проступки, говорилъ о истинномъ Богѣ, указывая на христіанскую религію, какъ на вѣрный путь

къ жизни счастливой... Скоро церковь Инкерманской скалы была исправлена, и новообращенные дикари, вмѣстѣ съ своимъ благодѣтелемъ, начали молиться въ ней... Отъ бахчисарайскихъ блюстителей магометанства не могъ скрыться успѣхъ проповѣди стараго грека... Но боясь вниманія къ нему каймакана, муллы долго не рѣшались дѣйствовать непріязненно и открыто противъ обитателя Инкерманской скалы... Они выжидали только удобнаго случая, который предалъ бы въ ихъ руки опаснаго и умнаго врага.

Случай, странный и долго ничемъ необъяснимый, скоро представился.

Была глубокая и темная осень. Желтый листь, упавшій съ тополей, давно уже запылилъ тропинки Инкермана. Вѣтеръ съ утра до поздняго вечера и во всю ночь не переставалъ завывать въ пещерахъ скалы, выметая изъ нихъ сугробы камней и пыли. Море бушевало, нагоняя волны на берегъ и ни одного судна не появлялось въ виду этихъ береговъ, даже не было слуховъ о страшныхъ нападеніяхъ на беззащитныхъ купцовъ корсара Кара-Булани, разбойника и безбожника — по преступленіямъ.

Сжившійся съ уединеніемъ старый грекъ и въ это грустное время не покидалъ своей мазанки.

Однажды, ненастной дождливою ночью, онъ возвратился изъ Бахчисарая, отъ какого-то больнаго армянскаго купца, развелъ огонь на своемъ очагѣ и занялся приготовленіемъ лекарствъ. Скудный огонекъ лампы, которую замѣняла раковина, слабо освѣщаль грязныя стѣны мазанки. Дождь крупными каплями падалъ съ ветхаго потолка, звонко стуча о плиты пола; вѣтеръ, врываясь въ отверстіе печки, сильно раздувалъ огонь на очагѣ, и искры, какъ дождь, сыпались на полъ, съ трескомъ разлетаясь по сторонамъ мазанки. Занятый чтеніемъ книги, старикъ не тревожился шумомъ непогоды... Однако, въ самую полночь, вниманіе его было вызвано отдаленнымъ говоромъ, какъ-будто бы раздавшимся на берегу бухты. Старикъ началъ прислушиваться... но говоръ не повторялся, и только шелестъ шаговъ, да шумъ отъ упавшихъ со скалы камней, слышались теперь нашему пустыннику...

— Это вѣтеръ; мнѣ послышалось! проговорилъ старикъ, снова обращаясь къ своему занятію.

Въ тоже время громкій и нетерпѣливый стукъ раздался у дверей мазанки.

— Такъ и есть, это вѣрно путники ищутъ пріюта отъ непогоды; слухъ меня не обманулъ. Кто тутъ?

— Почтенный старецъ, отвѣчалъ голосъ за дверью, ваши земляки, греки изъ Ипсары, желаютъ видѣть васъ по весьма важному дѣлу.

Дѣйствительно, когда старикъ отворилъ дверь, на порогъ ея показались два рослые, молодцоватые грека, въ красныхъ фескахъ, закутанные въ длинные суконные плащи.

Когда незнакомцы сбросили на лавку свои мокрые плащи, старикъ невольно отступилъ отъ гостей на нѣсколько шаговъ, при видѣ ихъ богатаго костюма и щегольского вооруженія. Несмотря на ласковый тонъ незнакомцевъ, такой опытный человѣкъ, какъ инкерманскій отшельникъ, легко догадался, что имѣетъ дѣло съ людьми, которые явились къ нему не съ просьбою о ночлегѣ, но съ дѣломъ поважнѣе этого одолженія. Суровыя смуглыя лица ихъ, отмѣченныя выраженіемъ дерзости и отваги, нѣсколько не отвѣчали роскошнымъ шелковымъ курткамъ, украшеннымъ серебромъ, и богатымъ шалевымъ поясамъ, изъ-за которыхъ сверкала золотая насѣчка на кинжалахъ и пистолетахъ.

— Чѣмъ могу служить моимъ пріятнымъ гостямъ? спросилъ старикъ, оправившись нѣсколько отъ своего недоумѣнія...

— Прежде позвольте узнать ваше имя, св. отецъ? почтительно проговорилъ одинъ изъ незнакомцевъ.

— Константинъ.

— И такъ, отецъ Константинъ, позвольте на одну четверть часа отвлечь васъ отъ вашихъ полезныхъ занятій...

— Даже менѣе, чѣмъ на четверть, подхватилъ другой... Не угодно-ли вамъ слѣдовать за нами... Но прежде покорно просимъ принять вотъ этотъ кошелекъ съ цехинами. Съ этими словами грекъ бросилъ на лавку небольшой кожаный мѣшокъ, потомъ снялъ со стѣны шапку хазанна, и съ тою же почтительною подалъ ее Константину...

— Но, друзья мои, сказалъ изумленный старикъ: я желалъ бы знать, какой услуги вы отъ меня требуете?

— Исполненія вашей обязанности и христіанскаго обряда... Не угодно-ли вамъ слѣдовать за нами и обвинять двухъ особъ въ часовѣ Инкерманской скалы...

Старикъ не зналъ, что отвѣчать на такое предложеніе. Позднее время ночи, странный нарядъ незнакомцевъ, неожиданное ихъ посѣщеніе,—все это смутило его.

— Господа, сказалъ онъ, для меня кажется чрезвычайно страннымъ ваше предложеніе... Неожиданность... такое позднее время...

— Это не ваше дѣло, отецъ Константинъ, пожалуйста съ нами.

— Но я, по-крайней-мѣрѣ, желалъ-бы знать, кто тѣ, которыхъ...

— Это лишнее...

— Въ-такомъ-случаѣ я не пойду!

Незнакомцы переглянулись.

— Въ-случаѣ вашего несогласія, сказалъ одинъ изъ грековъ, дѣлая медленное движеніе къ пистолету, намъ вѣрно...

— Лучше кончимъ дѣло миролюбиво, отецъ Константинъ, подхватилъ другой... Исполняя этотъ обрядъ, вы не принимаете на совѣсть никакого грѣха...

— Но если этотъ бракъ противенъ уставамъ нашей Церкви.

— Даю вамъ честное слово, что ваши сомнѣнія напрасны...

— Насъ ждуть... Идите... мы и безъ-того потеряли много времени.

Старикъ вышелъ за своими гостями.

Дождь и вѣтеръ, казалось, усилились при первомъ шагѣ незнакомецъ и Константина за порогъ мазанки. Непроницаемый мракъ царствовалъ кругомъ, журчаніе потоковъ, взвизгъ порывистаго вѣтра и шумный прибой моря, все это навѣяло небольшой страхъ на сердце старика. Къ-тому же таинственность случая, въ которомъ на его долю выпадала одна изъ первыхъ ролей, не могла не занимать его мыслей... Онъ терялся въ тревожныхъ и страшныхъ догадкахъ... Греки шли молча и скоро. Вотъ, наконецъ, открылась и скала. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ широкое, пробитое въ стѣнѣ окно указываетъ на помѣщеніе часовни, старикъ былъ изумленъ, замѣтивъ въ немъ яркій свѣтъ. Громкій говоръ слышался въ верхнихъ пещерахъ, по лѣстницѣ мелькали факелы и множество людей, одѣтыхъ совершенно такъ-же, какъ и провожатые Константина. Послѣдніе взяли старика подъ руки и бѣгомъ внесли его наверхъ. При входѣ въ первое отдѣленіе, Константинъ съ ужасомъ отетушилъ назадъ, замѣтивъ, что справа, у извѣченной въ стѣнѣ коморки былъ брошенъ огромный камень, за которымъ стояли одинъ на другомъ два гроба. Провожатые не дали очнуться старику отъ изумленія, и быстро ввели его въ церковь. Нѣмое молчаніе воцарилось здѣсь съ появленіемъ отца Константина. Толпа лицъ грозныхъ и мрачныхъ окружала его. Ярко пылали факелы въ рукахъ таинственныхъ посѣтителей Ингерманской скалы, ярко блистало серебро и золото на ихъ одеждѣ и вооруженіи, и ни одного слова, ни одного звука не раздавалось подъ сводами пещеры. Прислонившись къ одной изъ полуразрушенныхъ колоннъ, въ нѣмомъ молчаніи стоялъ, повидимому, начальникъ всей этой блестящей толпы. Нарядъ его былъ простъ, но стройный ростъ, взглядъ смѣлый, полный отваги, и то почтительное отдаленіе, въ которомъ каждый изъ присутствующихъ находился отъ этого человѣка,—все говорило, что все совершается здѣсь по его желанію...

Когда старый грекъ всталъ на свое мѣсто, рослый незнакомецъ

судорожно повернулся къ дверямъ и далъ знакъ рукою. Толпа тихо раздвинулась. Подъ сводами пещеры раздался торопливый звукъ шаговъ, и стройный молодой человекъ ввелъ за руку дѣвушку красоты поразительной... Молча, блѣдная, какъ мертвецъ, она опустила на колѣна. Въ лицѣ жениха замѣчалось менѣе волненія, но по временамъ взглядъ его, устремленный на распятіе, выражалъ душевную тоску и едва скрываемое отчаяніе.

— Отецъ Константинъ! благословите стоящую передъ вами чету, раздалось изъ толпы....

Обрядъ начался.

— Ваши имена? спросилъ старикъ, обращаясь къ новобрачнымъ.

— Михаилъ и Марія, отвѣчалъ женихъ, тихимъ и прерывистымъ голосомъ.

— Михаилъ! продолжалъ совершавшій обрядъ, — желаешь-ли ты вступить въ бракъ съ стоящею подлѣ тебя Марією?

— Да! и это «да», сопровождаемое глубокимъ вздохомъ, звучно раздалось подъ сводами пещеры.

— Марія! желаешь-ли ты быть супругою стоящаго подлѣ тебя Михаила?.. отвѣчай однимъ словомъ!

Блѣдное и помертвѣлое лицо невѣсты сверкнуло огнемъ жизни. Глаза ея наполнились слезами, судорожно сжались тонкія губы дѣвушки, и она едва внятно, съ большимъ усиліемъ, сказала: да!

Общій вздохъ всѣхъ присутствовавшихъ и ихъ беспокойное движеніе высказало то участіе, которое принимали они въ новобрачной....

При ея отвѣтѣ, рослый грекъ сдѣлалъ нетерпѣливое, быстрое движеніе впередъ, и въ ту же минуту, какъ будто самъ не одобряя своего скрытнаго намѣренія, онъ съ злобною улыбкою оставилъ пещеру.... Нѣсколько человекъ бросились за нимъ съ факелами.

Обрядъ кончился.... Новый говоръ раздался въ толпѣ въ то время, какъ тѣже два незнакомца подошли къ старому греку, и вывели его изъ пещеры....

— Не забудьте, св. отецъ, свершить завтра, здѣсь же, и другой обрядъ! таинственно сказалъ одинъ изъ нихъ....

Выведенный на дорогу, старикъ оглянулся на скалы.... Огня тамъ уже не было, но крупный говоръ и даже крикъ все еще раздавались въ пещерахъ.... Вдругъ зарокоталъ выстрѣлъ, потомъ другой, и съ его отголоскомъ, повтореннымъ эхомъ въ скалахъ, смолкло все.... Какъ-будто молчаливыя тѣни усопшихъ теперь двигались на скалахъ въ виду стараго грека.... Медленно и толпами сходили съ горы недавніе зрители брачнаго обряда, направляясь къ берегу бухты.

Чрезъ полчаса, на скалѣ и на тропинкахъ все было пусто и безмолвно. Все минувшее, все совершившееся передъ глазами стараго грека, казалось ему теперь сномъ, тяжелымъ и таинственнымъ. Два гроба, ужасъ и волненіе, изображавшіяся на лицахъ новобрачныхъ, неразгаданныя слова: «отецъ Константинъ, не забудьте завтра совершить и другой обрядъ,» тревожно отзывались въ мысляхъ старика. Въ первую минуту, приведя себя на память выстрѣлы и шумный говоръ, которые раздавались въ пещерѣ по его уходѣ, онъ готовъ былъ подняться на скалу, но невольный страхъ отнял у него всю смѣлость.

Разсвѣтъ былъ близокъ, непогодливая ночь уже смѣнялась холоднымъ утромъ, когда отецъ Константинъ отправился въ таборъ, желая разказать друзьямъ своимъ о странномъ происшествіи минувшей ночи. Въ цыганскомъ кочевьѣ еще никто не просыпался, и только одвѣ сторожевыя собаки съ ласковымъ визгомъ и лаемъ встрѣтили стараго грека.

На этотъ визгъ распахнулся одинъ изъ шатровъ, между лоскутьями грязнаго холста мелькнулъ красный тюрбанъ цыганки, и не прошло пяти минутъ, какъ на зовъ ея проснулся весь таборъ.... Старики, дѣти и женщины, всѣ съ изъявленіемъ дружбы и ласки, обступили ранняго гостя.

Общее удивленіе и тысяча догадокъ были слѣдствіемъ необыкновеннаго разказа, который отецъ Константинъ передалъ друзьямъ своимъ....

— Пойдемте въ Инкерманъ! Пойдемте! Посмотримъ, что ночные гости оставили намъ въ гробахъ!—говорили цыганы....

— И толпа безпечныхъ обитателей бахчисарайской дороги съ громкимъ говоромъ и энергическими восклицаніями двинулась къ скалѣ.

Отецъ Константинъ, сопровождаемый цыганами, поднялся до входа въ пещеры, и въ страшномъ предчувствіи близкой бѣды, съ ужасомъ указалъ на огромный камень, которымъ была задвинута небольшая пещера.

Тотчасъ-же десять рукъ схватились за камень, дружно рванули его впередъ, и бросили на землю.

Вопль изумленія и ужаса раздался въ толпѣ зрителей, когда глаза ихъ встрѣтили страшную картину пещеры....

Въ гробахъ, которые видѣлъ ночью старый грекъ, лежали два трупа.... Въ нихъ онъ узналъ Михаила и Марію....

На этомъ мѣстѣ разказа цыганъ мой остановился, и задумчиво устремилъ глаза на пещеру, игравшую такую замѣчательную роль въ его повѣствованіи.

— Ну, ну — что же дальше? нетерпѣливо сказалъ я. Въ-самомъ-дѣлѣ странное обстоятельство, досказывай, сдѣлай одолженіе!

— Эге! Странное... въ раздумьи отозвался онъ, разсѣянно заглянувъ въ окно!

Въ эту минуту, какъ будто кто горячимъ углемъ бросилъ въ лицо моего рассказчика. Почти съ визгомъ онъ подпрыгнулъ на мѣстѣ и съ крикомъ: «Мои ракушки! мои ракушки, ... Ясулдагъ, Ясулдагъ, стой!» торопливо бросился внизъ по лѣстницѣ.

Не понимая причины его отчаяннаго крика, я послѣдовалъ за цыганомъ....

— Ясулдагъ! Ясулдагъ! отдай мои ракушки! кричалъ Цыганъ, перебѣжавшій уже площадку и во всю прыть пустившійся берегомъ бухты, въ то время, какъ какой-то татаринъ, завладѣвъ его лодкою, изъ всѣхъ силъ работалъ веслами, направляясь къ сухарному заводу.

Между-тѣмъ караимъ, свидѣтель этой сцены, громко, почти до слезъ хохоталъ, оставаясь на порогѣ своего духана.

— Ай-да Ясулдагъ!... накрылъ-таки-молодца, говорилъ онъ, не переставая смѣяться.... Таки-вотъ накрылъ! Нашель.... да ужъ и нашель-то въ-время!

— Что это значить, объясни, любезный? спросилъ я... Что сдѣлалось съ моимъ цыганомъ: онъ, какъ угорѣлый, бросился изъ пещеры...

— Съ цыганомъ-то, съ Гаримомъ, который съ вами пріѣхалъ?

— Ну да.

— А просто, сударь, то, что онъ наловилъ ракушекъ, а Ясулдагъ съѣсть ихъ...

— За что же это?

— А зато, что не воруй... не кради, не обижай, и тебя не обидятъ. Онъ увелъ изъ корабельной бухты лодку Ясулдага, а тотъ теперь увелъ и лодку, и ракушки.

Между-тѣмъ цыганъ и татаринъ исчезли изъ виду. Я думаю самъ Гаримъ, потерявшій лодку и сотню ракушекъ, не былъ въ такомъ досадномъ положеніи, какъ я. Во-первыхъ, лишенный ветхой гондолы и лохматого гондольера, я долженъ былъ отправиться къ моему Михею Логиновичу пѣшкомъ, въ обходъ холмовъ и по открытымъ полямъ. Непривычный къ южному солнцу, я приходилъ въ ужасъ при одной мысли объ истомленіи, которое ожидало меня.... Во-вторыхъ, заинтересованный рассказомъ Гарима, я крѣпко досадовалъ на Ясулдага и ракушекъ, лишившихъ меня удовольствія знать конецъ страшной повѣсти, въ которой такъ много было таинственнаго и такая бездна дѣйствующихъ лицъ....

— А какъ ты думаешь, любезный, спросилъ я, снова обращаюсь къ караиму: дождусь я моего проводника?...

— Ну, не скоро онъ явится, не скоро! Онъ теперь будетъ бѣжать за Ясулдагомъ до самой южной бухты, тамъ они встрѣтятся, разумѣется, подерутся, .. А вѣдь ужъ извѣстно, коли цыганъ съ татарининомъ свяжутся, такъ ихъ и водой не разольешь.

Дѣлать было нечего; обреченный на мои тяжкія испытанія, я разспросилъ о ближней дорогѣ, и побрелъ въ Сѣверную слободку.

Противъ всякаго ожиданія, дорога миновалась для меня быстро и безъ утомленія, чему, разумѣется, много помогало раздумье о разсказѣ цыгана и тѣ догадки, въ которыя я былъ погруженъ, желая хоть самъ, въ свое утѣшеніе, присочинить какой-нибудь конецъ къ этой драматической легендѣ... Вечеромъ оказалось, что я зналъ конецъ, но не зналъ начала. Гаримъ, какъ опытный повѣствователь, воспитанный въ школѣ восточныхъ разсказчиковъ, искусно расположилъ свое повѣствованіе, и началъ его съ конца, чѣмъ удвоилъ интересъ.

Радостною и веселою улыбкою встрѣтилъ меня Михай Логиновичъ, выглянувъ изъ окна мазанки. Лицо его, казалось, помолодѣло десятью годами, голова кивала такъ быстро, какъ у гипсоваго зайчика....

— Пожалуйте-ка, пожалуйста, батюшка, говорилъ онъ, самодовольно потирая руки... Насилу васъ дождался!.. Такой, примѣрно сказать, комплектъ радостей здѣсь составилъ, что, выходить, вы безъ ума отъ всякаго пріятства будете....

— Вотъ, подумалъ я, выдался-же денекъ, въ который я долженъ переходить постоянно отъ изумленія къ другому....

— Пожалуйте-же скорѣй, батюшка; у насъ гость дорогой.

— Гость! Кто такой!

— Да ужъ войдите въ комнату: сами увидите, а пока не скажемъ.

— Макаръ Макаровичъ! вскричалъ я, пораженный неожиданною встрѣчею, и переступая порогъ мазанки.

— Николай Васильчъ, доблестный пенатъ мой, возвращеніе мое, зерно горчичное, принесшее обильные плоды! съ неподдѣльнымъ восторгомъ и умиленіемъ проговорилъ мой старый менторъ.

Менторъ и Телемакъ упали въ объятія другъ-друга. Пятнадцать лѣтъ прошло съ того дня, какъ я разстался съ Макаромъ Макаровичемъ. Въ эти пятнадцать лѣтъ Остроумовъ измѣнился наружно такъ, что только я, да Михай Логиновичъ могли его узнать при неожиданной встрѣчѣ. Это ужъ не былъ тотъ худощавый и блѣдный ученый, который съ такою любовью къ своему предмету толковалъ мнѣ о краснорѣ-

чи, поэзи и спряженіи латинскихъ глаголовъ. Теперь въ Макарь Макаровичѣ мы встрѣчали полнаго, румянаго весельчака, въ форменномъ докторскомъ сюртукѣ.... Теперь добрый другъ нашъ не заикался ни о Дмитріѣ Заографѣ, ни даже о любимцѣ своемъ Тредьяковскомъ. Онъ только говорилъ объ удачныхъ операціяхъ, о смѣлыхъ перевязкахъ, объ экспедиціяхъ въ горахъ, о славной жизни на береговой линіи, бранилъ черкесовъ и фельдшеровъ, и не могъ нахвалиться нашими моряками.

Въ обоихъ случаяхъ, Макарь Макаровичъ былъ совершенно правъ, что, въ—послѣдствіи, мнѣ довелось испытать на самомъ дѣлѣ. Разумѣется, встрѣча наша не ограничилась одними восклицаніями. Сначала мы обратились, какъ и слѣдовало, къ своему прошедшему, потомъ къ настоящему... Причемъ не обошлось безъ разногласія между Михеемъ Логиновичемъ и Макаромъ Макаровичемъ, когда предметъ разговора обратился къ тому роду службы, который я избралъ себѣ. Побѣда осталась за докторомъ, и съ этой минуты мой старый дядька только однажды, крѣпко подрогнувъ въ бивуачномъ болотѣ, замѣтилъ мнѣ: «Лучше бы было вамъ, сударь, писать: писать вѣдь такъ—сказать учили!» Садясь за нашу дружескую трапезу, я шепнулъ Макару Макаровичу нѣсколько словъ о Танечкѣ, и съ сокрушеннымъ сердцемъ передалъ ему неконченный рассказъ о инкерманской могилѣ. Последнее обстоятельство сильно затронуло любопытство даже и Михея Логиновича.

— Гм! да это что—нибудь не—спроста! глубокомысленно замѣтилъ онъ...

— Народное повѣрье! подхватилъ Макарь Макаровичъ, можетъ—быть, и сказка пополамъ съ истиною, но тѣмъ не менѣе я желалъ бы знать конецъ ея... Потому особенно, что съ—нѣкоторыхъ—поръ занимаюсь собираніемъ подобныхъ рассказовъ, и у меня ихъ есть уже запасъ порядочный... Пошатавшись по Россіи, гдѣ съ полкомъ, гдѣ просекававъ на телегѣ, а гдѣ и погостивъ у добраго помѣщика, я подслушалъ много: такъ—напримѣръ, изъ Смоленской губерніи вывезъ рассказъ объ «*Очарованномъ островкѣ*», въ Суздальѣ слышалъ о «*Поганомъ озерѣ*», на берегахъ рѣчки Истья повстрѣчалъ «*Камни Кудеяра*», или какъ ихъ зовутъ тамъ, «*Каменные кресты*». Знаю исторіи: «Студенецкаго дуба», «Клады кудрявой березы», — Да гдѣ пересчитать всѣ эти легенды о «городѣ Берендеевѣ», о «Гуляй—колоколѣ» и «Васѣ Переяславцѣ»... Языка не хватаетъ! заключилъ словоохотливый Макарь Макаровичъ.

— Любопытно бы, весьма любопытно слышать всѣ эти исторіи, сказалъ Михей Логиновичъ, готовый, какъ казалось, вызвать на открытость нашего общаго друга.

— Повѣдайте-же, Макаръ Макаровичъ, хотя единую повѣсть изъ вашего запаса сказокъ, отъ которыхъ такъ недалеко до исторической правды!.. присоединилъ свой голосъ и я.

— Разсказать не устать—есть старая присказка, старый другъ мой, отвѣчалъ Остроумовъ, да все это у меня уже записано, и при первомъ шагѣ на транспортъ, я предложу тебѣ прочесть мой сборникъ русскихъ повѣрьевъ, а теперь у насъ и безъ-того есть неизсякаемый запасъ разсказовъ... И, не угодно-ли, начнемъ... Однако, что это, продолжалъ онъ... Посмотрите... Чего хочетъ эта курчавая голова, которая такъ наивно торчитъ въ нашемъ окнѣ...

— А! Гаримъ! вскричалъ я, взглянувъ въ окно и замѣчая въ немъ голову моего проводника цыгана, которому несказанно обрадовался.

Цыганъ приподнялъ свою шапку, встряхнулъ ее и положилъ на окно.—За службу, бояръ! сказалъ онъ... Хоть серебра, хоть мѣди — для меня все деньги.

— Кончи твой разсказъ: не будешь въ накладѣ, вскричалъ Макаръ Макаровичъ... Честный человекъ, цѣлый карбованецъ дамъ...

— Карбованецъ! съ недověрчивою улыбкой спросилъ Гаримъ... Бояръ шутку любить!

— Нѣтъ, нѣтъ! Досказывай! Иди сюда... Вотъ—на! И свѣтлый цѣлковый упалъ въ шапку изумленного цыгана.

Черезъ минуту, обладатель серебрянаго рубля, выпросивъ у насъ еще старый коверъ въ придачу къ щедрой платѣ Остроумова, наслаждался остатками нашего обѣда, и усердно поѣдая соленого гуся, продолжалъ свое повѣствованіе.

Я записываю его не прямо со словъ разсказчика, но какъ сохранила мнѣ его память.

«Въ полдень бахчисарайскій каймаканъ уже былъ извѣщенъ о ночномъ происшествіи Инкерманской скалы. Враги стараго грека какъ нельзя лучше воспользовались этимъ случаемъ. Отецъ Константинъ былъ обвиненъ въ сотнѣ такихъ преступленій, какихъ не совершилъ даже и Кара-Булани, злодѣй, изобрѣтательный на преступления, и который, какъ узнали въ таборѣ, въ тотъ самый день былъ пойманъ съ своею шайкою на шлопкѣ у крымскихъ береговъ, гдѣ нынѣ находится Тарханхутскій маякъ.

Вечеромъ, отрядъ вооруженныхъ всадниковъ окружилъ мазанку грека, разогналъ цыганъ, бродившихъ въ Инкерманѣ, и взялъ стараго отца Константина. Купцы, татары и армяне уже запирали свои лавки, духаны и кофейни, когда бѣднаго плѣнника стража ввезла въ тѣсную улицу Бахчисарая. Взрослые встрѣтили арестанта бранью, мальчишки грязью, и

двери смрадной избы, замѣнявшей тюрьму, надолго затворились за виновнымъ узникомъ.

Вѣря въ Провидѣніе, несчастная жертва печальнаго случая, отецъ Константинъ безгрешетно и равнодушно встрѣтилъ свое горе.

Сѣренькій свѣтъ наступившаго сумрака пробивался въ окно, прорѣзанное на высотѣ одной сажени въ тѣсной и грязной коморкѣ, въ которую былъ заключенъ старый грекъ. Полусгнившая рогожа, вѣроятно, назначенная постелью плѣнника, валялась въ углу, да грязная скамья, поставленная подъ окномъ, — вотъ все, что составляло утварь этой коморки. Старикъ былъ совершенно доволенъ тѣмъ, что нашелъ здѣсь: онъ никогда не имѣлъ ложа лучше того, которое теперь встрѣтилъ... За деревянной перегородкой, далеко недостроенной до закопченаго потолка, слышались шорохъ и звонъ цѣпей.

— Вѣрно сосѣдь мой такой же несчастный, какъ и я! подумалъ старый грекъ, съ тяжелымъ вздохомъ опускаясь на скамью... Хорошо, что эти еще изверги не отняли у меня утѣшеніе дѣлать съ кѣмъ-нибудь свое горе... Тонкая стѣнка и отверстіе вверху даютъ намъ право иногда и побесѣдовать... Еще старый грекъ не успѣлъ кончить своей мысли, какъ тяжелый запоръ загремѣлъ на сосѣднихъ дверяхъ; затѣмъ послышался звукъ оружія и шумъ шаговъ. Въ ту же минуту за перегородкой блеснулъ огонь...

— Кара-Булани! раздался чей-то голосъ въ сосѣднемъ отдѣленіи; милостивому, великому, сильному и славному хану моему, на пресвѣтломъ совѣтѣ мудрыхъ его сановниковъ, угодно было рѣшить, что ты будешь казненъ до восхода солнца...

— Охота же ему такъ рано васъ беспокоить, почтенный вѣтникъ моей радости! насмѣшливо отозвался арестантъ.

— Товарищи твои уже казнены...

— Стало-быть, они счастливѣе меня... Жалѣю только о томъ, что меня обсчитываютъ, какъ старшаго: голова моя была всегда впереди ихъ...

— Я приславъ къ тебѣ не затѣмъ, чтобы выслушивать твое неудовольствіе...

— А кто тебѣ его навязываетъ... Убирайся!

— Напрасно ты думаешь, разбойникъ...

— Не бранись... и не подходи близко; задущу моими цѣпами... сказалъ заключенный, и желѣза загремѣли на его рукахъ.

— Если онъ еще пошевелинется, продолжалъ первый голосъ, какъ бы отвѣчая хладнокровіемъ на дерзкое равнодушіе корсара, и повидимому, обращаясь къ окружавшей его стражѣ, то выколотите его хорошенько нагайками... Слушай, связанный волкъ...

— Ну, говори: въ скукѣ и дуракѣ товарищъ...

— Въ нагайки его!..

— Подступишь!..

И снова слышно было, какъ звѣня скрестилась цѣпь на рукахъ арестанта?.. Казалось, никто не шелохнулся съ мѣста...

— Удавить меня можете! насмѣшливо сказалъ Кара-Булани, не покидая своего грознаго положенія; а можете потому, продолжалъ онъ, что Кара-Булани будетъ спать...

— Но прежде, чѣмъ ты уснешь, съ тѣмъ, чтобы никогда не просыпаться, — Каймаканъ еще разъ спрашиваетъ у тебя: гдѣ скрыты награбленныя тобою сокровища?..

— Зачѣмъ же ему награбленное?

— Дай мнѣ сказать тебѣ то, что велѣлъ сказать онъ, и потомъ думай, что хочешь...

— Очень обязанъ тебѣ и многомудрому Каймакану зато, что могу думать съ вашего позволенія...

— Если же, продолжалъ татаринъ, ты не скажешь добровольно — то тебя будемъ пытаться. Прощай! Два часа сроку... Да еще надо добавить тебѣ:

— Еще что-нибудь? Не много ли?

— У тебя есть сосѣдъ, такой же гяуръ, какъ и ты. Если желаешь за нѣсколько часовъ до смерти побесѣдовать съ нимъ, то я позволяю. Прощай...

— Аларсыкъ! (спасибо!) насмѣшливо отозвался Кара-Булани, — въ ту минуту, какъ снова тяжелый запоръ загремѣлъ на его двери и мѣрные шаги часовыхъ вмѣстѣ съ звукомъ оружія раздались по корридору.

Снова все смолкло. Тишина темничнаго спокойствія теперь нарушалась только шелестомъ шаговъ часовыхъ, прохаживавшихся у дверей заключенныхъ и подъ окнами ихъ.

Старый грекъ, невольный свидѣтель сцены, происходившей за перегородкой, погрузился въ грустное раздумье. Ему, какъ человѣку, боготворившему жизнь добродѣтели и упованія въ святой Промыслъ, тяжело и грустно стало за равнодушіе своего сосѣда, который за часъ, или за два передъ смертью не высказалъ ни одной мысли раскаянія.

Еще долго бы онъ предавался этимъ печальнымъ думамъ, какъ громкій звонъ цѣпей въ сосѣдней комнатѣ, потомъ звонкое паденіе тяжелаго тѣла и, наконецъ, шорохъ на закраицѣ перегородки вывели его изъ задумчивости.

Старикъ приподнял голову и съ крикомъ: «Какъ, это ты!» бросился впередъ.

— Отецъ Константинъ! съ тѣмъ же изумленіемъ повторилъ Кара-Булани, въ эту минуту вобразившійся на перегородку.

Въ лицѣ своего товарища, старшій грекъ узналъ того самого начальника незнакомой толпы, которая наканунѣ заставила его обвинять несчастную чету.

— Зачѣмъ ты здѣсь, старикъ? спросилъ Кара-Булани.

— Враги хотятъ моей смерти. Для нихъ нашелся наконецъ вѣрный предлогъ обвинить меня. Я знаю свой конецъ: не боюсь его и умру безъ ропота. Но, Кара-Булани! Утѣшь, успокой послѣднія минуты старика, умри христіаниномъ! Раскайся и я первый прошу тебѣ мои страданія... Я буду молиться за тебя... Раскайся, помолимся вмѣстѣ.

— Отецъ Константинъ, вѣрь мнѣ, я уже раскаялся... молиться готовъ: молитва будетъ послѣднимъ моимъ словомъ, отвѣчалъ заключенный. Но прежде выслушай меня, продолжалъ онъ: я расскажу тебѣ все; еще никто не знаетъ всей грустной и позорной исторіи моей жизни... Слушай... Что я скажу—то нужно тебѣ знать для твоего спасенія.

«Я родился на Ипеарѣ; отецъ мой былъ простой рыбакъ, но, къ чести его, старшій, извѣданный врагъ турокъ, врагъ по крови! Однажды, въ праздникъ, толпа молодыхъ ипеариотовъ подралась съ мусульманами... Ночью, комендантъ острова, отмщая грекамъ, съ ватагою солдатъ напалъ на дома нашихъ рыбаковъ, перерѣзалъ ихъ женъ, стариковъ и дѣтей... Въ это же время грудной младенецъ, родной братъ мой, былъ вырванъ изъ рукъ матери и брошенъ вмѣстѣ съ нею въ море. Съ-тѣхъ-поръ отецъ мой поклялся вѣчною ненавистью, вѣчнымъ мщеніемъ врагамъ своимъ, и сдержалъ свое слово! Я уже былъ на возрастѣ. Какъ теперь помню бурныя непогоды, темныя ночи, разгульный вѣтеръ на морѣ и тѣ страшныя, но любопытныя сцены, которыя были первымъ шагомъ въ моей жизни. Рано утромъ, отецъ мой оставлялъ берегъ. Въ лодку сѣдлись: онъ, я и молодецъ Марко, сирота, родной племянникъ моего отца. Подъ парусъ, брошенный на дно лодки, мы имѣли обыкновеніе прятать пару винтовокъ, два топора и порядочный запасъ пуль и пороху. Далеко и безстрашно, на своемъ вертявомъ каякѣ, уходили мы отъ родныхъ береговъ,—терпя иногда страшныя штормы и гуляя въ морѣ дней по пяти и больше. Не рыбу удляли мы тамъ; мы ждали славной встрѣчи съ какою-нибудь турецкою лодченкою, хотя бы она на пять кабельтовоушла отъ своего суна... При этой встрѣчѣ мы смѣло настигали враговъ,—смѣло принимали ихъ на прицѣлъ винтовокъ, и топоръ кончалъ все дѣло! Случалось, что иногда мы и не даромъ пускались на очевидную опасность. Были встрѣчи, при которыхъ мы удляли золотую рыбку: намъ попадались тогда подъ

руку и грузы и цехины. Отец мой был старый морякъ, хитрый, осторожный, и всегда так разрѣшалъ поискъ, что ни одного подозрѣнія, ни одного пятна крови не оставалось на немъ.

Разъ, какъ-то осенью, непогода заставила насъ спуститься къ острову Хю. Два дня мы проплутали въ морѣ безъ добычи и встрѣчи, а тутъ, на трегій, еще пришлось пріютиться тамъ, гдѣ не было ни родичей, ни знакомыхъ. Отецъ былъ взбѣшенъ до неистовства....

— Держись въ виду береговъ, сказалъ онъ.... Я на рулѣ: волна не ударитъ въ кайкъ.... выждемъ кого-нибудь!

— Но кого-же? осмѣлился замѣтить Марко, всегда безгласный исполнитель воли моего отца.

— Кого! вскричалъ разсерженный отецъ... Ты уже наконецъ не вѣришь моимъ глазамъ, моей опытности!..

— Я ничего не вижу, капитанъ....

— Не видишь?

И старикъ, схвативъ за плечо своего племянника, почти бросилъ его на лѣвый бортъ судна.

— Смотри! сказалъ онъ: вонъ турецкая кочерма, богатая, съ дорогимъ грузомъ. Видишь ли на ней тревогу и хлопоты? Турки хотятъ свозить товаръ Я знаю, продолжалъ онъ, что они боятся съ кочермою остаться на ночь у береговъ.... Держись на веслахъ, говорю! Первая лодка—нашъ призъ!

Зыбъ была такъ сильна, что кайкъ нашъ безпрестанно заливало, и мы едва, съ большими усиліями, успѣвали отливать воду. Долго не видя встрѣчнаго кайка, отецъ мой, наконецъ, рѣшился стать за небольшимъ мысомъ, съ котораго открывался пространный видъ на море.

Смеркалось, когда мы завидѣли небольшую лодочку, оттолкнувшуюся отъ борта кочермы. Въ это время, четыре хюсца, занимавшіеся, какъ они признались намъ, однимъ съ нами ремесломъ, перешли на нашу лодку. Всѣ хорошо вооруженные, мы вышли на видъ острова и отрѣзали перевалъ нашимъ недругамъ.

Въ разстояніи пистолетнаго выстрѣла, легко можно было разглядѣть, что во встрѣчной лодкѣ находились четыре вооруженные матроса, нѣсколько тюковъ съ товарами и женщина безъ чадры! По костюму легко было признать въ ней гречанку. Дѣйствительно, это была прекрасная дѣвушка. Какъ теперь помню ея правильное личико, блѣдное отъ страха, но прекрасное, полное еще той юной, дѣвственной свѣжести, когда женщина только что готова начать жизнь съ ея мечтами и очарованіями. Турки не подозрѣвали нашихъ намѣреній, и смѣло шли на насъ. Мы были почти бортъ о бортъ, и я легко могъ любоваться красавицею. Встрѣченный

мною взгляды ея такъ далеко запалъ мнѣ въ душу, что въ эту минуту я уже не боялся ни ятагана, ни пули,—готовый на жизнь и смерть, лишь бы выручить мое сокровище. Да! съ той минуты эта дѣвушка стала мечтою моей жизни, жизни, которую бы я ей отдалъ всю, всю—до послѣдняго вздоха—за одну ласку, за одинъ взглядъ!

Въ совершенномъ забытїи и восторгѣ оставался я на веслахъ, какъ вдругъ голосъ отца: Къ ружью! на abordажъ—дѣти! зазвучалъ подъ моимъ ухомъ. Мы сѣѣлились. Первый, на уставленные кивжалы и ятаганы,—вспрыгнувъ въ турецкій каякъ я, положивъ рулевого выстрѣломъ изъ пистолета. Вокругъ меня кипѣла отчаянная, страшная борьба.... Лодка ныряла въ зыби моря, качаемая тяжелыми тѣлами ратоборствующихъ.... Я ничего не помнилъ, и не принималъ даже участїя въ общей свалкѣ, оставаясь вѣрнымъ стражемъ моей плѣнницы.... Не трудно было смекнуть, что наши новые друзья были люди опытные въ своемъ ремеслѣ, и при ихъ помощи abordажъ кончился въ нѣсколько минутъ.... Матросы полетѣли за бортъ, тюки перепрыгнули въ нашъ каякъ, плѣнница была перенесена тудаже; послѣ чего отецъ, по своему неизмѣнному обыкновенїю, прорубилъ дно турецкой лодки.

Только въ эту минуту, когда все на нашемъ каякѣ приняло свой видъ, отецъ замѣтилъ дѣвушку.

— Эге, весело сказалъ онъ, пристально взглянувъ на меня: ты, какъ я вижу, подаешь большїя надежды, и успѣваешь въ двухъ дѣлахъ, гдѣ и съ однимъ трудно справиться....

— Правда, дядя, Кара-Булани, замѣтилъ Марко, въ то время, какъ я, обливая холодною водою блѣдное лицо дѣвушки, старался привести ее въ чувство: нашъ Карпъ снялъ рулевого и въ тоже время спасъ душу христіанскую....

— А, что думаешь! откликнулся отецъ—вѣдь и въ—самомъ—дѣлѣ спасъ....

— Эге! Надо быть слѣпымъ, замѣтилъ одинъ изъ нашихъ новыхъ друзей, чтобы не догадаться, откуда и для чего попало въ нечестивыя руки это сокровище....

— Правда, товарищъ, подсказалъ другой.... Я готовъ прозакладывать мою голову, если она не дочь какого—нибудь нашего несчастнаго земляка, котораго уходили невѣрные, — съ тѣмъ, чтобы подарить хіоскаго пашу.

— По совѣсти, я не радуюсь такъ этимъ двумъ связкамъ съ шелковою тканью, какъ спасенїю бѣдной плѣнницы, сказалъ отецъ.... Довольно! Довольно, Карпъ! продолжалъ онъ.... перестань ее обливать водою.... Слава Богу.... Дѣвушка дышетъ.... очнулась.... Вотъ

мой плащъ; накрой ее.... она дрожить отъ холода.... Ну! друзья.... на весла! За нами гонятся съ кочермы....

— Да куда имъ! безопасно замѣтилъ Марко: эти длинныя бороды даже и вылавировать не могутъ.... вонъ какъ ихъ завертѣло на одномъ мѣстѣ!

— Къ тому же, они, кажется, въ большомъ раздумьи: стрѣлять ли по соколу, котораго едва видно въ небѣ!

— Боятся вѣтра и насъ!

— Однако, друзья, замѣтилъ отецъ —дальше отъ воды, ближе къ дому.... Ну! живо! на Ипсару.

На этомъ словѣ между отцомъ и нашими новыми товарищами завязался небольшой споръ. Видя въ немъ опытнаго морехода и готовые дѣлать съ нимъ всѣ будущіе подвиги, — они крѣпко настаивали теперь на томъ, чтобы намъ переночевать въ прибрежныхъ скалахъ Хіоса.

— А враги! сказалъ отецъ.

— Да, кто-же насъ сыщеть, когда мы забьемся въ такую трещину, куда не залеталъ еще и черный коршунъ....

— Э.... эхъ, друзья!... въ нашемъ дѣлѣ, осторожность важное дѣло; оплошай минуту: плачься цѣлый вѣкъ.... Теперь мы измучены, устали, сонъ одолѣетъ насъ, а что, если насъ выслѣдятъ?

— Да не можетъ быть этого, клянусь тебѣ твоими удачами! сказалъ хіосецъ.... Къ тому же, гляди, какъ заволокло небо черными тучами; вѣтеръ съ минуты на минуту становится порывистѣе и, право, благоразуміе требуетъ, чтобы мы провели ночь на берегу... Довѣрься намъ, старикъ!

— Быть такъ! сказалъ отецъ, больше убѣждаясь опасностію, какая представлялась теперь во-время ночнаго и бурнаго плаванія, чѣмъ доводами своихъ новыхъ друзей.

Одинъ изъ нихъ всталъ на руль, и лодка наша, круто обогнувъ песчаный мысъ, пошла къ скаламъ, у подошвы которыхъ стлался мелкій кустарникъ.

Между-тѣмъ, спутница наша, испуганная страшною сценой абордажа и остававшаяся до настоящей минуты безъ всякихъ признаковъ жизни, пришла наконецъ въ чувство. Отецъ мой предложилъ ей нѣсколько капель вина, и сномъ тихимъ, спокойнымъ, дѣвушка уснула на моихъ рукахъ. Затаявъ дыханіе, стараясь избѣгать малѣйшаго движенія, я оставался подлѣ сокровища, мною завоеваннаго, сторожа каждый ея вздохъ, малѣйшее колебаніе ея груди....

Мрачная ночь застигла насъ подъ скалами. Мы уже миновали опасныя буруны, и скоро лодка наша, ловко направленная опытною рукою

рулевого, врѣзалась на отмель, совершенно скрытая въ купѣ кустарника....

Но врагъ не дремалъ; онъ издали слѣдилъ за нами. Безпечные, или, лучше сказать, на этотъ разъ занятые одушевленнымъ и веселымъ разговоромъ о нашей удачѣ, — мы не замѣчали преслѣдователей.

Труды и тревоги цѣлаго дня были такъ велики, что товарищи мои, не исключая даже и отца, при первомъ шагѣ на землю, разостлавъ на влажной травѣ свои плащи, скоро заснули богатырскимъ сномъ. Не спалъ только я, оставаясь еще въ кайкѣ, и боясь потревожить сонъ дѣвушки. Въ полночь она проснулась. Тревожный крикъ, вырвавшейся изъ груди ея, высказалъ ей страхъ, она отшатнулась отъ меня и бросилась въ кормовую часть кайка....

— Если ты врагъ, сказала она.... не подходи! Если братъ христіанинъ, то зачѣмъ здѣсь со мною, въ полночь, въ этихъ скалахъ?

Дрожа всѣмъ тѣломъ, она осмотрѣлась кругомъ, и какъ бы успокоенная при взглядѣ на плащъ, покрывавшій ея плеча, тихо опустилась на бортъ лодки:

— Да, да! продолжала она, въ раздумьи... Теперь помню.... выстрѣлы, кровь.... Потомъ добрый старичекъ, молодой испариютъ... Слава Богу, я у своихъ!..

— У своихъ, у вѣрныхъ и преданныхъ тебѣ друзей! рѣшился отвѣчать я,

На мой голосъ дѣвушка подняла голову, и остановила на мнѣ долгій и внимательный взглядъ.

— Ахъ... это ты! Теперь я тебя помню.... Ты первый прыгнулъ въ нашу лодку, потомъ, когда я на минуту очулась, то опять встрѣтила тебя.... Спасибо тебѣ, храбрый землякъ.... Еслибы у меня былъ братъ, или отецъ.... о, какою бы честною, вѣрною дружбой они заплатили тебѣ.... Но Марія—сирота, бѣдная, безприютная....

Казалось тяжелыя воспоминанія родились въ душѣ дѣвушки при послѣдней мысли. Она закрыла лицо полою плаща и тихо зарыдала.

— Гдѣ же твой кровный? спросилъ я, въ припадкѣ состраданія, смѣшаннаго съ почтительною любовью, взявъ дрожавшую руку моей собесѣдницы.

— Гдѣ кровные? повторила она... Убиты! Шесть дней тому назадъ, какъ ихъ отняли у меня... Братъ застрѣленъ, отецъ, мой храбрый отецъ, краса нашихъ горскихъ клевтовъ, былъ повѣшенъ въ моихъ глазахъ, а я продана хюсскому пашѣ... Вы спасли меня, и Богъ наградитъ васъ... Пойду опять въ мою родину, быть-можетъ, старые друзья не забудутъ меня, примутъ сироту и отмстятъ за моихъ.

— Марія! Если у тебя нѣтъ никого, сказалъ я, то я и отецъ замѣнимъ тебѣ отца и брата — мы твои мстители!..

Въ эту минуту дѣвушка вздрогнула, и со страхомъ, блѣднѣя, указала впередъ...

— Смотри!.. прошептала она... Бей ихъ! бей... Стрѣлай! Гдѣ твои товарищи?...

Но бѣда наша совершилась.

Несчастная поздно замѣтила подкравагаго врага. — Толпа звѣрски улыбающихся лицъ окружила моихъ товарищей — они были подъ кинжалами... Въ то же мгновеніе, я еще не успѣлъ положить пальца на курокъ пистолета, какъ былъ брошенъ на дно канка, связанный по рукамъ и ногамъ...

— Отецъ! Гибнемъ! враги! Проснись! въ изступленіи отчаяніи крикнулъ я.

На крикъ мой отвѣтило нѣсколько выстрѣловъ, потомъ протяжные стоны раненныхъ, и скоро все смолкло.

Отецъ мой былъ убитъ на повалъ, Марко тоже; двое изъ нашихъ друзей бѣжали, двое, израненные, были брошены въ одну со мною лодку.

Я обезпамятѣлъ отъ горя, и уже очнулся точно въ такихъ чертогахъ, въ какихъ нахожусь и въ настоящую минуту.

Кара-Булани горько улыбнулся, на минуту задумался и продолжалъ.

Тяжело было мнѣ! Еще въ тѣ годы, отецъ Константинъ, душа моя не окрѣпла въ встрѣчныхъ бѣдахъ, еще не притупѣло чувство любви къ жизни, къ родинѣ, къ счастливой долѣ. Въ-самомъ-дѣлѣ... страшно юношѣ въ двадцать лѣтъ потерять свободу, отца, — съ мыслию о вѣрной казни, съ думою о томъ, что никто не отмститъ за меня, и наконецъ, съ тоскою за судьбу той, которая заронила въ сердце первую искру любви. Безчувственный, какъ мертвецъ, я просидѣлъ до полдня на грязной соломѣ, и только чей-то долгій и протяжный стонъ, раздавшійся въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня, могъ вывести меня изъ оцѣпененія и забытья...

Я поднялъ голову, и бѣдное сердце мое снова заняло при взглядѣ на окружавшіе меня предметы. Узкій и мрачный коридоръ былъ мѣстомъ моего заключенія; по стѣнамъ его струились потоки сырости, кое-гдѣ разскидывалась паутина, да вверху, на недосыгаемой высотѣ, въ крошечное окно—пробивался свѣтъ дня, падая на блѣдныя лица моихъ товарищей; въ углу, у двери, дремалъ сторожевой турокъ.

Вызванный изъ забытья стономъ одного изъ раненныхъ моихъ друзей, я подползъ къ нему, желая облегчить его страданія, хотя словомъ утѣшенія.

— Что мой бѣдный другъ? тихо спросилъ я.

— А!.. Это ты, Карпъ, слабо отозвался онъ... Ради Бога, дай мнѣ пить... Грудь изныла и сгорѣла отъ жажды!.. Смотри, какая возлѣ меня лужа крови... Ночью я нарочно оборвалъ всё перевязки... умру скорѣе... Товарищъ счастливѣе меня... загляни ему въ лицо... Прислушайся: онъ уже не дышетъ... Пить, ради Бога, дай пить, Карпъ!...

Съ этими словами раненный судорожно приподнялся на локтяхъ и съ тихимъ стономъ упалъ на землю. Когда я подошелъ къ нему съ черепкомъ, въ которомъ для заключенныхъ находилась вода,—мой товарищъ былъ уже холоденъ..

Свидѣтель этой сцены, стражъ оставался совершеннымъ истуканомъ; онъ только тогда пошевелинулся и схватился за ятаганъ, когда я рѣшился подойти къ нему — не помню съ какимъ-то вопросомъ.

— Пошелъ на свое мѣсто! грозно крикнулъ онъ, заслоняя тѣломъ своимъ дверь и не отводя руки отъ ятагана.

Надо было повиноваться. Желая успокоить надзираващаго за мною стража, я снова прилежъ на свою солому.

Понятно, что въ эти минуты всё мои мысли стремились къ одной цѣли... Я зналъ, что чрезъ нѣсколько часовъ, вѣрнѣе на утро, меня ждетъ веревка, и желалъ всѣми силами души своей избавиться отъ казни. Но откуда и отъ кого было мнѣ ждать спасенія? У двери вооруженный стражъ, кругомъ голыя стѣны, и ни окна, ни скважины. Для всякаго другаго мысль о побѣгѣ казалась бы сумасбродствомъ, но я, перебравъ въ своей памяти тысячу подобныхъ исторій, когда-то слышанныхъ мною, остановился на одномъ рѣшительномъ планѣ. Я думалъ, если я почью буду оставленъ несвязаннымъ и нескованнымъ, то брошусь на моего стража, обезоружу его и... потомъ спасенъ. Если же не усѣю, то все-таки умру не на веревкѣ, но вѣрно въ борьбѣ съ моимъ сторожемъ.

Эта мысль меня ободрила. Въ тоскливомъ нетерпѣннн я дождался наконецъ вечера. Съ первымъ сумракомъ солдатъ оставилъ свое спокойное и неподвижное положеніе, взвелъ курки пистолетовъ и положивъ, ихъ на лавку, началъ прохаживаться у двери, на пространствѣ пяти, или четырехъ шаговъ. Почти каждое мгновеніе онъ останавливался, недвѣрчиво посматривалъ на меня, и съ какимъ-то нетерпѣннємъ прислушивался къ малѣйшему шороху, раздававшемуся за дверьми. Я понималъ, что мой аргусъ ждетъ огня и смѣны, и отложилъ свое намѣреніе на нѣсколько часовъ. Дѣйствительно — скоро за стѣною моей темницы зазвучали шаги, раздался ударъ въ дверь и окликъ.

Турокъ флегматически опустилъ руку въ карманъ своихъ шальваръ, вынулъ оттуда ключъ, и впустилъ смѣнившаго его албанца.

Черезъ нѣсколько минутъ по уходѣ перваго часоваго явились четыре носильщика, съ угрозами и бранью взвалили на носилки трупы моихъ друзей и вынесли ихъ. Албанецъ повторилъ маневръ своего товарища, также заперъ дверь и также спряталъ ключъ въ свои шальвары, затянулъ безконечную и до крайности скучную пѣсню, и усѣлся на лавку... Я притворился спящимъ.

Время тянулось для меня невыносимо медленно. Нѣсколько обрадованный оплошностію моихъ враговъ и тою свободою, какою пользовались мои руки и ноги, я только ждалъ первой дремоты албанца. Но какъ нарочно пѣня его не смолкала, и только изрѣдка отвѣчалъ на нее отдаленный протяжный голосъ перекликавшейся стражи.

Я уже начиналъ терять свое хладнокровіе, готовый рѣшиться на открытое нападеніе, не дожидаясь минуты, въ которую вздремнетъ пѣвецъ, какъ съ несказаннымъ удовольствіемъ замѣтилъ, что голосъ его началъ слабѣть, дѣлался прерывистымъ съ каждымъ новымъ звукомъ... Наконецъ замеръ напѣвъ, такъ долго тревожившій меня. Могильная тишина водворилась въ моемъ заключеніи. Посторонній человѣкъ легко бы могъ подслушать біеніе моего встревоженнаго сердца и малѣйшій шелестъ, отъ упавшей со стѣны штукатурки.

Осторожно выждавъ нѣсколько минутъ, я приподнялся и остановилъ внимательный взглядъ на албанца. Солдатъ дремалъ, покачиваясь изъ стороны въ сторону, и иногда, тревожно раскрывъ глаза, поглядывалъ въ темный уголъ корридора, гдѣ находился я. Мѣшкать и задумываться было напрасно... Да и сказать откровенно: дѣйствуя нерѣшительно я проигрывалъ, а смѣло ида впередъ, могъ быть спасенъ. Вотъ еще разъ покачнулся задремавшій стражъ, еще разъ въ-полглаза взглянулъ на меня, и отяжелѣвшая голова его упала на грудь. Затанувъ дыханіе, я подползъ къ нему, держась темною стѣною. На шагъ отъ албанца я быстро приподнялся, въ одинъ прыжокъ сталъ лицомъ къ лицу съ нимъ, и не теряя ни мгновенія, обѣими руками сдавилъ ему горло и бросилъ его на землю...

— Сынъ храбраго Кара-Булани, что ты дѣлаешь! простоналъ албанецъ, въ то время, какъ я завладѣлъ уже его кинжаломъ... Проклятіе на твою голову, безсовѣтный убійца — ты нападаешь на соннаго!

— А развѣ не сонный умеръ отецъ мой подъ ножемъ твоихъ друзей? отвѣчалъ я. Я еще снисходительнѣе васъ, и даю тебѣ умереть въ просонь!

— Остановись!..

— Не время... Мнѣ нужна свобода, а къ ней я только перепахну черезъ трупъ твой...

— Пользуйся ею... и клянусь прахомъ отца моего, я тебѣ не помѣшаю... Вотъ ключъ, въ лѣвомъ карманѣ моихъ шальваръ... Свяжи мнѣ руки, завяжи ротъ — если не доверяешь: но оставь мнѣ жизнь!..

Жалокъ былъ врагъ мой — я согласился. Онъ былъ нѣмъ и скромнень, какъ овца. Широкимъ поясомъ албанца я скрутилъ ему руки, а своимъ завязалъ ротъ, и завладѣвъ куртку и фескою солдата, вышелъ на пространнѣйшій дворъ тюрьмы, который отдѣлялся высокою стѣною отъ дворцоваго сада наши..

Встрѣченные мною нѣсколько человекъ изъ стражи не обратили на меня никакого вниманія... Самое трудное и опасное дѣло было совершено, оставалось выбраться съ двора. Но здѣсь — то я и встрѣтилъ препятствія, замедлившія мой побѣгъ и прибавившія на мою долю еще два, три испытанія. Ворота темничнаго двора, единственный выходъ на площадь, — загоразживались на ночь высокою рогаткой; при ней оставались двое часовыхъ постоянно, а тутъ, на мое несчастіе, случилось, что у разведенныхъ огней, по случаю холодной ночи, на шагъ отъ рогатки, грѣлся цѣлый караулъ. Пройти мимо его незамѣченнымъ рѣшительно было невозможно; къ тому же и ключъ отъ выхода находился, какъ я зналъ, у чауша. Это обстоятельство лишило меня не надолго твердости; каждую минуту я ждалъ, что меня откроютъ; однако же скоро ободрился, замѣтивъ, что по осыпавшейся стѣнкѣ легко можно перебраться въ садъ наши... Незная и не разсуждая о томъ, какими путями я выйду оттуда, я рѣшился! Удачно и никѣмъ незамѣченный, я скоро векарабался на вершину стѣнки, оглянувшись вправо, влѣво, и прыгнулъ въ садъ... Еще разноцвѣтные огоньки сверкали въ этомъ пріютѣ роскоши и довольства, да прямо отъ меня, на исходѣ аллеи, въ освѣщенномъ кіоскѣ, слышались звуки лютни и пѣсень. Совершенно полагаясь на мои удачи, я перебѣжалъ къ восточной стѣнѣ сада, и пользуясь тѣнью тополей и гранатъ, сталъ пробираться впередъ, надѣясь найти выходъ и смѣлость для того, чтобы заглянуть въ кіоскъ, на красивыхъ женъ кіоскаго наши... Разумѣется, въ послѣднемъ случаѣ — мнѣ хотѣлось видѣть сиротку Марію. Малѣйшій шорохъ въ кустахъ, малѣйшее трепетаніе древесной вѣтки пугали мой встревоженный слухъ, и я, затаивъ дыханіе, часто, припадалъ на землю — со страхомъ озираюсь кругомъ.

Я уже былъ близокъ къ кіоску, какъ вдругъ, позади меня раздались шелестъ шаговъ, я бросился въ кусты, и дрожа отъ ужаса, замѣтилъ двухъ мужчинъ, которые медленно приближаясь, остановились тамъ, гдѣ я скрывался.

— Осмотрѣлъ—ли выходы? пискливымъ голосомъ спросилъ первый.

— Осмотрѣлъ, ага, почтительно отвѣчалъ второй, положивъ руку на сердце.

— Странно! продолжалъ сдѣлавшій вопросъ: не можетъ быть, чтобы наши зоркіе глаза обманывались, Меджи?

— Нѣтъ, мы не ошиблись, ага; я, вотъ какъ тебя вижу, ага, такъ точно видѣлъ и его, когда онъ спрыгнулъ со стѣнки и въ ту же минуту, какъ сквозь землю провалился...

— Хорошо, Меджи! Если это шалить кто—нибудь изъ офицеровъ нашего гарнизона... думаю такъ: я еще вчера за стѣною нашель кинутый кѣмъ-то селямъ... то мы его проучимъ по своему! Выбраться отсюда иначе нельзя, какъ тою же дорогой, которою онъ прошелъ, а у стѣнки я уже распорядился поставить ловушку... завтра найдемъ звѣрка...

— Я всю ночь не усну, ага; буду караулить...

— Такъ, такъ Меджи! Проклятая стѣна... надѣ же было ей обсыпаться... За такую глупость долго ли отвѣтить пятками...

— Ужъ! ага... я просто худѣю отъ страха... ну, что если узнаетъ паша?

— Пятки наши пропали, Меджи! Иди же къ калиткѣ, отвори ее... а я забѣгу унять женщинъ: пора имъ спать.

Говорившій отправился къ кіоску, а Меджи вдоль стѣны, мимо цѣлаго ряда фонтановъ.

Не было никакого сомнѣнія, что эти два человѣка преслѣдовали меня. Сердце мое забило страшную тревогу... Гибель моя казалась неизбежною. Въ отчаяніи я рѣшился во что бы ни стало завладѣть ключами гаремнаго стража, которому было приказано отворить калитку. Я уже сталъ выбираться изъ куста, чтобы привести въ исполненіе мою смѣлую попытку, какъ пораженный новою встрѣчею, почти окаменѣлъ на мѣстѣ. На шагъ отъ меня, притаившись за фонтаномъ, лежалъ человѣкъ. Я еще не успѣлъ придти въ себя, какъ онъ уже былъ на ногахъ и пара его пистолетовъ какъ тутъ расположились у боковыхъ кармановъ моей куртки.

— Ни смѣста и ни слова! шепнулъ онъ... не то! и черные блестящіе глаза его выразили такую фразу, отъ которой у всякаго безстрашнаго позеленѣло бы въ глазахъ и закружилась голова... опустайся на землю... Живо! продолжалъ онъ также тихо, какъ и началъ: я не хочу, чтобы эта сторожевая собака на меня залаяла. При этомъ онъ указалъ на удалявшася Меджи.

Мы нырнули въ кусты.

Здѣсь, въ первую минуту произошла между нами довольно смѣшная сцена, надъ которой я, послѣ, отъ души посмѣялся. Едва только мы упали на землю, какъ оба схватили другъ друга за горло, положивъ другую руку на кинжалъ.

— Кто ты?!

— Ты кто?!

— Тс! Негромко! замѣтилъ онъ.

— Ага! ты трусишь? шепнулъ я... Ну, такъ мы не враги...

— Почему же? Развѣ и ты трусишь?

— Трушу быть въ лапахъ гаремнаго стража...

— Э! Но твоя предательская феска?

— Не моя... Я снялъ ее со стража темницы, изъ которой только что вырвался.

— Да ты грекъ?

— Грекъ, а ты?

— Кровный...

— Зачѣмъ ты здѣсь?

— Это моя тайна...

— Не говори.

— Что же тебѣ вздумалось, уйдя съ цѣпи, непременно прогуливаться въ саду наши, а не подальше отъ висѣлицы?

— Это моя тайна...

— Послушай! Перестанемъ говорить загадками...

— Изволь, будемъ откровенны: я самъ хотѣлъ просить тебя объ этомъ... къ тому же встрѣчный другъ опасность велика и время дорого.

— Изволь, изволь: будемъ откровенны...

— Во-первыхъ, сказалъ я.. надо знать: дѣйствительно ли заряжены твои пистолеты?...

— Въ каждомъ изъ нихъ по двѣ пули... Зарядъ щедрый и вѣрный.

— Прекрасно, а я, какъ видишь, вооруженъ однимъ только кинжаломъ, и потому прошу тебя подѣлиться твоимъ вооруженіемъ...

— Я готовъ, но для чего?

— А вотъ, мы сейчасъ приступимъ къ рѣшительному дѣлу... нападѣмъ на стража, для того, чтобы отнять у него ключи, и если намъ измѣнять кинжалы, если у этой сторожевой собаки, какъ ты называешь почтеннаго Меджи, глотка также широка, какъ и его карманы... то намъ, немудрено, придется умирая и отстрѣливаться.

Незнакомецъ улыбнулся.

— Вижу, пріятель, шепнулъ онъ, что ты дѣйствительно въ первый

разъ гостишь у хіосскаго паши, и безъ моей встрѣчи легко могъ бы узнать, изъ какой пеньки вьются турецкія веревки... Планъ твой и твоя удалъ въ настоящую минуту никуда не годятся... Это крайность...

— А мы развѣ не въ крайности?

— Нѣтъ.

— Гмъ, понимаю; у тебя есть лазейка?...

— У меня есть добрый товарищъ, крѣпкій, какъ слово честнаго клевета... вотъ онъ.

Съ этими словами говорившій ослабилъ свой широкій поясъ, и самодовольно улыбаясь, показалъ мнѣ веревочную лѣстницу...

— Пойдемъ! сказалъ онъ. Мнѣ теперь дѣлать нечего. Къ—тому же, заключая изъ словъ блюстителя гарема, ты насторожилъ его глаза и уши... Слѣдуй за мною... Я знаю здѣсь всѣ тропинки и уголки... вотъ уже третью ночь коротаю у этихъ фонтановъ... Идемъ.

Обрадованный благодѣтельной встрѣчею съ незнакомцемъ, я молча слѣдовалъ за нимъ по извилистымъ дорожкамъ сада. Часто онъ останавливался, внимательно прислушивался, то прилегалъ за кусты, то ползъ между ними, обнюхивая, казалось, самый воздухъ... ухо его было изумительно чутко, ловкость и быстрота въ движеніяхъ могли только поспорить съ монми... все доказывало, что владѣлецъ спасительной лѣстницы былъ горецъ...

— Стой!.. Слышишь? сказалъ онъ, останавливаясь на минуту и тревожно вздохнувъ...

— Да! съ трепетомъ повторилъ я... Тревога!

— Тревога на тюремномъ дворѣ... Этѣ тебя хватились.

— Меня!...

— Эге! смотри... видишь на стѣнкѣ мелькаютъ факелы... Но не бойся... Теперь до насъ добрыхъ полторы версты, а до стѣны только два шага... Ну, живо!.. Вотъ тебѣ на всякій случай пистолетъ и четыре патрона...

— Смотри! Смотри! вскричалъ я... Мнѣ кажется они приближаются! Иди скорѣй?

— Пришли... не кричи!...

Въ минуту была перекинута наша лѣстница, а чрезъ двѣ мы были уже за стѣною.

— Послушай, товарищъ, ты хіосецъ? спросилъ онъ, когда мы бѣгомъ пустились вдоль площади, къ греческому кварталу.

— Я съ Ипсары?

— Э, такъ у тебя здѣсь нѣтъ и пріюта?...

— Нѣтъ.

— Такъ же, какъ и у меня...

— А ты откуда?...

— Я издалека, изъ... Однако куда же ты бѣжишь?

— Въ скалы...

— Право? Это недурно... но постой!.. Мы теперь вѣд опасностя... кругомъ одни поля, даже и городъ исчезъ за нами...

Мы пошли тише.

— Прекрасно! началъ мой новый пріятель: вообрази, я живу третій день на островѣ и только бродяжничалъ по базару, да по кофейнямъ... тогда, какъ могъ отлично спать въ скалахъ...

— Но развѣ и тебѣ необходимо скрываться отъ людей?

— Большой-то необходимости нѣтъ, да все лучше, какъ съ ними не встрѣчаешься. Къ тому же ты знаешь, здѣсь вѣд не турки у грековъ въ гостяхъ, а греки у турокъ... Увидятъ незваного: сейчасъ спросятъ: зачѣмъ? Ну, а мнѣ сказать этого нельзя... Чтѣ-же ты теперь думаешь дѣлать? продолжалъ молодой человекъ, съ тѣмъ же безпечнымъ тономъ, который проглядывалъ во всѣхъ его вопросахъ и отвѣтахъ.

— Не знаю... Еще не рѣшилъ...

— Да ты славной малый! сказалъ онъ... Какъ твое имя?

— Карпъ Кара-Булани... А твое?

— Константинъ Майнари!

Обмѣнявшись послѣдними вопросами, мы замолчали. Товарищъ сталъ чтѣ то насвистывать, я невольно увлекся его мотивами и началъ ему вторить... Глядя на насъ, легко можно было думать, что мы явились въ хіоскихъ тущобахъ наслаждаться природой и прохладною южной ночи....

— Чортъ возьми! наконецъ сказалъ мой товарищъ.. знаешь ли, братъ Карпъ, отчего я такъ мастерски сегодня насвистываю? ..

— Нѣтъ, не знаю.

— Оттого, что голоденъ, какъ удавъ, и мнѣ, право, кажется, что животъ мой повисъ, какъ тряпка.... Ты когда ѣлъ?.... быстро спросилъ онъ.

— Вчера утромъ.

— Гм! немного позже меня... Ты не знаешь: нѣтъ ли въ этихъ скалахъ хоть какихъ-нибудь корешковъ?.. Да, постой: есть у тебя деньги?

— Четыре цехина...

— Ну, находка, братъ, Карпъ? Такъ ужъ поѣдимъ завтра... я чѣмъ свѣтъ отправлюсь въ городъ и закупию пропастъ козьего сыру...

ти... Ты любишь козій сыръ?... Ну, вотъ видишь ли, продолжалъ Майнари, не дожидаясь моего отвѣта, Богъ послалъ тебѣ такого же горемыку то-варища, какъ и ты... Мы такъ и едимъ... Пошло на откровенность, разскажу все. До времени ты скрывайся въ приморскихъ скалахъ; каждое утро, аккуратно я буду приносить тебѣ пищу... ночь мнѣ нужна... До времени, говорю; а время это, быть-можетъ, не далеко... все зависитъ отъ моего успѣха. Скажу тебѣ просто: въ харемъ хіосскаго паши продана та, съ которой насъ разлучить только смерть... Три ночи я провель въ саду харема безуспѣшно, забираясь туда съ первыми сумерками... не встрѣчаю ее... но четвертая попытка... быть-можетъ тогда мы спасены, уйдемъ отсюда: на послѣднія мои деньги я купилъ у еврея лодку... Ба! Что это?... Смотри... трупъ... другой!

— Помолимся Майнари надъ этимъ трупомъ, и зароемъ его! сказалъ я, едва удерживая слезы... Это отецъ мой... вчера убитый турками... Молодой человекъ тихо вздрогнулъ, печально посмотрѣлъ мнѣ въ глаза и упалъ на колѣна подлѣ тѣла стараго Кара-Булани...

На берегу моря—подъ топодемъ, мы положили въ неглубокую могилу дорогой мнѣ драхъ... Еще горе терзало мое сердце, когда я, къ несказанному моему восторгу, — въ прибрежномъ кустарникѣ увидѣлъ нашу лодку, оставленную врагами при всемъ ея вооруженіи...

Напрасно было бы терять время... Пожелавъ счастливаго успѣха моему избавителю въ его предпріятіи, я оставилъ ему свои четыре цехина и выплылъ въ море, давъ себѣ честное слово, при удобномъ случаѣ повторить смѣлую попытку Майнари, и еще хоть разъ въ жизни посмотрѣть въ очи сиротки Маріи...

Презъ сутки, въ глухую полночь я достигъ родныхъ береговъ Ипсары. Несмотря на мракъ ночи, я легко отличилъ отъ сплошнаго ряда рыбачьихъ хижинъ нашу полуразрушенную мазанку... Тяжело стало душѣ, при мысли о моемъ сиротствѣ; вся кровь прилила къ сердцу при другой мысли о мщеніи тѣмъ, кто отнял у меня отца, мать, брата — все, все — что радовало мою жалкую молодость!...

— Да, думалъ я почти вслухъ, грустно опустивъ голову и медленно работая веслами... бѣдный ты Карпъ... одинъ теперь на Божьемъ свѣтѣ, какъ одна душа въ тѣлѣ! Не блеснетъ теперь въ окнѣ твоей мазанки привѣтный огонекъ, какъ прежде бывало, когда съ отцомъ возвращались съ промысла, а добрая матушка, ожидая насъ, стряпала намъ вкусную похлебку... Въ долгую ночь, подъ завыванье моря и бури, не услышишь ты славныхъ разсказовъ отца старика!..

Съ этими мыслями я взглянулъ на родную мазанку, и былъ не мало удивленъ, замѣтивъ въ ней яркій свѣтъ.

— Что-бы это значило? подумалъ я... Ужь не поджидаютъ-ли меня? Надо быть осторожнымъ.

Осмотрѣвъ берегъ я не встрѣтилъ на немъ ни одного живаго существа, кромѣ моей лахматой Аспазіи, которая съ радостнымъ визгомъ бросилась вплавь до моей лодки... Вотъ, подумалъ я, выходя на берегъ и достигая крайняго окна моей осиротѣвшей хижины, только одинъ добрый и вѣрный другъ остался у меня... О другомъ я забылъ въ эту минуту. Этотъ другой былъ старый дядя Яковъ, большой весельчакъ и страстный охотникъ до хмѣльнаго. Онъ-то и кейфовалъ въ моемъ домѣ.

Лицо его уже было довольно румяно, и глаза, по обыкновенію, приняли цвѣтъ оловянной пуговицы, когда я переступилъ порогъ мазанки.— Огромный огонь пылалъ на очагѣ, разбрасывая по сторонамъ искры сухихъ виноградныхъ лозъ и отражаясь на глянцовитомъ кувшинѣ, съ которымъ только сію минуту разстались ненасытные уста дяди Якова.

— А, вотъ тебѣ и штука! пробормоталъ онъ съ непритворнымъ изумленіемъ, останавливая на мнѣ взглядъ, который, по возможности, старался выразить что-то похожее на вопросъ и удивленіе. А вотъ тебѣ и штука! повторилъ онъ, швырнувъ подъ столъ кусокъ чеснока, до котораго, какъ и до винограднаго, былъ большой охотникъ.

— Добрый вечеръ, дядя Яковъ! сказалъ я...

— Вечеръ-то, братъ добрый, какъ видишь... Вечеръ хорошій, а штука странная!..

— Что-же страннаго-то?

— Да ты, Карпъ, откуда? Ну-ка, по откровенности?

— Изъ Хіуса.

— А... изъ Хіуса?.. А не съ веревки? А? нѣтъ... врешь, ты умеръ братъ, Карпъ.... ты, голубчикъ мой, повѣшенъ, отецъ твой... убить!

И дядя зарыдалъ, какъ ребенокъ.

— Да, отецъ убить... Убить онъ, дядя Яковъ! со вздохомъ, сказалъ я.

— Ну, а ты, мой родной... Какъ-же ты... вѣдь сказано было, что тебя вчера повѣсили..,

— Вчера я бѣжалъ... Но скажи сдѣлай милость, какъ это все скоро узналось?

— Какъ? А ты хочешь знать какъ... Ну такъ на же тебѣ... Дай подгрѣниться... всю горькую скажу...

Съ этими словами старикъ вытеръ свои слезы фустанелюю, и послѣ десяти добрыхъ глотковъ вина приступилъ къ разсказу:

— Просто, вотъ какъ, сказалъ онъ... Да садись, садись... хочешь

глотокъ вина, хочешь два? Пей! А прежде запри дверь. Покрѣпче... вотъ такъ! Ну, и слушай... А просто, говорю я, ничего такого страннаго не было... было хорошо, очень хорошо! Я, Батараки, Марко Карари, нашъ заѣзжій майнотъ, да пѣтокъ англійскихъ матросовъ... все, въ добрый часъ сказать, люди хорошіе, веселые люди... сидѣли мы въ кофейнѣ и... пили!

— Ахъ, дядя Яковъ перебилъ я, какъ ты умѣешь изъ двухъ словъ сдѣлать десять!.. говори короче...

— Пстой, къ тому рѣчь идетъ... Ну, и пили. Вотъ, вдругъ ночью, а можетъ-быть и передъ утромъ... хлопъ .. гляжу... Пстой, ты вѣдь знаешь маленькаго Петранди?... такой шалунъ мальчишка, еще всегда мнѣ цѣлыя пригоршни песку по карманамъ разложить... еще...

— Да знаю, знаю!

— А! знаешь... Ну вотъ, вдругъ... Хлопъ... вбѣгаетъ маленькій Петранди и кричитъ: Дядя Яковъ! дядя Яковъ... Кара-Булани у Хиоса убитъ турками, а Карпъ... связанъ и въ темницѣ... «Врешь ты, маленькая чесноковина!» говорю я.—Нѣтъ, говоритъ, поди-ко посмотри— въ нашихъ хижинахъ все турки: они же намъ и рассказываютъ обо всемъ... у всѣхъ обобрали ружья, кинжалы, пистолеты... у тебя, говоритъ, взяли винтовку... Каково, Карпъ, у меня?... А я-то что: самъ знаешь, человекъ мирный, меня и въ хмѣлю не разсердишь.... Ну, думаю: пстой-же, вотъ я разсержусь... я посмотрю, что тутъ начать... ну и, понимается, что выциль... Вотъ, все хорошо... Иду... пришелъ на берегъ, а тутъ такая идетъ переполоха, что у меня вся хмѣль выпрыгнула... Въ барабанъ бьютъ, рыбаковъ бьютъ, стекла бьютъ... Баталія! Говорятъ всѣ ипсарекіе рыбаки корсары, сынъ ихъ начальника Кара-Булани будетъ завтра повѣшенъ... Потомъ, братъ Карпъ, принялись трепать наши пожитки, пытать ребятишекъ, чтобы они сказали, гдѣ спрятано награбленное?... Спасибо, за меня поручились въ кофейнѣ, что я туда ничего ни приносилъ, кромѣ чистѣйшихъ денегъ... Вотъ какъ, братъ Карпъ... А, ахъ... выпьемъ!

— Ну, и нашли что-нибудь, дядя? спросилъ я.

— Ни одного зерна! А ужъ, братъ Карпъ, у тебя цѣлый день рылись, даже хотѣли мазанку срыть...

— Напрасно не сдѣлали...

— А что?

— Тогда бы до чего-нибудь и дорылись...

— О! При этомъ, у дяди Якова глаза забѣгали, какъ ртуть и заблистали, какъ угли... Что ты говоришь, Карпъ, вскричалъ онъ: неужели есть?

— Есть, дядя Яковъ, есть... будетъ на нашу долю.

— Такъ, братъ, убирай скорѣй, да и убирайся... не то можно сказать, все пропадетъ, да и самъ не въ хорошія руки попадешь...

— Послушай, дядя Яковъ, началъ я. Послѣ того, что ты мнѣ рассказалъ; однимъ-словомъ, послѣ грустныхъ происшествій послѣднихъ дней, я знаю, мнѣ нельзя и недолжно оставаться на родномъ островѣ... я рѣшился заняться опаснымъ ремесломъ, и жестоко расплатиться съ врагами за все мои потери.

— Что-же ты думаешь дѣлать, Карпъ?

— Метить туркамъ...

— Гм... Да, что-жь... дѣлай, какъ знаешь... только не будь пьяницей... Ухъ... скверный порокъ!...

— Ну, а ты, дядя Яковъ? ты отличный мореходъ, и я безъ тебя, какъ безъ руля.

— Я? Да что мнѣ... вѣдь вино вездѣ есть...

— Понимаю... Спасибо! теперь за дѣло.

Лучшаго себѣ товарища, какъ дядя Яковъ, я не могъ найти. Въ этомъ человѣкѣ, несмотря на его наружное бездѣйствіе, на его лѣнь и безпечность, было много тѣхъ качествъ, какими долженъ обладать хорошей морякъ и ловкій корсаръ. Подъ видомъ балагурства и любви къ праздной жизни, въ немъ скрывался цѣлый вулканъ жадности къ дѣятельности... Наружно одинаковый въ своихъ всеневныхъ отношеніяхъ къ врагамъ и братьямъ, онъ, осторожный и хитрый, таилъ въ душѣ страшную ненависть къ первымъ... и въ тайнѣ не упускалъ изъ вида самого ничтожнаго случая, который давалъ ему хотя небольшое право на мщеніе. Главными добродѣтелями дяди Якова можно было назвать его изумительное хладнокровіе, безстрашіе, не запальчивое, но спокойное до невѣроятности, знаніе морскаго дѣла и каждой норки, каждой ничтожной бухты въ скалахъ Архипелага.—Съ нимъ можно было предпринять все, что только требуетъ отваги, терпѣнія, мужества и храбрости, но не молодечества... Дядя Яковъ не терпѣлъ шутить дѣломъ, въ которомъ льется кровь людей, и тратится своя собственная ни за что, ради потѣхи и краснаго словца.

Изъ нашего короткаго объясненія мы совершенно поняли другъ друга. Въ его готовности раздѣлить со мной удачу и неудачу предстоящаго предпріятія я не сомнѣвался. Мы начали съ того, что я указалъ прежде всего дядѣ Якову мѣсто, гдѣ было зарыто мое небольшое богатство: оно заключалось въ порядочномъ запасѣ оружія, холоднаго и огнестрѣльнаго, въ двухъ мѣшкахъ пистроновъ и шести боченкахъ пороха. Все нужное для хорошаго вооруженія небольшого судна

я имѣлъ также въ своемъ распоряженіи. Подъ нашею мазанкою находился погребъ, вмѣстилище моихъ сокровищъ. Входъ въ него былъ скрытъ подъ верхнимъ основаніемъ шестка малгака, на которомъ постоянно оставались горшки, головни и множество посуды.

Когда мы спустились въ подполье и когда свѣтъ отъ фонаря упалъ на предметы, наполнявшіе мой запасный магазинъ, дядя Яковъ, при всемъ своемъ хладнокровіи и невозмутимости рыбьей природы, не могъ не всплеснуть руками... Съ восторгомъ онъ бросился ко мнѣ на шею, и послѣ сотни жаркихъ поцѣлуевъ, сказалъ, указывая на два небольшіе фалконета :

— Братъ! Карпъ! Да съ этими товарищами насъ не одолѣетъ никакая турецкая сила! Хорошо, все хорошо! продолжалъ онъ... Оставимъ наше сокровище до завтра, а теперь забирай только деньги... Дѣла я устрою... Знаешь?... мастеръ на все дѣла дядя Яковъ... Сію минуту — выпьемъ и на кайкъ...

— Куда-же?

— Ужъ говорю: все дѣла устрою... слушайся меня... Во-первыхъ, у меня есть пріятель, который за сходную цѣну продастъ намъ славное суденышко... Просто золотое судно!.. На ходу стрѣлу обгонитъ, двухмачтовое, вооруженіе новое, смолка вездѣ свѣженькая... въ каютахъ помѣщеніе султанское... слышишь, Карпъ!.. все хорошо! Во-вторыхъ, есть и молодцы въ виду, которые завтра вечеромъ явятся къ тебѣ, принесутъ свою волюшку и голову... Вотъ, штука—Карпъ... Выпьемъ, братъ—выпьемъ, да и за дѣло...

На другой день къ вечеру я ужѣ былъ обладателемъ судна и полнымъ властелиномъ надъ жизнію и смертію девяти отчаянныхъ головорѣзовъ. Въ ту же ночь мы свезли на нашу шкуну порохъ, оружіе, деньги и фалконеты.

Сказавъ долгое прости Иисаръ, мы вошли въ море и направились къ Хиосу. Я надѣялся, что кочерма, съ которой за два дня мы имѣли несчастную для насъ встрѣчу, еще останется на якорѣ, въ виду острова. Дядя Яковъ, штурманъ моей шкуны, крѣпко поддерживалъ мое намѣреніе сдѣлать первое нападеніе на врага, за которымъ оставался долгъ крови.

— Посмотримъ, Карпъ, шеннулъ онъ, когда судно наше, подъ всеми парусами, легко и быстро бѣжало по Архипелагу... Посмотримъ, на что способны наши товарищи... Эта кочерма будетъ и для нихъ и для насъ пробнымъ камнемъ... Поклонись, Карпъ, Иисаръ, прибавилъ старикъ... родной берегъ сейчасъ исчезнетъ за нами... я держу за этотъ мысъ... И онъ указалъ на скалистый берегъ, черною массою

обозначавшійся впереди насъ. Не безъ грусти я оглянулся—и послалъ прощальный поклонъ роднымъ берегамъ, уже исчезавшимъ въ туманъ и сумракъ ночи....

Передъ разсвѣтомъ мы были въ виду Хіоса.—Къ общей нашей досадѣ, кочермы уже не было на мѣстѣ.

— Ничего, сказалъ дядя Яковъ: неудачу можно поправить. Во всякомъ случаѣ мой совѣтъ, Карпъ, не разставаться съ этимъ островомъ, не оставивъ по себѣ памяти....

— Что же мы сдѣлаемъ?

— Ляжемъ въ дрейфъ, и въ числѣ четырехъ человѣкъ пустимся на каякъ, подъ веслами, осмотрѣть берегъ.... быть-можетъ какой-нибудь купецъ и пригрѣлся въ одной изъ здѣшнихъ бухтъ.

— И то правда! Кто-же останется на шкунѣ.

— Кипріяки, мой помощникъ: ему сдадимъ команду, а я, ты и еще два товарища отправимся на поискъ.

Черезъ полчаса, сдѣлавъ нужныя распоряженія мы спустили каякъ на воду, и хорошо вооруженные, поплыли къ берегамъ Хіоса.

Прохладная ночь уже смѣнялась знойнымъ утромъ. Легкій туманъ красивыми волнами носился надъ берегомъ, открывая прибрежныя скалы, поросшія густою зеленью.... Свѣжій вѣтеръ, дувшій иногда небольшими порывами въ продолженіе всей ночи, началъ стихать.... Шкуна наша легко качалась въ далекомъ на морской зыби, и бѣлый парусъ ея упалъ, обнявъ снасти и реи....

— Не вернуться-ли, дядя Яковъ, замѣтилъ я: теперь нельзя ожидать удачи, если-бы мы даже и открыли врага.

— Отъ чего?

— Смотри: вѣтеръ начинаетъ стихать, настанетъ полный штиль, а при безвѣтріи наша шкуна недалеко уйдетъ изъ этого лабиринта острова, подъ однимъ веслами.

— Вздоръ, Карпъ, вздоръ! Слушайся меня.... У меня на счету каждое облачко, — и вотъ эта темная тучка, которая справа повисла надъ Хіосомъ, обѣщаетъ намъ хорошій вѣтеръ, съ первыми лучами солнца.... Навались друзья! добавилъ онъ, обращаясь къ гребцамъ!

Каякъ, при усиленной греблѣ, быстро занырялъ подъ скалами. Мы обошли нѣсколько бухтъ, удобныхъ для стоянки якорныхъ судовъ, и не встрѣтили ни одной рыбацѣй лодки.

Поручивъ себя совершенно опытности и смѣткѣ дяди Якова, я невольно, при взглядѣ на хіосскія скалы предался раздумью о недавно миновавшихъ событіяхъ.... Вотъ купа кустарниковъ, вотъ мысокъ, гдѣ уснувшая на моихъ рукахъ сиротка Марія рассказала мнѣ свою грустную

исторію; тутъ же могила моего добраго отца; здѣсь-же я оплакивалъ его смерть и клялся бѣдной дѣвушкѣ замѣнить ей брата, мѣлчать ея молодость, мстить за ея лишенія нашимъ общимъ врагамъ!

Мы подходили къ базарной площади. Мысокъ исчезалъ за нами, а я долго еще озирался, лаская взглядомъ каждую травку на немъ, каждую раковинку, бѣлѣвшуюся на отмели... Вотъ за приземистыми духанами и кофейнями открылось полукруглое зданіе, обращенное окнами внутрь двора, мѣсто моего заключенія; рядомъ съ нимъ, изгибаясь полудугою направо — высокая стѣна дворца паши.... Улицы тихи, безмолвны.... Вдругъ выстрѣлъ, другой, третій, и на стѣнѣ сада показался человѣкъ; онъ торопливо осмотрѣлся, какъ-бы ища схода, и безстрашно прыгнулъ на землю!... Мы видѣли, какъ этотъ незнакомецъ на бѣгу заряжалъ свои пистолеты.... Въ томъ, что онъ уходитъ отъ своихъ враговъ и отъ смерти не было никакого сомнѣнія. Дѣйствительно, спустя нѣсколько минутъ отворились ворота тюремнаго зданія, и нѣсколько человѣкъ на коняхъ, предводимые безобразнымъ албанцемъ, въ которомъ я узналъ гаремнаго стража Меджи, давъ полную свободу своимъ конямъ, пустились за бѣглецомъ въ погоню....

— Это несчастный грекъ! вскричалъ дядя Яковъ, хватаясь за свою винтовку.

— Грекъ и добрый другъ мой... отвѣчалъ я. Это Константинъ, который почти спасъ меня отъ петли.

Между-тѣмъ, какъ мы готовы были, оставя свой каякъ, броситься на помощь къ земляку, Меджи уже почти настигалъ грека. Ловкій бѣглець, не останавливаясь, сдѣлалъ крутой поворотъ, прицѣлился изъ пистолета, и снявъ съ сѣбла передоваго всадника, — быстро пустился на уходъ къ морскому берегу; казалось, онъ замѣтилъ насъ, нашу одежду и вооруженіе....

— Сюда! Къ намъ товарищъ, къ намъ! кричалъ Яковъ, махая своей фескою и подводя каякъ въ обрѣзъ къ берегу.

Это предложеніе ободрило бѣглеца. Еще разъ отвѣтивъ выстрѣломъ на гикъ и проклятіе турокъ, которые, смѣшавшись, забыли о погонѣ и бросились помогать раненому, — Константинъ съ разбѣгу прыгнулъ въ нашу лодку.

— Фай! Охъ! спасибо вамъ, братья! могъ только сказать онъ, и молча протянувъ мнѣ руку, упалъ почти безъ чувствъ отъ изнеможенія и усталости.

Подъ выстрѣлами и свистомъ пуль, мы оставили берегъ, вздернули парусъ.... и скоро встали у борта своей шкуны.

Смѣтливый Кипріядки былъ уже готовъ. Люди находились по мѣстамъ,

прибывшіе бросились имъ на помощь, въ тоже время какъ парусъ сталъ наполняться...

— Вотъ такъ, такъ! говорилъ дядя Яковъ — высвистывая вѣтеръ... Правду я сказала... Дунеть попутный!... Ну-ну! Еще... Прощайте, пріятель! продолжалъ старикъ, снявъ феску и посылая почтительный поклонъ солдатамъ, которые въ эту минуту на большомъ барказѣ показались изъ-за мыса...

Нѣсколько дней спустя мы были на Босфорѣ, ограбили здѣсь четыре кочермы, и лучшею завладѣли окончателно. Молодцы прибывали каждый день, и скоро въ моемъ распоряженіи было уже два судна. Одно изъ нихъ доступило подъ команду дяди Якова... Онъ съ Константиномъ, который молча грустилъ о своей любви и неудачѣ, остался въ Архипелагѣ... Я вышелъ въ Черное Море. Въ одну недѣлю я навелъ ужасъ на всѣхъ кунцовъ, плававшихъ ввиду крымскихъ береговъ, и имя мое сдѣлалось страшнымъ для приморскихъ жителей и торговыхъ мореходовъ.

Прошелъ мѣсяцъ. Во все это время я не встрѣчался съ кочермою дяди Якова, но слухъ о его смѣлыхъ и удачныхъ нападеніяхъ часто доходилъ до меня. Удачи почти каждаго дня не утѣшали меня. Тоска и грусть грызли мое сердце... И часто, послѣ страшнаго абордажнаго дѣла, — когда на палубѣ раздавалась веселая пѣсня и звенѣли ковши пиршества, я по дѣлымъ ночамъ безмолвно просиживалъ въ моей каютѣ... Мысль о дѣвухкѣ, которую я полюбилъ всемъ пыломъ страсти, не покидала меня. Видѣть ее, жить ея ласками — вотъ что было постоянною моею думою. Дни шли обычнымъ чередомъ, но тоска не исчезала; — она росла и сосала все болѣе и сильнѣе мое сердце съ каждымъ часомъ, съ каждымъ днемъ.

Однажды ночью, незамѣченный моими храбрыми товарищами, я вышелъ на верхъ. Вѣтеръ былъ намъ попутный, потому-что мы плыли, куда онъ дуетъ, — море было спокойное, и толпа матросовъ, незанятыхъ дѣломъ, собравшись въ носовой части шкуны, коротала ночь въ своихъ обычныхъ забавахъ: одни играли въ кости, другіе въ карты, третьи были заняты разсказами...

— Надоѣло, право надоѣло — товарищи, говорилъ одинъ изъ послѣднихъ... безъ пути, безъ толку мутимъ здѣсь воду который день!.. Что-жь, неужели Кара-Булани боится заглянуть въ Архипелагъ...

— Правда, отозвался другой... Знай себѣ плаваешь въ ятомъ котлѣ; радъ случаю, что не встрѣчаетъ ни камня, ни отмели!...

— Тсъ! замѣтилъ третій изъ собесѣдниковъ, услышитъ Каръ — такъ не миновать тебѣ реи — длинноязыкій...

— Хорошо тебѣ, толкуй. Тебѣ все равно хоть-бы и вѣкъ не видать

родныхъ береговъ... а у насъ, товарищъ, есть на кого посмотреть тамъ....

— Да, есть на кого, подхватилъ Колотрони, и приласкать небольшою долей изъ кровной добычи....

— Э! эхъ! Душа рвется... на Ипсару! откликнулся тотъ изъ говорившихъ, который сомнѣвался въ моей смѣлости оставить Черное Море.

Въ это мгновеніе собесѣдники замѣтили мое присутствіе, и боясь моего гнѣва, — въ страхѣ оставили свои мѣста.

— Всѣ на верхъ! спокойно сказалъ я. Рудь — лѣво на бортъ!... Ставь всѣ паруса.... Идемъ въ Ипсару!

— Да здравствуетъ Карпъ Кара-Булани! крикнула толпа, съ удвоеннымъ усердіемъ принимаясь за работу.

Я вполне раздѣлялъ желаніе моихъ друзей, по двумъ весьма важнымъ для меня причинамъ. Давно не встрѣчаясь съ дядей Карпомъ, я начиналъ тосковать въ разлукѣ съ нимъ, беспокоясь, наконецъ, и за его ко мнѣ привязанность, съ которою, разумѣется, была нераздѣльна мысль о самомъ-себѣ и о своей участи. Оставя Черное Море и зная главные мѣста, гдѣ постоянно крейсировала кочерма старика, я легко, могъ его встрѣтить. Во-вторыхъ, давно задуманная мысль вырвать спотку Марію изъ гарема Хюса лишала меня днемъ пищи, ночью сна... Я рѣшился, посоветовавшись съ дядемъ Яковомъ и съ молодцомъ Константиномъ, попытать счастья.

Вѣтеръ и погода намъ благопріятствовали; выйдя на видъ острововъ я, темною ночью, бросилъ якорь и выслалъ шлюбку обозрѣть бухты, въ одной изъ которыхъ полагалъ найти моихъ друзей....

Въ полночь на верху раздался окликъ.

— Кто у борта.

— Съ кочермы Ипсара.

— Есть! раздалось на палубѣ. Веревоchnый трапъ, урча, скатился по борту, и чрезъ минуту я обнялъ моего стараго друга.

— Вина Карпъ, и рассказывай, какъ дѣла? сказалъ онъ.

— Дѣла хороши, отвѣчалъ я, шкуна полна богатымъ грузомъ.

— Bravo! Мы тоже не безъ удачи.... Чтѣ завоевали — все обратили въ золото. Сегодня Константинъ послѣдній грузъ, сбываетъ на берегу....

— А чтѣ нашъ другъ?...

— Ни на чтѣ не годится.... Пропащая голова! Не пьетъ, ни ѣсть, не спитъ, не говорить.... Скоро высохнетъ, какъ камышъ брошенный на берегъ.... За то, въ свалкѣ первый.... Грызется какъ тигръ,

лезеть на смерть будто подъ кормъ, веселѣ чѣмъ за кружкой винограднаго... Любить чахиль! Гдѣ думаешь теперь поудить золотой рыбки?

— Здѣсь.

— А, такъ вмѣстѣ.... Однако, пріятель — что же это значить: я принимаюсь за восьмую кружку, а ты еще и усовъ не омочилъ въ винѣ?

— Грустно старикъ.... Есть горе на сердцѣ!

— Горе! У тебя горе, когда, самъ говоришь — дѣла твои идутъ отлично?...

— Есть другія дѣла, не такъ удачныя...

— Говори, говори.... или думаешь, что дядя Яковъ пропилъ свой разумъ и дружбу изъ мести?... Ну-ка, что у тебя за червякъ на сердце... вотъ мы его заморимъ съ легкой руки!

— Исторію моей тоски ты знаешь, дядя Яковъ... это все таже неисходная дума о сироткѣ Маріи...

— Какъ!... Да пусть лопнетъ обручъ на моемъ винномъ боченкѣ, если я что-нибудь понимаю тутъ! Неужели цѣлый мѣсяцъ купанья въ горько-соленой и столько же времени тревогъ и абордажа не излечили твоего сердца...

— Нѣтъ, дядя Яковъ, ты видишь, что эта болѣзнь не скороизлечимая...

— Ничего не вижу... я никогда не былъ раненъ въ сердце...

— Но у тебя передъ глазами живая примѣръ—нашъ товарищъ Константинъ...

— Есть разница между тобой и имъ...

— Никакой!

— Есть, говорю! запальчиво вскричалъ старикъ, ударивъ по столу кружкой, которая разлетѣлась въ мелкія дребезги... Ты вотъ успѣлъ влюбиться также скоро, какъ не стало этого драгоценнаго сосуда, а Константинъ любилъ долго, жилъ едвали не подъ одною кровлею съ своею милою... такъ стало-быть... А! да прахъ возьми... о такихъ дѣлахъ я даже не только думать, да и говорить не люблю... Помочь радъ! Пожалуй сдѣлаю перевязку на сердцѣ... Говори, чего бы ты желалъ...

— Выручить ее изъ гарема.

— Немногого хочешь... Пожалуй, продолжалъ онъ; но въ этомъ дѣлѣ открытая сила ни къ чему не поведетъ... Нужна хитрость...

— Я думаю...

— Тонкая хитрость неудастся... А надо рѣшиться схитрить на удающую... Дай кружку... Я подумаю...

Въ эту ночь мы пустились на шкунѣ къ берегамъ Хіуса, наказавъ

ночери выждать насъ къ разсвѣту третьихъ сутокъ, крейсруя за островами.

Вся ночь для меня и дяди Якова прошла въ раздумьи о предстоящемъ предпріятіи.

— А! Что будетъ—то случится! Сдѣлаемъ такъ, какъ пытался сдѣлать Майнари, только планъ мой пообширѣе и позамысловатѣе... рѣшительно сказалъ старикъ. Будь готовъ, Карпъ. Къ вечеру мы въ Хіосѣ, добавилъ онъ: больше не скажу ни слова!

Дядя Яковъ, по своему неизмѣнному обыкновению присвиснулъ, осушилъ стаканъ добраго вина, и поднялся наверхъ.

Еще солнце не скрылось за хіосскими скалами, когда эти скалы дымчатой и зубчатой синевою обрисовались впереди насъ на горизонтѣ. Не желая близко подходить къ острову я, дядя Яковъ и четверо товарищей, оставивъ шкуну въ проливѣ, пустились въ дорогу на канкѣ. Теперь по платью насъ не узнали бы и свои кровные друзья. Мы были въ курткахъ венеціанскихъ моряковъ, безъ признаковъ малѣйшаго вооруженія, тогда какъ каждый изъ насъ имѣлъ по парѣ скрытыхъ пистолетовъ и кинжалу.

Оставляя канкѣ, дядя Яковъ наказалъ матросамъ, чтобы при первой тревогѣ въ городѣ, трое изъ нихъ спѣшили къ стѣнѣ сада, принадлежащаго пашѣ, а третій, спустясь на лодкѣ за мысъ, ждалъ бы уже тамъ нашего прихода.

До поздняго вечера мы прошатались на базарѣ; причемъ дядя Яковъ мастерски разыгрывалъ роль лѣниваго итальянца, и каждый разъ, когда мы оставляли кофейню, или духанъ, общипанные ребятишки толпами провожали насъ, а духанщики долго смотрѣли намъ вслѣдъ, удивляясь щедрости моего товарища.

— Ну, сказалъ дядя Яковъ, останавливаясь, кажется, въ двѣнадцатомъ, если не въ тринадцатомъ духанѣ,—вотъ это, другъ мой, Карпъ, будетъ нашъ послѣдній привалъ; къ тому же въ немъ попросторнѣе...

Съ этими словами старикъ съ вѣжливымъ и униженнымъ поклономъ уѣлся рядомъ съ турецкимъ солдатомъ, преважно раскуривавшимъ свой кальянъ.

— Какъ слышно на вашихъ водахъ о страшномъ звѣрѣ Кара-Буланн? спросилъ старикъ, обращаясь къ своему сосѣду.

— Умные люди не совѣтуютъ вашему брату встрѣчаться съ нимъ! отозвался солдатъ, презрительно взглянувъ на дядю Якова.

— А, что развѣ онъ все по старому, ага?

— Хуже... Жжетъ, топить, грабитъ...

— Даже здѣсь, въ виду вашего храбраго гарнизона?

- Бываетъ.
- Да неужели нѣтъ возможности заарканить этого разбойника...
- Трудно подстрѣлить эту морскую чайку... говорятъ...
- Что говорятъ, ага?
- Общаются послать военное судно, унять его...
- Общаются, а до-тѣхъ-поръ бѣдному купцу прохода нѣтъ: берегись въ морѣ, бойся въ бухтѣ, за товаръ и за голову...
- Эге! А ты вѣрно съ запасомъ...
- Всякаго товара, хоть море запрудить... Не удастся сегодня сбыть чего-нибудь, сейчасъ же уйду...
- Сегодня? Да теперь ужъ ночь!
- Мой товаръ таковъ, что его и ночью покупать...
- Что же это?
- Женщины съ кавказскихъ береговъ.
- А! выразительно вытянулъ слушатель... Красивы женщины?
- Хоть въ султанскій гаремъ!.. Хочу предложить вашему пашѣ...
- Гм... Такъ, такъ! У меня братъ, Меджи, первый сторожъ въ садахъ гарема... Только слово сказать Абдуль-Гамиду, главному надзирателю...
- Вотъ сорокъ цехиновъ, ага! вскричалъ дядя Яковъ, высыпавъ на столъ горсть золота... Проводи до Абдуль-Гамида...
- Сорокъ цехиновъ! повторилъ турокъ... Пойдемъ! сказалъ онъ, съ невозмутимымъ хладнокровіемъ обобравъ деньги...
- Мы оставили кофейню. Сопровождаемые солдатомъ, я и дядя Яковъ прошли нѣсколько темныхъ переулковъ, наконецъ обогнули знакомую мнѣ стѣну сада, и на западной сторонѣ ея остановились, у небольшого домика. Вожатый нашъ тихо и нѣсколько разъ брякнулъ кольцомъ калитки. На этотъ звукъ раскрылось небольшое окно, вырѣзанное въ стѣнѣ, въ амбразурѣ котораго мы увидѣли черное лицо негра...
- Кого? спросилъ онъ.
- Меджи здѣсь?
- Нѣтъ... А! это ты Абдуль...
- Я, голубчикъ Гассанъ... Гдѣ же братъ?
- Въ саду, ждетъ Абдуль-Гамида, который сейчасъ обойдетъ, по своему обыкновению, сады гарема...
- Сорокъ цехиновъ взяты, храбрый, благородной ага, шеннулъ дядя Яковъ надъ ухомъ турка: не поспешишь на слово, добавилъ онъ; мнѣ время дорого...
- Постой, Гассанъ, одну минуту! вскричалъ солдатъ, хватая за руку негра, который готовъ былъ захлопнуть дверцы окна... Если ты

любишь золотыя деньги, какъ пользу твоего властелина, то вотъ этотъ почтенный купецъ отсчитываетъ тебѣ сорокъ цехиновъ, за то...

— За что? спросилъ негръ, лицо котораго искривилось отъ удивленія, въ то время, какъ дядя Яковъ, проворчавъ какое-то чуждое для ушей нашего проводника слово, опустилъ руку въ карманъ.

— А зато, вѣрный сторожъ спокойствія Абдуль-Гаида, сказалъ турокъ, чтобы ты помогъ этимъ купцамъ предстать сейчасъ же предъ свѣтлыми очами твоего господина и облобызать прахъ ногъ его...

— Прахъ васъ побори, разбойники, шепнулъ дядя Яковъ... А вотъ и деньги! громко сказалъ онъ, тряхнувъ золотомъ...

— Давай, давай! вскричалъ Гассанъ... Да, постой же, продолжалъ онъ, пересчитывая монеты: а для чего вамъ нужно свиданіе съ Абдуль-Гаидомъ?

— Мы венеціанскіе купцы, сказалъ я, и желаемъ продать товаръ съ Сухумскихъ береговъ — хорошенькихъ женщинъ...

— А! войдите, войдите...

Провожатый нашъ, гордо кивнувъ головою, отправился своей дорожкой, въ то время, какъ мы вступили на небольшой и тѣсный дворъ, крытый камышевою рѣшеткою...

— Вотъ, одну минуту, здѣсь! сказалъ нашъ проводникъ, оставляя насъ у мраморнаго, полуразрушеннаго входа во внутренніе покои Абдуль-Гаида.

— Ничего не понимаю, что ты хочешь дѣлать, дядя Яковъ? спросилъ я, когда мы остались одни.

— Всего объяснять некогда; но слушай, что должно дѣлать. Когда мы предстанемъ предъ свѣтлыя очи Абдуль-Гаида и облобызаемъ прахъ его ногъ, то ты уже предоставь моему языку работать за двоихъ, а самъ не спускай глазъ съ Гассана... Спасибо, что онъ только одинъ тутъ... И въ ту минуту, когда я брошусь на невѣрнаго, ты хватай за воротъ Гассана... но смотри, не бей его, даже и тогда, когда бы онъ тебя ранилъ: овцу надо только стричь... старайся завязать ему ротъ и довольно!

— Какъ, неужели ты...

— Те... идутъ!..

— Войдите! сказалъ Гассанъ, показавшійся на верхней ступенькѣ лѣстницы.

Негръ ввелъ насъ въ круглый залъ, освѣщенный розовымъ стекляннымъ шаромъ, въ которомъ горѣло благовонное масло и который на свуркахъ, перевитыхъ цвѣтами, спускался съ потолка до полувысо- ты комнаты...

Въ двухъ шагахъ отъ порога насъ встрѣтилъ высокій человѣкъ, закутанный съ ногъ до головы въ темный плащъ; въ рукахъ его былъ зажженный фонарь...

— Благородный ага, сказалъ негръ, обращаясь къ этому человѣку: вотъ кушцы, которые ждутъ твоего милостиваго слова.

Гассанъ поклонился, положилъ руку на сердце и всталъ у ковра, закрывавшаго дверь...

Дядя Яковъ съ восточнымъ подобострастіемъ отдалъ поклонъ Абдуль-Гамиду, и съ тѣмъ же поклономъ вручилъ ему мѣшокъ золота.

— Ждемъ твоей воли и твоего слова! сказалъ старикъ.

— Гассанъ! останься за ковромъ повелительно сказалъ Абдуль-Гамидъ, въ голосъ котораго я узналъ того самого агу, который едва не наткнулся на меня въ саду, въ день моего бѣгства.

Слуга вышелъ. Умиловленный подаркомъ, Абдуль-Гамидъ ласково усадилъ дядю Якова на мягкій диванъ, и опустилъ на полъ фонарь, помѣстивъ рядомо съ своимъ гостемъ...

Въ это мигновеніе рука старика была уже на кинжалѣ, другая быстро схватила за горло благороднаго агу, который чрезъ минуту съ закутанною головою лежалъ какъ кукла на бархатѣ своего дивана...

При первомъ непріязненномъ движеніи дяди Якова, я былъ уже за ковромъ и безпрепятственно связалъ по рукамъ и ногамъ дремавшаго негра, который отъ такого неожиданнаго нападенія и страха лишился языка.

— Готово-ли? послышалось за ковромъ.

— Готово! отвѣчалъ я.

— Иди сюда — Кара-Булани...

При моемъ имени негръ какъ-будто ожилъ, задрожавъ всею тѣлою...

Не теряя не минуты — плащъ Абдуль-Гамида былъ уже на мнѣ, связка ключей и фонарь его въ моихъ рукахъ.

— Теперь за дѣло! сказалъ старикъ, съ удивительнымъ хладнокровіемъ завладѣвъ опять своими деньгами, которыя за минуту подарилъ Абдуль-Гамиду. Этотъ пріятель не пошевельнется, — я его связалъ мертвыми узлами; будетъ много труда, чтобы распеленать его завтра... Пойдемъ къ Гассану.

Дядя Яковъ, снявъ съ головы негра его куртку, которою я обмогъ Гассана — приставилъ къ его горлу кинжалъ и сказалъ:

— Жизнь, или два слова правды, черный!

— Чтѣ вамъ надо: возьмите ваши деньги назадъ... Но оставьте жизнь!...

— Пропадай ты съ деньгами! вскричалъ дядя Яковъ.... Мнѣ нужно.... знать.... Вотъ ключи, видишь?... Укажи ходъ въ гаремъ!

— А! Измѣна... убейте: этого не могу!

— Кара-Булани, разшевели его, сказалъ старикъ, обращаясь ко мнѣ. Нестолько мое движеніе къ кинжалу, какъ мое имя отняло всю твердость Гассана....

— Скажу, скажу! прошепталъ онъ.... Вотъ прямо отъ меня коверъ.... За нимъ выходъ въ садъ.... Потомъ направо дверь у корридора, которую отворите большимъ ключемъ съ наръзаннымъ на немъ полукругомъ.... Это дверь гарема.... Я все сказалъ: пощадите меня!...

Дядя Яковъ сунулъ въ карманъ Гассана мѣшокъ, который до того принадлежалъ Абдуль-Гамиду, — снова закрутилъ голову негра, осмотрелъ веревку, связывавшую его руки и ноги и вышелъ со мною за указанный коверъ....

Мы были въ саду. Сумракъ темной ночи уже лежалъ надъ садомъ; природа была спокойна, ни одна струя вѣтра не качала зелени кустовъ и деревьевъ....

— Вотъ дверь направо... Иди! сказалъ старикъ: ты ее сыщешь... я буду ждать тебя на сорокъ шаговъ, по этой стѣнѣ, которая выходитъ на площадь.... Лѣстница со мною надежная.... Встрѣчь тебѣ бояться нечего... будь смѣлъ.. скорѣе...

Съ этими словами старикъ нырнулъ въ кусты, и только легкій шелестъ ихъ указывалъ его дорогу. Признаюсь, не безъ страха и трепета я осмотрѣлся кругомъ: свидѣтелей не было. Дрожа отъ ожиданія и волненія, я отомкнулъ дверь гарема, и переступивъ порогъ ея, въ ту же минуту заперъ ее на ключъ. Небольшой корридоръ, слабо освѣщенный огнемъ роскошныхъ лампъ, былъ первымъ путемъ моимъ; за нимъ я вступилъ въ круглую, высокую комнату, убранную съ фантастическими затѣями зеленью и цвѣтами.... Шумъ фонтана, поставленнаго на срединѣ этого баснословнаго пріюта женъ наши, скрадывалъ шаги мои... Въ легкихъ струяхъ дыма, выбрасываемаго курильницами, я перешелъ въ такой же тѣсный корридоръ, какъ и первый.... По обѣимъ сторонамъ его, освѣщеннаму голубымъ огнемъ, длиннымъ рядомъ тянулись шелковые ковры, служившіе завѣсою того зрѣлища, которое только могъ видѣть глазъ безобразнаго Абдуль-Гаида и его властелина....

Жены наши погружены были въ глухой сонъ.... Эти роскошныя пряди кудрей, кокетливо брошенныя на мягкій пухъ подушки, эта улыбка безпечности на розовыхъ устахъ, эта чудная античная головка, заброшенная въ забытыя сна.... эта маленькая, какъ брилліантовая серьга, ножка, выбившаяся изъ-подъ атласнаго одѣяла—и

потомъ полувѣтъ лампы, аромать курильницъ — все кружило мнѣ голову и приводило въ забытьё....

Но мысль о спасеніи Маріи вела меня впередъ.... Осторожно заглядывая въ лицо каждой спящей, я не находилъ предмета моихъ исканій.... Наконецъ, послѣдній коверъ — направо. Изнывая въ нѣмой тоскѣ, я судорожно отдернулъ его, и когда золотыя кольца, журча осыпались на край серебряной проволоки — шумъ ихъ разбудилъ заключенную красавицу....

— Абдуль-Гамидъ, сказалъ мнѣ знакомый голосъ, лампа потухла.... зажги ее...

— Те! Марія.... ты? шопотомъ спросилъ я, дѣлая два шага впередъ, освѣтивъ себя фонаремъ, и откинувъ съ лица плащъ мой...

— Какъ!... Это ты! почти съ крикомъ сказала она.

— Да, жертвуя жизнію, — я пришелъ спасти тебя... Идешь-ли: время дорого!...

— Но какъ мы выйдемъ отсюда?

— Какъ я вошелъ.... Не бойся, Марія.... все въ нашу пользу, и ни одинъ врагъ не загородитъ намъ дороги.... Перваго встрѣчнаго ждетъ мой кивжалъ!...

— Спаситель мой.... О! какъ я тебѣ благодарна!... Одну минуту.... выйди за коверъ.... Я готова....

Черезъ пять минутъ тою же дорогою съ моею прекрасною спутницею я вышелъ въ садъ. Дядя Яковъ ждалъ меня на указанномъ мѣстѣ.

— Есть? спросилъ онъ.

— Есть, отозвался я.

Съ небольшимъ шумомъ веревочная лѣстница перекинулась черезъ стѣну, и старикъ былъ уже за нею, Марія послѣдовала его примѣру, и когда снова старикъ сказалъ: Принялъ — я былъ на стѣнѣ, и прыгнулъ безстрашно на землю.

Теперь нечего было опасаться. Четыре вооруженные матроса были съ нами, и черезъ двадцать минутъ какъ нашъ, при усиленной греблѣ товарищей, далеко оставилъ за собою скалы Хіуса. Нельзя высказать той радости, съ какою бѣдная дѣвушка, чувствуя свою свободу, вошла на мою шкуну....

— Грекъ не обманетъ, сказала она, когда мы спустились въ каюту. Я знала, что ты будешь моимъ избавителемъ....

— Выпить! выпить, кричалъ дядя Яковъ, надо выпить послѣ хорошаго дѣла!

— И этотъ добрый старикъ, продолжала дѣвушка, обращаясь къ Якову: вѣрно другъ твой.... и ему я обязана моею свободою....

— Какъ же, какъ же! отозвался дядя Яковъ... Другъ, да еще другъ на жизнь и смерть.... Вотъ вмѣстѣ выпьемъ....

— Марія, началъ, я,—знаешь-ли ты у кого въ гостяхъ и кто готовъ былъ на тысячу смертей за твое спасеніе.

— Нѣтъ.

— Я Кара-Булани!

— Кара-Булани! Страшный врагъ враговъ нашихъ.... О, теперь я вѣрю въ тебя больше, чѣмъ въ первую встрѣчу.... Всѣмъ, всѣмъ заплатила-бы за твои славные подвиги....

— Заплати только любовью! подхватилъ дядя Яковъ, принимаясь за виноградное.... Ну, что же молчишь.... Вѣдь посмотри, нашъ страшный Кара-Булани передъ тобою просто стриженный ягненокъ...

Дѣвушка бросила на меня взглядъ любви и ласки....

— Такъ, такъ! продолжалъ веселый старикъ.... Начните хоть съ поцѣлуевъ. Храбрый Кара-Булани! Яковъ позволяетъ красавицѣ Маріи дать тебѣ одинъ, а ошибкою и два поцѣлуя — въ займы.... Честный человекъ всегда долженъ расплачиваться! добавилъ онъ.

Дѣвушка съ тѣмъ же выраженіемъ ласки протянула мнѣ руку....

Въ это мгновеніе на порогъ каюты показалось блѣдное и встревоженное лицо Майнари.... Съ какимъ-то выраженіемъ восторга, смѣненнымъ свирѣпымъ видомъ, онъ остановился неподвиженъ, вперивъ въ меня и Марію взгляды.

— Что съ тобою, Майнари! вскричалъ старикъ: ты посинѣлъ, какъ-будто сейчасъ съ веревки...

— Погоня! Три вооруженныя лодки въ виду шкуны! раздалось на верху....

Готовый за спасеніе моей шкуны и людей, ввѣрившихъ мнѣ свою безопасность и жизнь, жертвовать всѣмъ—я бросился наверхъ.... Тѣмъ болѣе, владея такимъ сокровищемъ, какъ Марія, я рѣшался на все, желая отстоять мое судно. Дядя Яковъ, заряжая на бѣгу пистолеты, бросился за мною.... На лѣстницѣ старикъ, какъ-будто-бы что-то вспомнилъ, и сказавъ: Работай Кара-Булани—я припасу заряды! возвратился въ каюту.

Когда я взбѣжалъ на палубу—судно было уже атаковано.. Абордажная партія стояла у борта, выжидая врага: дѣйствующіе матросы, пользуясь попутнымъ вѣтромъ, ставили паруса, торопясь выйти въ море.

— Къ ружью! вскричалъ я.... Залпъ изъ фалконетовъ.... Ружья на прицѣлъ!... Пли!...

Шкуна скрылась въ дымѣ выстрѣловъ. На атаковавшихъ насъ лодкахъ раздался вопль ужаса: двѣ изъ нихъ пошли ко дну....

— Какъ на воду! продолжалъ я.... Шестъ человѣкъ въ лодку.... Дарю вамъ друзья—призь ея!

Но я уже не слышалъ восторженныхъ воплей моихъ товарищей: пробитый въ плечо пулею, я безъ чувствъ упалъ на палубу.

Была ночь. Со скрипомъ и стономъ, зарываясь въ небольшихъ волнахъ шкуна моя—повидимому, вставшая на якорь вертѣлась на мѣстѣ. Печальнымъ полусвѣтомъ потухающей лампы озарялась моя каюта, когда я очнулся. Облокотясь на обѣ руки и положивъ локти на колѣни—дядя Яковъ дремалъ подлѣ моей койки!... Движеніе мое разбудило старика.

— Слава Богу—очнулся.... Ого, да какъ ты бодро смотришь съ радостною улыбкою сказалъ онъ....

— Что теперь: день или ночь? спросилъ я.

— Только вечеръ.... Каково себя чувствуешь?...

— Мнѣ кажется, я здоровъ....

— Въ-самомъ-дѣлѣ.... Славно... Два дня мучилъ меня.... Очнешься и опять въ койку.... Спасибо: помогло мое лекарство: вѣдь, знаешь—только однимъ теплымъ виномъ тебя и отпаивалъ.... Ужъ и чихалъ—то ты, и кашлялъ! а рана право не опасная; ну, да впрочемъ, первая: немудрено, что и уснула.... Попробуй встать....

Я приподнялся, и чувствуя совершенную бодрость, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по каютѣ....

— Да ты живехонекъ! вскричалъ дядя Яковъ.

— Какъ видишь....

— Ну, такъ послѣднюю перевязку....

— Первый вопросъ, сказалъ я: гдѣ мы?

— У крымскихъ береговъ, на якорѣ....

— Второй: гдѣ Марія?...

При этомъ старикъ, измѣня своей веселой улыбкѣ, пристально взглянулъ на меня, и затаивъ бинтъ — рѣшительно и съ досадою махнулъ рукою, бросившись къ стакану....

— Что это значитъ? Гдѣ Марія? повторилъ я....

Въ это время слышно было, что кто-то спустилъ съ борта шлюбку на воду и какъ шлюбка эта оттолкнулась отъ борта....

На послѣднее обстоятельство я не обратилъ вниманія, съ трепещущимъ сердцемъ выжидая отвѣта моего собесѣдника....

— Постой, медленно сказалъ дядя Яковъ: признайся Кара-Бу-лани, ты не умѣешь рюмить, какъ баба—умѣешь-ли смотрѣть въ глаза горю, какъ мужчина?

— Умѣю.... Но что значитъ это предисловіе?

— А вотъ выше, скажу....

Я удовлетворилъ желаніе старика.

— Вотъ такъ.... Умно, сказалъ онъ.... Теперь слушай... Но предупреждаю при первомъ выраженіи на лицѣ твоёмъ досады, или отчаянія: я не твой.... Сейчасъ за бортъ и ищи дядю Якова.... Не люблю молодцовъ съ ребячьимъ характеромъ....

— Говори, говори! задыхаясь прошепталъ я.

— Въ эти два дни многое случилось, братъ Карпъ, сказалъ старикъ: въ эти два дня, бѣдный мой племянникъ, дядя Яковъ узналъ, не прогнѣвайся—то, что Марія, за которую мы жертвовали головами.... тебя не любить....

— Не любить, говоришь ты! вскричалъ я.... Но гдѣ доказательства?...

— А! Такъ ужь дядѣ Якову не вѣрять на—слово, и нужны доказательства.... Изволь.... Пойдемъ въ каюту дѣвчонки: у нея вѣрно встрѣтимъ стараго ея друга Майнари, который ей былъ еще знакомъ въ Моревъ, и который не разъ путешествовалъ за нею въ Хіосъ.... Пойдемъ! повторилъ дядя Яковъ, схвативъ меня за руку и увлекая за собою.

Не помня себя отъ досады и волненія, я пробѣжалъ за старикомъ—въ общую каюту и съ силою толкнулъ дверь бокового отдѣленія....

— Цвѣты, ковры.... курильницы... запахъ табаку и лютиа! вотъ только что осталось, насмѣшливо сказалъ дядя Яковъ.

— Неужели она убѣжала!... вскричалъ я.

— Убѣжала, и убѣжала съ Майнари!... отозвался старикъ....

Наверху намъ сказали, что за десять минутъ до нашего прихода—Майнари съ однимъ изъ матросовъ спустился на шлюбку, самъ сѣлъ на весла и поплылъ по направленію къ развалинамъ Херсонеса....

— Какъ и четыре гребца въ весла! вскричалъ дядя Яковъ... накроёмъ бѣглецовъ! Въ дорогу, Карпъ!..

Не помню тяжелыхъ минутъ, когда я невольно вслушивался въ слова матроса и потомъ въ приказанія старика... я только пришелъ въ себя, когда снова надъ моимъ ухомъ зазвучалъ голосъ дяди Якова.

— Вотъ они! крикнулъ онъ... Майнари сдайся!

— Нѣтъ! отвѣчалъ Константинъ, вспрыгнувъ на бортъ своего кайка и выправляя винтовку...

— Будемъ стрѣлять... возьмемъ кинжалами! крикнулъ я.

— А! И ты здѣсь!... Ожилъ!.. Лови! и съ этимъ словомъ Майнари, выстрѣливъ изъ винтовки, бросился съ кинжаломъ на дѣвушку...

Но вооруженная рука его была уже въ сильной рукѣ дяди Якова — Последній бросилъ похитителя на дно лодки и наступилъ ему на грудь ногою... Петля тебѣ!..

— Петля! отозвались матросы...

Мы воротились на шкуну. По приказанію старика освѣтили судно... На шканцахъ были собраны все товарищи и общій голосъ сказалъ: — Дѣвчонку за бортъ... Измѣнника Майнари на рею...

— Что скажешь, Кара-Булани? замѣтилъ старикъ... Не унижай себя, не гляди на ея слезы... не будь слабъ, шейнулъ онъ...

— Дядя Яковъ, сказалъ я, не рассуждая, что говорю... Ты виновникъ спасенія этой дѣвушки... Жизнь ея въ твоихъ рукахъ, дѣлай что знаешь!

— Bravo!.. Такъ вотъ мое рѣшеніе, съ злобною улыбкою громко сказалъ старикъ... Все, кромѣ немногихъ—на шлюбки и въ Инкерманъ... Пустынникъ, отецъ Константинъ обвиняетъ любящую чету, а мы справимъ пиръ веселой свадьбы... За дѣло...

И дѣйствительно, со вздохомъ продолжалъ корсаръ: въ ту же ночь ты, отецъ Константинъ, обвинялъ Марію и Константина, и при выходѣ изъ пещеры тогда же застрѣлилъ ихъ дядя Яковъ... Но Святой Промыселъ отмстилъ намъ это послѣднее и жестокое преступленіе... Давно слѣдившіе за нами — взяли насъ въ эту ночь... и я въ цѣпяхъ... завтра моя казнь... Помолись обо мнѣ, благочестивый старецъ...

Съ разсвѣтомъ, у базаровъБахчисараякъ азили Кара-Булани, который предъ смертнымъ часомъ оправдалъ стараго Грека...

— Бросьте что-нибудь въ эту мерлушку! сказалъ цыганъ, заключая свой рассказъ.

ЗАПИСКИ МОЛОДОЙ ЖЕНЫ.

8 декабря.

Сегодня въ шесть часовъ Алеша мой уѣхалъ въ Саратовъ, гдѣ дѣла по имѣнію требуютъ его присутствія.

Я просилась ѣхать съ нимъ; я умоляла, я даже плакала; но просьбы и слезы все было напрасно... мой тиранъ не смягчился... Онъ увѣрялъ, что дальняя и утомительная поѣздка, въ такое суровое время, разстроитъ мое здоровье, и безъ того слабое.

Рѣшено, что я останусь въ Петербургѣ; я проводила его до станціи желѣзной дороги, и когда поѣздъ, свиснувъ, скрылся вдаль, я воротилась домой, съ заплаканными глазами, съ тоскующимъ сердцемъ.

Алеша обѣщалъ воротиться черезъ три недѣли непременно. Три недѣли! Боже мой, какъ долго! Я до-сихъ-поръ ничего не понимала въ наукѣ чисель; всѣ мои познанія ограничивались увѣренностью, что дважды два не пять, и вотъ я принялась дѣлать вычисленія, достойныя любаго ученаго. Измаравъ много бумаги, я достигла безнадежнаго результата: въ трехъ недѣляхъ двадцать-одинъ день, въ этихъ дняхъ пятьсотъ четыре часа пятьсотъ четыре часа, состоятъ изъ тридцати тысячъ двухъ сотъ сорока минутъ, которыя равняются милліону восьми стамъ четырнадцати тысячамъ четыремъ стамъ секундамъ.

И такъ мы будемъ разлучены въ-продолженіе милліона восьми сотъ четырнадцати тысячъ четырехсотъ секундъ, мы — не разлучавшіеся ни на одну секунду въ четыре мѣсяца нашей брачной жизни.

Какъ эти мужчины злы! Тотчасъ по пріѣздѣ въ Саратовъ, Алеша мнѣ напишетъ; и единственное мое утѣшеніе—мысль, что я скоро получу его письмо. А мой мужъ такъ мило пишетъ. Я помню, какъ будто это было вчера, съ какимъ волненіемъ я читала его письма еще до

нашей свадьбы. Я берегу ихъ, какъ зеницу ока. Сколько души, какой жаръ, сколько благородства, чувствительности и поэзіи!

— Куда адресовать мнѣ мой отвѣтъ? спросила я его.

— Не трудись напрасно, отвѣчалъ онъ: твое письмо не застанетъ меня въ Саратовѣ.

— Ну, такъ я сдѣлаю лучше! вскричала я въ восторгѣ отъ моей мысли. Каждый день, каждый часъ я буду записывать мои поступки, мои слова и мысли. По возвращеніи, ты прочитаешь цѣлый журналъ, и увѣришься, что даже въ разлукѣ я жила только тобою и для тебя одного.

Алеша улыбнулся и поцѣловалъ меня за эту мысль, которую онъ нашелъ чрезвычайно умной и милой.

Который-то часъ? Девять минутъ десятаго. — Чтѣ мнѣ дѣлать? Спать еще рано. Не перечитать ли его письма? Такимъ-образомъ я проведу время съ нимъ. Только бы не помѣшалъ кто-нибудь. Впрочемъ кому пріѣхать? Свекровь моя, графиня Грушина, еще не воротилась въ Петербургъ изъ деревни. — Я не велю никого принимать.

— Аннушка! я не принимаю никого... никого, слышишь!

Ну, теперь возьмемъ наудачу изъ шкатулки письмо мужа. Посмотримъ, какое попалось мнѣ первое. На немъ № 19. О, я узнаю тебя по формату! Ты мнѣ отдано было однажды вечеромъ, послѣ того, какъ я проѣла прощаніе съ соловьемъ «Алябѣва». Алеша стоялъ за моимъ стуломъ, подъ предлогомъ перевертыванія нотъ, и исполнялъ свою обязанность очень неловко: вѣчно опаздывалъ перевернуть страницу... хорошо еще, что я знала акомпаниманъ наизусть...

Но чтѣ скажетъ этотъ драгоценный 19 нумеръ? Посмотримъ. Въ немъ проклинаютъ препятствія, задерживающія нашу свадьбу; ему кажется, что день, такъ пламенно ожидаемый, никогда не настанетъ; всякій вечеръ, при разставаніи, онъ чувствуетъ, какъ сердце разрывается на части, и еслибъ онъ не боялся уронить достоинство мужчины, то заплакалъ бы, какъ ребенокъ. Зато, когда онъ будетъ моимъ мужемъ, онъ не оставитъ меня ни на одну минуту, и устроитъ нашу жизнь такъ, чтобы ничто, кромѣ смерти, не могло насъ разлучить.

И черезъ пять мѣсяцовъ авторъ этого краснорѣчиваго посланія — скачетъ одинъ, по ухабамъ, въ Саратовъ, между-тѣмъ, какъ жена его скучаетъ въ Петербургѣ.

О Алеша, Алеша! Неужели ты любишь меня меньше, чѣмъ въ то счастливое время, когда увѣрялъ, что одно случайное столкновение рукъ нашихъ наполняло уже твою грудь неизъяснимымъ блаженствомъ?

Однако это письмо, вмѣсто веселья, еще болѣе меня разстроило.

Ахъ! Отчего мужа такъ рѣдко исполняютъ обѣщанія, данныя женщинами?

Первы мои разстроены, голова болитъ, ложусь спать печальная и сердитая. Злой, гадкій Алеша! мнѣ кажется, что я возненавидѣла бы васъ... еслибъ не любила такъ сильно.

9 декабря, полдень.

Когда я проснулась, Аннушка подала мнѣ письмо отъ моей свекрови. Она пишетъ:

Любезная невѣстка!

Алексѣй извѣстилъ меня о своемъ внезапномъ отъѣздѣ въ Саратовъ; я поспѣшила возвратиться въ Петербургъ, и только сегодня ночью приѣхала. Молодой женщины вашихъ лѣтъ и вашего званія неприлично жить одной, по собственному произволу, безъ подпоры, во-время отсутствія мужа. Поэтому я прискакала въ столицу, куда меня призывали и сердце, и долгъ. Я надѣюсь, что вы поспѣшите навѣстить меня, какъ только встанете.

Любящая васъ *Марья Грушина.*

Несмотря на то, что письмо довольно сухо и натянато и что въ немъ такъ и проглядываетъ строгость, я обрадовалась. Я едва знаю графиню, но она мать моего мужа, и поэтому имѣетъ полное право на мое уваженіе и любовь.

Я завтракала одна, и завтракала очень скучно. Когда я сѣла къ столу, обыкновенно оживленному веселостію Алеши, столъ показался мнѣ огромнымъ, какъ степь, и весь аппетитъ мой пропалъ. Завтракъ кончился слезами.

Аннушка говоритъ, что карета готова. Полечу къ графинѣ. Наконецъ, вмѣсто того, чтобъ думать втихомолку объ мужѣ, я буду говорить о немъ, и говорить сколько душѣ угодно.

Тотъ же день, 10 часовъ.

Я возвратилась усталая, измученная и съ ужаснымъ запасомъ скуки. Я зѣвала всю дорогу. Моя свекровь женщина, безъ сомнѣнія, очень почтенная, но жить съ нею я не согласилась: между нами такая же симпатія, какъ между огнемъ и водою. Ей удалось найти недостатки во всемъ: она увѣрила, что мое платье дурно сшито, что цвѣтъ моей шали слишкомъ яркъ, что форма шляпки изыскана. — Я прогово-

рилась, что люблю музыку и сижу за фортепьяно по два часа въ день; за это я должна была выслушать предлинную нотацию — о времени, потраченномъ на пустяки.

— Замужняя женщина должна прежде всего заниматься своими дѣтьми! сказала она, оканчивая свою рѣчь.

— Nota bene, когда у ней есть дѣти, отвѣчала я.

Должно-быть я сказала что-нибудь очень неловкое, потому-что моя любезная свекровь велѣла мнѣ замолчать, бормоча съ оскорбленною важностію: Вотъ вѣкъ! старому человѣку рта разинуть не дадутъ. Чтобъ загладить мой невольный промахъ, я стала говорить о тебѣ, милый Алексисъ, говорила о томъ, какъ я счастлива, какъ горжусь тобою и до какой степени опечалена нашей разлукой.

— Пожалуйста, моя милая, не вздумайте говорить такихъ глупостей при постороннихъ, сказала она, нахмуривъ брови.

— Почему же это глупости? спросила я,

— Потому-что всѣ надъ вами будутъ смѣяться.

— Смѣяться? Да развѣ любовь къ мужу предосудительна, или неприлична?

Такъ прошелъ этотъ безконечный день. Я подозрѣваю, что часы графини нарочно отставали, чтобъ меня мучить. Мы обѣдали вдвоемъ; обѣдъ былъ очень торжественный и церемонный; намъ служили лакеи, одѣтые съ ногъ до головы въ черное; да и вообще весь обѣдъ веселостію могъ бы поспорить съ печальной церемоніей.

Послѣ обѣда явилось нѣсколько друзей графини. Собралось человѣкъ десять, которые, еслибъ сложились лѣтами, то старецъ изъ старцевъ показался бы передъ ними юношей.—Я была разобрана и раскритикована, что называется—по косточкамъ.—Всѣ съѣли играть въ карты; а я отъ скуки принялась считать на потолокѣ арабески и зѣвать въ тихомолку. Въ половинѣ десятаго я уѣхала, подъ предлогомъ сильного мигрени.

— До завтра, мой другъ, сказала мнѣ старуха при прощаньи.

Я, молча, поклонилась.

Боже мой! Какъ бы я хотѣла захворать въ-самомъ-дѣлѣ.

10 декабря, 11 часовъ.

Алеша, я видѣла дурной сонъ; онъ мучилъ меня цѣлую ночь, и теперь я еще не могу избавиться отъ мрачныхъ мыслей, которыя онъ на меня навѣялъ.

Вижу я, что ты проѣзжаешь черезъ какой-то городъ; гляжу, подлѣ

тебя сидитъ женщина. Она молода, хороша собою, несравненно лучше меня. Она сидѣла въ каретѣ съ такой кокетливой, съ такой предательской граціей, что я возненавидѣла ее въ ту же минуту. Между-тѣмъ, ты, милый Алексисъ, прислонясь въ уголкѣ, смотрѣлъ съ любовію на мой портретъ, который я тебѣ тихонько положила въ руку въ минуту твоего отъѣзда. — Ты думалъ только обо мнѣ, и не обращалъ вниманія на свою сосѣдку: я была счастлива! — Но вдругъ она, оскорбленная твоимъ невниманіемъ, придвинулась къ тебѣ, положила свою голову къ тебѣ на плечо, и слегка дунула на портретъ. И вдругъ черты мои стали мало-по-малу исчезать и замѣняться ея чертами.

Тогда, посредствомъ ясновидѣнія, которое пріобрѣтаютъ наши чувства во снѣ, я услышала, какъ сердце сильнѣе забилося въ твоей груди и кровь быстрѣе полилась въ твоихъ жилахъ.

— Алеша! я люблю тебя! шептала незнакомка.

И она обвила руками твою шею.

А ты, вмѣсто того, чтобы оттолкнуть ее съ гнѣвомъ, тихо поцѣловалъ ея руку.

Тогда, я въ безпамятствѣ бросилась къ лошадямъ, обрѣзала постромки ножницами, и карета съ грохотомъ покатила въ пропасть...

Я проснулась. Холодный потъ выступилъ у меня на лбу, слезы текли ручьемъ.

Это былъ сонъ, мой другъ, я это знаю, а между-тѣмъ тоска противъ воли овладѣла мною; я готова плакать и наяву.

Тотъ же день, 12 часовъ.

Еще письмо отъ моей свекрови. Неужели я судила о ней слишкомъ строго? Вотъ что она мнѣ пишетъ:

Милая Юлія!

«Молодая женщина въ отсутствіе мужа должна быть очень разборчива въ своихъ удовольствіяхъ. Но было бы несправедливо лишать ее всякаго развлеченія. Есть удовольствія, въ которыхъ даже недоброежелательность и злоба не могутъ найти ничего предосудительнаго. Я предлагаю вамъ одно изъ такихъ удовольствій. Пріѣзжайте, и мы раздѣлимъ его. Надѣюсь, вмѣсто отвѣта, увидѣть васъ самихъ». И проч.

Скорѣй! скорѣй! надо одѣться и ѣхать благодарить добрую графиню. Сегодня въ Итальянской Оперѣ бенефисъ. Вѣрно графиня взяла ложу и хочетъ предложить мнѣ мѣсто. Какъ я благодарна ей за такое вниманіе. Я замѣчаю, что она много выигрываетъ, когда ее узнаешь покорооче; она совсѣмъ не такъ сурова, какъ кажется съ перваго раза.

Полночь.

Часъ отъ часу хуже! Вчера я воротилась домой полуживая, сегодня совсѣмъ убитая.

Въ другой разъ, если графиня будетъ мнѣ предлагать невинныя удовольствія, я буду знать, въ чемъ дѣло.

Я пріѣхала къ ней во второмъ часу.

— Что это вы, моя милая! сказала она мнѣ, вмѣсто привѣтствія; никакъ съума сошли.

Я посмотрѣла на нее, ничего не понимая.

— Къ чему это вы разрядились? Что за неумѣстное щегольство? Сдѣлайте милость, снимите ваши браслеты, наколите этотъ черный вуаль на вашу розовую шляпку, оставьте вашу бархатную мантилью съ кружевами; вотъ вамъ вмѣсто нея кацавейка; въ ней вамъ будетъ теплѣе.

Я повиновалась, какъ ребенокъ, надъ которымъ умничаетъ нянька, и твоя несчастная Юлія, милый Алексисъ, была преобразована въ одну секунду чуть-чуть не въ салопницу.

Еслибы ты увидѣлъ меня въ этомъ нарядѣ, то непременно прогналъ бы меня; и ты былъ бы правъ.

— Боже милостивый! думала я, какое невинное удовольствіе угрожаетъ мнѣ.

— Теперь вы прилично одѣты, сказала графиня, и мы можемъ ѣхать. Лишь-бы не опоздать, а то не найдемъ мѣста.

Услышавъ это, я потеряла всякую надежду ѣхать въ оперу; вѣроятно мы поѣдемъ на музыкальное утро, или осматривать какую-нибудь лотерейную выставку.

Мы поѣхали однако вовсе не туда.

Карета наша остановилась въ дальней части города. Я вышла изъ кареты вслѣдъ за графиней, и мы вошли въ большую залу, уставленную стульями.

Я посмотрѣла на часы: было безъ пяти минутъ два.

Отъ двухъ часовъ до половины шестаго, я имѣла невыразимое удовольствіе слушать какого-то скучнаго француза, который читалъ о направленіи духовной поэзіи во Франціи, и разбиралъ Массильона и Боссюэта.

У меня страшно озябли ноги; я зѣвала до того, что заболѣли скулы; я заснула бы, еслибы графиня не подергивала меня какъ только я закрывала глаза. Можешь вообразить, какъ я скучала, милый Алексисъ? Я думала о тебѣ, и даже эта могущая мысль не могла преодолѣть моей скуки!

Послѣ назидательнаго чтенія мы возвратились къ графинѣ, гдѣ меня ожидать такой-же точно обѣдъ, какъ вчера; сзади насъ стояли тоже мрачныя лакеи.

Послѣ обѣда меня засадили за вистъ-преферансъ. Данте забыль помѣстить эти невинныя удовольствія въ числѣ мукъ своего «Ада». О судьба! избавь меня отъ развлеченій моей милой свекрови.

11 декабря.

Сегодня я сдѣлала глупость; я признаюсь тебѣ въ ней, но съ условіемъ, чтобъ ты не смѣялся надъ твоей бѣдной Юліей; разлука съ тобой помрачила ея бѣдный разсудокъ.

— Гдѣ-то теперь мой Алеша? Что онъ подѣлываетъ? О комъ думаетъ? Вотъ три вопроса, которые я повторяю безпрестанно, и не нахожу на нихъ нигдѣ отвѣта.

Дороги въ это время года такъ дурны, пріѣзжающіе только и твердятъ объ опрокинутыхъ каретахъ. Иногда мнѣ кажется, что карета твоя сломалась, и я вижу тебя раненнаго, умирающаго, на дрянномъ постояломъ дворѣ, безъ помощи, безъ врача! Тогда сердце мое сжимается и кровь стынетъ въ жилахъ.

Сегодня эти черныя мысли овладѣли мною сильнѣе, чѣмъ прежде, и я рѣшилась узнать что-нибудь о твоей судьбѣ. Я вспомнила о гадалщицѣ, о которой мнѣ много рассказывали. Говорятъ, что она ясновидящая, и творитъ просто удивительныя вещи, подъ вліяніемъ какого-то магнетизера.

Пойду посоветоваться съ этой сивиллой, сказала я: хочу непременно узнать наконецъ что-нибудь положительное. Дѣйствительность, какова-бы она ни была, не можетъ быть хуже этой томительной неизвѣстности.

Между-тѣмъ графиня прислала мнѣ сказать, что она заѣдетъ ко мнѣ въ третьемъ часу. Я отвѣчала, что я въ отчаяніи, потому-что не могу принять ее: мнѣ необходимо ѣхать со двора.

Въ два часа я вышла пѣшкомъ, одна, не желая никому повѣрить моей сердечной слабости. На Невскомъ я наняла извозчика, и поѣхала къ ясновидящей. Она живетъ гдѣ-то на Пескахъ,—мѣсто, котораго я и не подозрѣвала: я думала, что тутъ только болото.

Съ трепетомъ поднималась я по лѣстницѣ въ какой-то мезонинъ. Хотя я не очень вѣрю предсказательницамъ, но рассказываютъ о такихъ чудныхъ вещахъ, что часто мнѣ хочется поневолѣ убѣдиться, дѣйствительно-ли это такъ.

Кухарка ввела меня въ довольно большую комнату, очень плохо меблированную и украшенную картинками изъ Аталы и Рене. Я сѣла на какой-то диванъ съ ямами и, повидимому, набитый толченымъ кирпичемъ.

Черезъ нѣсколько минутъ явилась какая-то старуха, въ чепцѣ на боку, изъ-подъ котораго вырывались пряди непричесанныхъ волосъ, и очень наивно мнѣ улыбнулась. Я не замѣтила въ ней ничего особеннаго. Это просто толстая женщина, съ довольно невыразительной физиономіей.

— Садитесь! сказала она, и опустилась въ вольтеровское кресло, фантастической постройки, обитое кожей самаго неопредѣленнаго цвѣта.

— Что вамъ угодно знать? спросила у меня гадалщица, вынимая изъ футляра замасленную колоду картъ. Вамъ погадать на короля, или на даму?

— Мой мужъ уѣхалъ, и мнѣ хочется узнать, что онъ дѣлаетъ. Она разложила карты. — Онъ далеко отсюда?

— Да.

— Есть у васъ какая-нибудь вещь, принадлежавшая вашему супругу?

— У меня есть медальонъ съ локономъ его волосъ.

— И прекрасно. Позвольте взглянуть.

Я отдала медальонъ. Она повертѣла его въ рукахъ, что-то надъ нимъ пошептала. Ты знаешь этотъ медальонъ. Это тотъ же самый, въ который вдѣланъ портретъ моего брата, офицера кавказскаго линейнаго батальона. Сивилла съ такимъ жаромъ обнюхивала твои волоса, что я стала-бы ревновать, будь она помоложе и лучше собою.

Вдругъ она страшно вскрикнула; я поблѣднѣла какъ смерть.

— Что такое? Боже мой! что такое? спросила я въ томленіи.

— Вы не пугайтесь, сказала она съ важностію: но я должна вамъ сказать то, что вижу на картахъ. Вотъ онъ... я его вижу... онъ впереди своего отряда; нѣсколько сотъ черкесовъ окружаетъ ихъ, нападаютъ на нихъ, но они побѣждаютъ... пуля поражаетъ его лошадь, она падаетъ... Одинъ изъ солдатъ отдаетъ ему свою... онъ дерется, какъ левъ... шашка его обагрена кровью враговъ... черкесы такъ и валятся отъ его ударовъ... онъ бросается велѣдъ за бѣгущими хищниками... онъ невредимъ.

Минута молчанія. Сивилла собираетъ свои карты, и опять ихъ раскладываетъ, отбрасывая часть всторону.

— Я вижу его опять, но неясно, продолжала она: онъ преклоняетъ

колѣна; онъ благодаритъ Всевышняго; имя ваше дрожитъ у него на губахъ...

— Угодно вамъ узнать еще что-нибудь о вашемъ супругѣ? Можно взглянуть въ кофейную гущу, тамъ еще виднѣе.

— Благодарю; съ меня довольно и этого.

Я задыхалась. Мнѣ было и смѣшно и досадно на свою глупость. Я взяла медальонъ и уѣхала.

Это мнѣ стоило три цѣлковыхъ.

12 декабря.

Весь день идетъ снѣгъ! холодно; я сегодня не выходила со двора, Я провела все время у камина, въ твоёмъ кабинетѣ, думая о тебѣ. Передо мною цѣлыя страницы цифръ. Прошло сто часовъ со дня твоего отъѣзда; то-есть 360,000 секундъ надо вычесть изъ общей суммы; я не увижу тебя еще 930,000 секундъ. Боже мой! Да я до-тѣхъ-поръ успѣю умереть сто разъ.

13 декабря.

У меня есть свекровь, и я убѣждена, что если она не перемѣнитъ своего обращенія со мною, то мое счастье недолговѣчно. Если я еще не разорилась совершенно съ графиней такъ, по-крайней-мѣрѣ, мы очень не жалуемъ другъ-друга. Мы, пожалуй, разыграемъ, сцену примиренія, когда возвратится мой мужъ, но я увѣрена, что она не проститъ мнѣ никогда сегодняшней сцены. Да и я также.

Нѣтъ, я не прощу ей обидныхъ подозрѣній, оскорбительной недовѣрчивости и гнуснаго шпіонства, которое она не постыдилась употребить противъ меня.

Я сейчасъ отъ нея. Сцена была короткая, но горячая. Дерзости сыпались градомъ.

Удивленная тѣмъ, что я не приняла ее, она приказала одному изъ своихъ слугъ ждать меня на улицѣ и слѣдить за мною, куда бы я ни пошла. Онъ видѣлъ, какъ я вышла изъ дому, боязливо прошла по Невскому, наняла сани и поѣхала въ отдаленный кварталъ.

За мной продолжали слѣдовать; я велѣла остановиться передъ домомъ подозрительной наружности, и вошла въ этотъ домъ; я оставалась тамъ цѣлый часъ, и когда вышла, была очень блѣдна и казалась сконфуженной.

Послѣ этого долгаго и мелочнаго высчитыванія всѣхъ моихъ поступковъ, свекровь сложила руки и пристально посмотрѣла мнѣ въ глаза.

— Видите, я все знаю! сказала она голосомъ, которому хотѣла придать презрительное выраженіе.

— Совершенно все.

— Стало-быть, вы и не опровергаете этого?

— Зачѣмъ опровергать то, что справедливо.

— Ваше поведеніе очень легкомысленно, сударыня. Удалить меня для того, чтобы бѣжать куда-то на Пески...

— Слѣдить за мною, какъ за преступницей!

— Осторожность—мать безопасности.

— Довольно, прошу васъ! ваши подозрѣнія меня оскорбляютъ. Я вамъ все скажу.

Я рассказала ей мой визитъ къ гадальщицѣ, со всѣми подробностями. Когда я кончила, свекровь пожала плечами.

— Эта исторія недурно придумана, сказала она: жаль только, что неправдоподобна.

— Такъ вы не вѣрите?

— Плохо вѣрится. Да я думаю, что и Антонъ Егорычъ не сразу бы этому повѣрилъ.

— Антонъ Егорычъ! спросила я съ удивленіемъ: кто такой Антонъ Егорычъ, и что мнѣ за дѣло до его мнѣнія?

— О! да вы отличная актриса! сказала графиня, смѣясь. Такъ вы не знакомы съ мосье Сергучевымъ? Скажите, пожалуйста, а онъ обожаетъ васъ и вездѣ рассказываетъ, что просто умираетъ отъ любви къ вамъ.

Я слушала и не понимала.

— Вы говорите загадками, сказала я: я безтолкова: нельзя-ли пояснѣе.

— Это лишнее; вы и такъ меня очень хорошо поняли.

Я встала и пошла къ дверямъ.

Одну минуту, сказала графиня: я хочу вамъ дать совѣтъ: если вы ужъ рѣшились поступать такъ необдуманно, такъ дождитесь, по крайней-мѣрѣ, пріѣзда мужа. Я уѣхала, ничего не понявъ и спрашивая у себя, кто-же этотъ господинъ Сергучевъ, который меня обожаетъ и котораго я не знаю?..

Сергучевъ... имя довольно звучное!

17 декабря.

Сегодня, по моимъ вычисленіямъ, я должна получить письмо отъ Алеши. Я уже три раза спрашивала, не приходилъ-ли почтальонъ. Аннушка все отвѣчаетъ, что нѣтъ. Отчего-же онъ не пишетъ? Это ужа-

сно! Мнѣ такъ необходимо его письмо... Мнѣ надо знать, что я любима... Я не видѣлась больше со свекровью; а какъ скучно быть вѣчно одной! Какъ цвѣтокъ, спаленный солнцемъ, ждетъ ночи, чтобы освѣжиться росой, я жду нѣжныхъ рѣчей и клятвъ любви моего милаго

Что за шумъ?.. Это Аннушка; она подаетъ мнѣ письмо изъ Саратова. Боже! благодарю Тебя. Наконецъ я буду счастлива! пора: это первая радость въ продолженіе десяти дней.

Опять разочарованіе! Оно жестоко поразило мое сердце. Вотъ письмо Алеши, письмо, которое въ мечтахъ я представляла себѣ такимъ нѣжнымъ, пламеннымъ. Я списываю его слово въ слово.

Милая Юличка!

«Путешествіе мое было прекрасно; тотчасъ по приѣздѣ въ Саратовъ, я увидѣлся со всѣми, съ кѣмъ было нужно видѣться; дѣла мои идутъ хорошо. Я такъ торопился ѣхать, что не видалъ даже моего повѣреннаго, и не далъ ему никакихъ приказаній. Напиши ему, чтобъ онъ продалъ мои бумаго-прядильныя акціи, а вмѣсто ихъ, купилъ бы акціи волжскаго пароходства, и наблюдалъ бы за ходомъ дѣла о торфѣ.

«Мнѣ нѣкогда писать тебѣ больше. Я возвращусь въ Петербургъ къ назначенному времени.

Прощай!»

«Твой Алексѣй Орпшковъ.»

Я читала какъ-то, прекрасную драму «Рюи-Блазъ». Въ этой драмѣ, молодая женщина разлучена съ мужемъ, и съ нетерпѣніемъ ждетъ объ немъ извѣстій. Она въ отчаяніи; вдругъ является посланный съ письмомъ. Дрожащей рукою ломаетъ она печать; мужъ пишетъ:

Madame, il fait grand vent, et j'ai tué six loups, —
(Погода очень вѣтряная, и я убилъ шесть волковъ).

Я была тогда очень молода и много смѣялась надъ лаконизмомъ этого нѣжнаго посланія. Увы! я тогда и не думала, что мечта поэта такъ скоро обратится для меня въ безотрадную истину.

Бѣдная женщина! Мнѣ жаль тебя, если ты страдала хоть вполвину такъ, какъ я.

18 декабря.

Сегодня утромъ, Аннушка испугалась; дотога я перемѣнилась.

— Боже мой! вскричала она: что съ вами, сударыня, вы вѣрно нездоровы.

Дѣло въ томъ, что у меня красные глаза и желтое, истомленное лицо. Я не спала всю ночь, но зато плакала вдоволь. По-временамъ усталость одолевала меня, мысли мои мѣшались и я начинала дремать. Тогда тысячи призраковъ являлись передо мною; я видѣла ихъ коварныя улыбки, ихъ насмѣшливые взгляды.

— Мы тѣни забытыхъ женъ, говорили бѣлые призраки, кружась около моей постели. Приди къ намъ, приди, сестра, покинутая и обманутая, какъ мы!

И хоръ насмѣшливыхъ голосовъ пѣлъ на странный напѣвъ:

Продай мои бумаго-прядильныя акціи.

Купи мнѣ волжскія.

Потомъ, мнѣ являлась красавица Испанка, она опиралась съ любовью на руку Рюи-Блаза; она, наклонясь ко мнѣ, нашептывала мнѣ слова, отъ которыхъ я трепетала и страдала.

Мнѣ казалось, что невидимая рука писала огненными буквами на стѣнахъ моей комнаты и на занавѣсахъ постели имя Сергучева.

Алексисъ, я еще разъ прочла ваше письмо; но какъ я не перетолковываю его, все не могу найти въ немъ ни одного вѣжнаго слова, ни одной искры любви. Итакъ, недѣли было достаточно, чтобы вырвать изъ вашего сердца воспоминаніе обо мнѣ, какъ довольно было одного дуновенія злой женщины, которую я видѣла во снѣ, чтобы стереть мои черты со слоновой кости! Чѣмъ заслужила я такое охлажденіе? Въ чемъ вина моя?

19 декабря.

Я вооружилась всемъ доступнымъ мнѣ мужествомъ и отправилась къ графинѣ.

Свекровь встрѣтила меня принужденнѣе и холоднѣе, чѣмъ когда-нибудь. Термометръ ея благоволенія ко мнѣ упалъ на 15 градусовъ ниже нуля, температура, соотвѣтствующая теперешнимъ морозамъ.

Мы разстались холодно, а встрѣтились какъ-будто облитыя ледяною корою.

Однако холодный пріемъ ея меня не озадачилъ. Я къ нему приготовилась, и рѣшилась заранѣе принять на себя всю тяжесть перваго шага къ примиренію.

Поэтому я была почтительна и покорна, между-тѣмъ какъ въ сердцѣ у меня кипѣла оскорбленная гордость. Я хотѣла, во что бы то ни стало, завоевать расположеніе графини. Увы! Я давно уже потеряла отца и мать! Я была воспитана опекуномъ, который получалъ ты-

еячу рублей за свои хлопоты по ошкѣ, и который былъ со мною нѣженъ ни болѣе, ни менѣе, какъ на тысячу рублей. Стало-быть, любовь графини мнѣ необходима; особенно теперь, когда мужъ не любитъ меня больше.

Вотъ что твердила я себѣ, чтобъ поддержать свое мужество на трудномъ пути смиренія, который мнѣ предстоялъ.

Наконецъ, когда я думала, что удобная минута настала, я дала волю слезамъ, которыя удерживала въ-продолженіе двухъ часовъ.

— Что съ вами? спросила съ удивленіемъ графиня.

Не имѣя силы отвѣчать, я подала ей, рыдая, письмо мужа.

Она развернула его, не торопясь; во-время чтенія лицо ея осталось холоднымъ.

— Ну что-жь? спросила она, отдавая мнѣ письмо.

— Какъ что-жь? онъ меня не любитъ больше; это очевидно. Я для него не жена, а стряпчій. И все это черезъ четыре мѣсяца послѣ свадьбы. Куда, какъ мило!

— Послушайте, моя милая, сказала старуха: я не вижу тутъ ничего неприличнаго. Алексѣй называетъ васъ *милой Юличкой*, оканчивая письмо, онъ говоритъ *твой Алексѣй*. Чего же вамъ больше? Вы, можетъ-быть, хотите, чтобы онъ писалъ вамъ въ стихахъ, или какъ пишутъ письма въ романахъ? Это смѣшно!

— Я надѣялась, что письмо его будетъ такъ же мило и нѣжно, какъ тѣ, которыя онъ писалъ мнѣ до свадьбы; въ то время онъ не говорилъ мнѣ о своихъ акціяхъ!

Грушина была такъ поражена, что нѣсколько минутъ не могла придти въ себя.

— Такъ мой сынъ писалъ вамъ, когда вы не были еще его женой? спросила она, опомнившись.

— Да.

— И вы брали его письма?

— Онъ такъ учтиво подавалъ ихъ!

— И вы ихъ читали?

— Если я брала ихъ, такъ надобно же было и прочесть!

— И вы отвѣчали на нихъ?

— Если я ужъ рѣшилась читать и брать, — то почему же было не отвѣчать!

— Прекрасная логика! отвѣчала старуха: стало-быть, если и Антонъ Егорычъ Сергучевъ вздумаетъ затѣять переписку, вы и его письма будете принимать, читать и отвѣчать вашему обожателю?

Едва это имя было произнесено, какъ я почувствовала, что кровь бросилась мнѣ въ голову.

— Вы покрасѣли? сказала свекровь строгимъ голосомъ.

— Да, я покрасѣла, но только отъ негодованія; я не понимаю, кто вамъ далъ право такъ оскорблять меня? Но я не потерплю этого болѣе.

Я холодно поклонилась и вышла въ сильномъ волненіи.

Антонъ Сергучевъ! Это имя безпрестанно звучитъ передо мною... И съ чего моя свекровь выдумала всю эту вздорную исторію о таинственномъ обожателѣ. Странно: меня любятъ, а я не знаю ни лѣтъ, ни роста, ни положенія въ свѣтѣ, ни цвѣта волосъ моего поклонника. Это, право, забавно; даже любопытно.

20 декабря.

Мнѣ девятнадцать лѣтъ, у меня стройная талія, маленькая ножка, крошечная ручка, бѣлые зубы, коралловые губки, черные глаза и бѣлокурые волосы; я безъ ума люблю моего мужа.

А со мною обращаются, какъ-будто у меня голова сѣдая, глаза оловянные, ротъ безъ зубовъ, сморщенные руки, огромныя ноги, безобразная талія, и какъ-будто мнѣ шестьдесятъ лѣтъ.

Просто, понять не могу, чтó за необъяснимая загадка!

Отчего, когда я думаю объ одной любви, онъ думаетъ только о торфѣ?

21 декабря.

Тайна проникнута, загадка объяснилась?.. Я сдѣлала сегодня чудесную находку. Сегодня я искала въ мужниномъ бюро бумаги, чтобъ продолжать мой журналъ. Нечаянно подавила я скрытую пружину, и вдругъ открылся потайной ящикъ, котораго я и не подозрѣвала; въ ящикѣ были письма. Я думала сначала, что это мои письма, но ошиблась; я съ перваго взгляда увидѣла, что это не мой почеркъ. Это эпизодъ изъ холостой жизни Алексѣя Гаврилыча; настоящій романъ въ двадцати письмахъ.

Вотъ послѣдняя глава этого романа. Я читала и перечитывала ее разъ десять, и спешу, чтобъ никогда не забыть; вотъ она:

«Позвольте мнѣ, мой другъ, избавить васъ отъ притворства и лжи. Вы любили меня; теперь вы меня не любите. Я уже не сомнѣваюсь въ вашемъ охлажденіи, я въ немъ увѣрена. Избавьте же себя отъ комедіи, тягостной для васъ, невыносимой для меня. Вы взяли назадъ ваше сердце, я возвращаю вамъ свободу».

«Вѣрьте мнѣ: я говорю все это безъ всякой горечи; то, что случилось, не удивляетъ меня, это должно было случиться. Не сдѣлала-ли я все, чтобы разстроить предполагаемый нами бракъ! вина моя, и вина непростительная!

«Я любила васъ слишкомъ глубоко, слишкомъ искренно; въ моихъ отношеніяхъ къ вамъ не было ни кокетства, ни хитрости. Я открыла передъ вами всѣ тайные изгибы моего сердца.

«Что нашли вы въ немъ? Мысль объ васъ, любовь къ вамъ. Во все время вашего сватовства, я казалась такой, какой была въ-самомъ дѣлѣ; я гордилась вашей любовью, счастье мое было въ вашемъ взглядѣ, въ вашей улыбкѣ. Въ сравненіи съ вами другіе мужчины казались мнѣ неловкими, глупыми, безобразными. Я видѣла только васъ, думала только объ васъ, жила однимъ вами. Я говорила вамъ это, повторяла и доказывала въ-продолженіе шести мѣсяцевъ. Вотъ моя вина; она велика, и теперь я за нее расплачиваюсь.

Вы, мужчины, любите насъ сильно только до-тѣхъ-поръ, пока вамъ кажется, что васъ очень мало любятъ. Но едва вы увѣритесь въ своемъ торжествѣ, вы замышляете уже новыя побѣды. Боязнь, подозрѣнія, ревность—вотъ средства, поддерживающія и разжигающія вашу страсть. Умная женщина должна скрывать половину своей нѣжности, если хочетъ долго властвовать надъ вашимъ сердцемъ. Я не употребляла хитростей, и вы охладѣли. Богъ съ вами. Прощайте».

Какой урокъ! Добрый, или злой геній послалъ мнѣ это письмо. Не знаю, но знаю только одно: я имъ воспользуюсь. Совѣтъ, какъ нельзя больше, кстати.

22 декабря.

Аннушка вошла сейчасъ ко мнѣ съ веселымъ видомъ.

— Вы ѣдете сегодня на балъ, сударыня? спросила она.

— На балъ? Ты знаешь, что я не ѣзжу на балы безъ мужа.

— Извините, я думала... потому-что вамъ принесли сейчасъ букетъ.

— Букетъ?

— Да-съ. Чудесный букетъ.

— Для меня?

— Для васъ, сударыня.

— Отъ кого?

— Не знаю, сударыня: услыхавъ звонокъ, Николай отперъ дверь, ему отдали букетъ и сказали: «Это для барыни».

— Странно; гдѣ-же букетъ?

Аннушка вышла и черезъ минуту воротилась съ чудесной связкой камелій.

— Хорошо сказала я, оставь здѣсь.

Если предчувствіе не обманываетъ меня, этотъ букетъ присланъ мнѣ Сергучевымъ. Но слѣдуетъ-ли мнѣ принять его? Разумѣется, нѣтъ... надо отослать его назадъ. Но куда? Ахъ! въ немъ вѣрно есть записка. Мужчины все хитры и такъ смѣлы!

Я пересмотрѣла каждый цвѣтокъ, но не нашла ничего.

Этотъ Сергучевъ дерзокъ, и его самоувѣренность удивила—бы меня, еслибы я не была оскорблена ею. Но все-таки у него прекрасный вкусъ; букетъ очаровательный.

А что, если онъ самъ явится? Эти цвѣты, можетъ-быть, затѣмъ и присланы, чтобы имѣть предлогъ... Принять его? неприлично. Не принять—неучтиво, да и неловко: онъ, пожалуй, подумаетъ, что я боюсь его, что не надѣюсь на свою твердость!.. Мужчины такъ самолюбивы!

Сообразивъ все хорошенько, я велѣла принять его, если онъ явится; я хочу дать ему почувствовать всю необдуманность, все неприличіе его поступка; я ему строго выскажу правду. Вотъ все, чего онъ можетъ ожидать отъ своего безумнаго посѣщенія.

Хотѣла-бы я знать, о чемъ думаетъ Аннушка? Прическа моя сегодня ни на что не похожа, а платье вовсе не къ лицу. Нѣтъ, придется ее пожурить: она очень дурно исполняетъ свою обязанность. Хорошо еще, что я случайно взглянула въ зеркало.

Тотъ-же день, 2 часа.

Аннушка доложила, что меня спрашиваетъ какой-то господинъ, котораго она никогда не видала, и который не хочетъ сказать своего имени.

Понимаю: это онъ. Мосье Сергучевъ... какъ скоро! Неужели онъ, въ-самомъ-дѣлѣ, любить меня такъ безумно, какъ увѣряетъ моя свекровь? Я чувствую какое-то невольное волненіе, я дрожу; однако теперь вовсе не время волноваться? Соберу всю свою твердость!

Я взглянула въ зеркало, чтобъ придать лицу строгое выраженіе,—и какъ можно покойнѣе усѣлась на оттоманѣ. Дверь отворилась... я увидѣла человѣка — нето чтобы молодого, но и не стараго, не великана, не карлика, такъ-себѣ, довольно полнаго, не красавца, но и не дурнаго.

Онъ поклонился мнѣ довольно неловко; я пригласила его сѣсть противъ моего рабочаго столика.

— Сударыня, извините!.. Я осмѣлился явиться по случаю букета... сказалъ онъ съ замѣшательствомъ.

— Какого букета?

Я смѣшалась еще больше его.

— Простите, ради Бога! я въ совершенномъ отчаяніи отъ этой ошибки.

— Отъ ошибки?

— Извольте видѣть — сегодня утромъ я заказалъ букетъ въ цвѣточной лавкѣ Пассажа... Жена моя ѣдетъ на балъ въ Благородное Собраніе, и я хотѣлъ сдѣлать ей сюрпризъ. Я велѣлъ принести его черезъ часъ сюда въ домъ, въ третій этажъ. Жду, жду,—букета нѣтъ! Я пошелъ справиться и узналъ, что мальчикъ изъ лавки, вмѣсто третьяго этажа, отдалъ мой букетъ во второй.

Прощайте мои мечты и побѣды! Я позвонила и велѣла Аннушкѣ отдать букетъ по принадлежности.

А я еще обвиняла въ этой любезности мосею Сергучева... Забавный промахъ! Тотъ, можетъ-быть, и не думаетъ обо мнѣ!... мужчины такъ легкомысленны!

Восемь часовъ.

Мнѣ было любопытно узнать имя примѣрнаго супруга, который дѣлаетъ такіе милые сюрпризы своей женѣ. Такіе мужья очень рѣдки! Аннушка отправилась на розыски, и вотъ что она узнала:

Имя моего посѣтителя Цыпочкинъ, Анкудинъ Тимоеичъ; онъ имѣетъ честь быть супругомъ Авдотьи Селиверстовны, урожденной Зубковой, писательницы, пользующейся нѣкоторою извѣстностію, если вѣрить моей горничной.

Уже семь лѣтъ, какъ они обвѣнчаны; у нихъ три мальчика и двѣ дѣвочки. Она написала много дѣтскихъ книжекъ. Они живутъ очень дружно. Барыня водитъ на помочахъ барина, который отъ нея безъ ума.

Неужели, въ-самомъ-дѣлѣ, только при такихъ условіяхъ можно быть счастливой?

23 декабря.

Сегодня Зина Рогова пріѣзжала навѣстить меня, и мы провели съ нею весь вечеръ.

Зина двоюродная сестра моего мужа; ей двадцать шесть лѣтъ; она богата, вдова, и очень миленькая кокетка.

— Ну что! милая Жюли, спросила она: получаешь-ли письма отъ мужа? Скоро ли онъ воротится?

Я отвѣчала, что жду его на дняхъ, и что онъ писалъ мнѣ всего одинъ разъ.

— Только-то! вскричала Зина: только одинъ разъ! Ну, скупъ-же онъ на бумагу! Но зато вѣрно письмо было длинное. Четыре страницы мелкаго, сжатаго почерка не правда-ли! Онъ исписаны вдоль и поперекъ; я это знаю.

Слова моей кузины мучили меня невыносимо. Я вспомнила объ волжскихъ акціяхъ, и о торфѣ, единственномъ предметѣ привязанности моего мужа, но сохранила присутствіе духа и довольно силы, чтобы улыбнуться.

— Ты очень счастлива, не правда-ли? сказала Зина.

— О! да, очень счастлива! сказала я, удерживая вздохъ.

— Тѣмъ лучше! Дай Богъ, чтобъ ваше счастье было продолжительно. Дѣло въ томъ, что не всѣ мужья такъ любезны, какъ мой, съ которымъ я была счастлива два года съ половиной, и несчастлива всего только шесть мѣсяцевъ. Большая часть мужей бѣсятъ своихъ женъ и при томъ пользуются отличнымъ здоровьемъ. Изъ всѣхъ замужнихъ женщинъ, которыхъ я знаю—я самая счастливая, но я съ-тѣхъ-поръ овдовѣла.

Затѣмъ Зина начала описывать мнѣ положеніе вдовы съ такимъ увлеченіемъ и такъ краснорѣчиво, что я должна была ее остановить. Я чувствовала, какъ въ глубинѣ моего сердца зарождалась неприятная мысль.

— Кстати, сказала она, прощаясь, знаешь-ли ты, что говорятъ?

— А что такое?

— Говорятъ, что ты будешь причиной ужаснаго несчастья.

— Я? Боже мой! Что ты хочешь этимъ сказать?

— Сергучевъ собирается застрѣлиться—отъ любви къ тебѣ. Несмотря на то, что она сказала эту фразу, улыбаясь, я чувствовала, что колѣна мои подгибаются, и оперлась о каминъ.

— Что съ тобою? сказала кузина, отъ которой не скрылось мое волненіе.

— Не знаю, меня что-то душитъ; я вѣрно нездорова.

— Что же, пусти кровь

Я притворилась, что не слыхала.

— Что касается до мосье Сергучева, продолжала я, то мнѣ кажется страннымъ, что всѣ говорятъ мнѣ объ его любви, а онъ одинъ ни слова.

— Ты его не знаешь?

— Я его никогда не видала.

— Хочешь, я тебѣ его представлю?

Этотъ вопросъ такъ смутилъ меня, что я отвѣчала да, сама не зная что говорю.

Кузина задумалась.

— Завтра у меня нѣтъ минуты свободной, сказала она: но послѣ завтра я къ твоимъ услугамъ. Будь дома часа въ три; я его привезу.

И съ этимъ она уѣхала.

Я хотѣла ее воротить, сказать ей, что меня не будетъ дома, что я пенанѣрена во-время отсутствія мужа принимать молодаго человѣка, котораго любовь меня компрометируетъ, и множество вещей, не менѣе убѣдительныхъ.

Но было поздно,—ея и слѣдъ простыль.

25 декабря, половина третьяго.

Черезъ полчаса Зина Рогова представить мнѣ г. Сергучева.

Остаться мнѣ... или уѣхать со двора? Вотъ два вопроса, между которыми мысль моя безпрерывно колеблется какъ маятникъ.

Три раза говорила я Аннушкѣ, что у меня разстроены нервы и что я никого не принимаю.

И три раза, что мнѣ лучше и что я буду принимать.

Я перечитала письмо, найденное мною въ бюро мужа, и рѣшилась. Я приму Сергучева.

Четыре часа.

Зина была у меня, но пріѣзжала одна. Гдѣ-же твой Сергучевъ, спросила я, гдѣ онъ?

— Лежить.

— Болѣнъ?

— Да, ревматизмы измучили.

— Ревматизмъ... Какъ, у него ревматизмъ?

— Между нами будь сказано, я даже думаю, что у него подагра; но мы будто бы этого не знаемъ: онъ обидчивъ, какъ юноша въ восемнадцать лѣтъ.

— Стало-быть, онъ не очень молодъ?

— Онъ даже очень немолодъ.

— Ему...

— Шестидесять съ хвостикомъ. Но за то страсти въ немъ очень юны. Любовь его къ тебѣ чрезвычайно всѣхъ насъ забавляетъ. Я въ отчаяніи, что мнѣ не удалось привезти его: мнѣ такъ хотѣлось присут-

ствовать при первомъ его разговорѣ съ тобою. Ты нахохоталась-бы до упаду, посмотрѣвъ на этого селадона.

Что я чувствовала въ это время, можно сравнить только съ тѣмъ ощущеніемъ, которое испытываетъ человѣкъ, бросающійся съ пожарной каланчи.

Шестьдесятъ лѣтъ, подагра, ревматизмъ и Жакъ Сергучевъ! Имя перваго любовника въ любомъ водевилѣ.

27 декабря.

Вчера воротился мой Алексисъ.

Онъ хотѣлъ видѣть мой журналъ; я ему отвѣчала, что Аннушка съ дуру изорвала его на папильотки.

Въ-самомъ-дѣлѣ я была сумасшедшая; Алеша любить меня попрежнему; даже больше, чѣмъ прежде.

Нѣтъ, конечно! съ этихъ поръ непременно буду путешествовать вмѣстѣ съ мужемъ, хотя бы онъ поѣхалъ въ Китай.

Опасно играть огнемъ, особенно замуженной женщиной.

Вотъ нравоученіе моего журнала.

АЛЬБЕРИКА В—ГО.

БѢЛОРУССІЯ

ВЪ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИХЪ ОПИСАНІЯХЪ И ФАНТАСТИЧЕСКИХЪ ЕЯ СКАЗКАХЪ.

—

Есть у насъ на Руси большой край, межъ Днѣпромъ и Западной-Двиной: его зовутъ *Бѣлоруссію*.... Живутъ тамъ люди бѣлорусскіе, потомки древнихъ *Кривичей* и *Дреговичей*, родные братья людей великорусскихъ.... Жили-были долго они вмѣстѣ племенами и родами, но раздѣлились потомъ: кто на сѣверъ пошелъ, кто на югъ забрелъ, а кто и съ востокомъ сдружился; всѣ разрознились и раздѣлились.... Остались одни Дреговичи и Кривичи — люди бѣлорусскіе — на своихъ мѣстахъ, полюбили свою *домову* (пепелище), не покинули своихъ оселищъ.... Съли да и сидятъ на однихъ мѣстахъ.... Худо ль, хорошо ли — не выходятъ изъ своихъ хатъ: ихъ гнетутъ поляки, полонить Литва, гонять турки и татары, — они терпятъ да молчатъ, и все-таки остались на своихъ мѣстахъ до-сегодня.... Великорусскіе люди на новой сторонѣ зажили другою жизнью, — заговорили рѣчью великорусскою; научились всякимъ наукамъ, искусствамъ, мастерствамъ и ремесламъ: образовали себя на европейскій ладъ. Явилась письменность у нихъ — признакъ просвѣщенія и цивилизаціи.... Страхнули съ себя невѣжество: оставили суевѣріе и побасенки; просвѣтили свои нравы и обычаи, — стали европейцами по всему.... Что же случилось съ Кривичами — Дреговичами, людьми бѣлорусскими? Они отстали во всемъ отъ своихъ великорусскихъ братьевъ: не разстались съ своими суевѣріями, не учились ничему; ихъ литература и письменность — это народныя

сказки, преданія и повѣрья... Они живутъ до-сихъ-поръ жизнью древне-русскою, простою, необразованною; говорятъ тѣмъ же языкомъ славяно-русскимъ, на которомъ нѣкогда говорили первобытные русскіе-славяне, жившіе отдѣльными племенами, составлявшими одну и единую Русь!... Нравы и обычаи, преданія и повѣрья, сказки и повѣсти отзываются мѣологической стариной... Въ Бѣлоруссіи до-сихъ-поръ хранятся въ устахъ народа сказки и преданія о похожденияхъ фантастическихъ героевъ, князей и царевичей, невидимыхъ духахъ и чудесныхъ силахъ, — совершаются празднества и игрища быта языческаго. Это потому, что нынѣшняя Бѣлоруссія нѣкогда была главнымъ сердцемъ славяно-русскихъ языческихъ вѣрованій, гдѣ въ честь божествъ воздвигаемы были кумиры. Конечно, съ введеніемъ христіанской вѣры, идолы и капища уничтожены; но преданія, хранившіяся въ народѣ, не могли уничтожиться, устное преданіе не переставало сохранять въ народѣ воспоминанія о вѣрованіяхъ предковъ. Этому способствовало и то, что христіанство не вдругъ утвердилось въ сердцѣ древней Руси, но постепенно: то-есть, преданія находили себѣ опору въ языческихъ вѣрованіяхъ сосѣднихъ племенъ славянскихъ, и такимъ-образомъ жители нынѣшней Бѣлоруссіи, будучи христіанами, все еще имѣли случай сохранять понятія и представленія о жизни языческой. Прошло нѣсколько вѣковъ послѣ утвержденія христіанства въ Бѣлоруссіи, а преданія о духахъ, таинственныхъ силахъ, вѣдмахъ, заклятыхъ людяхъ, русалкахъ, оборотняхъ и другихъ страшилищахъ не изгладились, но съ теченіемъ времени облеклись только въ поэтическій вымыселъ и приняли живописный колоритъ въ устахъ разскащика.

Такова Бѣлоруссія въ настоящее время!... И потому не можетъ не обращать на себя вниманіе образованнаго человѣка — русскаго, желающаго ознакомиться съ древнимъ бытомъ своихъ единоплеменныхъ собратьевъ... Насъ интересуютъ преданія и вѣрованія древнихъ грековъ и римлянъ, мы пишемъ объ ихъ нравахъ, мѣологіи, языкѣ, даже прішествахъ и обѣдахъ; отчегожь не писать о родной Бѣлоруссіи, которая такъ богата своими самобытными нравами, мѣологіею, языкомъ и, наконецъ, игрищами и празднествами.

Желая сколько-нибудь познакомить читающую публику съ Бѣлоруссіею въ фантастическихъ сказаніяхъ, я рѣшился составить рядъ статей, характеризующихъ современный бытъ бѣлорусскаго народа, его преданія и сказки, и даже самую мѣстность бѣлоруссіи... Конечно, тутъ я буду имѣть въ виду исключительно простой народъ.

При этомъ считаю нужнымъ замѣтить, что подъ Бѣлоруссіею я разумѣю губерніи: витебскую, минскую, могилевскую и часть смоленской;

при каждой статьѣ будетъ означено, въ какой изъ этихъ губерній хранится то, или другое преданіе, или разсказъ...

Въ составъ *описаній* войдутъ очерки мѣстностей, нравовъ и образа жизни бѣлорусцевъ; въ составъ *сказокъ*, — ихъ фантастическія преданія о духахъ, привидѣніяхъ и колдунахъ.

І. СЕСТРА ЧАРОВНИЦА.

Преданіе Минской губерніи.

Быль на свѣтѣ, на Бѣленькой—Руси, князь-князевичъ, молодъ-королевичъ: и красавецъ собой, и ума въ немъ палата, а доброты его всей не расскажешь; ужъ какъ любили его все — и сказать нельзя....

Быль онъ молодъ: — ну и жениться вздумалъ.... Долго ль было ему искать жены?... Полюбилась молодцу княжна одна: бѣлолицая, чернобровая; ростомъ хоть куда; коса длинная — не обнять рукой.... А главное — дивныя примѣты на ней были: солнце на лбу, звѣзды въ глазахъ, *мѣсяцъ* на затылкѣ....

Было-бъ все хорошо; да бѣда тутъ случилась вотъ какая.... У княжны была сестра старшая, презлая и предурная, хитрая и лукавая, да вдобавокъ *чаровница лядая* (вредная). Какъ увидѣла королевича, обезумѣла родная.... Ужъ чего не дѣлала она, чтобъ приглубить его, да отбить отъ сестры — красавицы; но не тутъ-то было!... князь-князевичъ души не слышалъ въ себѣ отъ княжны младшей, и не думая долго, объявилъ отцу и матушкѣ красавицы, что онъ хочетъ взять у нихъ дочку ихъ младшую въ жены себѣ....

Сестра старшая чуть съ ума не сошла; — она поклялась отмстить князевичу всѣми силами чаръ своихъ, и стубить со свѣта сестру родную.

Вотъ *оборотилась* она въ вѣдму мохнатую, сѣла на кочергу, засверкала огненной метлой и полетѣла, по-верхъ лѣсу, по-верхъ облаковъ, на *уряду* (совѣщаніе) къ бабѣ-ягѣ-костяной-ногѣ.

Между-тѣмъ князь-князевичъ вводитъ въ царскія свои шалаты не-наглядную красу, раскрасавицу княжну. Растворились ворота, заиграли,

затрубили на дворѣ; слуги дорогу прочищаютъ, ковры подстилаютъ; а навстрѣчу молодымъ откуда ни возмись коровка молодая, съ рогами большими, съ ногами толстыми, вся сама съ ноготокъ, а хвостъ тянется отъ крыльца до воротъ.... Разсердились холопы, что коровка-ноготокъ невпопадъ зашла на королевичевъ дворъ: стали бить, колотить ее;—завопила, замычала коровка... Стало жаль ее королевичу и княжнѣ; вотъ велѣли они не толкать и не бить ее, а завести на скотный дворъ и устроить для нея ясли и помость, да кормить зерномъ и всякимъ княжескимъ добромъ. Запрыгала коровка отъ радости большой, замахала хвостикомъ и облизала ноги благодѣтелей своихъ....

Князь-князевичъ молодецъ и княжна прекрасная входятъ въ мраморныя палаты.... Все тамъ — золото, серебро, бархатъ да парча....

Пиръ-горой.... веселились до дня.

Но настала пора расходиться по домамъ: — остались одни — князь-князевичъ да княжна жена.... Но лишь только они вошли въ опочивальню, какъ въ тужь минуту загремѣли громы, затряслись хоромы, зашверкали молніи, — небо все покрылось темью черною... Перунъ грохнулъ и ударилъ въ окошко; окошко вылетѣло и въ опочивальню вскочила черная кошка; замыкала жалобно и съ фыркомъ и сыканьемъ бросилась на княжну. Князь съ испугу помертвѣлъ, и когда пришелъ въ себя, вмѣсто княжны жены, на кровати увидѣлъ *жабу-рапуху* (водяную лягушку)....

Таково было мщеніе сестры чаровницы, обратившейся въ черную кошку, по возвращеніи ея отъ яги.

Князь-князевичъ зарыдалъ, заплакалъ, и не зналъ, чѣмъ такому горю пособить.... бѣдная лягушка скакала по постели, да жалобно квакала, какъ-будто дитя плакало....

Сбѣжавшаяся на плачь князевича прислуга, увидавъ такой *страхъ* (привидѣніе), испугалась и вся разбѣжалась.... Оглянувся князевичъ на всѣ стороны: нѣтъ ни палатъ, ни золота, ни серебра, ни парчи, ни бархату.... Вмѣсто палатъ явилась хатка, да два прилавка... Зарыдалъ пуще князевичъ, и въ забытїи сталъ звать княжну жену... Вдругъ слышитъ — лягушка проговорила: не плачь, не горюй, князь-князевичъ, молодъ-королевичъ!... Хоть сестра зачаровала меня, но мы все-таки будемъ вмѣстѣ;—вечеромъ я буду являться къ тебѣ такою же княжною, какою взялъ ты меня отъ отца и матушки....

Такъ и было. Днемъ жаба-рапуха вышолзала на дворъ и сидѣла въ водѣ, а вечеромъ являлась красавицею-княжною съ солнцемъ на лбу, съ мѣсяцомъ на затылкѣ и звѣздами въ очахъ...

Князь-князевичъ не могъ удивиться такому событію... Жили такъ они долго; наконецъ не утерпѣлъ князевичъ, сталъ слѣдить, какимъ-образомъ изъ лягушки является красавица-княжна?...

Вотъ однажды спрятался онъ въ уголокъ и поджидалъ, откуда явится жена. Вотъ вползла лягушка, ква-ква... да и скокнула въ бочку съ водою... вода заколыхалась, что-то зашелестило и изъ бочки вышла красавица-княжна... а въ водѣ осталась кожица лягушки....

— Постои же, говоритъ князевичъ: я спасу тебя, княжна, — и, не думая долго, вытащилъ изъ воды кожицу и бросилъ ее въ огонь.

На другой день пробуждается княжна, хочетъ встать... не можетъ... наконецъ кое-какъ встала и подошла къ бочкѣ... глядь, кожицы нѣтъ...

— Князь-князевичъ, мѡлодь-королевичъ! завопила она: что ты сдѣлалъ со мной и съ собой?... Вѣдь теперь я не твоя... ты погубилъ и меня и себя; я ужъ больше не жилица у тебя.

Князь-князевичъ сталъ на колѣна и умолялъ ее остаться; но она заплакала, и обвинявши его, сказала: прощай, князь-князевичъ, мѡлодь-королевичъ!... долго придется тебѣ искать меня...

И — не стало княжны....

Призадумался князевичъ; нѣсколько дней не ѣлъ, не пилъ; исхудалъ, истощалъ весь, и готовъ былъ умереть...

Однажды, когда онъ горевалъ и напрасно звалъ княжну, слышитъ, что-то жалобно мычитъ подъ окномъ... Посмотрѣлъ: то была коровка-ноготокъ, о которой онъ забылъ....

— Ахъ, коровка-ноготокъ, ты коровушка моя длиннорогая!... что ты мычишь такъ жалобно? — Нечѣмъ мнѣ накормить тебя, негдѣ головку твою пріютить!..

— Охъ, князь-князевичъ, мѡлодь-королевичъ! да развѣ жъ мало добра ты сдѣлалъ мнѣ?... Ты приласкалъ меня, приголубилъ, и кормилъ и поилъ всякимъ царскимъ добромъ; — такъ неужели жъ думаешь ты, что коровушка я глупая и не помню твоего добра?... Я пришла къ тебѣ — помочь твоей бѣдѣ, сослужить тебѣ мѡлодцу-красавцу службу вѣрную.... Ты послушайся меня, князь-князевичъ, мѡлодь-королевичъ, и увидишь тогда, что я правду баю; — ты найдешь свою княжну, ненаглядную жену....

— Ахъ, коровушка дорогая!... Что ты баешь?... Аль ты въ горѣ только меня потѣшаешь?... Говори жъ поскорѣй, гдѣ княжну мнѣ найти; — я слушаю тебя....

— А вотъ видишь, мѡлодь-королевичъ; есть за лѣсами большими, за

горами высокими, за морями далекими, — не видать отсюда... очень далеко... есть конецъ свѣта; а на томъ концѣ свѣта есть гора *большущая* — превысокая и на ней скала каменная; внутри горы стойтъ дворець неприступный; вокругъ него болото, а самъ онъ безъ оконъ, безъ дверей, только сверху есть проходъ... Вотъ въ этомъ-то дворцѣ сидитъ твоя *крѣля-княжна* и плачетъ-не наплачется по тебѣ, зоветь-не дозвется тебя... Я ужъ была тамъ, и узнала обо всемъ... Не добратъся тебѣ туда безъ моей помощи... Но я службу тебѣ сослужу за доброе сердце твое... и за ласки княжны.

— Чтѣ-жъ мнѣ сдѣлать, чтобъ попастьъ къ княжнѣ?... научи меня, коровушка!... ты коровушка, вижу, не простая, знаешь больше меня; я повинуюсь тебѣ во всемъ, только возврати мнѣ княжну, мою милую жену.

— Ну такъ вотъ-же сдѣлай чтѣ, князь-князевичъ, мѣлодь-королевичъ!.. Ступай за мной...

Королевичъ повиновался, и коровка завела его въ осиновый лѣсъ.

— Ломай эту осину!... Князевичъ сломалъ осину. «Дери съ нее лыко!» Князевичъ содралъ лыко... «Согни осину въ дугу и перевяжи ее по концамъ лыкомъ, будетъ лукъ съ тетивою». Князевичъ повиновался... «Ну, а теперь ломай другую осину и сдѣлай изъ нея стрѣлу!» Князевичъ сдѣлалъ стрѣлу...

— Ну, князь-князевичъ, мѣлодь-королевичъ!.. теперь возьми этотъ лукъ и садись на моихъ рогахъ; да смотри, держись крѣпко и не оглядывайся назадъ, а не то, разнесутъ вѣдмы твои косточки по чистому полю, по синему морю... и я сама пропаду черезъ тебя...

Королевичъ повѣсилъ на шею лукъ, сѣлъ на коровку, и обѣими руками уцѣпился за рога.

Побѣжала коровка—поготовкъ по горамъ, по буграмъ, по несслыханнымъ мѣстамъ, по невиданнымъ землямъ... мѣлодь-князевичъ сдержалъ слово и не оглянулся ни разу назадъ... Вотъ примчалась, наконецъ, коровка къ какой-то пропасти и остановилась.

— Ну, князь-князевичъ! теперь мы миновали пятую часть дороги; здѣсь я тебя оставляю... Слазь, и смотри, чтѣ будетъ... Выбѣжить волчица бѣшеная, съ огненными зубами; она бросится на меня, но ты прицѣлься въ нее изъ лука...

Князевичъ слѣзъ и отошелъ въ сторонку...

Тутъ коровка замычала... Вотъ изъ пропасти показалось пламя... выбѣжала огромная сѣрая волчица и хотѣла было броситься на коров-

ку... Но князевичъ прицѣлился въ нее изъ лука... тогда волчица, защелкавъ зубами, отскочила отъ коровки, и сказавъ: «счастье твое, коровка-ноготокъ, а то я давно острою зубы на твое бѣлое мясо», пала ницъ предъ князевичемъ и завывла жалобно...

— Князь-князевичъ, молодъ-королевичъ! не губи, не бей меня; у меня дѣтки малыя; а за-то, я тебѣ службу сослужу... Ты къ княжѣ своей хочешь добратъся, такъ я тебя подвезу по пути; позволь только мнѣ съ дѣтками проститься... Сказавъ это, волчица побѣжала въ пропасть.

— Ахъ, коровушка дорогая!... сказалъ князевичъ коровкѣ тогда: чѣмъ благодарить мнѣ тебя за твою службу молодецкую? Жаль мнѣ съ тобою разстаться...

— Не жалѣй меня, князевичъ, я съ тобой еще увижусь.. А теперь послушай, что скажу тебѣ на прощанье... Не потеряй ты лука, да какъ сядешь на волчицу, не забудь вырвать по волоску изъ каждаго ея уха; волоски тебѣ пригодятся... спрячь ихъ хорошенько!...

Въ эту минуту явилась волчица, а коровка-ноготокъ исчезла...

— Ну, садись на меня, князь-князевичъ, молодъ-королевичъ, сказала волчица, защелкавъ зубами: да смотри не шевельнись и назадъ не оглянись, а не то—худо будетъ и тебѣ и мнѣ...

Королевичъ съѣлъ и тутъ-же вырвалъ два волоска изъ ушей волчицы... А волчица понеслась поверхъ лѣсу темнаго, поверхъ бору чернаго... застонала, закричѣла... наконецъ спустилась на высокую гору и остановилась.

На верхушкѣ горы лежало огромнѣйшее орлиное гнѣздо, а въ немъ сидѣло два птенца—орленка...

— Ну, князь-князевичъ, молодъ-королевичъ! теперь мы миновали четвертую часть дороги; моя граница кончилась, дальше я тебя не повезу; отсюда ты полетишь на птицѣ... Слѣзь и ожидай, пока прилетитъ орлица; она бросится на меня съ желѣзными когтями, но ты прицѣлься изъ лука въ ея птенцовъ, и дѣло кончится мирно...

Не успѣла сказать послѣднихъ словъ волчица, какъ съ облаковъ спустилась орлица и разъяренная бросилась прямо на волчицу.... Тутъ царевичъ навелъ лукъ на орленковъ; тѣ закаркали и стали звать на помощь мать родную.

— Ну, счастье твое, волчица! а то я давно приготовила когти на твое красное мясо,—сказала орлица, и пала ницъ предъ князевичемъ, закричавъ: «Не стрѣляй, князь-князевичъ, молодъ-королевичъ, моихъ

бѣдныхъ дѣтенытъ; ихъ всего у меня двое, орель погибъ въ облакахъ; вся надежда на нихъ; какъ убьешь ихъ, некому будетъ кормить меня въ старости... А зато я сослужу тебѣ службу... ты ищешь свою красоту-жену, я донесу тебя до слѣдующей границы; позволь только накормить птенцовъ...»

Сказавъ это, орлица подлетѣла къ гнѣзду...

— Ну, спасибо волчица, сказалъ князевичъ: ты сдержала свое слово, сослужила службу вѣрно...

— Не благодари меня, князь-князевичъ, ты не этакой службы стоишь... Я готова и еще тебѣ помочь... Теперь дорога будетъ страшнѣе и опаснѣе; смотри, какъ сядешь на орлицу, не забудь вырвать изъ лѣваго ея крыла перо, да спрячь его подальше; оно тебѣ пригодится на концѣ свѣта.

Затѣмъ прилетѣла орлица, и волчица исчезла...

— Ну, садись на меня, князь-князевичъ, мѡлодь-королевичъ; да смотри, не гляди внизъ, а не то полетишь въ преисподнюю, и съѣдятъ тебя вѣдьмы.

— Будетъ по твоему, сказалъ князевичъ и сѣлъ на орлицу...

Вотъ поднялась орлица съ верхушки горы и понеслась, полетѣла подъ облака;—вотъ исчезли облака; вотъ орлица несется выше... выше, чуть не до самаго неба долетаетъ... Князевичъ дрожитъ и все какъ-будто хочетъ взглянуть внизъ.

Орлица встрепелась... князь-князевичъ опомнился, и тутъ только догадался, что такой страхъ напалъ на него оттого, что онъ забылъ вырвать перо изъ крыла орлицы...

Лишь только онъ вырвалъ перо, какъ орлица стала спускаться ниже, ниже, и наконецъ, предъ глазами царевича показалось огромнѣйшее море... орлица спустилась къ самому берегу и остановилась...

— Ну, князь-князевичъ, мѡлодь-королевичъ, ты миновалъ двѣ части дороги своей; теперь осталось еще двѣ, но я съ тобою разстанусь; мои владѣнія кончились... Берегись,—тутъ ты встрѣтишь больше трудностей и препятствій... смотри, будь остороженъ... Видишь-ли, вонъ семь красавицъ—дѣвицъ, семь сестеръ родныхъ купаются въ морѣ: ихъ русалками зовутъ; онѣ поджидаютъ тебя, и того гляди, защекочутъ тебя, и не увидишь княжны своей... Жаль мнѣ тебя, князь-князевичъ, мѡлодь-королевичъ!...

Королевичъ испугался...

— Не пугайся, добрый королевичъ, сказала орлица: я помогу тебѣ...

Ты пожалѣлъ моихъ птенцовъ, пожалѣю и я тебя, сослужу тебѣ службу орлиную... слѣзь и ступай къ лозовому кусту; въ этомъ кустѣ спрятана одежка русалокъ; возьми ее и подойди къ самому морю; да смотри, не отдавай одежки русалкамъ, пока онѣ не перенесутъ тебя на тотъ берегъ и не расскажутъ дороги къ милой твоей княжнѣ... А какъ будутъ переносить тебя, такъ не забудь захватить у старшей русалки *косникъ* (ленточка, которою связывается коса); онъ пригодится тебѣ; а не то—бросятъ въ море, и погибнешь тамъ, не увидавъ красавицы—жены. Теперь прощай, князь-князевичъ, мѡлодь-королевичъ!.. не забудь про косникъ...

— Благодарю тебя, добрая орлица, за совѣтъ твой правдивый, за рѣчи искреннія, нелживыя.

Орлица улетѣла, а князевичъ подкрался къ лозовому кусту, и забравъ одежду русалокъ, подошелъ къ самому морю.

Взволновалось море, закипѣли волны, завизжали, захохотали русалки и приплыли къ берегу.

— Ахъ, сестрицы милыя, — завизжала старшая изъ нихъ, прикрывъ обнаженное тѣло длинными распущенными волосами: это князь-князевичъ, мѡлодь-королевичъ!! Онъ забралъ нашу одежду... Что намъ дѣлать?... Онъ перехитрилъ насъ.

— Я отдамъ вамъ одежду, если перенесете меня на ту сторону моря...

Русалки разразились хохотомъ.

— Брось одежду, такъ перенесемъ...

— Нѣтъ, красавицы водяныя, не обманете меня; перенесите прежде, такъ отдамъ одежду...

— А! это орлица злая научила тебя... Ну, нечего дѣлать!.. ступай, князь-князевичъ, мѡлодь-королевичъ въ лозовый кустъ и садись на верхушку вербы; да смотри не гляди на насъ, а нето—погубишь насъ и себя; ты хорошъ и пригожъ, мы боимся твоихъ очей, жгучихъ, пламенныхъ взоровъ...

Князевичъ взобрался на верхушку вербы; а русалки раздѣлились на двѣ половины: однѣ три переплыли на ту сторону моря, а другія три остались по сю сторону и уцѣпились за вербы... седьмая, съ распущенными волосами, по срединѣ моря, металась на всѣ стороны и какъ-бы вызывала вѣтеръ и бурю... Вдругъ на морѣ поднялась страшная буря; вѣтеръ вылъ и гудѣлъ... Князевичъ затрясся всѣмъ тѣломъ и чуть было не выпустилъ изъ рукъ одежду русалокъ... Но въ эту минуту,

высокія, касающіяся почти облаковъ, вербы, колеблемыя вѣтромъ, мало-по-малу начали сгибаться и наклоняться одна къ другой, такъ что составили, наконецъ, надъ моремъ какъ-бы одну большію дугу, по которой можно было перейти съ одного берега на другой. Тутъ седьмая русалка схватила одной рукой соединившіяся верхушки вербъ, другою перекинула съ вербой князевича на противоположный берегъ моря такъ быстро, такъ мгновенно, что онъ едва успѣлъ захватить у русалки коникъ... Русалка захохотала и окунулась въ море.

Князевичъ, стоя на противоположномъ берегу, кинулъ одежду седьмой русалки въ море и ожидалъ ея прихода... Предъ нимъ предстала необыкновенной красоты дѣва съ огненными глазами, съ черными, распущенными поверхъ одежды волосами...

— Здравствуй, князь-князевичъ, мѣлодь-королевичъ, сказала она; красавецъ-молодецъ этакой!... Знаю, знаю, что тебѣ нужно; да одежду сестеръ отдай ты мнѣ прежде...

— Ну, нѣтъ! воскликнулъ князевичъ: скажи мнѣ прежде путь-дорогу къ моей женѣ...

— Перехитрилъ ты, князевичъ, насъ сестеръ!.. Такъ и быть! изволь, скажу тебѣ путь-дорогу къ твоей княжкѣ, да смотри, слушай хорошенько, не забудь ничего изъ того, что скажу я тебѣ; а нето, пропадешь на этомъ-же мѣстѣ... слушай!... Отсюда пойдешь ты на горку, а съ горки въ лѣсъ направо, а потомъ черезъ рѣчку и налѣво; а пройдеши налѣво, будетъ гора высокая, а на горѣ три дороги: ты ступай по средней, и увидиши лѣсъ густой; какъ пройдеши лѣсъ, возьми направо, а потомъ налѣво, будетъ путь-тропа прямая: вотъ по ней-то ты взойдеши на крутую скалу, а въ той скалѣ живеть-поживаетъ *Змѣй-змѣевичъ* самый пребольшой: отродясь ты не видѣлъ такого... Подходя къ скалѣ, не пугайся, а не то налетятъ на тебя *круки* (вороны) и проглотятъ живаго, и не видать тебѣ княжны. Тамъ подъ скалою ужъ давно ждетъ тебя коровка-поготовкъ; она наставитъ тебя, какъ войти къ *Змѣй-змѣевичу*... Поклонись отъ меня коровкѣ, да скажи, что я вѣрно сослужила тебѣ службу. — Прощай-же, князь-князевичъ, мѣлодь-королевичъ! Ну что, все-ли замѣтилъ, что я сказала... Отдавай-же теперь одежду моихъ сестеръ!

Князевичъ отдалъ одежду, и русалки всѣ исчезли: остался онъ одинъ...

— Ну! сказалъ самъ себѣ князевичъ: было горе, да такого еще не бывало... До-сихъ-поръ меня везли, а теперь пѣшкомъ нужно идти!..

Тутъ сталъ онъ припоминать сказанное русалкою... вздохнулъ тяжело-тяжело... и пошелъ путемъ дорожкой...

Вотъ идетъ да идетъ; вотъ прошелъ и горку и лѣсъ; вотъ направо поворотилъ, вотъ и влѣво пошелъ, и опять направо; вотъ взбирается на высокую гору... Наконецъ, усталый, измученный, подходитъ къ самой скалѣ... Не по силамъ была путь-дорога, занемогъ и присѣлъ... Смотрить: — къ нему бѣжить коровка-ноготокъ и мычить, что есть силы, изо всего горла... Князевичъ побѣжалъ къ ней навстрѣчу.

— Охъ, князь-князевичъ, молодъ-королевичъ! Какъ же медленно ты шель, чуть-чуть не опоздалъ; я ужъ думала было послать къ тебѣ на помощь сокола... Садись на меня поскорѣй, я внесу тебя на скалу, на конецъ свѣта...

Князевичъ сѣлъ, и въ минуту коровка взобралась на самую верхушку скалы...

— Теперь елѣзь! я поведу тебя въ хатку, гдѣ живетъ Змѣй-змѣевичъ и сторожитъ дворецъ, въ которомъ сидитъ на цѣпи твоя княжна. Теперь дома его нѣтъ, онъ на службѣ у яги, вмѣстѣ съ сестрою княжны, чаровницею злою... Я ужъ чую, онъ собирается въ путь, незадолго прилетитъ...

Сказавъ это, коровка ввела князевича въ хатку на куричьей лапкѣ. Князевичъ задрожалъ... испугался. Видъ хатки былъ самый страшный — волшебный; въ уголку еле-еле свѣтился зеленый огонекъ; посреди стояла кровать изъ человѣчьихъ костей; вмѣсто подушки — челюсть льва, вмѣсто перины — рядъ змѣиныхъ головъ, покрытыхъ человѣчьей кожей... Прямо противъ кровати пламенѣла раскаленная печь, а въ печи кипятилась въ котлѣ смола.

— Не пугайся, князь-князевичъ, горе-королевичъ, сказала коровка, замѣтивъ испугъ князевича: я съ тобою — будь смѣлѣй, не дрожи, не пугайся... Вотъ тогда бы ты задрожалъ, еслибъ часъ еще опоздалъ... Вѣдь смола эта кипятится для твоей княжны прекрасной; сегодня хотятъ высосать изъ нея кровь и послать ягѣ, а потомъ скипятить въ этой смолѣ и разметать ея косточки по чистому полю, по синему морю... Князевичъ зарыдалъ... «Не рыдай, князь-князевичъ, молодъ-королевичъ: я съ тобою... будь храбрѣй!.. Ужъ немного намъ осталось времени... слышишь — гудеть въ полѣ, свищетъ въ воздухѣ, *цмокаетъ* (свищетъ) на весь лѣсъ... Это змѣй-змѣевичъ летитъ на половинѣ дороги.

— Что же дѣлать намъ, коровка-спасительница моя?... Гдѣ мы скроемся отъ змѣевича?

— Не твоя забота: это мое дѣло... Полезай за печь и притаись въ уголку... Змѣй-змѣевичъ влетитъ, ляжетъ на кровать и уснетъ... Выходи тогда изъ-за печки, натяни свой лукъ и пусти стрѣлу прямо въ глазъ, что на лбу... Забушуютъ вѣтры, загремятъ перуны, засвѣтятъ змѣи;—не трусь, молодежь-королевичъ! Зачерпни изъ котла кипятку смолы и ожидай, что будетъ дальше; только чуръ, не забудь вырвать стрѣлу изъ змѣевичева глаза и взять ее опять съ собою... Ну, прощай, — мы еще увидимся съ тобой...

Такъ промолвила коровка и исчезла. Царевичъ залѣзъ за печь и сталъ думу думать...

Стонетъ земля, свищутъ вѣтры, шелестятъ дубы, каркаютъ вороны, воютъ псы; вотъ раздался грохотъ... затрещали сосны и осины, раскатился громъ, задрожали скалы, затряслись стѣны, и распахнулись двери... Змѣй-змѣевичъ съ шумомъ, визгомъ, пискомъ и воемъ влетѣлъ въ хатку и упалъ на-земь; встрепенулся, затрясъ огненною головою, подошелъ къ раскаленной печкѣ, помѣшалъ смолу въ котлѣ хвостомъ и остановился у кровати...

— А!.. проговорилъ: еще чаровница на грищѣ у яги скачетъ съ *гарцукѣми* (горными духами) и *ледѣштыми-зньднями* (зловредными оборотнями)... можно часикъ отдохнуть... Тутъ змѣй-змѣевичъ страшно свиснулъ, встрепенулся и изъ ужаснаго змѣя превратился въ великана, съ огромнымъ огненнымъ глазомъ на лбу; скокнулъ, прыгнулъ, на волшебной кровати... и въ ту жь минуту уснулъ...

Князевичъ вылезаетъ изъ-за печки, хватъ, прицѣлился изъ лука и пустил стрѣлу прямо въ глазъ змѣевичу-красавцу.

Застоналъ змѣй-змѣевичъ и покатился на полъ мертвый.

Затрещали стѣны, засвѣтали вихри, зашумѣли моря, заблистали молніи, грохнули перуны; налетѣли змѣи, нахлынули вороны, замахали крыльями *кажаны* (летучія мыши)... Князевичъ испугался; но вспомнилъ про княжну и ободрился; зачерпнулъ изъ котла смолы, рванулъ изъ глаза змѣевича стрѣлу и... не стало хатки на куричьей лапкѣ.

Раздвинулись скалы, распались камни, растворилась земля и запылало пламя по всему воздуху: — князевичъ провалился въ бездну... и ни живъ, ни мертвъ остался...

А коровка-ноготокъ... какъ тутъ была...

— Встань, князь-князевичъ, молодежь-королевичъ, говоритъ она ему... ты забылъ, что я съ тобою... Опомнись!.. Вѣдь княжна — жена твоя ждетъ давно тебя... Неравно подлетитъ сестра-чаровница, и тогда пропадемъ мы оба... Вставай же, молодежь-королевичъ, и иди за мной...

Князевичъ всталъ и пошелъ за коровкой-ноготкомъ...

....Вотъ стойтъ, весь въ болотѣ, дворець непреступный, — безъ оконъ, безъ дверей, только сверху въ него проходъ.

— Садись, князь-князевичъ, на меня, сказала коровка, и когда царевичъ сѣлъ, поднялась на воздухъ, прыгнула въ отверстіе и очутилась съ царевичемъ внутри дворца... Но еще далеко было до темницы княжны... нужно было пробраться чрезъ трое сѣней, а у каждаыхъ сѣней лежалъ *цмокъ* (змѣй) пристрашный.

— Ну, князь-князевичъ, молодъ-королевичъ!.. Ступай теперь воевать, я буду на сторожѣ... Вотъ тебѣ огненный мечъ; имъ ты отрубишь головы у цмоковъ... Будь смѣлѣе, похрабрѣе!.. А какъ придется жутко, — въ первыхъ сѣняхъ махни волосками волчицы, во-вторыхъ — перомъ орлицы, а въ третьихъ — косникомъ русалки... А если и это не поможетъ, зови меня къ себѣ на помощь.. Я спасу тебя...

Приздумался князевичъ; да нечего дѣлать, какъ вспомнилъ о княжѣ, рѣшился на все...

Вотъ онъ входитъ въ первыя сѣни, а навстрѣчу къ нему — цмокъ съ тремя огненными головами и шестью очами...

— Чего тебѣ надо здѣсь, человѣчье мясо? спрашиваетъ.

— За княжной-красавицей пришелъ, отвѣчаетъ князевичъ.

Тутъ цмокъ бросился на князевича; но князевичъ не струсилъ, и пошла потѣха... Стали бороться... Цмокъ дерется когтями и сверкаетъ очами, да пылаетъ огненными головами... Замахнулся князевичъ мечемъ, не стало у цмока одной головы; замахнулся другой разъ, пала на-земь и другая голова; замахнулся третій разъ... Цмокъ видитъ — плохо, свистнулъ что было мочи... Князевичъ вздрогнулъ, замахнулся еще разъ, Цмокъ упалъ и провалился въ землю... Между-тѣмъ, на свистъ Цмока сбѣжалось стадо мохнатыхъ собакъ и давай кусать князевича: вотъ, вотъ князевичу процасть, но князевичъ не робѣетъ, достаетъ изъ-за пазухи волоски волчицы и давай махать ими въ воздухъ...

Вотъ вбѣжала тьма волковъ, подъ начальствомъ волчицы, и разтерзали мохнатыхъ собакъ...

Князевичъ пошелъ дальше...

Во вторыхъ сѣняхъ на него началъ цмокъ съ шестью огненными головами и двѣнадцатью огненными очами... Князевичъ отрубилъ ему пять головъ, но когда замахнулся мечемъ въ шестой разъ, цмокъ взвизгнулъ и налетѣла стая черныхъ *круковъ*.

Князь-князевичъ не робѣетъ, машетъ въ воздухъ перомъ, орлицы

слетѣлась стая бѣлыхъ орловъ, подь предводительствомъ орлицы; — началась война птицъ, и орлы разтерзали круковъ: тутъ погибъ и цмокъ.

Въ третьихъ сѣняхъ бросился на князевича цмокъ-цмоковичъ, весь огненный, пламенный.

— Ну! подумалъ князь-князевичъ: какъ-то справлюсь съ этимъ духомъ?..

Вотъ вступилъ онъ въ бой съ цмокъ-цмоковичемъ: бой былъ страшный; князь-князевичъ дрался долго съ врагомъ; вотъ срубилъ одиннадцать головъ, — замахнулся двѣнадцатый разъ, цмокъ-цмоковичъ тряхнулъ желѣзными крыльями и сломалъ мечъ князевича...

— Быть бѣдѣ! подумалъ князевичъ, и ну звать ни помощь коровку-ноготокъ.

Цмокъ-цмоковичъ струхнулъ и давай свистать, — рать военную сзывать.

А коровка-ноготокъ какъ тутъ была, и махнувъ своимъ хвостомъ, убила цмока-цмоковича.

Между-тѣмъ собралась рать военная: тьма силачей-великановъ съ топорами и съ мечами кинулась на князевича...

Князь-князевичъ испугался... и забылъ о косникѣ... Тутъ коровка замычала; князь-князевичъ опомнился и сталъ махать косникомъ.... Вотъ явилась тьма красавицъ водяныхъ, бѣлолицыхъ русалокъ, подь предводительствомъ семи сестеръ, и напали онѣ на великановъ; не побоялись ихъ мечей, острыхъ топоровъ; стали щекотать ихъ, и передушили молодцовъ.

Князь-князевичъ чуть живъ остался со страху; весь дрожалъ..., въ глазахъ его потемнѣло....

«Эхъ, князь-князевичъ, мѡлодь-королевичъ! закричала коровка-ноготокъ: Опомнись!... пора дальше идти; неравно чаровница-сестра налетитъ, и пропадемъ мы здѣсь... Поскорѣй за мной!..

Пробѣжали подземелье.... вотъ стѣна желѣзная, а на ней виситъ 12 мѣдныхъ замковъ.... Тутъ коровка топнула ногой — отлетѣли замки, махнула хвостомъ — затрещали и распались на-двое стѣны, боднула рогомъ — и передъ ними засвѣтилась свѣтлица: то была княжны темница....

Посреди, на желѣзномъ столбѣ, сидитъ княжна, жена князевича, блѣдная и худая, вся закованная въ цѣпи и какъ-будто погружена въ сонъ.... солнце на лбу потускнѣло, звѣзды въ глазахъ померкли, а мѣ-

сяцъ вовсе не свѣтитъ на затылкѣ.... предъ княжною стояли два кувшины—полные слезъ....

Какъ увидѣлъ княжну царевичъ—князь, такъ и обмеръ весь, и, упавъ къ ногамъ ея, зарыдалъ, какъ дитя...

Тутъ княжна пробудилась, и увидѣвъ князевича, хотѣла броситься въ его объятія; но не могли встать за цѣпями, стала плакать и она, какъ дитя.

«Эхъ, вы—дѣти, дѣти!!!» закричала коровка—ноготокъ. Полно плакать, полно тужить; вамъ бы радоваться, а не горевать....

Сказавъ это, коровка страшно замычала, такъ—что стѣны задрожали, а княжна и князевичъ—князь чуть не померли со страху. ..

Не прошло и двухъ минутъ, какъ цѣпи зазвенѣли и распались на половину....

Вдругъ у княжны солнце на лбу ярко засвѣтило, звѣзды въ глазахъ засверкали, мѣсяцъ на затылкѣ ясно засіялъ...

Обнялись князь съ княжною и хотѣли благодарить коровку—ноготокъ....

Но коровка въ это время тряхнула головкой въ потолокъ, и исчезла изъ темницы....

А князь—князевичъ съ княжною—красавицей женою очутились въ своемъ дворцѣ и—какъ будто все это видѣли во снѣ....

Вотъ задали они у себя пиръ на весь мѣръ, и созвали гостей со всего свѣта; пригласили и меня.... Я тамъ былъ, медъ—вино пилъ, — по бородѣ текло, а во рту не было....

—
 Что—же стало съ чаровницей—сестрой?

Чаровница—сестра отъ досады и злости провалилась въ пропасть и обратилась въ Черно—Море.

2. БѢЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА.

Съ разсвѣтомъ дня, по всемъ дорогамъ, ведущимъ въ мѣстечко, тя-

нутся безчисленные ряды подводъ и фурманокъ съ сельскими продуктами, предназначенными для продажи, разныхъ формъ и величинъ возы съ живыми кабанамн, курами, гусями и индюками, крытыя и некрытыя брички, напичканныя *подпанками*, экономами и писарями, полотняныя буды, начиненныя тьмою темъ жидовъ съ грязными жидовками и жиденками, и въ заключеніе—оригинальные *облублицы* (особаго устройства и фасона телѣги изъ лубьевъ), на которыхъ возсѣдаютъ *паробки* (мужчины) и молодицы, хлопцы и дѣвки — въ праздничныхъ нарядахъ...

Къ 9-ти часамъ вся площадь мѣстечка, отъ одной корчмы до другой, наполняется народомъ.... Безчисленные возы цѣпляются колесами одинъ за другой, такъ-что нельзя свободно пройти между ними, а особенно близъ корчмы, гдѣ ранніе гости успѣли кой-что продать, и уже запиваютъ *магарычи* и дѣлаютъ дружескія *почестки* (угощенія). Начинается шумъ....

Къ полдню шумъ увеличивается; со всѣхъ сторонъ раздаются голоса людей и звуки животныхъ. Тамъ мужикъ спорить съ жидомъ; тамъ баба ругаетъ жидовку; тамъ волъ рыкаетъ; тутъ лошадь ржетъ; тамъ связанные на возахъ кабаны хрюкаютъ и визжатъ; тутъ коровы мычатъ, овцы и бараны блеютъ.... Какая разнообразная смѣсь физиономій, лицъ, голосовъ, разговоровъ, характеровъ, костюмовъ и головныхъ уборовъ!

Вотъ жида съ вѣсами на плечахъ, будто съ оружіемъ какимъ, шмыгаютъ межъ подводъ, и выискиваютъ на возахъ льну, грибовъ, и воску; вотъ — бѣлорусцы въ бѣлыхъ *свитахъ* (армякахъ) съ красными поясами, съ *калитой* (кожаная сумка), и *кресивомъ* (огнивомъ), и *папушею цюцюну* (свертокъ листоваго табаку) при бедрѣ, и вѣчною *мюлькой* (коротенькая трубка) въ зубахъ, дымящеюся подъ носомъ и то и дѣло гаснушею, — собираются въ кружокъ и дѣлаютъ складчину на обѣденную попойку. Вотъ *пиптоны* (такъ называются разнощики сѣмянъ изъ огурцовъ, моркови, цвѣтовъ и проч.) въ высокихъ войлочныхъ шляпахъ и огромнѣйшихъ сапогахъ, рѣзко отдѣляющіеся въ толпѣ своимъ ростомъ и костюмомъ, взявшись подъ руки, совѣщаются, какъ бы надуть эконома, или писаря дрянными сѣмянами.... Вотъ снуютъ изъ конца въ конецъ грязныя, оборванныя, жадныя жидовки, бѣлорускія молодицы въ платкахъ, съ улыбкою на губахъ и съ курами въ рукахъ; между ними пробиваются цыгане, съ черными, разстрепанными волосами.... А вотъ, наконецъ, горделиво выступаютъ презанимательныя пестрыя фигуры эконо-

номовъ, въ ушатыхъ шапкахъ, въ *шерачковыхъ* (изъ сѣраго сукна) сюртукахъ, съ березовыми палками въ рукахъ.... И все это, начиная отъ пряниковъ и баранокъ до возовъ и лошадей, все это движется, волнуется; переходитъ съ мѣста на мѣсто. Вездѣ звенятъ деньги; на лицахъ изображены: жажда корысти, надежда дешевой кукки, или восторгъ удачной продажи.

Среди рынка, въ шатрахъ изъ холста, а чаще изъ рогожъ, *русскіе* кущцы развѣшиваютъ красные товары, привлекающіе и соблазняющіе взоры бѣлоруссянокъ.... Тутъ молодицы пожирающими глазами поглядываютъ на яркіе платки и огненного цвѣта ситцы, и вотъ раззываютъ узелки платковъ съ деньгами, для покупки недорогаго наряда, дѣбною проданныхъ нѣсколькихъ курей или откормленнаго теленка....

По сосѣдству съ русскими кущцами расположились и плутоватые жидки съ кущцами своими маленькими лавчонками; несмотря на крикъ и на гамъ со всѣхъ сторонъ, они постоянно зазываютъ къ себѣ всѣхъ прохожихъ, надѣдаютъ имъ предложеніемъ своихъ мелкихъ товаровъ, тащатъ cadaго за руки и за полы платья, дерутся, торгуются, и вмѣстѣ успѣваютъ давать покупателямъ сдачу....

Лавки русскихъ и жидовъ—рядомъ.... но молодицы и дѣвицы идутъ къ жидкамъ. — О!... жидъ владѣетъ притягательными средствами; ему знакомо сердце человѣческое по преданію; онъ изучилъ его вмѣстѣ съ Талмудомъ, подъ руководствомъ отца, а потому знаетъ всѣ широкіе и узкіе пути къ нему; онъ умѣетъ какъ-то особенно завлечь и убѣдить мужичка купить именно у него.... Завлекая такимъ-образомъ простака, онъ ласкаетъ его и голубить, называетъ нѣжными именами; расхваливая свои товары, прельщаетъ глаза, влечетъ сердце и дуритъ голову бѣдняка; онъ купилъ какую-то дрянъ у жида, а спросите, для чего онъ купилъ ее, такъ онъ самъ не отвѣтитъ себѣ на это; а между-тѣмъ никакъ не въ силахъ устоять противъ обольщенія жидовскихъ убѣжденій.

Послушайте, какъ славно умѣетъ жидъ задѣть мужицкое самолюбіе.

«Ну! говоритъ онъ умильно бѣлоруссянкѣ: развѣ ты пропадешь, обѣдишь, если купишь: ай—вей! такая малость! Да ваша экономка покупала этотъ же *сыць* (ситець), и куда дороже заплатила; это я тебѣ такъ дешево уступаю, для знакомства, да — души!... *майнемонесъ!*... кабы я пропавъ, коли лгу; съ убыткомъ уступаю, право съ убыткомъ — потому только уступаю, что остатки. Послухай мене кабѣта, не отходи. Ну, что? ай-вай! Развѣ-жъ ты не можешь имѣть то-

го, что и твоя экономиха? Эхъ-вай!... да ты и не узнаешь себя, какъ одѣнешся. Ну-ну!... бери! Я уже отрѣзала, вотъ! носи на здоровье, годубка.»

— Да у меня грошей нима, отвѣчаетъ полуплачевно молодица, еще неуспѣвшая сбыть привезенныхъ продуктовъ.

«Ну такъ что-жь? приведи теленка, или десятокъ курей: я все возьму.... А съ подушнымъ можешь повременить, еще успѣешь собрать; ай-вай!... продай коровку, будутъ гроши и на подушное. И молодица тащить десятокъ курей, и возвращается домой съ краснымъ ситцемъ, но безъ денегъ, забывая въ восторгѣ, что ей завтра нужно представить оброкъ за больного мужа.

Немного дальше, въ огромномъ, открытомъ сундукѣ навалено множество свить, буроковъ и плащей; собравшіеся хлопцы все это разсматриваютъ, кой-что примѣряютъ и скалятъ зубы, слушая оболеетительныя похвалы жида-продавца. Одному изъ хлопцевъ больно понравилась бѣлая свитка съ синими шурками на воротѣ, онъ ужъ надѣлъ ее, торгуется около двухъ часовъ; ему очень хочется купить свитку, да жидъ плутъ, смекнулъ, въ чемъ дѣло, и заломилъ большую цѣну, а вдобавокъ, какъ на зло, расписываетъ, перевозносить чудную свитку....

— Славная свитка! говоритъ въ душѣ молодецъ, почесывая затылокъ: нужно купить!...

Жидъ точно побывалъ въ душѣ его, и давай еще болѣе заманивать хлопца.

— Ну вотъ! ну вотъ! говоритъ жидъ, глядя свитку и вмѣстѣ хлопца; совсѣмъ другой челоуѣкъ!... да ты домъ купишь, а не одежину.... а какъ гладка, а какъ крѣпка!! не износишь весь вѣкъ, дѣтямъ, внукамъ останется... аѣй пригожій дзѣцюкъ!! А—вей!! Ну что ты торгуешься еще? Я и такъ за-безцѣнъ уступаю такую славную одежку.... потому только, что ты старый мой знакомый. Ну-ну! бери, да плати!..

— Вынимаетъ хлопецъ гроши и платитъ за свитку послѣдніе рубли....

Еще дальше, возъ съ *кожурами* (тулупами), а за нимъ другой, на которомъ возвышается длинный щестъ съ парю черныхъ и смазанныхъ дегтемъ *чоботовъ* (огромные сапоги съ голенищами по колену). Тутъ ужъ глазѣютъ и зѣваютъ, такъ-называемые, *шераци*, то-есть, тѣ же мужики, но немножко умытые и обстриженные, въ шапкахъ съ козырькомъ, они смѣло подходятъ къ этому возу, и некупивъ ничего, подмигиваютъ на купца, щура правый глазъ. Это ужъ—нѣкотораго рода остряки ярмарочные.

А вотъ огромная, импровизированная на стѣнѣ корчмы лавка, съ безчисленными суконными и рипсовыми шапками, безъ козырьковъ и съ козырьками, съ плисовыми околышками и ушами по бокамъ... Оборванный жидъ, бормоча что-то себѣ подъ носъ, похаживаетъ предъ своимъ товаромъ взадъ и впередъ, и поминутно стряхиваетъ пыль съ симметрично-развѣшанныхъ на деревянныхъ колкахъ разнородныхъ предметовъ своей торговли... Вотъ подходятъ попарно молодые хлопцы и облизываются послѣ съѣденнаго куска сала... Одни стоятъ въ своихъ старыхъ, *сермягахъ*, или даже, несмотря на лѣто, въ кожухахъ, развѣсивъ губы, другіе примѣриваютъ выбранныя шапки, разглядываютъ швы, шнуры, тесемки и поддѣльный плісъ... усмѣхаются, дивятся, совѣтуются другъ съ другомъ, и купивъ наконецъ *по-душѣ* шапку, отходятъ на площадку, подбоченясь одной рукой, постоянно расправляя другой на головѣ покушку и оглядываясь на все стороны:—не смотрятъ ли на его обновку молодлицы и красныя румяныя дѣвицы, не любитесь ли его шапкой вся почтенная ярмарка?...

Подъ возами съ продуктами въ мѣшкахъ и безъ мѣшковъ лежатъ ободья, косы, грабли, лыки, драни, веревки, лапти, коробки и предлинныя *лучники* изъ липовыхъ лубьевъ — это дымники, или каминны бѣлорусскихъ хатъ.... На возахъ, межъ мѣшковъ, сидятъ старухи въ *наметкахъ* (головной уборъ замужнихъ и старухъ), жуя *перепѣчку* (родъ алады) изъ пшеничной муки, и поджидая покупателей привезеннаго *збѣжя* (зерновой хлѣбъ)....

Возлѣ заборовъ топаютъ копытами откормленные вола, коровы и бычки; тоція лошаденки отъ духоты махаютъ вверхъ и внизъ мордами и сгоняютъ съ хребтовъ докучливыхъ мухъ и острожалыхъ оводовъ.... Продавцы, насушивъ брови, ищутъ глазами охотниковъ и скребутъ руками за пазухой... Вотъ подходитъ цыганъ... съ кнудомъ и съ разными принадлежностями самоучекъ-коноваловъ:—не спросясь хозяевъ, подходитъ къ лошадямъ и безцеремонно вздергиваетъ бѣднымъ животнымъ морды, и заглядываетъ имъ въ зубы... Вотъ раскланивается съ мужичками вѣжливый жидокъ, и называя хозяина разными сладкими, уменьшительными именами, трейлетъ рукой коровку, или бычка, и предлагаетъ самую ничтожную цѣну, общая дать въ придачу мѣрку водки и пару топоровъ...

Между-тѣмъ въ корчмахъ и стодолахъ загораются и дымятся ни зенькіе очаги; растянувшись во весь ростъ на землѣ, на полу, краснощекіе, загорѣшіе отъ солнца, господари — мужики, болъшею частію старики, грѣютъ зубы, курятъ цюционъ, варятъ ячменную кашу съ са-

ломъ и ворчатъ на оборвышей—жиденковъ.... А нѣкоторые, за немѣ-
ніемъ мѣста въ корчмахъ, образуютъ очаги изъ наваленныхъ камней,
или просто раскладываютъ огни на концѣ мѣстечка, всего чаще надъ
рѣкой.... Но ужь никакъ Бѣлорусецъ не обойдется на ярмаркѣ безъ
очага и огня: это любимое его удовольствіе и наслажденіе зимою и лѣ-
томъ, въ лѣсу и на сѣнокосахъ, на пашнѣ и на почлегахъ....

Часу въ первомъ — собираются франты съ трубками въ зубахъ,
съ палками и арапниками въ рукахъ, которые составляютъ *высшій*
классъ ярмарки;—потомъ, *пани и паненки застынковыя* (изъ око-
лицъ) въ шляпкахъ, капотахъ и нитяныхъ перчаткахъ... онѣ то-и-
дѣло осматриваются направо и налево, и подмѣчаютъ тайкомъ, не
поглядываятъ—ли на нихъ какой—нибудь околичной *панничъ* съ намаслен-
ными волосами и наваксенными сапогами....

Вечеромъ, фізіономія ярмарки измѣняется.

Какъ и все въ мірѣ, при окончаніи и на прощаніи, уныло, печаль-
но, грустно и задумчиво, какъ печалень балъ, когда гаснуть свѣчи,
какъ уныла карточная игра, когда убираютъ карты и складываютъ
столики, какъ безцвѣтенъ кутежъ, когда на полу валяются пустыя бу-
тылки, изломанные стулья и опрокинутые столы,—такъ точно печаль-
на, уныла и безцвѣтна бѣлорусская ярмарка при концѣ....

Увы!... какая странная картина!!!

На площадкѣ, пьяные и забрызганные грязью мужики, спорятъ и
бранятся съ своими бабами, держась за ихъ руки и напѣвая какимъ-то
сильнымъ голосомъ, медленно и тихо, несладкія пѣсни... У заборовъ,
жиды, застигнутые *шабасомъ*, торопятся паковать непроданные товары
и ругаютъ своихъ *балабостъ* (хозяйка, жена), зачѣмъ онѣ такъ мало
намаклачили у молодежи курей и цыплятъ, гусей и индѣекъ.

Въ корчмахъ валяются разбитые стаканы и рюмки, переломанные
скамьи и столы; грязи тма.... подъ лѣвками спать счастливые вакха-
нальцы. На окраинахъ мѣстечка—догораютъ разложенные огни и ды-
мятся незагащенные головни. По всему рынку валяются недоѣдки,
старые лапти, куски и лохмотья свитокъ.... Въ стодолахъ, по угламъ,
голодные псы лижутъ кровь зарѣзанныхъ барановъ....

Подъ заборомъ, гдѣ стояли волы и лошади, грязный цыганъ съ
цыганенкомъ, у котораго сквозь дыры кожуха видныются лохмотья ру-
башки, шепчется съ богатымъ мужикомъ, который напрасно силится
высѣчь изъ кремня огня для своей люльки и едва держится на но-
гахъ. Двѣ цыганки, смуглыя, съ бѣлыми зубами и растрепанными чер-
ными волосами, съ родными дѣтищами въ мѣшкѣ, перекинутомъ чрезъ

плечо, помогаютъ цыгану дурачить опьянѣлаго мужика, и глядя его по бородѣ, выманиваютъ послѣдній грошъ за воровку....

Всѣ укладываются, суетятся и спѣшатъ домой.

Молодицы и краснощекія дѣвицы прощаются съ знакомыми мѣщанками и кумами, со сватьями и сосѣдками по деревнѣ.... обнимаются, целуются и садятся на возы, приговаривая: «*дзякуй вамъ* (благодаримъ) за всё».

«*Прабачайце* (извините), отвѣчаютъ мѣщанки.

— *Добра прабачаць* (хорошо благодарить) «*нальзися*», обыкновенно отвѣчаютъ отъѣзжающія молодицы, красныя дѣвицы...

Рынокъ пустѣеть....

По дорогамъ, по проселкамъ, мчатся *коломашки* съ околичными панами, подсакиваютъ брички съ ихъ панями, снуютъ пустые возы и колымаги, запряженные волами.

Такова бѣлорусская ярмарка!!..

3., КОЛЯДНЫЕ ПОВЕЧОРКИ.

(Вечерніе собраніе дѣвицъ во-время рождественскихъ святокъ, оканчивающіеся съ разсвѣтомъ)

Повсемѣстный обычай въ Бѣлоруссіи.

Начиная со втораго дня рождественскихъ святокъ до Крещенья, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и до Великаго-поста, устраиваются въ Бѣлоруссіи, у зажиточныхъ хозяевъ, и въ особенности у которыхъ много взрослыхъ дочерей,—такъ называемыя *колядныя повечорки*...

Наканунѣ дня, предназначеннаго для повечорокъ, дочь хозяина отправляется къ своимъ подругамъ и приглашаетъ ихъ на посидѣлки.... Несмотря на то, на повечорки могутъ входить и не приглашенныя дѣвицы.... Чѣмъ болѣе, тѣмъ лучше.... Но ни одни повечорки не обходятся безъ холостыхъ парней: ихъ конечно не приглашаютъ, но они сами прокрадываются туда, тайкомъ отъ своихъ родныхъ и особенно отъ *бацьковъ* (отцовъ); ихъ влечетъ туда зазнобушка сердца, точно

какъ иного фрейта—въ танцевальное собраніе, или въ маскарадъ заманиваютъ глазки, или ножки столичной красавицы... Конечно, царней—буяновъ и *деруновъ* (охотниковъ до драки) не принимаютъ на повечорки.

У каждаго зажиточнаго домохозяина бываютъ по двѣ и даже по три комнаты, по этому для по вечерокъ избирается особая комната, чтобъ не беспокоить стариковъ—отцовъ, у которыхъ на этотъ разъ бываютъ своего рода собранія, состоящія въ благочестивыхъ разговорахъ и разсужденіяхъ о хозяйственныхъ дѣлахъ... Комната бѣлорускаго поселяннина стоить описанія: На стѣнахъ развѣшаны утиральники, а на нихъ вѣнки изъ цвѣтовъ, или изъ ржи и пшеницы.....

На *покуцѣ* (въ углу) подъ иконою стоитъ дежа, съ раствореннымъ тѣстомъ; на дежѣ лежитъ печеный хлѣбъ, прикрытый *обрусомъ* (скатертью); посреди комнаты возвышается длинный, узкій столъ, накрытый тоже обрусомъ, и заставленный блинами, колбасами, гречневиками, *пшенниками* (застывшая каша изъ проса, съ примѣсью меда), и другими кушаньями въ сухоматку;—вокругъ, возлѣ стѣнъ, прикрѣплены широкія лавки; у дверей *цеберъ* (ушатъ) съ водой; полъ изъ битой, утоптанной глины, но рѣдко у кого *помость* (полъ) изъ досокъ,—усыпанъ ельникомъ и аеромъ. Но особенно интересно освѣщеніе комнаты... Въ Бѣлоруссіи простонародье не знаетъ еще свѣчей: въ обыкновенное время тамъ жгутъ лучину... но во—время повечорокъ устраивается особеннаго рода очагъ, употребляемый впрочемъ у нѣкоторыхъ и во всякое другое время: изъ сдѣланнаго въ потолокъ, посреди, отверстія вертикально спускается до половины комнаты такъ называемый *лучникъ*, нѣчто въ родѣ трубы изъ липовыхъ лубьевъ, чѣмъ ниже, тѣмъ шире; къ оконечностямъ этаго лучника привѣшивается желѣзная клѣтччатая рѣшетка, на которой кладутъ *древки*, т. е. маленькія полѣнца, и постоянно расправляя ихъ, производятъ большое пламя, освѣщающее всю хату.....

Въ четыре, или въ пять часовъ вечера собираются красныя дѣвицы, въ бѣленькихъ сорочкахъ, съ широкими рукавами, застегнутыми у кисти рукъ *шпонками* (пуговицами), въ корсетахъ, *сподницахъ*, (верхнихъ юбкахъ), съ повязанными на головахъ бѣлыми холщевыми платочками... Каждая несетъ съ собою прялку, или перья домашнихъ птицъ, а въ *приполѣ* (передникѣ) разныя закуски: колбасы, сало, блины и проч. Большею частію входятъ по нѣскольку вмѣстѣ и поютъ пѣсни... Нацѣловавшись вдоволь, размѣщаются по лавкамъ, и занимаясь каждая своею работою,—кто пряжею кудели, кто общипываньемъ перьевъ,—поочередіи разсказываютъ сказки о князьяхъ—богатыряхъ, о колдунахъ, приворожи-

вающихъ красныхъ дѣвицъ, о пѣдительной и живительной водѣ, о шапочкѣ—невидимкѣ и красавицахъ—бняжнахъ; когда натѣшатся сказками, предлагаютъ одна другой загадки; — потомъ поютъ; наконецъ гадаютъ... Звонкій, дѣвичій смѣхъ, развязная, свободная болтовня, шутливыя прибаутки, громкій говоръ, безъ спору, безъ дракъ, поминутно раздаются въ хатѣ, и при яркомъ, ослѣпительномъ освѣщеніи ея лучникомъ, бросающимъ пламя на лица веселыхъ, хохочущихъ дѣвицъ дѣлаютъ по вечерамъ бѣлорусскіе будто волшебнымъ, очаровательнымъ зрѣлищемъ...

Но вотъ являются въ новыхъ бѣлыхъ свиткахъ съ красными поясами и въ *магеркахъ* (особеннаго покроя шапки) *пригожіе хлопцы* (молодые парни), съ орѣхами, сушеными яблоками, съ пивомъ, солодухою и даже лубками меду въ рукахъ и въ карманахъ. На минуту все собраніе смолкаетъ..... Удивленіе!..... какъ будто никто не ждалъ парней. Неподдѣльная стыдливость и непорочность душъ красавицъ невольно вызываетъ на ихъ и безъ того алая щеки—яркій, какъ пламя, красный, какъ махровый макъ, румянецъ... Тишина!..... Только гдѣ нибудь вдали..... вылетаетъ тяжкій вздохъ изъ груди еиротки, оттого—что между вошедшими хлопцами нѣтъ ея милаго Василія, ненагляднаго голубка. За то, какая радость какое веселье и торжество неописанное выражаются во взорахъ тѣхъ счастливыхъ, къ которымъ пришли ихъ любые ненаглядные друзья.

Хлопцы ставятъ на столъ принесенныя угощенія и занимаютъ мѣста, возлѣ своихъ милыхъ избранныхъ... Будто нехотя, будто не соглашаясь, и даже отпѣкиваясь для виду, избранныя чуть—чуть передвигаются на своихъ мѣстахъ, а все—таки усаживаются возлѣ себя пригожихъ хлопцевъ... Тутъ уже сцена перемѣняется... Образуются двѣ партіи. Одна—это дѣвушки безъ любимыхъ; другая—это дѣвушки съ пригожими хлопцами... Первая поетъ пѣсни, а вторая слушаетъ сказки и присказки своихъ богатырей.

Вотъ одна партія запѣла какую—то веселую пѣсню, по временамъ прерываемую смѣхомъ.... Другая... да вотъ — Кузьма рассказываетъ своей *Просѣ* (Ефросинѣ) сказку «про сѣраго волка,» про чародѣя, который сгубилъ однога парня, за то, что его полюбила дѣвушка, на которой онъ самъ хотѣлъ жениться... Кузьма—хлопецъ не дурень, — отъ сказки о волкѣ переходитъ къ разсказу о себѣ... и начинаетъ твердить *Просѣ*, какъ умѣетъ, о своей любви къ ней. — Смолкли пѣвицы... смолкло и все...; всѣ переглянулись..., кто покраснѣлъ, кто вздохнулъ. зачѣмъ онѣ смолкли? *Запѣйце, дѣвочки еще! Запѣйце, красачки, злзюльки!* раздаются голоса счастливицъ, и вотъ *красачки* опять поютъ, опять хохочутъ.....; счастливицы продолжаютъ

начатые разговоры,..... шепчутся съ своими любимы, поглядываютъ на нихъ умильно.... Вотъ Кузьма склонилъ уныло голову, опустилъ на колѣна руки, тяжело вздохнулъ и замолкъ..., потомъ, какъ бы пробуdivшись отъ долгаго сна, встрепенулся, протеръ глаза, и боязливо взглянулъ на любую свою Просю... Прося—на него: глаза ихъ горѣли сильнѣе пламени очага; руки ихъ скрестились; голова Проси машинально упала на плечо Кузьмы; изъ-подъ головного платка разсыпалась русая косица; — Кузьма обвилъ рукою шею Проси, вздохнула дѣвка, вздохнулъ Кузьма... Не выдержалъ хлопецъ: «*Прося!.. сердченько мое!*» сказалъ онъ со вздохомъ: *красачка моя! я тебе люблю... прападаю на тебя... Дарма што твое бацьки (отцы) не уладу зъ мамми... Просячка... сизачка!.. ци любишь ты меня, пригоженька, руса касица мая!...*» — *Люблю Кузьмку!... Люблю!!.. и ни за кого большъ не пайду!*... отвѣчаетъ Прося: *Бацьки не здѣлюць (не станутъ духа) згубиць мене маладушку... Я за тебе только пайду, Кузьма!*... И Прося такъ взглянула на Кузьму, какъ-будто хотѣла отдать ему всю свою душу выразить все свои чувства и мысли....

И все это дѣлается при свидѣтеляхъ, въ присутствіи двадцати, или тридцати дѣвицъ и мужчинъ... Какая невинность!...

По временамъ, въ антрактахъ, хлопцы вѣтають съ своихъ мѣсть и потчуютъ любыхъ принесенными лакомствами; при этомъ не забываютъ угостить и тѣхъ, къ которымъ не пришли ихъ парни, или которыя не имѣютъ еще любыхъ... При потчиваніи наблюдается самая смѣшная церемонія: за каждымъ глоткомъ пива, или меду, непременно десять разъ спрашиваютъ каждую дѣвицу, и каждая дѣвица десять разъ откажется, а за одиннадцатымъ немножко выпьетъ; тоже самое бываетъ и при угощеніи блинами, колбасами и прочими кушаньями: постоянныя отговорки и постоянныя *принуканья* (просьбы)!.. то и дѣло слышны: *да нужбо... Насьцюха! да нужежъ Гапка (Агафья)! Чамужъ ба Яугиння, (Евгенія)??... Анужка-еще Гапуля!... не саромейся! — Не не буду! годзь будзе!* За то, кто больше и лучше умѣетъ просить, тотъ пользуется всеобщимъ уваженіемъ и извѣстенъ подъ именемъ *щыраго дзѣцюка* (щедрого молодца)... Объ немъ говорятъ послѣ другимъ дѣвицамъ, его расхваливаютъ предъ родными, и принимаютъ на всехъ игрищахъ, пляскахъ и хороводахъ...

Потомъ опять поютъ, опять веселятся, опять гадаютъ... опять заливаются звонкимъ, веселымъ смѣхомъ... Иногда, по временамъ, какъ бы желая развеселить какую-нибудь скучающую по своему парнѣ дѣвицу, ловкій хлопецъ, съ противоположнаго конца хаты обратится къ

ней съ слѣдующими словами: *Параска!... а ну—отъ! адгадай загадку... Поуна хата людзей, ни аканъ, ни дзверей... Якъ ены улезли туды?..* Бѣдная Параска мучится, ломаетъ голову; а тутъ вдругъ изъ другаго угла... кто-нибудь крикнетъ: *гарбузь...* Параска покраснѣла..., многія разсмѣялись... Иногда, всеобщимъ хоромъ закричатъ: *гадать! гадать!..* И вотъ въ одну минуту группируются посреди хаты, вокругъ лучника, дѣвки-дѣвицы; хлопцы вертятся на одной ногѣ и становятся на цыпочкахъ, стараясь стать одинъ выше другаго и увидѣть, что тамъ дѣлаютъ дѣвки-дѣвицы, ихъ вѣжныя голубицы... А дѣвки-дѣвицы жгутъ на лучникѣ клочки кудели (пряжи) и, судя потому, куда полетитъ зола, — вверхъ въ трубу или осядетъ на желѣзной рѣшоткѣ, заключаютъ объ исполненіи своихъ желаній,—ну конечно—о выходѣ, или о невыходѣ замужъ въ томъ году...

Непозже десяти, а очень рѣдко одиннадцати часовъ, — бѣлорусская компанія уменьшается: хлопцы, нечего дѣлать, хоть нехотя, убираются во свояси, а дѣвушки, распростившись съ ними, ложатся спать *въ покатъ*, т. е. все вмѣстѣ, въ одинъ рядъ, на полу, разумѣется устланномъ, сѣномъ, принесеннымъ услужливыми парнями;... легли-то онѣ спать, но не спятъ долго-долго и о чемъ-то перешептываются..... Многія, а по-крайней-мѣрѣ нѣкоторыя... не могутъ опомниться отъ дѣвственнаго восторга, которому предавались онѣ назадъ тому нѣсколько минутъ, подъ вліяніемъ искреннихъ и цѣломудренныхъ рѣчей своихъ любимыхъ, и глаза ихъ долго-долго не могутъ сомкнуться: имъ видятся и грезятся хлопцы-молодцы.... Онѣ мечтаютъ... Да, мечтаютъ!.. Только мечты ихъ слишкомъ невинны и не простираются дальше счастья любви и замужества....

Лучникъ гаснетъ, но не потушается; затанвавшая гдѣ-нибудь въ пеплѣ маленькая головня тлѣетъ и по временамъ вспыхиваетъ синеватымъ огонькомъ...: но потомъ снова распространяется въ комнату мракъ... мало-по-малу все замираетъ и стихаетъ: въ хатѣ мертвая тишина... Красавицы засыпаютъ....

Ровно съ появленіемъ первой зари хлопцы-молодцы уже на ногахъ... и съ цѣпами въ рукахъ, подходятъ къ дому спящихъ дѣвъ...; и разбудивъ ихъ, и пожелавъ имъ добраго утра, отправляются на гумно молотить рожь въ снопахъ; а красавицы — дѣвицы, протирая одной рукой глазки, а на другой покачивая головки, очень-сладко и пріятно потягиваются... Наконецъ и онѣ встаютъ....

Умывшись и Богу помолвившись, принимаются опять за пряжу, опять за скубку перьевъ, и такъ проводятъ время до самаго разсвѣта, при

томъ же освѣщеніи и при тѣхъ же пѣсняхъ и сказкахъ, какъ и накануне, только ужъ безъ хлопцевъ—молодцевъ...

Но вотъ свѣтаетъ... свѣтъ огня отъ лучника тускнѣетъ при свѣтѣ Божьемъ; дѣвицы собираютъ свои пралки, коробочки, узелки, и расходятся по домамъ, съ радостью во взорахъ, съ улыбкою на устахъ и восторгомъ въ сердцѣ... И всѣ онѣ бодры, и всѣ здоровы!

И опять поютъ дорогой, опять слышенъ звонкой ихъ смѣхъ, опять раздается громкій говоръ ихъ по всѣмъ улицамъ деревни ...

СОВРЕМЕННОЙ.*

ЛИТЕРАТУРА. — Вордсвортъ (*статья Диккенса*) — Очеркъ современной германской поэзіи (*статья вторая и послѣдняя*). — **ТЕАТРЫ, МУЗЫКА, ИСКУССТВО.** — Спигъ-Сонгъ, Театръ въ Китаѣ. — **ОТКРЫТІЯ ВЪ НАУКАХЪ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.** — Машины Эриксона. — **МЕЛКІЕ РАЗСКАЗЫ И НОВОСТИ, АНЕКДОТЫ, ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ** — Жизнь свѣтлагося червячка, имъ самимъ описанная — Ручной левъ. — Ночь проведенная между аллигаторами. — Наполеонъ и Евгенія.

I. ЛИТЕРАТУРА.

Вордсвортъ. (*Статья Диккенса*). Вильямъ Вордсвортъ родился 7-го апрѣля 1770 года, и умеръ 23-го апрѣля 1850. Вѣкъ, въ которомъ онъ жилъ, былъ вѣкъ переворотовъ и блистательныхъ открытій въ области наукъ. Вордсворту было четырнадцать лѣтъ, когда были основаны Сѣверо-Американскіе Штаты; онъ былъ свидѣтелемъ французской революціи; видѣлъ покореніе всѣхъ европейскихъ державъ, кромѣ Россіи и Англіи, французскимъ императоромъ; основаніе священнаго союза, европейскую двадцатилѣтнюю войну и тридцати-двухъ-лѣтній миръ Европы; видѣлъ одного папу, обреченнаго на изгнаніе чужеземнымъ завоевателемъ, и другаго, также принужденнаго покинуть Римъ. Въ своемъ отечествѣ, онъ видѣлъ союзныхъ монарховъ, торжество Роберта Пила, введеніе пароходства, желѣзныхъ дорогъ и электрическихъ телеграфовъ. Онъ былъ современникомъ Деви, Гершеля, Бентама, Годвина, Мальтуса, Рикардо, Байрона, Вальтеръ-Скотта, Чантрея, Фокса, Питта, Каннинга и Брума.

* Заимствовано изъ журналовъ: Revue des deux mondes, Revue de Paris, Revue britannique, Bibliothèque de Genève, Magazin für die Litteratur des Auslandes, Erheiterungen, Novellen-Zeitung, Magazin pittoresque, le Voleur, Moden-Zeitung, Litterary-Gazette, Illustration, Gazette des Théâtres

Вѣкъ Вордсворта былъ вѣкомъ необыкновенныхъ событій. Характеръ его поэзій представляетъ разительную противоположность съ этимъ вѣкомъ. Онъ безстрастенъ, какъ отголосокъ души поэта; простъ и возвышенъ, отражаетъ только его собственныя мысли и характеръ, и не носитъ отбѣнокъ вѣшнихъ происшествій, чувствъ и мнѣнй другихъ лицъ. Кажется, будто цѣлые восемьдесятъ лѣтъ Вордсвортъ жилъ «*между* людьми, но не съ людьми», и также мало симпатизировалъ обманчивымъ мечтамъ своихъ современниковъ, какъ колоссальный обелискъ Мемнона — коштамъ, туркамъ и арабамъ, разбѣяннымъ по берегамъ Нила.

Вордсвортъ родился въ маленькомъ городкѣ Кокермоутѣ; отецъ его былъ адвокатомъ, не имѣлъ большого богатства, но далъ своимъ дѣтямъ прекрасное воспитаніе. Одинъ сынъ вступилъ въ морскую службу, и командуя купеческимъ кораблемъ, погибъ въ морѣ. Обращенія Вилльяма къ своей любимой сестрѣ составляютъ самыя трогательныя мѣста въ его поэмахъ, а два или три ея стихотворенія и отрывки изъ ея журнала показываютъ, что она была вполне достойна привязанности брата.

Первое воспитаніе поэтъ получилъ въ гаукесгедской школѣ, въ Вестморлендѣ, подъ руководствомъ учителя, отличавшагося необыкновенными способностями, а въ 1787 году перешелъ въ кембриджскій университетъ. Еще въ дѣтствѣ въ немъ замѣтны были рѣдкіе таланты, хотя онъ никогда не старался ихъ выказывать. Онъ любилъ уединенныя прогулки, любилъ читать и декламировать стихи; взрослые уже «отличали его за серьезный видъ», какъ говоритъ онъ самъ въ одной изъ своихъ поэмъ, и любили съ нимъ бесѣдовать.

Его готовили въ духовное званіе; но чувствуя призваніе къ литературѣ, онъ не могъ посвятить себя другому занятію. Преждевременная смерть Реми Кальверта, оставившаго ему небольшое состояніе, дала ему средство слѣдовать своему влеченію. Поэтъ говоритъ объ немъ въ слѣдующихъ стихахъ:

Calvert, it must not be unheard by them,
Who may respect my name, that it to thee.
Owed many years of early liberty.
This eare was thine, when sickness did condemn
Thy youth to hopeless wasting, root and stem.
That I, if frugal and severe, might stray
Where'er I liked; and finally array
My temples with the Muse's diadem.

То есть: «Кальвертъ, не могу не сказать тѣмъ, которые, можетъ-быть, станутъ почитать мое имя, что тебѣ я обязанъ многими прекрасными годами. Въ то время, когда болѣзнь обрекала твою юность безнадежной гибели, ты ставилъ меня на избранную мною дорогу, гдѣ я могъ увѣнчать чело свое вѣнкомъ музъ.»

Оставя университетъ, онъ пѣшкомъ обошелъ Шотландію и путешествовалъ по Европѣ съ однимъ изъ друзей своихъ. Въ 1793 году онъ въ первый разъ рѣшился напечатать свои стихи; они появились въ

свѣтъ въ двухъ небольшихъ книжкахъ: «Очерки во-время пѣшеходнаго путешествія по Альпамъ», «Вечерняя прогулка, посланіе въ стихахъ.» Въ этихъ поэмахъ мы не видимъ еще слѣдовъ той теоріи стихотворства, которой онъ въ-послѣдствіи слѣдовалъ; но въ нихъ увлекательно описаніе озеръ, водопадовъ и горъ, красоты природы, людскихъ страстей, и многія страницы показываютъ живое, пылкое воображеніе поэта, прекрасно и сильно переданное.

Въ 1796 году онъ поселился съ сестрою въ Ольфаксенѣ, въ графствѣ Сомерсетскомъ. Здѣсь наступила важная эпоха его умственнаго развитія. Онъ сошелся съ Кольриджемъ, и несмотря на различіе характеровъ, они нашли много сочувствія другъ въ другѣ. Оба ненавидѣли классиковъ; оба одушевлены были невѣдомымъ стремленіемъ ко всему высокому и совершенному въ человѣческой натурѣ. Сами того не зная, они совершенно отдѣлялись отъ окружавшей ихъ толпы литературными занятіями и привязанностью къ преданіямъ своей родины; отъ духовныхъ и политическихъ распрій — своимъ отвращеніемъ отъ всякаго рода партій. Мысли молодыхъ поэтовъ достойны удивленія; ничто не можетъ быть проще, откровеннѣе ихъ взаимныхъ сношеній. Чрезвычайно удачный очеркъ ихъ характеровъ мы видимъ въ книгѣ Газлитта: *Мое знакомство съ поэтами*, и болѣе интересныйъ разсказъ о нихъ находимъ у Коттля.

Результатомъ этой литературной связи былъ первый томъ «Лирическихъ балладъ.» Тихая мелодія стиховъ Вордсворта и полнота его чувствъ, болѣе напыщенный тонъ Кольриджа и его фантазіи нашли бы, можетъ-быть, гораздо благосклоннѣйшій приемъ, еслибы не представлялись читающему міру, какъ результаты новой стихотворной теоріи. Эта теорія не была одобрена современными критиками и не довольно ясно изложена самими авторами. Въ-послѣдствіи, въ Литературной Біографіи, Кольриджъ изложилъ ее гораздо яснѣе и понятнѣе. Какъ-бы то ни было, на Лирическія Баллады смотрѣли не со стороны ихъ собственнаго достоинства, но со стороны теоріи, по которой онѣ были написаны.

Неодолимая лѣньность Кольриджа, всегда создававшего неисполнимые планы и всегда ограничивавшаго свои дѣйствія одними мечтами, принудила Вордсворта одного оканчивать свой трудъ. Онъ занялся имъ съ отличавшею его настойчивостью; критика произвела на него только то дѣйствіе, что еще болѣе убѣждала его въ прежнихъ мнѣніяхъ. Послѣ поѣздки въ Германію съ сестрою и Кольриджемъ, онъ возвратился въ Англію, «съ надеждою», какъ говоритъ онъ въ предисловіи къ своему Путешествію, «создать литературное твореніе, которое могло бы жить долго.

Въ 1803 году Вордсвортъ женился на мисъ Мери Гетчинсонъ и поселился въ Грасмерѣ. Отсюда онъ вскорѣ переѣхалъ въ мѣстечко Райдель-Моунтъ, гдѣ и жилъ до самой смерти. Мы въ двухъ словахъ скажемъ о его частной жизни, и потомъ исчислимъ его поэтическія произведенія, въ которыхъ, можно сказать, заключалась вся его жизнь. Отъ пережившей его жены у него были—дочь, вскорѣ умершая, и два сына.

Въ 1814 году, Вордсвортъ, по ходатайству графа Ленсдела, назначень былъ сборщикомъ податей въ Комберлендъ и Вестморлендъ. Занимая это мѣсто двадцать-восемь лѣтъ, онъ передалъ его своему второму сыну, и съ годовымъ пенсіономъ въ 300 фунтовъ оставилъ службу. Въ 1843 году, онъ наследовалъ послѣ Соути ограниченное содержаніе и достоинство придворнаго поэта (laureat).

Между-тѣмъ, какъ критическая буря, возбужденная предисловіемъ къ «Лирическимъ Балладамъ» продолжала кипѣть съ прежнею силою, Вордсвортъ написалъ *Петеръ-Белла* и *Вагонера*, изданныхъ уже нѣсколько лѣтъ спустя. Они полны прекрасной, высокой поэзіи; языкъ ихъ превосходенъ, стихи несравненны по гармоніи и чувству. Нельзя однако не замѣтить, что въ нихъ видна упорная, преувеличенная приверженность къ своей новой теоріи, происходящая какъ-будто изъ желанія противорѣчить. Въ 1807 году Вордсвортъ издалъ двѣ книги, заключающія въ себѣ продолженіе, «Лирическихъ Балладъ» и еще нѣсколько поэмъ. Многія изъ этихъ стихотвореній не найдутъ ничего подобнаго себѣ не только въ англійской поэзіи, но въ поэтическихъ созданіяхъ всѣхъ народовъ. *Застольная пѣсня* богата лирическимъ избыткомъ чувства; *Лаодемія* — строго-прекрасна, какъ греческая статуя; *Гартлискій Ключъ* — полонъ тихой грусти; *Могила Робъ-Роя*, *Два гора*, «*Она была чуднымъ призракомъ*», — однимъ-словомъ, каждое стихотвореніе дышетъ сердечною полнотою и передаетъ чудныя картины сельской природы.

Прогулка (the Excursion) чрезвычайно занимательное, и, при всѣхъ недостаткахъ, лучшее изъ его сочиненій, была издана въ 1814 году. Здѣсь поэтъ весь въ своей сферѣ. Направленіе Вордсвортова гения было исключительно умственное и моральное. Неожиданности и приключенія не имѣли въ его глазахъ никакой прелести. Онъ изучалъ характеры по метафизическимъ выводамъ, а не по сочувствію и воображенію, какъ создавалъ ихъ Шекспиръ. Онъ не умѣлъ схватывать тѣхъ интересныхъ оттѣнковъ людей и общества, которые составляютъ лучшія мѣста у многихъ поэтовъ; онъ любилъ одну природу. «Шумящій водопадъ, говоритъ онъ, преслѣдуетъ меня, какъ страсть; высокій утесъ, гора, и густой тѣнистый лѣсъ привлекаютъ меня къ себѣ; я люблю ихъ всею полнотою чувствъ и ни съ чѣмъ не сравню ихъ прелести.»

Душа его была зародышемъ самыхъ возвышенныхъ нравственныхъ истинъ. Послѣ пересмотра своихъ поэмъ, онъ задумалъ написать философскую поэму, содержащую въ себѣ взглядъ на челоѣка, природу и общество. Онъ назвалъ ее «Отшельникомъ», и хотѣлъ передать въ ней обществу свои мысли и чувства; однако, не успѣлъ привести въ исполненіе своихъ намѣреній. Послѣдующія изданія Вордсворта не трудно исчислить. *Петеръ-Белла* и *Вагонеръ* явились черезъ два года послѣ «Прогулки», а вслѣдъ за ними, онъ издалъ *Уайтъ-До*. Собраніе мелкихъ статей было напечатано въ 1820 году, а *Yarrow revisited* въ 1835. Обо всѣхъ этихъ сочиненіяхъ довольно сказать, что они вполне характеризуютъ автора и отличаются многими достоинствами.

Поэзіи Вордсворта долго суждено было бороться съ предубѣждені-

ями литературнаго міра. Еще при первыхъ опытахъ, его геній былъ признанъ возвышенными умами; его первые почитатели буквально составляли секту, и почитаніе ихъ, какъ мнѣніе всякой исключительной секты, было горячо и неразборчиво. Между-тѣмъ, они были посредниками между имъ и читающей публикой, и сдѣлали извѣстнымъ всѣмъ его талантъ. Ему подражали многіе, не соглашаясь съ нимъ, какъ Шеллей, и систематически насмѣхаясь надъ нимъ, какъ Байронъ. Даже въ наше время, Вордсворта болѣе хвалятъ, чѣмъ любятъ; но нѣтъ никакого сомнѣнія, что современемъ истинно прекрасное въ его поэмахъ займетъ достойное мѣсто въ англійской литературѣ.

Въ самомъ Вордсвортѣ было много сходства съ его поэзіей; онъ былъ простъ и ограниченъ въ своихъ желаніяхъ; самоуврѣенъ и часто непріятенъ своею строгостью; но подъ его суровою наружностью скрывалось доброе сердце. Онъ былъ бодръ и силенъ; взглядъ его былъ задумчивъ, и при первой встрѣчѣ казался не выразительнымъ; но особенная прелесть заключалась въ его улыбкѣ. Практическая дѣятельность его вѣка была ему не по сердцу. Онъ не понималъ, и потому не могъ оцѣнить благороднаго стремленія своихъ современниковъ къ усовершенствованіямъ и открытіямъ. Въ своемъ эгоистическомъ уединеніи онъ не сочувствовалъ свѣту, но смотрѣлъ на него критическимъ взглядомъ. Всѣ его понятія о свѣтѣ были покрыты ржавчиною старинныхъ предразсудковъ. Желѣзные дороги онъ ненавидѣлъ, и въ своихъ сонетахъ всегда велъ съ ними войну. Быстро развивая торговлю, сношенія и упрочивая благостояніе цѣлыхъ обществъ, онъ мѣшалъ его уединенію, и Вордсвортъ постоянно воевалъ съ толпами туристовъ, приходившихъ раздѣлять съ нимъ прогулку по его горамъ и озерамъ.

Очеркъ современной поэзіи въ Германіи. (Статья вторая и послѣдняя). — Современная германская поэзія вполне достигла двоякой цѣли, которую предположила себѣ. Она не только осмѣяла школу исторической поэзіи, хотѣвшей возстановить среднѣ-вѣка, но даже предсказала будущую литературную судьбу Германіи, уничтоживъ школу ложной сентиментальности швабскихъ поэтовъ, — которую называли дурнымъ хвостомъ Гёте и альбомною поэзіей. Въ сочиненіяхъ новой школы видна борьба сильныхъ, вѣрныхъ чувствъ съ ложною идеальностію. Не разъ говорили, однакоже, что школа эта ничего не уважаетъ. Это справедливо только въ томъ отношеніи, что она не уважаетъ маленькихъ поэтовъ, притворную ихъ добродѣтель и мнимыя высокія чувства. Но она уважаетъ истинно-изящное вездѣ, гдѣ встрѣчаетъ его. Она, какъ древній грекъ, обожаетъ презестную форму и смѣло берется за идею, если идея ясна, а не наполнена германскою туманностію. Она тщательно обрабатываетъ свою форму, и болѣе всего заботится о слогѣ. Слогъ ея не представляетъ ни краткости французскихъ періодовъ, ни длинноты нѣмецкихъ; это періодъ греческій — простой, текуцій, удобопонятный, пріятный для уха. Сочиненія этой школы пишутся въ разное время, какъ скоро поэтъ пораженъ какимъ-

нибудь предметомъ, или идеею. Ее можно обвинить однакоже въ томъ, что она съ жестокостію нападаетъ на своихъ личныхъ враговъ, хотя въ-послѣдствіи раскаивается въ этомъ. Въ самыхъ злыхъ нападкахъ видны однакоже мастерскіе очерки. Она привязывается къ лицамъ, чтобъ высказать какую-нибудь истину, и наказываетъ смѣлься. Это Аристофанъ, который правъ уже и потому, что въ его время нѣтъ ни одного Сократа между тѣми, на кого онъ нападаетъ.

Новая поэзія не создаетъ отдѣльной системы въ стихотвореніяхъ. Она думаетъ только о томъ, чтобъ найти древнія красоты, формы, потерянные въ нашъ вѣкъ. Лучше всего можно узнать направленіе этой поэзіи изъ поэмы, которую мы приведемъ. Въ ней есть чувства, которыя всегда заставляютъ трепетать сердце человѣка. Исторія сердца каждаго поэта должна быть занимательна для всѣхъ. Каждый узнаетъ въ ней часть своихъ ощущеній, узнаетъ тѣ артеріи, мускулы и вены, которыя составляютъ его жизнь. Въ этомъ отношеніи можно напримѣръ назвать Гёте сангвиническимъ поэтомъ. Это гармоническій гений древности, происшедшій отъ соединенія силы и спокойствія. Ледяное безпристрастіе управляетъ всѣми отношеніями между нимъ и другими лицами; любовь его также торжественная и классическая. Завязки его заранѣе разсчитаны, причины ревности и отчаянія трагическія; Гете полюбить и застрѣлится съ горя, какъ Вертеръ, или будетъ обожать еестру герцога и сойдетъ съ ума, какъ Тассъ, или это будетъ смѣсь противурѣчащихъ чувствъ, какъ въ Германѣ и Доротеѣ, Кларѣ и Эгмонтѣ. Даже въ Фаустѣ любовь носить на себѣ отпечатокъ таинственности: Но у современнаго поэта найдете вы терпѣливый и болѣзненный анализъ любви, безъ препятствій, безъ противурѣчій, почерпающій несчастныя и болѣзненные ощущенія изъ своего собственного существованія. Таковы всегда натуры нервическія и чувствительныя. Въ древности нѣтъ подобныхъ психологическихъ типовъ. Только новѣйшее общество произвело ихъ.

Поэма *Интермедія* — самое оригинальное произведеніе. Это странное, небрежное и, можетъ-быть, нѣсколько натянутое названіе скорѣе скрываетъ, нежели обнаруживаетъ рядъ отдѣльных стихотвореній, неимѣющихъ, повидимому, никакой связи между собою, но написанныхъ съ одною цѣлю и идеею. Это какъ-будто ожерелье, откуда поэтъ выдернулъ нитку, на которой оно было наизано, но ни одна жемчужина не упала. Всѣ эти разрозненные строфы имѣютъ одно единство: любовь; но это однакоже оригинальная, особенная любовь. Въ ней нѣтъ ничего страннаго, потому-что всякій узнаетъ здѣсь свои чувства; но ея новостъ именно въ томъ и состоитъ, что поэма также стара, какъ свѣтъ, и что въ ней говорится о самыхъ обыкновенныхъ и всѣдневныхъ предметахъ. Ни греки, ни римляне, ни Мимнермъ, котораго древніе ставили выше Гомера, ни вѣжнѣйшій Тибуллъ, ни пламенный Проперцій, ни изобрѣтательный Овидій, ни Данте съ своимъ платонизмомъ, ни Петрарка съ своими влюбленными *кончетти*—никогда не писали ничего подобнаго. Еврей Лео въ своей *Философіи любви* ничего

не разобралъ въ схоластическихъ анализахъ. Чтобъ найти что-нибудь подобное надобно обратиться къ древнему Востоку.

Въ чемъ состоитъ содержаніе *Интермедіи*? Поэтъ любитъ дѣвушку, и она потомъ оставляетъ его, избравъ себѣ другаго жениха, глупаго и богатаго. Вотъ и все: ни больше ни меньше. Это всегда случается. Молодая дѣвушка хороша собою, кокетлива, легкомысленна, немного зла, частію отъ своенравія, частію отъ невѣжества. Древніе греки недаромъ представляли сердце въ видѣ бабочки. Эта женщина держитъ въ рукахъ своихъ сердце своего любезнаго, и заставляетъ его переносить всѣ страданія, какія терпятъ бабочки въ рукахъ дѣтей. Они дѣлаютъ это не отъ злости; но золотистая пыль крылышекъ стирается, остается на пальцахъ; прозрачная перепонка разорвана, — и если бѣдное наѣкомое успѣваетъ спастись, то измученное и изуродованное. Впрочемъ, у этой молодой дѣвушки нѣтъ никакого особеннаго дарованія, ни чрезвычайной красоты, ни увлекательнаго очарованія: голубые глаза, маленькія, свѣжія щечки, розовая улыбка, нѣжная кожа, ума столько же, какъ у розы, вкуса, какъ у сочнаго плода, — вотъ и все. У кого, въ воспоминаніяхъ молодости, нѣтъ портрета въ такомъ родѣ, давно забытаго? Этотъ простой сюжетъ, который не далъ бы и двухъ страницъ въ романѣ, произвелъ прекраснѣйшую поэму, самаго нравственнаго содержанія. Вся душа поэта вылилась въ этихъ отдѣльныхъ отрывкахъ, изъ которыхъ самыя длинныя не болѣе какъ въ три, четыре строфы. Страсть, печаль, иронія, живое чувство, любовь къ природѣ и къ пластической красотѣ: все это смѣшано въ самыхъ счастливыхъ и неожиданныхъ размѣрахъ. Мѣстами попадаются разбросанныя философскія мысли въ двухъ строкахъ, въ двухъ словахъ. У читателя навернутся слезы отъ комическаго выраженія, или онъ улыбнется въ патетическихъ мѣстахъ, — а отчего? Онъ и самъ не знаетъ. Читая *Интермедію*, чувствуешь какой-то страхъ. Кажется краснѣешь, видя, что поэтъ угадалъ тайну читателя. Біенія сердца размѣрены по строфамъ, по стихамъ. Поэтъ будто записывалъ вздохъ читателя, описывая свои собственные страданія.

Кажется, что тихій лунный свѣтъ освѣщаетъ всѣ эти фигуры. Сквозь иронію французской школы и байроновскій юморъ просвѣчиваетъ нѣмецкая мечтательность, хотя самъ поэтъ смѣется надъ нею. Всего удивительнѣе, что эти мимолетныя изображенія, эти воздушныя впечатлѣнія вырѣзаны на чистѣйшемъ древнемъ мраморѣ; по всему видно, что трудъ этотъ не стоилъ ни малѣйшихъ усилій, что форма никогда не затрудняла хода мысли. Оставить ли прозаическій переводъ хоть тѣмъ этихъ пластическихъ красотъ? Во всякомъ случаѣ воображеніе читателя должно дополнить и возсоздать красоты этой удивительной поэмы.

ИНТЕРМЕДИЯ.

I.

То было въ дни блистательнаго мая. Когда листья разрываютъ свои оболочки, — любовь проникла въ сердце мое.

Это было въ дни блистательнаго мая. Когда всѣ птицы начинают пѣть о любви, признался и я своей милой въ страсти и сердечныхъ желаніяхъ.

II.

Изъ слезъ моихъ вырастаетъ множество прелестныхъ цвѣтовъ, а вздохи мои превращаются въ цѣлый хоръ соловьиного пѣнія.

Если ты хочешь полюбить меня, моя милая, то всѣ эти цвѣты будутъ твоими, и соловьи будутъ пѣть у окна твоего.

III.

Розы, лиліи, голубки, солнце, — все это прежде любилъ я страстно; теперь все разлюбилъ, теперь люблю только тебя. Ты для меня и роза, и лилія, и голубка, и солнце.

IV.

Когда я вижу глаза твои, то забываю боль и страданія; когда цѣлую прелестный ротикъ твой, чувствую полное исцѣленіе.

Когда склоняюсь на твою грудь — тихая радость паритъ надо мною, — и однако же, когда ты говоришь мнѣ: «я люблю тебя!» у меня наворачиваются горькія слезы.

V.

Я-бы желалъ погрузить мою душу въ цвѣточную чашечку бѣлой лиліи. Пусть вздохи лиліи будутъ пѣснію для моей возлюбленной.

Пѣсня эта должна также дрожать и трепетать, какъ поцѣлуй, который она мнѣ нѣкогда дава въ таинственный и нѣжный часъ нашей любви.

VI.

Тамъ въ высотѣ, уже нѣсколько тысячелѣтій сіяютъ неподвижно звѣзды и смотрятъ другъ на друга съ печальною любовью.

Языкъ ихъ богатъ и прекрасенъ; но ни одинъ филологъ не понялъ еще его.

Я изучилъ этотъ языкъ, и никогда его не забуду. Лицо моей милой служило мнѣ наставленіемъ.

VII.

На крыльяхъ пѣсенъ моихъ перенесу я тебя, перенесу до береговъ Ганга. Тамъ и знаю одно прелестное мѣсто.

Тамъ цвѣтетъ благовонный садъ, озаряемый тихими лучами луны. Цвѣты ожидаютъ тебя тамъ, какъ сестру свою.

Фиалки улыбаются тамъ и перемигиваются съ звѣздами. Розы рассказываютъ другъ-другу на ухо самыя душистыя рѣчи.

Робкія и скачущія газели приближаются и слушаютъ, — а вдали шумятъ волны священной рѣки.

Тамъ успокоимся мы подѣ тѣню пальмъ, которыя пошлютъ намъ радужные сны.

VIII.

Лотусъ не можетъ переносить яркихъ лучей солнца. Онъ склоняетъ голову и въ задумчивости ждетъ приближенія ночи.

Возлюбленная луна его — пробуждаетъ лотусъ тихимъ свѣтомъ. Онъ обращается къ ней своимъ кроткимъ и цвѣтущимъ лицомъ.

Онъ цвѣтеть, краснѣетъ и блистаетъ. Безмолвно поднимаясь въ воздухъ, вздыхаетъ, плачетъ и трепещетъ отъ любви и страданій.

IX.

Въ водахъ Рейна отражаются церковныя башни великаго древняго Кельна.

На одной изъ этихъ башенъ изображенъ ликъ на позолоченной мѣди. Онъ тихо освѣщаль пустынную стезю моей жизни.

Цвѣты и ангелы изображены надъ этимъ ликомъ ...

X.

Ты не любишь меня, ты не любишь меня. Но это меня не терзаетъ. Лишь-бы я могъ смотрѣться въ твои глаза, и я доволенъ.

Ты будешь ненавидѣть меня, ты уже ненавидишь меня. Твои розовыя уста сказали мнѣ это. Протяни ихъ ко мнѣ, — и я буду утѣшенъ.

XI.

Не клянись мнѣ, а только обними меня. Я не вѣрю женскимъ клятвамъ. Слова твои сладки, но поцѣлуй, который я похитилъ у тебя, — еще слаще. Когда я цѣлую тебя, мнѣ кажется, что слова совершенно бесполезный даръ для человѣчества.

О! клянись мнѣ, клянись, моя милая! Я вѣрю каждому твоему слову. Я склоняюсь на грудь твою — и воображаю себя первымъ счастливецомъ. Я воображаю, что ты будешь любить меня вѣчно.

XII.

Я сочинилъ самыя лучшія *капцоны* на глаза моей возлюбленной. Лучшія мои *терцины* сочинены на ея милый ротикъ. Самые великолѣпные стансы написаны на глаза моей возлюбленной. Еслибы у нея было сердце, я-бы сочинилъ на него какой-нибудь хорошій сонетъ.

XIII.

Какъ свѣтъ глупъ, какъ свѣтъ слѣпъ! Онъ день отъ дня становится безразсуднѣе. Онъ говоритъ о тебѣ, моя милая, что у тебя дурной характеръ.

Какъ свѣтъ глупъ, какъ свѣтъ слѣпъ. Онъ не знаетъ тебя.

XIV.

Обожаемая моя! Скажи, мнѣ не видѣние-ли ты, родившееся въ воображеніи поэта въ душный, лѣтній день?

Нѣтъ! такого прелестнаго маленькаго ротика, такихъ очаровательныхъ глазъ, такого прекраснаго и милаго существа, не могла создать поэзія.

Она только создаетъ василисковъ, вампировъ, крылатыхъ змѣй и чудовищъ, всѣхъ этихъ гнусныхъ, баснословныхъ животныхъ.

Но тебя, съ твоею хитростію и прелестнымъ лицомъ, съ твоими кроткими и коварными взорами—поэтъ никогда не создастъ тебя.

XV.

Какъ Венера, выходящая изъ пѣнистыхъ волнъ, любезная моя блистаетъ во всемъ сіяніи красоты своей, — потому-что сегодня день ея свадьбы.

Сердце мое, сердце мое! Ты, которое такъ терпѣливо, — не будь злопамятно за эту измѣну. Перенеси свое горе; страдай и прости все, что бы ни сдѣлала эта милая вѣтренница.

XVI.

Я не сержусь на тебя. Пусть сердце мое разрывается оттого, что я навсегда потерялъ мою любезную, — я не сержусь на тебя. Ты сіяешь всѣмъ блескомъ бриліантовъ своихъ, но ни одинъ лучъ не падаетъ во мракъ твоего сердца.

Я это давно знаю. Я тебя видѣлъ во снѣ. Видѣлъ ночь, наполняющую твою душу, и чудовищъ, шипящихъ въ мракѣ этой ночи. Я видѣлъ, моя милая, какъ ты несчастна въ глубинѣ души своей.

XVII.

Да! ты несчастна, — и я не сержусь на тебя. Намъ суждено, моя красавица быть несчастными. Покуда смерть разорветъ наше сердце, мы будемъ несчастны.

Я вижу, что насмѣшка порхаётъ на губахъ твоихъ, вижу наглый блескъ твоихъ глазъ, вижу гордость, поднимающую твою грудь, — и все-таки говорю: ты также несчастна, какъ и я.

Невидимое страданіе заставляетъ трепетать твои уста; скрытая слеза помрачаетъ блескъ твоихъ взоровъ; тайная язва грызетъ гордую грудь твою. Милая моя! Мы должны быть оба несчастны.

XVIII.

И такъ, ты совершенно забыла, что я владѣлъ твоимъ сердцемъ, твоимъ маленькимъ, кроткимъ, коварнымъ и все-таки милымъ сердцемъ. Да! это было самое милое и самое обманчивое сердце.

И такъ, ты забыла и любовь и печаль, которыя такъ терзали сердце мое. Не знаю, была-ли любовь моя сильнѣе печали; знаю только, что оба эти чувства были очень сильны.

XIX.

И еслибы цвѣты, эти милые и маленькіе цвѣты, знали, какъ глубоко поражено мое сердце, они-бы плакали вмѣстѣ со мною, чтобъ излечить мои страданія.

И еслибъ соловьи знали, какъ я болѣнъ и печаленъ, они утѣшили бы меня своею веселою пѣснью.

И еслибъ тамъ на верху, золотыя звѣзды знали мои страданія, онѣ сошли бы съ неба и пришли бы успокоить меня.

Но никто изъ нихъ не можетъ знать моего горя. Только она одна, растерзавшая мое сердце, знаетъ о немъ.

XX.

Отчего розы такъ блѣдны,—скажи мнѣ, моя милая,—отчего?

Отчего въ зеленомъ дернѣ фіалки такъ печальны?

Отчего жаворонокъ такъ задумчиво поетъ? Отчего благоуханіе садовъ испускаетъ могильный запахъ?

Отчего солнце освѣщаетъ луга такимъ недовольнымъ и холоднымъ лучемъ? Отчего вся земля безмолвна и мрачна, какъ могила?

Отчего я самъ такъ болѣнъ и печаленъ, моя милая,—скажи мнѣ? О! скажи мнѣ, за что ты меня покинула?

XXI.

Они много наговорили тебѣ на мой счетъ, много нажаловались тебѣ на меня. Но что дѣйствительно терзало мою душу, они тебѣ того не сказали.

Они съ гордостію и важностію качали головами,—и называли меня злымъ человѣкомъ, а ты имъ повѣрила.

Но самого худшаго они и не знали. То, что было во мнѣ самаго дурнаго и глупаго, я затаялъ отъ всѣхъ въ глубинѣ моего сердца.

XXII.

Когда липа цвѣла, соловей пѣлъ, солнце улыбалось прелестно, тогда ты меня любила.

Когда листья падали, воронъ каркалъ, солнце бросало на насъ недовольные лучи, тогда мы холодно сказали другъ другу: прощай!— и ты мнѣ сдѣлала самый учтивый реверансъ.

XXIII.

Ты долго мнѣ была вѣрна, ты принимала во мнѣ участіе, утѣшала меня въ моихъ страданіяхъ и печаляхъ.

Ты меня поила и кормила; ты давала мнѣ денегъ въ займы, снабжала бѣльемъ и доставала паспортъ для выѣзда.

О! моя милая! Да предохранить тебя судьба еще на долго отъ хо-

* Эта строфа нѣсколько разъ была переводима нашими поэтами.

лода и тепла, и да не наградишь тебя никогда за добро, которое ты мнѣ сдѣлала.

XXIV.

Покуда я путешествовалъ и мечталъ такъ долго въ чужихъ краяхъ, любезная моя соскучилась, сшила себѣ подвѣчное платье и обвила вѣжными руками своими глупѣйшаго изъ жениховъ.

Любезная моя такъ прелестна и очаровательна; милый образъ ея все еще носится передъ моими глазами. Фиалки глазъ ея и розы миленькихъ щекъ блистаютъ и цвѣтутъ цѣлый годъ. Уѣхать отъ такой красавицы было самымъ глупымъ дѣломъ изъ всѣхъ моихъ глупостей.

XXV.

О! моя возлюбленная! Когда ты ляжешь въ тѣсный гробъ, я сойду въ твою могилу и неразстанусь съ тобой.

Я обниму тебя, съ жаромъ обовью тебя руками,—а ты будешь безмолвна, холодна и бѣла. Я вскрикну, вздрогну, и умру подлѣ тебя.

Звучить полночь, мертвецы встаютъ и пляшутъ въ туманныхъ группахъ. Мы же оба останемся въ могилѣ, въ объятіяхъ другъ-друга.

XXVI.

Уединенная ель возвышается на песчанной сѣверной горѣ. Она спитъ. Ледъ и снѣгъ покрываютъ ее бѣлымъ своимъ покровомъ.

Ель эта мечтаетъ о пальмовомъ деревѣ, которое на отдаленномъ востокѣ стоитъ въ печальномъ уединеніи на скатѣ раскаленной скалы*.

XXVII.

Голова говорить: ахъ! еслибъ я была, по-крайней-мѣрѣ, той скамейкою, на которой покоятся ноги моей возлюбленной. Пусть бы она съ досады колотила по мнѣ, я бы не произнесла ни одной жалобы.

Сердце говорить: ахъ! еслибъ я было тою подушечкою, въ которую она втыкаетъ свои булавки. Пусть бы она меня колола до крови, я бы радовалось своимъ ранамъ.

Нѣсія говорить: ахъ! еслибъ я была хоть тою бумажкою, которая ей служить вмѣсто напильотки,—я бы шептала ей на ухо все, чѣмъ я живу и лышу.

XXVIII.

Когда моя любезная была далеко отъ меня, я совѣмъ разучился смѣяться. Многіе бѣдняки старались говорить плоскія шутки, но я не могъ улыбаться.

Когда же я потерялъ ее, то разучился плакать. Сердце мое разрывается отъ страданія, но я не могу плакать.

* Этой строфѣ подражалъ Лермонтовъ въ своемъ стихотвореніи: *Сосна*.

XXIX.

Изъ моей большой горести дѣлаю я маленькія пѣсни. Онѣ, какъ птички, взмахиваютъ звучными крылышками и летятъ къ моей любезной.

Прилетѣвъ туда, онѣ возвращаются и жалуются; онѣ жалуются, но не хотятъ сказать мнѣ, что видѣли въ ея сердцѣ.

XXX.

Я не могу забыть, моя возлюбленная, мой обожаемый другъ, что ты была моею невѣстой.

XXXI

Мѣщане по воскресеньямъ собираются на лугахъ и въ лѣсу; они издаютъ радостные крики и прыгаютъ, какъ козы въ ясный, весенній день.

Взоры ихъ очарованы романтическимъ возрожденіемъ зелени и цвѣтовъ. Длинныя уши съ удовольствіемъ слушаютъ мелодическое пѣніе воробьевъ.

Я же опускаю темныя шторы моего окна. Это доставляетъ мнѣ среди бѣлаго дня посѣщеніе моихъ любимыхъ привидѣній.

Убитая любовь является ко мнѣ изъ царства тѣней; она садится близь меня, и слезами своими терзаетъ мое сердце.

XXXII.

Много картинъ изъ забытыхъ временъ выходятъ изъ гробовъ своихъ и напоминаютъ мнѣ, какъ я нѣкогда жилъ близь тебя, моя милая.

Днемъ я шатаюсь по улицамъ, какъ сонный, и сосѣди съ удивленіемъ смотрятъ на меня,—до такой степени я мраченъ и печаленъ.

Ночью — мнѣ лучше. Улицы пусты, я и тѣнь моя уединенно бродимъ всегда вмѣстѣ и молчаливо.

Громкіе шаги мои раздаются, когда я перехожу черезъ мостъ. Луна прокрадывается изъ-за облаковъ, и привѣтствуетъ меня печальнымъ свѣтомъ.

XXXIII.

Молодой человѣкъ любить молодую дѣвушку, которая выбрала себѣ другаго. Тотъ влюбляется въ другую, — и женится на ней.

Съ досады молодая дѣвушка выходитъ замужъ за перваго, кто ей встрѣтится. Молодому человѣку тоже приходится нехорошо.

Все это старая исторія, которая всякой день возобновляется, но тотъ, съ кѣмъ она вновь случается, — страдаетъ и плачетъ.

XXXIV.

Когда я слышу пѣсенку, которую пѣвала моя возлюбленная, мнѣ кажется, что грудь моя раздирается, такъ сильно стѣсняетъ ее печаль.

Мрачное желаніе гонить меня на дѣсистыя высоты. Тамъ только печаль моя разрѣшается слезами.

XXXV.

Я видѣлъ во снѣ женщину съ блѣдными и влажными щеками. Мы сидѣли подъ зелеными липами.

«Я не хочу твоего приданого не хочу бриліантовъ: а хочу только тебя, цвѣтъ красоты.

— «Это невозможно, — отвѣчала она мнѣ. — Жилище мое — гробъ.

XXXVI.

О! моя возлюбленная! Мы сидѣли вмѣстѣ въ легкой лодочкѣ. Ночь была тиха, — и мы плыли по обширному озеру.

Таинственный островъ духовъ неясно рисовался при лунномъ свѣтѣ. Тамъ раздавались очаровательные звуки; тамъ мелькали туманныя пляски.

Звуки дѣлались все нѣжнѣе и нѣжнѣе; вскорѣ вальсъ болѣе и болѣе ускорялся...

А мы оба плыли безъ надежды по обширному озеру.

XXXVII.

Я любилъ тебя, — я еще люблю тебя. Еслибы домъ разрушился, изъ развалинъ его пылало-бы еще пламя любви моей.

XXXVIII.

Было прелестное утро, — я гулялъ по саду. Цвѣты шептались между собою на своемъ таинственномъ языкѣ, — но я ходилъ безмолвенъ и печаленъ.

Цвѣты шептались между собою, и съ состраданіемъ смотрѣли на меня: «Не сердись на сестру нашу, блѣдный и печальный любовникъ».

XXXIX.

Любовь моя свѣтитъ во мрачномъ великолѣпнѣи, какъ меланхолическая сказка, рассказанная въ лѣтнюю ночь.

Въ волшебномъ саду гуляли два любовника, безмолвные и уединенные. Соловьи пѣли вокругъ; луна блистала.

Молодая дѣвушка тихо остановилась какъ статуя; рыцарь склонилъ предъ нею коѣно. Явился исполинъ пустыни; робкая дѣвушка убѣжала.

Рыцарь упалъ окровавленный на землю; исполинъ медленно возвратился въ свое жилище. Осталось только похоронить меня, — и сказка кончена.

XL.

Они меня мучили, заставили блѣднѣть и дрожать: одни своею любовью, другіе своею ненавистью.

Они отравили мой хлѣбъ, налили яду въ мое питье: — одни своею ненавистію, другіе своею любовію.

И однакоже, та которая меня болѣе всѣхъ мучила и терзала, — ни когда не любила меня и не ненавидѣла *.

XLI.

Пылающее лѣто царствуетъ на щекахъ твоихъ; холодъ зимы обитаетъ въ твоёмъ сердцѣ.

Это современемъ измѣнится, о моя милая. Зима перейдетъ на твои щеки, а лѣто въ твое сердце.

XLII.

Когда любовники разлучаются, то подають другъ-другу руку, плачутъ и вздыхаютъ безпрестанно.

Мы не плакали, не вздыхали; слезы и вздохи явились уже послѣ.

XLIII.

Пѣсни мои отравлены. Да и можетъ-ли быть иначе? Ты облила ядомъ цвѣтокъ моей жизни.

Пѣсни мои отравлены. Да и можетъ ли быть иначе? Въ сердцѣ моемъ гнѣздится множество змѣй. И ты въ немъ, моя милая.

XLIV.

Я видѣлъ опять тяжелый свой сонъ. Это было въ майскую ночь. Мы сидѣли подъ липами и клялись другъ-другу въ вѣчной вѣрности.

XLV.

Я поднялся на вершину горы и сдѣлался сентиментальнымъ. «Еслибъ я былъ птичкою!» — вздыхалъ я миллионъ разъ.

Еслибъ я былъ ласточкою, то полетѣлъ бы къ тебѣ, моя милая, и построилъ бы свое гнѣздышко подъ карнизомъ твоего окна.

Еслибы я былъ соловьемъ, то полетѣлъ бы къ тебѣ, моя милая, и съ вѣтвей зеленой липы распѣвалъ бы тебѣ мои пѣсенки.

Еслибы я былъ болтливымъ попугаемъ, тотчасъ же полетѣлъ бы къ твоему сердцу, потому-что ты любишь попугаевъ и радуешься ихъ болтливости.

XLVI.

Я плакалъ во снѣ. Мнѣ снилось, что ты умерла. Я проснулся, — и струи слезъ текли по моимъ щекамъ.

Я плакалъ во снѣ. Мнѣ снилось, что ты меня покидаешь. Я проснулся, и долго еще горько плакалъ.

* Эта строфа являлась въ русскихъ стихахъ несчетное число разъ, также какъ и слѣдующая. Строфы XLIV, XLVI, XLVII, XLIX, и LV, также появлялись въ переводѣ.

Я плакалъ во снѣ. Мнѣ снилось, что ты еще меня любишь. Я проснулся — и все еще не перестаю плакать.

XLVII.

Всякую ночь вижу я тебя во снѣ; вижу такъ мило улыбающуюся, — и рыдая бросаюсь къ твоимъ ногамъ.

Ты смотришь на меня печально и киваешь бѣлокурою своею головою; изъ глазъ твоихъ струятся влажные перлы твоихъ слезъ.

Тихо произносишь ты одно слово — и подаешь мнѣ букетъ изъ вѣтвей кипариса. Я просыпаюсь, букетъ исчезъ, а сказанное слово хочу я забыть напрасно.

XLVIII.

Осенній дождь и вѣтеръ шумятъ и воютъ въ мракъ ночи. Чтò такъ запоздала моя робкая и бѣдная красавица.

Вотъ она сидитъ въ уединенной своей комнатѣ, облокотившись у окна. Глаза ея наполнены слезами; взоры устремлены во мракъ ночи.

XLIX.

Осенній вѣтеръ, качаетъ деревья. Ночь печальна и холодна. Закутавшись въ сѣрый плащъ, проѣзжаю я верхомъ по лѣсу.

Въ то время какъ конь мой скачетъ, мысли быстро кружатся въ умѣ моемъ. Съ весельемъ и надеждою ведутъ онѣ меня въ домъ моей возлюбленной.

Собаки лаютъ; служители выходятъ съ факелами. Я вбѣгаю по лѣстницѣ, гремя звонкими шпорами.

Въ комнатѣ, обложенной коврами и блистательно освѣщенной, въ теплой и благоговенной атмосферѣ ждетъ меня моя милая. Я бросаюсь къ ея ногамъ.

Вѣтеръ шепчетъ въ листьяхъ, дубъ колышетъ своими вѣтвями; они говорятъ мнѣ: «Сумасбродный рыцарь. Чтò за глухой у тебя сонъ?»

L.

Звѣзда сорвалась съ блистательнаго свода. Это падаетъ звѣзда любви.

Съ яблони летятъ на землю бѣлые листки. Порывистые вѣтры уносятъ ихъ, играя съ ними.

Лебедь поетъ въ прудѣ. Онъ-то приближается къ берегу, то удаляется отъ него. Пѣсня его становится все тише и тише. Онъ погружается въ влажную свою могилу.

Все вѣкругъ спокойно и мрачно; цвѣты и листья разнесены вѣтромъ. Падающая звѣзда печальна въ своемъ паденіи, — и лебединая пѣсня умолкла.

II.

Я во снѣ перенесся въ огромный замокъ, наполненный свѣтомъ и волшебными парами. Разряженная толпа гуляла по лабиринту комнатъ. Бѣдная эта толпа ломала себѣ руки съ криками отчаянiя: она отыскивала дверь выхода. И рыцари и дамы были смѣшаны въ этой печальной толпѣ. Я самъ былъ увлеченъ ею.

Вдругъ я очутился оди́въ, — и спрашивалъ себя: Куда же такъ скоро исчезло это множество народа? Быстро побѣжалъ я по заламъ, которыя страннымъ образомъ перемѣшались. Ноги мои были какъ-бы налиты свинцомъ; смертельная тоска сжимала мое сердце. Я уже отчаялся найти выходъ. Наконецъ достигъ я до послѣдней двери, хотѣлъ отпереть ее.... Кто препятствуетъ моему выходу?

Моя любезная стоитъ у дверей: досада на губахъ ея, забота на челѣ. Я принужденъ былъ отступить. Она мнѣ дѣлала знакъ рукою. Я не звалъ: предостерегала-ли она меня, или упрекала. Въ глазахъ ея блистало однако же такое пламя, отъ котораго затрепетало мое сердце. Странно и сурово, но однако же съ любовiю смотрѣла она на меня.... и я проснулся.

III.

Ночь была холодна и безмолвна. Я печально ѣхалъ по лѣсу. Я разбудилъ деревья отъ сна, въ которыхъ они были погружены, — и они съ состраданiемъ кивали мнѣ своими головами.

IV.

На перекресткѣ похоронены тѣ, которые умерли отъ самоубiйства. Тамъ распустился голубой цвѣтокъ. Его называютъ цвѣткомъ погибшихъ душъ.

Я остановился на перекресткѣ — и вздохнулъ. Ночь была холодна и безмолвна. При свѣтѣ луны цвѣтокъ этотъ тихо колыбался.

V.

Густой мракъ окружаетъ меня съ-тѣхъ-поръ, какъ свѣтъ очей твоихъ не озаряетъ меня, моя возлюбленная.

Для меня погасло уже тихое блистанiе звѣзды любви. Бездна разверзается подъ мои́ми ногами. Поглоти меня, вѣчная ночь.

VI.

Ночь покрывала глаза; свинецъ лежалъ на устахъ; сердце и голова мои оледенѣли: я лежалъ въ гробѣ.

Не знаю, долго-ли я спалъ сномъ смерти, вдругъ я проснулся. Мнѣ казалось, что кто-то стучитъ въ мою гробницу.

— Развѣ ты не хочешь вставать, Генрихъ?

— Я не могу встать, моя милая. Я все еще слѣпъ. Я такъ много плакалъ, что выплакалъ глаза мои.

— Я хочу поцѣлуями моими, Генрихъ, возвратить тебѣ зрѣніе. Надобно, чтобъ ты видѣлъ всѣ радости нашей жизни.

— Я не могу встать, моя милая. Сердце мое все еще обливается кровью отъ одного сказаннаго тобою слова.

— Я положу мою руку на твое сердце, Генрихъ, — и рана заживетъ.

— Я не могу встать, моя милая. Голова моя истекаетъ кровію. Я прострѣлилъ ее пулею въ ту минуту, какъ ты была похищена у меня.

— Локоньки волосъ моихъ остановить теченіе крови, — и голова твоя будетъ исцѣлена. . .

Умоляющій голосъ былъ такъ кротокъ и пріятенъ, что я не могъ противиться, хотѣлъ встать и идти къ моей любезной. . .

Вдругъ рана моя раскрылась; кровь сильно хлынула изъ головы и изъ груди. . . и я проснулся.

ЭПИЛОГЪ.

Надобно похоронить старья и дурныя пѣсни, печальные и тяжелые сны. Принесите мнѣ большой гробъ.

Посмотрите, какъ я его наполню. Надобно, чтобъ гробъ былъ больше громадной гейдельбергской бочки.

Надобно, чтобъ доски были толсты и крѣпки и чтобъ они были длиннѣе майнцаго моста.

Приведите мнѣ двѣнадцать великановъ.

Надобно, чтобъ они снесли этотъ гробъ и бросили его въ море. Такому большому гробу нужна обширная могила.

Знаете-ли, къ чему нужно, чтобъ гробъ былъ великъ и тяжелъ? Я сложу туда и любовь мою и страданія?

Послѣ этой печальной поэмы, что еще привести изъ новѣйшихъ стиховъ. Всѣ пьесы этого поэта одушевлены чувствомъ, любовью и юмористикою. Иногда безпечныя рифмы его брошены на вѣтеръ. Въ романахъ, балладахъ, канцонахъ, южное солнце пробивается въ тысячѣ отбѣнкахъ сквозь балтійскіе туманы. Но послѣ печальной элегии, которую мы перевели вполнѣ, — послѣ каждаго стиха, обогрѣннаго кровію страдальца-поэта, выставляющаго свои страданія напоказъ равнодушной толпѣ, что извлечь еще изъ этихъ страницъ, наполненныхъ то печальными жалобами, то горькими насмѣшками. Возьмемъ, напримеръ, загадку, предлагаемую блѣднымъ сфинксомъ въ предисловіи къ Traumbilder (Картины во снѣ).

СФИНКСЪ.

Вотъ древній очарованный лѣсъ. Воздухъ наполненъ благоуханіемъ

цвѣтущихъ липъ. Удивительный блескъ луны наполняетъ сердце мое восторгомъ.

Я шелъ, — и вдругъ услышалъ въ воздухѣ звуки. Это была пѣсня соловья. Онъ пѣлъ о любви и о страданіяхъ любви.

Онъ пѣлъ и любовь свою; и горе, и слезы, и улыбки. Веселье его такъ печально, печаль его такъ весела, что забытые мои сны пробуждаются.

Я пошелъ дальше, — и вдругъ передо мною въ просѣкѣ явился большой замокъ съ высокою крышею.

Окна были занерты. Все вокругъ обнаруживало печаль и уныніе. Казалось, что сама смерть живетъ въ этихъ печальныхъ стѣнахъ.

У воротъ стоялъ сфинксъ страшной и привлекательной наружности. Тѣло его и когти были львиныя; голова и грудь женскія.

Прелестная женщина!

Соловей пѣлъ такъ очаровательно. Я не могъ противиться, — и едва прикоснулся устами моими къ этой таинственной красавицѣ, какъ волшебное обаяніе покорило меня.

Мраморная фигура ожила. Камень началъ вздыхать. Онъ жадно поглотилъ весь пламень моего поцѣлуя.

Онъ вдохнулъ въ себя почти все до послѣдняго вдоха моей жизни, — и наконецъ съ трепетомъ восторга обхватилъ и разорвалъ львиными когтями мое бѣдное тѣло.

Сладостное мученіе, болѣзненное наслажденіе, безконечное удовольствіе и страданіе! Въ то самое время, какъ поцѣлуи этихъ прелестныхъ устъ очаровывали меня, когти терзали мою грудь.

Соловей запѣлъ. О прекрасный сфинксъ, о любовь! Зачѣмъ при-мѣшиваешь ты столько мучительныхъ страданій ко всѣмъ твоимъ наслажденіямъ?

О прелестный сфинксъ! о любовь! открой мнѣ ужасную тайну. Я уже около тысячи лѣтъ думаю объ этой загадкѣ.

Первый сонъ похожъ на обманчивый запахъ ядовитыхъ цвѣтовъ, дающихъ смерть вмѣстѣ съ благоуханіемъ. Венера-Либитина посылными губами даетъ послѣдній поцѣлуй поэту.

СОНЪ.

Странный сонъ очаровалъ меня и напугалъ. Печальные видѣнія все еще носятся передо мною и заставляютъ трепетать мое сердце.

Это было въ прекрасномъ саду. Я хотѣлъ прогуляться въ немъ. На меня смотрѣло столько прелестныхъ цвѣтовъ, — и я глядѣлъ на нихъ съ удовольствіемъ.

Птицы распѣвали нѣжныя мелодіи. Красное солнце свѣтило на золотомъ горизонтѣ и озаряло цвѣтущій дернъ.

Благоуханія поднимались отъ травъ. Воздухъ былъ тихъ и прія-

тень. Все улыбалось, все радовалось, все приглашало насладиться великолѣпіемъ природы.

Посреди цвѣтника билъ свѣтлый мраморный фонтанъ. Тамъ молодая прелестная дѣвушка мыла бѣлье.

Щеки у нея розовыя, глаза ясныя, завитая головка похожа на картины Рафаэля. Я смотрѣлъ на нее и чувствовалъ, что хотя она была мнѣ вовсе незнакома, но я все-таки очень хорошо зналъ ее.

Дѣвушка спѣшила своею работою и припѣвала странную пѣсню: «Теки, теки, фонтанъ, — и вымой мнѣ скорѣе эту льняную ткань».

Я подошелъ къ дѣвущкѣ и тихо шепнулъ: «Скажи мнѣ, красавица, для кого эта бѣлая одежда?»

И она отвѣчала мнѣ: «Будь готовъ; я мою твой саванъ». Едва она успѣла сказать это, какъ видѣніе исчезло.

Волшебствомъ перенесенъ я былъ вдругъ въ глубину темнаго лѣса. Деревья поднимались къ облакамъ. Я былъ удивленъ, — и задумался.

Но что за глухой звукъ раздается вокругъ меня? Это стук топора въ отдаленіи. Я побѣжалъ между кустами и пришелъ къ открытому мѣсту.

Въ просѣкѣ стоялъ огромный дубъ, — таинственная моя красавица рубила топоромъ стволъ дуба.

И при каждомъ ударѣ топора припѣвала она: «Свѣтлая сталь, ясная сталь, вырubi мнѣ доски для гроба».

Я подошелъ къ ней и тихо спросилъ: «Скажи мнѣ красавица, на что ты рубишь этотъ дубъ?»

И она отвѣчала мнѣ: «Время дорого, время близко! Я приготавливаю твой гробъ». Сказавъ это, видѣніе исчезло, какъ пѣна.

Вокругъ меня была голая и обширная долина. Я не понималъ что случилось со мною. Я стоялъ неподвижно и дрожалъ. Потомъ пошелъ безотчетно впередъ, и увидѣлъ бѣлый призракъ. Я побѣжалъ къ нему: это была опять моя дѣвушка. Она склонилась къ землѣ и рыла ее заступомъ. Я тихо подошелъ, взглянуть на нее. Это была красавица — и вмѣстѣ съ тѣмъ страшилище.

Спѣша своею работою, она припѣвала странную пѣсню: «Заступъ, заступъ, съ широкимъ и острымъ желѣзомъ, вырой мнѣ поскорѣе широкую и глубокую яму».

Я тихо подошелъ къ ней и спросилъ: «Скажи мнѣ, милая дѣвушка, на что эта яма?» И она мнѣ отвѣчала: «Будь спокоенъ! Я копаю твою могилу». При этихъ словахъ могила раскрылась глубоко и широко.

Я взглянулъ туда; трепеть пробѣжалъ по мнѣ, — я почувствовалъ, что кто-то столкнулъ меня въ темную, гробовую ночь.»

У современнаго поэта — природа всегда на первомъ планѣ. Во время самыхъ отвлеченныхъ мечтаній, въ порывахъ самой сильной страсти, въ самой отчаянной меланхоліи, вы безпрестанно видите картины голубаго неба, свѣтлой зелени, распустившихся цвѣтовъ, бла-

гоухаши, летящей птички, шумъ волнъ и вѣчный ландшафтъ человеческой драмы. Эта восторженная любовь къ природѣ, несмотря на свой эгоизмъ, придаетъ воображенію поэта величіе и простоту, какія рѣдко встрѣчаются у писателей элегій. Въ *Интермедіи* страданія души и тѣла взяты прямо изъ сердца. Какъ читатель любить и ненавидитъ эту дѣвушку, злую и прекрасную. «Свѣтъ говорить, что ты зла, — восклицаетъ поэтъ, но развѣ отъ этого пощѣлуй твои не такъ пріятны?» Кто бы не захотѣлъ такъ страдать? Безчувственность, — вотъ истинное мученіе! Кто чувствуетъ какъ течетъ изъ раны кровь его, — тотъ еще живетъ.

Поэтъ не увлекается очарованіями. Онъ понимаетъ женщину такую, какова она на самомъ дѣлѣ, и любитъ ее, несмотря на ея недостатки, и даже, можетъ-быть, за эти самые недостатки. Счастливъ ли онъ будетъ, или несчастливъ; примутъ ли его любовь, или отвергнутъ, онъ знаетъ, что все-таки надобно страдать, — и не отказывается отъ страданій. Онъ придаетъ ей когти льва и злость химеры. Это чудовище иногда очаровательно, но оно все-таки чудовище. Оттого-то во всѣхъ его стихахъ замѣтенъ тайный страхъ. Розы его пахучи, дернъ свѣжъ, соловей поетъ сладко, — но все это опасно. Благовоніе удушливо; дернъ прикрываетъ могилу, птица умираетъ съ послѣднимъ звукомъ своей пѣсни.

Мы боимся, чтобы поэтъ не сказалъ также послѣдняго прости землѣ и поэзіи, чтобы звучныя пѣсни его также не были послѣдними... Мы увѣрены, однакоже, что имя его не умретъ вмѣстѣ съ нимъ, и что не въ одной Германіи будутъ перечитывать съ наслажденіемъ пѣсни великаго германскаго поэта...

ТЕАТРЫ, МУЗЫКА, ИСКУССТВА.

Сингъ-Сонгъ театръ въ Китаѣ. — (*Изъ путешествія по Китаю*). Однажды утромъ Айанъ вошелъ въ мою комнату раньше обыкновеннаго. Онъ былъ одѣтъ великолѣпно, весь въ новомъ шелковомъ платьѣ. Онъ съ необыкновенною поспѣшностью подалъ мнѣ чашку чаю. Глаза его блестяли отъ нетерпѣнія, блѣдно-желтый цвѣтъ лица превратился въ оранжевый, и ротъ поминутно открывался. Видно было, что мой прислужникъ собрался и не смѣлъ сказать мнѣ что-то важное.

— Что новаго, Айанъ, спросилъ я?

— Онъ отвѣчалъ мнѣ на своемъ англо-португальско-китайскомъ нарѣчій нѣсколько фразъ, въ которыхъ поминутно повторялъ слово *Сингъ-Сонгъ*. Я догадался, что слово это заключаетъ что-нибудь важное, но слышалъ его въ первый разъ.

— Что значитъ Сингъ-Сонгъ!

— Сингъ-Сонгъ, Сингъ-Сонгъ... бормоталъ молодой китаецъ, краснѣя, вертя между пальцами свою косичку и обдумывая, какъ-бы мнѣ объяснить то, чего я не понималъ.

Въ моихъ путешествіяхъ, когда я не понималъ туземнаго нарѣчія, то прибѣгалъ всегда къ жестамъ и пантомимамъ, и разговаривалъ на этомъ первобытномъ языкѣ. Въ Китаѣ мнѣ каждый день надобно было употреблять телеграфическую жестикуляцію, потому-что я поминутно слышалъ новыя слова, которыхъ не понималъ.

Айанъ началъ объяснять, что онъ проситъ у меня позволенія отлучиться на цѣлый день по случаю Сингъ-Сонга, что онъ увидитъ и услышитъ Сингъ-Сонгъ, и будетъ очень несчастливъ, если не пойдетъ въ Сингъ-Сонгъ.

Эти два несносныя слога звенѣли въ моихъ ушахъ какъ колокольчики, и я начиналъ терять терпѣніе. Наконецъ, я объявилъ моему китайскому служителю, что отпущу его непрежде, какъ онъ мнѣ объяснитъ, что такое Сингъ-Сонгъ.

Тогда Айанъ, видя, что отъ меня трудно отдѣлаться, и боясь опоздать, началъ дѣйствовать жестами. Онъ отошелъ отъ меня на нѣсколько шаговъ и заплѣлъ китайскую пѣсню; потомъ началъ что-то декламировать и обращаться къ невидимымъ персонажамъ; потомъ забѣгалъ, запрыгалъ по комнатѣ, ломаясь и дѣлая уморительныя па съ такою легкостію и проворствомъ, какого я и не подозрѣвалъ въ неповоротливомъ китайцѣ. Потомъ остановился передо мною и поклонился со всею скромностію великаго артиста, сказавъ опять «Сингъ-Сонгъ.»

Мудрено было не понять, что Сингъ-Сонгъ значитъ *театръ*. Въ благодарность за урокъ, я отпустилъ Айана, и самъ пошелъ узнавать, что за празднество въ городѣ. Скоро узналъ я, что дѣйствительно корпорація *компрадоровъ* даетъ представленіе на островѣ Лаппа. У китайцевъ очень мало праздниковъ въ году, но часто случается, что какое-нибудь общество даетъ публичный праздникъ въ честь какого-нибудь счастливаго событія, или просто съ спекулативною цѣлью. Я попросилъ компрадора нашего дома оставить мнѣ мѣсто и пошелъ вслѣдъ за Айаномъ.

Надобно было переходить мостъ, ведущій на островъ Лаппа, и такъ какъ на немъ была тѣснота, то лодочники воспользовались этимъ и начали перевозить публику на своихъ маленькихъ *челночкахъ*. Всѣ спѣшили на праздникъ, увѣряя, что компрадоры ничего не пожалѣютъ, чтобъ развеселить публику, а потомъ пополнять свои кошельки, обманывая европейцевъ. Я помѣстился въ одной лодкѣ съ нѣсколькими негодянтами, и черезъ десять минутъ былъ уже на другомъ берегу.

Всю дорогу меня занимала одна мысль: гдѣ дадутъ представленіе? На островѣ Лаппа только одно небольшое селеніе, холмы и поля съ рисомъ. Два дни тому назадъ я обходилъ весь островъ, и не замѣтилъ на немъ ни одного зданія, удобнаго для театра. Вообразите же мое удивленіе, когда я, выйдя на берегъ, увидѣлъ огромное квадратное строеніе, которое, казалось, выросло въ одну ночь, какъ въ арабскихъ сказкахъ.

И въ-самомъ-дѣлѣ, сотня китайцевъ выстроила въ двадцать-четыре часа изъ бамбука и цыновокъ настоящій театръ, который могъ помѣстить нѣсколько тысячъ зрителей. Послѣ представленія его разберутъ и уберутъ также скоро, какъ мы разбираемъ карточные домики.

Внутренность залы была раздѣлена на три части: сцена была на возвышеніи, потомъ партеръ, куда публика впускалась даромъ, и наконецъ, галерея выше партера, гдѣ платили за мѣста нѣсколько *сапекъ*.

Мнѣ было оставлено мѣсто, отгороженное отъ галереи и прямо противъ сцены, гдѣ поставлены были даже стулья для европейцевъ. Во всей остальной галереѣ и въ партерѣ зрители стояли.

Когда я вошелъ, зала была уже полна. Особенно любопытно было изъ моей ложи смотрѣть въ партеръ. Я видѣлъ только мозанку голыхъ головъ, на которыхъ торчалъ конецъ заплетенной косички, и бѣлая часть зрителей держалась за косу сосѣда, для того-ли, чтобъ не потерять товарища, или чтобъ удержаться за что-нибудь, когда новые посетители проталкивались безъ церемоніи впередъ. Несмотря однако на многочисленную толпу, не было въ театрѣ не только шуму, но даже говора. Всѣ молчали и съ нетерпѣніемъ смотрѣли на сцену.

Влѣво, на самой сценѣ, помѣщался оркестръ на небольшой эстрадѣ. Онъ состоялъ изъ двухъ-струнной скрипки, флейты, барабана, тамтама, тарелокъ и костянаго круга, по которому бьютъ двумя крѣпкими деревянными палочками. Актеры занимали остальную сцену, на которой не было никакихъ декораций. Оканчивали какую-то драму, которая, по словамъ моихъ сосѣдей, очень понравилась. Я приготовился слушать со вниманіемъ слѣдующую пьесу, а между-прочимъ началъ собирать свѣдѣнія объ актерахъ и сценѣ Китая. По счастью, возлѣ меня сидѣлъ англичанинъ, который давно уже жилъ въ Макао и видѣлъ много подобныхъ представленій.

— Въ Китаѣ нѣтъ постоянныхъ театровъ, какъ въ Европѣ, сказалъ онъ. Въ большихъ городахъ построено нѣсколько залъ для представленій всякаго рода, но эти залы рѣдко открываются для публики. Въ домахъ богатыхъ мандариновъ есть театры, на которыхъ играютъ пьесы по праздникамъ, и въ Кантонѣ вы можете попасть въ такіе спектакли. Въ маленькихъ же городахъ и селеніяхъ происходитъ тоже, что и здѣсь. Построятъ въ одни сутки театръ изъ бамбука и цыновокъ, и потомъ уберутъ его до слѣдующаго праздника. Актеры же странствуютъ труппами по провинціи, и останавливаются на время тамъ, гдѣ ихъ приглашаютъ. У каждой труппы свой репертуаръ, свои костюмы, свой арсеналъ и коллекція париковъ и усовъ. Китайскіе актеры играютъ всѣ возможные сочиненія: комедіи, трагедіи, фарсы, и показываютъ фокусы. Благодаря безчисленнымъ каналамъ, эти труппы легко и безъ издержекъ переѣзжаютъ изъ одного города въ другой на большой лжонкѣ, въ которой живутъ всѣ артисты. Театръ совершенно свободенъ и надъ нимъ нѣтъ никакого присмотра. Народъ забавляется отъ души, и никто не мѣшаетъ его увеселеніямъ. Притомъ же сюжеты берутся бѣльшею частію изъ исторіи древнихъ династій. Китайскій репертуаръ очень богатъ. Вы увидите здѣсь мелодрамы съ ужасными эффектами, и фарсы, которые чрезвычайно нравятся толпѣ. На частныхъ театрахъ у мандариновъ играютъ благородныя комедіи, которыя бѣльшею частію переданы европейскими учеными... Но вотъ

начинается новая пьеса. Слушайте, и вы поймете китайскую драматургию скорѣе, чѣмъ изъ моихъ разсказовъ.

Раздались крики: Ая! Ая! Часть партера ушла, и тотчасъ же явились новые зрители. На сценѣ всѣ актеры ушли въ одну сторону, а съ противоположнаго конца явился артистъ въ богатой одеждѣ.

— Развѣ не будетъ антракта? спросилъ я моего чичероне.

— Для чего антракты, когда нѣтъ декораций, и даже завѣсы. Китайцы не дошли до такихъ утонченностей: у нихъ, когда одна пьеса кончится, тотчасъ начинается другая. Только переменятъ надпись на двухъ концахъ сцены, чтобъ зрители видѣли заглавіе пьесы.... Слушайте теперь, актеръ читаетъ прологъ.

Въ-самомъ-дѣлѣ, господинъ въ великолѣпной одеждѣ началъ что-то въ родѣ речитатива, съ акомпаниментомъ оркестра, стараясь ясно и громко выговаривать слова. Прологъ считается самою важною частію въ драмѣ, потому-что объясняетъ весь сюжетъ пьесы. Это напоминало мнѣ прологи Плавта и Теренція, въ которыхъ актеръ говорилъ, выходя на сцену: Я Орестъ, или Агамемнонь, и скажу вамъ для чего пришелъ. Эти прологи доказываютъ младенчество искусства, но они очень удобны для объясненія, а главное для начала пьесы. Китайцы остановились на этой точкѣ искусства, и не могли даже выдумать *наперсника*, которому можно было бы разсказать весь ходъ пьесы.

Послѣ пролога началась драма. На сцену вышла толпа актеровъ, и раздѣлилась на двѣ части, оставя на срединѣ мѣсто для главныхъ персонажей.

Меня поразила роскошь костюмовъ. Почти всѣ актеры были въ богатыхъ шелковыхъ платьяхъ, вышитыхъ шелкомъ и золотомъ. Прически и форма костюмовъ не походили на нынѣшніе, потому-что дѣйствіе происходило при древнихъ династіяхъ, и я безъ преувеличенія могу сказать, что гардеробъ странствующей труппы нисколько не хуже и не бѣднѣе костюмовъ европейскихъ театровъ.

Теперь мнѣ предстоитъ разсказать сюжетъ пьесы, или написать фельетонъ Сингъ-Сонга. Я очень мало понималъ по-китайски, но несмотря на множество дѣйствующихъ лицъ, ца пѣнье и танцы, успѣлъ разобрать слѣдующее: У короля была дочь, разумѣется, красавица, и у ней было множество жениховъ, принцевъ, которые пришли съ многочисленною свитою искать руки принцессы, кто изъ любви, а кто изъ честолюбія.

Вы находите, можетъ-быть, что планъ этотъ очень простъ, и что въ немъ нѣтъ ничего оригинальнаго, или китайскаго. Я согласенъ съ этимъ, но вообразите себѣ дѣйствующихъ лицъ въ китайскихъ костюмахъ, и картина будетъ очень любопытна.

Я замѣтилъ также, что у главнаго лица была страсть говорить рѣчи народу, воинамъ, придворнымъ, кому ни пошло. Иногда оркестръ аккомпанировалъ его словамъ, потомъ мандарины отвѣчали ему хоромъ. Наконецъ вышла на сцену дочь короля, и публика затихла. Актриса была прекрасно одѣта въ шелковомъ вышитомъ платьѣ. Черные волосы зашпилены золотыми булавками, на рукахъ и на ногахъ золотые

браслеты; станъ ея качался на крошечныхъ ножкахъ, такъ, что ее поддерживали съ обѣихъ сторонъ двѣ придворныя дамы, неся ея вѣрть и зонтикъ. Сколько я могъ рассмотреть, принцесса была молода и хороша. Сосѣдь спросилъ меня:

— Что вы думаете объ этомъ этомъ дѣйствующемъ лицѣ?

— Я думаю, что эта очень хорошенькая принцесса.

— Эта принцесса—простой Китаецъ.

— Можетъ ли это быть!

— Это вѣрно, потому—что въ Китаѣ женщины никогда не выходятъ на сцену, и всѣ женскія роли играютъ мужчины.

— Помилуйте, но развѣ можно такъ хорошо костюмироваться. Я понимаю, что у актрисы фальшивые волосы и многое другое. Но какъ вы мнѣ объясните эти микроскопическія ножки. Неужели изъ любви къ искусству, китайцы рѣшаются ломать себѣ ноги! Я готовъ спорить, что передъ нами женщина, и еще хорошенькая.

— А я увѣряю васъ, что это мужчина. Послушайте теперь, какъ онъ поетъ.

Скрипка о двухъ струнахъ проиграла ригурнель, и принцесса запѣла чистымъ и пріятнымъ голосомъ грустный мотивъ. Признаюсь, что въ эту минуту даже китайская музыка показалась мнѣ гармоническою, и я никакъ не могъ увѣрить себя, что этотъ чудный голосъ, эта грація и красота принадлежали мужчинѣ, и еще китайцу.

Когда ушла молодая дѣвушка, сцена опять наполнилась актерами, и начался страшный шумъ. Кажется, женихи принцессы не на шутку ссорились.

— Замѣчайте подробности, сказалъ мнѣ сосѣдь. Видите ли вы, что актеръ несетъ въ рукахъ маленькую джонку и бѣгаетъ по сценѣ. Это посланникъ короля ѣдетъ на корабль далеко за моря. Теперь онъ вернулся съ отвѣтомъ, и король въ награду дѣлаетъ его мандариномъ. Китайцы очень любятъ подобныя путешествія на сценѣ. Это ихъ забавляетъ, и они не понимаютъ, чтобъ можно было представить ихъ иначе.

— Китайцы не знаютъ Аристотеля и его трехъ правилъ, отвѣчалъ я англичанину. Впрочемъ, несмотря на недостатокъ аксессуаровъ, драма можетъ быть хороша. Посмотрите, вотъ опять выходитъ король съ войскомъ. Они вынимаютъ сабли. Вѣрно начнется сраженіе. Отчего только у отряда, который стоитъ налѣво, между ногъ большія палки? Это совсѣмъ не красиво.

— Это изображаетъ храбрую кавалерію, и здѣсь дубины играютъ такую же роль, какъ джонка въ рукахъ посланника.

— Признаюсь, я не полагалъ, что увижу войну на китайской сценѣ. Кажется, что дѣти Небесной Имперіи не заслужили репутацію храброго народа.

— Китайцы были когда-то храбры и дрались очень много, потому-то во всѣхъ пьесахъ стариннаго репертуара есть сраженія и храбрые герои. Теперь посмотрите, какъ ловко маневрируетъ кавалерія верхомъ на деревянныхъ палкахъ. Вотъ современная храбрость китайцевъ!

Меня удивила необыкновенная ловкость и смѣлость, съ какою теат-

ральные воины махали шпагами, отражали удары, вертѣлись и ломались съ дубинами между ногъ и дѣлали такія гимнастическія штуки, какимъ позавидовалъ бы первый клоунъ. Партеръ хохоталъ громко, и безъ сомнѣнія, эта сцена понравилась ему больше всей пьесы. Надобно замѣтить, что китайскіе авторы всегда вводятъ въ свои драмы фарсы, фокусы, и гимнастическія упражненія. Во Франціи Оріоль ходитъ по бутылкамъ, и публика хохочетъ и хлопаетъ. Китайцы гораздо взыскательнѣе. Они потребовали бы, чтобъ Оріоль имѣлъ причину ходить по бутылкамъ и чтобъ всѣ дѣйствія его были сообразны съ ходомъ пьесы. Вообще китайцы очень любятъ комическій родъ, и во всѣхъ пьесахъ ихъ есть комическое лицо.

Послѣ сраженія пришелъ король и отдалъ руку дочери тому принцу, который побѣдилъ соперниковъ; потомъ всѣ актеры сошли со сцены, и новая надпись объявила, что начинается другая пьеса.

Во всѣхъ прочихъ драмахъ встрѣчаются одни и тѣже характеры, то-есть смѣсь патетическаго и смѣшнаго, и все это играется тѣми же актерами и съ авомпанimentoмъ того же оркестра. Въ Китаѣ очень мало разнообразія. Цѣлые четыре часа я наслаждался Сингъ-Сонгомъ, и наконецъ не могъ больше выдержать, и вышелъ изъ галереи вмѣстѣ съ моимъ сосѣдомъ англичаниномъ.

— Развѣ вы уходите? сказала мнѣ компрадоръ, встрѣтившійся у театра. Такъ рано!

— Съ меня довольно и этого, отвѣчалъ я, пора обѣдать.

— Ая! Вы не увидите самой лучшей пьесы... превосходную драму изъ династїи Мингъ, съ великолѣпными костюмами, охотою, войною. Тутъ явятся новые актеры, и оркестръ будетъ удвоенъ. Эта драма будетъ продолжаться три часа, и публика будетъ въ восторгѣ. Въ Макао не видали еще такой пьесы.

Несмотря на эти заманчивыя обѣщанія, я ушелъ изъ Сингъ-Сонга.

— Вы хорошо сдѣлали, что не остались, сказалъ англичанинъ. Сегодня вы довольно видѣли. Если же любопытство ваше не удовлетворено, то вы можете придти въ Сингъ-Сонгъ завтра, или послѣ завтра, Потому-что представленія продолжатся три дни и три ночи, и зала будетъ все-таки полна. Я совѣтую вамъ, впрочемъ, ограничиться сегодняшнимъ спектаклемъ, потому-что вы видѣли народную драму, и теперь вамъ стоитъ только посмотреть представленія у мандариновъ.

Я простился съ моимъ любезнымъ чичероне и пришелъ домой.

Аянъ вернулся только на другое утро. Онъ былъ до поздняго вечера въ Сингъ-Сонгѣ, и это его нисколько не утомило. Я спросилъ его о пьесѣ, которую мнѣ хвалилъ компрадоръ, и молодой китаецъ расхвалилъ мнѣ ее до такой степени, что я началъ даже сожалѣть, что ушелъ такъ рано. Я просидѣлъ въ Сингъ-Сонгѣ четыре часа, и китайцы находятъ, что это очень мало. Удивляюсь терпѣнію этого народа.

III. ОТКРЫТІЯ ВЪ НАУКАХЪ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Машины Эриксона. — Машины эти, въ которыхъ водяной паръ замѣненъ другимъ двигателемъ — нагрѣтымъ воздухомъ, обращаютъ теперь на себя вниманіе всего ученаго и промышленнаго міра. Изобрѣтатель ихъ, капитанъ шведской службы Эриксонъ, желая славу изобрѣтенія этого доставить своей родинѣ, обратился сначала къ шведскому правительству съ просьбою о пособіи, для приведенія идей своихъ въ исполненіе; но получилъ отказъ. Въ 1833 году снѣ явился въ Лондонъ со своею первою машиною (въ пять силъ), гдѣ и принять былъ съ большимъ участіемъ учеными людьми, каковы Фарадей и Юръ (Ure), — изъ которыхъ первый читалъ даже публичныя лекціи объ изобрѣтеніи Эриксона. Съ-тѣхъ-поръ, въ-теченіе двадцати лѣтъ, Эриксонъ построилъ болѣе тринадцати машинъ по своей системѣ; а наконецъ нью-іоркскіе купцы доставили ему средства приложить новыя машины къ мореплаванію. Подъ надзоромъ Эриксона, въ вилльямсбургскомъ докѣ, было построено 1г. Перринъ, Патерсонъ и Стакъ судно, приводимое въ движеніе машинами новаго устройства и названное, по имени изобрѣтателя этихъ машинъ, «Эриксонъ.»

Въ нынѣшнемъ году 11 января н. с. судно это, самое красивое изъ всѣхъ когда либо построенныхъ на верфяхъ Нью-Йорка, дѣлало уже вторую пробную поѣздку по нью-іоркской бухтѣ. По словамъ газеты New-York Independent, судно «Эриксонъ», по наружному виду совершенно похоже на обыкновенный пароходъ перваго класса; но превосходитъ изящною отдѣлкою паровыя пакетботы послѣдней постройки; оно имѣетъ гребныя колеса и оснащено такъ, что можетъ ходить подъ парусами. На верхней палубѣ судна находятся двѣ трубы, каждая въ тридцать дюймовъ въ діаметрѣ, идущія къ цилиндрамъ, и двѣ другія, того же діаметра, какъ и первыя, служащія для выпуска нагрѣтаго воздуха изъ машиннаго отдѣленія. Возлѣ этихъ трубъ помѣщены вентиляторныя приборы, отъ которыхъ проведены трубы въ самый низъ судна, для доставленія туда свѣжаго воздуха, въ замѣнъ того, который расходуется на горѣніе топлива въ печахъ. Такое расположеніе трубъ не позволяетъ машинному отдѣленію нагрѣваться, какъ это бываетъ на пароходахъ, до степени, утомительной для прислуги, и способствуетъ оживленію внутренности всего судна.

Размѣры главнѣйшихъ частей судна и машины слѣдующія:

Длина	250 фут.	»	дюйм.
Ширина по бимсамъ	40 —	»	—
Глубина трюма	26 —	6	—
Діаметръ главныхъ цилиндровъ машины (рабочихъ).	14 —	»	—
— — — снабжающихъ цилиндровъ (Supply-Cylinders).	11 —	5	—
Длина хода поршней	6 —	»	—
Діаметръ гребныхъ колесъ	32 —	»	—
Вмѣстимость	1903 —	—	тонна.

Цилиндры машины поставлены въ одной линіи по длинѣ судна, на самой его срединѣ. Судно можетъ взять до 1400 тоннъ груза, или помѣстить 500 пассажировъ, для которыхъ каюты и залы отдѣланы и меблированы превосходно. На «Эриксонѣ» находятся также особыя небольшія отдѣленія, для нагрузки цѣнныхъ товаровъ.

Несмотря на то, что машина судна имѣла небольшіе недостатки, исправленіе которыхъ не представляетъ впрочемъ особыхъ затрудненій, Эриксонъ при второй пробной поѣздкѣ своей дѣлалъ отъ 9 до 10 миль, противъ вѣтра и течения.

Перейдемъ къ описанію устройства самыхъ машинъ Эриксона.

Машина состоитъ изъ рабочаго цилиндра, подъ которымъ расположенъ снабжающій цилиндръ, меньшаго діаметра въ сравненіи съ первымъ (воздушный насосъ); насосъ этотъ вдвухаетъ воздухъ, во-время дѣйствія машины, въ особый резервуаръ, изъ котораго идетъ труба въ регенераторъ, а оттуда въ рабочій цилиндръ. Поршни рабочаго и снабжающаго цилиндровъ соединены крѣпко стержнями. Всѣ эти главныя части машины сообщаются между-собою и разъединяются посредствомъ клапановъ. Топка находится подъ рабочимъ цилиндромъ. Чтобы пустить машину въ ходъ, надобно, затопивши печь, вдуть въ резервуаръ небольшое количество атмосфернаго воздуха, и открыть сообщеніе между резервуаромъ и рабочимъ цилиндромъ. Тогда воздухъ, проходя черезъ регенераторъ, войдетъ въ цилиндръ и подниметъ поршень его; а какъ поршни рабочаго и снабжающаго цилиндровъ соединены стержнями, то воздухъ, въ насосѣ находящійся, при движеніи поршня вверхъ, пойдетъ въ резервуаръ. Когда поршень достигнетъ высшей точки своего хода, тогда клапаны переменяютъ положеніе такъ, что воздухъ, нагрѣтый въ рабочемъ цилиндрѣ отъ прикосновенія къ горячему дну его и вытѣсняемый поршнемъ, опускающимся, въ слѣдствіе своей тяжести, почти до дна цилиндра, пойдетъ назадъ въ регенераторъ, а оттуда по трубѣ въ атмосферу. Когда клапаны придутъ въ первоначальное положеніе, тогда воздухъ снова изъ резервуара черезъ регенераторъ пойдетъ въ цилиндръ, и подниметъ поршень его, и т. д.

Чтобы предохранить поршни отъ всякаго нагрѣванія, ихъ дѣлаютъ въ видѣ ящичковъ, сверху плоскихъ, а внизу вогнутыхъ, и наполняютъ эти ящики гипсомъ и углемъ, какъ худыми проводниками теплорода. Такого устройства поршни при дѣйствіи машины очень мало нагрѣваются.

Дно рабочаго цилиндра, въ 1½ дюйма толщиною, выпукло, и эта выпуклость точно соотвѣтствуетъ вогнутости поршня. Колосники лежатъ ниже дна цилиндра на 5 фут., для того, чтобы дно не накаливалось. Дрова негодятся для топки при машинахъ Эриксона; антрацитъ и коксъ лучшіе матеріалы для этого.

Регенераторъ представляетъ самую замысловатую часть всего механизма, и Эриксонъ выдумалъ еѣ прежде другихъ. Регенераторъ состоитъ изъ коробки, въ которой положены одни на другіе куски металлической ткани, сдѣланной наподобіе частаго сита, или Девіевой лампы.

Проволока, изъ которой дѣлають ткань, имѣеть $\frac{1}{16}$ дюйма въ діаметрѣ. Воздухъ, нагрѣтый въ рабочемъ цилиндрѣ, входя въ регенераторъ, входитъ въ соприкосновеніе съ большою массою металлической ткани, передаетъ ей свою теплоту и выходитъ въ атмосферу только небольшимъ числомъ градусовъ теплѣ наружнаго воздуха. Холодный же воздухъ, изъ резервуара проходя въ цилиндръ черезъ регенераторъ, отнимаетъ у ткани почти всю теплоту и входитъ въ рабочій цилиндръ уже горячій, и слѣдовательно, чтобы этотъ горячій воздухъ довести до извѣстной высшей температуры, надобно дну цилиндра сообщить не нѣе значительное количество теплоты. И такъ регенераторъ есть запасная камера тепла для машины, что и доставляетъ удивительное сбереженіе топлива при машинахъ Эриксона въ сравненіи съ паровыми, гдѣ для каждаго удара поршня надобно образовать и израсходовать новый объемъ пара; потому-что паръ, произведшій дѣйствіе на поршень, выходитъ изъ цилиндра паровой машины, или въ холодильникъ, или въ атмосферу и въ обоихъ случаяхъ дѣлается бесполезнымъ для дѣйствія машины.

Чтобы еще болѣе объяснить дѣйствіе регенератора, мы напомнимъ нашимъ читателямъ о респираторѣ, который года два тому назадъ появился въ продажѣ у насъ, въ С. Петербургѣ. Небольшой инструментъ этотъ состоялъ изъ серебряной ткани, положенной въ два, три и такъ далѣе слоя и прикрѣпленной ко рту пациента, грудь котораго не могла выносить холоднаго зимняго воздуха. Этотъ респираторъ дѣлаетъ то, что больной постоянно дышетъ теплымъ воздухомъ.

Изъ этого краткаго описанія машины видно, что простое расширеніе воздуха отъ теплоты есть то начало, которымъ воспользовался Эриксонъ для приведенія своихъ машинъ въ движеніе.

Выгоды машинъ Эриксона передъ паровыми слѣдующія:

1. Опыты показали, что самая выгодная температура, до которой воздухъ долженъ быть нагрѣтъ внутри рабочаго цилиндра, есть 384° по Фаренг., что соотвѣтствуетъ давленію 12 фунтовъ на одинъ квадратный дюймъ, или нѣсколько болѣе давленія одной атмосферы. Чтобы въ теченіе 24 часовъ поддержать температуру воздуха въ цилиндрѣ постоянно на 384° , на суднѣ Эриксонъ расходовалось только шесть тоннъ антрацита; а обыкновеннаго устройства пароходъ такой же величины, какъ Эриксонъ (600 силъ), употребилъ бы въ тоже время отъ 40 до 50 тоннъ. И такъ машины Эриксона истребляютъ въ восемь разъ менѣе топлива, нежели пароходы (по другимъ извѣстіямъ даже въ-десятеро менѣе) и слѣдовательно, суда, приводимые въ движеніе этою машиною будутъ имѣть возможность совершать продолжительныя плаванія, (напримѣръ изъ Вальпарайзо въ Кантонъ), не заходя за топливо на какой-нибудь островъ, часто лежащій въ сторонѣ отъ главнаго пути. Корабль, идущій изъ Бремена въ Австралію, можетъ взять съ собою топлива на весь путь туда и обратно, не стѣсня пространства, назначеннаго для путешественниковъ и товаровъ.

2. По словамъ Эриксона, машины его стоятъ $\frac{1}{3}$ дешевле паровыхъ.

3. Машина Эриксона занимаетъ менѣе мѣста, и для нея достаточно одного кочегара, который одинъ разъ въ часъ обязанъ только подложить топлива въ печь. Инженеру при ней мало занятій, по легкости ухода за машиной.

4. Котловъ при машинѣ нѣтъ, и слѣдовательно опасность отъ взрыва не существуетъ. При разстройствѣ механизма, или при плохомъ смотрѣніи за машиной, она сама остановится. Машину можно остановить и по произволу, посредствомъ особаго устройства, которое даетъ возможность закрывать клапаны прежде, нежели совершится полный подъемъ поршня.

5. Перебѣну котловъ при паровыхъ машинахъ необходимо производить довольно часто; а это въ большихъ пароходахъ составляетъ издержку до 40,000 долларовъ въ 4 года. — При машинахъ Эриксона такого расхода нѣтъ, да и вообще, по простотѣ устройства ихъ, ремонтъ менѣе, нежели при паровыхъ.

Что касается до силы машинъ, то поршень рабочаго цилиндра на суднѣ Эриксонъ имѣетъ площадь въ 22,000 кв. дюймовъ, и слѣдовательно, при давленіи 10 фунт. на кв. дюймъ машина даетъ 220,000 механической силы. — Увеличивъ діаметръ рабочаго цилиндра (напримѣръ до 20 фут.), получимъ машину весьма сильную — Эриксонъ устраивалъ также машины съ цилиндромъ въ $\frac{1}{2}$ фута въ діаметрѣ, что доказываетъ возможность приложенія начала расширенія воздуха отъ теплоты и въ маломъ видѣ.

При первыхъ опытахъ, машины Эриксона дали такіе выгодные результаты, что въ этомъ отношеніи на ряду съ ними нельзя поставить ни одного технического изобрѣтенія. — Что это новое приложеніе стараго, какъ міръ, начала будетъ имѣть огромное вліяніе на промышленность и породитъ множество новыхъ механизмовъ, это не подлежитъ сомнѣнію; оно покроетъ имя Эриксона славою, въ которой судьба отказала нѣмцу Пренъ (Prehn), шедшему независимо отъ Эриксона по одному пути съ нимъ, но, къ сожалѣнію, умершему, не кончивъ своей работы.

Въ февральской книгѣ «Морскаго Сборника» (1853 года), мы прочли, между-прочимъ, что 10 февраля въ С. Петербургѣ, въ присутствіи Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Константина Николаевича, была испытываема небольшая машина, дѣйствующая нагрѣтымъ воздухомъ и устроенная на заводѣ г. Нобеля. — Машина эта дѣйствовала удовлетворительно; она нѣсколько отличается отъ машинъ Эриксона расположеніемъ главныхъ частей своихъ: у нее насосъ (снабжающій цилиндръ) помещенъ на поршнѣ рабочаго цилиндра съ которымъ вмѣстѣ и движется; отъ этого машина занимаетъ еще менѣе мѣста.

IV. МЕЛКІЕ РАЗСКАЗЫ, НОВОСТИ, АНЕКДОТЫ, ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ.

Жизнь свѣтящагося червячка — (имъ самимъ описанная). — Когда и въ первый разъ увидѣлъ дневной свѣтъ, то помню, что качался на кончикѣ травки. Подо мною лежали развалины яйца, изъ котораго я вылутился. Подо мною колебались листья жимолости. Одинъ изъ этихъ листковъ сдѣлался съ кончикомъ травки, и я всползъ на жимолость. Вдругъ повѣявшій вѣтеръ такъ высоко поднялъ вѣтвь жимолости, что я увидѣлъ лазурь неба и заходящее солнце. Это зрѣлище было такъ неожиданно и ослѣпительно, что я почти безъ чувствъ упалъ въ чашечку полевой розы, въ которой съ трепетомъ спрятался.

Черезъ нѣсколько минутъ явились два зелененькіе червячка, приподняли лепестки, скрывавшіе меня, и объявили мнѣ, что это ихъ жилище и что я не имѣю права быть тутъ. Видя, что мнѣ не подъ силу бороться съ ними, я повиновался и поползъ вдоль по розѣ, надѣясь найти убѣжище на какомъ-нибудь изъ листковъ. Но и тутъ встрѣтилась со мною божья-коровка, и сказала, что эта роза давно уже ей принадлежитъ и что она только по особому договору пустила въ нее двухъ зеленыхъ червячковъ, но никого больше не потерпитъ на этомъ кустѣ.

Грустно потащился я внизъ по розѣ, чтобъ добрестъ кое-какъ до травы, но по дорогѣ встрѣтилъ множество зеленыхъ отвратительныхъ животныхъ, черезъ которыхъ долженъ былъ ползти и которыя этимъ были очень недовольны, такъ что старались страхнуть меня на землю. Мнѣ досадно было видѣть эти усилія, и чтобъ избавиться отъ этихъ животныхъ, я измѣрилъ глазами разстояніе, оставшееся до земли, и вдругъ спрыгнулъ на нее.

Какъ описать мой ужасъ! Я попалъ въ паутину огромнаго паука, и хотя при паденіи очутился на самомъ краю губительной ткани, но кровожадное животное тотчасъ же замѣтило меня. Только, видя мою невначущую и тощую фигуру, оно не торопилось оставить свои занятія. Паукъ дождавъ тогда за ужиномъ большую муху. Окончивъ это легкое блюдо, бросился онъ ко мнѣ, но въ нѣсколькихъ шагахъ остановился и посмотрѣлъ на меня. Ему, вѣроятно, не случалось еще ѣсть свѣтящихся червячковъ. Видъ паука былъ ужасенъ. Толстое брюхо, широкія плечи, длинныя лапы, ноги всѣ въ волосахъ и съ длинными когтями. Страхъ смерти сдѣлалъ меня совершенно неподвижнымъ, тѣмъ болѣе, что бѣгство было невозможно.

Вдругъ надъ головою моею раздался ужасный шумъ. Молодой слѣпень весело летѣлъ надъ паутиною, и будучи слишкомъ увѣренъ въ своей силѣ, вдумалъ прорвать эту сѣть. Со всего разлета бросился онъ головою въ паутину, и я обрадовался, надѣясь, что это посредничество спасетъ меня. Но при самомъ прикосновеніи слѣпня къ сѣти, паукъ уже налетѣлъ на него, — и между ними началось сильное сраженіе.

Съ ужасомъ смотрѣлъ я на это побоище, — и видѣлъ уже, какъ слѣпень начиналъ терять силы и готовъ былъ погибнуть. Неожиданная развязка прекратила этотъ бой. Шелъ мимо мальчикъ съ хлыстикомъ, и увидя двухъ гадкихъ животныхъ, смахнулъ ударомъ хлыста всю паутину, и раздавилъ ногою обоихъ сражавшихся.

При ударѣ въ паутину вылетѣлъ я изъ нея на траву, благодаря небо за чудесное избавленіе. Осмотрясь кругомъ, нашель я нѣсколько травныхъ сѣмянъ и поужиналъ. Встрѣтясь же съ большимъ обществомъ муравьевъ, я подружился съ нѣкоторыми изъ трудолюбивыхъ животныхъ. Они уговаривали и меня заняться чѣмъ-нибудь, говоря, что праздность самый вредный порокъ, но какъ я ни придумывалъ, что бы мнѣ дѣлать, не находилъ ничего по своему вкусу. Мнѣ гораздо пріятнѣе казалось качаться на травкѣ и мечтать.

Это бездѣйствіе заслужило мнѣ сперва упреки, а потомъ и презрѣніе муравьевъ.

Мнѣ становилось очень грустно. Вдругъ во внутреннемъ моемъ составѣ произошла удивительная перемѣна. Встряхнувшись какъ-то невзначай, почувствовалъ я внезапно, что у меня развились на спинѣ два крылышка. Я былъ въ полномъ восторгѣ. Съ презрѣніемъ посмотрѣлъ я теперь на ползающихъ муравьевъ, и поднялся на воздухъ.

Цѣлую ночь перелеталъ я съ розы на розу, — и съ восторгомъ глядя на сіяющія звѣзды, сравнивалъ довольно слабое сіяніе ихъ съ моимъ блескомъ.

Подъ утро ощутилъ я какое-то стѣсненіе въ груди, какое-то странное томленіе чувствъ. Я сначала приписалъ это усталости и излишнему упоенію отъ запаха розъ, но вскорѣ увидѣлъ, что всѣ насѣкомыя живутъ тихою, семейною жизнью, и понялъ, что мнѣ самому нужно отыскать подругу.

Сперва обратился я къ пестрой стрекозѣ, но та меня совершенно почти оглушила монотонною болтовнею, такъ что я сталъ искать любви уединеннаго травянаго червячка; — но тотъ испугался меня, и бѣжалъ отъ меня. Долго увивалась около меня моль, но мнѣ не нравилось, что она ко всѣмъ безъ разбора пристаеъ. Мнѣ было грустно однакоже въ одиночествѣ. Вдругъ съ радостнымъ біеніемъ сердца увидѣлъ я голубой огонекъ, свѣтящійся подъ травкою, и бросился туда. Тамъ нашель я восемь червячковъ своей породы. Они приняли меня какъ братья и угостили. Я удивлялся ихъ уму и опытности, и убѣдился тогда ясно, что весь этотъ свѣтъ существуетъ для удовольствія свѣтящихся червячковъ.

Вдругъ ученые разговоры наши прерваны были приходомъ одного молодого человѣка и дѣвушки. Они безпечно гуляли вечеромъ, рвали цвѣты и украшали ими другъ-друга. Увидя насъ, молодой человѣкъ обрадовался этой находкѣ и захватилъ насъ всѣхъ, говоря, что посадить на цвѣты и воткнуть въ волосы своей возлюбленной. Мысль эта тотчасъ же приведена была въ исполненіе.

Я хотѣлъ было улетѣть, но сильный духъ пвѣтка почти лишилъ меня чувствъ. При томъ же подруга моя была слаба и еще болѣе меня страдала отъ сильного запаха. Это болѣзненное положеніе лишило насъ обоихъ способности свѣтиться. Юноша замѣтилъ это и сказалъ дѣвушкѣ. Та вынула убійственную лилію изъ волосъ и вытряхнула насъ на траву.

Какъ ни слабы были мои силы, но я поползъ около ближнихъ травъ, собралъ съ нихъ росу и освѣжилъ ею мою подругу. Она очнулась, и благодарила меня за свое спасеніе. Мы оба опять засвѣтились, и тутъ-то я понялъ, что чѣмъ живѣе были наши взаимныя ощущенія, тѣмъ больше издавали мы свѣта.

Удалясь отъ опасныхъ сосѣдствъ, построили мы себѣ домики въ кустъ незабудокъ, на самомъ краю ручья, и скрывались тамъ до самой полуночи. Только подъ утро вышли мы изъ своего убѣжища, и предались всеѣмъ удовольствіямъ, какія предлагала намъ роскошная растительность природы.

Взошло и солнце... Мы съ подругою знали, что это послѣдній день нашей жизни. Я занялся составленіемъ моей біографіи, и думаю, что, по опытности моей и старости, она будетъ полезна для всѣхъ червяковъ.

Ручной левъ. — Путешественникъ Карнесъ, во-время своего пребыванія на островѣ Гореѣ, гдѣ между жителями много Креоловъ, гуляя однажды по улицѣ, увидѣлъ льва, быстро бѣгущаго за козкою, которой онъ однакоже не успѣлъ догнать. Послѣ этой неудачи пробѣжалъ онъ обратно мимо гуляющихъ, и завернулъ во дворъ того дома, гдѣ Карнесъ остановился, и гдѣ ему сказали, что этотъ левъ ручной и принадлежитъ хозяйкѣ дома. Дѣйствительно онъ былъ ростомъ съ большую собаку, но когти его и зубы давали ему возможность разорвать животное гораздо большаго роста. Креолка сдѣлала его совершенно ручнымъ, очень спокойно играла съ нимъ, какъ съ собакою, кормила его изъ рукъ, и никогда не боялась ничего. Онъ свободно бѣгалъ, гдѣ хотѣлъ, и для спанья устроенъ былъ для него на дворѣ шалашъ.

Ночь, проведенная между аллигаторами. — Въ путешествіи своемъ по Флоридѣ, Бертрамъ рассказываетъ слѣдующее: «Я ѣхалъ одинъ вверхъ по Джонсриверу, чтобъ осмотрѣть внутреннія области. На ночь втаскивалъ я обыкновенно свою лодку на берегъ, и приготова себѣ ужинъ изъ того, что мнѣ удавалось добыть на рыбной ловлѣ, или

охотѣ, спокойно засыпалъ въ лодкѣ. Рѣдко безпокоили меня при этомъ какія-нибудь пантеры; алигаторовъ не видалъ я и слѣда до третьяго вечера своего путешествія. Но въ этотъ день пришлось мнѣ очень худо.

Вечеръ былъ довольно свѣжъ. Чаще и явственнѣе слышался мнѣ вой алигаторовъ, и уродливая ихъ фигура безпрестанно стала мелькать у берега; для ночлега я выбралъ открытую равнину. Посреди окрестнаго болота возвышался холмъ, гдѣ подъ густыми листьями вѣковаго дуба могъ я скрыться въ случаѣ дождя. Я наносилъ туда достаточное количество дровъ, чтобъ поддерживать ночью пылающей костеръ въ защиту отъ дикихъ звѣрей и москитосовъ; осмотрѣлъ потомъ свои съѣстные припасы, и видя, что ихъ уже очень недостаточно, рѣшился наловить себѣ форелей на ужинъ.

Недалеко отъ моего ночлега было небольшое озеро, соединяющееся съ рѣкою посредствомъ узкаго канала. Въ озерѣ казалось, повидимому, много рыбы. Берега его порасли кустарникомъ. Водяныя куры прыгали съ распущенными крыльями чрезъ бухточки и прятались въ кусты. Пестрыя утки плавали по озеру, и часто дѣлались жертвами алигаторовъ.

Я пустился на рыбную ловлю, оставя ружье на берегу, чтобъ не подмочить его. Для защиты взялъ я съ собою увѣсистую дубину, и сѣлъ въ лодку. Первые алигаторы, которые мнѣ попались, учтиво уступали мнѣ дорогу. Нѣкоторые, побольше ростомъ, слѣдовали однако за мною. Я бдительно смотрѣлъ за ними и старался поскорѣе грести, надѣясь, что въ каналѣ избавлюсь уже отъ нихъ.

Но не успѣлъ я проѣхать и половины пути, какъ алигаторы со всѣхъ сторонъ меня окружили, и нѣкоторые даже видимо старались опрокинуть лодку. Положеніе мое было чрезвычайно опасно. Два огромные алигатора рѣшительно атаковали меня, высунувъ головы изъ воды и завывая самымъ ужаснымъ образомъ, при чемъ обливали меня цѣлыми фонтанами воды. Челюсти ихъ такъ сильно стучали у самыхъ ушей моихъ, что оглушили меня. Я каждую минуту ожидалъ, что они меня выхватятъ изъ лодки и разорвутъ. Однакоже я такъ удачно дѣйствовалъ дубиною, что отразилъ ихъ нападеніе. Но это было не надолго. Черезъ нѣсколько минутъ возвратились они, и возобновили атаку. Видя это, сталъ я грести къ берегу, гдѣ было мое единственное спасеніе. Дѣйствительно, еслибъ я держался самаго берега, то враги мои были бы только на одной сторонѣ, и въ случаѣ нужды я могъ бы выпрыгнуть на берегъ, гдѣ легко было убѣжать отъ чудовищей; тогда какъ въ водѣ быстрота ихъ удивительная.

Когда я хотѣлъ вѣхать въ маленькое озеро, два алигатора преградили мнѣ дорогу, у самаго вѣзда въ каналъ, но я не посмотрѣлъ на это и проѣхалъ черезъ нихъ.

Вскорѣ наловилъ я больше рыбы, нежели сколько мнѣ было нужно, и отправился въ обратный путь, держась къ берегу. Но когда я изъ

озера хотѣлъ вѣхатъ опять въ рѣку, то встрѣтилъ въ оживавшихъ меня алигаторахъ сильное сопротивленіе. Особенно одинъ старшій, до двѣнадцати футовъ длиною, преслѣдовалъ меня до самаго пункта моего выхода на берегъ. Впрочемъ, онъ только гнался за моею лодкою, ужасно ревѣлъ, но не нападалъ на меня. Когда же я вышелъ на берегъ, то онъ выскочилъ изъ воды почти къ ногамъ моимъ и съ большою злостію смотрѣлъ мнѣ прямо въ глаза.

Тутъ лежало мое ружье, заряженное пулею. Я побѣжалъ за нимъ и воротясь, нашелъ еще алигатора у моей лодки. Казалось, что онъ караулилъ рыбу. Увидя мое приближеніе, онъ медленно отступилъ и исчезъ въ водѣ. Вскорѣ однако возвратился онъ назадъ, посмотрѣлъ на меня и занялъ прежнюю позицію; я освободился отъ этого гостя, пославъ ему пулю въ голову, и началъ готовить себѣ ужинъ изъ форелей.

Пока я чистилъ рыбу, приплылъ другой алигаторъ такъ тихо, что я не замѣтилъ. Увидѣвъ же его еще во-время, я успѣлъ отскочить, а чудовище ударомъ хвоста выбило нѣсколько рыбы у меня изъ рукъ. Еслибъ я не оглянулся, онъ бы меня схватилъ и утащилъ въ воду. Эта дерзость обезпokoила меня, потому-что въ этомъ положеніи долженъ былъ я провести цѣлую ночь.

Осмотрѣвшись теперь внимательно, увидѣлъ я такое зрѣлище, отъ котораго у меня волосы стали дыбомъ. Вся рѣка представилась мнѣ съ одного берега на другой живымъ мостомъ. Алигаторы были тутъ въ такомъ количествѣ, что можно было по головамъ ихъ перейти всю рѣку. Вскорѣ понялъ я зачѣмъ они собрались. Тогда было время метанія икры для рыбы, и алигаторы, зная, что миллионы рыбъ пойдутъ къ рѣкѣ изъ озера, сошлись, чтобъ удобнѣе удовлетворить свой аппетитъ. Дѣйствительно, они пожирали рыбу тысячами, стуча при этомъ безпрестанно своими челюстями. Зрѣлище было ужасное и отвратительное. Растерзавъ и проглотивъ сотни рыбъ, каждый алигаторъ высовывалъ голову изъ рѣки, выпуская при этомъ фонтанъ крови, воды и пару.

Опасность моего положенія и шумъ, производимый алигаторами, не дали мнѣ цѣлую ночь спать. Когда я всталъ поутру, все было спокойно, только не много алигаторовъ осталось на мѣстѣ, и тѣ спали у берега.

Я поѣхалъ вверхъ по рѣкѣ, но проѣзжая опять мимо входа въ озеро, претерпѣлъ сильное нападеніе. Огромный алигаторъ дико завылъ и бросился на меня. Нырнувъ подъ лодку, онъ вынырнулъ на другой сторонѣ и окатилъ меня цѣлымъ фонтаномъ воды. Я ударилъ его по головѣ дубиною такъ сильно, что онъ опять нырнулъ, и медленно поплылъ къ берегу. Вскорѣ началъ меня преслѣдовать другой, въ сопровожденіи сотни дѣтеньшей, которые были не больше пятнадцати дюймовъ длины и слѣдовали за нимъ, какъ цыплята за курицею.

Плыва далѣе по рѣкѣ, все держась берега, я долженъ былъ въ од-

номъ мѣстѣ огибать выдавшійся мысокъ, на которомъ замѣтилъ множество страннѣхъ возвышеній, въ видѣ кеглей, или сѣнныхъ кучъ, правильно разставленныхъ вдоль по берегу, въ двадцати шагахъ отъ воды. По описаніямъ удостовѣрился я, что это гнѣзда алигаторовъ, — и хотя могъ опасаться нападеній съ ихъ стороны, но рѣшился остановиться посмотреть эти странныя кегли. Большая часть были пусты, и толстыя яичныя скорлупы лежали вездѣ разбросанныя. Гнѣзда эти въ четыре фута вышины. При основаніи они въ четыре, а вверху въ одинъ дюймъ поперечника, и состоятъ изъ илу и травы. Сперва алигаторъ кладетъ на землю слой илу, а на него уже свои яица, потомъ еще слой илу, потомъ еще слой яицъ, и такъ далѣе до верху. Теплота солнца и броженія, происходящаго отъ гниющихъ травъ, служитъ къ высиживанію яицъ. Любовь родителей къ дѣтенышамъ не можетъ быть сильна, потому-что нерѣдко они съѣдаютъ цѣлыя поколѣнія маленькихъ алигаторовъ.

Наполеонъ и Евгенія. — Наполеонъ былъ еще поручикомъ и стоялъ въ Тулонѣ, а Бурень былъ унтеръ-офицеромъ. Послѣдній разсказываетъ, что однажды Наполеонъ пришелъ къ нему и сказалъ:

— Бурень, я влюбленъ.

— Прекрасно; въ кого?

— Въ молодую дѣвушку, которая живетъ за валомъ, въ небольшомъ домикѣ. Она бѣдна — и ничего не имѣетъ, кромѣ красоты своей. Я по цѣлымъ часамъ сижу у нея, слушаю ея милую болтовню и люблю ея презестью.

— И она тебя любитъ?

— Пламенно, страстно, какъ испанка, потому-что она изъ Каталоніи. Она любитъ меня безъ кокетства, безъ эгоизма, — не такъ какъ женщины большаго свѣта, которыя прежде осматрятся, хорошо ли онѣ причесаны, и потомъ уже удостоятъ васъ ласковымъ взглядомъ.

— Ну, чтожь будетъ изъ этого волокитства?

— Не знаю... У Евгеніи есть мать, которую я чрезвычайно уважаю. Мужъ ея принадлежалъ къ знатному семейству, и все бросилъ, чтобъ на ней жениться, потому-что добродѣтель ея была непоколебима. Бѣднякъ умеръ потомъ съ горя и нищеты. Она хочетъ сохранить во всей чистотѣ и дочь свою, и выбрала для этого самое лучшее средство. Недавно выслала она свою дочь и сказала мнѣ, «Послушай, Бонапарте, ты любишь Евгенію. Но я попрошу тебя не приходить болѣе ко мнѣ, или поклонись мнѣ своею честью, что ты не вовлечешь дочь мою въ преступокъ, который лишилъ бы ее любви матери и всеобщаго уваженія...

— А давно ли ты съ этими людьми познакомился?..

— Недавно. Инженеры хотѣли срыть ея домишко, говоря, что тутъ проведена будетъ новая улица. Мать жаловалась, назначили комиссію, и я нашелъ, что домъ ея совѣтъ не мѣшаетъ проведенію этой улицы... Это меня познакомило съ ними...

Нѣсколько дней видѣлъ Буренья Наполеона въ дурномъ расположеніи духа и въ сильномъ волненіи. Наконецъ онъ спросилъ однажды у Бурьена:

— Скажи мнѣ пожалуйста, что ты думаешь о бракѣ по любви?

— Смотря по обстоятельствамъ,—отвѣчалъ Буренья. Для человѣка, у котораго нѣтъ никакого честолюбія, — такой бракъ бываетъ счастливъ. Но у кого есть какіе-нибудь планы и надежды въ будущемъ, для того романическій бракъ былъ-бы препятствіемъ...

— Ты правъ, — сказалъ Наполеонъ, и ушелъ.

Два дни не приходилъ онъ къ Бурьену, на третій написалъ къ нему записку чрезвычайно нечеткую, и просилъ навѣстить его, потому-что у него лихорадка...

Буренья отправился къ нему. Наполеонъ сидѣлъ передъ большимъ кофейникомъ, изъ котораго каждую четверть часа выпивалъ по чашкѣ; Буренья замѣтилъ, что это вредно въ лихорадкѣ.

— Мнѣ надобно писать рапортъ, — отвѣчалъ онъ, а я такъ слабъ, что стараюсь возбудить свою натуру посредствомъ кофе...

— Ну, что? Какъ идутъ твои дѣла?

— Да едва было не пошли слишкомъ хорошо... Къ счастью, я успѣлъ преодолѣть свою страсть.

Буренья посмотрѣлъ на него со вниманіемъ и любопытствомъ. Наполеонъ продолжалъ:

— Я неохотно говорю о себѣ, а особливо о вещахъ, которыя считаются игрушками у серьезныхъ людей. Но я тебѣ расскажу все, какъ было. Третьяго дня зашелъ я къ старушкѣ. Ее не было дома, а Евгенія была прелестна, страстна, какъ всегда. Она увлекла меня въ самый нѣжный разговоръ. Долго я устранился, отвѣчалъ на все очень холодно, — и избѣгалъ всѣхъ ея невинныхъ ласкъ. Но она наконецъ заплакала и упрекала меня въ безчувственности. Я хотѣлъ успокоить ее, утѣшить. Вдругъ она вскочила, и быстро глядя на меня, сказала:

— Поклянись мнѣ, Наполеонъ, что ты на мнѣ женишься!..

— Я опомнися, снова охладѣлъ, почувствовалъ въ себѣ силы быть честнымъ человѣкомъ, — и сказалъ, что не могу дать этой клятвы... И однакоже, несмотря на мой отказъ, она не переставала мучить меня. Я принужденъ былъ убѣжать. Уходя, встрѣтилъ я мать, и рассказалъ ей все; она съ жаромъ благодарила меня и умоляла никогда больше не видѣться съ Евгеніей.

— Конечно, — прибавила мать, — она будетъ несчастна, но еслибъ я

могла увезти ее въ Барселону... путешествіе разсѣяло-бы ее... Къ сожалѣнію, у меня нѣтъ на это средствъ ..

— Если вы хотите доказать мнѣ ваше уваженіе, сказалъ я, то примите отъ меня эти средства. Не забывайте меня и не требуйте отъ Евгениі, чтобъ она меня забыла.. Сегодня по утру, — прибавилъ Наполеонъ, — послалъ я ей свое трехмѣсячное жалованье, — и не знаю, чѣмъ буду жить въ это время. Впрочемъ увидимъ. Надобно надѣяться.

Когда потомъ Бонапарте сдѣлался Императоромъ, Бурьень напомнилъ ему однажды объ Евгениі.

— Да!— сказалъ онъ. Я никогда не любилъ такъ сильно и искренно... Но тогда я былъ поручикомъ.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВѢСТНИКЪ.

I. ЖУРНАЛИСТИКА.

Первое апрѣля русскихъ журналовъ. — Неудачное замѣчаніе «Современника» — Последняя книга «Сына Отечества». — Апрельская книга «Отечественныхъ Записокъ». — Серьезныя статьи. — Г. Ковалевскій и его «Китай въ 1849 и 1850 году». — Критика г. Кудрявцева на статьи г. Грановскаго. — Новое направленіе исторіи. — Вліяніе на нее естественныхъ наукъ. — Преувеличеніе вліянія природы и физиологій на историческія событія. — *Журналистика* «Отечественныхъ Записокъ», ея правильныя сужденія и неправильный языкъ. — Разсказы г. Небольсина. — Фельетонъ «Отечественныхъ Записокъ». — Скачка съ препятствіями и *коньки*. — Портретъ литератора, у котораго свой конекъ. — Англійскіе романы. — Новый романъ г. Крестовскаго: *Кто-же остался доволенъ?*

Въ тотъ день, когда мы начинаемъ обзоръ нашихъ ежемѣсячныхъ журналовъ (12 апрѣля) вышли только одни «Отечественныя Записки.» Конечно, *перваго апрѣля* журналы могли и не выдти, но съ этого обманчиваго дня прошло уже довольно времени. Всего любопытнѣе то, что «Современникъ» въ послѣдней книжкѣ упрекалъ «Пантеонъ» въ томъ, что онъ выходитъ позже всѣхъ журналовъ. Еслибы Новый Поэтъ заглянулъ хоть на обертку «Пантеона», то увидѣлъ бы, что тамъ очень

яено сказано: «*Пантеонъ выходитъ въ двадцатыхъ числахъ каждаго мѣсяца.*» Очевидно, что поэтому онъ никакъ не можетъ явиться раньше другихъ журналовъ, объявляющихъ, что они выходятъ въ свѣтъ перваго числа, но очень часто забывающихъ, что не каждое первое число бываетъ первое апрѣля.

Поэтому мы должны говорить только объ «*Отечественныхъ Запискахъ*», если не считать двѣнадцатой книги «*Сына Отечества*», явившейся тоже очень недавно. Объ этой книгѣ почти нечего сказать. Въ ней листовъ пятнадцать, изъ которыхъ три четверти заняты политикою и внутренними извѣстіями. Извѣстія эти очень свѣжи; имъ нѣтъ еще полугода. Остальная часть книги занята французской повѣстью: «*Полина Амбертъ*, разборомъ трехъ книгъ, заключающимся въ пространныхъ выпискахъ изъ этихъ книгъ, и тремя статейками въ Смѣси; изъ которыхъ въ одной довольно любопытныя замѣтки для біографіи Княжнина. Прощаясь надолго, если не навсегда, съ этимъ старѣйшимъ изъ русскихъ журналовъ, мы пожалѣемъ о томъ, что редакція его взяла на себя трудъ не по силамъ, и не могла исполнить его, какъ слѣдуетъ. Мы думаемъ, что этотъ журналъ могъ-бы идти очень успѣшно, если приложить къ изданію его побольше дѣятельности, вниманія, старанія.

Обратимся теперь къ апрѣльской книжкѣ «*Отечественныхъ Записокъ*», весьма разнообразной и интересной. Отъ серьезныхъ статей ея нельзя оторваться. Продолженіе путевыхъ записокъ Е. П. Ковалевскаго «*Китай въ 1849 и 1850 годахъ*» до того занимательно, что мы скажемъ рѣшительно: намъ не удавалось читать ничего лучше на русскомъ языкѣ о Серединномъ государствѣ. Это не сухой и мѣстами весьма не правдоподобный рассказъ О. Іакинфа, не ученое, систематическое и оттого часто весьма скучное изслѣдованіе, а живое, увлекательное, безискусственное описаніе того, что путешественникъ видѣлъ своими глазами, о чемъ собиралъ свѣдѣнія у лицъ, окружавшихъ его. Рассказъ г. Ковалевскаго замѣчательнъ также по удивительной простотѣ, довольно рѣзко противорѣчащей первымъ повѣствованіямъ того же автора, изданнымъ подъ названіемъ: «*Странствователь по сушѣ и по морямъ*», между которыми было нѣсколько не совсѣмъ вѣроятныхъ рассказовъ, написанныхъ восторженнымъ языкомъ. Тотъ же недостатокъ былъ замѣченъ и въ романѣ «*Петербургъ днемъ и ночью.*» «*Китай*» стоитъ несравненно выше всѣхъ прежнихъ произведеній этого автора. Даже на иностранныхъ языкахъ врядъ-ли можно сравнить какое-либо путешествіе въ Китай съ этою статьею, по занимательности и вѣрности рассказа.

Только одна: La Chine Ouverte Ольдъ-Ника подходит нѣсколько къ новому произведенію г. Ковалевскаго.

«Дневникъ камеръ-юнкера Берхгольца» драгоценное пріобрѣтеніе для русской исторической литературы и одинъ изъ лучшихъ матеріаловъ для изображенія великой эпохи преобразованія Россіи. Онъ переводится правильнымъ, живымъ языкомъ.

Въ высшей степени любопытна также критическая статья г. Кудрявцева, разбирающаго рѣчь профессора Грановскаго «О современномъ состояніи и значеніи всеобщей исторіи» и переводъ, того же автора, статьи Эдвардса: «О физиологическихъ признакахъ человѣческихъ породъ и ихъ отношеніи къ исторіи» Критика г. Кудрявцева знакомитъ читателей съ двумя весьма важными вопросами въ исторіи, которые начали разрабатывать весьма недавно: съ вопросами: 1) какое вліяніе имѣетъ географическая мѣстность и климатическія условія на судьбу народовъ и историческія событія, и 2) какое отношеніе между этими событіями и породами, или поколѣніями людей съ ихъ физиологическими разностями въ нравахъ и темпераментахъ? Разбирая первый вопросъ, г. Кудрявцевъ весьма справедливо опровергаетъ мнѣнія г. Грановскаго и другихъ лицъ, приписывающихъ уже слишкомъ много вліянія природѣ на исторію. Приверженцы этого мнѣнія доходили даже до странныхъ выводовъ, увлеченные своею любимою теоріею. Такъ г. Беръ говоритъ, что «когда земная ось получила свое наклоненіе, вода отдѣлилась отъ суши, поднялись хребты горъ, и отдѣлили другъ отъ друга страны, судьба человѣческаго рода была уже опредѣлена напередъ, и всемірная исторія есть ни что—иное, какъ осуществленіе этой предопредѣленной участи.» Г. Кудрявцевъ прекрасно разобралъ неосновательность и преувеличеніе подобныхъ мнѣній. Что касается до втораго вопроса, критикъ признаетъ физиологическое отличіе породъ однимъ изъ самыхъ постоянно дѣйствующихъ элементовъ исторіи. Съ этимъ еще скорѣе можно согласиться (что и дѣлаетъ г. Кудрявцевъ) хотя и здѣсь вліяніе физиологическихъ племенныхъ различій на исторію, несмотря на авторитетъ Шува, цитируемаго критикомъ, — можно допустить только при извѣстной степени образованности народовъ. Чѣмъ болѣе образовывается масса, чѣмъ ближе сношенія между племенами, — тѣмъ болѣе сглаживается ихъ физиологическое различіе, и тѣмъ менѣе, слѣдовательно, можетъ оно имѣть вліянія на международныя отношенія, также какъ и во внутреннемъ быту и обычаяхъ племенъ, гдѣ различіе это удерживается впрочемъ

нѣсколько долѣе. Вообще намъ кажется, что вліянію естественныхъ наукъ на исторію придаютъ уже слишкомъ много значенія. Новость этого возрѣнія на исторію могла, конечно, увлечь молодыхъ историковъ, уничтожившихъ, въ недавнее время, философію исторіи, какъ отдѣльную науку, — что было весьма справедливо, — но раздвинувшихъ въ тоже время границы исторіи до крайнихъ предѣловъ. Такъ г. Грановскій говоритъ, что нѣтъ науки, которая не входила-бы въ исторію своими результатами. Скажемъ, съ своей стороны, что въ числѣ этихъ наукъ есть и такъ-называемая историческая критика, которая учитъ осторожно обращаться съ новыми взглядами и теоріями, и не доводитъ до преувеличенія и исключительности — положеній, вѣрныхъ только до извѣстной степени и въ данное время.

Критика г. Кудрявцева написана чистымъ, правильнымъ и понятнымъ языкомъ. Мѣстами попадаются въ ней однако же изысканныя выраженія и не нужное употребленіе иностранныхъ словъ: какъ напримѣръ *культура*, *раса*, *фаза* (хоть-бы *фазисъ* или *фасъ*); — *особи* вмѣсто *особенности*; исторіи надобно было пройти много *стадій* (почему критикъ употребилъ тутъ греческую мѣру разстояній?); норманы впервые подступаютъ къ исторіи готовыми людьми (какая изысканность выраженія); школа Нибура способствовала *углубленію* историческаго метода и проч. Выхваляя слогъ г. Грановскаго, г. Кудрявцевъ, также не совсѣмъ удачно приводитъ въ самомъ началѣ цитаты фразу довольно темную и тяжелую: «Вопросы объ историческомъ значеніи исторіи, о приложеніи ея уроковъ къ жизни, о средствахъ, которыми она можетъ достигать своихъ дѣйствительныхъ, или *извнѣ ей поставленныхъ цѣлей*, (?) не новы.» Такихъ фразъ, впрочемъ, очень мало у г. Грановскаго.

Въ Библиографической Хроникѣ много очень дѣльныхъ и интересныхъ, хотя и специальныхъ статей, каковы, напримѣръ, разборъ «Исторіи войны Россіи съ Франціею въ 1799 году» и «Путешествія Березина по Персіи». Въ отдѣлѣ *Журналистики* очень хорошо разобрана новая прекрасная комедія г. Островскаго — *Не въ свои сани не садись*, хотя языкъ самаго разбора мѣстами изысканъ и не совсѣмъ ясенъ. Критикъ часто употребляетъ фразы и слова въ родѣ слѣдующихъ: «Немногія пьесы поспорятъ съ ней въ *удачливости*; пьеса предана *публичности*; тутъ *въ очію видишь* совершающееся торжество благородныхъ движеній; *мотивировать* дѣйствіе; онъ принадлежитъ къ числу искомымъ характеровъ: смазливый *проходимецъ*; пьеса не разубѣдила насъ въ этомъ

мнѣніи, нравственный *фондъ*; послѣдняя перемена декораціи не оставляетъ ничего желать болѣе (то—есть послѣднее явленіе); *фабула* пьесы; содержаніе ея взято *не откуда какъ изъ жизни* и къ ней же опять обращено (?) и проч. Зачѣмъ также одна и таже цитата приведена на 109 и потомъ на 114 страницѣ?

Въ Смѣсп начался новый романъ сѣвероамериканскаго писателя — Ро и продолжаютъ «Разказы проѣзжаго». Последніе очень любопытны, хотя мы и не видимъ причины, почему статью эту авторъ назвалъ *Матрешю*, когда это лицо, можетъ-быть и интересное для автора, является только на самыхъ послѣднихъ страницахъ статьи. Автобіографія Богдановича также чрезвычайно интересна. Новости наукъ, искусствъ и литературы разнообразны. Очень мило пишется фельетонъ, называющійся Петербургскими замѣтками. Фельетонистъ говоритъ обо всѣхъ удовольствіяхъ Петербурга просто, безпристрастно, смотритъ на нихъ не съ коммерческой точки зрѣнія; говоря о концертахъ, не приходитъ въ восторгъ отъ всякаго шукаря, чуть не плашущаго на своемъ инструментѣ для вящаго доказательства своего таланта; у фельетониста незамѣтно никакого кумовства. Если ему не нравится композиторъ, онъ не говоритъ, что опера его упала, что ее давали *три* раза, когда она шла *шесть* разъ, и не сочиняетъ причинъ по которымъ будто-бы перестали ее давать. Мѣстами фельетонистъ дѣлаетъ и отступленія, но они такъ умны и приличны, что ихъ читаешь съ удовольствіемъ. Такъ напримѣръ, говоря о распространившейся въ Петербургѣ модѣ на игру «Скачка съ препятствіями», фельетонистъ очень остроумно замѣчаетъ о томъ, что у многихъ на свѣтѣ есть свой конекъ, и приводитъ нѣсколько примѣровъ такихъ коньковъ. Выписываемъ одинъ изъ этихъ примѣровъ, чтобы показать, какъ мѣтко подмѣчаетъ фельетонистъ смѣшныя стороны въ нѣкоторыхъ дѣйствительно забавныхъ господахъ:

... «Но всѣ лица, ѣздяція на своемъ конькѣ, должны разстуниться, всѣ должны дать дорогу еще забавнѣйшему всаднику, который вѣзжаетъ гордо на своемъ конѣ... Наружность его; посадка на конѣ самая недеремонная, что вмѣстѣ съ шляпою, надѣтою нѣсколько на бокъ, даетъ ему видъ нѣсколько шикарскій (другаго слова для выраженія я отыскать не могъ). Господа! онъ не просто всадникъ — онъ литераторъ! Его конекъ — фанфаронство. Онъ любитъ пустить пылъ въ глаза, любить поговорить о себѣ, о своей чистой любви къ искусству и литературѣ, о своей комфортной домашней жизни и о своихъ такъ-называе-

мыхъ имъ аристократическихкихъ знакомствахъ... «Забудемъ наши мелкія страсти, нашу вражду и ненависть, подадимъ другъ-другу руки во имя искусства, и станемъ служить этому искусству!» восклицаетъ онъ. И вотъ онъ начинаетъ служить искусству... толковать о литературѣ... Но о чемъ бы ни заговорилъ онъ — о стихахъ ли Гюго, или о прозѣ Диккенса, о современныхъ фельетонахъ, или журналахъ, всегда и вездѣ, при каждомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, онъ проѣдется на своемъ конькѣ, и расскажетъ что-нибудь о своей лошади, о своей дачѣ и о фешьонебельныхъ снобахъ, Гришахъ, Мишахъ, Сашахъ и другихъ своихъ добрыхъ пріятеляхъ... Я люблю смотрѣть на маневрированье этого господина, какъ люблю все забавное, все смѣшное. Будь на его мѣстѣ юноша, тогда ничего не было бы страннаго въ этой страсти къ катанью на лошадакѣ; но видѣть человѣка серьезныхъ лѣтъ, который для собственнаго удовольствія, цѣлую жизнь всюду и вездѣ, не думая ни о томъ, куда ѣдетъ, ни гдѣ ѣдетъ,—поскаккиваетъ на конькѣ—воля ваша, это забавно... Вы, мой читатель, слушая человѣка, который такъ много говоритъ о чистомъ служеніи искусству, о своихъ вилахъ, своихъ пріятеляхъ аристократахъ Гришахъ, Мишахъ и проч., и проч., вѣрите всему этому. Счастливыцы вы! А мы—такъ не вѣримъ; мы знаемъ и это служеніе, и этихъ пріятелей... Сегодня этотъ человѣкъ приглашаетъ всѣхъ забыть вражду и мелкіе интересы, а завтра онъ первый станетъ задѣвать каждаго, и вызывать его на споры и ссоры... Онъ говоритъ о своихъ воображаемыхъ аристократическихкихъ пріятеляхъ, старается показать, какъ хорошо знакомы ему аристократическія гостинныя, и тому подобное. Но мы знаемъ, какъ много во всемъ этомъ истины, и во-что обходится ему эта истина! Гуляя по большой улицѣ, мы видимъ съ какимъ удовольствіемъ, съ какимъ благоговѣніемъ этотъ джентльменъ цѣпляется за руки аристократическихкихъ юношей; мы видимъ, какъ самодовольно онъ поглядываетъ на всѣ стороны, когда идетъ съ ними объ-руку. Во что бы то ни стало, онъ хочетъ продлить это удовольствие, чтобъ потомъ поговорить и похвастать имъ передъ другими. Для этого онъ умоляетъ юношей отправиться съ нимъ къ Дюссо, или Борелю. Этотъ фанфаронъ говоритъ объ аристократическихкихъ гостинныхъ, но увы! онъ не бывалъ въ нихъ, потому-что, несмотря на всю лесть и услужливость, расточаемыя имъ пріятелямъ-аристократамъ, они никогда не представляютъ его въ тѣ гостинныя, въ которыхъ сами они законные члены. Вотъ каково знакомство этого человѣка съ аристократами. Когда, подк-часъ, ему вздумается нарисовать характеристику какого-нибудь изъ своихъ знаменитыхъ пріятелей, то здѣсь высказывается вполне

какъ трудно изучить человѣка, проводя съ нимъ время только у Дюссо, или Бореля... Онъ хочетъ сказать о ихъ сердцахъ—а говорить о жилахъ, хочетъ сказать о ихъ мысляхъ—и описываетъ проборы на головѣ... И зная все это, зная, чѣмъ и какъ питается конекъ джентльмена нецеремонной наружности, мы смѣемся, смотря на важность и самодовольство, съ которыми онъ выѣзжаетъ передъ публику на своемъ пегасѣ»...

Въ Отдѣлѣ Словесности продолжается, все еще романъ Варрена «Тяжба», которому пора бы и кончиться. Онъ вовсе не такъ интересенъ, чтобы такъ долго занимать читателей. Г. Варренъ не Диккенсъ, не Теккерей, даже не Корреръ Бель и не леди Блессингтонъ, которые написали, въ послѣднее время, очень занимательные романы, неизвѣстные еще русской публикѣ, но совершенно доступные къ переводу. Романы Диккенса и Теккерей: Blair-House и Henry-Osborne, правда, еще не окончены, но авторъ Джэни Эйръ и Ширлея написали новое превосходное сочиненіе: «Villette,» а леди Блессингтонъ «Lady Bird,» отъ котораго въ восторгѣ даже французы (смотри послѣдній номеръ Revue des deux mondes).

Въ этой же книгѣ Отечественныхъ Записокъ напечатана первая половина новаго романа В. Крестовскаго: «Кто же остался доволенъ?» Говорить о достоинствѣ этого произведенія—значитъ повторять тоже самое, о чемъ мы уже говорили столько разъ. Съ каждымъ новымъ произведеніемъ этотъ авторъ приобретаетъ все болѣе и болѣе вниманіе читателей, и становится выше въ ряду не весьма большаго числа нашихъ романистовъ. «Кто же остался доволенъ?» напоминаетъ нѣсколько первое граціозное произведеніе этого же автора: «Анна Михайловна». Это тоже картина провинціальной жизни, съ ея странными условіями, оригинальными личностями, мелкими интригами и мелкими характерами. Мы не знаемъ никого, кто бы въ настоящее время изображалъ такъ вѣрно эту жизнь, какъ г. Крестовскій, соединяющій, въ тоже время, съ глубокою наблюдательностью и глубокое чувство, два совершенно противоположныя свойства, рѣдко встрѣчающіяся въ одномъ писателѣ.

Такъ какъ намъ не о чемъ болѣе бесѣдовать въ этомъ мѣсяцѣ съ читателями, то мы позволяемъ себѣ въ заключеніе нашей статьи, вмѣсто разбора, не высказывающаго десятой доли красотъ подлинника, привести первыя страницы этого романа, чтобы дать объ немъ вѣрное понятіе читателямъ, и показать на какую высокую степень, съ самыхъ первыхъ сценъ—становится авторъ этого прѣкраснаго произведенія.

«Катерина Михайловна Воронская была вдова предѣдателя какой-то палаты, оставившаго женѣ едипетвеннаго сына, котораго она любила безъ памяти. Она записала своего Сашечку въ учебное заведеніе губернскаго города В., гдѣ тогда жила, и неуспынно наблюдала за его воспитаніемъ, за каждымъ его шагомъ, не спускала его съ глазъ, не бывала нигдѣ безъ него, не разлучалась съ нимъ, какъ не разлучаются съ дочерьми. Уходилъ-ли онъ утромъ учиться, она смотрѣла, какъ онъ проходилъ по улицѣ; входилъ онъ въ класную залу, (домъ Катерины Михайловны былъ противъ учебнаго заведенія она слѣдила за каждымъ движеніемъ въ окнахъ классной залы... Она познакомилась со всѣми учителями, со всѣми надзирателями, дѣлала визиты ихъ женамъ, искала случая обязать ихъ, услужить имъ хоть чѣмъ-нибудь. Она признавала необходимость своей вѣчной попечительности надъ сыномъ: — «Я должна знать все говорила она.

Сашечка кончилъ курсъ ученья; Катерина Михайловна послѣдовала за нимъ въ Москву, гдѣ должно было окончиться его образованіе. Онъ былъ уже не дитя; у него былъ свой кабинетъ съ вышитыми подушками, зелеными драпри и письменнымъ столомъ...

— Душечка, говорила мать, отпуская его на лекцію, умоляю тебя объ одномъ: не заставляй меня ждать долго; ты знаешь, сколько для меня мученій доставляетъ каждая минута, которую ты промѣшкаешь.

Хоть иногда случалось ей повторять сыну, что настанетъ время когда она будетъ ему не нужна, но это время не наставало. Сашечка, казалось, такъ свыкъся съ ея заботливостью, что даже боялся мысли, что ее когда-нибудь ему не достанетъ. Раза два случилось ему опоздать домой съ лекціи, — безпокойство, съ которымъ его встрѣчала мать, было неописанное, но оно ничего не значило предъ тѣмъ отчаяніемъ, въ которомъ онъ нашелъ ее, запоздавъ однажды вечеромъ у учителя, гдѣ пилъ чай.

Бѣдная мать слегла въ постель на цѣлый день, и просидѣвъ подлѣ нея этотъ день, Александръ убѣдился, что убьетъ ее, если будетъ такъ вести себя. Безпокойство, болѣзненное состояніе ожиданія, нетерпѣніе вывели ее изъ ея обыкновеннаго характера; въ гнѣвѣ, напомнивъ сыну всѣ свои труды, всѣ мелочныя заботы, всѣ его исполненныя прихоти, она назвала его неблагодарнымъ. Сашечка испугался; прошелъ гнѣвъ матери, но не его страхъ; этотъ страхъ слѣдился его шестымъ чувствомъ...

Воронскій провель пять лѣтъ въ высшемъ учебномъ заведеніи. Мать сама выбирала для него знакомства, гдѣ онъ могъ бы пригото- вить себѣ что-нибудь въ будущемъ; пріятливая и до изысканности учтивая со всякимъ, она не хотѣла, чтобы сынъ ея сближался съ этимъ *всякимъ*. Она создала себѣ идеаль чего-то скромнаго, спокойнаго, благора- зумнаго, какъ внутренняго, такъ и внѣшняго, — и потому всякое исключеніе изъ этихъ трехъ условій кололо ей глаза. Одной едва замѣтной рѣз- кости въ обращеніи довольно было, чтобы навсегда оттолкнуть ее; не- брежность ее ужасала; малѣйшее уклоненіе отъ свѣтскихъ условій, — въ образѣ жизни, — въ нарядѣ, казалось ей странно, неуростительно. Она создала себѣ свой идеаль порядочнаго, и до этого совершенства хотѣла довести сына.

Воспитаніе молодаго челоуѣка отъ 20 до 25 лѣтъ—вещь очень затру- днительная; Катеринѣ Михайловнѣ казалось, что труды ея удавались. Строгостью, лаской, безконечнымъ вниманіемъ она успѣла въ томъ, что манеры ея сына не были странны въ обществѣ, гдѣ онъ былъ принятъ. Три, или черты вышитые сафьянные бумажника лежали на его письмен- номъ столѣ, но они были всегда пусты и никогда не ложились въ его карманъ. Впрочемъ, деньги ему были не нужны; для него все выби- рала и покупала сама мать; онъ не обѣдалъ въ ресторанахъ, не хо- дилъ въ театръ одинъ, игралъ въ карты только у знакомыхъ, гдѣ бы- валь вмѣстѣ съ матерью, — на что же былъ нуженъ бумажникъ его карману?

Катерина Михайловна всячески баловала своего Сашу исполняя всѣ самамалѣйшія его прихоти и была вообще очень высокаго мнѣнія о своемъ дѣтищѣ.

Она жила прекрасно, принимала пріятно, и потому всѣ поддержи- вали ее и утверждали въ убѣжденіи, что ея сынъ «прекраснѣйшій мо- лодой челоуѣкъ». Это названіе такъ освоилось молодому челоуѣку, что онъ принималъ его, какъ собственность, и бывалъ даже удивленъ, если замѣчалъ, что кто-нибудь смотритъ на него, какъ-будто не признавая за нимъ этого достоинства. Мать также удивлялась этому и не про- щала...

Кончивъ курсъ въ высшемъ учебномъ заведеніи, Воронской отпра- вился въ одну изъ замосковскихъ губерній гдѣ и поступилъ на службу въ какую-то Палату. Катерина Михайловна сопутствовала ему изъ Москвы въ городъ N, гдѣ наняла домъ и составила знакомства.

Въ половинѣ октября, въ морозный вечеръ, мѣсяцъ прекрасно свѣтилъ надъ городомъ N, гдѣ не горѣло ни одного фонаря и въ окна не свѣтилось ни одной свѣчки. Только въ переулкѣ, довольно далекомъ отъ главныхъ улицъ, былъ ярко освѣщенъ одинъ большой домъ. Прохожіе, — (а въ этомъ переулкѣ и особенно въ ночное время они были рѣдки, потому-что переулочекъ славился собаками), прохожіе заглядывали въ окна, надѣясь увидѣть, по-крайней-мѣрѣ, вечеринку, если не настоящій свадебный балъ. Но въ свѣтлыя окна виднѣлись только злыя драпировки и пустыя комнаты, и только одна тѣнь гуляла по этимъ комнатамъ...

Эта тѣнь была Катерина Михайловна; она прохаживалась по большой залѣ и гостиной, казалось, въ ожиданіи. Александръ сидѣлъ въ своей палатѣ; Катерина Михайловна знала, что изъ палаты Александръ захочетъ чаю и поспѣшитъ домой, потому что у знакомыхъ уже не застанетъ чаю; она ждала кого-то другаго. Къ подъезду скоро подкатила карета, и Катерина Михайловна приказала скорѣе свѣтить, и сама поспѣшила въ прихожую, встрѣчать гостю.

Гостя была нѣкто мадамъ Д. Катерина Михайловна остановилась на порогѣ.

— Ахъ, Боже мой, какой сюрпризъ, душечка, вскричала она, когда гостя раскуталась и обратилась къ ней съ привѣтствіемъ. Прошу васъ войти; я и не ожидала! Сдѣлайте одолженіе... какъ ваше здоровье? Я думала, вы на вечерѣ?

— Гдѣ на вечерѣ, Катерина Михайловна?

— А у Грашковыхъ? у нихъ вечеръ сегодня.

— Да... Нѣтъ, я къ нимъ не поѣхала. Я сейчасъ отъ Марьи Николаевны, ее отпустила, а сама къ вамъ.

— Какъ! что вы говорите! Развѣ ужъ пора на вечеръ? Еще только половина восьмого.

— Давно девять, Катерина Михайловна.

— Что вы, душечка! Мои часы сегодня Сашечка носилъ къ часовыхъ-дѣлъ-мастеру, и я большія по нимъ поставила... возможно-ли!.. Прошу садиться... возможно ли, чтобы девять!.. Да Сашечка бы давно воротился изъ должности... Сюда, къ столику, мой ангель... гдѣ тутъ скамеечка?..

— Ахъ, Катерина Михайловна, не безпокойтесь!

— Какъ ваше здоровье теперь?

— Слава Богу, поправляюсь, благодарю васъ.

— Вѣдь у васъ ревматизмъ?... Ахъ, что это! Кажется подъѣхали!..

— Развѣ вы ждете кого, Катерина Михайловна!

— Да, какъ-же. Развѣ вы не знаете?

— Ахъ, я и не замѣтила, въ-самомъ-дѣлѣ... И я-то чего же смотрю! У васъ комнаты освѣщены... У васъ стало-быть званые?

— Помилуйте, Александра Ивановна, развѣ возможно, чтобы у меня былъ званый вечеръ, и вы бы объ этомъ не знали? чтобы я не почла долгомъ просить васъ!.. А что у меня комнаты освѣщены, такъ это... признаюсь... я люблю свѣтло; чего стоить лишняя свѣчка?... У меня ужъ въ домѣ люди привыкли, одна-ли я, нѣтъ-ли, все равно. Сегодня я къ себѣ пріѣзжаю жду.

— Вѣрно родственницу вашу?

— Нѣтъ. Видите-ли. Въ В., когда еще мужъ служилъ, пріѣхалъ одинъ чиновникъ, человѣкъ молодой, съ женою, Александръ Антоновичъ Литвинъ. Я всегда бывала рада, если прибавляется наше общество, а они были такіе прекрасные люди,—она красавица; онъ всегда такъ любезенъ. Они бывали у насъ почти всякій день; но бѣдны, бѣдны такъ... что я и не знаю. Я даже, бывало, грѣшу, говорю мужу: помилуй, въ состояніи-ли мы всякаго одолжать? У насъ сынъ, — тебя не будетъ, что мнѣ дѣлать? Мой Иванъ Иванычъ—вы его не знали—онъ былъ весь чужой!.. Вотъ, Богъ имъ далъ дочь, Ниночку: отецъ былъ такъ радъ, зоветъ мужа крестить. Я ему прямо сказала — (онъ пріѣхалъ и просить, мужа нѣтъ дома) я говорю: «Александръ Антоновичъ, образумтесь, вы зовете крестить къ себѣ предсѣдателя, — ему пара, по-крайней-мѣрѣ, предводительша, кого-же вы позовете гостей? Положимъ, къ вамъ всѣ поѣдутъ, но душечка, вѣдь это вамъ стоить полугодоваго жалованья! Обѣдъ, десертъ, вино, вы подумайте.» Онъ мои руки цѣлуетъ; умоляетъ, проситъ, чтобы я мужу позволила. «Я знаю, говорить, вы начальница, отъ васъ все зависитъ.» Я говорю: Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Вы сами человѣкъ образованный; вы понимаете, что Иванъ Иванычъ не станетъ крестить съ кѣмъ-нибудь, съ хозяйкой вашей, съ просвирней Маланьей,—кто ужъ тамъ ее знаетъ, иначе вамъ сдѣлать нельзя. Я вамъ говорю, какъ другу, и пусть Марья Андреевна, ваша супруга, обижается, я знаю, она сама меня послѣ поблагодарить. Долгъ дружбы и знакомства я исполню: я привезу послѣ вашей малюткѣ рубашечку и поясъ, какъ-будто я сама мать ея крестная, но крестить моему мужу нельзя. Это пойдетъ...

— Ахъ проказница Катерина Михайловна!

— О, да, я была человѣкъ рѣшительный! Мой Александръ Антоновичъ такъ и уѣхалъ. Ужъ не знаю тамъ, кто у нихъ крестилъ. Я къ ней не поѣхала. Вы знаете сами, что принято, когда дама получить дитя, она присылаетъ увѣдомить своихъ знакомыхъ, если хочетъ чтобы они къ ней ѣхали; ну, а Марья Андреевна этого не сдѣлала; ея мужъ пріѣзжалъ звать моего мужа крестить, а не меня, такъ какъ-же мнѣ ѣхать? она можетъ—быть и не хотѣла меня видѣть... Да, право, душечка, что вы на меня такъ смотрите? Вѣдь бываютъ такіе характеры, для которыхъ непріятно быть обязаннымъ кому-нибудь; они не пьнятъ того, что если имъ скажешь что-нибудь непріятное, такъ это для нихъ самихъ, для ихъ пользы. А я не могу вынести, я все выскажу! особенно когда такъ много люблю, какъ я ихъ любила, Марью Андреевну и Александра Антоновича. И такъ мы съ ними годъ не видались. Одинъ разъ, это ужъ черезъ годъ было... Вотъ именно, какъ судьба все дѣлаетъ... я вамъ послѣ скажу. Я иду вечеромъ пѣшкомъ, одна, отъ Шатровскихъ, — у насъ былъ судья, прекрасный человѣкъ... взяла Сашечку за руку и пошла, только велѣла человѣку себя проводить. Иду, — а я пошла чрезъ переулокъ, тутъ ближе, да ѣзды не было, въ первый разъ я въ эту улицу. Иду, вижу подлѣ одного домика женщина ребенка нянчить. Я остановилась, говорю: скажите, душечка, чей это ребенокъ? Та говоритъ: Александра Антоновича Литвина. Я такъ и вскрикнула: Литвина! ахъ, дай мнѣ его, вѣдь это моего друга дочь! какъ ее зовутъ?.. Они ей какое-то мудреное имя дали Нимфодора, Неонилла, что-ли, ужъ не знаю... Я говорю: это Ниночка, Саша, гляди, вѣдь это Ниночка... Я такъ и заплакала.

Катерина Михайловна заплакала при воспоминаніи. М-ме Д. была въ нѣсколько стѣсненномъ положеніи человѣка, который, при всемъ своемъ желаніи, не можетъ разчувствоваться чувствомъ другаго...»

Этого отрывка довольно, чтобы читатели сами судили о новомъ произведеніи В. Крестовскаго.

II. НОВЫЯ КНИГИ.

повѣсти и рассказы А. Ѳ. Писемскаго. Москва, 1853 года. Въ типографіи Степановой. Три части. Въ 12-ю д. л., 428, 402 и 511 стран.*

Эти три книжки, представляющія итогъ нѣсколько-лѣтней дѣятельности литератора, который въ короткое время приобрѣлъ нѣкоторую извѣстность, если не въ массѣ публики, то, по-крайней-мѣрѣ, въ журналахъ, много о немъ толковавшихъ, — составляютъ, въ настоящую минуту, самое интересное явленіе нашей, такъ-называемой, изящной словесности. Правда, всѣ эти повѣсти и рассказы, въ разные сроки, напечатаны уже были въ повременникахъ; но собранныя нынѣ вмѣстѣ, конечно, приобретутъ бѣльшее число читателей, и подадутъ поводъ — сколько къ общему заключенію о свойствѣ и степени дарованія автора, столько же и къ самой повѣркѣ мнѣній, выраженныхъ о немъ критиками нашими, при постепенномъ помѣщеніи опытовъ его въ журналахъ.

Что касается насъ собственно (то-есть, пишущаго эти строки), мы съ талантомъ г. Писемскаго знакомы были доселѣ только по первому его дебюту, повѣсти *Тюфякъ*, независимо отъ помѣщенія ея въ «Москвитянинѣ», изданной, въ свое время, и отдѣльно, въ ограниченномъ впрочемъ количествѣ экземпляровъ. Этимъ-то прославленнымъ въ журналахъ «Тюфякомъ», — въ буквальномъ смыслѣ, предметомъ, служащимъ къ успокоенію утомленнаго человѣка и слѣдственно пригоднымъ для конца, открывается, напротивъ, собраніе предлагаемыхъ сочиненій: *Тюфякъ* поставленъ во главѣ первой части и занимаетъ девять-десятыхъ ея... Перечитывать ли снова 363 страницы? Много-ли, даже во всесвѣтной литературѣ, романовъ и повѣстей выдерживаетъ достохвально трудный процессъ вторичнаго чтенія, неоскорбляющей авторскаго самолюбія неучтивыми, хотя и невольными зѣвками, маленькимъ скучаньемъ и простительною въ такомъ случаѣ небрежностью? Для храбраго, всею мощью читательской силы, одолѣнія какой-бы то ни было книги, во второй, или третій разъ ея изученія, необходимы первоклассныя, высшія ея достоинства: чрезвычайная занимательность содержанія (при ловкой завязкѣ, ходѣ, безпрестанно подстрекающемъ вниманіе, и эффектной развязкѣ), необыкновенныя, съ безукоризненною художественностью изображенные характеры, почти непрерывное драматическое движеніе рассказываемыхъ происшествій, истинный патетизмъ, или неистощимый высокій юморъ...

* Въ главной конторѣ Пантеона и у книгопродавца Ю. А. Юнгмейстера: три руб., съ пересылкою 4 руб. сер.

наконецъ оригинальность и мастерство изложенія, пначе — живость, разнообразіе, красота, или поэзія слога... Принадлежитъ-ли «Тюфякъ» къ малому, избранному числу подобнымъ произведеній? — «Тюфякъ», по аналогіи съ самой этой вещью, довольно неподвиженъ, неповоротливъ, тяжеловатъ. Но это ни чуть не мѣшаетъ ему имѣть свои условно-добрыя качества: напริมѣръ, упругость не безъ мягкости и другихъ удобствъ для спокойнаго и ненапріятнаго при содѣйствіи его отдохновенія... Слущается, что вы нѣсколько нетерпѣливо и переворачиваетесь порою съ бока-на-бокъ, поправляете подушку, измѣняете положеніе корпуса своего и т. п., — но здѣсь вѣдь и не идетъ рѣчь о совершенствѣ тюфячнаго комфорта... по нѣкоторой слабости, неровности и разбросанности частей толстоватыхъ, кое-гдѣ, и не незамѣтныхъ поверху пружинъ...

Не требуется, полагаемъ, и рассказывать подробно содержаніе этой повѣсти, фундаментальнаго и краугольнаго камня авторской извѣстности г. Писемскаго. Предлагаемая читателямъ *третично*, обсужденная журнальными критиками *многажды*, она, чтобъ не набить оскомины, можетъ обойтись безъ новыхъ пересказокъ. Лишь для полноты разбора припомнимъ, что въ небольшомъ романѣ этомъ авторъ молвить широкое слово о судьбѣ одного вялаго и полусоннаго господина, Павла Васильевича Бешметова, по таковымъ апатическимъ свойствамъ своимъ и нареченнаго Тюфякомъ — прозвище, впервые данное ему родною тетушкою, Перепетуей Петровной... Перепетуя Петровна? Не правда-ли, презабавочное имячко, и можетъ-ли быть не забавною особа, носящая его? Съ нея-то начинается извѣстнаго рода юморъ повѣсти, кончающейся плачевно, смертью героя — *Тюфяка*, въ-слѣдствіе неблагопріятныхъ обстоятельствъ и совмѣстничествъ, встрѣченныхъ имъ по случаю необдуманной женитьбы на прехорошенькой и прелбойкой дѣвушкѣ, неимѣвшей ничего общаго, а тѣмъ менѣе симпатическаго съ супругомъ — тюфякомъ, который зарылся въ книгахъ, неблагообразенъ наружностью, дурно одѣвается, неловокъ и смѣшонъ до крайности, и, въ добавокъ ко всему — такой тюфякъ! — ногтей не чиститъ и рукъ даже не моетъ...

Безспорно, привлекательная г-жа Бешметова была неоправдаемо виновна передъ своимъ благороднымъ и великодушнымъ супругомъ, — виновна вѣтреностію и легкомысліемъ; но, съ другой стороны, вольно же было благородному, великодушному и притомъ умному супругу не чистить ногтей и не мыть рукъ, одѣваться безъ вкуса, уродливо, и держать себя медвѣдемъ... на женщину всегда дѣйствовала, дѣйствуетъ и будетъ дѣйствовать наружность, независимо отъ душевныхъ, или вѣтренныхъ достоинствъ, которыя, при такомъ условіи, въ свою очередь,

и сильно, увеличиваютъ привязанность. Не только любви, — самой дружбы нельзя пріобрѣсть человѣку неопратному. Изъ двухъ крайностей, изъ двухъ золъ, выбирая меньшее, ужъ лучше быть завзятымъ фантомъ, или фатомъ, нежели перяхой; циники и діогены, въ нынѣшнемъ свѣтѣ, никуда не годятся; да и въ древнемъ они были лишь исключеніемъ, далеко не всѣми одобряемымъ, и которое могло выкупаться гениальными развѣ странностями, искрометными блестящими высокога, оригинальнаго ума... когда въ Бешметовѣ ничто не блистало. Неглушій, начитанный, или, скорѣе, зачитавшійся, онъ, однакожь, ничѣмъ не выступалъ изъ общаго уровня, и ни какое дарованіе, ни какая яркая черта, или полоса не заглаживала въ немъ не свѣтской негладкости, не заставляла забыть его тюфячества. Конечно, дурно поступила дражайшая его половина, предпочтя ему ничтожнаго, гнуснаго Бахтіарова, прикрывавшаго свою презрѣнную натуру именно лоскомъ и обольщеніями свѣтскости, этою мишурою, которая, къ сожалѣнію, не рѣдко заслоняетъ собою чистое золото, особенно, если оно не очищено отъ грязи, не вышопировано... калифорнскій или австралійскій самородокъ никогда не бываетъ такъ красивъ и заманчивъ, какъ металлъ, обработанный рукою мастера художника, хотя и съ примѣсью постороннихъ, не столь дорогихъ веществъ... но за тѣмъ—то мужья и должны быть посмышленѣе и предусмотрительнѣе: двѣ трети нравственности, а слѣдственно и счастія женщины зависятъ отъ благоразумія и внимательности нашего брата, и часто, очень часто проступокъ жены, ея паденіе, суть слѣдствіе ошибокъ, слабости и неразсудительности мужа, который съ первой минуты брака обязанъ быть неусыпнымъ стражемъ, подь-часъ нѣжнымъ, подь-часъ строгимъ руководителемъ неопытной, воспримчивой своей подруги... стоглазымъ блюстителемъ ея гордой чистоты и цѣломудрія, которое прозрачно, какъ весеннее облако, тонко, какъ свѣжая паутина, какъ старое кружево... Вѣроятно, все это имѣлъ въ виду и самъ авторъ, и его повѣсть не что—иное, какъ новый «урокъ дочкамъ» или молодымъ дамочкамъ и добрый совѣтъ мужьямъ: «не будьте, господа, тюфяками!»

А повѣсть, говоря вообще, не касаясь частныхъ и подробностей, ведена и обставлена не безъ искусства, весьма для перваго опыта замѣчательнаго. Очень милое созданіе — сестрица Тюфяка, и *хорошъ*, между—прочимъ, ея сожитель, кутила, проказникъ Масуровъ, уменьшенная и значительно ослабленная копія или карриатура Ноздрева, — всѣмъ извѣстное лицо романа, авторъ котораго любилъ преувеличивать и каррикурировать иногда не въ мѣру и несовсѣмъ вѣрно...

Но довольно о Тюфякѣ, чтобъ читателю спать не захотѣлось. Пе-

реходимъ ко второму и остальному очерку первой части: «Питерщикъ» который такъ и называется *очеркомъ*, и по объему немногихъ страницъ, и по характеру разсказа, нѣсколько длинноватаго растянутымъ введеніемъ и еще болѣе крутоватаго, усѣченного, какъ конусъ, развязкою или заключеніемъ...

Питерщикъ или *Питерецъ*, какъ вы, безъ сомнѣнія, изволите знать — нарицательное крестьянъ, приходящихъ изъ внутреннихъ губерній промыслять чѣмъ-нибудь въ Петербургъ. Г. Писемскій выбралъ питерщика изъ чухломскаго уѣзда (костромской губерніи), сообщая объ этомъ уѣздѣ и мастерствахъ его нѣкоторыя любопытныя свѣдѣнія, съ подбавкою юмора, и соединяя такимъ-образомъ беллетристику съ статистикой. Собственно же сказка состоитъ въ слѣдующемъ. Неглупый крестьянинъ Клементій, промысломъ маляръ, выгодно ведетъ дѣла свои въ Питерѣ, и счастливъ своею прекрасною, кроткою женою, которую очень, очень любитъ. Но она, послѣ кратковременной болѣзни, вдругъ умираетъ, и разболѣлось любящее сердце Клементья. Изображеніе грусти и тоски его по женѣ, въ его уста вложенное, по нашему мнѣнію, лучшее мѣсто въ этомъ ремесленномъ очеркѣ. Затѣмъ Клементій начинаетъ пощивать съ горя, искать развлеченія и влѣдствіе дружбы съ безразличными людьми, зажиточный недавно ремесленникъ мало-по-малу спускаетъ всѣ свои денежки, честнымъ трудомъ нажитыя, изъ тороватаго хозяина превращается въ горемыку-работника, и наконецъ принужденъ воротиться въ деревню. Тамъ родные вторично его женятъ на некрасивой, но послушной бабѣнкѣ, которая далеко не по немъ, не пара ему, молодцу и хвату, очень умильно поглядывающему на пригожаго *десятскаго* — Марью (въ той сторонѣ, случается, сельскія должности исправляютъ женщины, и Клементій, шутя, выражаетъ желаніе попасть въ сотскіе, чтобы десятскій—Марья — былъ годъ его началомъ). Тутъ-то, въ деревнѣ, проѣздомъ, авторъ узнаетъ Клементья, его семью, и его вышеприведенную исторію, словоохотливымъ крестьяниномъ разсказанную со всѣми подробностями и разными отступленіями и прибаутками...

Вотъ какъ, напримѣръ, ведетъ рѣчь свою понасмотрѣвшійся того-сего Клементій:

«Жалованье (по мастерствамъ) идетъ разное, про это кто говоритъ, только въ карманѣ выходитъ одно и то же. На что ужъ, кажись, по жалованью, лучше кузнечнаго дѣла? Послѣдній работникъ получаетъ четыреста, а который поискуснѣе, и холодную тамъ подкову знаетъ, такъ и четыреста на серебро хватить; а много ли богачей? Ни одного! Отъ малаго до большаго, что въ недѣлю заработалъ, то на праздникъ

въ харчевнѣ и спустиль; а тепериче, взять и другую сторону: портной, сапожникъ и гравировщикъ, у насъ считается на что есть хуже изъ всѣхъ: у нихъ, съ позволенья сказать, зимой, въ субботу, въ баню надобно сходить, такъ старшій подмастерье выпросить у дворника рукавицы, надѣнетъ ихъ, вмѣсто сапогъ, на ноги, да такъ и отвалаеть, а и по этому дѣлу выходить въ люди... Недалеко взять: у нашего барина дворовый человѣкъ сначала тоже въ Москвѣ поучился портняжничать, тутъ вернулся въ губернію, и теперъ первый сталъ во всемъ городѣ портной,—и значить, что все человѣкомъ выходитъ». (Стран. 379).

Или:

«Здѣсь, я вамъ доложу, мы всѣ бахвалы, именно, такъ-сказать, бахвалы наголо; сойдетъ мужикъ изъ Питера, или изъ Москвы, и начнетъ гнуть штуки: — я-да-я, мы-да-мы, а бабы да дѣвки сидятъ да слушаютъ, разня ротъ, а намъ это и повадно, и куражимся... А какъ по деревнѣ-то живемъ, такъ нечего прибавить: все на виду... Не дальше, какъ въ этой комнатѣ, было у меня этакое дѣло, на Микольщинѣ. Есть здѣсь мужичекъ, верстахъ въ трехъ отсюда живетъ, старикъ простой, смиренный, а денежный; на чужую сторону онъ не ходитъ, а занимается около дома торговлей: саломъ, солью, мясомъ и прочимъ этакимъ товаромъ перебиваетъ; сидитъ онъ у меня въ гостяхъ, и другіе тоже кое-кто былъ, народъ все хорошій, — вдругъ приходитъ нашей деревни мужиченка,—Гришка, питерець коренной, но человѣкъ, то-есть, нукуда не годный. Не взираючи ни на кого и ни на что, *шастъ* прямо въ передній уголъ, сѣлъ и почалъ хвастать: и денегъ, говорить, у него много, и анараловъ всѣхъ знаетъ, и во дворцѣ бывалъ, то-есть, я вамъ скажу, такую цонесь околесную, что уши вянуть. Деревенскій этотъ мужичекъ слушалъ, слушалъ, да и говоритъ: полно, говорить, Гриша, не высоко ли берешь?.. Что-же, сударь, какъ вы думаете?.. Этотъ шельма—Гришка—оборвалъ старика, на чемъ свѣтъ стоитъ! И толоконное, говорить, ты брюхо! и лѣсная кочерга!.. Просто сказать, раскостилъ, а тотъ только смолчалъ; дѣлать нечего, на чужой сторонѣ не бывалъ, разсуждать объ этомъ много не можетъ... Вотъ, вѣдь, у насъ, какая здѣсь практика заведена, такъ и не больно манить проживать около дома! а все лестно, нельзя ли какъ-нибудь въ Питеръ, или Москву... Это, батюшка, полагаю, и въ вашемъ званіи бываетъ: вотъ, бываетъ, молодые господа изъ Питера съѣзжаютъ, такъ большой тоже форсъ держать. Къ нашему барину пріѣзжалъ отъцова двоюродный братъ. Мы, какъ его по Питеру знаемъ, господинъ очень непыратый: на службѣ нигдѣ не состоитъ, капиталовъ за собой никакихъ не имѣетъ, а только что, примѣрно, по-питерски

сказать, тортуары тамъ гранить; а подите-ка: какъ пріѣхалъ сюда, какой тонъ повель! У нашего помѣщика въ усадьбѣ, все расхаялъ: и домъ безъ скусу, и скотные дворы выстроены не по плану... Я тутъ не вдалькѣ слушалъ, какъ они объ этомъ разговаривали, и только самъ съ собою подумалъ: у тебя-то, думаю, выжига питерская, какія тамъ палаты разстроены!» (Стран. 384—386.)

Долго, однако, не посидѣлось питерщику въ деревнѣ, съ постылою второй женой, съ больною старухой-матерью и баловнемъ-сыннишкомъ, очень удачно, въ немногихъ чертахъ, обрисованными авторомъ, ни даже съ примачивымъ десятскимъ-Марьей. Сколотивъ кое-какую деньжонку, снова направилъ онъ стопы въ соблазнительный Питеръ. «Не болѣе, какъ чрезъ три года»—говоритъ авторъ—«я встрѣтилъ его въ Петербургѣ (,) въ одномъ трактирѣ. Онъ сидѣлъ въ волчьей шубѣ, съ золотымъ перстнемъ на пальцѣ, въ ботфорто-подобныхъ сапогахъ, съ двумя другими, тоже, надо полагать, подрядчиками... Порадуясь (т. е. порадовавшись) успѣху питерщика, я, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ лицѣ его порадовался и за изворотливость русскаго человѣка» (стран. 427—428). Это послѣднія строки очерка.

На сколько въ немъ, при ремесленной статистикѣ, дѣйствительно и собственно литературнаго,—предоставляется разсудить самимъ читателямъ. Нѣкоторые критики въ восхищеніи отъ «Питерщика», вѣроятно, въ томъ смыслѣ, что смѣтливый авторъ, щадя изящный вкусъ просвѣщенной публики, во-время опускалъ занавѣсъ. Впрочемъ о вкусахъ и цвѣтахъ спорить трудно, и потому нельзя сѣтовать на выборъ, заставляющій иныхъ изъ современныхъ словесниковъ нашихъ чаще водить читателя въ избы и харчевни, нежели въ салоны и будуары.... не все же описывать пышныхъ красавицъ и львовъ первой руки, въ столицѣ или провинціи. На всякаго рода описанія бываетъ мода, или эпидемія, смѣняющая одна другую. Терпѣливо подождемъ новаго оборота вкуса, и выбора предметовъ, лицъ, изображеній...

Вторая часть раздѣляется на двѣ равныя почти половины, двумя разнородными произведеніями. Первое называется: «*Инохондрикъ*, комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ». Васъ, можетъ-быть, нѣсколько удивитъ, какимъ образомъ—въ книгу съ заглавіемъ *новѣсти и разказы* попало сочиненіе драматическое, театральное... Не удивляйтесь, ни даже не находите страннымъ. Съ-тѣхъ-поръ, какъ одна забавная и замысловатая сказка не шутя пущена въ свѣтъ подъ именемъ поэмы, и заняла мѣсто въ сосѣдствѣ великихъ эпопей Гомера, Илиады и Одиссеи, всякая литературная классификація или разрядность—потеряна... коро, пожалуй, какой-нибудь другой шутникъ, проказникъ, въ видѣ

поэтическихъ мечтаній выдастъ настоящія статистическія таблицы и дифференціальныя исчисленія. И не бѣда, не важность: заглавіе ровно ничего не значить, какъ давно уже провозгласилъ В. Д. Пушкинъ, извѣстнымъ своимъ восклицаніемъ: «но что намъ дѣла до названья?»

И такъ—за этимъ критика не погонится—пусть «Ипохондрикъ» будетъ не комедія, а повѣсть, или разсказъ въ лицахъ.

Дѣйствіе происходитъ въ уѣздномъ городѣ. Николай Михайловичъ Дурнопечинъ, 35 лѣтъ, воображаетъ, что онъ очень боленъ и скоро долженъ проститься съ жизнью. Никита, сорокалѣтній слуга его, достойный своего прототипа, Осипа въ «Ревизорѣ», въ длинномъ монологѣ разсуждаетъ о болѣзни своего барина (стр. 12—14).

При окончаніи этого монолога является нѣкая Наталья Кириловна Бѣлогривова, дама лѣтъ пятидесяти, дальняя родственница мимо-болнаго, съ сыномъ Ваничкой, 21 года, новѣйшаго времени Митрофанушкой, весьма напоминающимъ Фонъ-Визинова «Недоросля». Пожаловала она нарочно изъ деревни, свѣдавъ о недугахъ Дурнопечина, и имѣя въ виду подольститься къ нему, чтобъ онъ сдѣлалъ въ пользу ея завѣщаніе. Поэтому и поддерживаетъ его въ сказанной мнтельности, говоря ему, между прочимъ: «Ахъ, дяюшка, узнать васъ нельзя! Вотъ какъ-бы, кажется, на дорогѣ встрѣтились, да наплевали въ глаза, такъ и тутъ-бы не признала!» (Стран. 27.)

На первый случай выпрашиваетъ она у «дяюшки», для сынка, пальто да бобровую шапку, и еще до прихода Дурнопечина владеть Ваничкѣ въ карманъ оставленную на столѣ папиросницу, каковой фактъ сопровождается слѣдующимъ, между маменькой и сыномъ, курьезнымъ объясненіемъ:

ВАНИЧКА. Ну, маменька, смотрите, какъ онъ разсердится, да браниться начнетъ?

НАСТАСЬЯ КИРИЛОВНА. Вотъ пустяки: этакой благородный человекъ разсердится!—Еще очень радъ будетъ, что, по-родственному, безъ церемоній, позаимствовались.

ВАНИЧКА. Ну, ладно, маменька, я все на васъ сворочу: прямо скажу, что вы подтибрили.

НАСТАСЬЯ КИРИЛОВНА. Ну, хорошо, говори на меня, что съ меня, старухи, взять...

Настасья Кириловна баба, что называется, не промахъ, и рѣжетъ правду, любитъ правду — сама объ этомъ такъ отзывается Дурнопечинцу: «Всегда говорю, дяденька, правду, такой ужъ глупой характеръ! сколько я за эту правду страдала: только-что не били меня за мою справедливость». (См. стран. 25 и 32.)

Далѣ на сцену, въ своемъ домѣ, являются братецъ и сестрица: Михайло Ивановичъ и Надежда Ивановна Коноричъ: первому 33 года, а послѣдней 36 лѣтъ отъ рожденія, изъ чего явствуетъ, что въ сущности первая, т. е. старшая, она. Михайло Ивановичъ на словахъ страшный храбрець и гроза, а Надежда Ивановна, еще дѣвствующая, напротивъ, очень нѣжна и пламенѣетъ искреннѣйшимъ къ непрекрасному полу расположеніемъ, какъ надлежитъ заключать по слѣдующему, между ними, замѣчательному разговору.

СЕСТРИЦА (съ чувствомъ). Мишель! У меня къ тебѣ одна просьба: не брани его такъ (рѣчь идетъ объ ипохондрикѣ), не проклинай и проети... Ты посмотри на него, какъ онъ грустенъ и печаленъ...

БРАТЕЦЪ. Ахъ, вы бабы! Вамъ бы все сентиментальничать, а дѣла настоящаго вы не понимаете. Ты въ него влюбилась, да и замужъ тебѣ хочется; ну, такъ и женись онъ, когда случай есть.

СЕСТРИЦА. Но если онъ, братецъ, любитъ другую, если онъ измѣнилъ мнѣ въ своихъ чувствахъ?..

БРАТЕЦЪ. Тю-тю-тю! измѣнилъ въ чувствахъ, любитъ другую! Скажите пожалуйста, какіе Вертеръ и Шарлота! Мало чего нѣтъ, да на дѣлѣ выходитъ, чтобъ женился, такъ и женись!

СЕСТРИЦА. Не будь такъ жестокъ, Мишель, но только сходи къ нему и расскажи ему, будто такъ исторію, что одного человѣка любила одна дѣвушка, и въ-продолженіе десяти лѣтъ только объ немъ и думала...

БРАТЕЦЪ. То-есть, это ты объ немъ десять лѣтъ думала? А курчавый-то капитанъ—это какого сорта птица—а?

СЕСТРИЦА (покраснѣвъ). Это была, братецъ, ошибка, заблужденіе.

БРАТЕЦЪ. Скажите пожалуйста... этотъ господинъ вотъ — ошибка, курчавый капитанъ заблужденіе. Ну, а исправническій учитель — тоже заблужденіе?

СЕСТРИЦА. Ахъ, нѣтъ, братецъ, тутъ была совершенная клевета. Мы были только дружны и больше ничего. Но оставимъ это... Ты скажи ему что эта дѣвушка, можетъ-быть, во гробъ сойдетъ отъ любви къ нему... (Стан. 37—39.)

Къ Коноричамъ приходитъ Ванячка и остается наединѣ съ сестрицей. Оказывается, что этотъ новый Митрофанушка, точь-въ-точь какъ старый, «не хочетъ учиться, а хочетъ жениться», и именно на дѣвицѣ Коноричъ, которая нѣкогда оказывала ему благосклонное вниманіе, ей теперь напоминаемое влюбленнымъ юношей. Происходитъ презабавная и преннтересная сцена, въ заключеніе которой, по точнымъ словамъ комедіи, Ванячка, согласно приказанію Надежды Ивановны, становится

на колѣни, а она «обѣими руками беретъ его за голову и цѣлуетъ; занавѣсъ опускается» (стр. 56), и тѣмъ оканчивается первое дѣйствіе, увлекающее любопытство читателя къ дальнѣйшему чтенію этой эксцентрически затѣливой исторіи...

Въ началѣ втораго дѣйствія, Настасья Кириловна рассказываетъ Дурнопечину о своихъ приключеніяхъ въ Петербургѣ, куда она возила, для опредѣленія въ корпусъ, возлюбленнаго Ваничку, когда ему—замѣтите это—было уже *двадцать лѣтъ*. Неужели автору неизвѣстно, что въ эти годы можно опредѣлить сына въ драгунскій полкъ, но отнюдь не въ кадетскій корпусъ, откуда осемнадцатилѣтнихъ уже выпускаютъ на дѣйствительную службу... Случай облитія г-жи Бѣлогривовой помоями могъ-бы остаться за кулисами, какъ и вообще ея рассказы о тѣхъ приключеніяхъ, забавляющіе ипохондрика, но далеко не забавные и не смѣшные читателямъ.

Многоглаголаніе Настасьи Кириловны, къ счастью, прерывается появленіемъ страшнаго сутяги, Прохора Прохоровича Дурнопечина, который приходится ипохондрику «братомъ въ 4-мъ колѣнѣ», и приходитъ къ нему собственно за тѣмъ, чтобъ сорвать съ него что-нибудь... страшаетъ его тяжбою, увѣряетъ, что онъ неправильно владѣетъ доставшимся отъ общей ихъ бабушки имѣніемъ, требуетъ документовъ на послѣднее. Ипохондрикъ спрашиваетъ ихъ у Никиты и—о увы и ахъ!—невѣжда Никита, послѣ нѣкотораго отпирательства, сознается, что за вернулъ ими индѣйку. Что дѣлать? Индѣйка скушана, бумаги разодраны, брошены, развѣяны по волѣ вѣтровъ...

Несчастный мнимо-больной въ глушѣйшемъ отчаяніи. Боясь потерять и деньги свои, пятьдесятъ тысячъ, онъ вынимаетъ ихъ изъ шкатулки, съ камфреніемъ зашитъ въ халатъ... совершаетъ эту операцію, размѣется, наединѣ, притворивши двери и приставивъ къ нимъ стулъ... но вдругъ двери съ шумомъ растворяются, стулъ летитъ, и въ комнату влетаетъ Михайло Ивановичъ Коноричъ. «Ахъ извините вы меня», говоритъ Дурнопечинъ, смѣшавшись: «дуракъ мой лакей дверь заставилъ». «Ничего-съ», отвѣчаетъ герой: мы ее сломали; такая ужъ у *Михайла Иванова* (онъ обыкновенно называетъ себя не иначе) рука; на что ляжетъ, то и ломитъ — желѣзо не всякое терпитъ! (стр. 85). Рассчитывая на трусливость Дурнопечина, «Михайло Ивановъ» вслѣдъ за тѣмъ предъявляетъ ему свои мускулы, жилы кулаковъ и всю свою геркулесовскую организацію, и такимъ-то цитероновскимъ способомъ мало-помалу убѣждаетъ его къ желаемой уступкѣ, то есть къ женитьбѣ на сестрѣ своей. Достигнувъ результата, принимаетъ дружескій, доброже-

лательный тонъ— и свиданіе ихъ заключается перемолвкою, которую читатель найдетъ на стран. 96.

Набросавъ съ три короба разнаго хвастовства и гиперболическихъ выдумокъ, «Михайло Ивановъ» величественно удалился. Ипохондрикъ совершенно растерялся: съ одной стороны процессъ, съ другой насильственная женитьба, съ третьей, откуда ни возмись, пожаръ... робкое, лишенное всякой логики смятеніе Дурнопечина доходитъ до крайнихъ предѣловъ... но на смѣну героя, стеченіе обстоятельствъ ниспосылаетъ вдругъ истую героиню, бабу-гусара, въ особѣ Соломонида Платоновны, шестидесятилѣтней, но здоровенной и логической, даже черезъ-чуръ логической, тётки воображаемаго больнаго. Мигомъ возстановляетъ она порядки: мужественно заставляетъ присмирѣть родственника-сутягу, моетъ голову Настасьѣ Кириловнѣ, потомъ нападаетъ на ея избалованнаго сына, и хотѣ тотъ огрызается, крича: «какъ бы не такъ; что я вамъ дуракъ что-ли дался? маленьку у насъ ужъ извѣстно, ее всякой приколотить, а меня— тибо!» (стран. 140),—однакожь и съ нимъ, не смотря на это *тибо*, справляется по своейски, выгнавъ обоихъ, припугнувъ Никиту, велитъ остричь и выбрать его барина, который, въ-слѣдствіе такого преобразованія въ своемъ туалетѣ, начинаетъ походить на человѣка и значительно пріободряется. Въ заключеніе рукопашнаго спектакля, мудрая Соломонида Петровна находитъ полезнымъ подкрѣпить утомленныхъ въ бою силы, и, по ея распоряженію, подаютъ «полный завтракъ, состоящій изъ колбасы, ветчины, загибенекъ, шпигованнаго поросенка, сыру, балыка и проч.», (стран. 152). Тётушка и племянникъ садятся пріятельски за столъ; ипохондрикъ, забывая свои фантастическіе недуги, одинаково съ нею, правнѣйше уписываетъ за обѣ щѣки, приправляя яствы разными привезенными тетушкой водочками, хересомъ, шампанскимъ, становится здоровъ веселъ и счастливъ...

Всѣ эти овидіевскія превращенія и наинатуральнѣйшія сцены происходятъ въ границахъ втораго и третьяго дѣйствій. Идетъ четвертое.

Но въ четвертомъ дѣла улаживаются, и читатель, или зритель, развязку угадываетъ заранѣе. Михайло Коноричъ хотѣль-было снова озадачить Дурнопечина, да тотъ, благодаря винному куражу, чинитъ надлежащій отпоръ, ставитъ Никиту у дверей, самъ беретъ за стулъ—храбрый братецъ ретируется, а сестрица, напрямки отдѣланная, отдаетъ руку дурачку-Ванѣ, который почти вдвое моложе невѣсты-себѣ-наумѣ...

Имѣніе цѣло; полнинные документы на него у Соломонида Платоновны, нидѣйку-же Никита обернулъ копіями; деньги не похищены; по-

жаръ не истребилъ ничего; дѣвица Коноричъ отвязалась; тетушка общаетъ отыскать невѣсту получше; чувствуя и оцѣняя свое благополучіе, Дурнопечиня возвращается—было въ радости, и вспоминая веселую молодость въ полку, напѣваетъ: «*Краса пирующихъ друзей*», и такъ далѣе, — но вѣрный своей хандрѣ, мнительности, снова погружается въ тоскливыя думы, и, въ самомъ концѣ пьесы, читатель видитъ его на авансценѣ, одного, грустнаго, задумчиваго безъ причины, слышитъ болѣзненно—произносимое, унылое сѣтованіе: «Нѣтъ мнѣ, видно, радостей, нѣтъ для меня счастья... Все было хорошо, только не надолго. Грустнѣй всего, что никто въ мірѣ мнѣ не вѣритъ, никто даже и не пожалѣетъ меня... А я, право боленъ, ужасно боленъ! Вотъ теперь совсѣмъ дыханье захватило; ослабъ совершенно, а испарина—то, испарина какая!» (Стран. 206.)

Вотъ вамъ и *ипохондрикъ*!

Нѣтъ возможности писать серьезную критику на эту дѣйствительную, или мнимую комедію, которая впрочемъ мѣстами заставляетъ улыбаться, мѣстами хохотать чуть не до слезъ. Мы не касались многихъ подробностей и «живѣйшихъ натуральностей», которыхъ въ ней бездна: пусть самъ читатель полюбуется! Не владимся также въ разсужденіе о томъ, что въ этой пьесѣ правдоподобнаго и неправдоподобнаго: всякіе бываютъ характеры, и странностей, чрезвычайностей, въ частномъ быту, не мало. Помните, что нѣкоторые критики, такъ называемой, «натуральной школы» были недовольны главнѣйшими рѣзкостями и вышуклостями разсмотрѣнной комедіи: но вѣдь она сочинена по программѣ, по теоріи искусства, этою школою принятой.. вы сами того хотѣли, господа, и пенять не на кого. Въ оправданіе автора припомнимъ, что комедіи раздѣляются на благородныя и неблагородныя или мѣщанскія. Ну, авторъ состряпалъ комедію мѣщанскую или неблагородную. Подобныя произведенія способствуютъ пищеваренію и хорошему расположенію духа, внушаютъ снисходительность. Спасибо г. Писемскому!

Странное, какое-то отталкивающее впечатлѣніе производитъ другая повѣсть, другая, если угодно, «комедія» второй части: *Mr. Батмановъ*. Это опять—о музы и Аполлонъ!—опять Печоринъ... Печоринъ, процѣженный сквозь Тамарина, но лишенный нѣкоторой граціи послѣдняго и получившій, въ замѣнъ ея, значительную порцію тривіальности... Неужели, гг. сочинители, не пора, наконецъ, оставить внѣ современной литературы эти жалкіе выжимки изъ стараго, обветшалаго одѣянія Чайльд-Гарольдовъ, Донъ-Жуановъ и Онѣгиныхъ, которые начинаютъ уже тускнѣть и въ геніальныхъ подлинникахъ, а въ копотливыхъ копіяхъ, уменьшеннаго размѣра и не всегда удачной кисти, становятся частъ-отъ-часу невыно-

симъ? Къ какому роду мелкой и грубой живописи, точнѣе, малеванья приведетъ напоследокъ это утомительное, однообразное другъ у друга списыванье, и каждый разъ въ нисходящей степени вѣрности, интереса или привлекательности. Развѣ еще непонятно, что въ области изящной словесности истинно и продолжительно можетъ нравиться: или высоко-комическое, или глубоко-трогательное, поразительное, т. е. заставляющее или *смѣяться*, или *плакать*? Середины здѣсь нѣтъ. Съ своими тонкостями, ухищреніями, умничаьемъ и мнимою замысловатостью, она принуждаетъ лишь—*звать*. Какой неутѣшительный для писателей и читателей результатъ! Ошибаетесь, слѣпо ошибаетесь, господа, въ этомъ упорномъ, исключительномъ подражаніи покойнымъ Гоголю и Лермонтову, которые, только благодаря силѣ своего оригинальнаго, самобытнаго дарованія, успѣли временно увлечь публику запутанными парадоксами и ложными идеями, и ни въ какомъ случаѣ постоянными образцами служить не могутъ и не должны. Вспомните, что одинъ кончилъ литературное и жизненное поприще въ первой молодости, и, слѣдственно, его «Героя нашего времени» нельзя считать окончательнымъ убѣжденіемъ или направленіемъ его, какъ Гётевъ Вертеръ далеко не былъ полнымъ проявленіемъ мыслительности и думы своего автора, который опредѣлительнѣе и яснѣ высказался въ позднѣйшихъ своихъ твореніяхъ—плодъ лѣтъ зрѣлыхъ, мужества и старческой мудрости—и что второй, то-есть Гоголь, за нѣсколько лѣтъ до своей кончины, печатно и чистосердечно объявилъ, что недоволенъ многими своими произведеніями.

Такимъ-образомъ, возвращаясь къ гг. Батманову, надлежитъ, съ прискорбіемъ, сказать, что этотъ безъ причины разочарованный господинъ—по прямой линіи, до конца испорченный, внукъ нѣкогда умнаго и привлекательнаго въ самыхъ заблужденіяхъ своихъ Печорина. Поддѣлываясь подъ сынка его и батюшку своего, Тамарина, этотъ самоповѣйшій Чайльдъ-Гарольдъ, Михайло Матвѣевичъ Батмановъ, дѣйствуетъ въ губернскомъ или уѣздномъ городѣ, и окружаетъ себя сюжетами по примѣру незабвеннаго дѣдушки: роль Вѣры разыгрываетъ у него вдова Софья Николаевна Наунова — женщина просто полоумная, забывающая даже внѣшнія условія приличія и репутаціи; въ роль княжны Мери выступаетъ довольно миленькая впрочемъ m-lle Бетси—но въ-пору одумывается и выходитъ за нѣкоего богача и честнаго, добраго, хотя недалежнаго человѣка, г-на Овцынина; настоящій же баранъ разсматриваемой повѣсти (его такъ и зовутъ бараномъ), наряженный въ костюмъ Лермонтовскаго Грушницкаго, это нѣкто г. Капринскій. Ему безнаказанно говорятъ и дѣлаютъ дерзости, обиды; онъ ихъ почти небрежно переноситъ

сидѣть за стаканъ глинтвейна и даровой ужины; находить, что у Батманова «языкъ бритва» (стр. 216), чего вовсе не находить читатель; выпрашиваетъ у фата его фракъ, чтобъ покрасоваться въ немъ на балѣ, и безпрекословно дозволяетъ снять съ себя этотъ несчастный фракъ—тамъ-же, на балѣ, въ буфетѣ собранія, когда въ Батмановѣ стало духа и наглости во всеуслышанье объявить объ одолженіи, келейно оказанномъ пріятелю, и потребовать отъ него тутъ-же, на мѣстѣ, возвращенія собственности. Вѣроятно, этимъ беззащитнымъ и неправдоподобнымъ поступкомъ своего героя, авторъ желалъ показать всю его ничтожность и возбудить въ читателяхъ окончательное къ нему отвращеніе — цѣль совершенно достигнутая, и благоразумная, стараго времени женщина, мать Бетси, г-жа Жермакова, очень вѣрно опредѣлила Батманова, выразившись о немъ такъ: «Пустой и дерзкій мальчишка! Какъ нынче молодые люди стали пошлы—удивительно!» (стр. 233) Правда и то, что нынче не мало молодыхъ людей умныхъ, истинно образованныхъ, скромныхъ и вѣжливыхъ,—стрѣлы же нашихъ сатириковъ нерѣдко поражаютъ не дѣйствительность, а шаловливые призраки собственного воображенія. Тотъ-же копируемый, но изящный Лермонтовъ давно сказалъ:

Съ кого они портреты пишутъ?

Гдѣ разговоры эти слышатъ?

А если и случилось имъ,

То мы ихъ слышать не хотимъ...

(Его соч., часть I, стр. 72.)

Вамъ не угодно слышать, и мы охотно увольняемъ васъ отъ дальнѣйшихъ подробностей о смутныхъ похожденияхъ гг. Батманова, который «разомъ выпиваетъ бутылку хереса», и котораго «выдумки» самъ авторъ называетъ «чрезвычайно пошлыми и глупыми» (см. стр. 308 и 320.)

Въ оправданіе или объясненіе этой затѣйливой повѣсти, именуемой въ заглавіи *очерками*, допустить развѣ догадку: не имѣлъ-ли сочинитель ихъ колкаго, но похвальнаго намѣренія написать злую пародію на Печорина и Тамарина, какъ, по крайней-мѣрѣ, позволительно заключать изъ слѣдующихъ, въ концѣ повѣсти, словъ Московской львицы, вдовы княгини Ухванской:

«Задушили вы меня, господа, вашей литературой и философіей... давайте лучше сплетничать!..» (Стр. 401.)

«... Ахъ, какъ они меня измучили; какъ они все скучны!» (Стр. 402.)

Первую повѣсть третьей части: «Сергій Пет. овичъ Хозаровъ

Мари Ступицына, бракъ по страсти» нельзя упрекнуть въ копированіи Лермонтова; не слишкомъ замѣтно въ ней и вліяніе Гоголя, мѣстами лишь выказываемое. Но нечитавшіе еще этой повѣсти очень ошибаются, если, судя по ея заглавію, воображаютъ найти въ ней дѣйствительный бракъ *по страсти*, или характеры серьезные. Ни чуть не бывало! Всѣ дѣйствующія лица ея напоминаютъ легкихъ, веселенькихъ героевъ Поль-де-Кока, и, въ этомъ смыслѣ, г. Писемскій, на-первый-случай, довольно удачно подражаетъ романисту французскому: таже не очень строгая въ выборѣ красокъ кисть, тѣ же изображенія и подробности, не претендующіе на педантизмъ и робость или застѣнчивость.... недостаетъ только — бездѣлицы — неистощимаго Поль-де-ковскаго юмизма и того чувства, той скрытой въ мелочахъ глубины, которыми отличаются лучшія произведенія автора «Парижскаго цирюльника», «Монфермельской молочницы», «Бѣлаго дома», «Сына природы и чловѣка образованнаго». Рисуя портретъ недурнаго собою Хозарова, г. Писемскій прибавляетъ: «О подобныхъ фізіономіяхъ существуютъ два совершенно противоположныя мнѣнія. Одни говорятъ, что это красавцы, миленькіе, даже молодцы, мало этого, Аполлоны-Бельведерскіе; другіе же называютъ ихъ смазливими рожищами, масками, расписными купидонами и даже форейторами» (стран. 21). По этимъ строкамъ вы уже догадываетесь, съ какимъ героемъ будете имѣть дѣло. Въ одномъ изъ московскихъ переулковъ, онъ занимаетъ нумеръ со столомъ у какой-то Татьяны Ивановны Замшевой, которая держитъ нахлѣбниковъ, и долго не получаетъ отъ него уплаты; покровительствуется онъ какою-то причудницей, Варварой Александровной Мамиловой (переименованная *Манилова* изъ «Мертвыхъ душъ»), занимаетъ у нея деньги для женитьбы на безцвѣтной Мари Ступицыной, обладающей преуморительнымъ отцомъ (лицо, рѣшительно взятое у Поль-де-Кока) и благоразумной, но слабой матерью, неохотно склонившейся на этотъ бракъ. Въ заключеніе оказывается, что Хозаровъ отъявленный негодяй, а Мари — пустѣйшая вѣтряница, достойные другъ друга. Ни малѣйшей «страсти» съ обѣихъ сторонъ тутъ не было: Хозаровъ женился потому, что рассчитывалъ на состояніе Ступицыныхъ; Мари онъ слегка нравился, и глупенькая дѣвочка приняла маленькое увлеченіе за неодолимую любовь, которую вскорѣ преодолѣлъ другой смазливый молодой чловѣкъ. Разсорившись съ тещей и женой, Сергій Петровичъ обратился было къ прежней своей покровительницѣ и совѣтчицѣ, Мамиловой, въ чаяніи получить отъ нея снова деньги и другія убѣдительныя доказательства ея расположенія къ нему: но, при этомъ сближеніи, вель себя такъ неприлично и нагло, что за дерзость свою получилъ *личную* нечаянность,

каковыми «личностями» вообще обилуютъ разсматриваемыя сочиненія... Тѣмъ и кончается повѣсть, длинно, предлинно рассказываемая на пространствѣ 276 страницъ. Не лишена она вовсе занимательности, есть въ ней пять, шесть не дурно веденныхъ сценъ: но что это такое въ цѣломъ, и на какой собственно конецъ она написана — простой умъ читателя недоумѣваетъ, статья можетъ, обязательно для автора объяснять услужливые и провинцательные критики....

Второй рассказъ третьей части — «Комикъ» — замыкающій собою собраніе твореній г. Писемскаго, повѣствуетъ объ устройствѣ, въ уѣздномъ городкѣ, однимъ любителемъ, домашняго или благороднаго спектакля. Подробно описаны все хлопоты, сборы, приготовленія, репетиція и самое представленіе; выведены на сцену разные чудачки, и, казалось бы, пьесѣ слѣдовало выйти забавной, комической по-превосходству: но, въ последнемъ рассказѣ, юморъ и веселость нѣсколько измѣнили автору, можетъ-быть, въ слѣдствіе отвлеченной идеи, которую онъ имѣлъ въ виду при составленіи этой пьесы. Въ ней неоднократно, съ приличною тонкостью и косвенностью, намѣчается, что изображеніе смѣшнаго и тривиальнаго составляетъ, будто-бы, верхъ и вѣнецъ искусства, при чемъ заботливо осмѣиваются драма, трагедія и тому подобное. На страницѣ 424 явно даже сказано, что «всякая комедія, если она выражаетъ что-нибудь смѣшное, ярко и естественно, — классическая комедія». Эта мысль влагается въ уста самого героя рассказа, комика Рымова, который, на репетиціи и представленіи отличается въ роли Подколесина, въ комедіи Гоголя «Женитьба», «геніальною», по мнѣнію его, г. Рымова, произведенію (см. стран. 400). Впрочемъ большой вѣры словамъ сего г. Рымова давать не надлежитъ: онъ горячайшій пьяница и вообще не въ своемъ умѣ, что и приводитъ его напослѣдокъ въ домъ сумасшедшихъ, или, какъ сказано на стран. 511-й, въ «сумасшедшій домъ». Если не ошибаемся, немногоскучноватая пьеса эта помѣщена въ концѣ не безъ намѣренія: ею, ея мыслями хотѣли, думается, указать точку зрѣнія, съ которой должно смотрѣть на разобранныя нами повѣсти и рассказы, то-есть внушить читателю достаточное уваженіе къ комическому ихъ характеру и усвоить ему многозначительность....

Такимъ-образомъ, однакожъ, *Тюфякъ*, все-таки, остается лучшимъ произведеніемъ автора. Трудно устранить убѣжденіе, что ежели-бъ этотъ первый его опытъ, довольно счастливый, не былъ слишкомъ захваленъ журналами, — то въ послѣдующихъ, конечно, оказалось-бы больше развитія или усовершенствованія дарованія, больше рачительности въ созданіи внутреннемъ и исполненіи вѣшнемъ. Разумѣемъ небрежность

изложенія, — неправильность языка а недостатокъ въ окончательной отдѣлкѣ слога. Приводимъ нѣсколько образчиковъ, въ доказательство спрavedливости укоризны и въ примѣръ молодымъ литераторамъ, какъ не должно писать по-русски: но, что́бы эти тяжелыя для читателей и для насъ выборки не рабили статьи, относимъ ихъ въ особое примѣчаніе *.

Давидъ Копперфильдъ. Романъ Чарльза Диккенса. Переводъ съ Англійскаго П. И. Введенскаго. С. Петербургъ, 1853. Четыре части. Въ 8-ю д. л. 451, 428, 494 и 533 стран. *

Диккенсу посчастливилось на родинѣ, подъ свинцовымъ небомъ и влажными туманами Альбіона; Диккенса съ жадностію читають за океаномъ, въ Новомъ Свѣтѣ, его полуземляки, старые переселенцы Соединенныхъ Штатовъ; Диккенса перелагають на всѣ европейскіе языки; безъ сомнѣнія, слухъ о немъ скоро дойдетъ до китайцевъ и японцевъ, при настоятельномъ намѣреніи просвѣщеннаго міра открыть съ ними сношенія: но нигдѣ, конечно, этотъ умный и даровитый Джонъ Буль не принялся лучше, какъ въ переводной литературѣ русской... сквозь Гершедевъ телескопъ думали усмотрѣть въ этомъ неистощимомъ, хотя и нѣсколько однообразномъ романтистѣ нѣкоторое сходство съ на-

* *Часть первая.* — Съ ранняго еще утра... — «Взойдите въ церковь» (стран. 367). Въ церковь входятъ, а не всходятъ. «Матка первое время, какъ посмотреть на него» и прочее (369) — «замахиваясь клячкой на пятилѣтняго мальчишку, который къ ней то подсккивалъ, то отскакивалъ» — не *отъ нея* ли? (374) — «При всей своей практической оборотливости, ему доступны нѣжныя ощущенія» (426). *Часть вторая.* — «Онъ пришелъ изъ низу тотчасъ какъ замѣтилъ» и проч. (212): то-есть поднялся изъ залы на хоры. — «Онъ (глиннѣеинъ) былъ-бы превосходенъ, есlibъ меньше вонялъ виномъ и сандаломъ» (220). — «Я не люблю пятиться *назадъ*» (235): никто не любитъ и не можетъ пятиться *впередъ*. — «Нѣкоторыя подробности изъ прошедшей жизни выведенныхъ *лицъ, которыя* авторъ собралъ изъ достовѣрныхъ источниковъ» (250); *которыя* относится здѣсь къ лицамъ и выходитъ неточность. — «Былъ въ полкъ *корнетъ*» (255). «Его именемъ матери пугали маленькихъ» (285): то-есть, матери пугали маленькихъ его именемъ. — «Нанималъ онъ на зиму *для* себя квартиры, *для* которыхъ выбиралъ обыкновенно старый домъ» (270). — На эти саночки дамы сажались, а кавалеры *оставали* на задокъ» (343). — Это постоянная въ книгѣ ошибка: авторъ вездѣ пишетъ *вставать* вмѣсто *становиться*. — *Часикъ третій.* — «Дѣвица Замшева сѣла *передъ* столомъ.... *передъ* нею стояла баба (3—4). — «Спрыгнула *въ* постель» (64): спрыгивають съ постели, а на постель прыгають или вырываютъ, ужъ если необходима такая эквилибристика. — «*Парирую* моею жизнью» (136). — Парируютъ рапиромъ, а на жизнь, хотя очень неблагоприятно, можно держать пари или закладъ. Прекращаемъ выписку, ограничиваясь какой-нибудь десятой долею сдѣланныхъ нами на поляхъ замѣтокъ. За то г. Писемскаго нельзя упрекнуть вычурностію: слогъ его, напротивъ, чрезвычайно простъ... даже иногда слишкомъ удаляется отъ условій художественной простоты, которая не такъ-то всегдѣ доступна...

Въ главной конторѣ «Пантеона» и у всѣхъ известныхъ книгопродавцевъ, — *четыре руб.*, съ пересылкою *пять руб. сер.*

шимъ покойнымъ Гоголемъ; но у импровизаторовъ — астрономовъ, отъ множества дѣйствующихъ лицъ и многосложности описываемыхъ Диккенсомъ происшествій, зарябило въ глазахъ, и услужливые наблюдатели не могли хотя внутренно не сознаться, что между авторами *Похожденій Чичикова* и *Домби*, въ степени и свойствѣ таланта, въ способѣ или характерѣ исполненія, равно какъ во взглядѣ или возрѣвнн на жизнь частную — аналогія самая микроскопическая, которой, пожалуй, и неблизорукіе вовсе не замѣтятъ. Какъ бы то ни было, начиная съ «Оливера Твиста» и «Пиквикскаго клуба» и оканчивая, покаместъ, романомъ, названнымъ въ заглавіи этой рецензіи, журналы наши усвоили себѣ почти все произведенія Диккенса, включая даже небольшія повѣсти, или рассказы его, правоописательные, юмористическіе очерки и всякія мелкія статьи. Въ-самомъ-дѣлѣ, лишь только лондонскія типографіи выпускаютъ что-либо въ свѣтъ съ обаятельнымъ именемъ пресловутаго Диккенса, какъ въ Петербургѣ и Москвѣ — разумѣемъ, ихъ литературу — начинается вѣчто въ родѣ скачекъ съ препятствіями... переводчики, журналисты, наборщики, корректоры и печатники изъ всехъ силъ стараются обогнать другъ друга въ количествѣ листовъ и ошибокъ — взору спокойнаго зрителя, равнодушно улыбающагося, представляется забавное состязаніе, достойное кисти Гогарта, или, по-крайней-мѣрѣ, карандаша, пестрившаго тетради нашей «Ерлаши».

Года два тому, три пріятели подписались одновременно на «Отечественныя Записки», «Современникъ» и «Москвитянинъ» съ тѣмъ, чтобы, по прочтеніи каждымъ своего изданія, обмѣниваться ими другъ у друга, и такимъ образомъ, за одиѣ деньги, наслаждаться разностью содержанія трехъ журналовъ. Обыкновенно пріятели пересылались книжками при обоюдныхъ записочкахъ, и вотъ, въ нѣкоторое прекрасное утро, Иванъ Ивановичъ адресовалъ къ Андрею Александровичу слѣдующее посланіе: «Неоцѣненный другъ! Спѣшу и поспѣшаю препроводить къ тебѣ новый нумеръ «Современника», гдѣ ты, къ великому своему удовольствію, мною уже вкушенному, найдешь удивительное произведеніе: *Копперфильдъ-Младшій*, нашего общаго любимца, Ч. Диккенса. Весь твой и навсегда...» Въ то же незабвенное утро, Андрей Александровичъ, не охотникъ тратить бесполезно лишніхъ словъ, обратился къ Ивану Ивановичу такъ: «Посылаю свои «Отечественныя» съ *Копперфильдомъ-Младшимъ*. Вышли «Современникъ»: что у тебя тамъ?» Не далѣе, какъ въ упоминаемое утро, въ тѣ же самыя часы и минуты, Иванъ Ивановичъ получилъ отъ Михайла Петровича такую лаконическую и немного жесткую по формѣ эпистолу: «На тебѣ «Москвитянинъ» — *Копперфильдъ-Младшій*. Давай свой Современникъ!»

Можете вообразить себѣ отчаяніе друзей, столкнувшихся на этомъ злосчастномъ Копперфильдѣ—Младшемъ и принужденныхъ цѣлый годъ оплакивать его бѣдствія, въ трехъ переводахъ. Къ елико-возможному услажденію сей горечи, три благородные и безпристрастные пріятеля рѣшили остановиться на томъ переводѣ, какой признается лучшимъ и ближайшимъ къ подлиннику. По долгихъ толкахъ, сомнѣніяхъ и колебаніяхъ, пальма первенства вручена наконецъ была переводу О. З., т. е. труду г-на И. Введенскаго, каковой похвальный трудъ и является нынѣ въ отдѣльномъ изданіи, открывая собою, предпринятую имъ, *Галерею избранныхъ англійскихъ писателей*...

Боясь очутиться въ странномъ положеніи трехъ пріятелей, невольно предложившихъ другъ другу за новость известное уже каждому, мы не станемъ обстоятельно рассказывать длинной и запутанной исторіи Давида Копперфильда (*The personal history of David Copperfield*), которая и въ сокращеннѣйшемъ извлеченіи заняла бы нѣсколько печатныхъ листовъ. Вы давно знаете, что она заключаетъ въ себѣ наиподробнѣйшее, чуть не безконечное повѣствованіе о судьбѣ и судьбахъ своего героя, отъ колыбели, въ первую минуту и даже прежде минуты рожденія, до періода полной возмужалости зрѣлыхъ и отчасти, пожалуй, перезрѣлыхъ лѣтъ, съ маленькою прорѣзью въ рѣдкихъ волосахъ и съ замѣтными морщинами на полуобнаженномъ челѣ, свидѣтель думъ, испытаній и многочисленныхъ житейскихъ случайностей. Не менѣе известно вамъ, какъ вообще силенъ Диккенсъ въ изображеніи дѣтства, школьнаго быта, его радостей и горя, горя дѣтскаго въ особенности, ученическихъ, юношескихъ шалостей или проказъ, наградъ и наказаній. Въ этихъ изображеніяхъ, совмѣщающихъ въ себѣ, разумѣется, характеры родителей, родственниковъ, воспитателей, наставниковъ, домашней или школьной прислуги, — Диккенсъ соперниковъ не имѣетъ. Это его конекъ, на которомъ онъ всегда достохвально выѣзжаетъ и съ котораго неохотно сходить. Вспомните его прежніе романы, начиная съ того же Оливера Твиста; иногда онъ даже повторяется въ своихъ послѣдующихъ произведеніяхъ: но какъ повторяется — заслушиваешься, зачитываешься этихъ повтореній, и отъ книги оторваться не можешь! Диккенсъ — Гомеръ въ изображеніи дѣтства, которое изучилъ онъ всею глубиной и симпатіей своей благородной и нѣжной души. Вы то плачете, то содрогаетесь, то приходите въ умиленіе, съ сердечнымъ сочувствіемъ пробѣгая страницы мастеракаго, сколько художественнаго, столько же увлекательнаго разсказа о какомъ-нибудь маленькомъ страдалцѣ, и неоднократно вспыхиваетъ негодованіе ваше на недостойныхъ, жестокихъ мучителей невиннаго, слабого отрока, — судя по романамъ Диккенса,

черта, вѣроятно, часто встрѣчаемая въ Англіи, странѣ холоднаго разсчета и систематической коммерціи, гдѣ все безпощадно приносится въ жертву цифрѣ...

И — странно! — лишь только дитя вырастаетъ, отрочекъ становится юношей, а юноша взрослымъ человѣкомъ, когда можетъ уже защищать себя, но когда впрочемъ настааетъ едва ли не труднѣйшая, не опаснѣйшая борьба съ дѣйствительною жизнью, отвергающей призраки ребячества, — высокій талантъ Диккенса, словно утомленный эпопеей пройденнаго дѣтства, какъ-бы ослабѣваетъ нѣсколько, а съ тѣмъ вмѣстѣ неизбѣжно ослабѣваетъ электрическій или гальваническій интересъ книги: любопытство, сочувствіе ваше уже не подстрекаются, такъ сказать, конвульсивно; она нерѣдко выпадаетъ изъ рукъ, и вы дѣлаетесь почти равнодушны къ дальнѣйшимъ судьбамъ героя, бакенбарды котораго прельщаютъ васъ менѣе, нежели былыя свѣтлорусыя кудри дѣтской нѣкогда его головки...

Все это, въ извѣстной степени, повторяется и при чтеніи знаменитаго Давида Копперфильда, безспорно, однакожь, одного изъ лучшихъ, замѣчательнѣйшихъ твореній британскаго романиста...

Все оно, отъ начала до конца, отъ первой до послѣдней страницы, почти безукоризненно прекрасно: но, сравнительно, превосходнѣйшее, занимательнѣйшее въ немъ—это первая его половина, или около того, т. е. періодъ дѣтства и юности Давида, до прекращенія несчастій бѣднаго мальчика. Готовъ бы, кажется, еще разъ перечитать эти исполненные живѣйшаго интереса главы, гдѣ, между прочимъ, впервые является на сцену бабушка, которая съ виду представляется такою злою и недоступною, такъ любить опрятность и терпѣть не можетъ ословъ; гдѣ видите ужасныхъ Мордстоновъ, отчима и его ненавистную сестру, ни-за-что, ни про-что, терзающихъ безответнаго ребенка и его тихую, кроткую мать, которая слишкомъ, слишкомъ наказана за грустную ошибку втораго брака. Страданія обоихъ, постепенное угасаніе, болѣзнь и безропотная смерть убитой жребіемъ женщины невольно исторгаютъ у васъ слезы и—проклятіе на отвратительныхъ виновниковъ незаслуженнаго гоненія... Потомъ знакомитесь вы съ оригинальнымъ (по господствовавшей въ немъ системѣ воспитанія) пансіономъ мистера Крикля, куда отдали бѣлокураго Давида, нашедшаго тамъ защитника и покровителя въ лицѣ одного гордаго, но обладающаго какою-то чарующею силою товарища, который въ-послѣдствіи, неодолимымъ очарованіемъ этимъ, губитъ невинную дѣвushку...

Новыя несчастія, новыя испытанія ждутъ Давида, послѣ того, какъ онъ взятъ отъ мистера Крикля, и злымъ отчимомъ отданъ къ ка-

кимъ-то торговцамъ, чуть не на съѣденіе, физическое и моральное. Преисполнилась мѣра терпѣнія и униженій злополучнаго дитяти... Давидъ бѣжитъ; бѣжитъ далеко.. усталый, изнуренный, голодный, въ крови и ранахъ, подвергаясь разнымъ опасностямъ и приключеніямъ, прибѣгаетъ онъ наконецъ къ жилищу той, которой отринуть былъ съ минуты рожденія, за то, что пришелъ въ свѣтъ мальчикомъ, а не дѣвухой, какъ она желала и твердо разсчитывала,—почти безъ чувствъ падаетъ у ея порога, и простирая къ ней ослабѣвшія, окровавленные руки, болѣзненно, едва слышно произноситъ: бабушка, я внукъ вашъ!!

Кто бабушкѣ не внукъ, и какая-бы суровая бабушка не разжалобилась—отселѣ начинаются отраднѣйшіе дни и болѣе свѣтлыя картины перетерпѣвшаго невзгоды Давида—и отселѣ же—да простить намъ гений достопочтеннаго Чарльза Диккенса—начинается, мѣстами, нѣкоторая монотонность и растянутость его романа, безконечныя и не всегда необходимыя вводности, дробности, впрочемъ съ рѣдкимъ искусствомъ и успѣхомъ веденныя... Но и въ этой, второй половинѣ романа сколько есть обаятельныхъ, удивительныхъ главъ, лицъ, образовъ, характеровъ, сценъ, положеній. Въ предѣлахъ краткой статьи невозможно и намекнуть на многое, однакожъ, и сквозь это обиліе происшествій, сюжетовъ, персонажей, замѣтно выступаютъ фигуры: содержателя учебнаго заведенія, въ которомъ Давидъ окончилъ воспитаніе, ученаго, добрейшаго старичка, всю жизнь составляющаго словарь греческихъ корней; его молоденькой, хорошенькой жены, съ ея другомъ дѣтства и ея маменькой, «гусаромъ» — такъ и называемой; первой жены Давида, наивнаго, рано угасшаго прелестнаго созданія, и ея тетусекъ-пташекъ; преданной служанки Пеготти и ея мужа, извозчика; отца второй жены Кошперфильда, слабохарактернаго старика, крѣпкими напитками приведеннаго въ одуреніе, и его хитреца-компаньона, страшнаго, гнуснаго, омерзительнаго Урія-Гица... наконецъ, вѣроятно, памятной всѣмъ читателямъ, вѣчно странствующей и бѣдствующей четы, которая отъ горя и отчаянія быстро умѣетъ, за пуншемъ, переходить къ безграничной радости и шумному веселію...

То юморъ, въ глубокомъ, англійскомъ значеніи слова, то задушевная элегія и благороднѣйшее созерцаніе жизни человѣческой, художественно скрытое въ разнообразномъ разсказѣ и подъ формами самыми привлекательными—вотъ общій характеръ этого романа, какъ и другихъ подобныхъ произведеній Диккенса...

Говорили, увѣряли въ журналахъ, будто бы въ лицѣ Давида Кошперфильда авторъ изобразилъ собственный характеръ, собственную жизнь (Кошперфильдъ тоже писатель): если такъ, то неудивительно, почему

Диккенсъ, съ сильною любовью, симпатіей и увлеченіемъ, постоянно и удачнѣе всего рисуетъ нравы и печали дѣтства—въ эту пору онъ много вынесъ самъ... въ предположеніи, разумѣется, что исторія Давида—дѣйствительно личная исторія сочинителя, дополненная, украшенная и обставленная романическимъ вымысломъ...

Что касается перевода,—г. Введенскій вполне и счастливо удовлетворилъ строжайшимъ требованіямъ взыскательнѣйшаго читателя, который едва ли въ настоящемъ случаѣ пожалѣетъ, что не знаетъ по-англійски: большей похвалы трудолюбивый и талантливый переводчикъ, конечно, въ свою очередь, ни отъ кого не потребууетъ. Единственное, въ чемъ можно и должно упрекнуть его, это излишнее стараніе о приданіи, на русскій ладъ, характерности выраженіямъ англійскаго простонародья... Напримѣръ: «Тутъ же кѣтати узналъ я, что парикъ мистеру Шарпу былъ не впору, и что онъ напрасно хвастается, *чуфырится* имъ». — «По этому ужъ мы и *того...* то-есть, вотъ такъ-то оно!» — «Пожелайте ему всякаго благополучія, на вѣки *нерушимаго*». — «И выходитъ, стало-быть, что Эмилиа — дѣвушка *нашинская*, все равно, изъ нашей семьи, то-есть, господа, малютка Эмпи—нашего поля ягода и нашей роши соловей...» — «Я человекъ темный, сэръ, темный и жесткій, какъ дикобразъ, *сирльчъ*, морская свинья... джентльменъ сказалъ бы это *великатилье...*» — Къ чему подобныя неумѣстныя подражанія испорченнаго русскому просторѣчю, которое не имѣетъ ничего общаго съ просторѣчіемъ британскимъ?.. Но это немногія пылинки на чистомъ золотѣ, и во всемъ остальномъ переводъ образцовый...

Повѣсти и рассказы для дѣтей, съ шестью картинками, литографированными въ литографіи А. Минстера. С. Петербургъ, 1853. Въ 12-ю д. л. 251 стран. *

Скромные издатели не выставили своего имени въ заглавіи этой нравоучительной и старательно составленной дѣтской книжки — лучшаго къ празднику Пасхи подарка маленькимъ читателямъ. Они полюбуются сперва картинками, а потомъ не оторвутся отъ текста, который долженъ врѣзаться въ воспримчивой памяти каждаго умнаго и добраго ребенка, а простоватаго и своенравнаго вразумить примѣрами возвышен-

* Въ главной конторѣ Пантеона и у *всѣхъ* извѣстныхъ книгопродавцевъ: *одинъ* рубль, съ пересылкою 1 р 25 коп. Иногородные книгопродавцы и частныя учебныя заведенія желающіе выписать не менѣе ста экземпляровъ и получить значительную уступку, благоволятъ относиться въ контору Редакціи Сѣверной Пчелы, какъ о томъ объявлено было въ № 75-мъ этой газеты, 4-го апрѣля.

ныхъ и вѣжныхъ чувствъ, выраженныхъ въ каждой изъ двадцати статей, помѣщенныхъ въ этой книжкѣ. Небольшія повѣсти ея, исполненные трогательныхъ уроковъ, теплые рассказы о дѣлахъ и подвигахъ добра и блага, семейныхъ, сыновнихъ и дочернихъ добродѣтеляхъ, спасительные совѣты и наставленія, приспособленные къ понятію возраста, незнакомаго еще непосредственно съ опытами и трудностями жизни, конечно, принесутъ пользу юнымъ сердцамъ, а живое воображеніе дѣтей— то выжметъ изъ глазъ ихъ слезу симпатической печали, жалости, состраданія, то призоветъ на свѣжія, невинныя уста ихъ улыбку радости или умиленія. Нельзя искренно не поблагодарить неизвѣстныхъ издателей за этотъ удачный выборъ содержанія, болѣею-частью почерпнутаго въ иностранной литературѣ, а частью и оригинальнаго, или, по-крайней-мѣрѣ, со вкусомъ передѣланнаго. Правильный языкъ и одушевленный слогъ не мало также придаютъ достоинства этому дѣтскому, красиво напечатанному альманаху...

IV МУЗЫКА.

Обиліе и пустота концертовъ. — Дороговизна входныхъ цѣнъ. — Направленіе музыки въ настоящее время. Истинные жрецы искусства. — Г. и г-жа Леонардъ. — Замѣчательныя композиціи этого артиста и его концерты. — Многогѣшность фельетоновъ — Г. Антуанъ Конскій. — Его игра и композиціи. — Его права на гениальность. — Угощеніе гг. концертистовъ Г. Лещетикій и характеристика его игры. Его концерты и композиціи. Братья Штаальнехъ и Лещгорнъ и ихъ тріо. — Г. Совле. — Г. Щепановскій и его новая метода. — Разные концерты. Филармоническаго общества въ пользу инвалидовъ, и съ нечаянностями. — Нечаянность другаго рода. — Г. Коссовскій. — Концертъ г. Дмитріева Свѣчина. — Музыкальнныя утра г. Леопольда Маурера. — Концерты г-жи Віардо Гарін, гг. Ковтскихъ и г. Даргомыжскаго. — Заключеніе.

Въ послѣдней книжкѣ «Пантеона» мы закончили нашу хронику отчетомъ о концертѣ г. Кажинскаго, которымъ начался длинный рядъ концертовъ нынѣшняго великаго-поста. Несмотря на обиліе утреннихъ концертовъ во-время мясаѣда, великій-постъ, какъ и всегда, былъ настоящей музыкальной порою Петербурга. Музыка раздавалась во всѣхъ концахъ города, концерты числомъ своимъ далеко превзошли всѣ ожиданія.... Но осуществились-ли ожиданія и надежды артистовъ, спѣшвшихъ въ нашу Сѣверную Пальмиру? Вотъ, въ чемъ мы сомнѣваемся, и, признаться сказать, — сожалѣемъ о судьбѣ бѣдныхъ труженниковъ — виртуозовъ, расчитывавшихъ на наши капиталы. Концерты, въ нынѣшнемъ году, какъ-то въ особенности отличались безлюдностью и пустотой, и артисты едва выручали свои расходы.

Но чему именно приписать подобное равнодушіе публики къ талантамъ, дѣйствительно замѣчательнымъ? Ужели музыкальность Петербурга совершенно израсходовалась? Ужели, чтобъ заманить посѣтителей, необходимы неистощимая бутылка Германа и сальто-мортале ученыхъ обезьянъ Казаювы?... Нѣтъ. Скажемъ прямо, мы, то-есть публика, рады слушать звуки, вылетающіе изъ всѣхъ возможныхъ инструментовъ, начиная съ благороднѣйшаго: человѣческой груди и кончая гармоникой г. Онгера (см. «Пантеонъ» за мартъ 1853). Мы рады слушать и наслаждаться ими; но для этого необходимо сдѣлать входъ въ концерты доступнѣе средствамъ большинства. Мы слышали Листа, Тальберга, Вьетана, Серве, и никогда не платили болѣе трехъ рублей серебромъ. Съ какой же стати будемъ мы платить ту же цѣну за посредственности, за удовольствіе слушать артистовъ, которые никакъ не могутъ сравниться съ вышеназванными. Во Французскомъ-театрѣ за ложу бель-этажа мы платимъ по девяти рублей серебромъ, а за концертъ съ насъ берутъ по пятнадцати. Не каждый же имѣетъ калифорнскіе прійскі, чтобъ позволять себѣ подобный расходъ..., иному и хочется въ концертъ, да не подь силу. И откуда пришла господамъ артистамъ несчастная идея такъ увеличивать входныя цѣны? Кто внушаетъ имъ подобныя мысли? Ужъ вѣрно не друзья, а враги ихъ. Какъ долженъ быть благодаренъ г. Антуанъ Контскій тому, кто посоветовалъ ему уменьшить цѣны. Онъ послушался, и остался не въ убыткѣ; напротивъ,—первые два концерта его, съ баснословно дорогими цѣнами, были пусты; онъ сбавилъ плату за входъ, и театръ наполнился до нельзя. Желаемъ отъ души, чтобъ опытъ нынѣшняго года послужилъ урокомъ на будущее время; — артисты право ничего не теряютъ: вмѣсто одного, двухъ концертовъ, они дадутъ шесть, семь; публика больше ознакомится съ ними, и они сами оттого будутъ не въ убыткѣ.

Нашъ вѣкъ развилъ въ музыкѣ дотолѣ ей неизвѣстныя начала. Музыкальный языкъ обогатился множествомъ способовъ выразить самыя энергическія страсти; въ теорію введены новыя формы; механизмъ музыки сдѣлался доступнѣе; самое же исполненіе до такой степени усовершенствовалось, что трудно постигнуть возможность идти дальше по этому пути, хотя, къ сожалѣнію, это же усовершенствованіе подало поводъ къ разнаго рода музыкальнымъ фиглярствамъ. Музыка, какъ и другія искусства, столько же потеряла въ нѣжности и пріятности, сколько выиграла въ силѣ выраженія и въ энергіи. Въ настоящее время концертная музыка изумляетъ, а не восхищаетъ, удивляетъ, но не трогаетъ, и не имѣя болѣе средствъ дѣйствовать вѣрно, она дѣйствуетъ сильно.

Изъ концертовъ мы часто выходимъ неудовлетворенными, съ пустою въ душѣ, въ которой не остается ни малѣйшаго отголоска всѣхъ слышанныхъ нами звуковъ. Они, болѣею частью, поражали только наше воображеніе, но не проникали въ сердце.

Отъ времени, до времени однако, проявляются между нами артисты, воодушевленные искрой геніальности. Они неуспѣшно стремятся водворить музыку въ ея старинныя права и возвратить ей утраченное владычество надъ человѣческимъ чувствомъ. Но, увы! благородныя ихъ старанія оставались часто непривзванными толпою, поклоняющейся только одному блеску, какъ-бы онъ ни былъ поддѣленъ и мимолетенъ. Въ этомъ-то и заключается главная заслуга истинныхъ жрецовъ искусства. Терпѣніе рѣдко не вознаграждается успѣхомъ, и тѣмъ болѣе, что истинный талантъ имѣетъ въ себѣ обаятельную силу, которая рано, или поздно опровергаетъ всѣ преграды, побѣждаетъ всѣ предубѣжденія, и уничтожаетъ даже самую антипатію. Величіе дарованія и достоинство всегда берутъ свое.

Къ числу такихъ свѣтлыхъ явленій несомнѣнно принадлежитъ г. Леонардъ, профессоръ Брюссельской Музыкальной Консерваторіи, посѣтившій Петербургъ вмѣстѣ съ женою своею, Антонією ди Менди, родственницею любимцы нашей, Віардо-Гарсиа.

Непонятное, необъяснимое равнодушіе предшествовало появленію въ столицѣ нашей одного изъ замѣчательнѣйшихъ виртуозовъ Европы, артиста, путешествіе котораго въ Россію было безконечнымъ рядомъ триумфовъ. Никакіе слухи, никакіе толки не носились объ немъ по городу, и между-тѣмъ, какъ весь маршрутъ, всѣ дѣйствія, движенія, даже самые жесты г. Антуана Контскаго приводились въ извѣстность и передавались печатно и словесно, никто не писалъ статей—*réclamés* о г. Леонардѣ, и отого-то именно успѣхъ его былъ неожиданнѣе, поразительнѣе, и стносится чисто къ одному его изумительному таланту.

Фельетоны говорили о г. Леонардѣ, но все сказанное ими было такъ сухо, такъ коротко!.. Они не почли нужнымъ тратить краснорѣчія по этому случаю, и писали объ немъ только мимоходомъ и съ совершеннымъ отсутствіемъ всѣхъ риторическихъ фигуръ. А между-тѣмъ г. Леонардъ давно уже пользуется заслуженною извѣстностью, не только какъ одинъ изъ лучшихъ представителей бельгійской скрипичной школы, глава которой, какъ извѣстно, славный Беріо, — но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ весьма замѣчательный композиторъ, обогатившій музыкальный міръ множествомъ прекрасныхъ сочиненій, въ числѣ которыхъ блестятъ, какъ звѣзды на горизонтѣ: *Fantaisie sur des thèmes russes*, *Régrets et prière*, *Souvenir de Grétry*, *Romance sans paroles*,

Souvenir de Haydn, Fantaisie militaire, Variations sur la valse: le Desir, Réve d'un captif, Six morceaux pour le piano et le violon comp. avec M. M. Grégoire et Littolf, Symphonie pastorale и многія другія, дышащія неподдѣльнымъ чувствомъ, нѣгою и теплою, и вмѣстѣ съ тѣмъ исполненія учености.

Покуда газеты наши оказывали непонятное равнодушіе къ г. Леонарду, судьи, мнѣнія которыхъ составляютъ авторитеты къ музыкѣ, слѣдили тщательно за нимъ, и по пріѣздѣ своемъ въ Петербургъ, г. Леонардъ получилъ пріятное извѣстіе объ избраніи его на мѣсто Беріо профессоромъ Брюссельской Музыкальной Консерваторіи. Много таланта, много знанія, извѣстности и учености долженъ соединить въ себѣ артистъ, удостоиваемой этаго назначенія, одного изъ почетнѣйшихъ въ музыкальномъ мірѣ. Брюссельская Консерваторія не такъ легко раздаетъ патенты свои; ихъ надо брать съ боя.

Вскорѣ по пріѣздѣ въ Петербургъ, г. Леонардъ публиковалъ на 10 марта концертъ, въ которомъ участвовали жена его и г-жа Віардо-Гарсія.

Признаемя откровенно, мы отправились въ этотъ концертъ съ какою-то недовѣрчивостію. И не мудрено: мы привыкли видѣть жалкія посредственности, которыя выступаютъ на судъ публики со всей самоувѣренностію генія и поддерживаются въ этомъ многорѣчивостію нѣкоторыхъ благопріятностей. Повторяемъ, мы вошли въ залу болѣе по обязанности; но вышли съ чувствомъ полнаго эстетическаго упоенія.

Г. Леонардъ въ этомъ и въ слѣдующихъ своихъ концертахъ обворожилъ слушателей. Волшебный смычекъ его пѣлъ мелодическія, сладкія пѣсни, со смысломъ возвышеннымъ, поэтическимъ. Звуки его глубоко проникали въ душу и запечатлѣвались въ ней неизгладимыми чертами. До слуха нашего долеталъ богатый, полный звукъ, то какъ пронзительный крикъ разтерзанной души, то какъ тихій, жалобный вопль страдающаго сердца, то какъ вздохъ, заглушенный слезами, то какъ торжественный возгласъ гимна. Извлекая изъ инструмента своего доселѣ еще неизвѣстныя красоты, г. Леонардъ сначала тихо развивалъ свои нѣжныя, округленныя мелодіи, потомъ, постоянно придавалъ имъ характеръ возрастающей энергіи... и послѣ страстнаго, огненнаго взрыва, звуки угасали, какъ-будто въ послѣднемъ стонѣ замирающаго сердца. Наконецъ вылетѣлъ послѣдній звукъ, и громкіе, оглушительные аплодисманы спѣшили оказать артисту привѣтъ и искреннюю признательность за доставленное наслажденіе.

Истина и естественность игры г. Леонарда заключаютъ въ себѣ невыразимую прелесть; сила его звука оживляетъ своей задушевною

теплотою; выраженіе его звуковъ высказываетъ отголосокъ души; однимъ-словомъ, при игрѣ г. Леонарда мы понимаемъ, что музыка языкъ души, раздѣляемъ ея порывы, сочувствуемъ ея гармоніи, плачемъ и смѣемся подъ ея волшебнымъ вліяніемъ.

Пусть обвиняють насъ въ пристрастіи, —мы знаемъ, что дѣйствуемъ прямо и отдаемъ каждому должную справедливость. До представленія отчета читателямъ, мы повѣряемъ тщательно наши впечатлѣнія, согласуемъ ихъ съ сужденіями знатоковъ и большинства, —и скажемъ, что давно, можетъ-быть со временъ Оле-Буля и Сивори, не имѣли мы случая слышать такого артиста, какъ г. Леонардъ.

Конечно, мы смотримъ на артистовъ немного строго; ищемъ въ композиторахъ не одного блеска и некуснаго, эффектнаго сочетанія звуковъ, а глубины мысли и чувствъ, въ виртуозахъ же не одну холодную ловкость и умѣнье преодолевать механическія трудности, а поэтическую, воспримчивую душу, придающую исполненію выраженіе, чувство, сладость, нѣжность, теплоту. И вотъ отчего мы ставимъ такъ высоко г. Леонарда.

И въ-самомъ-дѣлѣ, артистъ этотъ соединяетъ въ себѣ, съ классической отчетливостію Вьетана, всю эффектность, весь блескъ Эрнста, всю нѣжность и пѣвучесть Сивори, и въ высшей степени обладаетъ рѣдкимъ даромъ воодушевлять своихъ слушателей и надѣлять ихъ искрами того огня, который горитъ въ его сердцѣ. Тонъ его приятенъ и ровень, хотя не слишкомъ силенъ; онъ заключаетъ въ себѣ много нѣги и выразительности, онъ очарователенъ вѣрностію, пѣвучестью и чистотою. Смычекъ его, мягкій, свободный, легко преодолеваетъ всѣ трудности, выдѣлываетъ арпеджіи, двойныя ноты, тремоло, флажолеты, пичикато, пичіарко съ такою смѣлостію и силой, что потрясаетъ всѣ фибры. Но главныя достоинства г. Леонарда составляютъ его граціозность, непринужденность и простота. Въ немъ нѣтъ и тѣни того жеманства, той манерности, того кривлянія, тѣхъ вызывовъ на удивленіе, которыя характеризуютъ нѣкоторыхъ артистовъ, желающихъ ошеломить свою публику внѣшностію, и тѣмъ стяжать себѣ титуло оригиналовъ и геніевъ.

Въ концертахъ г. Леонарда участвовала жена его, урожденная Антонія Менди, ученица славнаго Эмануэля Гарсіи. Она восхищала публику своимъ увлекательнымъ и въ высшей степени мягкимъ голосомъ, по звучности своей похожимъ на серебряный колокольчикъ. Отчетливость и вѣрность исполняемыхъ ею пассажей, трелей, хроматическихъ скалъ, представляютъ слуху тоже, что зрѣнію видъ тончайшихъ брюссельскихъ кружевъ. Сравненіе это нельзя распространить на силу голоса, —голосъ

г-жи Леонардъ небольшой, но замѣчательнъ пріятностью, звучностью, мягкостью органа и превосходной методою. Въ особенности же она хороша въ испанско-цыганскихъ пѣсняхъ, которыя передаетъ со всею оригинальностью ихъ характера и со всею огнемъ южныхъ національных напѣвовъ.

Замѣтимъ здѣсь еще одно. Въ третьемъ концертѣ своемъ г. Леонардъ исполнялъ *сонату la majesté* Бетховена, вмѣстѣ съ г. Рубинштейномъ. Къ крайнему удивленію нашему, первая часть сонаты шла весьма неудовлетворительно. Какой-то непостижимо-болѣзненный тонъ, вылетавшій изъ-подъ смычка г. Леонарда, рѣзко отличался отъ полныхъ звуковъ фортепьяно, и производилъ непріятное впечатлѣніе, которое однако вконецъ изгладилось и замѣнилось восторгомъ при исполненіи слѣдующаго за тѣмъ *Andanté* и финала. Вообще, въ этомъ концертѣ г. Рубинштейнъ вполне доказалъ свой замѣчательный экзекютерскій талантъ. Между-прочимъ онъ исполнилъ одну этюду своего сочиненія, проникнутую Листовскимъ духомъ, и исполнилъ ее такъ хорошо, что вызовамъ и аплодисманамъ не было конца.

Мы уже говорили о многорѣчивости и краснорѣчии фельетоновъ по случаю пріѣзда г. Антуана Контексаго. Всѣ наперерывъ старались подѣлиться съ публикой своими впечатлѣніями и мнѣніями; даже одинъ изъ плодовитѣйшихъ нашихъ драматурговъ успѣшилъ тиснуть въ газетахъ статейку, въ которой весьма поэтически описалъ чувства свои при игрѣ Антуана Контексаго. Но несмотря на всѣ эти приготовления, два первые концерта его были пусты, третій-же наполнился только потому, что афиша объявила, что въ немъ (концертъ давался Аполлинаріемъ Контексимъ) Антуанъ Контекскій будетъ играть *въ послѣдній разъ* и что цѣны значительно сбавлены.

Еслибъ гг. артисты знали, какъ имъ вредятъ фельетоны въ родѣ тѣхъ, какія пишутъ нѣкоторые музыкальные критики, гдѣ геніи создаются по одной волѣ пишущаго, гдѣ напр., утверждаютъ, что Кліо, Муза Исторіи уже не существуетъ, а уступила мѣсто свое Музѣ *гитары*. Еслибы знали это гг. артисты, вѣроятно они не удивлялись бы равнодушію публики къ подобнымъ панегирикамъ, даже если они высказываются несторамъ русской журналистики.

Антуанъ Контекскій въ-самомъ-дѣлѣ артистъ замѣчательный, и хотя далеко не оправдываетъ высокопарныхъ похвалъ фельетоновъ, но можетъ по всей справедливости считаться однимъ изъ искуссѣйшихъ пѣанистовъ.

Обладая ученостью и удивительною механическою ловкостью, онъ не принадлежитъ къ числу тѣхъ пѣанистовъ, подъ пальцами которыхъ дре-

безжать клавиши, ломаютъ струны и ломаются инструменты; напротивъ, онъ ищетъ эффектовъ только въ правильности выраженія и *акцентуаціи*, и въ изящности и щегольствѣ (*élégance*) исполненія. Поразительною силою, скоростью и энергіей своей Антуанъ Контскій владыка надъ своимъ инструментомъ, знаетъ все его средства, и могучими стальными пальцами своими заставляетъ его говорить, кричать, вздыхать. Для него нѣтъ трудностей; онъ шутя преодолеваетъ ихъ, и ослабляетъ, изумляетъ слушателей буйнымъ вихремъ своихъ гаммъ. Но онъ играетъ — а не поетъ, удивляетъ—а не трогаетъ.

Отъ звуковъ его сердце не бьется тревожнѣе, душа не волнуется;—мы слышимъ музыку эффектную, щегольскую, энергическую, но не чувствуемъ ей. Въ груди нашей не возбуждается ни тоска, ни радость, ни грусть, ни веселье, ни меланхолія, на глазахъ не навертываются слезы; мы не ощущаемъ того страннаго чувства, захватывающаго у насъ духъ, — мы только удивляемся. Антуанъ Контскій производитъ на насъ то же дѣйствіе, какъ великолѣпная картина, изображающая Везувій, съ огненной лавой, стекающей глыбами со всехъ сторонъ дымящаго кратера...

Да, Антуанъ Контскій, какъ гигантъ, поддерживающій на плечахъ своихъ огромныя скалы, поражаетъ наше воображеніе, но не трогаетъ сердца, часто взволнованнаго простымъ плачемъ руднаго ребенка.

Игра Антуана Контекаго такъ чиста, механизмъ ея ему такъ доступенъ, что встрѣчаются пассажи, въ которыхъ иной и можетъ замѣтить чувство,—но, увы! разсмотрѣвъ ближе, увидить, что и это чувство поддѣльное, и выражаетъ собою только одно искусство, доведенное до совершенства!

Скажемъ прямо, — въ груди артиста, каковъ Антуанъ Контскій, должно биться воспримчивое сердце, — мы ни чуть не сомнѣваемся въ этомъ. Онъ могъ бы съ талантомъ своимъ сдѣлаться величайшимъ пианистомъ своего времени, еслибы, сядя за фортепяно, онъ забывалъ, что онъ Контскій и давалъ свободу чувствамъ, стѣненнымъ въ его груди; еслибъ, проводя пальцами по клавишамъ, онъ не думалъ о мірѣ, окружающемъ его, а вполне предавался только одной музыкѣ.

Что ни говори почтенный Ю. К. Арнольдъ, называющій минутнымъ капризомъ силу увлеченія, а мы всегда предпочтемъ ее холодному разчету, а особливо тамъ, гдѣ, какъ въ музыкѣ, главную роль играютъ чувства.

Въ одномъ изъ своихъ концертовъ, г. Антуанъ Контскій игралъ концертъ Н-moll Гуммеля, и, какъ намъ кажется, не совсѣмъ удовлетворительно. Выступая предъ публикою, какъ исполнитель, онъ дол-

женъ былъ заботиться болѣе о мысли сочиненія, чѣмъ объ отдѣлкѣ его. Правда, концертъ Гуммеля имѣетъ подраздѣленія, но онѣ недѣлимыя, и разрывать ихъ нельзя безъ явнаго пренебреженія теоріи искусства. Въ концертѣ этомъ, гдѣ первое allegro служитъ только введеніемъ къ остальнымъ частямъ, Антуанъ Контекій поступилъ не какъ исполнитель — теоретикъ, а какъ исполнитель — модный. Изъ сочиненій его «Mazurka-Meditations» очень граціозна, но напоминаетъ сильно Шопена и лишена оригинальности. «Le Carnaval de Berlin» (Galop de Concert) хотя и заключаетъ въ себѣ много хорошаго, но очень далекъ отъ Galop Chromatique Листа, и поддерживается только блестящимъ исполненіемъ. La Cracoviennne миленькое произведеніе, полное свѣжести и пѣвучести. Scherzo, расхваленное и воспѣтое до-нельзя, хотя и очень милое произведеніе, но не Scherzo, а простой наборъ звуковъ, безъ мысли, безъ связи, что-то въ родѣ пѣсни безъ словъ, разумѣется, только не Мендельсоновской. Стоитъ только сравнить его съ скерцами великихъ учителей, чтобы убѣдиться въ справедливости нашего мнѣнія. Увертюра à Grande Orchestre оглушительнѣе всѣхъ увертюръ Верди. Grande Sonate en F dur не имѣемъ другаго сходства съ сонатами, кромѣ названія, даннаго ей по волѣ композитора. Велика она только потому, что въ 4 частяхъ. Но не ищите въ ней ни такъ называемыхъ Hauptsatz, Ueberganggruppen, Gesangsgruppen, Mittelsatz и прочее. Ихъ нѣтъ. Соната не méditation, и чтобы написать сонату по правиламъ, за нее надо приниматься только тогда, когда у музыканта есть воображеніе и богатство мысли, потому-что соната музыкальная поэма, а не простой наборъ фугированныхъ и модулированныхъ мотивовъ. Недурно было бы, еслибъ Антуанъ Контекій, прежде, чѣмъ знакомить публику съ своимъ творчествомъ въ новомъ родѣ сонатъ, доказалъ бы сперва опытность свою на старомъ пути. Одинъ изъ нашихъ фельетонистовъ произвелъ его въ основатели новой *натуральной фортепьянной школы*.

У насъ слишкомъ легко обращаются съ словомъ гениальность, — но пусть господа панегиристы разберутъ построже значеніе этого слова, и тогда они увидятъ, что его нельзя прилагать ко всѣмъ и къ каждому, какъ только вздумается. Мы, съ своей стороны, несмотря на всѣ старанія, не замѣтили ни въ стилѣ; ни въ игрѣ г. Контексаго никакого оригинальнаго характера и отличительнаго колорита, которые давали бы ему право на названіе основателя новой школы. Между-тѣмъ, какъ они ясны у Листа, Гальберга, Шопена, Шульгофа, и даже у Лещетицкаго.

Мы слишкомъ любимъ искусство и уважаемъ замѣчательный талантъ Антуана Контексаго, а потому и рѣшились высказать ему всѣ

эти истины. Если онъ въ душѣ точно такой артистъ, какъ мы предполагаемъ, то онъ пойметъ насъ, несмотря на крики и возгласы, недопускающіе до слуха его отголосковъ правды.

Въ этихъ же концертахъ явился, возвратившись изъ путешествія, г. Аполлинарій Контекскій.

Читатели, вѣроятно, помнятъ наше обѣщаніе въ послѣдней книжкѣ «Пантеона» говорить только о замѣчательныхъ артистахъ и концертахъ, и потому не взыщутъ, если мы не войдемъ въ подробности о всѣхъ, которые нагрянули въ Петербургъ и стали угощать его своей музыкой. Мы употребляемъ слово *угощать* потому, что всякое угощеніе дѣлается на счетъ гостителя, а такъ какъ всѣ эти господа остались въ чистомъ убыткѣ и нѣкоторые приплатили даже свои деньги за наемъ концертной залы и прочее, то и выходитъ, что они чисто угощали насъ.

Кого не найдешь въ этомъ длинномъ спискѣ виртуозовъ! Тутъ есть и Щепановскій, и Шаковскій, и Табаровскій, и Лапчинскій, и Лещетицкій, и Коссовскій, и Бернардекскій, и Нагели, и Фиданцы, и Ивановы, и Губерты, и Перансы, и Скинасы и.... всѣхъ не перечтешь! Отъ души желаемъ имъ всякаго успѣха, но право, не чувствуемъ ни охоты, ни достаточнаго призванія распространяться обо всѣхъ. Мы выбираемъ себѣ трудъ самый пріятный, — мы собираемся говорить только объ артистахъ, имена которыхъ всегда и вездѣ внесутся въ музыкальныя лѣтописи.

Въ главѣ этихъ музыкантовъ стоитъ г. Лещетицкій, молодой пѣвистъ изъ Вѣны (см. «Пантеонъ» за 1852 г. № 11).

Пріятно, говорить о талантахъ, каковъ г. Лещетицкій, который, несмотря на молодость, пользуется уже извѣстностью въ чужихъ краяхъ и считался въ Вѣнѣ соперникомъ Шульгофа. Въ мириадѣ концертовъ нынѣшняго сезона успѣлъ онъ дать только два, но и тутъ уже до того возбудилъ интересъ публики, что мы напередъ увѣрены въ многолюдствѣ его послѣдующихъ концертовъ, если онъ рѣшится на такой подвигъ.

Скажемъ прямо, — интересъ, возбужденный г. Лещетицкимъ, не беретъ начала ни въ риторическихъ объявленіяхъ, ни въ другихъ ухищреніяхъ, слишкомъ часто употребляемыхъ современными артистами, — онъ происходитъ отъ истинно-художественнаго направленія дарованія молодаго артиста.

Теодоръ Лещетицкій обращаетъ все вниманіе на главные элементы музыкальнаго изложенія: на пѣвучесть и тонъ, и въ высшей степени соединяетъ съ техничeskій ловкостью любовь къ изящному, чистый, образованный вкусъ, глубину и теплоту чувствъ.

Техника, безжизненная, безвѣтная техника, составляетъ всю цѣль стремлений для многихъ великихъ виртуозовъ. Лещетицкій же, напротивъ, смотритъ на технику только какъ на средство къ достиженію цѣли, и тѣмъ именно сохраняетъ всю чистоту, все достоинство своего искусства. И онъ правъ. Въ каждомъ искусствѣ средину должно составлять изящное, а не блестящее, не поразительное. Гдѣ эффекты вытѣсняють изящное, тамъ искусство близко къ упадку.

Эластичность удара, мягкость туши, звучность и пѣвучесть игры; оживленное граціею, вѣрное, мѣстами даже элегическое исполненіе, хотя и глубоко обдуманное, но проявляющееся съ душевнымъ увлеченіемъ,—вотъ главные качества рѣдкаго и замѣчательнаго таланта Лещетицкаго.

Впечатлѣніе, производимое Лещетицкимъ, не происходитъ отъ техники и утонченной ловкости, оно является результатомъ его души, обращающей клавиши и струны инструмента въ голоса, говорящіе и поющіе всѣмъ понятнымъ, обаятельнымъ языкомъ чувствъ. Лещетицкій находится съ инструментомъ своимъ въ симпатическомъ отношеніи, и потому—то и выражаетъ на немъ такъ краснорѣчиво всѣ страсти, всѣ чувства, тающіяся въ его воспріимчивомъ сердцѣ.

Понятно впечатлѣніе, которое, при такихъ данныхъ, Лещетицкій производитъ на слушателей. Намъ становится какъ-то хорошо, легко, благотворная теплота проникаетъ въ наши фибры, мы находимся подъ вліяніемъ обаятельнаго чувства, имѣющаго начало свое въ элементахъ нашего духовнаго бытія.

Таковъ Лещетицкій въ молодости. Что-же будетъ послѣ нѣсколькихъ лѣтъ, когда къ этимъ рѣдкимъ качествамъ присоединятся еще опытность и ученость, необходимыя для достиженія высшей степени совершенства? Мы не рѣшаемся опредѣлить ту точку, до которой можетъ достигнуть онъ, если только не увлечется самоувѣренностью, столь пагубной для художественной карьеры, гдѣ каждый шагъ, каждый успѣхъ основывается на усовершенствованіи духовныхъ и умственныхъ началъ искусства.

Лещетицкій не только замѣчательный виртуозъ, онъ весьма замѣчательный композиторъ; въ произведеніяхъ своихъ онъ обнаруживаетъ много самобытнаго таланта, свѣжести, оригинальности идей, изливающихся пѣвучими, задумевными мелодіями, облеченными въ изящныя формы. Въ концертахъ его, больше всего понравились истинно-граціозныя: *Chant des Pêcheurs (Romance sans paroles)*, *Souvenir de Graefenberg (caprice à la valse)*, *Les deux alouettes (Impromptu)*, *Salut à St. Petersbourg (Mazurka)*, *Premier amour (Impromptu)*.

Кромѣ своихъ концертовъ, Лещетицкій являлся и въ концертахъ другихъ артистовъ, и вездѣ встрѣчаемъ былъ громкими аплодисманами.

Теперь поговоримъ о явленіи, весьма интересномъ, но невозбудившимъ въ публикѣ никакого участія. И это насъ до того удивляетъ, что мы совершенно не знаемъ, къ какому именно роду отнести музыкальность Петербурга.

Дѣло идетъ объ удивительныхъ тріо братьевъ Шталькнехтъ и Лешгорна, первоклассныхъ артистовъ, пользующихся заслуженной извѣстностью въ чужихъ краяхъ. Несмотря на истинно-прекрасный составъ этихъ вечеровъ, пустота театра была изумительна. Но зато малое число слушателей вполне оцѣнило усилія и старанія артистовъ, съ рѣдкимъ самоотверженіемъ посвятившихъ себя исключительному изученію и воспроизведенію классической музыки, мало оцѣняемой въ настоящее время, когда ищутъ только эффекта, салтоморталей, хлопущекъ и фейерверкеровъ.

Заслуга гг. Шталькнехтовъ и Лешгорна состоитъ въ томъ, что они вывели изъ забвенія настоящія сокровища, каковы тріо Гайдна. Тріо эти хотя и относятся къ молодости великаго учителя, но неменѣе того заключаютъ въ себѣ много прекраснаго, достаточнаго для прославленія ихъ геніяльнаго композитора.

Что лучшаго могли выбрать они для начала своихъ концертовъ, какъ не тріо въ тѣ *Bemol* мажежъ Гайдна? Соединеніе четырехъ струнныхъ инструментовъ въ одно цѣлое (квартеты) представляетъ наслажденіе, котораго трудно достигнуть другими музыкальными средствами, — соединеніе же двухъ струнныхъ инструментовъ съ фортепяно образуетъ художественную форму, которая возбуждаетъ живѣйшій интересъ противоположностями звуковъ и требуетъ еще болѣе искусства, для приданія имъ единства. Здѣсь соединяются столько трудностей, что только одни гении, каковы Гайднъ, Моцартъ, Бетговень, Мендельсонъ, Шубертъ, счастливо преодолевали ихъ, и произвели сочиненія, дышація нѣжностью, даже въ самыхъ рѣзкихъ противоположностяхъ. Но для подобныхъ композицій требуются и достойные исполнители, понимающіе всю великость предстоящаго имъ труда. И гг. Шталькнехтъ и Лешгорнъ достигли высшей степени совершенства. Звуки фортепяно получаютъ подъ руками г. Лешгорна столько мягкости и упругости, что сродняются съ звуками скрипки и виолончеля. Инструменты же гг. Шталькнехтъ приближаются, въ отрывистыхъ скорыхъ пассажахъ, къ выразительному характеру фортепяна. Съ одной стороны продолжительность, съ другой моментальность тоновъ соединяются, сливаются другъ съ другомъ и проявля-

ются цѣлымъ, въ которомъ нѣкоторыя части выдаются впередъ только для того, чтобъ болѣе характеризовать и разнообразить основную идею композици. Virtuозность этихъ музыкантовъ истинно-классическая. Трудности пассажей преодолеваютъ они съ глубокимъ, душевнымъ чувствомъ, которое безъ всякой примѣси эгоизма всегда готово сгладиться предъ блескомъ товарищей, чтобы только придать цѣлому изящный колоритъ.

Сверхъ-того, въ концертахъ этихъ г. Лешгорнъ явился довольно замѣчательнымъ пѣанистомъ и композиторомъ, и заслужилъ искреннюю благодарность слушателей за превосходное исполненіе сочиненныхъ имъ Tarentelle, II martellate, Valse impromptu, а въ особенности La belle amazone.

Г. Ю. Шталькнехтъ—одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ виолончелистовъ, которыхъ привелось намъ слышать; къ этому таланту онъ присоединяетъ еще прекрасный даръ композици, видный въ его Adieux à la Suisse, Souvenir de St. Petersbourg... Confession d'Amour.

Исполненная братьями Шталькнехтъ фантазія ихъ сочиненія: Die Walpurgis-Nacht принадлежитъ къ числу тѣхъ фантастическихъ пьесъ, которыя иногда доставляютъ славу композиторамъ, но которыя какъ-то странно встрѣчаютъ въ концертахъ классической музыки. Мы не поклонники натянутыхъ эффектовъ, рассчитанныхъ на пичиккатахъ, стакатахъ, тремолахъ и т. п., а потому умолчимъ объ этой фантазій и перейдемъ къ г. Совле, флейтисту короля нидерландскаго, давшему два концерта и участвовавшему въ нѣсколькихъ другихъ.

Въ немъ видимъ мы опять весьма замѣчательный талантъ, и хотя не очень пристрастны къ флейтѣ и совершенно раздѣляемъ мнѣніе одного изъ извѣстнѣйшихъ композиторовъ, отвѣтившаго на вопросъ: Qui'y a-t'il de plus embêtant qu'une flûte? — Deux flûtes?.. но все-таки скажемъ, что флейта г. Совле одна изъ лучшихъ, до-сихъ-поръ слышанныхъ нами.

Совле соединяетъ въ себѣ не только красоту и отчетливость исполненія, но и утонченность игры, непринужденность, естественность, однимъ-словомъ, все тѣ качества, посредствомъ которыхъ артисты производятъ сильное и пріятное впечатлѣніе.

Въ особенности хорошо выходятъ у него пассажи, гдѣ до слуха долетаютъ звуки двухъ флейтъ, какъ въ его венеціанскомъ карнавалѣ, и равно эхо, чрезвычайно выразительно и чисто выделяемое имъ въ варіаціяхъ на извѣстную нѣмецкую пѣсню: Du, du liegst mir im Herzen.

Эхо это представляется какъ-будто передаваемое горами и скалами, и переноситъ слушателя въ средину богатой и роскошной природы Тироля и Швейцарии...

Теперь мы должны сдѣлать вопросъ: что такое гитара, и какое мѣсто занимаетъ она въ ряду инструментовъ? Гитара годится для аккомпанимента, но разсматривая ее собственно какъ инструментъ, она, по незначительности тона и ограниченности техническихъ средствъ, принадлежитъ къ неблагоприятнѣйшимъ и незначительнѣйшемъ инструментамъ. Все это справедливо, только не въ отношеніи гитары Щепановскаго, въ рукахъ котораго она пріобрѣтаетъ удивительную силу и прелесть.

Уроженецъ г. Кракова, Станиславъ Щепановскій молодость провелъ въ горахъ Шотландіи. Дикая природа, воодушевившая Вальтеръ-Скота и Байрона, произвела на молодого артиста глубокое впечатлѣніе, и развила въ немъ страсть къ музыкѣ. Предавшись совершенно этому искусству, онъ обратилъ все вниманіе на гитару, и послѣ долгихъ и многолѣтнихъ опытовъ, изобрѣлъ совершенно новое и оригинальное средство обращаться съ этимъ инструментомъ. Способъ его весьма простой, но требуетъ много ловкости, опытности и упражненія. Г. Щепановскій не щиплетъ (pince) струны гитары, но употребляетъ пальцы свои вмѣсто смычка и поводитъ ими по нимъ, чрезъ что вибрація струнъ дѣлается продолжительнѣе, а самый тонъ звучнѣе, мягче и вѣжнѣе. Къ этому приему присоединяетъ онъ еще нѣсколько другихъ, весьма эффектныхъ, какъ то, удареніе верхней частью ладони по резонансовой доскѣ, съ придерживаніемъ нѣкоторыхъ струнъ, переборъ послѣднихъ на верхнихъ ладахъ лѣвою рукой, и такъ далѣе, что все вмѣстѣ даетъ ему возможность производить на гитарѣ самые эффектные и неожиданные пассажи. Убѣдившись въ совершенствѣ своей metody, онъ далъ, въ 1840 году, съ большимъ успѣхомъ, концерты въ Единбургѣ и Лондонѣ. Потомъ отправился въ Парижъ, гдѣ обратилъ на себя вниманіе Шопена, Листа, Калькренера, Табенека. Рубини такъ восхитился его игрою, что участвовалъ во всѣхъ его концертахъ. Одинъ изъ извѣстнѣйшихъ французскихъ критиковъ, дѣлая перечень всѣмъ извѣстнѣйшимъ гитаристамъ, говоритъ что въ наше время г. Щепановскій занимаетъ между-ними первое мѣсто. Съ-тѣхъ-поръ объѣхалъ онъ всю Европу, и даже въ Мадридѣ, гдѣ гитара еще въ большой модѣ, пріобрѣлъ огромный успѣхъ. Сверхъ-того г. Щепановскій замѣчательный виолончелистъ и въ концертахъ своихъ игралъ попеременно на обѣихъ инструментахъ.

Несмотря на незначительность гитары, мы смѣло причисляемъ г. Щепановскаго къ великимъ артистамъ. Съ истинною любовью посвя-

тилъ онъ молодые годы на усовершенствованіе неблагодарнаго инструмента, и приобрѣлъ несомнѣнное право на названіе преобразователя гитары. Изъ композицій его, лучше всѣхъ намъ понравились: Une nuit à Cadix, варьяціи на качучу и переложеніе венеціанскаго карнавала, съ подражаніемъ голосамъ молодой дѣвушки и старухи. Г. Щепановскій давалъ два концерта и участвовалъ въ другихъ.

Кромѣ вышеприведенныхъ концертовъ, одинъ давалъ г. Бальфъ, г. Стигелли три; сверхъ-того шли на Александринскомъ театрѣ концерты г-жи Леоновой, гг. Каратыгина, А. Н. Лядова и Стркова. Всѣ эти концерты болѣе или менѣе похожи были на концерты г. Кажинскаго, а потому излишне распространяться объ нихъ. Только въ концертѣ г-жи Леоновой случился весьма странный qui-pro-quo, весьма сильно говорящій въ пользу гениальности одного изъ нашихъ воспрославленныхъ артистовъ. Въ концертѣ этомъ участвовалъ нѣкто г. Табаровскій; по фигурѣ, приѣмамъ и свойству своей игры онъ былъ принятъ публикою за г. Ашплинарія Контекаго, и вызванъ подъ этимъ именемъ.

Г. Табаровскій дѣйствительно усвоилъ себѣ до такой изумительной степени всѣ качества игры своего подлинника, что еслибъ ихъ, кажется, поставить за ширмы и заставить поочередно играть одну и ту же пьесу, то трудно было-бы рѣшить, кто именно ее исполняетъ. Мы отъ души радуемся, что нашелся еще *genii* скрипки, и нашелся даже у насъ въ Петербургѣ, который оспариваетъ первенство у г. Контекаго. Все-же лучше, когда въ мірѣ есть два первыхъ виртуоза, чѣмъ одинъ.

24-го числа, въ залѣ Дворянскаго Собранія былъ второй концертъ Филармоническаго общества, въ которомъ исполняли знаменитый Requiem Моцарта, съ содѣйствіемъ въ партіяхъ-соло г-жи Віардо-Гарсін и Мортъеде-Фонтена, Петрова и Стигелли. Благотворительная цѣль этого концерта не дозволяетъ намъ распространяться объ исполненіи ни этаго *chef-d'oeuvre* безсмертнаго Моцарта, ни слѣдующей за нимъ патетической сонаты Бетговена. Въ-заключеніе пѣла г-жи Віардо псаломъ Марчелла, извѣстнаго преобразователя духовной музыки, жившаго въ XVII столѣтіи, и какъ всегда, была осыпана громкими аплодисманами.

Въ Большомъ Театрѣ былъ концертъ въ пользу инвалидовъ, въ которомъ участвовали всѣ оркестры гвардейскихъ полковъ. И наконецъ, 29-го марта данъ былъ въ Дворянскомъ Собраніи третій праздникъ въ пользу Убѣжища взрослыхъ дѣвицъ. Праздникъ этотъ назывался концертомъ съ нечаянностями. Мы хотѣли поговорить объ этихъ нечаянностяхъ, какъ насъ посѣтила нечаянность совершенно другаго

рода, — извѣстие, что г. Таборовскій, основываясь, вѣроятно, на неожиданномъ успѣхѣ, по случаю сходства его съ г. Аполлинаріемъ Контскимъ, даетъ концертъ 8-го апрѣля. Мы не были также въ концертѣ г. Коссовскаго, который, какъ говорятъ, одаренъ талантомъ.

2-го апрѣля былъ концертъ г. Дмитриева-Свѣчина, и даровитый артистъ нашъ порадовалъ слушателей своей превосходной, отчетливой игрою.

5-го числа начались утра классической музыки г. Леопольда Маурера. Ихъ назначили четыре, по одному каждое воскресенье. Въ первомъ участвовалъ г. Леонардъ и большой оркестръ.

Былъ еще одинъ концертъ г-жи Виардо-Гарсиа и два концерта Гг. Контскихъ. Концертъ г-жи Гарсиа, геніальнѣйшей артистки, которая владѣетъ такимъ инструментомъ, какимъ ни одинъ изъ прославленныхъ концертистовъ похвалиться не можетъ, былъ далеко не полонъ. У гг. Контскихъ зато все было биткомъ набито и букето-бросаніе было сильнѣе. И все это отъ нашей музыкальности!!!!

Наконецъ былъ концертъ въ Пользу Общества Посѣщенія Бѣдныхъ, составленный г. Даргомыжскимъ, исключительно изъ его сочиненій. Въ концертѣ этомъ принимали участіе лучшіе артисты и любители. Пальма первенства принадлежала г-жамъ Шиловской и Виардо. Поклонники г. Даргомыжскаго поднесли ему серебряный капельмейстерскій жезлъ.

Этимъ русскимъ концертомъ закончился сезонъ, богатый обиліемъ звуковъ, но не талантовъ.

IV. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ.

Погода. — Путешествіе по Петербургу и поѣздки за городъ. — Поѣздки въ Сѣверную Америку, не выѣзжая изъ Петербурга. — Двѣ тысячи миль въ два часа. — Въ двѣ минуты изъ Америки въ Европу. — Падермо и Берлинъ. — Петербургскія улицы и новый способъ мошенія ихъ. — Музыка, музыка и музыка. — Хоръ въ тысячу двадцать пять человекъ. — Исторія арфы по поводу одного музыкальнаго вечера. — Театральные слухи и вѣсти. — Два анекдота о Брянскомъ. — Два слова къ біографіи Гусевой. — Вѣсти о Вольнисъ Плесси. — Открытіе Шахматнаго Общества. — Бѣдствіе Невскаго проспекта. — Приближеніе праздниковъ. — Портреты В. А. Каратыгина. — Новое изобрѣтеніе. — Наряды и костюмы.

Сердись на насъ, читатель, сколько тебѣ угодно, а мы начнемъ сегодняшнюю бесѣду нашу съ погоды. Знаемъ, что это предметъ изби-

тѣй, осмѣянный тысячу тысячъ разъ, предметъ устарѣвшій и скучный, но для петербургскаго фельетониста онъ всегда новъ, потому—что петербургская погода прихотлива и переменчива, и вовсе не скученъ, потому—что выручаетъ фельетониста, когда не о чемъ говорить. А о чемъ прикажете говорить фельетонисту постомъ, особенно когда одинъ изъ его товарищей по журналу рассказалъ уже о всѣхъ литературныхъ новостяхъ, а другой о всѣхъ концертахъ? Поневоля заговоришь о погодѣ. Притомъ же Май не за горами: на улицахъ вѣтъ уже снѣгу, южный вѣтерокъ уже нѣсколько разъ пріятно щекоталъ наше обоняніе тепло—пахучимъ воздухомъ, который поэты называли когда—то *дыханіемъ весны*. Воля ваша, а мы не можемъ удержаться, чтобъ не сказать нѣсколько словъ о погодѣ. Да вы и не потребуете такой жертвы отъ петербургскаго фельетониста, если вы только бывали въ Петербургѣ и, слѣдовательно, знаете какое значеніе имѣетъ въ нашей жизни приближеніе весны.

А весна близка! Почти весь мартъ мѣсяцъ былъ свѣтелъ отъ яркостившаго цѣлый день солнца, на Невскомъ начали показываться весеннія пальто; ватныя платья замѣнили мѣховыя салопы. Апрельъ былъ также хорошъ, хотя петербургское небо, издавна пріучившее насъ къ нечаянностямъ, не разъ играло съ любителями весны и прогулокъ не совсѣмъ любезныя шутки. Оно внезапно покрывалось облаками, куда-то далеко прятало солнце, и совершенно неожиданно обдавало то снѣгомъ, то дождемъ, покрывая мостовую самымъ неблагоприятнымъ и непріятнымъ киселемъ. Но мы привыкли къ этимъ нечаянностямъ, которыя никогда не застаютъ петербургскаго жителя въ распλοхъ, и не пропустили безъ пользы ни одного яснаго дня, пользовались каждою свѣтлою минутою, путешествовали то пѣшкомъ, то въ саняхъ, то на колесахъ, по всѣмъ угламъ и закоулкамъ, гдѣ былъ признакъ, хоть что—нибудь похожее на общественную жизнь. Мы были даже за городомъ.—Раненько, скажете вы; что можетъ интересоватъ теперь за городомъ? — А развѣ вы не знаете, что люди благоразумные и предусмотрительные нанимаютъ дачу заблаговременно, особенно если дача нужна въ близкихъ окрестностяхъ города, гдѣ всѣ, даже самые незатѣйливые домики разбираются на расхватъ. Притомъ же вы очень ошибаетесь, говоря, что теперь нечего дѣлать за городомъ. Мы, напримѣръ, провели однажды цѣлый день въ великолѣпныхъ теплицахъ Ботаническаго Сада, цѣлый часъ почти просидѣли въ пальмовой теплицѣ, мечтая подъ журчаніе фонтана; были мы и въ теплицахъ графа Нессельроде, гостепріимно отворенныхъ для посѣтителей, любовались тамъ великолѣпными камеліями, которымъ не знаемъ подоб-

ныхъ; были въ затѣйливыхъ теплицахъ г. Гарфункеля; были на дачѣ г. Блока, на третьей верстѣ по Петергофской дорогѣ, катались тамъ съ подтаявшихъ уже горъ и завтракали въ *вновь-открытомъ*, какъ гласятъ газетныя объявленія, *заведеніи Дорданъ*, гдѣ будетъ лѣтомъ играть оркестръ г. Шиндлера; были мы, наконецъ, въ Сѣверной Америкѣ... Впрочемъ — это уже не загородомъ, а въ самомъ центрѣ Петербурга, въ Караванной улицѣ. Вы смѣтаетесь, думаете, что мы шутимъ, и даже очень неостроумно шутимъ, а между-тѣмъ мы говоримъ, какъ нельзя болѣе серьезно. Мы даже намекали уже вамъ однажды о томъ, какимъ-образомъ побывать въ Сѣверной Америкѣ, не выѣзжая изъ Петербурга, и проѣхать всю Миссиссипи, т. е. слишкомъ тысячу пять сотъ миль, въ два часа и не вставая съ мѣста. Для этого стѣбитъ только отправиться въ Караванную улицу, взять билетъ въ панораму Рислея, и сѣсть на стулъ. Вотъ и все. Мы дѣйствительно были въ Сѣверной Америкѣ, и проплыли всю Миссиссипи, начиная отъ истоковъ ея до самаго устья; мы видѣли знаменитый водопадъ, видѣли... но позвольте лучше рассказать вамъ все по порядку, въ короткихъ словахъ.

У истока берега рѣки дики и представляютъ сначала необработанныя поля, конусообразные утесы, называемые blufs, хижины индѣйцевъ; но скоро пейзажъ оживляется. Вотъ городъ, выстроенный изъ красныхъ, небѣленыхъ кирпичей, вотъ свинцовые рудники, разрабатываемые съ XVIII столѣтія, вотъ плодоносные луга и пажити, вотъ Икарія и устье Миссеури, которая, впадая въ Миссиссипи, придаетъ быстрѣйшее теченіе ея водамъ, протекавшимъ до-сихъ-поръ только двѣ мили въ часъ.

Далѣе — городъ Сентъ-Луи, одна изъ важнѣйшихъ пристаней въ Соединенныхъ Штатахъ; у набережныхъ его тѣснятся огромные пароходы, изъ которыхъ многіе въ нѣсколько этажей; нѣкоторые заключаютъ въ себѣ пловучіе театры, на которыхъ даютъ драмы, комедіи и даже оперы; — бѣльшая же часть перевозитъ пассажировъ, огромные грузы хлопчатой бумаги, сахарнаго тростника, цѣлыя стада домашнихъ животныхъ. Предъ вами проходятъ, одинъ за другимъ, города, мелькаютъ острова, наконецъ появляется Новый Орлеанъ, одинъ изъ самыхъ важныхъ по торговлѣ городовъ въ Южныхъ Штатахъ, не далеко отъ котораго Миссиссипи вливаетъ струи свои въ мутныя воды Мексиканскаго залива.

Если вы охотники до подобныхъ путешествій, то можете не болѣе, какъ черезъ двѣ минуты, очутиться въ Палермо; вамъ для этого не потребуются ни парохода, ни даже извозчика: Палермо, то есть, Сицилія, находится въ Петербургѣ и отдѣляется отъ Сѣверной Америки не

океаномъ, какъ вы имѣете нѣкоторое право предполагать, а шириною Караванной улицы. И Берлинъ въ Петербургъ, а не въ Пруссію, и стойтъ на Фонтанкѣ, а не на Шире, какъ вы также имѣете нѣкоторое основаніе думать. Изъ Палермо и Америки можете дойти туда пѣшкомъ въ пять мнпуть, обогнувъ Караванную у Симеоновскаго моста; съ помощію извозчика вы достигнете еще скорѣе. Есть даже надежда, что какой-нибудь новый Кукъ, или Берингъ откроетъ туда кратчайшій путь въ какія-нибудь сквозныя ворота, проходящія съ Караванной прямо на Фонтанку. Путешествіе, какъ изволите видѣть, вовсе не продолжительное и нисколько не затруднительное, а это важныя обстоятельства въ настоящую распутицу, господствующую на петербургскихъ улицахъ.

Кстати объ улицахъ. Недавно въ газетахъ нашихъ было напечатано объявленіе о новомъ способѣ мощенія улицъ, посредствомъ каменныхъ плитокъ, отличающихся, по словамъ объявленія, необыкновенной прочностію и имѣющихъ ту выгоду, что плитки ложатся гладко, какъ торцы, долго выдерживаютъ ѣзду и не требуютъ частой починки, какъ наши обыкновенныя и торцевыя мостовыя. Въ Большой Морской открыта уже контора, для приѣма заказовъ на эти новыя мостовыя.

Не знаемъ еще, на сколько справедливы всѣ общанія газетныхъ объявленій, но мы не могли умолчать объ этомъ новомъ изобрѣтеніи, потому-что оно, въ случаѣ удачи, будетъ имѣть важное значеніе въ петербургской жизни, для домохозяевъ, обязанныхъ содержать мостовыя въ порядкѣ передъ своими домами, для всѣхъ имѣющихъ экипажи и ѣздящихъ въ нихъ, въ особенности-же для неимѣющихъ своихъ экипажей и принужденныхъ, въ слѣдствіе этого, ѣздить на томъ мудреномъ снарядѣ, который называютъ дрожками.

Отъ мостовыхъ перейдемъ къ музыкѣ.

— Какъ, опять о музыкѣ! восклицаете вы.

— А что-же прикажете дѣлать! Вѣдь мы рассказываемъ вамъ объ общественной жизни Петербурга, а жизнь эта сосредоточивается въ теченіе пяти недѣль на музыкѣ. Можно даже сказать, что наша общественная жизнь, въ настоящее время, есть безконечная симфонія, ораторія, или что-нибудь другое въ этомъ родѣ. Успокойтесь, впрочемъ, мы расскажемъ вамъ объ одномъ только концертѣ, и то потому, что это былъ концертъ не совѣмъ обыкновенный, концертъ, не возвѣщенный афишами, безвозмездный, бывшій доступнымъ только небольшому числу приглашенныхъ.

Мы говоримъ о духовномъ концертѣ въ Батальонѣ Кантонистовъ,

данномъ въ субботу на четвертой недѣлѣ. Въ эту недѣлю воспитанники Батальона, какъ и воспитанники бѣльшей части другихъ военно-учебныхъ заведеній, говѣютъ; по окончаніи-же говѣнія, начальство устроило духовный концертъ, какъ занятіе, наиболѣе соотвѣтствовавшее проведенной ими недѣли. Извѣстный композиторъ нашъ А. О. Львовъ присутствовалъ при репетиціяхъ, и мы не сомнѣваемся, что успѣхъ концерта много зависѣлъ отъ его совѣтовъ.

Въ концертѣ участвовали воспитанники Батальона Военныхъ Кантонистовъ и Аудиторскаго Училища, что составило хоръ изъ тысячъ слишкомъ голосовъ. Эффектъ былъ поразительный, потому-что огромный хоръ этотъ пѣлъ чрезвычайно согласно — какъ одинъ человекъ. Нѣкоторые нумера были исполнены всею хоромъ, другіе только пѣвчими Батальона, пользующимися въ Петербургѣ вполне заслуженною извѣстностью; къ числу первыхъ относится: *Отче нашъ, Херувимская* (№ 7) Бортианскаго, *Спаси Господи люди твоя, Ангелъ вопіюще* Макарова и нашъ народный гимнъ *Боже, Царя храни!* Одни пѣвчіе исполнили: *Достойно есть* Бортианскаго, его-же *Чертогъ твой вездѣ* и *Достойно есть* А. О. Львова. Концертомъ управляетъ г. Малышевъ, регентъ въ Пѣвческой Капелли и учитель въ Батальонѣ. Считаемо долгомъ замѣтить, что ученики его дѣлаютъ ему величайшую честь.

Хочется мнѣ разсказать еще одну музыкальную исторію, по моему мнѣнію, очень любопытную; если же вамъ музыкальныя исторіи надобли, то вамъ очень легко отъ нея избавиться: стоить только перевернуть страницу.

Недавно я были приглашенъ къ господину X., у котораго жена музыкантша. Въ запискѣ, которою меня приглашали, было просто сказано: *Venez passer la soirée avec nous; nous aurons quelques communs amis, et j'espère que vous ne vous ennuyerez pas trop. M-rs N. Y. Z. et M-mes R. S. T. ont promis de venir.* О музыкѣ ни слова. Признаюсь, я не совсемъ повѣрилъ отсутствію музыки, хотя и не было въ запискѣ обычнаго выраженія: *on fera de la musique*, но отказаться не было возможности.

Въ девять часовъ вечера я подѣхалъ къ ярко освѣщенному подъѣзду, у котораго стояло уже нѣсколько экипажей. Съ біеніемъ сердца сталъ я подниматься по лѣстницѣ, напрягая слухъ и трепеща услышать каждую минуту звукъ какого-нибудь музыкальнаго орудія, или даже нѣсколькихъ такихъ орудій вмѣстѣ. Но все было тихо,

и только отдаленный гулъ разговора долеталъ до ушей моихъ. — Ну прекрасно, подумалъ я, кажется музыки не будетъ; но войдя въ первую залу, въ которой встрѣтилъ меня лакей, въ бѣломъ галстухѣ и такихъ же перчаткахъ, я окунулъ ее взоромъ, боясь встрѣтить гдѣ-нибудь на стулѣ, или столѣ знакомую мнѣ и знаменитую своею ветхостію шляпу одного извѣстнаго пѣяниста, съ бѣлокурой прической, или скрипичный ящикъ другаго, столько же бѣлокураго виртуоза. Ни шляпы, ни ящика не было. Я уже гораздо смѣлѣе вошелъ въ слѣдующую комнату, и совершенно храбро перешелъ изъ нея въ гостицу, гдѣ слышны были стукъ чайныхъ чашекъ и говоръ десятковъ двухъ мужскихъ и женскихъ голосовъ. Но вообразите мой ужасъ... въ залѣ стояла арфа!

Я позабылъ вамъ сказать, что хозяйка дома играетъ на арфѣ; прежде она рѣдко выказывала свое дарованіе въ публикѣ, но съ-тѣхъ-поръ, какъ побывали въ Петербургѣ Джонъ Томасъ и госпожа Парришъ-Альварсъ, возстановившіе репутацію нѣкогда воспѣтой, а потомъ преданной забвенію арфы, она стала еженедѣльно угощать гостей своихъ своимъ искусствомъ.

Я догадался, что придется удивляться таланту хозяйки; но бѣжать было уже поздно. Хозяинъ дома самъ принесъ поупитръ съ нотами; всѣ усѣлись, водворилось молчаніе п... мы прослушали три пьесы, изъ которыхъ одна была сочиненіе самой виртуозки. Все это, сказать правду, было очень недурно; и я провелъ вечеръ гораздо пріятнѣе, нежели ожидалъ.

Послѣ музыки завязался разговоръ о ней, который также, къ величайшему моему удивленію, нисколько мнѣ не наскучилъ. Говорили, разумѣется, всего болѣе объ арфѣ и о томъ, отчего этотъ прекрасный инструментъ вышелъ изъ моды.

Одинъ изъ собесѣдниковъ, человекъ весьма рѣзкаго характера, замѣтилъ, что арфа вышла изъ моды потому, что это очень бѣдный инструментъ.

— Отчего же бѣдный? спросила его хозяйка дома.

Рѣзкій господинъ не нашелъ, что отвѣчать, и сказалъ нѣсколько не-связныхъ словъ, смыслъ которыхъ былъ такой: арфа бѣдный инструментъ потому, что она бѣдный инструментъ.

Госпожа Х*** едва замѣтно улыбнулась, и доказала своему антагонисту, что, благодаря новѣйшимъ усовершенствованіямъ, арфа можетъ выдерживать соперничество съ фортепяно и даже скрипкой.

— А я такъ думаю, сказала бѣлокурый артистъ съ разтрепаной прической, что причина упадка арфы заключается именно въ соперничествѣ ея съ фортепяно.

— Распространеніе фортепяно могло, разумѣется, повредить арфѣ, возразила хозяйка, но быть причиною упадка ея оно не могло; вѣдь не вытѣснило-же оно скрипку, кларнетъ, флейту и другіе инструменты, употребляемые въ обществѣ...

— Но эти инструменты не были въ соперничествѣ съ фортепяно, замѣтилъ кто-то: арфа инструментъ преимущественно женскій, точно такъ-же, какъ и фортепяно состоитъ подъ особеннымъ покровительствомъ прекраснаго пола. Мода, одна только мода, этотъ необъяснимый законъ, основанный на случайностяхъ, на прихоти, была причиною забвенія арфы.

— Нѣтъ не мода, а женщины во всемъ виноваты! раздался вдругъ чей-то голосъ изъ-за плющеваго трельяжа, отдѣлявшаго диванъ, около котораго происходило наше засѣданіе.

Всѣ съ удивленіемъ обратились въ ту сторону. За трельяжемъ дремала въ мягкихъ креслахъ старушка французенка, воспитывавшая хозяйку дома и мать ея, и оставшаяся доживать свой вѣкъ въ домѣ, который полвѣка тому назадъ гостепріимно принялъ ее, когда она, лишившись, во-время смуть первой французской революціи, почти всей семьи своей, приѣхала искать убѣжища въ нашемъ миромъ отечествѣ.

Старушка вышла изъ-за плюща и сѣла среди насъ.

Надо вамъ сказать, что она была, говорятъ, въ свое время красавица, вскружила не одну голову въ напудреномъ парикѣ, и сохранила, въ глубокой старости, веселый и живой характеръ. Несмотря на пятьдесятъ лѣтъ, проведенные ею въ Россіи, она безпрестанно вспоминала о своей belle France и о своемъ молодомъ времени, легкіе нравы котораго оставили на ней неизгладимый отпечатокъ.

— Да, женщины погубили арфу, повторила она: худенькія женщины.

Всѣ съ удивленіемъ и недоумѣніемъ посмотрѣли на французенку, думая, что она собирается мистифицировать; но она пресерьозно продолжала:

— Вы понимаете, продолжала французенка, съ улыбкой, вызванной, вѣроятно, воспоминаніемъ о ея веселой молодости, вы понимаете, что арфа давала женщинамъ средство выказать всѣ свои достоинства, дѣлала изъ нея что-то въ родѣ музы; если виртуозка была

одарена полною, стройною, аристократическою, породистою ручкою—une main de gase, и недурнымъ личикомъ, то торжество ея бывало полное и обливало жечью и досадою сердца всѣхъ дурныхъ и худенькихъ.

— Такъ вы думаете, что худенькія женщины...

— Повѣрьте моей опытности; худенькія женщины способны на все—les femmes maigres, voyez vous, sont capables de tout! Вы не можете себѣ представить, сколько клеветъ распустили онѣ на счетъ бѣдной арфы. Онѣ преувеличили число порванныхъ струнъ, увѣрили всѣхъ, что постоянное занятіе этимъ инструментомъ уродуетъ талию, дѣлаетъ криво-бокими, и, въ заключеніе, стали по восьми часовъ въ сутки работать надъ фортепяно. Славный инструментъ, нечего сказать! Когда я смотрю на женщину, сидящую за фортепяно, мнѣ все кажется, что она сидитъ за конторкою въ какомъ-нибудь магазинѣ. На фортепяно можетъ безнаказано играть даже уродъ, съ толстыми, какъ у слона, ногами. Это ужасно! A quelle époque vivons nous, mon Dieu!

— Ахъ! сказала она послѣ короткой паузы: что оставалось дѣлать бѣдной арфѣ противъ восьми или десяти тысячъ худенькихъ женщинъ, неутомимо ее преслѣдовавшихъ?

— Умереть! сказалъ я, трагическимъ голосомъ.

— И умерла она, или, лучше сказать, бѣжала съ поля битвы, не устоявъ противъ озлобленія худенькихъ женщинъ

Это мнѣніе о причинахъ упадка арфы произвело на всѣхъ очень сильное впечатлѣніе, особенно на двухъ, или трехъ худенькихъ женщинъ, составлявшихъ часть нашего кружка. Но я, сказать вамъ откровенно, принялъ рѣчь милой старушки за шутку, за невинную мистификацію, и нисколько не раздѣляю ея мнѣнія. Опровергнуть ее легко однимъ уже тѣмъ, что арфа опять входитъ въ моду, несмотря на то, что число худенькихъ женщинъ (противъ которыхъ, скажу кетати, я не имѣю никакого предубѣжденія) по всей вѣроятности не уменьшилось. А что арфа входитъ, даже вошла уже въ моду, очевидно: въ Европѣ появилось нѣсколько замѣчательныхъ арфистовъ, изъ которыхъ мы слышали, нынѣшнимъ постомъ, двухъ: Джона Томаса и госпожу Паришь-Альваресъ; у насъ въ Петербургѣ есть нѣсколько хорошихъ арфистокъ, которыхъ мы потому только не называемъ здѣсь, что боимся оскорбить ихъ скромность. Арфа возродилась, и ей смѣло можно предсказать прежніе успѣхи, тѣмъ болѣе, что Англія, моды которой преобладаютъ теперь во всемъ образованномъ обществѣ, приняла арфу подъ свое покровительство.

По нашему крайнему разумѣнію, причина упадка арфы заключалась въ плохихъ сочиненіяхъ для нея, точно такъ-же, какъ причина ея возрожденія заключается въ томъ, что въ послѣднее время появилось нѣсколько даровитыхъ композиторовъ, ищущихъ для нея.

Въ то время, когда шьяно было уже любимымъ инструментомъ великихъ музыкантовъ, какъ Моцартъ, Бетховень, Гуммель, арфа оставалась въ рукахъ бездарныхъ композиторовъ въ родѣ Дальвимара, Вернье, Марена, Дезаргюса и другихъ, имъ подобныхъ. Понятно, что арфа должна была упасть въ общественномъ мнѣніи. Но когда появился Недерманъ, виртуозъ и даровитый композиторъ, арфа возродилась и приобрѣла многихъ приверженцевъ. Составилось что-то въ родѣ школы арфистовъ, въ главѣ которой стояли ученики Недермана, въ томъ числѣ известный Лабаръ. Къ сожалѣнію, Лабаръ, неимѣвшій соперниковъ какъ исполнительъ, притомъ композиторъ съ большимъ дарованіемъ, избралъ ложный путь: желая доставить арфѣ торжество надъ фортепяно, онъ вздумалъ перенести на нее творенія великихъ музыкантовъ. Попытка эта не удалась, потому-что у каждаго инструмента свой характеръ, свои средства, ему одному только свойственныя. Не все то исполнимо на арфѣ, что написано для фортепяно, и на оборотъ. Лабаръ упалъ духомъ, и отказался отъ начатаго имъ дѣла. Но этимъ дѣло не кончилось. Почитатели арфы пришли было въ отчаяніе и съ ужасомъ предвидѣли уже то время, когда ихъ любимый инструментъ займетъ мѣсто въ лавкахъ торговцевъ древностями, среди мандолинъ, гитаръ, лютней, цимбаловъ, клавесиновъ и другихъ забытыхъ инструментовъ; классы арфы въ Парижской Консерваторіи совершенно опустѣли; но явился въ Парижъ Годефруа, и арфа опять вошла въ моду.

Годефруа былъ превосходный артистъ, прожившій нѣсколько лѣтъ въ Англіи, потому-что во Франціи его не оцѣнили; возвратясь въ отечество съ независимымъ состояніемъ и упроченною уже репутаціею, онъ не нуждался, какъ прежде, въ сочувствіи своихъ соотечественниковъ, и поэтому самому обратилъ на себя ихъ вниманіе. Первый концертъ его былъ истиннымъ триумфомъ; за этимъ триумфомъ послѣдовали новые, и арфа снова заняла мѣсто свое въ гостинныхъ Парижа, стала моднымъ инструментомъ, какъ въ Лондонѣ. А такъ какъ Лондонъ и Парижъ издавна предписываютъ законы модному свѣту, то, понятно, что арфа стала мало-по-малу появляться и въ другихъ большихъ городахъ Европы. Мы уже говорили, что и у насъ въ Петербургѣ есть нѣсколько замѣчательныхъ виртуозовъ или, лучше сказать, виртуозокъ на этомъ инструментѣ.

Вотъ вамъ исторія величія, паденія и возрожденія арфы, которую мы считали себя въ правѣ разсказать вамъ, потому-что арфѣ предстоитъ играть роль въ нашей общественной жизни.

Текущихъ театральныхъ новостей довольно много, но мы уже упоминали о нихъ въ прошедшей книжкѣ «Пантеона», и можетъ прибавить къ нимъ только одну: П. С. Оедоровъ перевелъ комедію Sullivan, имѣющую большой успѣхъ на нашей михайловской сценѣ. На русскомъ эта комедія будетъ называться *Любовь и Предразсудокъ*. Читатели Пантеона скоро съ нею познакомятся, такъ-же, какъ и посѣтители Александринскаго театра, на которомъ ее скоро дадутъ.

Поговариваютъ о какомъ-то дебютантѣ на драматическія роли, но мы еще не знаемъ на этотъ счетъ ничего положительнаго.

Много, въ театральномъ мірѣ, толковъ и воспоминаній объ умершихъ въ прошедшемъ мѣсяцѣ артистахъ. Вотъ что недавно слышали мы о Брянскомъ, отъ одного изъ близко-знавшихъ его.

Брянскій очень любилъ охоту и часто, лѣтомъ, въ свободное отъ службы время, проводилъ по три и по четыре дня въ лѣсахъ и на болотахъ. Случалось иногда, что выйдя изъ дому на нѣсколько часовъ, онъ пропадалъ нѣсколько, дней. Кто любитъ охоту, тотъ знаетъ, какъ она завлекательна, и пойметъ, что утки, тетерева, или вальдшнепы способны завести охотника невѣсть куда. А Брянскій былъ страстный охотникъ.

Однажды онъ отправился, въ сопровожденіи Д*, одного изъ близкихъ друзей своихъ, и гребца, управлявшаго лодкою, пострѣлять дикихъ утокъ, обѣщаясь скоро возвратиться. Онъ жилъ тогда на Рѣзвомъ островѣ, и отправился водою. Прошелъ день — Брянскаго нѣтъ. Домашніе знали его страсть, и потому не безпокоились; но прошелъ другой, третій день, и безпокойство невольно овладѣло домашними, тѣмъ болѣе, что въ одну изъ проведенныхъ Брянскимъ внѣ дома ночей была бурная погода на заливѣ, а лодочка, въ которой онъ отправился, была очень маленькая, изъ разряда тѣхъ, которыя называютъ у насъ *душегубками*. Брянскій явился черезъ нѣсколько дней.

— Гдѣ-же это вы пропадали? спросили его.

— За Выборгомъ...

Не найдя ничего въ окрестностяхъ Петербурга, онъ поплылъ вдоль берега, и встрѣтивъ новую неудачу, пустился далѣе, и такимъ образомъ очутился, въ одно прекрасное утро, за Выборгомъ, откуда возвратился все въ той же лодочкѣ-душегубкѣ.

— Ну, а гдѣ вы были въ бурную ночь?

— Въ морѣ.

— Да вѣдь волненіе было очень сильное.

— Помилуйте, что за волненіе: всего-то три *колпачка* было.

— Онъ называетъ *колпачками* волны, которыя перебѣгали чрезъ нашу лодку, пояснилъ товарищъ Брянскаго.

Этотъ анекдотъ ничего не прибавитъ; разумѣется, къ художественной біографіи покойнаго артиста, но показываетъ одну изъ сторонъ его человѣческаго характера, общую многимъ художникамъ: беззаботность.

Вотъ и еще анекдотъ изъ охотничьей жизни Брянскаго

Брянскій былъ отличный стрѣлокъ и мастеръ отыскивать дичь даже тамъ, гдѣ другіе ровно ничего не находили. Однажды онъ настрѣлялъ такую пропасть дичи, что ягдташъ его былъ набить биткомъ. Онъ уже рѣшился воротиться домой, какъ остановилъ его сторожъ, приставленный помѣщикомъ, на землѣ котораго Брянскій охотился.

— Много, баринъ, настрѣляли пташекъ, сказалъ сторожъ, почесывая затылокъ и не зная, какъ-бы спросить у охотника, есть ли у него билетъ. Охотникъ-то казался ему человѣкомъ несговорчивымъ и дюжимъ, съ которымъ, пожалуй, не раздѣлаешься даромъ.

— Да дичи довольно въ этихъ мѣстахъ, отвѣчалъ Брянскій.

— А что знать съ нашимъ бариномъ, аль съ конторщикомъ знакомы; есть, чай, билетъ?

— Какой билетъ?

— Извѣстно какой; что въ конторѣ выдаютъ, чтобъ дичь стрѣлять. А безъ билета у насъ стрѣлять не позволяется.

— Будто-бы? что-ты говоришь? А я и не зналъ.

— Да, не позволяется. Велѣно отбирать ружье, сумку и собаку.

— Э! неужели?

— Точно такъ-съ. Ужъ вы, какъ вамъ угодно, а пожалуйста ружьишко-то, и сумку, и собаку-то.

— Экой грѣхъ, право! А я и не зналъ. Ну, да дѣлать нечего, возьми. Только вотъ собаку-то какъ возьмешь? Вѣдь она не дастся, грызться станетъ. Развѣ дойдемъ вмѣстѣ до усадьбы?

— Дойдемъ, пожалуй, до усадьбы. Да ты я чай усталъ, а до деревни-то версты четыре будетъ, отвѣчалъ мужикъ, нѣсколько удивлен-

ный благодушiемъ охотника и даже почувствовавшiй къ нему нѣкоторое презрѣнiе, такъ, что началъ говорить ему *ты*.

— Далеко, далеко до деревни. Ну а не ближе-ли будетъ до села, что на большой дорогѣ.

— Ближе. До-толева будетъ версты двѣ, не больше.

— Ну такъ туда и пойдемъ, а тамъ я спрошу веревку, да и привяжу собаку; тогда она пойдетъ за тобой.

Сторожъ согласился. Брянскiй надѣлъ на него свой полный ягдташъ, пороховницу, дробницу и ружье, что, казалось, не очень понравилось сторожу; онъ, вѣроятно, въ-слѣдствiе русской поговорки, что *паръ костей не ломить*, былъ въ армякѣ, несмотря на тридцатиградусный жаръ. Когда они прошли около версты, сторожъ снялъ шляпу и началъ обтирать потъ, ручьями струившiйся по его лицу; онъ, по всемъ признакамъ, очень тяготился своей ношей и былъ-бы, можетъ-быть, радъ, возвратитъ своему спутнику все отобранное, да не зналъ, какъ это сдѣлать и молчалъ. Наконецъ, дошли до большой дороги. Брянскiй предложилъ сторожу рюмку водки; сторожъ принялъ предложенiе. Зашли въ трактиръ.

— Такъ у васъ безъ билета охотиться не позволяютъ?

— Не позволяютъ, отвѣчалъ сторожъ.

— Жаль, что я не зналъ, а то захватилъ бы билетъ... Э! да постой, никакъ онъ со мной?.. Такъ и есть, со мной, какой-же я безмятный!

Брянскiй вынулъ и подаль билетъ удивленному сторожу, смотрѣвшему на него, выпуча глаза.

— Ишь онъ какой, этотъ баринъ, думалъ онъ, вѣроятно, про себя: билетъ за пазухой, а онъ навьючиваетъ челоуѣка, какъ лошадь, въ такой жаръ...

Бѣдный мужикъ и не подозрѣвалъ, что баринъ-то очень хорошо помнилъ о билетѣ, но съ умысломъ утаилъ его, потому-что былъ очень утомленъ и хотѣлъ воспользоваться дюжими плечами мужика.

Вотъ кстати нѣсколько біографическихъ подробностей о Гусевой. Она выпущена изъ Театральнаго Училища въ 1809 году, 11 августа, служила, слѣдовательно, театру слишкомъ *сорокъ три года*. Въ дѣвущкахъ она называлась Ежовой, потомъ вышла замужъ за актера Глухарева и носила его фамилію, а послѣ его смерти вступила во вторичный бракъ съ г. Гусевымъ, служившимъ, въ чинѣ титулярнаго со-вѣтника, секретаремъ въ департаментѣ Камеръ-Коллегіи.

Къ театральнымъ же слухамъ можно отнести вѣсти, полученныя нами изъ Франціи, объ артисткахъ нашего Михайловскаго театра, госпожахъ Вольнисъ и Плесси. Обѣ онѣ уже въ Парижѣ. Первая поѣхала туда для свиданія съ дочерью и на крестины внука, или внучки; вторая, если не ошибаемся, для устройства какихъ-то денежныхъ дѣлъ. Французскіе журналы говорятъ, что госпожа Плесси будетъ играть на *Первомъ Французскомъ Театрѣ*, вмѣстѣ съ госпожею Рашель, въ бенефисъ извѣстнаго актера и писателя Самсона (Samson), который былъ драматическимъ наставникомъ обѣихъ артистокъ.

Мы рассказывали недавно нашимъ читателямъ о предположеніи основать въ Петербургѣ, съ дозволенія Правительства, общество любителей шахматной игры; предположеніе это приведено уже въ исполненіе. Открытіе этого Общества происходило 27 марта, въ 8 часовъ по-полудни, въ домѣ графа Куселева-Безбородко. Сперва были провозглашены имена членовъ, потомъ избрали, на основаніи одного изъ параграфовъ устава Общества, трехъ старшинъ, которые останутся въ этомъ званіи до 27 марта 1854 года. Старшинами провозглашены единогласно: генерал-адъютантъ баронъ Мейендорфъ, генералъ-лейтенантъ Ключфель и тайный совѣтникъ графъ Куселевъ-Безбородко, а секретаремъ отличный игрокъ въ шахматы, извѣстный своими сочиненіями объ этой игрѣ, надворный совѣтникъ Янишъ. Сообщаемъ ктати и списокъ дѣйствительныхъ членовъ новаго общества: графъ А. В. Адлербергъ, Н. А. Бахметьевъ, Н. И. Бахтинъ, С. Д. Безобразовъ, А. В. Веневитиновъ, П. П. Винклеръ, П. А. Вревскій, М. В. Гечечевичъ, К. К. Гипсіусъ, Ѡ. Г. Головинъ, В. П. Давыдовъ, И. Казнаковъ, В. Ф. Ключфель, Н. И. Козляниновъ, О. И. Корбутъ, баронъ Н. И. Корфъ, баронъ П. Н. Корфъ, графъ А. Г. Куселевъ-Безбородко, графъ Г. А. Куселевъ-Безбородко, графъ Н. А. Куселевъ-Безбородко, Д. Н. Лонгиновъ, баронъ Е. Ф. Мейендорфъ, баронъ Е. Мейендорфъ, В. М. Михайловъ, графъ А. П. Мусинъ-Пушкинъ, Т. А. Неффъ, А. М. Потемкинъ К. О. Розенбергеръ, баронъ И. Ф. Розень, П. О. Рудзевичъ, П. Э. Рычинскій, А. И. Сабуровъ, князь Д. П. Салтыковъ, П. А. Свѣчинъ, князь Д. С. Урусовъ, В. А. Честноковъ, А. И. Философовъ, баронъ Н. А. Фредериксъ, С. И. Храповицкій, С. Штернъ, И. С. Шумовъ и К. А. Янишъ.

Шахматная игра являеть много приверженцевъ, и въ очень многихъ большихъ городахъ Европы давно уже существуютъ шахматныя общества; въ Петербургѣ такого общества недоставало.

Что сказать вамъ еще новаго? Да! Невскій проспектъ вновь въ немилости у нашей аристократической публики, часть которой дезерти-

ровала съ его великолѣпныхъ тротуаровъ и гуляетъ съ нѣкотораго времени по Дворцовой набережной, какъ нѣкогда гуляла по Англійской.

Вышли три портрета В. А. Каратыгина: первый, изданный однимъ изъ сослуживцевъ покойнаго, довольно похожій, но несовсѣмъ хорошо нарисованный, продается почти во всѣхъ книжныхъ и эстампныхъ магазинахъ; другой, болѣе похожій и лучше выполненный, видѣли мы въ магазинѣ гравера В. Деноткина; третій появился въ «Русскомъ Художественномъ Листкѣ», издаваемомъ В. О. Тиммомъ. Последний срисованъ съ дагерротипа, дѣланнаго извѣстнымъ художникомъ нашимъ С. Л. Левшикимъ, похожѣе двухъ первыхъ, но уступаетъ имъ въ томъ, что на немъ В. А. Каратыгинъ безъ усовъ, которые онъ носилъ въ последнее время своей жизни.

Вотъ и весь нашъ запасъ новостей; остается только сказать объ одномъ новомъ изобрѣтеніи и о дамскихъ нарядахъ.

Г. Марцикевичъ изобрѣлъ составъ, истребляющій моль и предохраняющій отъ нея мѣха и вообще всѣ вещи, подверженныя ея нападеніямъ; онъ намазываетъ этимъ составомъ коленкоровые мѣшки, въ которые опускаетъ шубы, платье, ковры и т. п., а для мебели употребляетъ ленты, налитанныя тѣмъ-же составомъ. Мы испытали составъ г. Марцикевича, и смѣло рекомендуемъ его нашимъ читателямъ, въ полной увѣренности, что они, въ особенности—же иногородные, поблагодарятъ насъ. Но предупреждаемъ, что составъ имѣетъ сильный запахъ и что, слѣдовательно, налитанные имъ мѣшки надо класть въ отдаленной комнатѣ, а покрывать мебель лентами всего удобнѣе при переѣздѣ на дачу.

Теперь перейдемъ къ объясненію того, что дѣлаютъ наши

ДАМСКІЕ НАРЯДЫ.

Съ наступленіемъ весны, мода приняла у насъ опредѣлительный и точный характеръ. Хорошъ-ли онъ, дуренъ-ли—мы не беремся судить, а представляемъ нашимъ читательницамъ пять нарядовъ натурою, въ томъ видѣ, какъ намъ удалось ихъ схватить на лету—на гульбищахъ Дворцовой и Англійской набережныхъ, въ послѣднихъ концертахъ г-жи Віардо и г. Даргомыжскаго и наконецъ въ лучшихъ магазинахъ Невскаго Проспекта и Морскихъ.

Первый нарядъ: Шляпка атлаеная, подъ полями обшита блондою. Съ боку маленькое страусовое перо, загнутое назадъ. Мантилья бархатная, отдѣланная мелкимъ марабу изъ перьевъ: (такъ-какъ этаго марабу, особенно приготовляемаго въ Парижѣ не вездѣ можно достать, то мы

совѣтуемъ замѣнить его плюшемъ или лебяжьимъ пухомъ.) Платье шелковое съ затканными разноцвѣтными букетами.

Второй нарядъ: Головной уборъ изъ цвѣтовъ и черныхъ кружевъ, придерживаемый съ обѣихъ сторонъ ниткою изъ самоцвѣтныхъ камней, или жемчугу, проходящею по лбу. Платье атласное, съ тремя воланами. Внизу каждаго волана нашиты кружки изъ чернаго бархата, въ видѣ пуговицъ, а сверхъ ихъ воланы изъ черныхъ кружевъ. Кружевная берта à la Вальеръ. Рукавчики едва замѣтные. Браслеты.

Третій нарядъ: Головной уборъ блондовый à la Марія-Стуартъ, обшитый аграмантомъ изъ несученаго шелку. Платье гласе, съ пятью воланами, изъ шелковой бахрамы, подъ, цвѣтъ, надъ которыми бѣгутъ два ряда маленькихъ шелковыхъ пуговокъ, фигуροю похожихъ на бусы. Корсажъ въ видѣ фламандской кофточки съ бертою, отдѣланной бахромою и пуговками, также, какъ и юбка. Подъ нимъ шемизетка изъ Брюссельскихъ кружевъ — application. Рукава къ локтю идутъ суживаясь, а отъ локтя раструбомъ, такъ, что вмѣстѣ съ двойными подрукавниками, и бантами изъ лентъ образуютъ родъ букета. Браслетки изъ разноцвѣтныхъ камней.

Четвертый нарядъ: Шляпка сборчатая изъ крепъ—*крепа* и атласу; подъ фестонными полями, приподнятыми къ верху, въ видѣ ореолы, уборка изъ цвѣтовъ. Страусовое бѣлое перо.

Платье шелковое, такъ называемаго венеціанскаго покроя. Кофточка, съ маленькими, округленными фалдочками. Рукава до сгиба въ локоть—почти узкіе, въ сгибѣ—спереди придерживаются большими бантами, а сзади ниспадаютъ такъ—называемыми пагодами. Подрукавники глухіе, гладкіе, въ кисти съ вышитыми обшлагами. Платье съ тремя воланами; воланы, кофта и рукава обшиты шахматной лентой подъ цвѣтъ, или совершенно перстрой, въ шотландскомъ вкусѣ.

Пятый нарядъ: Прическа гладкая, съ уборкою изъ широкихъ бархатныхъ лентъ. Коса придерживается гребенкою, отдѣланною золотомъ. Капотъ бархатный, съ высокой таліей и полудлинными рукавами, снизу отъ локтя прорѣзанными. Капотъ спереди, сверху внизъ, и около рукавовъ—обшитъ темно-сѣрымъ плюшемъ. Подрукавники глухіе, съ набѣгающими на кисть шитыми манжетами.

Головные наряды; шляпки, чепцы, наколки и лучшіе французскіе цвѣты—мы видѣли у мадамъ Флаксіонъ, въ Малой Милліонной, напротивъ Англійскаго магазина. Всѣ ея уборы сдѣланы къ Святой, по образцамъ, нарочно выписаннымъ изъ Парижа.

Для причесокъ новѣйшей моды—рекомендуемъ художника—коаффера Вотье, на Невскомъ проспектѣ, въ д. Голицына.

НОВЫЯ МУЗЫКАЛЬНЫЯ СОЧИНЕНІЯ.

ПЬЕСЫ ДЛѢ ФОРТЕПЬЯНО ВЪ 4 РУКИ.

- BERTINI.** Grand duo sur l'opéra: Moïse de Rossini: (2 p. 29 к.) Trois duos sur des motifs de Bellini, № 1. 2. 3. Chaque. (1 p. 43 к.)
- ЧОПІН.** Polonaise fantaisie op. 61. (1 p. 72 к.) Grande sonate, op. 65 (2 p. 58 к.)
- DUVERNOY.** Deux petites pièces sur des motifs favoris. op. 159, № 1. 2. Chaque (85 к.) Marcel tambour. Fantaisie. op. 165. (85 к.) Petite fantaisie. sur des motifs de la Muette de Portici. op. 172. (85 к.)
- ГЛІНКА.** Камаринская (новое изданіе). (1 p. 15 к.)
- HENSELT.** Nouvelle Polka. (1 p. 15 к.)
- HERZ.** Fantaisie sur l'opéra: Parisina (2 p.) Grand duo concertant sur le Désert de David. (2 p.)
- MARCS.** Potpourri sur l'opéra: Le siège de Gand de Meyerbeer. (2 p. 30 к.)
- WILLMERS.** Deux études de concert. № 1. 2. Chaque. (1 p. 43 к.)
- WOLFF.** Souvenir du Val d'Andorre. Duo brillant. (2 p. 30 к.) Grand duo sur l'opéra: Siège de Gand. (1 p. 72 к.)

ПЬЕСЫ ДЛѢ СКРИПКИ СЪ ФОРТЕПЬЯНО.

- BÉRIOT.** Grand duo sur l'opéra: le Caïd de Thomas. (1 p. 72 к.) Grand duo sur l'opéra: L'Enfant Prodigue d'Auber. (2 p. 30 к.) Duo concertant sur l'opéra: Giralda d'Adam. (1 p. 72 к.) Duo brillant sur opéra: La Reine de Chypre. (2 p. 30 к.)
- KALKBRENNER ET РАНОФКА.** Grand duo sur l'opéra: Charles VI, de Halevy. (2 p.) Duo concertant sur l'opéra: La Reine de Chypre de Halevy. (2 p.)
- KULLAC.** Andante. op. 70. (1 p. 72).
- LEONARD H.** Souvenir de Haydn. Fantaisie. op. 2. (1 p. 72 к.) Fantaisie sur des thèmes russes. op. 3. (1 p. 15 к.) Regrets et Prière. Fantaisie. op. 4. (1 p. 30 к.) Souvenir de Gretry. Fantaisie Pastorale. (1 p. 72 к.) 1-er Concerto. op. 10. (2 p. 30 к.) Romance. op. 11. (1 p. 43 к.) Elegie. op. 12. (1 p. 15 к.) 2-me Concerto. op. 14. (4 p.) Grande fantaisie militaire. op. 15. (2 p.) 3-e Concerto. (4 p.) Morceau de Salon sur l'opéra: Lucia. (1 p. 30 к.)
- LISZT.** Grand duo brillant sur une romance de Lafont. (2 p. 58 к.)
- ROSELLEN ET DANGLA.** Duo brillant sur l'opéra: Zampa. (2 p. 58 к.)
- SCHUBERT.** Duo concertant sur l'opéra: Rienzi. (2 p.)
- SPORR.** 3-e Duo concertant. op. 112. (4 p.)
- THALBERG ET РАНОФКА.** Grand duo sur l'opéra: Beatrice di Tenda, de Bellini
- THALBERG ET BÉRIOT.** Duo concertant sur l'opéra: Semiramide, de Rossini (2 p.)
- WOLFF ET VIEUXTEMPS.** Duo sur l'opéra: Raymond. (2 p. 30 к.)

РУССКІЕ РОМАНСЫ ДЛЯ ПѢНІЯ И ФОРТЕПЬЯНО.

- ДАРГОМЫЖСКІЙ.** Скажи, что такъ задумчивъ ты, слова В. Жуковскаго. Трио для тенора и двухъ басовъ, или для сопрано и двухъ контральто (1 р. 50). Я все еще его люблю. (50 к.)
- ГЛИНКА М.** Слышу ли голосъ твой (60 к.) Не искушай меня безъ нужды (50 к.) Ходитъ вѣтеръ у воротъ. (50 к.) Сомнѣніе (новое изданіе). (85 к.) Жаворонокъ (новое изданіе) (85 к.) Голосъ съ того свѣта. (70 к.) Всѣ нумера изъ оперъ: Жизнь за Царя и Русланъ и Людмила отдѣльно.
- ГУРИЛЕВЪ.** Прости, прощай. (75 к.) Незабвенная. (75 к.) Долго ли же будешь сердце ты томиться. (50 к.)
- ТОЛСТОЙ.** Пѣснь война. (60 к.)
- ВАРЛАМОВЪ.** Такъ и рвется душа. (60 к.) На небо взглянулъ (60 к.) Листья шумѣли уныло. (60 к.) Садъ роскошенъ и цвѣтистъ. (70 к.) Ангель (новое изданіе) (70 к.) Я любилъ васъ сердцемъ. (75 к.) Рано цвѣтикъ въ полѣ распустился. (75 к.) Не отходи отъ меня (новое изданіе) (60 к.) Перстенечикъ золотой (60 к.) Не отходи отъ меня на два голоса. (60 к.)
- ВЕРСТОВСКІЙ.** Мы живемъ среди полей. (50 к.) Близко города Славянска и заходили чарочки по столикамъ. (85 к.) Въ старину живали дѣды (85 к.) Ужъ какъ вѣтъ вѣтерокъ (85 к.) Ахъ подружки (60 к.)

ШКОЛА ДЛЯ СЕМИСТРУННОЙ ГИТАРЫ.

сочиненіе извѣстнаго и любимаго русскаго гитариста А. Спхры. Третье исправленное и дополненное изданіе, съ многими примѣрами, упражненіями и пьесами для одной, двухъ и трехъ гитаръ, и для гитары съ фортепьяно съ отлично-литографированнымъ и весьма похожимъ портретомъ автора. Цѣна 3 руб. сер.

Всѣ эти новости можно получить

ВЪ МАГАЗИНѢ

Н. ПЕЦА, нынѣ Ф. СТЕЛЛОВСКАГО,

въ Большой Морской, въ домъ Лауфберта.

Въ этомъ же магазинѣ можно получать всѣ музыкальныя сочиненія, гдѣ и кѣмъ бы они ни были изданы, или объявлены въ какомъ-либо каталогѣ, на слѣдующихъ условіяхъ: Выписывающіе нотъ не менѣе, какъ на три руб. сереб. получаютъ 25 процентовъ уступки. Выписывающіе же не менѣе, какъ на десять руб. сер., получаютъ тѣ же 25 процентовъ уступки и не платятъ ничего за пересылку. Выписывающіе же болѣе, чѣмъ на двадцать руб. сер. пользуются гораздо значительнѣйшею уступкою. Магазинъ П. Пецы точнымъ и скорымъ выполненіемъ требованій приобрѣлъ довѣріе всей музыкальной публики, которымъ постоянно пользуется болѣе семидесяти лѣтъ. Также и на будущее время всѣ требованія Г. Г. иногородныхъ будутъ удовлетворяемы со всевозможною точностью, аккуратностью и всегда съ первоотходящею почтою. Каталоги, какъ для пѣнія, такъ и для всѣхъ инструментовъ, а равно и преись-курантъ итальянскимъ струнамъ, рассылаются при посылкахъ безденежно.

Тутъ же продаются отличнаго достоинства итальянскія скрипичныя струны, употребляемыя знаменитыми скрипачами: гг. Контскимъ, Эрнстомъ и Вьетаномъ. Преись-курантъ онымъ струнамъ раздается безденежно.

РЕШЕРТУАРЪ
РУССКОЙ СЦЕНЫ.

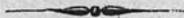
№ 4.



ПРЕЖДЕ СКОНЧАЛИСЬ,
ПОТОМЪ ПОВЪНЧАЛИСЬ.

КОМЕДИЯ-ВОДЕВИЛЬ ВЪ ДВУХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ.

Соч. АКТЕРА МАКСИМОВА.



ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

ОСИПЪ ФЕДОРОВИЧЪ, ХЛЫСТИКОВЪ.

Г. Мартыновъ.

СЕРГѢЙ ОСИПОВИЧЪ, сынъ его.

Г. Смирновъ.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА КВАШНИНА.

Г-жа Сосницкая.

МАРЬЯ ХРИСТОФОРОВНА.

АПОЛЛОНЪ ХРИСТОФОРЫЧЪ.

} ея дѣти

Восп. Алекина.

Г. Максимовъ 1.

МАРГА, кухарка Хлыстикова.

Г-жа Гусева.

ИВАНЪ, слуга Квашиной.

Г. Федоровъ.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Театръ представляетъ парадную лѣстницу. На первомъ планѣ: нагѣво отъ зрителя, дверь въ квартиру Хлыстиковыхъ, направо, въ квартиру Квашиныхъ; на заднемъ планѣ: лѣстница, ведущая вверхъ и внизъ.

I.

МОЛОДОЙ ХЛЫСТИКОВЪ и МАША (за дверью).

ХЛЫСТИКОВЪ (*говоритъ въ дверь Квашиныхъ*). Машинька, душечка, выйдите сюда на одну минуту; мнѣ нужно сообщить вамъ очень важную новость.

МАША. Извините, мнѣ нельзя.

ХЛЫСТИКОВЪ. Отчего нельзя?

МАША. Я занята дѣломъ.

ХЛЫСТИКОВЪ. Да вѣдь и я зову васъ не отъ бездѣлья.

МАША. Я не то, что занята... а не смѣю выйти...

ХЛЫСТИКОВЪ. Это почему?

МАША (*выходя*). Развѣ вы забыли, что маменька запретила мнѣ видѣться съ вами.

ХЛЫСТИКОВЪ. Вотъ вздоръ какой, мало ли что запрещается.

МАША (*выходитъ*). Ахъ! какой вы безотвязный!

ХЛЫСТИКОВЪ. И такъ, въ силу моей безотвязчивости, пожалуйста вашу ручку. (*Цѣлуетъ у нея руку*).

МАША. Ну-съ! Что же вамъ угодно?

ХЛЫСТИКОВЪ. Мнѣ угодно во-первыхъ, поцѣловать вашу ручку, а во-вторыхъ васъ обрадовать, Марья Христововна! Знаете-ли: вѣдь меня вчера повысили въ должности.

МАША (*съ радостію*). Неужели?!.. А жалованья прибавили?

ХЛЫСТИКОВЪ. Какъ же-съ! Теперь остается только повысить васъ и сдѣлать мою женою.

МАША (*печально*). Ахъ! это совершенно зависитъ отъ васъ самихъ!

ХЛЫСТИКОВЪ. То—есть, отъ моихъ долговъ, хотите вы сказать, да вы о нихъ, пожалуйста, не беспокойтесь; съ ними покончить трудъ не великъ.

МАША (*обрадовавшись*). Неужели?!..

ХЛЫСТИКОВЪ. Честное слово!

МАША. Какимъ манеромъ?

ХЛЫСТИКОВЪ. Очень простымъ: стоить только... заплатить, такъ вотъ и чисто...

МАША (*съ сердцемъ*). Сумасшедшій!.. Нѣтъ, это ужасно! Вы совершенно беззаботный человекъ... вы меня нисколько не любите, а я... (*Плача*) я... (*Сильно*) и я тоже не-на-вижу васъ! Вотъ вамъ!..

ХЛЫСТИКОВЪ (*съ удивленіемъ*). Чтѣ-съ? И вы это говорите не шутя? (*Идетъ внизъ по лѣстницѣ*). Прощайте, Марья Христофоровна!

МАША (*оробѣвъ*). Куда вы?

ХЛЫСТИКОВЪ (*спокойно*). Въ контору. Десятый часъ, пожалуй опоздаешь.

МАША. А помириться вы не хотите?

ХЛЫСТИКОВЪ (*останавливаясь*). А вы развѣ не сердитесь?

МАША. Нѣтъ, хоть вы и жестоко обидѣли меня.

ХЛЫСТИКОВЪ (*выходя на сцену*). О! невыразимая доброта!.. Вы просто кладъ, а не дѣвушка! Да, я много виноватъ передъ вами; но даю честное слово, что исправлюсь; всѣми силами буду стараться выпутаться изъ долговъ, буду трудиться день и ночь... только простите меня.

МАША. Ну, да вѣдь ужъ сказано ..

ХЛЫСТИКОВЪ. О! душечка! (*цѣлуетъ руку*).

МАША. Однако, вамъ и въ-самомъ-дѣлѣ пора отправляться.

ХЛЫСТИКОВЪ. Иду, прощайте! (*Цѣлуетъ у нея обѣ руки попеременно*).

МАША. До свиданья!..

ХЛЫСТИКОВЪ. Позвольте еще разикъ, такъ-сказать: про запасъ!.. (*цѣлуетъ*).

МАША. Нѣтъ-съ, вы начинаете шалить... прощайте-съ... идите... не хорошо забывать свои обязанности. (*Идетъ, Маша провожаетъ его глазами; онъ, дойдя до лѣстницы, останавливается, смотритъ на Машу, потомъ идетъ на лѣстницу и встрѣчается съ Квашининымъ*). Мое почтеніе, Аполлонъ Христофоровичъ! (*Убѣгаетъ напѣвая*). «О! любовь царица свѣта!»

II.

КВАШНИНЪ, потомъ старикъ **ХЛЫСТИКОВЪ** и кухарка.

КВАШНИНЪ (*молча кланяется Хлыстикову. Разсуждая самъ съ собою.*) Любовь! что такое любовь? Химера, больше ничего! (*Подойдя къ своей двери.*) Какъ пріятно послѣ долгаго странствованія возвратиться подъ отчій кровъ, прижать къ сердцу родную сестру...

СТАРИКЪ ХЛЫСТИКОВЪ (*кухаркѣ, которая идетъ впереди его съ кулькомъ*). Ладно, обойдемся и безъ вѣжливости, ты соблюдай ее въ иныхъ случаяхъ, а по лѣстницѣ кто не ѣди впередъ, я или ты, это все равно.

КУХАРКА (*съ кулькомъ*). Нѣту, батюшка, ужъ такъ заведено. Какъ-же это я съ кулькомъ-то впереди барина...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Пустое! какъ баринъ велитъ, такъ и дѣлай. (*Вынимаетъ ключъ изъ кармана и отпираетъ дверь*). Нутка, безъ церемоній, проваливай. (*Пропускаетъ кухарку*).

—

III.

КВАШНИНЪ и **СТ. ХЛЫСТИКОВЪ**.

КВАШНИНЪ. Чистая правда, совершенная логика!.. Здравствуйте почтеннѣйшій Осипъ Федоровичъ!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Мое почтеніе! здоровы ли?

КВАШНИНЪ. Помаленьку. Вы какъ поживаете?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Охъ! ужъ мое здоровье! на лѣстницу войдешь и задохнешься.

КВАШНИНЪ. Да зачѣмъ же вы беспокоитесь, сами ходите въ рынокъ?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. А то какъ же-съ? На слугъ-то плохо полагаться; что самъ не доглядишь, то и пиши пропало... Нынче служащій народъ страшно избалованъ! изъ гривны нарвитъ двѣнадцать ко екъ себѣ выгадать...

КВАШНИНЪ. Хмъ! Неужели двѣнадцать копѣекъ?!

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. То-есть, это такъ къ примѣру... Съ ними нуженъ глазъ да и глазъ... изъ рынка идешь, такъ кухарку впередъ пустишь, въ нихъ до того вкоренилась страсть таскать, что если деньгами не поживится, такъ хоть морковку, или рѣпку изъ кулька да въ карманъ, и если это будетъ каждый день случаться, то въ годъ-то и много набѣжить...

КВАШНИНЪ. Да, въ годъ составится триста шестдесятъ пять морковъ, или рѣпокъ; это въ простой, если же высокосъ—то 366.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да, батюшка, это я только такъ къ примѣру говорю, что этимъ людямъ нельзя ничего довѣрять... Ужъ дѣлать нечего, терпѣшь униженіе, а идешь сзади кухарки.

КВАШНИНЪ (*взглянувъ вверхъ, кричитъ въ испугъ*). Берегитесь! карнизъ падаетъ!

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*отскакиваетъ въ испугъ*). Ахъ!.. Что это у васъ за неприличные шутки; меня безъ того одышка мучить, а вы еще пугаете.

КВАШНИНЪ (*самодовольно усмѣхнувшись*). Ничего, ничего, такъ, хотѣлось пошутить.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Въ прошедшій понедѣльникъ ночью, вы также ловко пошутили: во всемъ домѣ только что улеглись, вы вдругъ на лѣстницѣ заревѣли во все горло: «пожаръ!» Всѣ вскочили, забѣгали, женщины попадали въ обморокъ! я самъ едва не умеръ! Выбѣгаю сюда, а вы изволите хохотать .. вамъ это любо!..

КВАШНИНЪ. Еще бы!.. Я возвращался изъ гостей, вхожу въ домъ, вижу всѣ спятъ, мнѣ и пришло въ голову: дай моль испытаю; скоры ли они на ногу. Крикнулъ и въ одну минуту весь домъ обратился, какъ говорится, въ муравейникъ, наполненный этими трудолюбивыми насекомыми...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Показали бы вамъ трудолюбивыхъ насекомыхъ, еслибъ кто-нибудь изъ жильцевъ пожаловался квартальному. Да я и самъ этого не сдѣлалъ единственно изъ уваженія къ вашей матушкѣ.

КВАШНИНЪ (*усмѣхнувшись*). Хмъ!.. Но оставимъ прошедшее и обратимся къ настоящему. Вы говорите, что здоровье ваше страдаетъ отъ ходьбы по лѣстницѣ, а вы каждый день утруждаете себя хожденіемъ въ рынокъ; отъ чего бы вамъ не употреблять на это вашего сына?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Какъ-бы не такъ! Пойдетъ Сергѣй въ рынокъ! Онъ уйдетъ въ свою контору, да и знать ничего не захочетъ. Дастъ въ мѣсяцъ-то двадцать рублей серебромъ, да чтобъ ему все было готово: квартира, столъ и освѣщеніе... Нѣтъ, батюшка, вышняя молодежь не туда смотритъ; знаетъ только франтить, да въ картишки поигрывать.

КВАШНИНЪ. Я, вамъ скажу, и самъ люблю это; къ тому-же молодому человѣку необходимо быть одѣтымъ, какъ говорится, *comme il faut*, и имѣть при себѣ деньги... Жизнь коротка! надо ею пользоваться! Надо, какъ говорится, ловить минуты счастья.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да, ловите ихъ!.. мой Сергѣй тоже ловилъ,

ловилъ, да и наловилъ: двѣ тысячи рубликовъ долгу—серебромъ-съ...
Охъ, плохо! нынче не то, что въ старину...

Жить нынче рано начинаютъ. —
Отецъ лишь дѣтямъ волю далъ,
Они въ полгода промотаютъ,
Что вѣкъ трудомъ онъ наживалъ.
Сынъ жизнь иначе понимаетъ;
Не хочетъ по отцовски жить! —
«Жизнь коротка, онъ разсуждаетъ,
И надо счастье ловить.» —
И смотришь, франтомъ разодѣлся,
Карету, лошадей купилъ,
Въ театрѣ въ первый рядъ усѣлся,
Заволочился, закутилъ...
И всѣмъ онъ русскимъ недоволенъ;
И все, что русское, бранить,
Отъ русскаго климата—болѣвъ...
Лишь денегъ русскихъ не хулитъ!..
Онъ вѣкъ въ кофейныхъ точить балы,
Вставляя стеклышко въ глаза, —
Глядитъ въ парижскіе журналы,
А самъ не смыслить ни аза!..
Франтить себѣ, да все мотаеть,
А какъ умножился расходъ —
Такъ, что наличныхъ не хватаетъ, —
Онъ векселя пускаеть въ ходъ. —
За то гремитъ о франтѣ слава:
Онъ левъ,—завидуютъ ему;
А глядъ законная расправа
Разставила тенета льву!
Куда дѣвалася карета,
И волокитству часъ приспѣлъ —
Блеснулъ нашъ фертикъ, какъ комета,
И въ Долговое улетѣлъ!..

КВАШНИНЪ. Истинная правда, чистѣйшая логика! Однако-жъ этого нельзя примѣнить къ вашему сыну: теперь онъ сталъ совершеннымъ скромникомъ... больше ни у кого не занимаетъ.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да, потому-что никто не вѣритъ.

КВАШНИНЪ. Хмъ! славно сказано! чистѣйшая логика! Но вы, какъ родитель, могли-бы уплатить по его заемнымъ письмамъ.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Нѣтъ-съ, благодарю покорно! Онъ долженъ, онъ и плати, я не люблю соваться не въ свои дѣла.

КВАШНИНЪ. Опять ловко сказано!

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Это послужить ему урокомъ.

КВАШНИНЪ. Да впрочемъ, что такое деньги! Въ моихъ глазахъ они ничто!.. Золото!.. что такое золото?.. презрѣнный металл!

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да, вы презираете деньги оттого, что у вашей матушки ихъ много, и послѣ ея смерти половина капитала перейдетъ къ вамъ.

КВАШНИНЪ. Нисколько. (*Одушевляясь*). Ну, согласитесь сами... вашъ сынъ, какъ говорится, безъ ума отъ моей сестры, онъ видитъ въ ней свой идеалъ, предлагаетъ ей свою руку; сестра согласна; они оба въ упоительномъ ожиданіи брака; но вдругъ между ними становится, какъ грозный призракъ, или, какъ говорится, непреоборимая преграда, какой-то докучливый кредиторъ. О! родитель! зачѣмъ-же вы лишаете счастья свое родное дѣтище, изъ двухъ тысячъ рублей! Вамъ стоитъ произнести лишь одно слово, заключающее въ себѣ счастье двухъ нѣжныхъ, пламенныхъ сердецъ!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. А позвольте спросить, что это за слово, имѣющее такую силу?

КВАШНИНЪ. Это слово — (*Торжественно*) «Плачу!»

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Нѣтъ-съ, слуга покорный, этого я не хочу! Но если вы желаете составить ихъ счастье, то повторите эту убѣдительную рѣчь вашей матушкѣ; она точно также можетъ осчастливить дочь свою тѣмъ-же самымъ словомъ, то-есть: «Согласна молъ заплатить за зятя долги изъ приданнаго моей дочери»...

КВАШНИНЪ. Я ужъ ей говорилъ, но она, знаете, женщина, существо слабое, имѣющее свои капризы.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Вотъ видите-ли, и я тоже существо не изъ самыхъ крѣпкихъ.

КВАШНИНЪ. Хмъ! славно сказано!.. Я теперь однако ясно вижу, что въ людяхъ надъ всеми страстями преобладаетъ одна, самая презрѣнная, а именно: скупость!

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*обидясь*). Что-съ!.. Прощайте съ! (*Уходитъ къ себѣ и запираетъ дверь*).

КВАШНИНЪ. Гмъ! чудакъ, разсердился! Не понравилось! (*Звонитъ къ себѣ*).

ГОЛОСЪ ИВАНА. Кто тамъ?

КВАШНИНЪ. Развѣ не узнаешь по голосу—это я! (*Уходитъ къ себѣ*).

IV.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА, МОЛОДОЙ ХЛЫСТИКОВЪ, всходить по лѣстницѣ.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*продолжая разговаривать*). Вѣрно, батюшка, вы сегодня, по случаю повышенія, пораньше изъ должности-то ушли. Ужъ теперь, конечно, трудовъ-то вамъ поменьше будетъ?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Нѣтъ-съ, напротивъ, съ повышеніемъ растутъ и труды; но я ушелъ рано для того, чтобы заняться дома; оно знаете поудобнѣе, меньше развлеченія.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ну, а что-жь, батюшка, жалованьяца-то поприбавилось?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да-съ, триста рублей, не въ примѣръ другимъ.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Слава Богу! Теперь значить, вы дѣлишки-то свои и поскорѣй исправите.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да, буду стараться всеми силами, что только отъ меня зависитъ... Лизавета Ивановна, вѣдь вы не совершенно прогнѣвались на меня?.. Я смѣю еще надѣяться?..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Конечно, батюшка... Вѣдь я, право, тебя душевно люблю... Ты человекъ хорошій, но вотъ долги-то проклятые. (*Треплетъ его по плечу*). Постарайся-ко, голубчикъ, поскорѣй спихнуть ихъ съ шейки, да веселымъ пиркомъ и за свадебку!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Ахъ! какъ ни стараюсь, а изъ жалованья и въ три года не заплатишь!

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Шутка-ли! вѣдь вы оба, голубчики, изноете въ разлукѣ. Да ты бы какъ-нибудь умаслил своего батюшку; вѣдь ему ровно ничего не стоить заплатить за тебя. Онъ тебя такъ любитъ.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да! но къ несчастію онъ деньги любитъ больше.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Эхъ! страхъ какой! промѣнять родное дѣтище на деньги! Охъ! скупость, скупость, великое зло!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*всторону, ея тономъ*). Не ты бы говорила, не я-бы слушала!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. И я то на старости успокоилась-бы, пристроивши Машеньку за человека хорошаго.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*конфузясь и не зная, какъ начать*). Лизавета Ивановна!.. по моему тутъ расчетъ совершенно вѣрный... не знаю, какъ по вашему?.. Извольте видѣть: вы согласны отдать за меня вашу дочь?..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Не прочь, хоть сію минуту.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. И такъ-же не прочь дать за нею приданое?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, батюшка, семь тысяч серебромъ чистогану! Это наследство послѣ покойнаго ея дяди.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Ну-съ!... такъ вотъ что-съ. . вы дайте мнѣ въ приданое только пять тысячъ. а остальные употребите на уплату моихъ долговъ.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. И! что ты, батюшка, какъ можно!.. Смѣю-ли я распоряжаться дочернимъ капиталомъ, и за что-же я отниму у васъ двѣ тысячи!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Съ насъ довольно и пяти. Я даже согласенъ вотъ на что: уплатите только долги, и больше мнѣ ничего не надо.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Нѣтъ, батюшка, на одно твое жалованье трудно жить; вы оба люди молодые.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Пожалуй, и того не нужно, я самъ ихъ уплачу. Только дайте намъ ваше согласіе.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Твое безкорыстіе дѣлаетъ тебѣ честь;—я вижу и радуюсь, что ты любишь мою дочь истинно; но съ моей стороны... Нѣтъ, нѣтъ, батюшка, что хочешь, но я противъ чести ни шагу.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (всторону). Охъ! бѣда имѣть дѣло съ этими честными душами. (Ей). Лизавета Ивановна!

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Что батюшка?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Я вижу, что вы непреклонны, и готовъ ждать. Но позвольте просить одной милости, не лишите меня послѣдняго утѣшенія, позвольте мнѣ иногда посѣщать васъ, чтобы видѣть Марью Христофоровну.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ни, ни! ни! сказала одинъ разъ навсегда: не могу этого дозволить. Конечно, хоть ты человѣкъ благородный, я душевно люблю тебя и совершенно надѣюсь... Но, знаешь, свѣтъ, толки, сплетни! Дѣвущкѣ репутація дороже всего

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Но если вы согласны на нашу свадьбу, то я буду посѣщать домъ вашъ въ качествѣ жениха. Обручите насъ, тогда не будетъ никакихъ толковъ.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Нѣтъ, батюшка! злые языки найдутъ къ чему привязаться!.. Дѣлать нечего, голубчикъ, потерпи... авось все перемелится.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (всторону). Эхъ ты, пустая мельница!.. Тебѣ хорошо разсуждать, а каково-то мнѣ.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (трепля его по щекѣ). Да, голубчики, вы много ждали, подождите-же еще немножко... До свиданія, родной... (Звонитъ къ себѣ).

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (кланяется ей и продолжает качать вслѣдъ)

ей головой, пока Лизавета Ивановна не уйдет за дверь. Потерявъ терпѣніе). Нѣтъ! Ее и бомбой не своротить!.. Вѣдь это хочетъ показать твердость характера, свою стойкость, вотъ моль, какъ я умѣю держать свое слово... А не думаетъ о томъ, что отнимаетъ счастье у родной дочери.

V.

МОЛОДОЙ ХЛЫСТИКОВЪ и МАША выходятъ.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*не видя ея*). Да гдѣ имъ понимать!.. Она вбила въ свою пустую башку: давши слово держись. А кто ее просилъ давать это слово!..

МАША. Сергѣй Осипычъ, что съ вами? На кого это вы изливаете вашу желчь?!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. На вашу матушку, ужъ не взъщитѣ!.. Я просто ошалѣлъ!.. Но все это отъ любви къ вамъ!

МАША. Подите, можете-ли вы любить меня, когда такъ говорите про маменьку.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Ахъ! виновать!.. я совсѣмъ потерялъ голову! Пожалѣйте меня!.. Вы не знаете, что я терплю! Право, не будь я то, что есть, я-бы... заплакалъ... (*Плача*). Да чего же лучше?.. Смотрите... смотрите... слезы...

МАША (*плача*). Ахъ! бѣдный Сереженька! въ-самомъ-дѣлѣ слезы...

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Машенька! Да о чемъ же вы то плачете?.. Ну, пусть я одинъ страдаю, а то вы то... Перестаньте!.. (*Вытираетъ ей глаза своими платкомъ*). Миѣ ужъ за-одно... Нынче надо-бы всю ночь писать, дѣло очень нужное, а я вплоть до утра проплачу!...

МАША. Нѣтъ, ненадо плакать, будетъ голова болѣть... и глаза распухнуть: завтра все замѣтять. Сереженька не плачьте.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Нѣтъ, не могу!

МАША. Если любите меня!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Охъ! оттого-то я и плачу!..

МАША. Ну, пожалуйста? (*Утираетъ ему глаза, онъ цѣлуетъ ей руки*).

VI.

ТѢЖЕ и ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Батюшки-свѣты!.. Это что?!

МАША (*отскакиваетъ отъ него*). Ахъ!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*всторону*). Вотъ некстати! Я только-что развѣжился!

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ахъ, ты безстыдница! Такъ вотъ ты на что пустилась!.. Выбѣгать къ чужому мужчинѣ, на шею вѣшаться, и дивн-бы въ комнатѣ, а то на лѣстницѣ, гдѣ всякой можетъ увидать! Что подумаютъ?!.. что скажутъ?!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Лизавета Ивановна.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Молчите, сударь! съ вами послѣ! (*Дочери*). Ну, а ты сударыня, что скажешь?

МАША. Маменька!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Молчи! Еще ты смѣешь возражать! И я, дура, повѣрила ей, думала въ самомъ-дѣлѣ она пошла къ сосѣдкѣ за выкройкой, а она вотъ гдѣ!.. вотъ она какіе фасоны выкраиваетъ!

МАША. Да я нечаянно...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Что?!.. Нечаянно?..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Лизавета Ивановна!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Молчи, сударь! съ тобой еще успею!.. (*Дочери*). Такъ-то ты слушаешь мои приказанія? Что я тебѣ говорила? а? отвѣчай-же.

МАША. Да право, маменька...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Молчи!.. погоди!.. вотъ я съ тобой сдѣлаюсь.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*всторону*). Тѣфу ты! шальная баба!.. то отвѣчай, то молчи!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*хватая дочь за руку*). Ну, да съ тобой, я дома сдѣлаюсь! (*Вталкиваетъ ее въ дверь*). Теперь, сударикъ, съ тобою... (*Наступаетъ на Хлыстикова, тотъ отступаетъ отъ нея*).

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Лизавета Ивановна!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Молчи!.. И тебѣ это нестыдно?.. Заставить дѣвчонку забыть свои обязанности? Ну-ка, скажи?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Лизавета Ивановна!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Молчать!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Опять!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Я считала тебя за человѣка добраго и че-

стнаго, радовалась, что могу пристроить за тебя дочь свою; а ты, вот что устроишь! ты опозорилъ мою съдую голову... Да знаешь-ли...

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*выйдя изъ себя*). Прошу васъ замолчать!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*отступая отъ него*). Что?!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*наступая на нее*). Молчать! Терпѣніе мое лопнуло! И вамъ это нестыдно, губить изъ мелочныхъ расчетовъ дочь?! заставить ее вѣкъ страдать и мучиться изъ-за того только, чтобы не разлучаться съ деньгами! Вы упрекаете ее за то, что она меня любить; но вы сами довели ее до этаго!

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Что?!

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Молчать! Да; ты одна всему причиною! Если-бы ты дала намъ свое согласіе, мы не сходились бы на лѣстницѣ; я приходилъ бы къ вамъ въ квартиру!.. Люди ничего бы не видѣли и не было бы никакихъ сплетней!..

VII.

ТѢЖЕ, « СТ. ХЛЫСТИКОВЪ.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Что за шумъ? Что за оказія?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ахъ! Осипъ Ѳеодорычъ, заступитесь! Уймите вашего сына; онъ меня просто прибить!

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*не видя отца*). Да не знаю, что меня удерживаетъ!

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Слышите?!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*ставъ между ними*). Сережа! Нехорошо! Такъ съ дамами не обращаются!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Какая она дама?.. Она просто Ахъ, это вы, батюшка!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*хладнокровно*). Да, это я... Успокойся; выходить изъ себя неприлично человѣку благовоспитанному; во-вторыхъ, это вредно для здоровья; въ-третьихъ: можно отвѣтить полиціи за такіе поступки!.. Человѣкъ хладнокровный во всемъ и всегда выигрываетъ!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да развѣ можно быть хладнокровнымъ съ этимъ народомъ?!.. (*Ходитъ по сценѣ*). Вѣдь еслибъ вы слышали...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, еслибъ вы слышали, какъ онъ меня ругалъ...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*хладнокровно*). Что жь, можетъ-быть вы ему надѣлали большихъ неприятностей?.. А вы знаете, всему есть границы — онъ человекъ вспыльчивый!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Слышите!.. Я же и виновата! Я надѣлала ему неприятностей!.. Вы спросите-ка его, что онъ сдѣлалъ съ моею дочерью...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*нюхая табакъ*). Сережа! что ты сдѣлалъ съ ихъ дочерью?..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Слушайте ее!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*Лизаветь Ивановнѣ*). Онъ не отвѣчаетъ!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Вы, какъ отецъ, можете заставить его отвѣчать.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Нѣтъ, я не люблю насилія!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Папенька! однимъ-словомъ, эта старуха взбѣсилась оттого, что я поцѣловалъ руку у Марьи Христофоровны!

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*Лизаветь Ивановнѣ*). Что жь, тутъ нѣтъ никакого преступленія, вѣдь они почти женихъ и невѣста...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, были!.. Но теперь между нами все кончено! Съ этихъ поръ сынъ вашъ хоть звѣзды хватать, а моей дочери не видать ему, какъ ушей своихъ.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Почему же такъ?.. Сынъ мой человекъ достойный, хотя своихъ и не хвалить.

КВАШНИНЪ (*выглядывая изъ двери*). Что это значить?.. Сестра заперлась въ своей комнатѣ и рыдаетъ, а здѣсь какъ-будто ссора!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Сударыня, Лизавета Ивановна! Успокойтесь и выслушайте...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Говорите, батюшка, я спокойна... Я умѣю прощать обиды.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Я прошу у васъ прошенія за моего сына. Молодость, необузданныя страсти!.. Но онъ человекъ добрый, онъ любить дочь вашу, она его также... Не лишайте ихъ счастья! Благословите ихъ... Онъ и вамъ будетъ добрымъ сыномъ. Сережа! Что жь ты ничего не говоришь?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да, я образумился!.. Простите меня, Лизавета Ивановна! Я виноватъ передъ вами... Я забылся!.. Но, клянусь вамъ, причиною всему моя любовь къ вашей дочери...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*успокаиваясь*). Вотъ то-то, батюшка! Не надо быть слишкомъ горячимъ!.. Ну, да такъ и быть, я не сержусь! Только впередъ не дѣлай этого.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (сыну). Сережа уйди: я съ нею поговорю за тебя. (*Молчаніе. Хлыстиковъ уходитъ*).

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Сергѣй Осипычъ, куда же вы?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Извините; я нарочно его усалалъ, чтобы намъ удобнѣй было объясниться о ихъ бракѣ...

КВАШНИНЪ (*показывается*). А вотъ оно что!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Я согласна; но вы знаете причину?..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Долги моего сына, знаю. Но онъ ихъ уплатить.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Когда?!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Послѣ свадьбы...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Нѣтъ, благодарю покорно! Сказала разъ навсегда, что этого не будетъ; а я госпожа своего слова. Вотъ заплатите-ка вы его долги, васъ не раззорять какія-нибудь двѣ тысячи цѣлковыхъ.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Двѣ тысячи! легко сказать! Да вѣдь это будетъ семь тысячъ ассигнаціями.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ну, вотъ видите, какіе пустяки! Стоитъ ли хлопотать?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*начиная терять терпѣніе*). Сударыня, это я знаю—пустяки, или нѣтъ; при вашемъ состояніи, неспорно, можетъ быть и пустяки!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*теряя терпѣніе*). Ахъ, батюшка; да что вы считали мое состояніе что ли?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Считать не считалъ, а ужъ это всѣмъ извѣстно, что у васъ въ ломбардѣ довольно.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Мало ли что извѣстно! Я же не говорю, сколько у васъ дома въ сундукѣ; а вѣдь тоже всѣ знаютъ!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*потерявшись*). Что-съ?! Какая нелѣпость! (*Всторону*). Вѣрно Марфутка подглядѣла! Завтра же съ двора долой! А то пожалуй еще воровъ подведетъ.

КВАШНИНЪ (*въ дверяхъ*). Вотъ что называется — нашла коса на камень. (*Скрывается*).

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, батюшка, и куда вы копите?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Матушка! вы то кому бережете?!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Умрете, все останется!

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да вѣдь и вамъ долге своего вѣка не жить.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Какъ душа вонъ изъ тѣла, такъ сундучекъ-то распечатають!

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*всторону*). Зловѣщая ворона! (*Ей*). Да вѣдь и вы ломбардныхъ-то билетовъ съ собой не возьмете.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Одумайтесь, батюшка! Не берите грѣха на душу!

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Тьфу, ты! голова кругомъ!.. Мое почтеніе, сударыня! (*Кланяется и уходитъ*).

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ахъ, ты скряга! Какъ онъ меня разстроилъ! Пойти, принять Гофманскихъ капель! (*Уходитъ къ себѣ*).

VIII.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ, ПОТОМЪ КВАШНИНЪ.

ХЛЫСТИКОВЪ (*въ блѣломъ пальто*). Писать не могу, руки дрожать; поѣду къ Ильинымъ на дачу, авось хоть немножко развѣсь. Завтра же въ должность не идти. (*Уходитъ внизъ по лестницѣ*).

КВАШНИНЪ (*выходитъ*). Просто, нѣтъ средствъ усесться дома; — сестра рыдаетъ, мать всѣхъ ругаетъ. Пойду въ Пассажъ. (*Идетъ и возвращается*). Ахъ, славная мысль! Новая шутка... (*Звонитъ у дверей Хлыстикова*). Осипъ Ѳедорычъ!.. Осипъ Ѳедорычъ!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*Оттирая*). Что вамъ угодно?

КВАШНИНЪ (*съ отчаяніемъ*). Вообразите, какое несчастіе постигло домъ нашъ, — моя бѣдная сестра, (*Закрываетъ платкомъ глаза*)

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*съ испугомъ*). Что съ нею?!

КВАШНИНЪ. Умерла!.. отъ расширенія жилы въ сердцѣ..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*пораженъ*). О! батюшки! (*Захлопываетъ дверь*).

КВАШНИНЪ. Славно!

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*за дверью*). Что это, двери настезь! (*Выходя*). Аполлонъ! Что ты тутъ дѣлаешь?

КВАШНИНЪ (*всторону*). Ну-ка, теперь пугнемъ другую! (*Ей*). Ахъ! Я въ отчаяніи! Все погибло!

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*съ испугомъ*). Что, что такое?

КВАШНИНЪ. Бѣдный Сергѣй Осиповичъ! Сейчасъ былъ совершенно здоровъ и вдругъ.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*въ испугъ*). Ну!.. Что съ нимъ?

КВАШНИНЪ. Сію минуту умеръ отъ удара!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. О! ужасъ! (*Захлопываетъ дверь*).

КВАШНИНЪ (*самодовольно усмѣхаясь*). Хмъ! Эбъ я ихъ озадачилъ! Теперь пойду въ Пассажъ.

Въ дѣлахъ серьезныхъ не шучу я...
Не стану въ шутку надувать,
Шутя, обидѣть не хочу я, —
Иль въ шутку друга обыграть,
Для шутки завлекать дѣвицу,
Иль, у кого добро отбить...
Взводить на ближнихъ небылицу,
Ихъ имя доброе чернить;
Я шуткой не коснуся чести,
Шутя друзей не продаю...
Шутя не измѣню невѣстѣ...
Словъ честныхъ въ шутку не даю...
Шутя — я одного желаю:
Свою шуткой посмѣшить...
Но не всегда въ томъ успѣваю. —
На всѣхъ не шутка угодить.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Ночь. Таже декорация. Сцена освѣщена полусвѣтомъ отъ фонаря.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА, МАША и СЛУГА.

I.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*печальна и очень нѣжна съ дочерью*).
Поѣзжай, Машенька, Иванъ проводитъ тебя; погостишь у тетки; у нея
весело, садъ—что твоя дача.

МАША. Маменька, да право мнѣ и дома весело!.. Я лучше бы
желала остаться съ вами...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Полно, голубушка, ужъ какое дома веселье!..
Со мной, со старухой, какая тебѣ компанія? Поѣзжай же.

МАША. Маменька! позвольте мнѣ остаться.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да что ты, глупенькая, ведь я конечно тебя не принуждаю. (*В сторону*). Чудесная мысль! (*Ей*). Но видишь-ли что, хотела было сделать тебе сюрприз, да ужь видно надо сказать. Я хочу переделать твою комнату, и завтра чемь светъ придуть обобщики...

МАША. Неужели?.. Мамаша! какіе вы добренькія!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Кого-же мнѣ и побаловать, какъ не тебя, ведь ты у меня одна отрада. (*Цѣлуетъ ее*). Ну, поѣзжай-же!

МАША. Такъ, до свиданія, мамаша.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ну, Иванъ, провожай барышню.

МАША (*уходя, в сторону*). Что это съ мамашей? Она никогда не была такъ ласкова. (*Уходитъ съ Иваномъ, Лизавета Ивановна провожаетъ ее до лѣстницы*).

—
II.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА одна.

Бѣдняжка! Она и не подозрѣваетъ, для чего я ее усала изъ дому. А жаль, очень жаль бѣднаго Сергѣя Осиповича!.. (*Раздумываясь*). Странно однако... умеръ ударомъ—человѣкъ молодой... Ужъ не оттого-ли, что я не соглашалась отдать за него Машу! Страшно! Страшно быть причиною смерти... Но могла-ли я думать. (*Закрываетъ лицо платкомъ*).

—
III.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА и **СТАРЫЙ ХЛЫСТИКОВЪ.** Выйдя, запираетъ дверь на ключъ, и кладетъ его въ карманъ.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Нѣтъ, пойду опять на улицу, все легче. Легъ было спать, но лишь только закрою глаза, такъ покойница и вертится, и голосъ ея слышится. (*Увидя Лизавету Ивановну*). Ахъ! вотъ она, бѣдная мать!.. Вышла на лѣстницу поплакать... Ну, да въ

комнатахъ конечно тяжель, безпрестанно на глазахъ... У меня, у самого сердце точно въ тискахъ... Тоска страшная!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*слыша послѣднія слова*). Ахъ! вотъ онъ, несчастный отецъ! И не плачетъ даже... Ну, конечно, сердце окаменѣло. Жалко потерять сына такихъ лѣтъ...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*про себя*). Надо-бы ей сказать что-нибудь въ утѣшеніе, да не знаю, какъ начать.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*про себя*). И желала-бы его хоть нѣсколько успокоить. Да пожалуй хуже растревожись.

ХЛЫСТИКОВЪ. Въ такихъ случаяхъ, утѣшенія только разстроятъ...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Впрочемъ, если я начну, онъ, можетъ-быть, заплачетъ, тогда ему будетъ легче.

ХЛЫСТИКОВЪ. Однако долгъ велить утѣшать страждущихъ... (*Ей съ соболюэнованіемъ*). Что, Лизавета Ивановна?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*также*). Что, батюшка, Осипъ Федорычъ?

ХЛЫСТИКОВЪ. Не стало, матушка...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, отецъ, не стало!..

ХЛЫСТИКОВЪ (*вздохнувъ*). Что дѣлать...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*тоже*). Вѣрно такъ Богу угодно...

ХЛЫСТИКОВЪ (*всторону*). Я не ожидалъ въ ней такой твердости... Потерять единственную дочь... (*Ей*). Надо покориться... перенести безропотно!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Конечно, батюшка... (*Всторону*). Признаюсь, не ожидала, что онъ такъ холодно перенесетъ потерю единственного сына.

ХЛЫСТИКОВЪ. Можно-ли было ожидать!.. Давно-ли, кажется, мы съ вами видѣли нашихъ дѣтей вмѣстѣ, здоровыми и счастливыми... и вдругъ неумолимая смерть...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, еще недавно мы любовались ими, радовались, и вдругъ... (*Тяжело вздохнувъ*). Но что дѣлать!!

ХЛЫСТИКОВЪ. А, какъ бы вы думали, какая была причина смерти?..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Боюсь и вздумать, что причина-то огорченіе... Но можно-ли было ожидать?.. Я съ радостію благословила бы ихъ, еслибъ предвидѣла!.. Что жъ такое, уплатили бы долги Машенькинымъ приданымъ...

ХЛЫСТИКОВЪ. Да если-бы и я зналъ, то конечно, заплатилъ-бы за моего сына.. Вѣдь я не отъ жадности-же не дѣлалъ этого; но хотѣлъ его немножко проучить!.. И вотъ до чего это довело!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Страшно подумать!.. Но развѣ могли вы это предвидѣть... Вы, какъ отецъ, ему-же добра желали...

ХЛЫСТИКОВЪ. Конечно-съ. (*Всторону*). Меня поражаетъ ея хладнокровіе... Даже и не плачетъ! (*Ей*). Тяжко на старости лѣтъ оставаться одинокимъ, безъ утѣшенія! (*Тяжело вздыхаетъ*). Но какъ быть...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, батюшка, что дѣлать! (*Всторону*). Просто непонятно, какъ онъ холодно разсуждаетъ... слезъ и слѣда нѣтъ... Конечно, батюшка, всѣ мы смертны!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да-съ! конечно-съ! (*Всторону*). Непостижимо, чтобы мать была такъ холодна!.. Какая мысль!.. Неужели причина ея холодности та, что дочерній капиталъ остался въ ея пользу?.. (*Ей*). Страшно, тяжело намъ видѣть мертвымъ то существо, которое было дорожѣ всего на свѣтѣ. Но что-же дѣлать?..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВА. Да, батюшка, воля Божія! (*Всторону*). Несчастный! Онъ разсуждаетъ такъ, какъ будто это до него нисколько не касается; но тѣ люди, которые не плачутъ, всегда страдаютъ болѣе, и даже иногда теряютъ разсудокъ! Надо-бы довести его до слезъ. (*Ему*). Подумаешь, жизнь-то человѣческая! Въ одну минуту, какъ и не было... вотъ мы, старики, остались, а кому-бы только что жить...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*всторону*). Нѣтъ, эта холодность не даромъ; она такъ скупа.... (*Ей*). Лизавета Ивановна! Я думаю, вамъ эта потеря очень чувствительна?..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*удивясь*). Мнѣ?! — Какъ-же, батюшка, вѣдь я очень любила...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*всторону*). Очень любила! И эти слова она произноситъ такъ покойно... другая на ея мѣстѣ залилась-бы слезами. (*Ей, рѣшительно*). Послушайте, Лизавета Ивановна! Я дѣло другое... но и мнѣ очень жаль...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*всторону*). Какъ! Что такое: «И мнѣ очень жаль». И это онъ говоритъ о сынѣ. Несчастный отецъ! Кажется, онъ потерялъ разсудокъ. (*Ему*). Какъ же, батюшка, не жалѣть, вѣдь это и со стороны до-кого доведись... Но вѣдь что-жъ дѣлать... не воротись...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. (*всторону*). Тѣфу ты, проклятая скупость!.. Ей не только не жаль дочь, но кажется, она рада, что избавилась. (*Ей*). Лизавета Ивановна! что еслибы, примѣрно,—я былъ на вашемъ мѣстѣ?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Такъ что-жъ бы, батюшка?..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Вы меня извините, конечно всякій чувствуетъ по своему...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Что-же, батюшка? — я не понимаю...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Простите, пожалуйста!.. Но я, на вашемъ мѣстѣ не пережилъ-бы этого... Потеря слишкомъ тяжела...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*всторону*), Несчастный! — рѣхнулся! — рѣхнулся!.. (*Патится отъ него къ своей двери*). Какъ-же, батюшка... Но вѣдь что-же дѣлать.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. И вы это такъ спокойно произносите? Да я бы на вашемъ мѣстѣ... (*Подступаетъ къ ней*).

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Такъ, такъ, батюшка! (*Всторону*). Уйти отъ него... А то сердце такъ и надрывается!.. Экой несчастный!.. (*Ему*). Прощайте, батюшка!.. подите ка, успокойтесь... Что-жъ дѣлать-то. (*Уходитъ и запираетъ дверь ключемъ*).

IV.

СТАРЫЙ ХЛЫСТИКОВЪ, одинъ.

Что-жъ дѣлать-то!.. И это говорить мать!.. И говорить такимъ тономъ, какъ-бы сказала: что-жъ дѣлать-то, что говядина дороже!.. О! скупость, скупость! (*Размышляя*). А что, еслибы мой сынъ, — былъ такъ-же чувствителенъ, какъ ея покойная дочь, и умеръ бы отъ огорченія, что я не плачу его долги? Что-бы со мною было?.. Меня совѣсть замучила бы до смерти!.. Охъ! Что-то будетъ съ Сергѣемъ, какъ онъ узнаетъ о смерти своей невѣсты?.. Ужъ не заплатитъ ли мнѣ за него?! Это хоть нѣсколько уладитъ его горестъ, а то, пожалуй, и онъ вѣ-слѣдъ за нею... Да, заплачу! (*Помолчавъ*). Впрочемъ, сынъ мой, кажется, не такого чувствительнаго* сложенія, авось перенесетъ; къ тому же, вѣдь онъ хлопоталъ заплатить поскорѣе долги затѣмъ, чтобы жениться на Квашниной, а теперь ее ужъ нѣтъ, стало и торопиться не зачѣмъ... Вотъ, еслибы я раньше зналъ, что Машенька умретъ отъ этого, то право заплатилъ-бы... Оно хоть и неумышленно, но быть отчасти причиною смерти ближняго прискорбно!.. Страшно!.. только подумаю, то совѣсть такъ и возстаетъ... Хотѣлось бы взглянуть на покойницу, но не смѣю; — не смѣю даже проститься съ нею. (*Задумывается*).

V.

СТАРЫЙ ХЛЫСТИКОВЪ И МАША (*входитъ не замѣченная имъ и звонитъ къ себѣ*).

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Впрочемъ, что-же, вѣдь я нисколько не виноватъ

передъ нею!.. я всегда любилъ ее отъ души. — Пойду, прошусь, надо отдать послѣдній долгъ. (*Поворачивается, и видя Машу, которая стоитъ къ нему спиною, вздрагиваетъ*). Тьфу! что это! и здѣсь мерещится! (*Убѣгаетъ къ себѣ*).

—
VI.

МАША И ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА, отъ себя.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*отпирая дверь*). Что это значить?.. Зачѣмъ ты вернулась?

МАША. Ни тетеньки, ни сестеръ нѣтъ дома, они уѣхали въ Кронштадтъ на цѣлую недѣлю.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Экая жалость! — Ну, дѣлать нечего, ступай, душечка, ложись спать; а дверь запирачь не вели, я сію минуту вернусь... только схожу къ Аннѣ Васильевнѣ. (*Маша уходитъ*). Посовѣтуюсь съ нею, какъ приготовить Машиньку къ этому ужасному извѣстію... Хуже, если она нечаянно узнаетъ. (*Уходитъ наверхъ*).

—
VII.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ, всходитъ снизу.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. И въ обществѣ не могъ найти развлечения! Тоска страшная! — Просто, хоть со свѣта бѣги! — Что-то дѣлаетъ Машенька? — Я думаю, страдаетъ не меньше моего. (*Подходитъ къ дверямъ Квашинныхъ и смотритъ въ замокъ*). Ничего не видать.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*сходя съ лѣстницы и не видя Хлыстикова*). Этакая жалость! Анна Васильевна спитъ уже. Дѣлать нечего, надо оставить до завтраго. (*Увидя Хлыстикова, приходитъ въ ужасъ*). О! батюшки, что это?! (*Протираетъ глаза; Хлыстиковъ въ это время оборачивается къ ней лицомъ*). Ахъ! онъ!—онъ!—помогите!

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*не узнавъ ее*). Кто тутъ?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*закрывая руками глаза*). Ай! его голосъ!—помог....

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Лизавета Ивановна! это вы?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Зоветь!.. умираю!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*подходя къ ней*). Что съ вами?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*хочетъ бѣжать навверхъ и не можетъ*).
Ай! Анна Васильевна!

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Лизавета Ивановна, ужъ не захворалили вы?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Помилуй!.. Не дай умереть, не простясь съ дочерью! Охъ! дыханье захватило!.. охъ!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Такъ надо скорѣй послать за докторомъ. Позвольте, я васъ сведу домой! (*Хочетъ взять ее подъ руку*).

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*собравшись съ силою поднимается нѣсколько ступенекъ выше, и опять садится отъ изнеможенія*). Охъ! чего ты отъ меня хочешь? Зачѣмъ ты всталъ?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да я и не ложился, а только что возвращаюсь домой...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Да, теперь ты дома... Насталъ конецъ твоимъ страданіямъ!

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Я васъ не понимаю...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Вѣдь твой расчетъ со всѣми конченъ.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*обрадовавшись*). Какъ? Развѣ батюшка заплатилъ за меня?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. И дочь моя не можетъ принадлежать тебѣ...

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Какъ! Развѣ вы опять разсердились?! А! вамъ вѣрно на меня наслетничали? Кто это сочинилъ такую штуку?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Нѣтъ, о тебѣ и при жизни никто не отзывался дурно.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. При жизни?! (*Всторону*). Чортъ знаетъ, что она такое городить? (*Ей*). Лизавета Ивановна! сдѣлайте милость объясните, чѣмъ вы недовольны?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Довольна! всѣмъ довольна... только скройся!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Вы сказали, что забываете мое оскорбленіе, и я повѣрилъ моему счастью, — опять получилъ надежду и рѣшился ждать.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Ждать! моей смерти?..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Я придумалъ маленькій оборотъ, и надѣюсь скоро соединиться съ вами.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*задыхаясь*). Соединиться?!. Стало мнѣ не долго осталось?...

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да, недолго — можетъ-быть завтра-же...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Такъ скоро? (*Рыдая*). О! несчастная! Да неужели я ничѣмъ не могу искупить себя?!;

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*въ изумленіи*). Что-съ!?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВА (*падала на колѣна*). Помилуй! сжался! клянусь исполнить все, что ты прикажешь... но только пощади!..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Какъ-съ?..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Хочешь-ли, я заплачу все́мъ твоимъ кредиторамъ?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*обрадовавшись*). Неужели? О! добрейшая Лизавета Ивановна! Но встаньте, пожалуйста, мнѣ совѣстно...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*не встаетъ*). Ты согласенъ?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Еще бы!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Такъ завтра-же; — но послѣ этого успокоинься ли ты?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Ужъ какъ успокоюсь-то!

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. А я, останусь-ли въ покоѣ?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Отъ этого мы все́ будемъ счастливы, а тамъ я съ вами разочтусь...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Разочтешься? — Значить, я уже не жилица на бѣломъ свѣтѣ!.. Позволь же хоть нѣсколько часовъ, чтобы распорядиться...

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*всторону*). Что это за чепуха!

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Удались же, скройся. Позволь мнѣ войти въ къ себѣ въ квартиру...

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Сдѣлайте милость, не церемоньтесь, будьте, какъ дома!..

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Но отойди подальше, при тебѣ я не смѣю сдѣлать шагу.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Извольте, если вамъ угодно... хоть и не понимаю, къ чему это. (*Уходитъ въ противоположную сторону*).

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Насилу-то. (*Идетъ къ себѣ, держась о стѣну, и со страхомъ озирается*.) Такъ вотъ жизнь-то человѣческая! — Еще утромъ я была совершенно здорова! Охъ! душно! душно!!

VIII.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ, ПОТОМЪ СТ. ХЛЫСТИКОВЪ И КУХАРКА.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Изъ всего того, что она говорила, я ровно ничего не понимаю!.. Ужъ не случилось ли у нихъ чего-нибудь въ мое отсутствіе?.. Хотъ бы Машенька вышла сюда, она бы мнѣ все пояснила. (*Подходитъ къ дверямъ Квашиныхъ, Старый Хлытиковъ отпираетъ дверь и пропускаетъ впередъ кухарку, а самъ*

остается за дверью). Ступай, осмотри хорошенько сѣни — не стоить ли еще...

КУХАРКА (со свѣчей въ рукахъ). Да нѣту, батюшка, никого не видать.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (стоя въ дверяхъ). Ну, такъ слушай-же, я уѣду, можетъ-быть до утра не возвращусь, — ты смотри хорошенько за домомъ, — безъ спросу никому не отпирай...

КУХАРКА. Ладно, батюшка...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Ну, запири дверь на ключъ и проводи меня внизъ со свѣчей. (Всторону). Просто нѣтъ силъ усидѣть дома; въ каждомъ углу мерещится покойница. (Ей). Постой, посмотри; не стоитъ ли кто-нибудь у тѣхъ дверей?

КУХАРКА (смотрятъ). Стоитъ кто то въ бѣломъ...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (захлопывая дверь). Въ бѣломъ!.. Она!

КУХАРКА. Да что съ нимъ сдѣлалось, живыхъ людей боится! (Подойдя къ м. Хлыстикову). Ахъ, да это вы, баринъ!.. Осинъ Оедорычъ! Идите, не бойтесь, это Сергѣй Осипычъ!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (отпирая дверь). Сынъ! А я такъ и обмеръ! (Бросаясь къ нему на шею). Сережа! — на силу-то ты прѣехалъ... я безъ тебя едва не погибъ.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Что съ вами случилось, папенька?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (со страхомъ). Я видѣлъ... Ахъ, да ты еще ничего не знаешь... вообрази... Нѣтъ не могу сказать... лучше пусть ктонибудь другой поразитъ тебя... А я, какъ отецъ, не въ силахъ.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (съ безпокойствомъ). Но что же такое?... вы пугаете меня...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (обнимая его нѣжно). Другъ мой! Человѣкъ долженъ быть готовъ во всякое время переносить удары рока! — и человѣкъ благоразумный не долженъ приходить въ отчаяніе...

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Но, батюшка, сдѣлайте милость, объясните...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Потерпи, завтра утромъ ты узнаешь — а теперь я хочу устроить свои дѣла; — нынче я перенесъ ужасныя мученія; — но это узнаешь послѣ. А теперь, какъ добрый отецъ, я хочу уплатить всѣ твои долги.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Неужели?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да. Я убѣдился нынѣшній вечеръ, что деньги соръ! (Вынимаетъ бумажникъ) Вотъ, Сережа, здѣсь ровно двѣ тысячи серебромъ; возьми, раздай своимъ кредиторамъ, и будь счастливъ... (Тяжело вздохнувъ) если можешь.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*цѣлуя у него руку*). Милый, добрый паненька, какъ васъ благодарить?..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Къ чему благодарить — долгъ отца пещись о дѣтищѣ...

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. О! я теперь такъ счастливъ, что не знаю, какъ и сказать!.. Квашнины еще не спятъ — пойду, обрадую Машеньку.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Машеньку! Другъ мой, не торопись, погоди до завтра! (*Обнимая его*) Но умоляю тебя, будь твердъ! ты мужчина.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Батюшка! вы пугаете меня! — Вѣрно у нихъ что-нибудь случилось?.. Старуха была такъ разстроена...

IX.

ТѢЖЕ И КВАШНИНЪ.

КВАШНИНЪ. Мое почтеніе! Вы еще не спите?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*сыну*). Вотъ отъ него можешь все узнать; но повторю — будь твердъ...

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Аполлонъ Христофорычъ, объясните, пожалуйста, что у васъ случилось?

КВАШНИНЪ. У насъ? Ничего.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Отчего ваша матушка такъ встревожена?

КВАШНИНЪ. Не знаю.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. А сестрица ваша — что?..

КВАШНИНЪ. Ничего — она вѣроятно спитъ...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*всторону*). Да, сномъ безмятежнымъ. (*Квашнину*) Аполлонъ Христофорычъ! скрывать не-для-чего, вѣдь рано, или поздно, онъ узнаетъ.

КВАШНИНЪ (*въ недоумѣніи*). Узнаетъ? — что?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Нѣтъ, вы что-то скрываете; скажите, не мучьте меня!..

КВАШНИНЪ. Да что вамъ сказать, если я самъ ничего не понимаю?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*отведя Квашнина всторону*). Послушайте... у вашей сестрицы осталось что-то на душѣ, что мѣшаетъ ей успокоенію... она встаетъ... ходитъ!..

КВАШНИНЪ. Хмъ! что-жъ такое, что ходитъ?..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*съ ужасомъ*). Я ее видѣлъ самъ, вотъ на этомъ мѣстѣ.

КВАШНИНЪ. Ну-съ?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Я глядѣлъ на нее также, какъ на васъ теперь — глядѣлъ на вашу сестру, понимаете...

КВАШНИНЪ. Чтѣ-жъ такое? Сестра моя не дневное свѣтило, она не издаетъ отъ себя тѣхъ свѣтозарныхъ лучей, на которые не въ силахъ взирать очи смертныхъ! Хмъ! Каково сказано?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*тихо сыну*). Несчастный! Онъ, кажется, помѣшался отъ любви къ сестрѣ.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Батюшка, я въ ужасномъ положеніи... Я предчувствую какое-то несчастье. Не скрывайте же отъ меня, вѣдь я не ребенокъ, съумѣю перенести. Скажите, чтѣ съ Машей?—Она больна?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ И КВАШНИНЪ. Нѣтъ...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Впрочемъ, скрывать пользы нѣтъ... Другъ мой! собери все твое мужество. Она!.. Маша!.. Несчастливая...

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Ну? чтѣ съ ней?..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Она!.. она!.. (*Маша отпираетъ дверь*).

КВАШНИНЪ. Да вотъ она!..

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*увидя Машу*). О! ужасъ! явилась и при другихъ!.. (*Бросается къ себѣ и запираетъ дверь, кухарка уходитъ за нимъ же*).

Х.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ, КВАШНИНЪ И МАША.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*Машѣ*). Наконецъ-то вы пришли! — успокойте меня! — Вы здоровы?

МАША. Здорова. Но тоскую страшно!

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Вы здоровы, и я счастливъ!.. Тоскѣ нашей конецъ!.. Я квитъ съ моими кредиторами...

МАША (*весело*). Неужели? какимъ случаемъ?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Батюшка платитъ мои долги; но зато, вы не можете представить, какъ онъ надугалъ меня, и вотъ еще Аполлонъ Христофорычъ.

КВАШНИНЪ. Я?!.. Да чтѣ же я такое?..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Чтѣ вы мнѣ говорили про вашу сестру.

КВАШНИНЪ. Ничего, — я сказалъ, что она спитъ, а это очень естественно.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Такъ надо спросить папеньку?... (*Звонитъ къ себѣ*). Папенька! пожалуйста сюда!

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*за дверью*). Не могу! — боюсь!

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Помилуйте, чего-жъ бояться, мы здѣсь одни.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*отпирая дверь*). Одни?... то-есть, какъ одни?...

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Я, Аполлонъ Христофорычъ...

КВАШНИНЪ. Чудакъ! чего онъ боится?..

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. И Марья Христофоровна здѣсь...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*захлопывая дверь*). И она здѣсь!.. Ты ее видишь?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Гдѣ же, Папенька! Папенька пожалуйста сюда.

МАША. Папенька! выйдите къ намъ! — Позвольте мнѣ назвать васъ этимъ именемъ. Добрый папенька!.. Обнимите вашу дочь.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*отпирая дверь*). Да что же это такое? Я совершенно теряюсь — или я съ ума сошелъ? Марья Христофоровна! это вы?

МАША. Я! папенька... (*Хочетъ подойти къ нему*).

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Позвольте, позвольте! не трудитесь подходить, — поговоримъ издали... Да это вы, дѣйствительная? живая?!..

МАША И МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Что это значить? Я не понимаю.

КВАШНИНЪ. А! Такъ я понялъ. У меня вѣдь изъ головы вонь. Успокойтесь, почтеннѣйшій Осипъ Федорычъ! Это была штука: — сестра-то не умирала — это я подшутилъ надъ вами.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*разсердясь*). Опять вы же? Хоть-бы стѣнь-то постыдились, вѣдь вы своей умной шуткой чуть съ ума не свели меня.

КВАШНИНЪ. Неужели?—Хмъ!—значить, я очень поразилъ васъ?

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Да-съ! Вы всегда отличаетесь вашими поразительными шутками! Это доказываетъ то, что съ-молоду васъ мало учили. (*Показываетъ рукою взмахъ розги*).

КВАШНИНЪ (*усмѣхнувшись*). Хмъ! А что вы думаете!

XI.

ТѢЖЕ, И ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*не видя мол. Хлыстикова, сильно встревоженная, и говоритъ слабымъ голосомъ*) Дочь моя, зачѣмъ ты меня оставила?... Аполлоша! и ты вернулся.. Идите сюда... побудьте при мнѣ послѣднее время.

МАША (*подходя къ ней*). Последнее время?.. что это значить?..
Маменька, вы такъ растроены?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*обнявъ сына*). Аполлонъ! береги сестру твою!
Ты одинъ останешься ей опорой и утѣшеніемъ — послѣ моей смерти,
замѣни ей мать.

ВСѢ (*окружая ея*). Что это значить?..

КВАШНИНЪ (*трагически*). О! маменька! что вы говорите!

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Осипъ Ѳеодоровичъ! скажите мнѣ, сколько было
долговъ на вашемъ сынѣ.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Помилуйте, къ чему это?

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Я хочу заплатить за него...

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Вы? Съ какой стати...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Я должна это сдѣлать для его успокоенія.—
Короче сказать, вы недолжны мнѣ прѣтиворѣчить, на это есть моя воля,
(*Вздохнувъ*) моя последняя воля.

МАША (*плача*). Маменька! что съ вами?

КВАШНИНЪ. Вѣрно вы скушали что-нибудь обременительное?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Надо скорѣй послать за докторомъ.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА (*увидя м. Хлыстикова*). Батюшки! онъ
здѣсь!

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ. Сережа! Съѣзди поскорѣе!

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВА (*въ недоумѣніи*). Сережа?!.. Вы говорите съ
нимъ!.. Да развѣ, сынъ вашъ живъ? — Что же это значить?.. Кто
сказалъ?.. А! вспомнила! (*Кричитъ на сына*) Это опять твоя вы-
думка!.. опять твое дурачество!..

КВАШНИНЪ. Маменька! Я это сдѣлалъ съ тѣмъ, чтобы заставить
васъ посмѣяться...

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Нѣтъ, ужъ видно ты, Аполлонъ Христофо-
рычъ, до старости доживешь дуракомъ.

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. Лизавета Ивановна, наконецъ я могу назваться
вашимъ сыномъ.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Какъ, батюшка?

МАША. Да, мамаша, Осипъ Ѳеодоровичъ заплатилъ Сережины дол-
ги... Благословите насъ.

ЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. Очень рада! — Стало-быть мнѣ платить не
надобно? (*Уходитъ, грозя Аполлону*) Ну, ты тутъ; въ другой разъ
я тебѣ такъ отшучу, что ты самъ ноги протянешь.

СТ. ХЛЫСТИКОВЪ (*уходя, Квашнину*). Да, да, ваша умная шутка
стоить мнѣ двѣ тысячи рублей серебромъ! У! (*Уходитъ*).

КВАШНИНЪ. Неужели? что такъ дорого?

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ (*жметъ руку Квашнину*). Аполлонъ Христофоръчъ! благодарю васъ! Вашей шуткѣ я обязанъ моимъ счастьемъ.

КВАШНИНЪ. Будто-бы? Стало-бытъ, я ловко подшутилъ?

ГОЛОСЪ ЛИЗАВЕТЫ ИВАНОВНЫ. Мама! иди же!

МАША. Сю минуту! До свиданія Сережа!

МЛ. ХЛЫСТИКОВЪ. До завтра! (*Плѣчетъ ей руку, она уходитъ*).
До свиданья, братъ! Спасибо! удружилъ! (*Уходитъ*).

ХІІІ.

КВАШНИНЪ (*одинъ*). Вотъ что значить разность воспитанія! Одни благодарятъ меня за шутку, другіе разсердились; а въ особенности почтеннѣйшій Осипъ Ѳедоровичъ, онъ, кажется, съ большимъ-бы удовольствіемъ съѣлъ меня... Хмъ! чудакъ! — что значить слабое образованіе!..

(Помолчавъ, къ публикѣ).

Мы только пошутить хотѣли

За что и просимъ насъ простить...

И неужли вы въ-самомъ-дѣлѣ,

За шутку станете бранить?

ОГЛАВЛЕНЕ VIII ТОМА.

ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ.

ДЕРЕВЕНСКИЙ СЛУЧАЙ. Повесть въ стихахъ *Н. Д. Хвоцинской*. Часть вторая и последняя. (Кн. 3).

КВАРТИРА ВЪ ТАТАРСКОМЪ КВАРТАЛѢ. Изъ рассказовъ *Я. И. Полонскаго*. (Кн. 3).

ШЕРЮМАЛЬ МАГУ. Малабарскій рассказъ. (Кн. 3).

МЕЖДУ ПЕТЕРБУРГОМЪ И МОСКВОЮ. Рассказъ въ шести станціяхъ *В. Р. Зотова*. (Кн. 4).

МАЛЕНЬКІЙ МОНТЕ-КРИСТО СЪ БОЛЬШИМИ СТРАННОСТЯМИ. Позавчерашняя исторійка, рассказанная, а можетъ-быть и вымышленная, господиномъ Э***, и съ его словъ написанная. *С. Калошинымъ*. (Кн. 4).

ЭПИЗОДЪ ИЗЪ ПОЭМЫ, АДВОКАТСТВО ЖЕНЩИНЫ. *Евгеніи Сарафановой*. (Кн. 4).

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИСКУССТВА.

ШОПЕНЪ. Статья Франца Листа. (Кн. 3).

МОЦАРТОВЪ ДОНЪ-ЖУАНЪ И ЕГО ПАНЕГИРИСТЫ. А. Сьрова. (Кн. 4).

МЕМОУАРЫ.

ВОСПОМИНАНІЯ ИЗЪ ЖИЗНИ ДЖОЗЕФА ГРИМАЛЬДИ. Изданныя Дикенсомъ.
(Кн. 3).

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛѢТОПИСЬ.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Французская пословица. — Россини и полный каталогъ его оперъ. — Беллини. — Элегическій стиль. — Верди — Ultra-декламационный стиль. — Риголетто. — Второй періодъ Верди. — Мейерберъ. — Последнія его оперы. Статья Ростислава. (Кн. 3).

Модная наука. — Статистическій обзоръ прошлаго опернаго сезона. — Донизетти и его оперы. — Разборъ «Элексира». — Донъ-Жуанъ Моцарта. — Артисты Итальянской Оперы. — (Кн. 4).

ФРАНЦУЗСКІЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

Драма изъ романовъ и *Три Мушкетера*. — Бенефисъ Мондидье. — Бенефисъ Бертонна. — Возобновленныя пьесы. — Водевиль въ бенефисъ г-жи Мила. — *Edgard et sa bonne*. — Бенефисъ г-жи Мейеръ. — Пьесы Баяра. — *Урна*. Новая драма Эмиля Ожье. — Водевиль въ бенефисъ г-жи Вольнисъ. — Комедія изъ оперы и новая пьеса со старымъ сюжетомъ. — Статистическіе выводы изъ обзора прошлогодней дѣятельности французской труппы. — Составъ труппы, ея согласіе и усовершенствованіе. (Кн. 3).

РУССКІЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

НѢМАЯ СИРОТКА ЛИЗА, драма въ трехъ дѣйствіяхъ, соч. г. Анца.
(Кн. 3).

ЖЕНИХЪ ПО ОШИБКЪ, или **ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ ПОГОНИШЬСЯ НИ ОДНОГО НЕ НОЙМАЕШЬ**, оперетта въ одномъ дѣйствіи. (Кн. 3).

ДИПЛОМАТІЯ ЖЕНЫ, комедія-водевиль въ одномъ дѣйствіи, передѣланный съ французскаго г. *Н. Крестовскимъ*. (Кн. 3).

ВИДЪ ЗА ПЕЧАТЮ, шутка въ одномъ дѣйствіи, заимствованная съ польскаго г. *Онисеомъ*. (Кн. 3).

(*Бенефисъ г-жи Самойловой 1*).

СУМАСШЕДШІЙ, комедія въ одномъ дѣйствіи, въ стихахъ соч. *Жемчужникова*. (Кн. 3).

ЗАМУЖНЯЯ НЕВѢСТА, комедія въ трехъ дѣйствіяхъ, соч. *Корженевскаго*. (Кн. 3).

ПОСЛѢДНЯЯ ПѢСНЬ ЛЕБЕДЯ, водевиль въ трехъ дѣйствіяхъ, соч. графа *С. Потемкина*. (Кн. 3).

СЦЕНЫ ИЗЪ ТРАГЕДІИ ШИЛЛЕРА «МАРІА СТУАРТЪ». (Кн. 3).

(*Прощальный бенефисъ г-жи Самойловой 2*).

НЕ ВЪ СВОИ САНИ НЕ САДИСЬ, комедія въ трехъ дѣйствіяхъ, соч. г. *Островскаго*. (Кн. 3).

Г-ЖА ЧИТАУ И Г. БУРДИНЪ. ДЕБЮТАНТКИ. (Кн. 3).

НЕ ВЪ СВОИ САНИ НЕ САДИСЬ. Комедія въ 3 дѣйствіяхъ, соч. *Г. Островскаго*. (Кн. 4).

ПРОВИНЦІАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ ВЪ РОССІИ.

Нѣсколько словъ о *Севастопольскомъ театрѣ*. — Г. Жураховскій и его старые сотрудники: г-жа Шульцъ, г. Лебедевъ, Алексѣевъ, Зубовичъ и Струковъ. — *Кишиневскіе театры*: Труппы гг. Соколова и Прункула. Актеры и актрисы. — *Кіевскіе театры*: Труппы гг. Феденкаго и Мориса-Піонъ. — Артисты польскіе и русскіе. — *Харьковскій театр*: Артисты: г-жи Федорова, Микульская, Червинская и Пронская, и гг. Алексѣевъ, Львовъ, Виноградовъ, Пронскій и Михайловъ. — *Курскій театр*: Труппа г. Вошенко-Захарченко. — Появленіе гг. Живокини и г. Орлова. — Антрепренеръ Малѣевъ. — Паденіе театра. — *Театръ въ Костромѣ*. — (Кн. 3).

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ЗАГРАНИЧНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ. *Письмо изъ Парижа;* отъ 10/22 марта.

Трогательное положеніе корреспондента. — Бальныя наслажденія и бальныя послѣдствія. — Бархатный фракъ и кружевное жабо. — Голова девятнадцатаго столѣтія на туловищѣ восемнадцатаго. — Водевильныя сцены при разѣздѣ. — Похожденія мера и мѣра терпѣнія его супруги. — Водевиль безъ музыки. — Раздача премій. — Баяръ. — Нѣжное сердце Жюль-Жанена. — Кетати, еще маленькій процессъ. — Вторженіе Абд-эль Кадера во французскую поэзію. — Академія Музыки: «Луиза Миллеръ», опера Верди, сокращенная и дополненная. — Комическая Опера: «Глухой», опера Адольфа Адана; «Свадьба Жанетты», опера Виктора Массе; «Зеркало», опера Гастинелли. — Французскій Театръ: «Леди Тартюфъ», ком. г-жи Жирарденъ. — Т. Разнообразія: «Будутъ молотъ вздоръ», вод. Лабиша, Деланда и Делакура. Еще три водевиля. — Т. Веселости. «Дядя Томъ», драма Анисе Буржуа, Вальи и Тексье; «Маленькій Провансъ», водевиль. — Фарсы театра Драматическихъ Шалостей. — Пале-Рояль. «Вотъ извольте жить въ своемъ домѣ», вод. Баяра. — Пара извѣстій изъ Новаго-свѣта. — (Кн. 3).

АНГЛІЯ. *Письмо изъ Лондона;* отъ 1/23 февраля 1853 г.

Англійская литература. — Мистрисъ Горъ, леди Джоржіана Фоллертонъ и Корреръ Бель. — Романъ автора «Джени Эйръ». — «Вильетта». — Больверъ. — Лондонскіе театры. — Макбетъ. — Новая пьеса Дугласа Джерольда. — Сентъ-Джемскій театръ и французская труппа. — Комикъ Равель. — Концерты. — (Кн. 3).

ЗАГРАНИЧНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ. *Письмо изъ Парижа;* отъ 6/18 апрѣля.

Потошъ концертовъ. — Путешествія артистовъ. — Мосье Мире и мадамъ Фасоль. — Слѣпые музыканты. — Въѣтанъ. — Сивори. * Герцъ. — Новый Веберъ и новый Діомедъ. — Совѣщательный кабинетъ Пансерона. — Музыкальный вкусъ химика. — Еще двѣ могилы. — Анекдоты о Тальмѣ. — Гдѣ Тальма изучалъ фізіономію. — Продолженіе авторскихъ претензій. — Вліяніе клакеровъ на благополучіе директоровъ. — Отчего процвѣтають театры. — Каталани прошлаго вѣка. — Комическая Опера. *Тонелли*, опера Амбруаза Тома. — Т. Сень Мартенскихъ

воротъ. *Смарра*, балетъ. Резниковый человекъ. — Пале-Ройяль. *Драматическія шалости*, пародія, Дюмануара и Клервиля — Т. Водевиля. *Бокаччио*, комедія. Посмертное торжество Баяра. — Т. Веселости. *Собирательница лъсу*, драма, Теодора Баррьера. *Ст. А. Банавентуры* — (Кн. 4).

СМѢСЬ.

УРНА. Комедія въ одномъ дѣйствіи. *Октава Фелье*.

ПАСТЕТЪ. Разсказъ *В. Иваницкаго*.

СТРАНСТВОВАНИЕ ПО СУШѢ И МОРЯМЪ. Листки изъ записокъ бывалаго человекъ, собранные *В. Савиновымъ*. Инкерманская скала (Кн. 4).

ЗАПИСКИ МОЛОДОЙ ЖЕНЫ. *Альберика В—го*. (Кн. 4).

БѢЛОРУССІЯ. Въ характерическихъ описаніяхъ и фантастическихъ ея сказкахъ. *Павла Шпилевскаго* (Кн. 4).

СОВРЕМЕННОЕ.

ЛИТЕРАТУРА. — Новалясь (Фридрихъ фонъ-Гарденбергъ. — Очеркъ современной поэзіи. — Дочь Седена. — **ТЕАТРЫ, МУЗЫКА И ИСКУССТВА.** — Исторія одного музыканта, разсказанная Арсеномъ Гуссе. — Предсказаніе г-жи Ленорманъ. — Вызовъ автора. — **ОТКРЫТІЯ ВЪ НАУКАХЪ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.** — Зимнее воздушное путешествіе. — Тайны химіи. — **МЕЛКІЕ РАЗСКАЗЫ, АНЕКДОТЫ, ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ И НОВОСТИ.** — Пляшущіе дервиши въ Каирѣ. — Поѣздка на Чинчайскіе острова за гуано. — Встрѣча двухъ каравановъ. — Жизнь въ Корсикѣ. — Суэць и пустыня. — Необыкновенное сходство. — Роза и Октавія. — (Кн. 3).

ЛИТЕРАТУРА. — Вордевортъ (*статья Диккенса*). — Очеркъ современной германской поэзіи (*статья вторая и послѣдняя*) — **ТЕАТРЫ, МУЗЫКА, ИСКУССТВА.** — Сингъ-Сонгъ, Театръ въ Китаѣ. — **ОТКРЫТІЯ ВЪ НАУКАХЪ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ.** — Машины Эриксона. — **МЕЛКІЕ РАЗСКАЗЫ И НОВОСТИ, АНЕКДОТЫ, ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ** — Жизнь свѣтящагося червячка, имъ самъ описанная. — Ручной левъ. — Ночь проведенная между аллигаторами. — Наполеонъ и Евгенія. — (Кн. 4).

МОСКОВСКІЙ ВѢСТНИКЪ.

Неожиданное посѣщеніе. — Геній фельетона и его рѣчь. — Январь и февраль. — Извиненіе. — Свадьбы и разговоры о свадьбахъ. — Балы

разнаго рода и маскарады. — Нынѣшняя эпма въ-сравненіи съ прошлыми. — Концерты. — Бѣги. — Литература; газеты и «Москвитянинъ». — Фактъ изъ жизни Гоголя. — (Кн. 3).

ПЕТЕРБУРГСКІЙ ВѢСТНИКЪ.

I. ЖУРНАЛИСТИКА: «Отечественныя записки». — Слабыя статьи послѣднихъ книгъ этого журнала. — Переводъ Иліады для образованной публики. — Какъ объясняются боги и герои у г. Ордынскаго. — Елена Аріянка. — Прощаніе Гектора съ Андромахой. — Шиллеръ, Гомеръ и г. Ордынскій. — *Гостиницы въ древности. Китай въ 1849 и 1850 году.* — *Святки* — г. Михайлова. — *Огненный змѣй* — г. Авдѣева и его крестьяне. — *Дина* — г-жи Т. Ч., характеры и событія этого романа. — Дѣвушки должны выходить замужъ не раньше тридцати лѣтъ. — Невыдержанные характеры и невозможныя приключенія. — Какой урокъ можно почерпнуть изъ походовъ Нади. — Неровность слога. — Ноябрьская книга «Сына Отечества» и мартовская «Библіотеки для Чтенія». — Иногородный подписчикъ исчезъ изъ этого номера. — Мартовская книга «Современника». — *Набѣгъ.* — Сухія и незанимательныя статьи. — Стихотворенія. — Пустой человѣкъ и его сужденія о музыкѣ. — Замѣтки о французскихъ журналахъ по поводу русской журналистики. — Портретъ редактора журнала *le Vapoteur* въ pendantъ къ портрету редактора *Revue des deux mondes*.

II. НОВЫЯ КНИГИ: Библіографія князя Дмитрія Михайловича Пожарскаго. Сочиненіе *Сергѣя Смирнова*. — Дочь булочнаго мастера. Сочиненіе *К. Г-на*. — **III. МУЗЫКА:** Кое-что о преувеличеніяхъ. — Музыкальное утро. — Дива и пуффы. — Фельетонное клакерство. — Концертъ г. Мортъе де-Фонтена. — Г-жа де-Фонтень. — Г. Соколь и его замѣчательный экспромтъ. — Балъ и концертъ въ пользу «Убѣжища Взрослыхъ Дѣвицъ». — Цыгане. — Онгеръ и его гармоника. — Маленькое слово о великомъ дѣлѣ. — Г. Кажинскій и его заслуги, признанныя имъ самимъ и его поклонниками. — Концертъ его.

IV. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ: Масляница. — Адмиралтейская площадь. — Дѣятельность театровъ во-время масляницы. — Число сыгранныхъ пьесъ и актовъ. — Смерть Я. Г. Брянскаго, Е. П. Гусевой и В. А. Каратыгина. — Прощаніе съ публикой В. В. Самойловой 2. — Нѣсколько словъ г. де-Сень Жюльену по поводу его сужденій, о русской литературѣ и русской публикѣ. — Переводъ стихотворенія Лермонтова.

Публичныя лекціи. — Публичная Библіотека. — (Кн. 3).

I. ЖУРНАЛИСТИКА: *Первое апрѣля* русскихъ журналовъ. — неудачно замѣчаніе «Современника». — Апрельская книга «Отечественныхъ Записокъ». — Серьезныя статьи. — Г. Ковалевскій и его «Китай въ 1849 и 1850 году». — Критика г. Кудрявцева на статьи г. Грановскаго. — Новое направленіе исторіи. — Вліяніе на нее естественныхъ наукъ. — Преувеличеніе вліянія природы и физиологіи на историческія событія. — *Журналистика* «Отечественныхъ Записокъ», ея правильныя сужденія и неправильный языкъ. — Разказы г. Небольсина. — Фельетонъ «Отечественныхъ Записокъ». — Скачка съ препятствіями и коньки. — Портретъ литератора, у котораго свой конекъ. — Англійскіе романы. — Новый романъ г. Крестовскаго: «Кто же остался доволенъ?» **II. НОВЫЯ КНИГИ:** Повѣсти и разказы. А. Θ. Писемскаго. — Давидъ Копперфильдъ. Романъ Чарльза Дикенса. Переводъ съ англійскаго И. И. Введенскимъ. **III. МУЗЫКА:** Обиліе и пустота концертовъ. — Дороговизна входныхъ цѣнъ. — Направленіе музыки въ настоящее время. — Истинные жрецы искусства. — Г. и г-жа Леонардъ. — Замѣчательныя композиціи этого артиста и его концерты. — Многогѣчивость фельетоновъ. — Г. Антуанъ Контскій. — Его игра и композиціи. — Его права на гениальность. — Угощеніе гг. концертистовъ. — Г. Лещетицкій и характеристика его игры. Его концерты и композиціи. — Братья Шталькнехтъ и Лешгорнъ и ихъ тріо. — Г. Совле. — Г. Щепановскій и его новая метода. — Разныя концерты. — Концерты: Филармоническаго общества, въ пользу инвалидовъ, съ нечаянностями. — Нечаянность другаго рода. — Г. Коссовскій. — Концертъ г. Дмитріева Свѣчина — Музыкальныя утра г. Леопольда Мауерера. — Концерты г-жи Віардо, Гарціи, гг. Контскихъ и г. Даргомыжскаго. — Заключение. — **IV. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ:** Погода. — Путешествіе по Петербургу и поѣздки за городъ. — Поѣздка въ Сѣверную Америку, не выѣзжая изъ Петербурга. — Двѣ тысячи миль въ два часа. — Въ двѣ минуты изъ Америки въ Европу. — Палермо и Берлинъ. — Петербургскія улицы и новый способъ мощенія ихъ. — Музыка, музыка и музыка. — Хоръ въ тысячу двадцать пять челоувѣкъ. — Исторія арфы по поводу одного музыкальнаго вечера. — Театральныя слухи и вѣсти. — Два анекдота о Брянскомъ. — Два слова къ біографіи Гусевой. — Вѣсти о Вольнисѣ и Плесси. — Открытіе Шахматнаго Общества. — Бѣдствіе Невскаго проспекта. — Приближеніе праздниковъ. — Портреты В. А. Каратыгина. — Новое изобрѣтеніе. — Дамскія наряды. (Кн. 4).

РЕПЕРТУАРЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ.

ДИПЛОМАТІЯ ЖЕНЫ. Комедія съ пѣніемъ, въ одномъ дѣйствіи, подражаніе французской пословицы г жи Бертонъ. *Н. Крестовскаго.* (Кн. 3).

ПРЕЖДЕ СКОНЧАЛИСЬ, ПОТОМЪ ПОВѢНЧАЛИСЬ. Водевиль въ двухъ дѣйствіяхъ. *Соч. Максимова.* (Кн. 4).

инв 104387

7062 18250

ПАНТЕОНЪ

выходить ежемѣсячно, въ 20-хъ числахъ. Онъ состоитъ изъ 12 книжекъ, отъ 25 до 30 печатныхъ листовъ каждая, съ 12 нумерами «РЕПЕРТУАРА РУССКОЙ СЦЕНЫ». Отъ Редакціи прилагаются къ нему литографіи, гравюры, ноты, состоящія изъ: *фотолитографическихъ портретовъ* русскихъ знаменитыхъ лицъ: писателей, композиторовъ, художниковъ, артистовъ; *новѣйшей музыки* русскихъ и иностранныхъ композиторовъ: танцевъ, романсовъ, народныхъ пѣсень, аріи изъ оперъ, куплетовъ изъ водевилей, переложеній изъ балетовъ, и проч.

ЦѢНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗДАНИЕ:

12 р. 50 к. с., съ пересылкою или доставкою на домъ: 14 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ:

исключительно

Въ С. Петербургъ: въ ГЛАВНОЙ КОНТОРѢ ЖУРНАЛА ПАНТЕОНЪ, на Невскомъ Проспектѣ, въ домѣ Казанскаго Собора.

Въ Москвѣ: Въ КОНТОРѢ ПАНТЕОНА, при книжной лавкѣ И. В. Баунова.

Только за подписку, принятую въ *этихъ мѣстахъ*, Редакція отвѣчаетъ, и въ случаѣ какой-нибудь неакуратности или ошибки въ доставкѣ, немедленно удовлетворяетъ подписчика, по первому *справедливому* его требованію. *За подписку же, принятую въ другихъ мѣстахъ, она отвѣтственности на себя не принимаетъ.*

Всѣ лица, когда бы они ни подписались на Пантеонъ, вначалѣ или среди года, — непременно получаютъ **ВСѢ КНИЖКИ**, начиная съ первой, со **ВСѢМИ СЛѢДУЮЩИМИ** къ НИМЪ ПРИЛОЖЕНИЯМИ.

Имѣющіе нужду до Редакціи или желающіе помѣщать свои статьи въ «Пантеонъ», благоволятъ относиться къ издателю **ВЕДОРУ АЛЕКСѢВичу КОНИ**, адресуя письма на его имя: «въ С. Петербургъ, у Чернышева моста, въ домъ Лыткина.»